

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ МИР

1992

4

1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (804)

Апрель, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Со звездой в облаках, стихи	3
СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ — Отец. Публикация и предисловие Н. С. Толстого	9
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Посвящается родине, стихи	86
ЮРИЙ КРАСАВИН — Валенки, послевоенная повесть	87
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Как-нибудь, рассказ	121
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
НАТАЛИ САРРОТ — Дар речи. Перевела с французского Ирина Кузнецова	138
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — «Как бы резвяся и играя...»	167
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
П. СОРОКИН — Современное состояние России. Подготовка текста и примечания В. В. Сапова. Вступительное слово Владимира Шубкина.	181
—————	
А. СИНЯВСКИЙ — Чтение в сердцах	204
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Наши плюралисты	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Страсть к разрывам. Заметки о сравнительно новой мифологии	226
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
ДОРА ШТУРМАН — Они — ведали	239

(См. на обороте)

КОРОТКО О КНИГАХ:

А. Л. Соболев. — I. З. Н. Гиппиус. Стихотворения. Живые лица. II. Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. III. К. Чуковский. Дневник 1901—1929. ♦	
Борис Семеновкер. — Н. Г. Левитская. Александр Солженицын: биобиблиографический указатель. Август 1988—1990	251
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	254
SUMMARY	256

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Потерянный рай. Фрагменты книги.

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Рассказы.

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ. Дневник 20—30-х годов. Неизданные страницы. Публикация А. Кушнера. Комментарии А. Чудакова.

В. ЗАЛОТУХА. Вечером после работы (Мужское счастье). Рассказ.

БОРИС ЗУБАКИН. Стихи и письма. Публикация А. Немировского.

Н. КОРЖАВИН. Преступление против духа.

А. КУРГАТНИКОВ. Рассказы.

ВИЙВИ ЛУЙК. Красота истории. Роман. Перевела с эстонского Е. Каллонен.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Есть ли литература на Западе?

ИВАН ОГАНОВ. Опустел наш сад. Народный балаган.

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Утренник. Рассказ.

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КРУЖКА «ВОСКРЕСЕНИЕ» (20-е годы: М. Бахтин, Л. Пумпянский, А. Меер).

БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Рассказы.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН. Пещера. Роман. Перевела с английского И. Сумарокова.

АФАНАСИЙ ФЕТ. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство.

Вступительное слово С. Залыгина. Подготовка текста и послесловие Г. Аслановой.

Ю. А. ШРЕЙДЕР. Двойственность шестидесятых.

ДОРА ШТУРМАН. «Человечества сон золотой...».

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме
А. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag



A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany Tel: 089/26 30 76, FAX 26 30 77

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

СО ЗВЕЗДОЙ В ОБЛАКАХ

* *
*

Под шкафом, блюдечком, под ложечкой, под спудом,
Под небом Африки, под креслом, под судом,
Под страхом смерти злой, чудачествам, причудам
Не веря, под вечер, одной звездой ведом,
Под небом голубым страны своей, под гнетом
Обид, под насыпью, под бурей судеб,
Под длинной скатертью столов, под переплетом,
Под снегом, под руку, под шапкой снега — Феб,
Под зноем флорентийской, если помнишь, лени,—
Строка растянута, и сразу не узнать,
Тоска, друзья мои! Спасибо, куст сирени,
Под ней, персидскою, мы встретимся опять,
Под гневным лозунгом, любясь под грозою
Уснувшим воином, под влажный шум листвы,
Под ветром, выяснив, что под его рукою
Не бьется сердце,— жаль, в ее стихах, увы,
Под солнцем вечности, творительным предлогом
Все это вырастив вокруг и сотворив,
Под мраком, если бы я мог сказать: под Богом!
Так подбирается и сам ведет мотив.

* *
*

Ты, душа, энтелехия, как говорил
Не Платон, а строптивый его ученик,
Ты устала, потратив так много чернил,
Столько строк сочинив, повлияв на язык
Поэтический, только! — в обиду не дав,
Как дитя, на растленье семье воровской,
Не покинув его, но держа за рукав,
Да не вырвется, не соблазнится тоской
Трехкопеечной, помня и в черные дни
О еще не разгаданном нами родстве,
Но счастливом, лишь руку во тьме протяни,
Со звездой в облаках и дыханьем в листве.

* *
*

Только раз мы холодные руки сплели...

И. Анненский.

Я, кажется, знаю, щемящая эта
Откуда ни с чем не сравнимая нота,—
У Тютчева нету такой и у Фета,

О, полупреступная боль и забота,
 Она и дала нам такого поэта.
 Недаром он переводил Еврипида.
 Подпольное, влажное солнце, как в марте.
 Нельзя себя выдать, задумавшись, вида
 Подать, не следите за ним и отстаньте!
 Подтаявший снег и слепая обида.
 История Федры в мужском варианте.
 А что в сюртуке, так еще безутешней,
 Что шелковый бант, так еще злополучней,
 И снег этот мутный, и свет этот вешний,
 И эти конюшни в дыму и скворешни —
 Еще безнадежней и многоразлучней.

* *
 *

Но тот, кто видел в сетке крошечных
 Перепелов несчастных, участи
 Ужасной ждущих, кучкой сложенных,
 Как овощи, полузамученных,
 Дрожащих, маленькие головы
 В ячейки узкие просовывающих,
 Боящихся прилавка голого
 И смуглокожих рук чудовища,—

Я тверд, и ты не слабонервная,
 И жизнью вылеплены строгою,
 Старик абхазец прав, наверное,
 Что ужас наш его не трогает,—

Кто видел пестрых, видел обморочных,
 На вес идущих грудой дышащей,
 Тому уже не надо поручней,
 Перил, тот верит силе мышечной,
 Тот знает, что и в худшем случае
 Не упадет, что роли война,
 Ловца, раба, царя получены
 Из сильных рук, что так устроено.

* *
 *

Хорошо мне с французом за столиком круглым сидеть,
 Заказали вина, а потом заказали опять.
 «Эта сдача у нас,— говорю,— называется медь».
 Хорошо языком иностранным немножко владеть,
 И владея чуть-чуть, до чего ж хорошо помолчать,
 Помолчать, повертеть запотевшую рюмку в руке.
 Потому что молчим мы как раз на одном языке.

Бог-отец понимает всех, всех, и тебя и меня.
 Вавилонская башня на столик отбросила тень.
 «А молчание золотом мы называем, цена
 Тишину, разумеется, а не бездумную лень».
 Жизнь прекрасна — и вот, чтобы это не слишком всерьез
 Понималось, и нужен как раз небольшой перекосяк
 Башни, съехавшей набок, одетой как бы набекрень.

Бог-отец понимает всех, всех, и меня и тебя.
 Даже выучил он послебашенный твердый язык,
 Ничего, что тяжел, и расколот, как камень, и дик,
 Чтоб на нем говорить с Авраамом, его возлюбя.

Наставлять и учить, иногда возникать перед ним.
 А французский и русский ему ни к чему; помолчим —
 И услышаны будем, салфетку в руке теребя.

* *
 *

Только здесь,
 Только в этом подопытном веке
 Провинившемся, прежнюю спесь
 На усталость сменившем и веки
 Утомленно смежившем. Повесь
 Ключ на гвоздь, не мечтай о побеге.
 Поживи еще, покуролесь.

В Ленинграде, Москве.
 В разрушениях и катастрофах.
 Словно на голове
 Я стою в этих строфах.
 Жизнь одна, а все кажется: две,
 Три я прожил, четыре... В оковах
 И без них, подтверждение в листве
 Находя для ритмически новых
 Разветвлений в звучащей канве.

Только в этой стране,
 Только в этом столетии! Странен
 Экцентризм: все равно что в огне
 Жить. Зато, посмотри, прикарманен
 Смысл, и он улыбается мне.

Только в этих цепях,
 Только сбросив их, как бы иначе
 Знали мы, как вздымается страх
 То холодной волной, то горячей?
 Половины в стихах
 Мы б не поняли слов, как незрячий:
 Что такое просвет в облаках?
 Мысль о Боге подбросив, как мячик,
 Вверх, ловили ее впопыхах.

Спотыкались: тоска.
 Нефть, я знаю, как звать тебя, — Роком.
 Ты упала в цене — и войска
 Сократили. Что делать с уроком
 Историческим? Смотрим с упреком,
 Как сверкаешь ты радужным оком.
 Оказалось: свобода близка.
 Это выяснилось ненароком.
 Нашей нет тут заслуги. Доска
 Обрывается: мы на глубоком
 Месте, в туче речного песка.

Станешь тут фаталистом. Друзей,
 Перемен не дождавшихся, жалко.
 Утешеньем повеи
 Мне навстречу, ночная фиалка,
 Дух помоечный нам перебей.

О, как больно, как грустно! Печаль
 Выдавать за веселье — уловка
 Нашей гордости. Лавр и миндаль

Только снятся. И так, обстановка:
 Двор, пустырь, крупным планом деталь —
 Безмятный сорняк, как ножовка.

Только здесь.
 Где еще бы я все это понял?
 Шум в ушах и в глазах моих режь.
 Я протер их: нет слез на ладони.
 Блесткой на небосклоне
 Стынь, звезда, только в душу не лезь!

Мне из тьмы посветив,
 Выглядишь ты вполне симпатично.
 Ты жива, я ли жив?
 Что первично у них, что вторично? —
 Мне, по правде сказать, безразлично.
 Лишь бы вкрадчивый слышать мотив.
 Испытанье души на разрыв.
 Улизнуть, я считал, неприлично.
 Как мне нравится взгляд ироничный!
 Им не пользуюсь, самолюбив.

И еще потому
 Здесь, что в городе этом, с гранитом,
 Так уложенным, словно кайму
 Прострочили, в отместку обидам,
 Как бы им потеснив эту тьму,—
 Оказался прибитым
 К другу милому я моему.

Как дубовый листок,
 Помнишь, с ветки упавший родимой?
 Где еще бы я мог,
 С кем еще эти беды и зимы
 Пережить, этих строк,
 \ Этих рифм золотые зажимы
 Изготовить тоске поперек?

* *
 *

Ну еще бы, у сна есть, конечно, свое божество!
 Отвечает оно за увертки его и повадки,
 За таинственный нрав, за прямое со смертью родство.
 Страшный сон, говорим. А еще безмятежный и сладкий.

Вещий. Мертвый. Дневной. Упоительный. Крепкий... Кому
 Повезло, у того нет проблем никаких: ежедневный.
 Я, живя с тобой рядом, к мученью никак твоему
 Не привыкну, к тоске и заботам неспящей царевны.

Полтаблетки добавив к проглоченной целой, спустя
 Полчаса наконец забываешься мутным и тяжким.
 Знаешь, где он живет? В киммерийской пещере, вертя
 Головой; черный мак растолчен в его глиняной чашке.

Я там был, я гулял по тропинке в Восточном Крыму
 Над пустыней морской, отдыхал по июньской путевке,
 Проходил, может быть, мимо трещины той, — ни к чему
 Мысль тогда мне была о жилище его и ночевке.

Необщительный бог, не из главных. Но там, за чертой
 Роковой, может быть, он один и останется с нами,
 То любовью твоей, то кустом обернется, звездой,
 То кошмаром, боюсь, все заткнет, то нездешними снами.

ВЕЩИЦА

Есть у меня вещица,
 Подарок от друзей...

М. Кузмин.

Есть и у меня вещица, сам ее купил.
 Посмотри, какой таятся, господи, в ней пыл!

Ах, загадывать загадки весело в стихах.
 Дарит маленькие взятки словно впопыхах.

Трудно дышит, как астматик, прячется в руке.
 Слово «вот» и слово «кстати» любит в языке.

Ах, не так уж развлечений много у меня.
 Друг ты мой, карманный гений, пылкая родня!

Белоглазым сенегальцем любит посмотреть
 На того, кто склонен в пальцах скользкую вертеть.

Вещь не знает, как далеко увезут ее.
 Приоткрыв, смежает око: страх и забытье.

Как ей весело дышалось там, на Оксфорд-стрит!
 А теперь какая жалость: холод и гранит.

Не печалься, чем мы хуже? Тьма на всех путях,
 Тьма, и смерть, и холод... Ну же! Ну же! Ах, ах, ах...

* *
 - *

Друг мой, вознаграждаются все усилия,
 Даже изучение расписанья
 На платформе, мечта обретает крылья,
 И я думаю, ревность есть жажда знания,
 Что сродни изученью архитектуры,
 Ее стилей, сначала — альбомы, снимки,
 А потом — предпочтение им природы,
 Дождь, гримасы фасада, его ужимки.

Друг мой, жить интересно, не только странно
 Иль страшно, нуждается разум в пище,
 Явно предпочитая, чтоб из тумана
 Вышел кто-нибудь, чудище пусть, волчище,
 Лишь бы не пустовало воображенье,
 Не простаивало, набираясь ярких
 Впечатлений, — и если то битва с тенью,
 То и тень нас прельщает, как замок в парке.

* *
 *

Здесь все номера хороши, что седьмой, что восьмой, что девятый.
 И администратор — мой друг, мой по здешнему раю вожатый,
 Ключами бренча, предлагает открыть мне на выбор любой,
 И я выбираю девятый, а мог бы седьмой и восьмой.

Ах, комната мне безразлична, я сразу иду на балкон,—
И волны блестят хаотично, и синий горит небосклон,
Не правда ли, это похоже на старый придворный театр,
Где зритель взирает из ложи на оперных нимф и дриад!

У Гофмана что-то такое читал я, а что? — позабыл.
«Тебя здесь никто беспокоить не будет, не надо ль чернил?
А впрочем, вы пишете пастой; небось и машинку привез?»
Ах, эти пилоны, пилястры, скульптурные группы вразброс!

Ни пасмурный гость с новостями, ни ласковый друг с коньяком,
Ни юный поэт со стихами сюда не прорвутся тайком:
Надежней тюрьмы, заграницы, «Волшебной горы», может быть...
«Нельзя никуда дозвониться, нельзя и к тебе позвонить».

Он смотрит чуть-чуть виновато. «Никто,— повторяет,— никто».
Я жил так в Пицунде когда-то и в Ялте, но это не то.
«Пройдут пред тобой, как в спектакле, все, кто тебе дорог и мил».
И только вмешаться, не так ли, ни смысла не будет, ни сил?

«Сегодня у нас „Риголетто“, а завтра как будто „Кармен“».
Насколько же было все это страшнее на худшей из сцен!
Приносит в парчовом подоле волна студенистых медуз
И крабов. «Ты будешь доволен». Я знаю. Но жмурюсь и мнусь.



СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ

*

ОТЕЦ

Сергей Николаевич Толстой (1908—1977) — один из последних ярких представителей русского дворянства, которым так была сильна Россия.

Он происходит от тверской ветви старинного дворянского рода Толстых. Их предок Индрис был, вероятно, литовского происхождения. Согласно Черниговской летописи в 1353 году он выехал вместе с сыновьями и трехтысячной дружиной из литовских областей Пруссии, покоренных уже тогда тевтонскими рыцарями, в Чернигов, где в то время правил князь Дмитрий Ольгердович, сын литовского великого князя. Позднее, в правление великого князя московского Василия Васильевича Темного (1435—1462), потомок Индриса Андрей Харитонович приехал в Москву, где и получил от великого князя прозвище Толстый. От него и пошли Толстые, о чем свидетельствует грамота царя Иоанна Васильевича Грозного. В XVII столетии предки Толстых служили ржевскими стольниками. Тогда же они и получили тверские земли на озере Селигер.

Прадед автора Николай Николаевич родился в родовом имении Новые Ельцы (в настоящее время турбаза «Селигер»). Это был трехэтажный двухсоткомнатный дом с парком, каменной церковью, полотняной фабрикой, кожевенным заводом, театром и т. д. Имение было майоратным, то есть передавалось по наследству старшему в роду сыну, но досталось среднему брату Ивану Николаевичу, сенатору, кавалеру ордена Белого Орла (старший брат Яков Николаевич, друг Пушкина, член литературного кружка «Зеленая лампа», в 1823 году уехал в Париж и в 1867 году там умер). Младший брат, Николай Николаевич, женившись в 1825 году на Елизавете Алексеевне Загряжской, получает в приданое за женой имение Новинки, в 125 километрах от Москвы по Петербургскому шоссе, доставшееся ей от прадеда Дмитрия Даниловича Загряжского, стольника царицы Прасковьи Федоровны, «за многие раны и увечья, полученные им за Азовский поход». Николай Николаевич Толстой построил в Новинках двухэтажный уютный дом с двумя одноэтажными крыльями, завел оранжерею и все необходимые хозяйственные службы.

С этого времени все поколения Толстых живут здесь.

Николай Алексеевич Толстой, отец автора, родился в 1856 году в Москве в доме своей матери на Тверском бульваре (ныне здание Литературного института), получил типичное для его круга основательное домашнее воспитание. С переводом отца по службе в Тверь учился там в гимназии, затем — аракчеевский кадетский корпус в Нижнем Новгороде. Обзаведясь семьей, он поселился в имении Новинки, занялся воспитанием своих пятерых детей, хозяйством, живописью, а также литературным творчеством. В начале 900-х годов опубликовал свои первые произведения: повесть в стихах «Дон Жуан», сказку для детей «Три сестры» со своими иллюстрациями, заметки о Некрасове, дворянах, партиях и т. п., озаглавленные «Обо всем прочем». Но главным итогом своей литературной деятельности он считал давно задуманную «Семейную летопись XVII—XX вв.», написанную на основе архивных документов и преданий.

Семейный архив вместе с законченной «Летописью» был как самое ценное спасен в годы революции, но, к сожалению, не сохранился.

Сергей Николаевич, его сын, после трагических событий 1918 года живет у родственников в Москве. С 1926 года сменяет десятки профессий: библиотекарь, чернорабочий, «машинистка», сторож и т. д. Потом учеба в техническом вузе, получает диплом инженера. Пишет с семи лет. Был принят в Литературный институт, но учиться не смог — надо было содержать семью. Был принят в Союз поэтов, но из-за тенденций того времени не мог там сотрудничать. Прошел всю войну. Сразу после войны написал автобиографическую повесть «Осужденный жить» и с 50-х годов занимается уже только литературным трудом. Напечатать удается немного. В столе остаются эссе о Пушкине, Л. Н. Толстом, Чехове, Гумилеве, Хлебникове, Блоке, Мандельштаме, работы по стихосложению. Продолжал писать стихи, переводил с французского и английского (романы Фрэнка Бука, К. Малапарте, Дж. Стейнбека). Им составлен уникальный «Словарь неологизмов» (1970) от Тредиаковского до современных поэтов и путешественников «По Советскому Союзу», переведенный на несколько европейских языков.

Сергей Николаевич считал своим долгом донести до следующих поколений все то, что помнил, любил, сохранил в памяти. Его автобиографическая повесть «Осужденный

жить» написана от лица мальчика, а не взрослого человека, умудренного жизненным опытом, каким он был в 1946—1947 годах, во время ее создания.

Вторая часть повести, с которой мы имеем возможность познакомиться в журнале, описывает переломные, роковые для семьи пред- и послереволюционные годы. Фактически это первая значительная публикация Сергея Николаевича Толстого.

Н. С. ТОЛСТОЙ.

Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми...

Екклесиаст, VI—I.

Глава I

— К то у тебя?

— Мина. Летит твой полковник... подорвался...

— А вот и не полковник. У меня сапер! Это твоя мина летит.

— Ну и хитрец! Когда же ты успел увести отсюда полковника, так что я не заметил?

Ваня сидит напротив меня. Колени его прикрыты опущенным до полу пледом. Под раненой ногой в бачке налита горячая вода. Для скорейшего заживления раны ему прописаны паровые ванны.

Перед нами популярная военная игра: По расчерченному на квадраты перерезанному рекой с тремя мостами полю движутся сложенные пополам картонные прямоугольнички: генералы, полковники, разведчики,— сталкиваясь друг с другом, они обязаны называть себя, и младшая фигура снимается с доски. Мины уничтожают всех, кого бы ни встретили, но бессильны против саперов. Есть и другие правила, усложняющие игру и делающие ее более увлекательной. Но подпоручики всегда гибнут в самом начале. Может быть, только этим игра и схожа с настоящей войной...

Сам Ваня уже штабс-капитан. У него прибавились звездочки на погонах, и когда он надевает мундир, на груди много орденов с цветными ленточками: Владимир, Анна, два Станислава, один из них на шее, еще какие-то. Он старается быть деятельным, насколько позволяет ему раненая нога, и веселым. Вникает во все детали нашей жизни, много разговаривает с отцом и с Верой, играет со мной, но о себе вспоминает и говорит скупо и неохотно...

На улице черная августовская ночь. Со стола убирают посуду после вечернего чая. Средняя комната озарена светом большой керосиновой лампы. Отец сидит здесь же за столом и набрасывает карандашом в своей записной книжке прикорнувшую на маленьком диванчике Веру. Большое изразцовое зеркало голландской печи, возле которого стоит мой столик с игрушками, почти доверху заклеено декалькоманиями. Это поработали мы с Мадемуазель, получив рассеянное разрешение от мамы. Папа, увидев результаты наших трудов, только ахнул, но говорить что-нибудь уже было поздно, тем более что в моих блестящих глазах он подметил большое удовольствие и ожидание его одобрения. Но слов для одобрения у него не нашлось. Он только сказал: «Гм, хм...» Зато теперь тут есть на что посмотреть: и райские птицы, и шенок, тянущий за хвост кота, повисшего на заборе, и клоун на трапедии, и курица с цыплятами, — чего только не налепили мы, потратив на это два вечера, на пустые белые изразцы.

— Кстати, папа, — говорит Ваня, — я, кажется, не рассказал тебе анекдот, впрочем, князь Кудашев уверял меня, что это даже и не анекдот, а факт, случившийся при проезде государя на фронт...

— Нет, не рассказывал. А что такое?

— Царский поезд сделал остановку по пути в каком-то небольшом городе. Стало известно, что на следующий день государь поутру пойдет в собор к обедне. Местный попик решил не упустить случая и блеснуть, выступив с проповедью. Но так как он был робок и легко терялся, за аналоем был спрятан псаломщик-суфлер с отпечатанным заранее текстом, чтобы подсказать, если понадобится. Но чего боялись, то и произошло: выйдя на амвон, священник оробел и забыл все на свете... Тогда суфлер ему одобрительно шепчет: «Ну-с, начинается!» И тот во весь голос, уже не отдавая себе ни в чем отчета, повторяет: «Ну-с, начинается!»

«Что ты?» — в ужасе шепчет псаломщик. «Что ты!» — возглашает проповедник, глядя прямо на царя, стоящего впереди перед толпой молящихся... «Куда ты полез?..» «КУДА ТЫ ПОЛЕЗ?..» «Пропадешь ты и я с тобой...» — лепечет суфлер, почти теряя сознание и не зная, как остановить несчастного. «ПРОПАДЕШЬ ТЫ И Я С ТОБОЙ!» — на высоком пафосе гремит с амвона...

Отец, к удовольствию Вани, не выдержал и громко расхохотался... Даже задремавшая было Вера открыла большие удивленные глаза и улыбается... Они с Ваней все это время совершенно неразлучны.

Рисунок отца остается неоконченным. В той же записной книжке несколькими неделями раньше сделана коротенькая запись: «8 августа. 1 час дня. Ване вынимают пулю. Боже, помоги ему!» И рядом пометка, сделанная позднее: «Час угадан». Ваня здесь рядом. Пока Поправка проходит благополучно. Вечерами он уединяется возле рояля и долго проигрывает сам для себя несколько любимых бетховенских сонат. Почти все остальное время они вместе. Но срок отъезда все ближе, а вести с фронтов не радуют. Новая мобилизация прочесала города и деревни. Миллион единственных сыновей брошен в клокочущий котел всевропейской бойни...

Растет дороговизна в тылу. В доме не осталось почти никого из прислуги — пришлось расчитать. Для работ по имению появились приезжие — беженцы из Полесья. Угрюмый чернобородый Емельян (его семья осталась по ту сторону фронта) и беловолосый Варфоломей. Оба, особенно последний, не похожи на наших крестьян. Очень чистоплотны, во всем домотканом, в аккуратно сплетенных лыковых лаптях с холщовыми опорками. Необычайно добросовестны и простодушны. С Варфоломеем живет его жена Аннушка и двое маленьких детей — девочки. Беженцы сильны какой-то своей домотканой культурой, не тронутой веком, да что веком — веками. Ничего покупного, кроме спичек и соли, не знали всю жизнь — все свое... Очень честны... старательны... Мама старается им помочь, одеть и побаловать детей...

Рядом со спальней отца помещается его вторая комната, называемая уборной. Наша с Аксюшей — та, дальше. Но теперь я провожу много времени здесь. Папа вынес отсюда свое зеркало, старинные деревянные футлярчики для флаконов с одеколоном и зубным полосканьем, бритвенные принадлежности... Очистилось место для моей парты и книжного шкапа. Но, с другой стороны, здесь, как и раньше, стоят его секретер и мольберт. Палитры, этюдники с красками тоже остались. На подрамнике все тот же знакомый мне холст с картиной, изображающей бурное море. Он все еще считает ее неоконченной, хотя мне да и многим взрослым кажется, что она давно готова.

Сегодня наконец «Буря» с мольберта снята. Отец работает над портретом Павлика Купреянова для семьи покойного. Пользуется своими зарисовками, случайно когда-то им сделанными, фотографиями, но больше всего памятью. Большой, поясной портрет. На фоне ночного неба и поля, освещаемого вспышками снарядных разрывов, все больше проступает знакомое лицо, но с черной бородой, отпущенной Павликом уже в период войны. Я его таким не видел, но все же не узнать его нельзя. По общему мнению, портрет отцу удается, особенно глаза с их твердым, прямым и вместе добрым выражением. Много дней, почти не отрываясь, напряженно работает отец. Все боится, что он не удержится и, как это не раз с ним бывало, сделает что-нибудь лишнее, и тогда портрет, перейдя через какой-то зенит удачи, начнет портиться и терять в своем так хорошо пойманном сходстве и живости. Наконец окончен портрет, упакован и отослан матери и сестре покойного Павлика в Костромскую губернию, где находится их имение...

Ванина нога почти совсем поправилась. Ваня, в полную противоположность Коке, известен своим хладнокровием и выдержкой, не оставляющими его даже на фронте в трудные минуты. Но и ему не всегда удается справляться с нетерпеливым беспокойством. Паровые ванны он делал методически и аккуратно, и они действительно помогли. Но когда он начал передвигаться, опираясь на костыль, то что-то уж слишком быстро костыль был им заброшен и заменен тростью, опираясь на которую он бодро улыбался, бродя по саду, и только капли, сбегавшие со лба, да учащавшееся дыхание не давали никого обмануть и обнаруживали искусственность этой улыбки. Настает день прощания. Опять позвякивает бубенцами сбруя, и лошади переминаются у крыльца. Ветер несет по дорожкам желтые осенние листья... Серенькое тоскливое небо затянуто тучами. Отец бодрится, Вера улыбается, сквозь влажные глаза глядя на брата. Потому ли, что я стал значительно взрослее за этот год, или потому, что Ваня так много уделял и мне внимания, но мне тоже очень грустны эти проводы; кажется, войне не будет конца, так уж хоть бы поскорее произвели его в

генералы. Ведь чем старше чином, тем меньше опасности. Это я понял не только из военной игры, но так говорят и взрослые... И вот уже только конская шея коренника под дугой мелькнула на повороте. Уехал. Еще более опустел дом. Отец после окончания портрета Купреянова и отъезда Вани не может заставить себя чем-нибудь заняться. Отвлеченные на время усиленной работой и общением с Ваней, снова и снова возвращаются, к самому горлу подступают непроглоченными комками тяжелые воспоминания о потере Коки. Пустота, оставшаяся после его гибели, не заполняется ничем. Днем, и вечером, и в бессонные ночи все то же, о том же... Навязчиво и неотступно все говорит о нем, все время о нем... Этот его долгий прощальный взгляд, когда уезжал он в последний раз, и то, как не было сил сразу отпустить его, возвращаться одному в опустелые комнаты. Посаженные им цветы так хорошо принялись на клумбах: они цвели все лето и только недавно облетели... Там и здесь попадаются его рисунки: вот он вихрастым непричесанным мальчиком сидит у рояля, вот в юнкерской бескозырке стоит в саду, опираясь на пень, расщепленный грозовым ударом. Всюду чудится его взгляд, шаги, прикосновение... Утром, еще в полусне, он услышал разговор со мной приехавшей от тети Кати Паши — покойной горничной.

— А ты помнишь Кочочку-то, Сереженька? Хорошо помнишь?

— Ну что ты спрашиваешь, как мне не помнить?

— Да ведь много ли ты его видел. То в училище, то на фронте; он в последние-то годы в Новинках почти не бывал. Ты поди и не знаешь, за что мы все так любили его; ну, понимаешь, нету таких, кто бы знал и не плакал об нем. Нет такого второго ни где... А ведь он тебя и крестил. Мы тогда с ним чуть-чуть не подрались...

— Почему ж это?

— Из-за тебя... Почему-то решили пешком идти, Николай Николаевич с Верой Николаевной — твои крестные оба, ну и ты — на руках у меня. Пошли через поле. Он и начни тебя отнимать. «Я его сам понесу!» Я ему: «Вы уроните». Сам-то ведь мальчик, разве он знает, как надо ребенка нести. Рассердился, тянет тебя. «Мой брат, а не твой! Отдай лучше!» Еле отбилась — настойчивый был, если что запалет ему в голову. Банты твои голубые мы с ним перемяли... Ну, а уж в церкви опомниться я не успела, взял и выхватил прямо из рук и уж так и не отдал. Серьезный стоял с тобой на руках и к купели сам нес... Только после сказал, когда вышли: «Теперь, если хочешь, неси его, Паша!» Ну, тут уже Вера вступилась: «А теперь его я понесу!» Мы и отдали...

Отец невольно слышит все — от слова до слова, и перед глазами снова собор, погребальное пение, и в гробу он... его руки... замерзали, оттаивали, вновь замерзали и снова оттаивали в душном, натопленном соборе... и ни запаха... ни мертвенности... после месяца напрасных розысков, никакого разложения... теплые и живые... Как все это разом схватило за душу, схватило и сжало, впилося и... разве это забудется... разве отпустит?!

А вчера, после ужина, он сидел в кабинете и задумался. В соседней комнате накрывали на стол. Слышно было, как звякали чайные ложки о фарфор чашек, как принесли поющий самовар, и вдруг — что это? Маня — жена... Кому она отвечает? Кто говорит с ней? Кто смеется таким знакомым беззаботным смехом? Его голос. Его смех. Что это? Ведь его нет. Нет больше. Я же сам с ним прощался. А они говорят, продолжают, как будто ничего этого не было и так и надо. Он хочет окликнуть их, но язык ему не повинуется, он слышит слова, улавливает отдельные ничего не значащие фразы. И вдруг все исчезает. Проснулся? Нет, он даже не засыпал. Что ж это было? Так и с ума недолго сойти... И вот опять тот голос громче. Рядом с отцом сидела Вера. Он хотел толкнуть ее и не посмел. Ему казалось, что и она слышит, слышит уже давно этот голос и ничуть не удивлена даже... И с неясным восклицанием он окончательно пришел в себя. И действительно, рядом была дочь. Оторвавшись от своего рукоделья, она вопросительно на него смотрела... В соседней комнате все еще слышались голоса. Говорила Мадемуазель. Жена отвечала ей. Только его голоса не было слышно больше... Но что же это было? Что? Ведь этот голос только что звучал там... Он с нами. Жив! Как хочется в это верить...

Но ведь и действительно это так. Смерть? — Смерти не существует. Ее владычество над людьми — мнимость. Все мертвые — живы. И он тоже! Жив и будет жить. Конечно так. Но когда же к нему, туда? Быть вместе и не разлучаться больше... разделить его удел...

А кругом все больше пролитой крови, все мрачнее небо впереди. И конечно же, для него лучше, что он не оставлен здесь. Ему было бы труднее всех. Это милость небес. Ведь то, что сейчас. — пустяки. Будет все несравнимо ужаснее...

Рука случайно раскрывает Библию, он рассеянно ее перелистывает, даже не думая читать или что-то разыскивать в ней и... что это? Ответ черным по белому в книге пророка Исайи — «И никто не понимает, что праведник взят перед угрожающими бедствиями»... (Исайя, 57—I). Случайность? Но ведь случайностей нет... Да, это, несомненно, ответ, ответ на многие мысли.

Газеты становятся тревожнее и сумбурнее месяц от месяца, день ото дня. До меня, впрочем, события доходят не через газеты. Вот сахар стал исчезать. Вместо него уже появились какие-то шарики прозрачные и твердые, точно вишневый клей. Их по привычке опускают в чай. Лежит такой шарик на дне очень долго, и вдруг: крак — точно лопнул стакан. Это шарик распался. Передразнивая нашего приходского дьякона, большого чревоугодника, шарики, нарочито акая, называют «бамбошками». «Чай нынче с бамбошками», — скажет, бывало, дьякон и грустно понурит косматую голову на широченную грудь...

Беженке Аннушке при всем свойственном ей усердию не под силу справиться за скотницу и за кухарку. Стадо наше подоено не всегда вовремя и кое-как. Вера хочет помочь ей и впервые, надев передник, уходит на скотный двор. Молоко после ее первой дойки получается подозрительно кофейного оттенка и припахивает навозом, приходится отдать его телятам. Она не знала, что надо помыть теплой водой вымя перед доением... Даже и телята смотрят на это молоко с каким-то грустным удивлением.

Так проходит осень. Наступает зима. Рождество. Для скромной елочки собрали все, что могли. Приехала тетя Муся, кое-что привезла из игрушек. Елка зажжена наверху, в маминой комнате. Я с высокой температурой принесен из постели, завернутый в одеяло. Вершина елки, надломленная, так как не помещалась в комнате, упирается в потолок. Стекланные цветные шары, обтянутые золотой сеткой, и бусы тускло отражают мерцание свечек. Подарки, привезенные тетей Мусей (две яркие большие коробки), лежат под елкой. На одной изображен в натуральную величину крупный заяц, внутри — такой же заяц из толстого картона и маленький револьверчик с резиновой пулькой. Заяц устанавливается на подставку; он стремительно бежит, растягивая лапки, и в него надо стрелять: пулька прочно присасывается к тому месту, куда попадает, и так остается. Игрушка привозная, из Англии, сделана очень тщательно, но интереса к ней хватает ненадолго. В другой коробке — главный подарок: новая военная игра «Атака». Есть карта на картоне с сильно «пересеченной» местностью, мостами, пригорками, реками, есть отряды фигурок всех родов войск от солдатиков до генералов, нет одного лишь объяснения, как надо играть; забыли положить в магазине, сама ли тетя Муся где-то выронила, не все ли равно теперь; налицо и войска, и местность, а все же атаки-то никакой и не получается. Страннее всего, что я даже не очень огорчен этим: начинает уже становиться привычным, что все вокруг как-то идет кувырком, что то там, а то здесь вечно чего-нибудь не хватает... И не тетю Мусю же винить, которая перед самым отъездом второпях захала в магазин, чтобы мне что-то купить к Рождеству! Она все еще в глубоком трауре: виски у такого молодого красивого лица за последние месяцы совсем побелели, часто плачет...

Отец тети Муси, тот самый дядя Леша, которому я посвящал свой первый драматургический опус, по состоянию здоровья взял отпуск надолго. Живет поблизости — в Мелкове, в своем доме, рядом с нашей приходской церковью. Уже прошло то время, когда я боялся его; он любил меня «тискать» — мял руками пресильными, давал шуточные подзатыльники, что никак не могло мне понравиться, и вопросами докучал ядовитыми, например, что тяжелее: пуд пуха или пуд железа? Я готов был сказать, что пух тяжелее железа — только бы избавиться... Теперь и он изменился — стал задумчив, печален, заметно еще постарел. Как-то поздней осенью мы с мамой его навещали. Громким лаем встретил нас дядюшкин шпиц — белоснежная Люлька. Дядя Леша, нас усадив, снял пиджак и сам занялся приготовлением салата. Незадолго до этого отец отправил государю с посвящением недавно им оконченную поэму об этой войне и боевых делах Семеновского полка, названного царем «вернейшим из верных». Другой экземпляр, а всего их было отпечатано, кажется, пять, в одной из лучших типографий Петрограда, был послан командиру полка — генералу фон Эттеру... Только что прибыла из ставки «высочайшая» благодарность. Мама с собой захватила эту бумагу — показать старому дядюшке. Прервав приготовление салата, он сел, вздел очки, откашлялся и внимательно все прочел вполголоса, включая и подпись царя: Николай. И вдруг старик оживился, морщины от переносия на лоб разбежались, указательный палец внушительно приподнялся, и он громко, внушительно *проскандировал*: «Гофмаршал двора генерал-адъютант Максимо-

вич»... «Максимович? — Ого!» В этом сказался полностью старый петербургский чиновник. Я заметил, как и мама не смогла удержаться от легкой улыбки...

Почему-то не раз после вспоминалось мне это осеннее утро и то, как мама после обеда прошла со мной на кладбище и долго молилась у черного камня — памятника на могиле своего отца, а сверху летели желтые листья, и то, как мальчишки в деревне, когда мы проезжали обратно, бросали камнями в наш шарабан.

Никогда раньше этого не случилось... А теперь все одно к одному, вот как с этой кургузой «Атакой», в которой все есть, кроме самой возможности осуществления. Не постигнув и тысячной доли окружающих противоречий, я уже как-то от них устаю... В чем тут дело? Вот мальчишки швыряют камнями, мужики вырубают наш лес — а мы, лишь покачав головами, мимо проходим (мы — это старшие), будто и впрямь в чем-нибудь виноваты. И дядя Леша, которому важнее всего генерал-адъютант Максимович, и дядя Володя, который что-то там путает — в Думе, и неведомые Родзянко и Миллюков, которые говорят как будто бы такие искренние и хорошие слова о России, — все плохо. На днях пришло известие — убили Распутина. Того самого, который, все говорили, столько зла причинил царю и России. Кажется, хорошо? А отец, вовсе не мягкотелый и, обычно, сторонник крутых и решительных мер, лишь неодобрительно покачал головой и промолвил: «Доехали... Кажется, дальше уж некуда!»

В чем же дело? Почему что бы «там» ни случилось, все всегда довольны? Но как будто у всех кругом развязаны языки и связаны руки. Если всюду делается что-то не то, почему не начать делать «то»? Почему нельзя ни во что вмешиваться? Что же надо было делать с Распутиным, если так плох он, а убивать его все-таки было нельзя?

Я смотрю не на елку — мою последнюю елку в этих стенах, а на ее отражение в замерзшем окне. Мой маленький мир всяческого опыта, восприятий, познаний, только было начав расширяться, вдруг чем-то сдавлен. Там, за окном, подступает что-то неясное, поскрипывает зубами, враждебно высматривает со скошенной набок свирепой улыбкой: «А, мол, все еще тут... и елку зажгли... погодите уж...» Но что там? Мальчишки с камнями? Или что-то такое, чего и сам папа боится? Впервые на мгновение, на одно только мгновение сверкает с мучительной болью мысль, что отец, может, и сам в чем-то не прав. Я гоню эту мысль. Если она останется, я с ней не справлюсь. Это слишком страшно. Пусть все будут не правы, но только не он. Но мне непонятно так многое, что становится одиноко и не по себе. Если бы он сам, с его решительностью, поехал да и убил Распутина, а заодно, может, даже и дядю Володю, чтобы не пугал, это было бы страшно и жалко, конечно, но как-то понятнее. Уж тут ничего не поделаешь, если надо, чтоб все наконец пошло хорошо... Это было бы все же понятней. Если же он не может, если все это дурно, грешно или что-то еще, так зачем обвинять остальных, тех, что тоже не делают ничего, а если делают, делают плохо... Эти мучели, конечно, гораздо менее отчетливые, но от того не менее мучительные, стучатся в висках, не находят ответов... А все-таки пусть что хотят говорят, хорошо, что убили... Распутина. Я помню, как раньше о нем отзывались. С какой интонацией, все?! А теперь: напрасно, не так... Нет, именно так. Только так, если выхода нету другого.

Отыграл зимний солнцеворот опереньем фантастических зорь. Прошел Новый год незаметно, встретили его или нет, я не знал. Пришло Крещение с традиционными водосвятиями. Наш отец Михаил — добрейший старик с сиянием реденьких седых волос вокруг лысеющего лба — приезжал служить молебен и после принял мою первую исповедь. Каяться и рассказывать о своих грехах было очень страшно, еще страшнее что-нибудь позабыть, утаить... Он помог мне, сам задавая вопросы, на которые, как мне сказали, отвечать полагалось: «Грешен, батюшка!» Я так и сделал, но когда он уже накрывал меня эпитрахилью, чтобы прочесть отпущение, я очень обеспокоенно из-под нее вынырнул вместе с очень тяжелым грехом, чуть было не оставшимся на моей совести. Этот грех заключался в том, что я незадолго до этого ударил Аксюшу по спине игрушечной саблей. Священник отнесся к этому делу, как мне показалось, весьма легкомысленно и не понял как следует, что я ударил не в игре, а со зла, и что ей было больно, как сама она утверждала, обещая рассказать об этом отцу (не рассказала)... Так и обошлось. Вместе с этими недоконченными признаниями попал-таки под эпитрахиль и получил от батюшки отпущение грехов вместе с благословенным хлебом. Так называлась булочка из просвирного теста, пропитанная через крестообразный надрез наверху сладким церковным вином...

Со дня Кокиной гибели прошло два года. Снаружи могло показаться, что эта рана уже начала немного затягиваться, но это только снаружи. С той ночи, когда пришло извещение, что его нет в живых, все стало иным не на какой-нибудь срок — навсегда...

И все же наступило такое февральское утро, когда по-весеннему зазвенела капля, падая на карнизы с длинных ледяных сосулек, а на просиневшем фоне ветви деревьев утратили привычную зимнюю сухость, как будто бы сразу наполнились соком и стали снова живыми. В это утро отец проснулся очень рано и почему-то почувствовал такой прилив сил и желание работать, каких у него не бывало давно. Он взглянул на часы, бодро оделся, умылся холодной водой и стал перебирать свои и чужие старые эскизы, наброски, этюды и фотографии. Он и сам не отдавал себе отчета в том, чего он, собственно, ищет. На глаза ему попался натянутый когда-то давно на подрамник большой холст. На нем были карандашом набросаны и приведены в перспективу волны, чтобы разработать в большем масштабе два первоначальных эскиза, сделанных в свое время с натуры в Крыму. Ему показалось, что это именно то, чем хотелось бы заняться сегодня. «Небо, — подумал он, — надо будет сделать в один присест, чтобы оно вышло легко и прозрачно. Вот здесь, в промежутке между волнами, гребнем этой и следующей, подкатывающей сзади, полетит чайка... Здесь солнце будет просвечивать сквозь зеленую воду...»

...Когда я встал и прибежал с ним поздороваться, он уже весь был захвачен работой. Сидя у освещенного весенним солнцем мольберта, он смелыми взмахами кисти торопливо накладывал на холст светло-зеленые мазки очень прозрачного тона. Старая картина с изображением бури опять была отставлена к стене. А здесь было затихающее море. Над скатами ослабевающих волн неслась едва намеченная чайка. Их гребни еще пенились тонкими разводами узорных кружев. Солнца не было видно, но все словно предчувствовало его появление. Сквозь разметанные ветром последние тучи вот-вот прорвутся его лучи; наверное, это случится там, дальше, где в небе просвет еще мутный, но радостный, как предвосхищение чего-то желанного, давно ожидаемого. Отсюда и этот блик, упавший на маслянистую воду сбоку... Вот сейчас оно выглянет, все просквозит и пронизет лучами... пока еще нет. Но может быть, дать его все же побольше... не в небе, а здесь, на заднем плане картины? Может быть, там уже больше света, больше радостных свежих красок?..

Проходит час, другой, третий. Я сижу молча, зачарованный магией этих уверенных взмахов кистей. На глазах у меня происходит волшебное. Я и не подозревал никогда, что отец может работать так быстро. Ведь обычно он очень подолгу пишет картины, множество раз в них все переделывая и изменяя... Я ухажу, пью чай, возвращаюсь. Он не замечает этого. По-прежнему у мольберта. Лоб его чуть блестит мелкими капельками пота. Морской вид чуть не с каждой минутой становится лучше и осязаемее. Работа идет, и чувствуется, как он доволен. Мысленно он уже прикидывает размеры будущей картины, которую напишет на основе этого, так удающегося эскиза. «По длине вдвое больше... и по ширине также. Тогда она будет в пандач «Буре»? Да, пожалуй. Размеры почти совпадут, впрочем, полной симметрии вовсе не надо... чайка чуть велика, надо продвинуть ее в самый разлив и немного убрать вокруг эту пену, чтобы она выделялась отчетливее...» Он перевел глаза на отставленную и, в сущности, оконченную «Бурю». Эта картина была вариантом другой «Бури», подаренной им его тетке, Рокотовой. Но на той, первой, из волн поднималась скала. На скале среди кустарников стояла едва различимая крохотная хижина, и в окошечке ее брезжил огонек. В письме к тетке он назвал этот огонек «ситцевым счастьем». На этой он изменил освещение, и все вышло куда более мрачно. Потом отказался и от намеченной было скалы, замазал и хижину. «Ситцевого счастья» не осталось. Какая разница — будет с этой, новой... и хорошо. Не довольно ли в самом деле мрачных картин? Жизнь и без них тяжела.

«Ну что это, все только дарите, Колечка, — не раз говорила ему другая тетка — Надежда Федоровна Козлова, — сделать бы вам что-нибудь для себя, для Новинко...» Вот эта и будет для них, для Новинко...

И он повернулся к своему пахнущему непросохшим маслом эскизу. Нет, конечно, она не должна быть мрачной, его новая картина. Вот именно так. Эскиз ему улыбался. Впереди катилась прозрачная зелено-аквамариновая волна, за ней, точно отступая назад, расстилалась неровная поверхность моря. Другая волна, перегибаясь на самом верху, извилисто уходила к самому горизонту, за ней виднелись всплески еще новых, уже просветленных валов, и темная полоса синего индиго с едва заметным вдали парусом шла поперек всей картины. А впереди, над самой водой, скользила чайка. Другие ее «товарки» много дальше

кружились на фоне легкой жемчужно-серой тучи. В небе за стремительно улетающим прочь белым облаком ясно угадывалось солнце. Оно уже освещало середину картины, играло на воде первыми крупными бликами, сыпалось яркими брызгами на кружевную алмазную пену...

Но как ему назвать ее? — подумалось мне. И быстро составив колер для подписи, он написал в правом нижнем углу крупными буквами: «Односеансный эскиз для картины «Просветлело». Писан в утро 27 февраля 1917 года»...

Боль спины и затекшие ноги заставили его пройти в спальню. Но перед тем как лечь, он передвинул мольберт таким образом, чтобы через открытую дверь картина была хорошо ему видна и не отсвечивала.

Уже в полудремоте он все еще видел ее. Потом ему показалось, что все это с ним уже было. Так же лежал он, и солнце так же светило в окна, и через раскрытую дверь он уже видел когда-то эту самую картину...

И так же шел жид бородатый,
и так же шумела вода...—

подумал он словами стихотворения Алексея Толстого, точно и ярко описавшего это странное ощущение, известное многим. А потом ему вспомнилось минувшее лето. День, когда точно так же, утомленный, он прилег в своем кабинете на диване и смотрел на недвижные липы и амфитеатр зеленых деревьев, окаймляющих круг, различая в листве их фигуры гигантов и рожи, то безобразные, то удивительно-классически правильных очертаний. Там были и чудовищные, и строгие, и смешные лица. На одном из них вместо двух зрачков два одинаковых листка согласно мигали словно блики устремленных на него внимательных глаз. «Ну, хорошо, один — от ветра... а другой? Все можно объяснить, но и сами объяснения будут такими же фантазиями, фантазиями логики, — усмехнулся он и случайно взглянул на свой домашний халат, висевший на гвозде в ногах постели. В складках халата четко обозначалась фигура старика. Косматые волосы низко спадали по обе стороны высокого сдавленного лба. Глубоко ввалившиеся глаза смотрели загадочно и неотрывно... Старик, казалось, опирался на палку. Костлявые, низко опущенные его плечи отчетливо угадывались там, где и следовало им находиться. Падающие книзу углы тонких запавших губ, затененных резкими морщинами, кривились чуть заметной усмешкой... — Откуда берутся все эти фигуры и лица? Всегда случайно? Но если рисунок их часто бывает так строг, как рисунок уверенного в себе мастера, долгие годы изучавшего анатомию тела и мускулов?! Гармония соответствий, художественная смелость линий... А пальмы и папоротники на стекле, изукрашенном морозом? Кристаллизация? Да, конечно. И все этим объяснено. Все — то есть ничего. А камень с распятием и предстоящими, хранимый в патриаршей ризнице в Москве, которым он любовался и к которому не прикасалась человеческая рука — рука художника, а крупная градина с Богоматерью и Спасителем у нее на руках, которую он поспешил зарисовать в свое время... И с двумя математически правильными венчиками? Не стихии ли сами спаяны, слиты навек с душой человеческой?.. Вот и это... — он снова посмотрел на старика, смотревшего из халата, — живой призрак, иллюстрация к моей фантастической пьесе...» — И осторожно, чтобы поворотом головы не спугнуть явления, он протянул руку за карандашом и блокнотом и стал набрасывать старика...

А мысли продолжали тесниться, сменяя одна другую в его голове. «Да, случайностей нет... все живет, дышит, все в единстве: человек и природа, мечта и реальное, настоящее, прошлое, будущее. Все сознательно существует... Анне-гофская роца в Москве, в одну ночь посаженная, и так же в одну только ночь ураган выдрал всю роцу с корнями. Тоже случайность? Не слишком ли много случайностей в жизни? А другой ураган, осенью прошлого года. Уже снег и мороз, а в доме дров ни полена. И оставлены всеми — рабочими, прислугой. Только сказал он себе: «Господи, ты это видишь! Как стало все трудно и тяжело...» — и в ту же ночь ужасная буря, разразившись везде, навалила деревьев, не только деревья, она нащепала лущину. Он помнит, как принес в дом две щепы трехсаженной длины. Никогда за всю жизнь не встречал он таких расщеплений. Сломано дерево, и по длине из ствола выдраны и далеко отлетели от пня узкие дранины... Ведь случались и раньше жестокие бури, сносило вершины, мачтовые сосны штопором скручивало, деревья так и срезало: какие у корня, какие повыше, — а этого не было... Вернувшись домой тогда, пока все собирались с пилами идти готовить дрова, в книжке своей записал он: «Что же все это значит?

Неужели теперь так расщеплена будет Россия? И та свеча, которую нельзя было зажечь больше во сне, — неужели она же? Конец ее? Да, и сны... эти сны...

Так где же тут место случайностям? Общий, единый закон нашей жизни — один. Видоизменения его бесконечны, опровержений же нет! Его сущность одна. И та сущность — Господь!»

Бегая я, чтобы прервать его мысли, торопливо заносимые им в записную книжку на соседней странице с каким-то рисунком. Он быстро закрывает книжку, прежде чем я успеваю рассмотреть, что в ней нарисовано.

«Ну-ка, ложись сюда рядом, ближе сюда... вот так, посмотри, что ты видишь?» — «Где?» — «Ну, в ногах, где...» — «Где халат? Косматый старик, папа, правда?» — «И ты его видишь? Так вот же смотри. Что, похож?» И он раскрывает страницу. Конечно, похож. Я и сам находить очень часто умею в пятнах и складках подобные рожи... Так, значит, и папа их видит? Об этом я слышу впервые. Очень это мне интересно. Но следом за мной идут взволнованные мама с Аксьюшей. Зовут они папу, скорей. Что случилось? — Что-то хорошее. Разве часто теперь случается что-то хорошее? Все идем. На меня не забыли накинуть шубенку. Оказывается, в двух нежилых комнатах верхней части пристройки Мадемуазель совершила открытие (не зря здесь всегда на окнах столько мертвых пчел): за тесовой обшивкой рой поселился, и, наверно, не первый уж год. Отдираются доски, одна за другой, — весь простенок заполнен отличным сотовым медом. Здесь меду — пуды! И «бамбошкам» отныне конец! До чего ж своевременны эти случайности!!!

Идут ясные дни. Последние дни февраля и первые марта. Из привезенной к вечеру почты узнается последняя новость: отречение царя Николая. Оно было подписано в тот самый день, когда отец заканчивал свой эскиз и делал под ним подпись, окрестив его выразительным словом: «Просветлело»...

Глава II

Вот и опять в полях кое-где появились проталинки. Возле них завязались шумливые галочки споры. Прилетели грачи. Они уверенно оттесняют прочих пернатых от этих, самую природою для них приготовленных столиков. Крикливые галки и хлопотливые воробьи жмутся по краям, попадают когтистыми лапками в снег и обиженно улетают искать других, еще не занятых прилетевшими грубиянами мест. Но таких мест уже почти не осталось...

Не то же ли там, в Петрограде? Сквозь звонкие выкрики сменяющих друг друга ораторов все громче прорывается еще непонятное, но многозначительное слово — большевики. Кто они, что им надо, чего добиваются? Никто не знает...

С почты привозят по-прежнему газеты, журналы. У них что ни день — новости:

1 марта. Издан приказ № 1 Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов...

2 марта. Отречение от престола Николая Романова.

3 марта. Отречение Михаила. Образование Временного правительства.

4 марта. Восстание матросов в Кронштадте. Убийство адмиралов Вирена и Непенина.

8 марта. Арест Николая Второго по постановлению Временного правительства.

С газетных листов смотрят «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская и еще какая-то тупая дегенеративная физиономия. Это Тимофей Кирпичников — первый георгиевский кавалер революции. Он поднял восстание в запасном батальоне лейб-гвардии Волынского полка, сопровождавшееся убийствами офицеров. Нет, чубатый казак Козьма Крючков был, кажется, лучше.

И тут же новое правительство: массивный Родзянко, седоусый профессор Милюков, хорошо упитанный Терещенко, а вот и Владимир Львов. Темная борода и взгляд из-под лысого лба — обер-прокурор Святейшего Синода. Где-то в доме еще лежит листок с нотами. Гимн самарского дворянства: «Мы шпагу носим за царя». Слова и музыка Вл. Львова. А сегодня он в числе подписавших постановление об аресте царя... Впрочем, может быть, носить шпагу «за» царя и означает «вместо»? Не очень вразумительные слова когда-то им написанного гимна теперь обернулись вовсе уже невразумительной биографией.

А вот, наконец, и он, кумир и спаситель, чудесный и неподражаемый Александр, от революции первый. На голове черный котелок или полувоенная, полуспортивная фуражка, а в иных случаях коротко подстриженный ежик, под глазами заретушированные мешки, рука обязательно за бортом пальто, сюртука или френча... Он садится в машину, идет, приветствует, говорит. пьет чай, выходит из Зимнего, входит в Зимний, опять выходит, еще входит, еще пьет чай,

еще приветствует, вот он до пояса, в рост, сепией, тушью, белилами, вот маслом, пером, акварелью, в офорте, в гравюре, пастелью и темперой. Снова выходит и входит... опять говорит и приветствует: «Верность союзникам! Война до победного конца! Вся полнота власти — Учредительному собранию!» И вдруг — что это? Откуда? «ФАБРИКИ — РАБОЧИМ! ЗЕМЛЮ — КРЕСТЬЯНАМ! Долой правительство буржуев-капиталистов. Мир без аннексий и контрибуций! Да здравствует мировая социалистическая революция!..»

Что такое? Грачи прилетели!

Об этом не пишут в тех газетах, что привозят нам с почты. Мало кто видел «Правду», но это известно повсюду. По деревням забродило. По фронту ударило...

Что там, на фронте? Братанье с немецкими частями. Солдаты ходят в немецкие окопы пить коньяк, не отдают чести офицерам... Воевать никто больше не хочет.

Семеновский полк остается стоять где стоял. В полк приходят немецкие офицеры. Говорят: «Зачем вы стоите? Отчего не уходите? Ни справа, ни слева ваших частей уже нет. Фронт открыт. Ведь мы и сражаться не будем. Получим приказ, обойдем вас и двинемся дальше... останетесь в нашем тылу...»

Установлено выборное офицерство. Ваня, незадолго перед этим произведенный в следующий чин (кажется, в капитаны), единогласно выбран солдатами и командует батальоном. От офицерского состава, с которым полк начинал войну, остались считанные единицы. Из них всего двое или трое были все время в строю, как Ваня. В их числе и Фольборт, продолжающий так же успешно свои ветеринарные занятия, и Тухачевский, появившийся ненадолго снова в полку после бегства из плена, чтобы осмотреться перед началом новой, неожиданной для большинства знавших его ранее карьеры... Из плена он принес с собой маленьких деревянных идолчиков. Сам их там вырезал, сам производил перед ними какие-то ритуальные молебствия, просил в чем-то их помощи. Рассказывает об этом товарищам, и непонятно: в самом деле он это серьезно или смеется? Над кем? Над собой, над ними?.. Впрочем, ведь он всегда утверждал, что Крещение Руси — преступлением было. Что следовало оставаться такими, как были славяне, сохраняя верность Перуну. Но все принимали это как мальчишеское оригинальничанье... А тут... кто его разберет...

Редки письма от Вани. Не до того ему. От Леши тоже не чаще, хотя он уже не на фронте, а где-то недалеко от столоицы, где полк под предлогом укомплектования выжидает, что будет дальше...

А что же у нас? Зарастают дорожки. Дичают цветы. Вот и лето прошло почти незаметно. Уже облетели на кругу белые розетки клубники и зреют сочные крупные ягоды, но сахар достать очень трудно, и варенья сварить удастся немного совсем...

Иногда одиночество прерывается появлением каких-нибудь новых людей.

Вот отец, посмеиваясь, читает только что принесенное кем-то письмо. Письмо в стихах:

Благословен Господь в Сионе,
Благословен и ты вовек!
Услыши весть о Спиридоне,
Никола — Божий человек!

Хотел бы я тебя узреть
В твоём зеленом вертограде.
На все сие мне, Бога ради,
Рукописанием ответь!

Это пишет отцу наш деревенский сосед, поэт-крестьянин Спиридон Дрожжин. Когда-то, еще до моего появления на свет, он часто бывал у нас. Я не раз видел его книжки: «Песни пахаря», «Воспоминания» и что-то еще. Нередко бывал он также снят на групповых фотографиях вместе со всеми, да и во многих моих детских хрестоматиях приводилось его популярное стихотворение «Первая борозда».

Знал я, по рассказам, и о том, как бывал он у нас с приезжавшим к нему замечательным немецким поэтом Райнером Мариа Рильке, который захотел свести знакомство с русским самородком. Рильке был в упоении от всего русского: от просторов, природы и хлебосольтва. Его творчество, импрессионистичное и камерное, оставалось для отца чуждым, но принимали его у нас радушно. Он немного знал русский язык, достаточно, чтобы на нем объясняться

и понимать разговоры, но его первое, и последнее, русское стихотворение, написанное в бытность у нас, оказалось, конечно, довольно-таки беспомощным. Помню, оно начиналось словами:

Белая деревня спала,
И телега уехала
В ночь; куда — не знает Бог...

Впрочем, не очень смущаясь слабым знанием языка и продолжая так же коверкать все ударения, он написал его довольно длинным.

Вскоре, после 1905 года, Дрожжин исчез с нашего горизонта. Кажется, сестра, тогда совсем еще девочка, на каком-то семейном торжестве предложила ему выпить с ней тост «за черную сотню». Старик не сумел отказаться и выпил, но, поперхнувшись, задним числом обиделся и бывать перестал. И вот решился напомнить о себе сам.

— Ну что же, пусть Спирия приходит,— говорит отец, дочитав стихотворную цидулу.

В результате этого решения и посланного им ответа в один из летних дней появляется Дрожжин. Его старомодный и поношенный, ниже колен, сюртучок, серебристая грива размещаются в средней комнате у обеденного стола, как будто и не было этих двенадцати лет. Старец с обликом благостного сельского трубадура настроен восторженно и склонен впадать в умиление по всякому поводу. Он с аппетитом уписывает зеленый салат с подливкой, запивая его принесенным со льда домашним квасом, а насытившись, начинает говорить, и говорит упоенно и без умолку, уже почти не уделяя внимания принесенному чаю с медовыми сотами:

— Подумайте только, ведь все, что под спудом держалось годами, теперь я смело наружу все вынесу, прямо на солнечный свет! Ведь собылось все, что грезилось? А? Что? Не правда ли? Вокруг точно впрямь Светлый праздник Христов! Душа веселится, поет!

Отец улыбается. Тут даже он безоружен. На Спирию сердиться нельзя. Он так простодушен и искренен, так хочет поделиться своей радостью, всех заразить ею, что даже не понимает возможности иного отношения. Ведь разрешены все вопросы. Все едины — народ, интеллигенция,— всем хорошо. Революция не проливает крови! — и все так хорошо обошлось. Александр Федорович, Павел Николаевич — это же умнейшие люди, культу-у-рнейшие! И не надо войны, конечно, они позаботятся с этим покончить скорее и так, как следует. Как же хорош Божий мир, когда... только подумать: свобода!!!

— Мир Божий хорош, как всегда,— отвечает отец,— удивительно, друг мой, что раньше вы этого не замечали. Ну, а все, что, как вы говорите, держалось под спудом, пожалуй, придется запрятать еще вдвое глубже и дальше, замкнуть на тройные запоры... забыть, вероятно, надолго...

Огорченный, распросчался престарелый пиит. Лишь лет восемь спустя я встретился с ним в Москве. Готовясь переиздавать свои стихи, он тщательно вымарывал все, что в них было о Божьем мире и Светлых Христовых праздниках. Даже та непритворная хвала, которую хотел он пропеть своим маленьким голоском, оказывалась не того качества, какое было предусмотрено вновь созданной регламентацией всяческой хвалы и восторгов...

На смену появлению Дрожжина приходит другое, очень красочное и необычное...

Вбежав невзначай в кабинет отца, я застываю на самом пороге от неожиданности.

С папой беседует мне незнакомый старик. Впрочем, нет: говорит он один, а отец только слушает, а тому ничего, видно, больше не надо. Он сидит боком в кресле. Отвороты длинной черкески, затянутой в осиную талию, откинута, и ярким пламенем рдеет сукно шаровар, заправленных в мягкие бескаблучные сапоги. На груди серебрятся газыри, из-под черкески виден кремовый атлас кавказской рубашки на множестве перламутровых маленьких пуговок, застегнутой на морщинистой старческой шее. Сбоку, на поясе, висит невероятный кинжал с рукояткой, отделанной чернью и серебром...

Оказалось, что это не просто так старик, а тоже дядюшка, родственник мамин — Мамонов, из той родни, что живут под Торжком в самом осинном гнезде Бакуниных и Петрункевичей...

Он немногим моложе отца по годам, по лицу же он просто ровесник старинным портретам, висящим в гостиной внизу. Очень подвижное, сухое лицо его напоминает кого-то ужасно... из прадедов, что ли... не то... да, пожалуй,

кого-то из прадедов, но всего больше в нем сходства с портретом Суворова, открывающим книгу «Русский чудо-вождь!».

— Что? А! Да, да! Мне покойная бабка еще моя говорила: у тебя, Александр, старинное просто лицо, нынче таких не бывает. Денщик мой вот тоже, бывало... — И, прервав разговор, он порывисто вскакивает с кресла и, перегнувшись почти под прямым углом — вот-вот переломится в талии, почтительно руку целует вошедшей смущенной сестре: — Рад вас видеть, племянница, в добром здоровье, дочка-то у вас, кузиночка, а? (Мама тут же сидит на диване.) Молодцом, молодцом... И красавица, я погляжу! Не краснейте, племянница, я ведь старик, мне все можно... Да, я начал вам про денщика...

Вот это рассказчик! Как живой возникает любимый денщик дяди Саши: голос, походка, привычки, чудачества, в которых оба не уступали друг другу. Турки его изловили, денщика, и замучили зверски, отрезали голову, выкололи глаза. В тот же день, спускаясь с конным разездом по горной тропинке, Мамонов наткнулся на турок. Одного наповал застрелил, другого, обратившегося в бегство, догнал и шашкой его зарубил. «Изрубил всего, как котлетину. Рублю и не вижу ничего — перед глазами все голова моего денщика. Он и не дышит давно, не понять, где ноги, где голова, а я все кромсаю крест-накрест его... — И при этом Мамонов ожесточенно рубит воздух ладонью.— Насилу опомнился, что же это я? Весь в кровище, Господи, точно мясник...»

Здесь не было строгой супруги его, Анны Николаевны, некому охладить пыл рассказчика обычным: «Ах, Сашенька, все-то ты врешь!» — и старик разошелся...

Одни рассказы сменяют другие, но во всех в них такой же блеск и яркие сочетания характеров, случаев, подвигов и анекдотов, как эти огненные штаны, черкеска с газырями и рукоятка кинжала. Любил прихвастнуть, но и не будь этого, нашел бы о чем рассказать. Живые глаза молодо и озорно горели, змеились улыбка тонкие, чуть синеватые губы, и тысячи мельчайших морщинок то взлетали, собираясь на лбу, то стремительно падали вниз, к подбородку, начисто бритому. В его оживлении было много детского: сам себя слушал с таким наслаждением, таким простодушием...

Впрочем, если чисто гасконская какая-то живость фантазии увлекала его нередко к преувеличениям, в основах он всегда оставался правдивым. Из жизни своей он наполовину сознательно, может быть, творил роман во вкусе Дюма. По духу же, вкусам и всем убеждениям это был вольтерьянец, заброшенный в мир с опозданием лет этак на сто...

«Нет, он к старости стал вылитая баронесса...» — смеясь повторяли о нем тетя Катя и мама.

А когда говорилось вот так — баронесса, без имени и без фамилии, знали все, о ком речь. То была его, дяди-Сашина, мать, баронесса Энгельгардт. Она все еще где-то жила — знаменитость прошедшего столетия. Давно минули годы, когда она пленяла старых и молодых красотой, эксцентричностью и остроумием. Застал ее позже и я, уже после революции, совершенно выжившей из ума пиковой дамой. Просватанная в молодости за сына знаменитого Шамиля, она схоронила рано умершего жениха и вышла вскоре за Дмитриева-Мамонова — отца дяди Саши. Позднее, овдовев, была еще несколько раз замужем, в том числе за неким Энгельгардтом, и эта фамилия так до старости за ней и осталась, а впрочем, может, и путаю. Может, напротив, это была ее девичья, первая фамилия. Точно не знаю. Детей от Мамонова у нее было много — все мальчики. Этих детей она плохо различала между собой, никогда особенно не интересовалась, где они, что с ними, и, кажется, знала их лишь общим счетом...

Когда Сашку еще не было пяти лет, она уже отправляла его одного из именин в Петербург и обратно; нашивали ему на спину холстинку с надписанным адресом и давали целый кондуктору, чтобы присматривал. Потом, как-то случилось, и адрес забыли нашить. Окруженная толпой поклонников, баронесса блистала на модных европейских курортах, а Сашок оставался, где — точно не ведал никто. Когда кто-то его разыскал в Петербурге, оказалось, что мальчика воспитывает дворник одного из домов по фамилии Курочкин и малыш так привык, что на вопрос любопытных: «Ты чей?» — отвечает уже без запинки: «Я курочкин сын!»...

Этот ответ младенца запомнился всем, и о нем всю жизнь напоминали Мамонову. Он стал так же широко известен, как анекдоты и находчивые реплики, передаваемые из уст в уста об его матери, которая, когда ей в неурочный час захотелось попасть на прием к московскому генерал-губернатору, на сообщение, что он принимает ванну, велела сказать: «Передайте ему, что он не Марат, а я не Шарлотта Кордэ; пусть халатом прикроется, что ли. Мне очень некогда!»

Можно ли удивляться тому, что и все ее сыновья выросли очень лихими и забияками и потом ни за что погибали один за другим. Старший был убит на дуэли, возникшей по какому-то пустяковому поводу. Другой залез на ворота в имении, и, когда гнали стадо, с ворот соскочил прямо на спину известному свирепым и неукротимым характером племенному быку, чтобы на пари проехать верхом на том быке. Бык, недолго раздумывая, выпустил храбрецу все кишки, распоров ему брюхо. Кто-то погиб на войне. Один лишь Сашок, вопреки всем холстинкам и дворникам, оставался жив и здоров. Он служил офицером во многих полках, но дуэли, скандалы и всевозможные истории сопутствовали всюду и ему...

Это о нем рассказывали, как он, назначив свидание доброму десятку по уши влюбленным в него барышень (всем в одном и том же месте), поглядывал, прячась за деревом, все ли явились, и наблюдал, как они прогуливаются по бульвару, недружелюбно поглядывая друг на друга...

И он же, вступаясь за «честь» одной из этих барышень, вызвал несколько позже на дуэль «до смертельного исхода» богача и бретера Коншина. Дрались на саблях, и Мамонов перерубил противнику связки на правой руке, так что тот уже не мог держать в этой руке никакого оружия. Тогда решили по «американскому» способу метать жребий, кому покончить с собой. Вытянул жребий Мамонов. Срок — трое суток. Но когда минул срок, противник, проезжая мимо, увидел, как Мамонов беззаботно стреляет по воронам из своего раскрытого окна. Возмущенный, он левой рукой нацарапал письмо: «Где же Ваша дворянская честь, Вы забыли, что быть уж должны на том свете? Считал Вас способным на все, кроме подлости, но как будто приходится изменить свое мнение и в этом...» Получив письмо, Мамонов задумался: в самом деле, пожалуй, получается неудобно. Не хочется, а ничего не поделаешь: надо! После раздумья он решительно хватил опия огромную дозу. Величина этой дозы его и спасла, о чем, впрочем, подозревать он не мог. Кто ж его знал, что нужна тут точная дозировка. Трое суток выхаживали почерневшее, бездыханное тело, едва разжав стиснутые зубы, отпаивали молоком и... таки выходили. Вторично травиться не стал он, да, кажется, и противник его этим удовлетворился. Так проходила жизнь. Производили в офицеры, разжаловали в рядовые, снова производили... Достигнув зрелых лет, он женился, вышел в отставку в чине корнета, причислен только безусым юнцам лет двадцати — двадцати двух, а ему шел шестой десяток!

Детей у них с женой не было. Он вел скитальческую жизнь, неделями пропадая на охоте и рыбной ловле, то просиживая напролет дни и ночи за винтом и преферансом у родных и соседей. Равных себе в этих играх не знал.

В момент объявления войны жена его была в Петербурге. Недолго раздумывая, отставной корнет накатал телеграмму на высочайшее имя, в которой излагал свою «всепопданнейшую» просьбу снова место занять «под знаменами славы». Все было сделано как это принято «в лучших домах». И без замедления из «собственной его величества канцелярии» прибыло распоряжение о зачислении корнета Мамонова в «дикую дивизию» (как называли в просторечии кавказские части) с приказанием немедленно прибыть к месту службы.

Возвратившаяся жена застала престарелого супруга уже в огненных штанах, примеряющего перед зеркалом только что сшитую черкеску. Затянутый в рюмочку, перегибаясь вправо и влево, он бормотал: «Ну и что? Ничего! Еще мы повоюем!» Тут глаза их в зеркале встретились. Супруги своей таки он побаивался. А сейчас у нее был решительный вид, не суливший приятного разговора.

— Это что еще за маскарад? Сейчас же снимай!

Но и он приготовился к бою. Отступать было некуда и слишком поздно.

— Э, милая, шутки шутить-с извольте! Это что? Монارشее, слышь, повеление!

Бедная старушка разрыдалась и стала собирать его в путь.

По прибытии в часть поручили Мамонову новобранцев. Надо было привить им воинский дух. Он вывел их за город и неумоимо манежил с утра до позднего вечера. К вечеру у командира бригады собралось общество — весь городской бомонд. День был жаркий, и после обильного ужина открыли дверь на балкон, и многие вышли туда освежиться. Под балконом была главная улица, и на ней показался отряд. Шли лихо, «одною ногой» печатая шаг. Оттягивали носок, соблюдали точные интервалы и равнение в рядах. Не подумаешь, что это те же вчерашние новобранцы. Залюбовались. Но подходя к балкону, солдаты вдруг грянули песню:

Черная галка. Белая полянка,
А я Марусенька...

Так же четко, как и шаг, отрывали слова давно забытой в армии солдатской песни «времен Очаковских», но препохабнейшей песни. Дамы поспешно ретировались с балкона, даже и дверь туда пришлось закрыть, но песня со всеми своими непечатными глаголами и существительными врезалась в уши, и от нее было некуда скрыться. Незамедлительно вызвали унтера, который вел новобранцев: «Кто обучил этой песне?» — «Корнет Мамонов, Ваше высокоблагородие!» — «Пять суток ареста корнету Мамонову!» С этого и началась новая служба в полку...

Почему у нас Мамонов так внезапно явился и в тот же день, просидев несколько часов и отобедав, уехал, я точно не знаю. Кажется, когда «дикую дивизию» двинули на усмирение восставшего Петрограда и ее распропагандировали большевистские агитаторы, он рассудил, что если бы дело шло о том, чтобы перепороть мужичков, которым это «всегда на пользу», то так, а стрелять по рабочим, тем самым, что, наконец, «взялись за ум» — это дело другое, отнюдь! И с этими мыслями, по дороге в свое имение, к нам завернул.

Для меня этот Мамонов, его фамилия, прочно связался не с мамой и не с мамоном, а с мамонтом. Конечно, ни ростом своим невысоким, ни подвижной сухощавой фигуркой на мамонта он не похож, а все-таки что-то тут есть... Что же именно? Ощущение такой же редчайшей из редкостей; очень ясное чувство, что этот вот дядюшка в нашу эпоху заброшен из очень далеких каких-то эпох, и других, подобных ему, давно не осталось. Во всей его «легкости в мыслях», живости характера, детскости, цельных по-своему взглядах, сочетавшихся с каким-то озорством партизана времен Денисов Давыдовых, что-то было на несовременное. И ощущение это становилось еще отчетливее благодаря языку. Отец наш очень следил за чистотой и точностью языка. Он требовал правильного произношения, оборотов и ударений. У него самого был богатый словарь, речь красочная, с обильными присловиями, цитатами, может быть, несколько лишь старомодная. Но у Мамонова — нечто иное. Он говорил языком почти екатерининских лет. Как, в результате чего ему удалось воспитать свою речь в этих нормах — не знаю. Находил ли он в этом своеобразный снобизм, ему нравившийся, было ли то чье-либо влияние, но так, как он, давно уже никто не говорил.

Провожая глазами шарабан, на котором пылали в закатных лучах огненные шаровары старого корнета, уносившегося от нас навстречу новым событиям и приключениям, отец только покачал головой...

Годы спустя, когда я снова встретил Мамонова и узнал его ближе, детские впечатления о нем лишь подтвердились.

Вот идет он по берегу Тверцы, медленно сматывая на дощечку, перекинутую через реку, бечеву перемёта. В какой-то фетровой ермолочке зеленого цвета, сродни зеленому сукну игорных столов, за которыми им проведено столько ночей. Впрочем, этот цвет уже трудно распознаваем. Из этой шапочки можно хоть суп варить — до того засалена она и столько пережила. Пробовал он и служить. Назначили его смотрителем городского музея в Торжке, куда свезли обстановку из ряда имений. Чего бы, кажется, лучше? Но когда экскурсанты, заинтересовавшиеся клавиесином, попросили его сыграть что-нибудь, он сыграл им... «Коль славен...», и служба на этом окончилась.

Можно еще рассказать, как добился он пенсии — не для себя (для себя не умел ничего добиваться) — «для этой старой бздуни — тети Лизы Бакуниной. Смотрю — голодает старуха. Я в Кремль написал: — Стыдно Вам, Владимир Ильич! Родная сестра Михаила Бакунина... Пенсию дали и поместили старуху в дом престарелых на все готовое. Чего же ей надо еще?»

И вот, осененное трепетным светом лампад, под родовыми большими иконами зябнет накрытое клетчатым пледом тщедушное тельце...

— Нет, раздумал... к чему помирать... Снова я там побывал... на том свете... позавчера... что там хорошего... вовсе там... нет ничего...

Говорить ему трудно, схватил воспаление легких. И температура высокая. После молчания:

— Мы еще рыбку половим! Сережа! Доставьте, голубчик, мне, старику, утешение: расскажите скабрзненский мне анекдотец!..

И немедленно негодующий возглас супруги из глубин заставленной шкапами и баулами комнаты:

— Александр! Как ты можешь!

Оправился он, половил еще рыбку и уже незадолго до войны, стоя в хлебной очереди (в то время были какие-то очередные и длительные затруднения), упал без сознания, а там и угас, спустя несколько часов, уже на руках у жены...

А дни продолжают идти, и жизнь тоже идет вместе с днями. Дутый ореол Керенского быстро тускнеет в связи с неудавшимся наступлением на фронте.

Кое-кто в нем начинает разочаровываться. Отцу не приходится разделять это чувство — он никогда не верил в Керенского. Доходят смутные слухи о Корниловском выступлении... Я окончательно перестаю понимать отца. Боевой генерал, видимо, верит в возможность спасти что-то... Правда, Ваня в последний приезд на вопрос о Корнилове сказал, что весь охарактеризован кем-то удачно придуманной фразой: «Львиное сердце и баранья голова». Но и львиное сердце как будто не так уже мало? А отец считает его едва ли не предателем. Он говорит: Вильгельм и Корнилов. Для него и тот и другой — враги. Почему это? Он не терпит авантюризма (так, кажется, он называет). Керенский, как и Корнилов — авантюристы, проходимцы истории. Но с другой стороны — большевики. Все от них в ужасе, а он останавливает: эти, по крайней мере, хоть твердо знают, чего хотят. Трудно представить что-либо ему более чуждое, но так надоела непрерывная болтовня всех этих правых и левых, до такой устали, до такого звона в ушах приелись их громкие фразы от имени русского народа, от имени революции, от чьего только имени не берутся ораторствовать все эти Александры Федоровичи, Михайлы Владимировичи и Владимеры Николаевичи, что, право, кажется, в его голосе при упоминании о большевиках начинают звучать какие-то почти сочувственные нотки.

Взад и вперед меряет он шагами ковер в своем кабинете. В одном из кресел сидит его брат — дядя Сережа, в другом Столпаков — дядя Леша, уезжающий завтра опять в Петербург. На диване тетка — Надежда Федоровна Козлова...

— Чего вы еще ждете? На что надеетесь? Не понимаю, — бросает им отец. — Вы еще обманываетесь всем этим кудахтаньем левых и правых... Пуришкевичей, Керенских и Милоуковых? Это же веселье акробатов... пир во время чумы... бессмысленный задор, без тени истинного горя, без макового зерна здравого смысла. Когда маятник часов испорчен, все их шестерни, стрелки, оси крутятся неудержимо, но часы не идут. Они не показывают больше времени. Они просто разводят с я. Или, если это сравнение кажется вам неудачным, это бред, бред, который уносит последние силы умирающего. Язык еще не парализован. Большой быстро говорит и часто, прерывисто дышит... Картина чисто клиническая, знакомая любому врачу. И чем дальше, тем будет говорить быстрее, тем громче, тем возбужденнее... перед тем, чтобы смолкнуть совсем, когда и язык откажет. Но не ищите глубокого смысла в этих речах... Сперва писали заголовки «Великая война!» — никто не обращал внимания. Стали писать: «Всемирная война» — никто и не чихнул. Еще более крупные взяли буквы, чтобы складывать их в слова: «Война Отечественная», но этому никто не поверил. Попросили царя удалиться. Колеса завертелись еще быстрее. Наконец раздался крик: Родина в опасности! Аудитория отвечала: Правильно! Еще громче закричали: Родина на краю гибели! Аудитория ответила: Верно!! Верно!! Послышался последний, уже совершенно истерический крик: Родина гибнет!!! Аудитория зааплодировала. Дальше уже говорить, кажется, было нечего, но за недостатком хлеба и зрелищ требовались какие-то эффекты. И пошли эффекты. Стали бить своих же раненых, ходить выпивать в окопы к врагам и бегать с фронта. Все логично и очень понятно...

— Ты как будто даже радуешься всему этому.

— Радуюсь? Я? Нет, дядюшка, прости, но мне тут радоваться нечему. Вот тому, что все остальные так плохо радуются, я удивляюсь, Николай плох, не хотим! Убрали. Кого хотите? — Александра Федорыча. Nate вам Александра Федорыча... — Нет, мы уже не хотим Александра Федорыча... Настоящие крыловские лягушки, просящие царя! И будут вам за это большевики — тот самый журавль, который засудит и проглотит, и, право же, туда и дорога — все, что могу я сказать!

— Все дело в нашем народе: самый подлый, самый низкий, самый гнусный народ, — раздражается тетка Козлова, — ни стыда, ни совести, ни чести...

— А на народ, дорогая тетушка, клепать не стоит, на него только и делали, что клепали. К тому же и народ тоже разный бывает...

— Ну да: «есть мужик и мужик. Если он не пропьет урожаю, я тогда мужика уважаю»... Но ведь пропьет, мерзавец, обязательно пропьет, — возмущается тетка.

— А хотя бы даже и так, — круто останавливается перед ней отец, закладывая большие пальцы рук за проймы жилета, — если нами было сделано все, чтобы он пропил свой урожай да и все остальное в придачу? Если иные пути-дороги для него заказаны? Тут уж, простите, вина не его...

— А чья же, чья же, спрашивается?

— Вина тех, кто довел до того, что мужик-землепашец, три года гнивший в окопной жиже, окончательно перестал понимать, за что он воюет. Его офицеры уже давно не могут этого растолковать не только ему — себе самим. За что ему драться? За Родину? Но она становится всесветной... За царя? Его уже убрали.

Правда, и убрали-то лишь тогда, когда он, в сущности, уже перестал существовать в сознании подданных в том качестве, в каком только едином и могло иметь смысл его существование... За материальные выгоды? Этот вопрос тоже предreshен в отрицательном смысле.

— Что же осталось солдату? Резать немцев во имя права целовать их в будущем братстве и равенстве? Так ведь они затем и пошли к ним в окопы. На что же откладывать? А кайзер отдал приказ — стрелять, а тут еще и Керенский затрубил наступление. Результаты налицо: армия побежала...

— Ну вот, теперь ввели опять смертную казнь за дезертирство, стараются снова поднять дисциплину. Может быть, еще все перемелется? — вставляет его брат.

— Да! Давайте, мол, еще воевать. Умирать уже, правда, не за что: там, за спиной, в тылу, все размыкали, но зато хоть душу отведем чем-то реальным. Надолго ли этого может хватить? Весьма сомневаюсь...

В саду, за окном, уже скорoblены осенним тленом пока еще первые листья. Где-то Аксюша скликает цыплят. Чуть-чуть вызолоченные редкими брызгами подступающей осени, шумят старые деревья, а солнце светит всюю, и небо глубокое, синее...

В газетах и журналах последняя столичная сенсация: Керенский арестовал дядю Володю, приехавшего к нему вести переговоры от имени Корнилова в качестве его представителя. Один сатирический журнал напечатал ядовитую карикатуру «Военные успехи России»: в клетке под охраною часового сидит очень похожий Владимир Николаевич. Подпись: Взятие Львова...

Приезжают один за другим Ваня и Леша. У Вани на станции отобрали револьвер и лошадь, которую вез он с фронта. Его обыскивали. Невеселое возвращение. Как и всегда, Ваня задумчив, Леша ироничен и шумен.

— Ну теперь хоть за одно я спокоен, — говорит отцу Ваня, — Лилишка приехал сюда; в Петербурге я все время о нем волновался — вечно лезет во всякие истории.

— Какие еще там истории? Мало вам историй кругом? — хмурится отец.

А Леша хохочет:

— Ваня вечно меня опекал на правах старшинства. Ну, иногда вырвусь из-под присмотра — он за мной, как за маленьким, право!

Ваня жалуется отцу: в дни, когда шли аресты повсюду, Леша, облачившись в полную парадную форму кавалергарда, отправился наносить визит к мадам Родзянко — матери его товарища полкового. Пришел и сидит в форме, к ужасу хозяйки. Ему говорят, что ходить так нельзя. Начинают искать, во что бы переодеть его. Слишком поздно: вбегает прислуга: «К вам, с обыском!» Леша, как был, в той же форме, лезет в окно и повисает, ухватившись за карниз третьего этажа, над переулком. Толпа собирается, смотрят, как кавалергард, висая на руках, перебирается к водосточной трубе. Спорят: сорвется или же нет, но когда, наконец, спустился, спокойно дают ему удалиться...

— Все же недаром в полку я считался одним из лучших гимнастов, — вставляет с мальчишеской гордостью Леша...

— Не знаю я, кем ты считался, но что стал ты в своем полку хвастуном, это верно. Да, впрочем, у вас все такие! — машет рукой его брат. — И так постоянно, — продолжает он. — Идем с ним по Невскому — какой-то оратор, забравшись на бочку, речь держит. Кругом, конечно, толпа. Алексей: «Идем, надо послушать, быть в курсе событий!» Уговорил-таки. Ну, конечно, все то же: интеллигенция и офицерство готовят нож в спину революции, а вот если разделить помещичьи земли на каждого, выйдет чуть ли не полгубернии... Слушаем. Кончил оратор и спрашивает: всем все понятно? И тут Алексей: вот мне, говорит, так понятно не все. Что же, товарищ, тебе непонятно? Отвечает, я, мол, недослышал, ветер от вас, товарищ, в другую сторону был, так что, значит, и не разберешь, чем от вас пахнет? Ханжой или денатуратом? Эффект речи был испорчен. Так ему ж этого мало: сам пытался влезть на эту проклятую бочку, я еле увел...

И на другой день то же самое. Заладил, что надо быть в курсе событий; утром встаю, а его уже нет. И вдруг на улице вижу: какая-то свалка, грузовики, красная материя в клочья изодрана, и Алексей в середине! Подхожу. Что здесь вышло? Да так, понимаешь ли, однопольчане поспорили. Выкатились с лозунгом на красном шелку: «Вся власть Учредительному собранию», подпоручик Благовосветлов с другими ребятами, а навстречу им Соловой — тоже из нашего полка, большевик, со своими. Те и эти остановились. Ну, большевики отняли у тех ихнее «Учредительное собрание»; те, как воспитанные мальчишки, погрозили издать кулаками и поехали дальше. А Соловой с ребятами начали рвать этот лозунг. Все пальцы себе поизрезали — прочный попался шелк. Тут и я поравнялся. Дети мои, говорю, всякое дело с умом надо делать, перочинный нож есть?

Так вот шелк надо сбоку надрезать, а там потянуть, и тогда уже вправду «Учредительное собрание» посыплется (проинструктировал их, так сказать).

— Только того не хватало — теперь, наверно, в полку считают и тебя большевиком...

— А пусть считают; у большевиков в голове еще есть здравый смысл, а уж эти учредилорцы, богом обиженные, просто кретины тишайшие...

Отец и Ваня смотрят на Лешу неодобрительно. Они хотят с него требовать как со взрослого. Да и как можно иначе? Он боевой офицер, с первых дней был на фронте... А боевому офицеру всего двадцать пять только лет! Он азартен, смел и легкомыслен. Игра, в которую сейчас играют все,— все-таки игра и для него, как и сколько бы он ни старался хмурить брови и облумывать положение...

— Но что же будет все-таки дальше?

На столе перед Ваней тарелка малины. Он рассеян, но ест за ягодой ягоду. Леша смотрит на него и, не дождавшись ответа, тоже принимается есть малину

— А как тебе кажется?

— По-моему, большевики возьмут власть...

— Так. А после?

— После начнется гурьевская каша...

Что такое гурьевская каша, я знаю достаточно ясно. Это вкусное, сладкое блюдо, в котором так много всего, что даже и не разберешь. А пахнет она апельсиновыми корочками... При чем это тут — непонятно...

Прерывает молчанье отец:

— Ну, расскажите же, как все-таки там?

— Хорошего, папа, мало,— отвечает ему Ваня, вскидывая на него свои спокойные голубые глаза (идеальный тип семеновца, как говорили когда-то: высок, светло-рус и голубоглаз).— Знаешь, творится, в общем, такое, что вот если бы, ну, словом, мне приказали бы завтра идти усмирять, стрелять по восставшим рабочим, народу — команду такую не смог бы я дать... Впрочем, если б и дал, то меня не послушали бы...

— Главное то, что не смог бы?

— Не смог бы. Сейчас... вот как хочешь суди! Я — не мог бы... Во имя чего? Они, в сущности, не знаю, как это тебе объяснить. Можешь ли ты меня в этом понять... Но они, конечно, по-своему правы.

— Нет, я понимаю. И если это ты, ты мне говоришь, так... это, значит, конец?

— Да. Конец.

Глава III

— Николай Алексеевич! Там у крыльца мужики...

— Хорошо, скажите им, я сейчас выйду.

У черного крыльца собралось человек пятнадцать. Есть среди них и совсем старики, есть средних лет, молодежи не видно совсем...

— Мы вот, значит, о жизни, и вроде насчет... ну, дальнейшего. Ноне много кой-чего брешут. И всякий — свое. Не поймешь, кого слушать. Списки тоже вот дали...

Не в первый раз приходят вот так, сами, поговорить. Брожение в деревнях усиливается. По рукам пущены списки для голосования. Что за списки, к чему ведет тот или другой из них — разберись тут. Столбиком шесть или семь незнакомых фамилий... Никому не известных. Вот одно только имя знакомое, внушающее симпатию и доверие,— имя Брусилова, прочно связавшееся с немногими крупными военными успехами в этой войне... Но это список, увы, беспартийных. Так что же это за люди? Те, что стоят в стороне и не могут ничего предложить? Тогда зачем они тоже фигурируют в списке? Или есть у них какая-то своя, беспартийная тоже программа и план будущего устройства на какой-то совсем беспартийной основе? И что это за план? Что за основа? И есть ли они вообще? Все неясно...

— Ну что же, спасибо за то, что пришли. Может, вместе попробуем, все, как-нибудь разобратся...

И отец начинает говорить перед этой аудиторией, группирующей вокруг крыльца... Говорит, как мыслит, не утаивая ни сомнений своих, ни мрачных дум о грядущем...

— Мне вот все говорят: они не поймут, им нельзя сказать правды, они не поверят: это про вас. Но может ли быть? Как же не верить тому, что перед глазами? Как не понять, куда нас ведут?! Оглянитесь: чем были мы с вами, во что превратились? Что мы слышим? Одно лишь: все наше будет! Что будет наше?

Что это «все»? Кто эти «мы», которые всем завладеют? А свое, то, засушное, цело у вас? Гонясь, говорю, за чужим, сохранили свое-то? Или не стоит беречь свое, когда много чужого? Что это мы точно слепые воздух руками хватает? Им сыт ведь не будешь! На чем же стоим мы? На что опираемся?..

Летят наискосок скоробленные желтые листья, где-то вверху переговариваются отлетающие журавли, плывут, покачиваясь в воздухе, осенние паутинки...

...Так и получается, что мы пустотой хотим завладеть, а тем временем последнюю корку хлеба свою и ту топчем ногами. И уже не осталось вокруг ни своего, ни чужого...

...Я не верю. Не могу поверить тому, что это мы с вами погубили родину, как о том говорят. Неправда, что вы еще дальше хотите бежать без оглядки, чтоб в яму свалиться. Трижды неправда, что сами хотите и храмы свои разорить, где от самой купели крестили вас русским крестом православным...

...Разорить тысячелетиями созданное на ваши же крохи и копейки? Созданное не только охотой и жертвами многих богатых, но и той лептой вдовицы, которую благословил наш Господь?! Быть не может того!..

...Скучно ли, хорошо ли, но все мы и каждый из вас были хоть сыты... Я молчал бы, глядя на свое разорение. Горя в этом еще нет для меня. Верю, что испытания посылаются Богом — укрепить нашу веру. И стану ли я защищать или даже оплакивать этот свой угол, когда все вокруг гибнет? Защищать себя против вас, если вижу, что сами вы гибнете? Голод идет небывалый на всех нас. Враги уже заперли Черное море. Румыны прибрали к рукам хлебную Бессарабию. Сибирская дорога встала. Белое море хотят взять, а Балтийское уже взяли у нас...

Вот пришли вчера и отняли хлеб мой, последний, которого скоро нельзя уже будет купить и за деньги. А я отдал троих сыновей для защиты, и ваших ведь тоже, домов от врага. Старший сын мой — цвет семьи — сложил за нас голову, второй, израненный, которого сейчас его товарищи по доброй воле выбрали своим командиром, потому что верят ему, проехал через всю Россию, и никто не посягнул на выборные права его, а у нас на станции его обыскали и отобрали у него лошадь и оружие. Правильно ли это? Хорошо ли будет тем, кто делает это? Мое отнимают, а свое-то удержат? Плохо будет не мне одному — и вам придется не лучше...

— Как же так? Ну вот ваше, конечно, дивнительно... ну, а нас-то за што? — незлобиво и простодушно роняет кто-то из толпы.

Летят шуршащие иссохшие листья; все прожилки в них уже обескровлены, сока в них нет, и ничто не способно их вновь оживить. Точно так же слова и понятия: одни умирают, другие приходят. И слова, полные для него выстраданной душевной муки, для них эти самые слова мертвы, обескровлены так, как вот эти осенние листья. Новый журавлиный клин тянется в небе высоко над садом, косые лучи просквозили наполовину оголенные ветви. Солнце клонится к вечеру, к закату...

Сознание бесполезности, тщетности таких разговоров подступает все ошутимее. Может быть, надо иначе? Но где отыскать те единственно нужные, всем понятные и убедительные слова? Ведь они пришли сюда без злобы, пришли именно за такими словами, пришли к нему... и он говорит еще...

Он рассказывает о своих поездках на фронт, обо всем, что пришлось там увидеть. Не скрывая, говорит и об ошибках командования, о том, как в результате неумелого кабинетного руководства гибли люди и терпели поражение в боях. Подчеркивает, что и это, однако, не было изменой, предательством, а объяснялось ошибками, недостатком людей, способных руководить операциями в такое трудное время, отсталостью в деле вооружения и снабжения артиллерии снарядами; говорит негромко и просто, без всякого пафоса, словно себе самому еще раз объясняя, своим отвечая безудержно набегающим мыслям. Говорит и о том, над чем он работает, почему ему кажется важным им создаваемый труд, труд всей жизни.

— Я хочу, чтобы память о всех мною встреченных, узанных в жизни, не угасла... Хочу помянуть добрым словом все доброе, что я имел от людей. И мне горько, что труд мой, наверное, пропадет, так же, как пропадет этот дом... но и в доме этом и вокруг что мне свято и дорого? Что ценнее всего? Ни вы и никто другой не увидите и не оцените этого... Большая зала в доме мною возобновлена и отделана. А знаете, кто ее создал? Ваш, слободской самоучка — крестьянин Самойло. Мне приходилось бывать во дворцах. Лучшего по простоте и художеству я и там не встречал. Я чту память его и труды, как чтит мой отец, от своего отца воспринявший эту добрую память. Вот вы видите, елочка выросла. Что в ней? Ну, елка и елка, срубить — так два раза печь не истопишь. А мне она многих деревьев дороже. Почему? Сын покойный сажал, тот, что пролил всю кровь за

родные святыни... Вы тоже отцы. Если понять захотите, поймете. Таково — то богатство мое — не золото, не серебро — их давно не осталось, да я и не ими жил в жизни, не их собирал... Простите, если что и не так вам сказал — то, что на сердце, то говорю...

Аудитория примолкла. Чешут в затылках корявыми пальцами, перебирают сивые бороды...

Задают вопросы, советуются, спрашивают подтверждения или опровержения волнующим слухам. Беседа затягивается. Расходятся медленно: по двое, по трое. Не спешат уходить. Прощаются, благодарят за беседу. Вот еще один подошел, поклонился: «Спасибо тебе»... и другой: «Хорошо, барин, растолковал нам, спасибо, только... только... дело-то вот ведь какое»... Умолк и стоит.

— Ну, что?

— Ды вот пока говоришь — тебе верим. Другой придет, говорить станет — будем верить ему... Потому... это рази поймешь... Кажный, значит, свое, а мужик, он что колос на ниве, куды, значит, гнется один — туды все... если ветер, значит, подул...

Уходили в деревню, домой, а там их уже поджидали другие. Слышались истерические выкрики дезертиров на сходках. И опять росло, поднималось знакомое, будоражащее темную, глубоко запрятанную слепую ярость: «Чужеспинники! Им бы за чужой, да мужицкой спиной воевать. У мужика рук, ног много! Пусть-ка сами попробуют! Будя! Попили кровушки! Все наше будет! Нет, врешь! Вот фабрики, землю разделим, тогда заживем!»

Вспоминала сестра: «Вот ведь и в девятьсот пятом году приходили: жгли имения, грабили всюду кругом, даже как-то, казалось, опаснее было. Но все было ясно зато: мужики — мужиками, громилы — громилами. Папа тогда вооружил всех нас, управляющего, слуг, — словом, всех, кто способен был носить оружие. Получился отряд ничего. Кто — с винтовкой, кто — с двустволкой охотничьей, кто — с револьвером. Провел он учения. Когда ночью прибежали сказать, что идут, вышли все по тревоге, построились. С Миллионной надвигалась толпа с палками, с ружьями. Ночь уж была. Нам оттуда кричали: «Выходите все вон из домов. Стрелять будем!» Раздалась одиночные выстрелы. Где-то в доме разбилось стекло. Мы стояли, ждали команды. Первый залп дали в воздух, все разом. Там остановились, но не уходили. Кричали, грозились. Опять два над кустами зеленых шаровидных туй, разросшихся перед домом, свистнули отдельные пули. Несмотря на предупреждение, они попытались продвинуться снова. Папа скомандовал: следующий залп по наступающим. Послышались крики: кто-то был там у них ранен. Разбежались... Было весело, вовсе не страшно: папа, с револьвером, рядом стоял, подавая команду, рядом трое его сыновей, дочь — всего человек восемнадцать... Если пришлось бы, готовы все были укрыться в дом и осаду выдерживать, из окон отстреливаясь до последнего патрона. Никаких колебаний. Все ночи несли караулы мы вокруг дома. Существовала уверенность твердая, что надо делать, зачем; было всем очень ясно... А теперь? «Как себя защитить мне от вас, если знаю, что сами гибнете», — было не фразой пустою. Именно так положение отец понимал. Оборона своего родового гнезда от всякого посягательства, которая казалась естественной и необходимой реакцией на события двенадцать лет назад, сейчас никому не могла прийти в голову. Что-то свое защищать было бы в этой пуганице понятий, событий и мнений преступно, бессмысленно».

Снова и снова приходили к отцу из деревень, уже другие. Они, хозяйскими, нет, воровскими глазами высматривая, шарили всюду... Выходя к ним, отец, уступая настояниям мамы, опускал в правый карман заряженный револьвер. Нам было известно, к чему призывали не раз агитаторы... Братья давно уже снова уехали в столицу. Кто-то бродил по ночам возле дома. Рвались псы на цепях, заливаясь отчаянным лаем... Отец поднимался, подходил к форточке; открыв ее, лицу слушал. По небу плыли шершавые низкие тучи, и ветер шумел. Если псы не унимались, приходилось одеваться, брать снова оружие, сходить вниз, всматриваться в сад через темные окна нижнего этажа, выходить на крыльцо. Присоединялась к нему здесь и мама с фонариком. Вдвоем обходили они вокруг дома; хрустел под ногами песок, сад чернел неизвестными черными купами. Собаки, узнавая своих, радостно повизгивали, виляя хвостами. По небу плыли шершавые тучи... Возвращались...

Отец ложился, брал в руки толстую свою тетрадь в обложке из черной клеенки и, лежа, писал до рассвета. Засыпал, когда уже солнце всходило, и все тот же, десятилетиями знакомый пейзаж восставал из ночных и рассветных теней за окном.

На раме окна горели отражаемые стеклами первые лучи нового дня. Все было обычным, как и всегда в это время года и суток. Но вот серебристое облачко, набежав, потянуло за собой сизо-серый шлейф длинной тучи. Смолкли в саду голоса, почернело в небе. Дождь, видно, надолго, и ему не видно конца. Холодный и беспросветный, он налетает порывами, обрушиваясь на дом и сад из этой всеобъемлющей тучи, косыми крестами зачеркивая все, что только что было так щедро рассветом обещано...

Я просыпаюсь, тянусь, тру глаза кулаками. Хорошо спится утром, если льет на дворе. И вставать не захочешь. Однако пора, вероятно, уж поздно. Одетый, помытый, стою у икон и молюсь, повторяя механически заученные слова, в смысл которых так никогда и не приходит в голову вникнуть. «Отче наш», например; пусть я знаю, что это молитва Господня — обращение к Богу; все же слово Отче — отец — слишком прочно вошло в мой внутренний мир как обозначение папы — отца... «Иже еси на небесех»... Сколько б сестра ни читала мне вслух и не рассказывала ветхозаветных и евангельских разных преданий, сколько ни объясняла бы раз все своими словами, «на небесех» — для меня это значит на небе, но небо мое — не райское, бесплотное и какое-то неосознано-неубедительное, а наше, вот это самое, откуда и дождь, и солнечные лучи... Если «хлеб наш насущный» — это обед наш и завтрак, «долги», которые мы должны оставлять «должникам нашим», — это мои обиды и раздражения против Аксюши и Мадемуазель, то как же иначе: «Отче наш» — это папа — начало начал всего быта, распорядитель важнейший и «хлеба насущного» и «должников». Я уже знаю, что, кажется, это не так и настаивать было бы даже, наверно, грешно на моем толковании, но по чувству это так, и только так... А вот «Царю небесный» почему-то уже не относится к папе, а, вопреки всякой логике, к маме; тут звездное небо ночное и мама, конечно, она, кто же вечно отводит грозу, кто смягчает удары «Отче наш», кто «Утешителю, Душе истины», как не она? Кто первым спешит мне на помощь при всяком несчастье, болезни или наказании, как-то сразу, даже всегда постоянно стоящую рядом сестру отодвигая на второй план без единого слова и жеста? Кто, кажется, даже вовсе и не умеет сердиться по-настоящему, кто мягче, нежнее всех в мире? Настоящее «правило веры и образ кротости» кто? Кто до того незлобив, что, чересчур привыкнув к этому, я нахожу это слишком обычным, таким естественным, что даже ценить не умею, не ощущая в любви ее ни дна, ни границ... Всепрошенье и жертвенность так же свойственны ей, как дыхание, а если так, где же жертва? Свойства, данные от природы, ценятся редко. Понять это все я еще далеко не дорос, а, молясь, привычные мысли и связи мелькают, как и всегда. Что же касается Бога, то есть ли он еще, Бог? — вдруг возникает, уже не впервые, неясное подозрение. Все кругом говорят: есть. Но, может быть, так говорить полагается детям? Может быть, так повелось уже: надо, чтоб верил ребенок для пользы его же? А то ведь иначе, пожалуй, не станет он слушаться, всякие станет «прелюбы» творить и «кумиры», чтить как положено мать и отца перестанет, положим, не я, а другой (не у всех же такие родители, как у меня), вот для общей остротки всем детям взяли да и придумали Бога? Может быть, так им всегда и везде говорят, а сами-то взрослые — знают? Нет, кажется, все-таки нет. А церковь, иконы? Всего слишком много такого, чтобы все это только за этим и существовало... я думаю, глупости, кажется, а впрочем, кто знает? «Достойно есть яко воистину...» — кончаю молитву. Мой чай готов у Аксюши...

А на улице все продолжается дождь... Льет и льет. Пока чай пью, и папа проснулся. Допив, бегу с ним здороваться, забираюсь к нему на кровать...

— Ну-ка, прочти мне вот это!

Я беру отпечатанный на машинке лист — начало его фантазмагории. В прочитываемых мною отрывках сталкиваются фантастические персонажи. В них персонифицированы силы природы, душа и страсти человеческие. Все живет, говорит, действует, борется. Пейзажи, на фоне которых развиваются эти события, напоминают наши хорошо знакомые пейзажи: пруд, поле, каретный и сенной сарай, Слободскую и Катугинскую дороги, Ивановский луг. В коллизиях и отдельных сценах нетрудно узнать многое из того, что сейчас волнует людей. Все, что здесь происходит, очень похоже на Таврический дворец с Государственной думой или на Временное правительство с бесплодными мечтами об Учредительном собрании. Я еще слишком мал, чтобы узнавать в сценах, написанных отцом, петербургскую политическую сутолоку. До меня доходит лишь внешнее содержание фарса, его комическая сторона. Не постигая за ним ни скрытого смысла, ни цели, я вижу лишь красочную канву...

— Ну а теперь дай-ка, — прерывает отец и, взяв у меня из рук два прочтенных последними листа, только вчера переписанных набело, ставит на

них размашистый крест цветным карандашом...— Теперь пойдика займись чем-нибудь. Это надо все переделать...

— Почему? Было, кажется, так хорошо...

— Нет, мой друг, до хорошего еще далеко. Когда я перечитываю то, что написал, и нахожу слабые сцены, я на них набрасываюсь, вымарываю и переделываю не жалея до тех пор, пока они-то и не станут самыми удачными, а тогда становятся видны другие слабые места, которые в сопоставлении с ними проигрывают. Очередь таким образом доходит и до них. А когда так все пройдешь по несколько раз, тогда, может быть, что-нибудь и получится. Бояться работы не надо. Если работы бояться, не стоит ее начинать!

И я покидаю отца, покрывающего широкие поля страниц, просветы между строками и обратные стороны опечатанных листов новым текстом, в стремительном полете карандаша, в сосредоточенно прикованном к его труду взгляде, в забвении всего, что его окружает...

...В ясные теплые дни все снова в саду. Но это уже не перепланировка клумб, пересадка цветов и расчистка дорожек, не поливка, прививки и внесение в почву тучных удобрений сегодня на очереди. В землю зарывают другое: обертнутые просмоленной парусиной хорошо смазанные револьверы, уложенные в низкий старинный футляр от какого-то музыкального инструмента.

Что еще надо прятать, спасти от грядущей невзгоды? Серебро почти все пропало уже в Петербурге, в закладе. Золота и вообще-то почти не было. Главная забота не в этом. Теперь, как и всегда, отец хотел бы обезопасить то, что кажется ему действительно ценным: переписку, архив. Но все это просто так не зароешь. Ни одна упаковка не выдержит сырости и почвенных вод, разлагающих и металл и дерево...

Так что же делать с архивом?

Все папки серыми грудами лежат на полу, бечевой перевязанные. Мало-помалу они заполняют огромные, обитые парусиной сундуки. Один, другой, третий, пятый... Шесть сундуков одинаковых, таких, что в каждом из них, согнувшись, мог бы жить человек...

Все они плотно набиты. Здесь столетняя переписка многих семейств. Документы и ценнейшие материалы о войне 12-го года, декабрьском бунте, подлинны и никому не известные. Дальше Севастополь, освобождение крестьян, Бакунин и Герцен, даже Карл Маркс в его связях с Россией. Сюда, в кабинет отца, иногда проникали приезжие историографы и поражались... От кого-то прослышав об этом архиве, был, например, здесь Рязанов. Он скопировал для себя несколько анненковских писем, и уже спустя несколько лет после революции, читая его интереснейший труд «Карл Маркс и русские люди сороковых годов», я нашел в сноске благодарность отцу и упоминание об этом от автора.

Письма Сенковского, Глинки, Листа и Рубинштейна, переписка бабушки с Фламарионом, рисунки и письма Брюлловых, Боровиковского, Венецианова и Трубещкого. Письма Волконских и Вяземских... Как уберечь? Где спасти? А спасти это необходимо! Это ведь даже не наше. Это общее, русское прошлое, то, которым Россия и впредь будет жить... Если только будет еще...

В доме тоже есть тайничок. Как-то, увидев едва притворенную дверь на белый чердак, туда я влетел и... увидел: в полу, между балками, там, где всегда был такой же сухой песок, как и всюду на чердаке, зияло отверстие, свет в нем горел. Заглянул: лесенка вниз и какие-то банки и ящики. Между ними Аксюша с маленькой керосиновой лампой. Не успел я спросить ничего, послышался сзади раздраженный голос отца, и от увесистого шлепка так же стремительно вылетел в направлении противоположном, за дверь, в коридор...

Позднее узнал: в эту комнату темную были упрятаны большие банки с вареньем, мешка два крупы и... любимые книги отца: Шекспир, Байрон в редких изданиях, старинные французские книги с раскрашенными от руки иллюстрациями, «Costumes historique», «Nos oiseaux»* — Жиакотелли, некоторые старинные портреты и картины.

Дом опустошается с каждым днем заметнее. В кабинете отца опустевшие полки зияют, на выцветших синих обоях темнеют прямоугольники на месте снятых портретов...

И сад заброшен и запущен — так никогда еще не было. Никем не сметается с дорожек листва. Она грустно шуршит под ногами. Деревья уже совсем облетели. Их голые сучья торчат обнаженно и мрачно...

В соломенном канотье своем с черною лентой вокруг тульи проходит возле дома отец. Он ловит себя на том, что по многолетней привычке смотрел

* «История костюма», «Наши птицы» (франц.).

хозяйским глазом на сад и дом, примечая, что там или здесь следует сделать. Ничего уже больше не надо здесь делать... Ни-че-го... Все останется как есть, будет сыпаться, стареть, разрушаться. А там придут эти, новые, придут запако-стить, затоптать что останется, без цели, без смысла, с гоготаньем, ухарскими ухватками. Разве что-нибудь могут они понять, почувствовать?! Полулюди, полуживотные... Да разве только наполовину животные... Не хуже ли всякого животного... Ему вспомнилось, как его покойная мать в своем кругу нередко говорила о тех, кто живет, не ища в жизни подлинных ценностей и настоящей правды, весь смысл жизни своей полагая в погоне за насыщением своих инстинктов и призрачными удовольствиями. С мягкой, снисходительной полу-улыбкой. «Что ты от них хочешь? Их ничему нельзя научить, ни о чем с ними договориться. Не надо только ни в чем подражать им. Ils ne sont pas même des hommes, mon ami! Ce sont des petits animeaux, qui suivent leur instincts^{*}. А теперь это уже не «petits animeaux».

Он остановился у калитки маленького огороженного садика, под самыми окнами. Высокий штакетник был еще и сейчас завит сухими плетями дикого винограда с темно-красными листьями. Здесь, у этой самой калитки, нечаянно взглянув на свои ноги, из-за недостатка обуви обутые в балльные лаковые ботинки покойного Коки, он сразу страшно ярко, до мельчайших подробностей вспомнил... Эти ботинки блестящие, всего раза два надеванные сыном, он носил с каким-то особенным чувством. Сейчас, сверкнув под лучом заходящего солнца своими глянцевыми носками, они так ярко напомнили ему те дни, когда он видел их еще не на своих — на его ногах!

И эта калитка... Этим кольцом он стучал, когда как-то рано утром (все в доме еще спали) приехал и подошел к дому с этой стороны... Как забилося сердце, когда, встав с постели и подойдя к окну, отец увидел его там, внизу...

— Ты? Сейчас! — И накинув халат, он, в одних туфлях, сбежал в сад и отпер калитку. Обнявшись, они молча стояли, не говоря друг другу ни слова — ни тот, ни другой... А кругом цвели цветы, звенели птицы, шумели деревья...

Никогда больше это не повторится. Не зазвучит это железное кольцо так осторожно, чтобы не разбудить слишком резко, не встревожить... (даже звук этот жив в ушах до сих пор). И его побледневшее от волнения лицо, пальцы, продетые сквозь решетку, белые пальцы на окрашенных в зеленую краску косых планках. И потом... уже иная бледность этого любимого лица, этих рук, сложенных на груди, лицо с выражением строгого внимания, словно прислушивающегося к погребальному пению... Как все это снова схватило за душу! Схватило, сжало, впилось, и... разве забудется, зарубцется, отпустит?!

Облака пронеслись, точно мысли, одно за другим, торопливо затеняли то один, то другой куст или клумбу. Вдали под последними лучами загорались луга. Луч переменялся все дальше, туда, где, окруженная лесом, розовела далекая колокольня...

Сколько раз, дней, лет было все это видено. И все-таки никогда не насмотришься на все это досыта! Мир чудесный и светлый, но и до чего ж он жесток, до чего ужасен!..

Да... Что бы еще ни случилось, пусть где угодно, все равно где... Только... только б не здесь. Здесь боль будет слишком большой, слишком жестокой...

Решение, пришедшее так вот, само, как-то сразу окрепло и оформилось в последующие дни.

Если больше рассчитывать не на что, а это действительно так, если здесь уже не свое, лучше не ждать, по крайней мере, здесь...

Шли какие-то переговоры. Раза два приезжала тетка Козлова. Отец наедине с ней совещался, и маму ждали потом.

Мелькали дни, быстрые, торопливые, и ночи, долгие, медленные. Отец спал плохо и мало. Просыпаясь среди ночи, сквозь припухшие, залепленные сном глаза я видел в соседней комнате огонь свечи на его ночном столике, старинном столике красного дерева в форме маленького бюро. Он писал, потом поднимался и обходил комнаты, думал стоя, глядя в густо усеянное звездами черное небо через открытую форточку. Стеариновая свеча медленно оплывала, отражаясь оранжевым бликом в никеле револьвера, лежавшего с ней рядом в старинной глубокой полировке постели, в стекле окна...

^{*} Это даже не люди, друг мой. Это мелкие животные, которые следуют своему инстинкту (франц.).

Сейчас, много лет спустя, передо мной лежит его последняя, случайно уцелевшая у меня тетрадь, записи которой мне лишь не так давно удалось прочесть полностью, с трудом разобрав неразборчивые, нередко недописанные слова и строки. У него была привычка думать с карандашом в руках. Поэтому записи отдельных мыслей, необработанные стихи, монологи и сцены черновых вариантов, случайные зарисовки людей, деревьев, птиц перемежаются в ней с коротенькими заметками дневникового характера. Эти заметки встречаются редко. Но тем ценнее они для меня. Ведь благодаря только им и этой тетради я могу говорить о нем, не надевая его своими чувствами, своими мыслями, своим пониманием вещей, пониманием человека другого времени, иначе сложившейся жизни, связанного с ним очень тесно и вместе с тем разделенного бездной нескольких (и каких!) десятилетий...

Отрывочная случайность этих записей не всюду позволяет мне брать их в кавычки, хотя и хотелось бы настойчивее подчеркнуть, что это подлинные его слова, его мысли, а не мой претенциозный домысел, не попытка изобразить своими средствами, своим пониманием невозможный облик все же таки другого человека... Поэтому далее я даю несколько записей, ничего в них не изменяя, такими, как есть.

«12 августа. Проснулся рано. Еще было темно. Долго стоял у раскрытого окна. Какая-то планета в Тельце светила немигающим светом, и все созвездие, и Капелла с ее подвеском, и другие звезды то скрывались, то неожиданно выглядывали и снова исчезали ранее, чем мог уловить их глаз, играя в прятки с облаками. Небо было настолько освещено, что легко было отличать землю от кустов. На востоке оно уже светлело, принимая чуть заметный розовый оттенок. До восхода было еще далеко, но светлые, побеленные камни ограды уже были ясно различимы среди обвивающего их дикого хмеля...

31 августа. Боже, какой ужасный день, какое пробуждение! Несмотря на весь ужас войны, на гибель родины, в которую я еще и не верю, ибо все в руках Божьих, несмотря на возникновение гражданской войны и устремления Корнилова и Вильгельма на Петроград, на расстройство дел, голод и обнищание, неизвестность о двух сыновьях, непережитую потерю старшего, на лишения примитивного порядка в доме и гулянье разбойников вокруг него, несмотря на столько горя и одиночества, что и предвидеть было нельзя, пустое, в сущности, обстоятельство, касающееся моего крошки, повергает меня на край самой бездны отчаяния. Никогда ни личное положение, ни жена, ни какая-либо другая женщина на всем протяжении 60-ти лет моей жизни не охватывали таким безумием душу, как малейшее в отношении детей моих.

Боже мой и судьба человеческая! Если вы не даете человеку счастья, то хоть обманите его, дайте забыть, дайте обольщение надежды видеть это недоступное ему счастье, хотя в смутном призраке, в будущем, в этом бескорыстном будущем, где его уже не будет: в детях его или в следующем поколении — чужих! Так мало просит человек, так мало ему надо и в том ему отказано! Он должен жить, работать, мучиться, и создавать себе подобных, и воспитывать их словом своим для последующего отчаяния и горя.

...Я должен был жестоко наказать моего малютку. Виноват ли он? О, конечно, нет! Кто может быть виноват в этой жизни, и тем паче ребенок. И, сознавая это, бить его?! Ужасно. Но необходимо. Необходимо чем-нибудь образумить, хотя в данных обстоятельствах это и выше сил, и даже бесполезно.

Как весело и скоро, бывало, нахлопаешь и приласкаешь старших! И здорово, и действительно, и какие плоды и результаты! Вышли люди. И если в чем все же не так обучены и воспитаны, так по иным причинам. Недостаток преподавателей и те, что были, случайны... Но теперь, в то время, когда уже ничего нет...

Неужели позволить гибнуть милому мальчику, умному, способному... И ведь предвидел я, что за время будет. Не хотел больше иметь детей. Не мог себе честно позволить этого, чувствовал, какие дни наступают. Жена! Она понесла его от меня и на мой ужас: что ты сделала?.. Да что ей? Она и не считает себя ни в чем ответственной, ей и горя мало. Женщина вперед не может страдать, она плачет, снявши голову, по волосам. Но ведь и я-то, освобожденный ею от ответственности, я был в восторге, когда она подарила мне ребенка, часть моей крови и духа... А сейчас, когда он вступает в самый опасный возраст, я отчаянно, как тонущий, бьюсь, чтобы спасти его... спасти... Для чего? Что готовлю я ему впереди, отравляя те немногие мгновения детства, которые ему остались до полного безнадёжного сознания этой ужасной, проклятой действительности! Прости мне, Господь, и ты, моя крошка! Ничего не могу и ничего не придумую, чтобы обеспечить твоё существование и избавление. Тебе, Пресвятая Матерь

Божия, в твои Пречистые руки отдаю судьбу детей моих и этого ненаглядного беспомощно жалкого в змеином водвороте нашей жизни младенца!»

Немало лет прошло, прежде чем я расшифровал и прочел эту торопливую запись, сделанную карандашом на одном из листков записной книжки. Могу, к чести своей, сказать, что она в существе своем не открыла мне ничего нового, хотя, читая ее впервые, я и не мог сдерживать слезы. То большое понимание друг друга и та настоящая любовь, которыми когда-то держалась наша семья, как ни мало оказался я по условиям времени к этой семье сопричастен, достаточно все же коснулись меня. Невероятная яркость воспоминаний, начинающихся с самых ранних младенческих лет, отдельных слов и фраз, сохраненных памятью и лишь много позже осмысленных, помогли мне воспринимать отца именно таким, каким предстал он передо мной в этой записи, сделанной для самого себя. Именно так он чувствовал, так думал, и иначе быть не могло. Я знал это всегда; и не откровением, а лишь подтверждением были для меня его строки в их прямом значении. Но кроме и помимо прямого значения и смысла, в них есть для меня такая пронзительность (иначе трудно сказать), которая делает его еще живее и осязаемее, если только это возможно...

«...Есть люди, думающие молча, есть — изливающие мысли звуками слов, есть — слагающие думы и мысли в беглые строки... Последние суть писатели... Я знаю, что такое писатель, но сам я не писатель. Мое желание всегда было уметь владеть пером, как и всяким искусством, как и всякою образованностью. Но не искусству посвящал я жизнь. Предаться искусству как ремеслу, как насущному, я считал всегда преступлением. Мое искусство сводилось, как и задача матери моей, к одной цели. Эта цель была — искусство жить. В этом она была моим главным учителем, но я и везде собирал мед этого искусства. Я понимал его больше и шире, но достиг меньшего, несмотря на мои познания, несмотря на ее ошибки. Она вся отдавалась этому творчеству жизни, я же... мне мешал талант. Она была женщиной; только женщина может сделать то, что делала она. Но я и хотел быть женщиной в этом смысле. В ее смысле. Я оставлял извне свойственную мне грубость мужчины, а внутри, в глубине сердца, делал все, чтобы душа была женской... Но я был и оставался мужчиной. К тому же век другой, нравы другие и обстановка, и люди уже не могли дать мне того, чем воспользовалась она... Как мы мельчаем!»...

«8—9 сентября... С вечера спал одетый, до двух. Позвал Маню. Обошли комнаты. Послушали улицы в форточки. Читал книгу о Скобелеве»...

«14—15 сентября. Ночные дежурства продолжаются. Я в восторге от них. Если бы можно всегда так. Ведь это не бессонные ночи, а сутки с двумя снами. В общем, те же семь-восемь часов для сна. Разве не довольно? Зато с часу до пяти утра — четыре часа совершенно бодрого чтения, письма и размышления... Это роскошь, которой я никогда не имел. Сколько потерял я лучшего золотого времени. Счастливые наши предки: четыреста лет назад они почти так и жили, потому и плодотворно жили. Сделали с Маней место для иконы. Сереженька проснулся, и мы с ним долго смотрели в форточку на Орион, который был удивительно красив. Мой девятилетний астроном в восторге».

Дальше записано начало стихотворения:

«Нет, русский стяг — не монархизм,
 Не национальная идея,
 Стяг русский — страшный и святой
 Крест с восклицанием злодея.
 Когда был распят Божий сын
 И с ним разбойник одесную,
 «В твоём раю мя помяни», —
 С креста воскликнул он, тоскуя,
 «Днесь будешь!» — ответил Бог...»

И последняя, заключительная запись, заканчивающая этот период:

«...Боже! Как я ненавижу и люблю это милое, это горькое, это чудовищно жестокое место. Прощайте же, стены, деревья за окном, старинные кротковские кровати... Чем все это кончится? Конечно, ничем хорошим».

Отец закрывает тетрадь. До рассвета еще далеко, но ни спать, ни работать сегодня уже не удастся. Мыслей не собрать. Осторожно подойдя, он смотрит на меня, заботливо поправляет сползшее одеяльце из красной байки с белыми бабочками. Он обводит глазами комнату: здесь, задвинутый в угол голым скелетом, стоит его мольберт, а в опустевшей божнице только одна икона — прадедовский образ Николая Чудотворца. Икона — в киоте, позади нее подложена вата. Из этой иконы вытекает масло... Однажды, заметив это, я пристал с

расспросами: почему масло, откуда? А может быть, это настоящее чудо? Отец спокойно мне сказал, что никакого чуда тут нет и что не следует смешивать веру с суевериями. Икона старинная, перед ней всегда горели лампы, и это бывает, что дерево, пропитанное маслом, выделяет его обратно. Но теперь в верхней части голландской печи осторожно вынут один изразец. Туда будет замурован этот образ. Там он останется скрытно охранять родное гнездо. Когда? Когда что? — Ничего. Придет время — узнаешь...

И пока время не пришло, я сладко сплю в своей постели. И не знаю, что оно уже рядом — время. Что это последняя ночь. Что кругом меня не спят. В тишине, из тишины рождаются шорохи, поскрипывание половиц, осторожные шаги.

Отец выходит из комнаты, уходит все дальше. Негромкое поскрипывание половиц сопровождает его шаги.

И не только его шаги. Ему откликается слабое эхо и в других пустых комнатах, словно следом, а может быть, и впереди, и рядом идут с ним в эту ночь на мгновение ожившие тени...

Прадед — Николай Николаевич, бритый, массивный седой старик, идет, непреклонно сдвигая серебряно-белые брови... С ним об руку его жена Елизавета Алексеевна, в открытом платье с робоном и с буклями темных густых волос по плечам...

Вслед за прадедом — сын его, Алексей, в своем военном мундире и севастопольских орденах. Тот же взгляд, прямой и открытый, только, может быть, более мягкий, задумчивый. Красивый лоб с зачесом чуть выющихся, без единой сединки прядей, эпюлеты и адыогантские аксельбанты поблескивают. Он такой же все молодой, каким унесла его черная оспа. У двери приостанавливается, пропуская жену, Надежду Александровну. Вот она, очень старенькая — бабушка, в черной кружевной наколке с прозрачными, светлыми, так и не выцветшими с годами глазами, в которых возникают голубые искры ласки и скорби...

Вот и мамин отец — Алексей Николаевич Загрязский, с реденькой своей татарской бородкой, с лучами добрейших морщинок у глаз, спокойных и грустных; поддерживает он любимую младшую дочь — тетю Нюту... Ей трудно идти — больное сердце мешает. Кто это быстро догоняет их сзади, чтобы поддержать ее с другой стороны? Он? Кока? Конечно. Кто же еще; умеряя порывистое движение, словно оборвав стремительность жеста на середине, берет ее локоть так нежно, так осторожно, как будто тончайший хрусталь вот-вот переломится и зазвенит, рассыпаясь мельчайшей серебряной пылью...

По сторонам, у дверей и у стен теснятся и расступаются старые слуги, кормилицы, няни и горничные, лакеи — все, кто в этих стенах узнал и радость, и горе, и ласку, и несправедливость. Всего-то бывало, а все-таки жили, и как еще прожили!..

Внизу, в большой зале, где над черным зевом камина белеет лепка герба родового, где на тканом гобелене экрана в закрученной ветром алой накидке мчит Наполеон, где потемневшие портреты опять на местах и смотрят на длинный стол, собираются все. Свет слабый, луны или звезд, через окна или откуда? Малиновый штоф мягкой мебели неразличим, словно в трауре мебель; чуть светлеет лишь золотистая соломка сидений на легоньких стульях. На них размещаются все. Без звука, без слова, торжественно. Чуть звенят под потолком хрустальные подвески люстры, и только. Все молчат, и никто не нарушит молчанья... никто... Так велит перед дальней дорогой старинный обычай. Среди всех хлопот, суеты, когда все решено и готово, собраться всем вместе, присесть, собрать мысли в безмолвной молитве, в единении тесном...

За окном засинел предутренний воздух. Прощумели деревья. Отец оглянулся, опустил руку, приложенную ладонью к закрытым глазам, и... схватился за штору. Как он здесь очутился? Зачем? И один... Потому что ему тяжело. А когда тяжело человеку, всегда он один... и негу вокруг никого... Что это? Кто здесь в этом сизом безлюдьи холодной, пустой, темной залы кладет ему на руку руку? Чьи маленькие, тонкие пальцы с таким же простым, гладким кольцом, как и у него на безымянном, легли на его большую, властную кисть, сейчас такую бессильную, старческую...

«Ты, Маня? Пойдем...» — и больше ни слова друг другу... И ни звука вокруг. Тихо все.

Глава IV

- А где его панамка, Вера? Ты не видела?
- У меня...
- Ну вот, а я ищу. Завяжи ему шею получше. А то в шарабане продует

Шарабан и коляска стоят у крыльца. Запряженный в шарабан Смелый нетерпеливо грызет удила и, волнуясь, перебирает копытами. В шарабан усаживается Мадемуазель с чемоданами. К ней садится мама...

Должны были выехать еще вчера. Так решил отец. Но когда уже вышли и уселись, Смелый вдруг задурил. Он выступал как-то боком, неожиданно вскидывал голову, грыз оглоблю, роняя желтую пену с губ, и, едва Мадемуазель тронула его вожжами, ринулся на кучу сухого листа между собачьими будками и остановился, упершись мордой в ствол боярышника. Мы поехали было вперед, Мадемуазель справилась-таки с лошадей и направила ее за нами следом. Идя широкой рысью, Смелый стал приближаться к нам. Сидя лицом назад, я увидел, как, вскинув морду и оскалив длинные желтые зубы, он пытался укунить плечо Веры, сидевшей напротив. Отец быстро обернулся и изо всех сил ударил его кулаком между глазами... Прыжок в сторону, испуганный вопль Мадемуазель, чемоданы, разбросанные в грязь на дороге, порванная сбруя. Пришлось перенести отъезд на сегодня. Отменив выезд, мы вернулись домой. Сегодня Смелый, увозя Мадемуазель и маму, ходко идет впереди, слушаясь Варфоломея-беженца, а наша коляска со старой Касаткой поспевает за ним...

«16 сентября. Мы в Марусине. Первая ночь не в Новинках. Ехали в коляске: я — с Верой, против меня — Сереженька, и против Веры — Аксюша. На козлах беженец Емельян. Я старался быть веселым...»

Эта случайная коротенькая запись, сделанная отцом, среди черновиков его перевода «Гамлета» точно устанавливает дату нашего отъезда и размещение всех в момент переезда, то есть как раз то, чего самому мне вспомнить не удалось бы...

Простучали копыта по бревенчатому мостику через канаву, промелькнула справа кухня, осталась слева Миллионная с красным кирпичным зданием скотного двора. Все ехали молча. Глаза у Веры и Аксюши были заплаканы. В противоположность им отец бодро подшучивал, о чем-то со мной разговаривая. Я старался отвечать, попадая в его тон. Это мне не стоило больших трудов. Всякие перемены и поездки, начиная с перестановок мебели в комнатах дома, всегда мне нравились...

Вот уже и знакомое поле; навстречу коляске бегут, склоняясь, окаймляющие дорогу большие березы. Сколько было под ними проведено часов, сколько встречено приезжих, прибывавших со станции... Мягко катятся по дороге колеса, лошадь бежит резво, помахивая в такт черным хвостом. Я знаю: едем в Марусино, к тете Наде Козловой. Она приезжала часто к нам, но я никогда у нее не был. Побывать там мне интересно, но все-таки что-то тут не совсем ладно. Почему мы прощаемся, как будто навсегда, с любимыми местами, почему покраснели глаза у Аксюши и Веры, да и шутки отца какие-то не совсем обычные, за ними что-то прячется... От нас? От него самого? Разве поймешь!..

Лошади свернули с дороги, ведущей на станцию, проехали по шоссе; кучи гравия и булыжника остаются позади. Бесстрастно взглянул на нас полосатый верстовой столб какой-то цифрой. Миновав его, снова свернули. Поехали вдоль живой изгороди из густых и высоких подстриженных елок. Неожиданно в этой изгороди открылся проезд в ворота, за ними аллея. По сторонам аллеи — липы. Как и у нас. Но здесь липы моложе, и посажены гораздо реже. Они не такие высокие; в аллее нет такого строгого, даже несколько мрачного сумрака. Дом, деревянный, увенчанный крытыми железом высокими башенками. Он смотрит навстречу с каким-то неясным выражением; что у него на душе — непонятно. Наш дом смотрит совершенно иначе... Здесь все очень миниатюрно, чисто и прибрано, но всюду как будто чего-то недостает. Чего-то очень важного, а чего — не знаю.

Лишь позднее, очень не сразу, определяется, помимо привычки, привязанности к своему насиженному месту... Недостает вкуса. Очень много труда, заботы, любви к своему скромному гнездышку, а вот вкуса нет. Немецкое воспитание, гувернантки, долгие годы, прожитые тетками в Германии, приучили их к постоянному умелому рукоделию. Дочь тети Нади — тетя Дина — поистине неутомима. Из пустых катушек от ниток она делает маленькие висячие полочки, из черепков битой посуды, скрепленных клеем на какой-нибудь мастике, — рамы для увеличенных фотографий. Она и рисует неплохо акварелью. Копии с картин Маковского или Максимова, сделанные ею, всяческое выжигание и выпиливание, вышитые салфеточки с изречениями расплодились во всем доме. И разве в состоянии понять добрейшая и милая тетка, как все это ужасно, как с каждым днем невыносимее эти полочки и выжигания по фанере, окружающие зеркала и портреты, украшающие столы и стены почти во всех комнатах...

Я — внучатый племянник тете Наде, поэтому она тетка и мне и отцу; вот ее дочь — тетя Дина — ему кузина, и тетка только для нас с Верой...

Мать и дочь совершенно противоположны друг другу. Властная и умная мать и безответная суетливая тетя Дина составляют вдвоем прелюбопытный контраст.

Она, тетя Надя, нам сродни лишь по давно умершему мужу. Еще девочкой, кажется, всего четырнадцать лет, была она взята прямо из балетной школы влюбившимся в нее Н. А. Козловым. Родне Козлова, приходившей в ужас от мезальянса и возникшей с ним вместе многочисленной потомственно-балетной родне (и дед, и отец, и сестра, и брат тети Нади всю жизнь прослужили в балете Московского Большого театра*), вскоре пришлось замолчать.

Эта девочка, которая кроме своих кукол знала только батманы, фуэте и пируэты, попав в совершенно ей незнакому средю, скоро освоилась с новым положением и сумела так себя держать и поставить, что самым злым языкам оставалось только умолкнуть. Тем более что она, очень осторожно и нигде не переходя дозволенных границ, умела дать почувствовать кому следовало, что и ее собственный язычок достаточно остро отточен и стоит ей только захотеть, она может превзойти в злословии и остроумии кого угодно. Но без нужды она не давала ему воли и не наживала лишних врагов.

Ее находчивые ответы охотно из уст в уста передавались в гостиных, вызывая нередко одобрение даже у тех, кого они непосредственно задевали. Все попытки легкого флирта и ухаживания она пресекала настолько решительно, что многие мужья ставили ее в пример собственным женам; всякое нарушение приличий и этикета, даже самое незначительное, встречало с ее стороны непримиримое неодобрение, и все это в сочетании с природным умом значительно облегчило ей жизнь в непривычной обстановке, среди чуждых ее семье традиций и обычаев, быстро ею освоенных и воспринятых. Все это могло бы оставаться ловким притворством, если бы в ее отношениях с мужем не было настоящей, выверенной среди всех испытаний любви, любви обоюдной и прочной. Муж ее часто болел и подолгу лечился на водах в Германии. Она с двумя дочерьми постоянно ему сопутствовала. Овдовев еще в молодых годах, она так и не вышла вторично замуж. Старшая, любимая, дочь ее умерла незадолго до моего рождения. Отец уважал ее, ценя в ней ясный и острый ум, живой и твердый характер. К дочери ее, тете Дине, отношение в нашей семье носило едва заметный оттенок пренебрежения. Это было мало заслуженным. Не унаследовав от матери ни ее ума, ни воли, она отличалась обезоруживающим в своей наивности простодушием и добротой, совершенно самозабвенной... Не критический, воспринятый ею культ немецкой опрятности, немецкого трудолюбия, немецкой морали, немецкого искусства и литературы вызвал естественный протест в нашей семье, не терпевшей немцев. И если Бах и Бетховен, Гёте и Шиллер, Дюрер могли бы послужить основой для сближения, то уж никак не Бёклин и не романы Марлитт, а именно на этих-то романах и было воспитано художественное чувство тетки...

Внизу, в гостиной, как всегда подтянутая, с высоко взбитой прической почти не поддающихся седине волос, с кружевной вставкой в вороте строгого темного костюма, поминутно прикладывая к глазам, точно лорнет, пенснэ в золоченой оправе, восседает тетя Надя. Несмотря на свой маленький рост, она всегда умеет быть импозантной. Рядом с ней, на краешке кресла, точно на облучке, — тетя Дина, такая же маленькая и к тому же очень худенькая. Быстрая в движениях, с розовым крохотным личиком и смешными кудельками мелко-мелко завитых волос, она как будто не имеет возраста. Она напрасно пытается попасть в тон, угадывая и заканчивая фразы своей матери, ловимые ею на полуслове, если та на миг запнется. Но угадать что-нибудь для нее, по-видимому, всегда невозможно. Возникнув некогда сама собой, эта игра длится между ними, вероятно, не первый год... Позднее мне не раз пришлось заметить, что иногда тете Дине все же удается поймать хоть какой-то обрывок, подсказать матери хоть то последнее слово фразы, первый звук которого уже слетел с ее губ. Но Надежда Федоровна и тут мгновенно ее обрывает: «Что за глупости! Вовсе не то я хотела сказать...» — и заканчивает фразу иначе. Эта игра, или скорее этот поединок

* Помощником балетмейстера был танцовщик Ф. Н. Манохин. Он происходил из балетной семьи, и все его ближайшие родственники служили в театре. Его отец когда-то тоже был танцовщиком, жена занимала в свое время место солистки, а дочери украшали московскую сцену: одна — своими танцами, ведя, подчас, балеты, а другая милостивым лицом. Эта последняя со временем вышла замуж за большого театрала Козлова, служившего в конторе чиновником особых поручений. (Вальц К. Ф. 65 лет в театре. «Academia». 1928, стр. 171).

между матерью и дочерью находит отражение во всем. Раздражительность старшей тетки, обостренная событиями, находит или пытается найти в нем для себя какой-то выход. Кротость тети Дины получает в нем постоянную тренировку, необходимую для безропотного перенесения совместной жизни с матерью. Если вдуматься — тренинг жестокий. Ежедневное, ежечасное напряжение... и ради чего? То подчинение отцу, которое было привычным у нас, под собою имело фундамент другой: там была безграничная вера: он знает, что делает, он берет на себя больше, видит дальше других, и если ставит перед этими другими нелегко выполнимые требования, то все же они — лишь частности огромной задачи, поставленной им себе самому: удержать среди хаоса, провести через бурное море к тихой пристани свой ковчег, воспитать сильных сердцем и чистых душой. Для него эта задача встает целью жизни — искусством жить. Здесь это лишь для себя самой: срыв сердца, отвод души на безропотно кротком создании, морально затырканном, кажется, до того, что не имеет оно не только слов, но и мыслей своих, больше — права на мысли...

Этот первый день, проведенный нами на новом месте, был семнадцатым сентября — именинами обеих теток и Веры. Вечером собрались все внизу, у накрытого стола. Зашумел начищенный медный самовар, и большой крендель, с обычным мастерством испеченный Аксюшей, возник на блюде, распространяя аромат свежего теста, ванили и поджаренного миндаля. Вазочки с разным вареньем окружили его. Тетя Надя извлекла из каких-то своих запасов жестяную коробку с печеньем «Жорж Борман» и торжественно поставила на стол коробку шоколадных конфет, поднесенных ей в этот день приходским священником.

В этот вечер уже не только отец, но и все остальные изо всех сил старались «быть веселыми». Разговор по безмолвному соглашению происходил только о пустяках: хвалили крендель, испеченный Аксюшей, хвалили варенье из красной смородины. После чая тетя Дина, в своем самом праздничном жакете из ослепительного красного шелка, прошитого бесчисленными узенькими складочками плиссировки, села к роялю, и звуки Мендельсона и Шуберта были привлечены для создания праздничного настроения. Отец даже провальсировал по комнате со старшей тетушкой. Но на этом же праздничном столе помещалась и ваза с новинскими цветами. Их привезла оттуда днем заплаканная Мадемуазель. Проводив нас, она вернулась, и теперь оставалась там одна полновластной хозяйкой. Сейчас эти желтые рудбекии и темно-вишневые георгины, чуть тронутые утренними заморозками, привезенные из покинутого сада, говорили слишком о многом; они не старались и не могли быть веселыми, стоя на этом столе...

После чая со мной заговорила тетя Дина. До тех пор я знал ее сравнительно мало. Она всегда приезжала вместе с матерью и чувствовала себя очень стесненной в ее присутствии... Она договорилась о том, что в один из ближайших дней начнет со мной заниматься музыкой и научит меня играть на рояле...

— Ну а теперь, если хочешь, идем, я тебе покажу мой лазарет, — заключила она... Мы спускаемся вниз по какой-то лесенке и попадаем в кухню. Тетя Дина зажигает маленькую лампу, и, пока в ней разгорается фитиль, я успеваю заметить на столе что-то укутанное шерстяным вязаным платком и накрытое сверху старым теткиным зимним жакетом. Из-под платка высовывается, привлеченная светом, белая мордочка козленка. — Это Мими, — объясняет тетя Дина, — у нас ножка сломана, она в лубке, бегать мы не можем, и нам очень скучно целый день лежать совершенно одной... Верно, Мими?

— Да-а-а-а... — жалобно отвечает козленок.

— Сейчас, сейчас, моя милая, мы не только соскучились, но еще и кушать хотим, знаю, знаю... — И тетя Дина, сполоснув маленькую бутылочку, наливает в нее молоко. На горлышко надевается коричневая детская соска... — Ну, приподнимись немного, моя маленькая. Тебе же так неудобно, ты опирайся на меня, вот так! А потом я тебе перестелю твою кровать, не намочила свои пеленки? Ну вот и умница. Сейчас погуляешь, сделаешь все, что тебе надо, и бай-бай...

Прелестная крошечная козочка, выгибая головку, старательно сосет молоко, прикрывая от удовольствия белыми ресничками загадочные щелевидные зрачки...

— Замучила она меня совсем, ночью раза по четыре подзывает. Сейчас еще лучше: дело на поправку пошло. А то совсем ей плохо было — едва головку поднимала. Ну что? Что? Про тебя, да, про тебя рассказываю. — И тетя Дина ласково целует свою пациентку прямо в нос, еще влажный от выпитого молока... — А вот здесь у меня Хохлик-петушок. — И она поднимает лампу повыше. На посудной полке, как на насесте, сидит крупный подпыленок. Спина у него

забинтована марлевым бинтом. Почувствовав свет, он приоткрывает круглый желтый глаз и безучастно спрашивает:

— Коо?

— А там за дверью Топочка — собачка. Ты еще не знаешь ее? — Тетка приоткрывает дверь: — Топка, иси!

В кухню с визгом вбегает, ковыляя на трех ногах, рыжее лохматое существо, четвертая нога перевязана култышкой; завидев меня, Топка пятится и злобно рычит.

— Да перестань же ты, это свой. Ну, как твоя лапа, покажись-ка. Вчера ослица Мушка лягнула, пришлось примочку делать. Да, скверная Мушка. А кому говорили не вертись под ногами. Вот и довертелась до увечья. Ну ничего, к завтраму все уже пройдет. Вот тебе, Сережа, и все мои пациенты... — Тетя Дина встряхивает теплый платок, снова пеленает беленькую Мими и накрывает ее жакетом. — Она совсем еще малютка, ей и месяца нет... Ну, спи, роднуша, спи, милая, завтра день будет...

Становится ясно: пусть себе взрослые сдерживают иронические улыбки, пусть строгая мать не дает ей раскрыть рта и нередко в сердцах даже при чужих отзывается о ней: «моя дура»... Пусть немного смешны и мелкие кудельки, и до жути яркие кофточки, — она хорошая, тетя Дина. Когда дело касается животных, никакой сантимент не вызывает во мне протеста. Ведь в основе-то всех этих приговариваний — не фальшь, а настоящая жалость, настоящее чувство человека, так обделенного своей личной жизнью, привязанностями, что тетка вдруг становится по новому понятной и близкой, немного, может быть, жалкой, но без презрительного снисхождения, по хорошему достойной, простой и не унижающей человеческой жалости и сочувствия...

Уже на следующий день, поутру, после чая тетя Дина демонстрирует мне все свое хозяйство. Она целый день стремительно носится, везде попевая, в жокейском своем картузике и коротеньком жакете. Если нужно, сама запрягает и выпрягает лошадей, чистит их и засыпает им овес. А не то, подхватив на вилы или грабли охапку сена, за которой ее и не видно, превращается в небольшую копну, быстро семенящую маленькими ножками в высоких ботинках. Только что промелькнула она с корзиной свежих овощей, собранных на огороде, и вот уже несет в ведре подоенное молоко или, помахивая кнутиком, выезжает на легкой тележке, запряженной осликом, за ворота. Стоит ей появиться, как гуси начинают галдеть, вытягивая своим волнистым шею, индюшки, склонив набок глупые головы, торопятся к ней навстречу, блеют козы, в своем хлеву хрюкают свиньи, и корова помыкивает в стойле. Над всем доминирует нелепый и ни на что не похожий со своими неожиданными паузами и задыханиями рев ослицы Мушки.

После новинского застоя эта кипучая жизнь, полная голосов и деятельности, даром, что вся эта деятельность сосредоточена на «пяточке» маленького хозяйственного двора и огорода, невольно радуется своим оживлением. Все здесь, начиная с самих теток, — и дом, и имение очень миниатюрны; в сущности, какое там имение? Это небольшой хутор. Но очень все обжито. Не чувствуется ни в чем того умирания и той обреченности, которые везде сопутствовали «там» в последние годы. Здесь уже не хочется, как бывало, забраться с ногами в темный угол дивана, читая сладко томящие предвестием неотвратимой и близкой катастрофы строки апокалипсиса. Глаз отдыхает на неиссякаемой зелени высоких сосен, которых не пугает перемена времени года и не трогает желтизна осеннего отмирания, на маленькой фигурке деятельного гнома из немецкой сказки — тети Дины, на животных, которым так хочется жить и радоваться жизни, хотя бы даже с переломленным крылом или ногой, лишь бы только жить, пить молоко, клевать зерно, встречать солнечные восходы по утрам...

По настоянию отца мы обедаем отдельно, чтобы не доставлять лишних расчудов и беспоконья приютившим нас теткам и ничего не изменять в их установившейся жизни. Но к обеду тетки присылают нам свежие овощи из своего огорода, и контраст их хозяйства с нашим, пришедшим в последнее лето в полный упадок, бескорыстно радуется. Значит, если не везде, то где-то многое может сохраниться и идти по-старому? Я с аппетитом вгрызаюсь в обильно смазанный сливочным маслом золотистый початок сахарной кукурузы, разваренные зерна которой, вышелушиваясь, брызжут прямо в рот сладким соком, ем зеленые листья салата, облитого сметаной, отварную розовую картошку, посыпанную тонкими птичьими лапками укропа, и все это кажется мне удивительно вкусным. Лучше всего то, что жизнь, оказывается, не кончилась, она продолжается. Вот и папа как-то приободрился... Это верно. Отцу сейчас не приходится стараться быть веселым. Он не весел, но перелом, начатый огромным усилием воли, которым он отрезал все, что осталось там, запретил себе даже

думать и чувствовать, так как думал и чувствовал во многом еще вчера, этот перелом начинается далее как-то развиваться и сказываться сам собою.

«Жизнь кончилась, начинается житие», — невольно вспоминаются глубокие слова Лескова, когда я приступаю к воспоминаниям об этом последнем годе его жизни. Надломленный смертью старшего сына, теперь, когда ему угрожала участь сломиться окончательно, он, напротив, полной грудью черпает из всего окружающего новые силы. Он готов ко всему. Ни на что не закрывает он глаз. Но, впервые в жизни, мягкая, снисходительная, без высокомерия улыбка становится преобладающей на его лице. Ничто более не раздражает его, не выводит из с таким трудом обретенного равновесия. Все хорошо в Божьем мире, и если не дано человеку изменять что-либо по своему суетному произволу, то и это ему же во благо... Смятенные, полные негодования мысли уступают место примиренному созерцанию; воля, с железной твердостью и упорством руководившая его поступками, уступает все чаще место ничем не стесняемым чувствам. Ум, на склоне его дней, переходит в иное качество, качество более высокое — мудрость. Несмотря на весь мнимый ужас окружающего и неумолимый ход событий, эти перемены так обогащают его внутренний мир, что он может снова легко и радостно делать карандашные зарисовки этих шумных сосен, дымков, поднимающихся из труб кухни и флигеля, в котором живут дачники, теток, ослицы, запряженной в тележку, даже этой рыженькой собачонки, которая, забыв о своем ушибе, снова стремглав мчится по своим неотложным собачьим делам. Он подшучивает со старшей теткой, добродушно труня над ее непримиримостью и желчными сентенциями, гуляет по аллее, прислушиваясь к переговорам последних отлетающих птиц, шороху бурых листьев под ногами. Эта липовая аллеяка даже и сейчас, поздней осенью, кажется веселой: так она не похожа на нашу величественную и мрачноватую полутемную липовую аллею. Он больше не порывается брать на себя такую ответственность, поднимать такую ношу, которая не по силам человеку.

Уже три или четыре дня прошло на новом месте. Тетки уступили нам весь верхний этаж своего дома. Утро... Аксюша, напоив меня чаем, сидит с книгой у окна. Но читать она не может. Ее простая душа никак не может примириться с происшедшим. Все здесь не свое — чужое. Следовательно, все плохо. Вся ее психология в существе своем, в глубинах своих остается прямолинейной крестьянской психологией. Она не может вместить, отказывается понять происшедшее. Взять и просто так, ни за что ни про что уехать совсем из своего дома, бросить все насыщенное, утепленное, приросшее к сердцу: землю, лес, дом... Да как это можно? И ее никто не спросил, не посоветовались. Где там?! Ее, которая сжилась, все отдала... Она глубоко и обидно оскорблена, да ведь она не то что... а вот: за каждую рваную половую тряпку горло перервать зубами всякому. Это было бы понятно, потому — свое. Не ты наживал. Иди ищи в другом месте, там, где посеял, а здесь... Держи карман шире! Так тут про тебя и приготовили... Ну что тут, в ихнем Марусине? И не поймешь, как себя вести, кто ты такая ешь; ты не нужна им, и они тебе тоже. Говорят: хозяйство. Да какое же это хозяйство?! Хромой щенок да две коровы... И осел еще этот орет цельный день, окаанный, пропасти на него нет, тоже называется скотина — уши длинные, а толку от него...

Незаметно для самой себя Аксюша начинает напевать свою любимую песенку, которая всегда как-то помогает, если на душе одиноко и скверно, если в ней зреет на кого-то или на что-то обида:

Когда я был свободный мальчик,
И жил вокруг своей семье...
Но баловство меня сгу-у-у-било —
Я сбился с праведной путе...

...Надежда Николаевна тоже бегаёт цельный день: сама запрягает, гужи затягивает, а сил-то как у воробья! Коленкой в оглоблю упрется, ноги выше головы, — барышня называется... Тьфу, гадость какая... Чем так жить...

...Один кричит: «Мамаша, чаю!»
Другой кричит: «Я спать хочу»...

Нет уж, у нас так не полагалось; ну в саду, конечно, все работали, а различие все-таки знали: цветок посадить — одно дело, а нужник чистить — дело другое...

...А муж, как варвар, на диване,
Набей мне трубку табаку ..

В песенке остаются какие-то провалы, и откуда появляется «муж, как варвар» у «свободного мальчика» — никого не волнует, а меньше всего самое Аксюшу.

Негромко и очень тоскливо напевает она эту свою нескончаемую песенку. Для всей боли, всего огорчения, всей обиды только и есть у нее что эти нелепые, чужие слова. Но не все ли равно. Сейчас они для нее звучат как реквием всему оставшемуся «там», всему, чего не оторвешь, как ни старайся, что болит как открытая рана и дает о себе знать при каждом движении, каждом взгляде на все это... чужое, которое никогда, ни за что на свете не заменит ни одной ветки в саду, перекопанном не раз своими руками, ни одной лампадки в углу у икон, не только что самого угла...

Внизу у рояля — я и тетя Дина.

До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до... До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до...

До, ре, ми, фа... — неуверенные пальцы бегут по клавишам, скользят и обгоняя друг друга, разъезжаются и спешат, а тетя Дина мной не нахвалится; оказывается, у меня сильный удар и уже, кажется, есть «туше», и вообще музыкальные руки. Не надо только торопиться и нервничать, тогда все придет само собой. Ведь, в сущности, все это просто и вовсе не трудно. Я скоро стану играть не хуже, чем мой брат Ваня...

— Вот мы с тобой разучим пьеску Моцарта и к Рождеству сыграем папе в четыре руки. То-то он удивится!

Взяв в руки трость и надев шляпу, отец спускается по лестнице вниз...

— Колечка, что же вы не зайдете? — слышит он голос Надежды Федоровны, заметившей его через раскрытую дверь из гостиной... Сняв шляпу, он входит к ней и, склонившись, целует маленькую, все еще изящную руку.

— Ну, как самочувствие? Как спали? Что во сне видели? Теперь ведь только во сне и отдохнешь, да и то не всегда... при этой проклятой жизни... Нечего сказать, устроили рай... Чем только еще порадуют? — с места в карьер начинает тетка.

— А вы старайтесь поменьше обо всем этом думать, тетушка, «довлеет дневи злоба его», или, как еще древние римляне говорили: *tempora mutantur et nos mutantur in illis* (времена меняются и мы меняемся вместе с ними). *Qui vivit — veget*^{*}, а нам с вами чего еще осталось желать, об чем молиться? Об одном только: о безболезненной, непостыдной и мирной кончине живота...

— Ну да, ну да, конечно, так я и знала. Нет, мой друг, я не согласна, я хочу еще посмотреть, как будут вешать всех этих мерзавцев, которые все продали, все загадили, довели до того, что... сама бы, кажется, своими руками петлю надела и табуретку бы из-под ног у них вышибла...

— Ну что же, будем надеяться, что вас пригласят, ну, может, и не для табуретки, а просто полюбоваться, когда дело дойдет до того, что нас всех вешать начнут...

— То есть кого это «нас». Вы-то тут при чем?

— Простите, вы мне сейчас очень напомнили одного мужичка, который мне сказал: «Ну, вас оно, конечно, понятно, а нас-то за что же?» У нас каждый готов обвинять кого угодно, только себя самого ни в чем не считает виноватым... А я думаю, что отвечать придется за все и отвечать всем. С каждого взывется. Что же вы, в самом деле полагаете, что все это уляжется и опять будет идти по-старому, то есть катиться еще дальше? Катиться-то уже больше некуда. И отсрочек уже больше не будет. А вешать, да кого же еще вешать на самом-то деле, кого призывать к ответу, как не Владимира Николаевича, который громил и обличал с трибуны Государственной думы, подрывая последние авторитеты, не Алексея Столпакова, который эти же авторитеты тупо отстаивал, даже тогда, когда они действительно плевать не стоили; дойдет дело и до великих князей, которые пьянствовали и распутничали, дойдет до всех ваших кузенов и племянников, до меня, наконец, который все это предвидел еще до девятьсот пятого года и порицал и правых, и левых, сидя в своем мышинном углу...

— Бросьте, голубчик. Вы отлично знаете, что я не о вас и не о них говорю. Ну да, конечно, и наши тоже хороши. Но не в них же все дело...

— Как же так, не в них? А в ком же? — И отец привстает даже с кресла, на которое было присел. — А кто же, вы думаете, ответит за все? За словоблудие и тупоумие всех министров и лидеров, за бездарное ведение хозяйства, за беспорядок в своих и чужих домах и душах? Кто же был во главе всего этого бедлама, именуемого государством Российским?

Ведь если вы позовете людей и здесь у себя, в Марусине, станете ими командовать так, что, мол, сегодня разбирай крышу — разберут, завтра — бей

* Поживем — увидим (франц.).

стекла в окнах — разбили, послезавтра — швыряй мои иконы в нужник, мы, мол, нужник после все равно весь целиком в столовую перенесем... Так люди, что ли, виноваты? Хозяйка-то вы? Кого пришлось бы останавливать? Кому связывать руки? Над кем учреждать опеку? Все исполнилось-то по вашему слову и приказанию. А вы бы тут еще закричали: а теперь дайте мне веревку, я этих негодяев вешать буду, они, мол, не поняли, что я им все шиворот-навыворот говорила, надо было наоборот делать. Ясно, вам всякий ответил бы: ну нет, вы уже все показали, на что вы способны. Теперь садитесь и ждите, как насчет вас решат. А людей ругать вам не приходится. Что вы приказывали, они то и делали. Это — руки. А головой-то всему были вы...

— Ну, *mon cher*^{*}, я же знаю, что вас не переспоришь... Вы просто оборотень какой-то: с революционерами говорит как монархист и патриот, а с монархистами как, простите меня, настоящей террорист-забастовщик...

— *Quod erat demonstrandum* — что и требовалось доказать, — улыбается отец и, внезапно успокаиваясь, меняет тему разговора. — А я вот собирался пройтись немного, прежде чем засесть за письма; у меня, правда, почти вся корреспонденция на Веру переложена, однако ж сыновьям надо иногда и самому написать, да и дяде Леше тоже, а то у него после вашего письма, в котором вы сообщили ему о нашем нашествии, совсем в голове все перепуталось...

Кстати, вы спрашивали, как я спал. А мне сегодня, верней, вчера с вечера действительно сон приснился какой-то странный...

— Расскажите же. Успеете еще к своим делам, день начался только...

— Извольте. Снилось, будто проснулся я опять у себя в Новинках, в спальне, ночью; подожу к окну и через открытую форточку смотрю на звездное небо, как часто делал это и в самом деле. И вот в небе я замечаю какое-то новое, удивительное созвездие. Точно звезды образовали круг. В кругу, тоже из звезд, профильный портрет Петра Великого, такой, как вот на медалях бывает, и по бордюру из совсем мелких звездочек надпись по-латыни: *Petrus Primus*; дальше какие-то даты в цифрах — я не разобрал или не запомнил, и затем: «Молитесь за Россию». И все это до того явственно ярко. А сегодня, встав, просмотрел свежую газету, которую мне Дина со станции привезла, там сообщения о восстановлении патриаршего престола. И как-то сразу подумалось, что сон, может быть, с этим связан? Ведь как вы, быть может, помните, в 1700 году, после смерти патриарха Адриана, Петр упразднил патриаршество в России, и только сейчас, спустя 217 лет, оно восстанавливается... Мне и подумалось, что, быть может, за это он был лишен там возможности молиться за Россию, а теперь с него это снято? Что мы знаем?

— Действительно, странный сон... А мне последнее время и снов нету; что наяву, то и во сне. — Тетка надевает свое пенснэ и внимательно приглядывается... — Ну, идите, идите, погуляйте... Вы мне что-то не нравитесь сегодня. И под глазами темные синяки — никогда у вас этого не замечала.

Восстановление патриаршества серьезно занимает отца. Может быть, авторитет единого главы православной церкви, единоначалие и то, что патриарх — это священнослужитель, а не правительственный чиновник Святейшего Синода, способствует укреплению религии и веры...

В Москве предполагается всенародное молебствие с крестным ходом на Красной площади. Отец принимает решение поехать на этот день в Москву всей семьей. Едет и приходский священник Сергей. Достают наше знамя Общества православного крещения. Что это за Общество? Вряд ли кто-нибудь сейчас о нем помнит. В начале века, убедившись, что все монархические организации вроде «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела» и другие окончательно скомпрометировали себя выдвиганием к руководству таких нечистоплотных или несерьезных фигур, как Дубровин, Илиодор или Пуришкевич; участием в организации подкупов и погромов, убийствами Йоллоса и Герценштейна, отец решил создать свою собственную организацию.

Единственным главным и основным признаком члена этого общества служило воспринятое при купели православное крещение и исповедание основных церковных догматов. Из устава было намеренно изъято все, что могло иметь сколько-нибудь политическую или даже патриотическую окраску. Каждый вступающий должен был наизусть написать своей рукой «Символ веры» и подписать фамилию.

Таким образом, и уставом, и программой, и объединяющей платформой был «Символ веры». Не знаю, что за роль мог он мысленно отводить подобной

* Мой дорогой (*франц.*)

фантастической организации. Возможно, что были какие-то документы и устав, и, кроме того, спросить сейчас не у кого. Но тем не менее мне казалось бы, что ожидание и вера в воскресение мертвых и будущую загробную жизнь, поставленные в основу, исключали всякое оправдание для создания такого общества и убежденности в его необходимости и пользе. Ибо чем же оно отличалось от простой общины верующих? Но он придавал некогда этой фантазии большое значение. Было несколько сот членов. Было древко для знамени, увенчанное крестом с надписью: «Сим победиши». Было и самое знамя: очень красивое, темно-малинового бархата с парчой и маслом написанными им самим, отцом, изображениями основателей православия в России — князя Владимира и княгини Ольги с одной стороны, и Николая Чудотворца — с другой. Это знамя изредка появлялось на различных патриотических манифестациях; им же, как упоминал я выше, было накрыто тело Коки в соборе...

Когда все, включая Мадемуазель и отца Сергия, собрались на станционной платформе, оказалось, что отец, принимая свое решение, не учел, вернее, не мог еще знать очень многого. На станции царила полная неразбериха. Поезда ходили, почти не считаясь с расписанием. Пассажиры не брали билетов в тот или иной класс и штурмовали вагоны, забираясь кто куда мог и успевал, не делая различий между классными и товарными вагонами. Когда, наконец, прибыл поезд, шедший в Москву, мы увидели, что, за исключением двух классных вагонов с побитыми стеклами, весь он состоит из теплушек, в открытых дверях которых, свесив наружу ноги, сидят раненые и дезертиры с гармошками. Все было набито битком... Настроение сразу упало. Скользя на заплыванной лужгой семечек, заваленной ключьями газет и мажорными окурками платформе, все куда-то ринулись, посылались крики и ругань. Прежде чем кто-нибудь успел что-либо решить и предпринять, буфера лязгнули, и состав двинулся, окутанный облаками пара. И в этот миг мы все вдруг увидели Мадемуазель. Она прочно закрепилась на буфере, помогая подняться запыхавшемуся священнику в его темно-синей бархатной скуфейке. Одновременно она что-то нам кричала, но слов не было слышно. Вера догадалась и уже на ходу передала ей саквояж со свернутым знаменем...

Соловей, соловей, пташечка!
Кинареечка...—

донеслось из белых облаков пара под пронзительный свист и надсадный визг гармошек...

Мы возвращались обратно с древком, прикрепленным как-то наискось у козел пролетки. На кресте, облитая осенним дождем, отчетливо проступала надпись: «Сим победиши!»

Впрочем, отец не видел во всем этом ничего такого, что принято было обозначать словом *ridicule**; он настолько не боялся показаться кому-либо смешным, делая то, что казалось ему нужным, что и действительно не мог быть смешон в такие моменты, которые поставили бы любого другого в нелепое и безвыходное положение. Было ли это в нем природным свойством или воспитанным жизнью и он лишь к старости перерос жалкую необходимость не всегда «быть», а иногда только «казаться» чем-либо, оглядываться на себя как бы со стороны в отношении жестов и поступков? Не знаю. Впоследствии уже при столкновениях с сестрой это унаследованное или перенятое ею от него свойство доставляло немало горьких и обидных минут моему мальчишескому самолюбию... Но в те давние годы мой слишком еще юный возраст и авторитет отца не позволяли мне испытать когда-либо ощущение неловкости. Вместо него я почувствовал и понял нечто другое. Я увидел, правда только краешком глаза, небольшую волну никому более не подвластной, разбушевавшейся мутной стихии и с ужасом осознал его бессилие перед ней. Впервые на моих глазах он не выполнил того, что было им решено. Эти волны, на которых качалось все: и загаженный перрон, и вагоны с вышибленными стеклами, и дезертиры с их криками и просвистанным ветром новых непонятных времен «соловьем, соловьем, пташечкой», — если и были подвластны каким-нибудь законам, то, видимо, законам никем еще не изученным, возникающим стихийно, неизвестно где. По этим законам, таким же непреложным, как закон, заставляющий жидкость растекаться по гладкой поверхности, ветер — раздувать полыхающее пламя, воздух — расширяться и заполнять пустое пространство, поднявшиеся волны

* Смешной (франц.).

могли снести, затопить и уничтожить все или, может быть, пройти стороной. И думалось: нет уже никого, кто мог бы еще повелевать ими или хотя бы осмыслить их течение и ход... Леденящий испуг подавлял, сковывал, томил неясным ощущением непрочности всего окружающего...

К счастью, когда снова по сторонам замелькали липы аллеи, послышался за домом галдеж домашней птицы, а спустя несколько минут на столе появился кипящий самовар, и Надежда Федоровна возникла в дверях с очередной вазочкой варенья в руке, чтобы услышать отчет о виденном нами на станции, эти впечатления стали понемногу изглаживаться...

Мадемуазель и священник вернулись дня через три. Они доехали и приняли участие в молебствии и крестном ходе. Для знамени в Москве успели сделать другое древко, и вокруг него собралось неожиданно для всех довольно много членов Общества. Таким образом, с этой стороны все было благополучно. Однако рассказы приезжих об их путешествии производят на всех гнетущее впечатление. Люди лежат в вагонах на полу; в классных вагонах все сукно и обивка с диванов срезаны на портянки, и повсюду ползает раскормленная фронтовая вошь. Она чувствует себя, кажется, лучше, чем кто бы то ни было в эти дни. Все явственной дыханием подступающего голода. Страшные и преувеличенные рассказы городского фольклора о колбасе из сваренных трупов, о торговле собачиной на московских рынках, связанные с растущей дороговизной и нехваткой продуктов, передаются из уст в уста. Уже есть случаи заболеваний сыпным тифом; слухи о них превращают сыпняк в чуму, завезенную из Персии. Люди безжалостно пугают друг друга, и сами начинают робеть перед призраками, возникающими в их воображении. Опережая события, они сеют вокруг себя обывательские легенды и распространяют ужасы...

Отец сидит возле чужого письменного стола, за которым ему так непривычно работать. Надо, наконец, написать ответ в Петербург дяде Леше Столпакову.

С неделю назад старик прислал ему встревоженное письмо. Он ничего не понимает и искренне огорчен нашим выездом из имения. Этот шаг почему-то расценивается им как малодушие, как моральное падение отца и какая-то катастрофа...

«Не могу примириться с мыслью, что ты уехал,— пишет он,— не могу вместить твоего поступка. Мне представляется этот шаг каким-то самоистязанием с твоей стороны и чудовишной гордостью. Ты стремишься навстречу воображаемому тобой, тому, чего, может быть, еще и не будет. В этой, прости меня, измене себе нет и тени христианского смирения. Полагаю, что мой возраст дает мне, хотя бы по праву старшего, право быть с тобой откровенным и сказать тебе прямо то, что мне кажется необходимым... Как? Уехать из родных стен, оставить там то, что составляло для тебя главную сущность, Дух твой; по-моему, это недопустимо и человек твоего масштаба не имеет на это права. Твое искусство — не личное дело, оно и не было бы искусством...

«Не угашайте Духа»,— сказано в Писании, и мне не пристало поучать тебя тому, что и самому тебе должно быть хорошо известно. Однако позволю себе дать искренний совет, хотя ты его у меня и не спрашиваешь: возвращайся! Возвращайся, пока еще не поздно, смири свою гордыню и возобнови занятия.

Кстати, на днях смогу выслать тебе гнедичевский перевод Гамлета, как ты писал, единственный, которого у тебя не было; может быть, это поможет тебе возобновить свою работу... Впрочем, не знаю, не знаю, ведь ты и об этом не пишешь ни слова более. Как с твоим Гамлетом? Как с «Хроникой»? Или в своем озлоблении ты решил больше не работать над ними? — Я знаю: ты прикидываешься равнодушным. Может быть, даже и перед самим собой. Но ты не равнодушен. Ты просто озлоблен.

Но я и это понимаю. Есть отчего. Нельзя оставаться спокойным при виде этой сволочи, бегущей с фронтов, сознавая, что России остается только краснеть перед Европой. Но такое озлобление, как у тебя,— крайность. Это бесплодное и мелкое чувство, недостойное христианина. Оно обкрадывает тебя самого же, и я считаю долгом сказать тебе об этом».

Отец так и видит перед собой два серебряных клина выхолощенной бороды и укоризненный взгляд старого чиновника. Слышит густой рокошующий голос, изрекающий свои маленьки чиновничьи мысли, возмущенный всяким отступлением от обычных норм и регламентов, которые он отождествляет с порядочностью, долгом и совестью даже...

«Сними мундир! Я тебя ругать буду!» — обращался он к внукам-пажам, перед тем как учинить кому-либо из них жесточайший нагоняй.

«России остается краснеть перед Европой!» — вот что сейчас ему кажется самым важным. Какой шокинг! Какая ерунда!

И что он там понес о Духе? Да, для него-то, пожалуй, отними у него квартиру на Галерной с уютной молельней, где днем и ночью горят неугасимые лампы перед огромной родовой иконой Богоматери в ризе, украшенной драгоценными камнями — перед ней каждое утро и вечер трудолюбиво склоняет свои подагрические колени, отними ее, так, пожалуй, покажется, что и молиться негде и не к чему... Ах, дядюшка, дядюшка!..

И, взяв из бювара лист почтовой бумаги, он макает перо в большую чернильницу и начинает письмо:

«Дорогой, милый дядюшка! — пишет он. — Просто ужасаешься, как летит время. Получил твое письмо и хотел сейчас же ответить, а вот прошла целая неделя, пока собрался взяться за перо... Что ты мне говорил о Духе? Не понимаю. И еще с предисловиями и послесловиями о правах старшинства, точно ты всегда и всего не можешь мне говорить. Приобретенные права не утрачиваются, и от тебя услышать что-либо и не условно, а безусловно, для меня обязательно, хотя из этого не следует, чтобы я не стал оспаривать того, что считаю несправедливым. Так и в данном случае буду категорически отстаивать не свое право, но право истины. Сообрази, душенька, где твой Дух? Неужели ты оставляешь его в Мелкове или на Галерной. Надеюсь, он все же с тобой, где бы ты ни был. Почему же я должен был оставить его в Новинках? *Omnia mea tecum portō** — он всегда со мной и очень мало зависит от места. И на искусство у меня свои воззрения. Еще давно я писал: «Искусство — вздор, утеха и забава...» Это не значит, что у меня эта забава не была серьезной забавой, но в идолослужение я ее не раздуваю. О моем Гамлете: я уже, увы, не имею в руках законченного экземпляра, где, как все говорят, мне много удалось так, как я хотел..»

Однако я начал о Духе. «Не угашайте Духа», — да, но ведь, надеюсь, не человеческого? А о Духе настоящем отсылаю тебя к апостольским посланиям, где Ап. Павел говорит: «Владейте, как бы не владея, пользуйтесь своим, как бы оно было не ваше, и не мните, что вам принадлежит имение или самая жизнь ваша, все это и временное, и не ваше». Кто так рассуждает, не прилепляется к мнению, и Дух с ним, а вы с преходящим. Вся жизнь вырабатывал я в себе женскую чувствительную душу и бодрый, независимый разум. Поэтому не плелся в хвосте событий, а шел спокойно им навстречу. Над всем, что творится, я не ахаю, а вижу в нем великое поучение, за которое благодарю Господа. Я ликую среди удрученных, как был всегда уныл среди ликующих. Ликую оттого, что давно пережил грядущее и рад, что победил удручение ранее, чем оно на нас надвинулось. Тебе кажется странным мой образ мыслей и действий, и ты говоришь: озлобление. Нет, я пережил все еще при старом строе, который вел нас к этой яме, и то, что в других вызывает злобу, во мне вызывает жалость. Все вы всегда смеялись моим словам, а чего другого могли вы ожидать, если не того, что произошло?

И теперь говорю: Франция и Англия не в лучшем положении, чем мы, и больше нас виноваты. Ближе время, когда им будет хуже, чем нам, да и сама Германия не устоит. Божий суд совершится над всем и всеми, и будет это скоро. Что делали правительства, что делали дипломатии? Нет, не России краснеть перед Европой, которая и заварила всю эту кашу. Страшно сказать, но ведь бегущие с фронта более правы, чем посылающие их на фронт. Они бегут потому, что над ними три года издеваются, бегут потому, что их истребляют без тени малейшего смысла — и они правы. В них прав инстинкт шкурный, ибо он, увы, еще самое здоровое, что сейчас осталось!!

Прости, дорогой, но ты бодрое спокойствие принимаешь во мне за равнодушие. Будь же и ты равнодушен и спокоен. Какой бы ад ни обрушился на нас, не теряя присутствия духа и ты лучше поймешь совершающееся: оно никак не могло быть иначе, оно так и должно было быть, ибо все его таким деятельно готовили... Ты ничего не пишешь о своем здоровье. Надеюсь, ты здоров. Обнимаю тебя крепко. Твой Н.»

Глава V

Кто-то неуверенно стучится в дверь. Все старшие чем-то заняты в других комнатах и не слышат. Подбегаю, чтобы открыть, и вижу на пороге высокую полную даму. Что-то очень знакомое... Прежде чем успеваю сообразить, она поднимает меня в воздух и осыпает поцелуями: «Милый, какой ты стал большой!

* Все мое ношу с собой (лат.).

Ты меня узнал или нет? Ведь не узнал, признавайся!» Теперь-то я, конечно, узнал, но не сразу: это папина сестра — тетя Маша. Входит мама. Они целуются...

Тетя Маша очень взволнована, кажется, еще немного — и она расплчется. Забывая о моем присутствии, она каким-то виноватым голосом говорит маме:

— Мы ведь втроем...

— Втроем? Кто же?..

— Я, Володя и Машенька...

— Господи, как хорошо, ну а где ж они?

— Внизу, у тети Нади... Я не знала как... Захочет ли Коля... после того... ну, ты знаешь...

— Какие пустяки... Сейчас я спрошу...— Но голос мамы выдает ее неуверенность.

А отец уже входит и сам. Улыбаясь, он быстро идет навстречу сестре. Они целуются...

— Откуда ты, Маша? Одна?

— Из Петрограда... Нет, мы с Володей и с Машенькой...

На лице у отца промелькнула едва заметная тень, но лишь на мгновение. Короткая стеснительная пауза прерывается его веселым, может быть, чуть-чуть даже слишком непринужденным голосом:

— Ну, а где ж они? Отчего не идут?

— Они там внизу, с тетей Надей... Сейчас я...— И тетя Маша исчезает, как будто на крыльях...

Они не решились ехать к нам прямо из-за той размолвки старой отца с его шурином, заехали в Марусино, не ожидая нас встретить, не зная о нас ничего. И времени для разведывательных демаршей не осталось, все совершается как бы само...

Мама молча смотрит на отца. Он видит вопрос в ее взгляде и, пожимая плечами, роняет:

— Лежачего не бьют...

Она так и поняла уже раньше, но это подтверждение снимает окончательно камень с ее души. Ее большие сияющие глаза все еще устремлены на мужа, но теперь стоявший в них вопрос сменился выражением благодарности. Как хорошо, что он так!

А на лестнице уже слышны поднимающиеся шаги и голоса. Вера обнимает свою любимую тетку и кузину Машеньку — «Малиновку», как ее у нас прозвали. Огромный дядя Володя привычно наклоняет голову в дверях, чтобы не ушибиться. Отец обнимает его, целует племянницу.

— Маня! Надо там, как-нибудь... хоть чаю, пока обед еще не готов. Распорядись. Ну, усаживайтесь. Рассказывайте. А ты что-то сесть начинаешь, Володя?

— Да ведь и ты тоже...

— Сравнил! Насколько же я тебя старше... Ну, что в Петрограде?

— Ах, не говори мне про Петроград! Это не революция, это сумасшедший дом! Просто не подберешь никакого названия всему, что там происходит! Мы — беглецы. Представляешь? Я — член Правительства, и вот — вне закона! Бежал из-под ареста... И вообще я ничего больше не понимаю!..

У него странный голос. Низкий, мужественный бас неожиданно почти на всех гласных задерживается и растягивает их каким-то обиженным мяуканьем. От этого все тирады его звучат чем-то ребяческим и по-ребячьи капризным. Отцу трудно удержаться от улыбки над этим большим младенцем, у которого отняли его любимую игрушку — призрак власти: член Государственной думы, председатель фракции центра, член Временного правительства, обер-прокурор Святейшего Синода — глава всей церковной власти в России, и, наконец, делегат генерала Корнилова к главе правительства Керенскому с чрезвычайными, сверхсекретными полномочиями... О, как ошутимо щекотала пальцы эта невидимая нить, нить, от которой зависело все... вот здесь, в этой руке... Судьба России!..

И вдруг:

«Владимир Николаевич! Объявляю вас арестованным!»

Театральный, повелительный жест, и два вышколенных юнкера с винтовками бесшумно становятся по обе стороны «делегата», точно вырастая из-под земли.

Невероятно! И кто же? Керенский, этот балаболка, этот авантюрист... Как он решился? Арестовать его, члена Временного правительства, обер-прокурора?! Что же будет с Россией? С церковью? Но это ему так не пройдет! Он играет ва-банк. Но и Корнилов не остановится перед крутыми мерами. Он еще скрутит в бараний рог этого адвокатишку!

И потянулись дни. Много верст было пройдено негодующими шагами по одной небольшой комнатке Зимнего дворца, а Корнилов все не являлся выручать своего посланника. Регулярно сменялись у дверей часовые. Они были вежливы, но не отвечали ни на какие вопросы, не вступали в разговоры. Что происходило на свете в эти долгие дни и происходило ли что-нибудь, оставалось неизвестным. Газет арестованному не давали. Ему приносили завтраки и обеды, по вечерам выводили на короткие прогулки в Летнем саду. Казалось, все о нем позабыли. Наконец, однажды его вызвали. Но не Керенский и не Корнилов. Приехавшая из имения тетья Маша добилась свидания. Она всегда была уверена, что ничем хорошим политическая деятельность ее супруга не кончится. Поплавав немного над его пожелтевшим лицом и посеребренной бородой, она стала готовиться к решительным действиям. На другой день, в час, когда его вывели на прогулку, она была уже в Летнем саду. Юнкер из охраны, не желая быть навязчивым, присел покурить на скамеечку. Над Летним садом плыли осенние густые облака, опускались сумерки. Опираясь на руку мужа, тетья Маша становилась все настойчивее. Довольно обличать кого-то, довольно спасать Россию и церковь. Пора подумать серьезно: у него пятеро детей, пора о них вспомнить. Пока юнкер мечтательно курил, они прошли мимо раз и другой, неторопливо скрылись за кустарником, пролезли сквозь выломанные прутья решетки и, никем не оставленные, сели за углом на извозчика и уехали. По существу это было скорее похищением, нежели бегством. Тетка не дала мужу времени опомниться и закусить удила. Она понимала, что «промедление смерти подобно», если он начнет соображать, как будет выглядеть этот поступок перед лицом истории и потомства, нарушает он или нет правила той игры, в которую все они так увлекательно играли сперва в Таврическом дворце, потом здесь, в Зимнем. Вряд ли он даже успел отдать себе отчет в эти минуты в том, что это бегство есть выход из игры без всякой надежды снова быть принятым в нее партнерами...

Они заехали домой. Здесь тете Маше пришлось выдержать от мужа первое серьезное сопротивление, — он не соглашался сбрить свою характерную бороду, которую носил всю жизнь. Однако могли прийти, надо было спешить. После недолгого спора он сбрил-таки бороду, и втроем с дочерью, не захватив ничего из вещей, они направились на Николаевский вокзал и уехали с первым же поездом. Тетья Маша рассчитывала пробраться с ним через Москву в свое самарское имение Кротовку. Однако тревожное положение в Петрограде и на железных дорогах внушало ей опасение, что это будет не так-то легко. Его могут задержать, узнать; у него не осталось никаких документов. И тогда ее осенила мысль заехать к нам по пути. Они сошли на нашей станции. Среди разношерстной толпы никто не обратил внимания на этих трех не совсем обычных пассажиров. Они миновали пешком лес и сжатое поле и, неуверенные в том, как отнесется к их появлению отец, завернули в Марусино. Да оно и было на их пути...

Целый день из гостиной доносятся грузные шаги и раскаты дяди-Володино-го голоса, срывающиеся то и дело в капризное горловое «мяя!».

— Ах, ты не понимаешь! В такое время, когда и Святейший Синод был бессилен, и вдруг патриарх — невозможнейшая нелепость! Ма-шу-ра! Ты там укладываешься?.. Не забудь мне дать носовой платок!.. И кроме того, он непопулярен, этот Тихон! Церковь за ним не пойдет! Ма-шу-ра! Ты слышала? Я просил у тебя носовой платок!

И спустя несколько минут снова:

— Ah! les bolchevicki, ce sont des tigres!* Машура! Мы опоздаем!..

— Да, да, я сейчас!

— Ну, Коля! И ты же судишь, ничего не зная. А что они устроили с этими мощами Ионна Тобольского?! Все это отвратительное кликушество всяких святош. Сколько мне это стоило крови!!!

— Ну, об этом не будем, — примирительно отвечает отец. — И то, как они «открывали» эти мощи, и то, как ты их «закрывал», по-моему, стоит одно другого...

Готовый разгореться спор прерывается появлением Надежды Федоровны.

— Я хочу предложить вам обоим отложить выяснение дела с мощами, — скептически улыбаясь, говорит она. — Вы расскажите нам лучше, Володя, имеете ли вы представление о том, как готовится, например, начинка для эклеров?

— Для эклеров? Ma tante**, но откуда ж я знаю?

* О! Большевики подобны тиграм! (Франц.)

** Тетья (франц.).

— А вам это следует знать. А с чего вы начнете, если вам, скажем, закажут со сливками трубочки? Или песочное тесто? А как сделать «Наполеон»?

Он ничего не понимал. Одного «Наполеона» — Керенского — они уже изготовили, но тесто, несомненно, было неудачным. Второй, Корнилов, тоже не получился...

— Ну конечно, ничего не понимает. А еще государственный муж. Посмотрите сюда! Это что?

— Это? Паспорт какой-то...

— Не какой-то, а ваш. И запомните: вы — Гавриил Федорович по фамилии Запарин. Профессия ваша — кондитер. А если вам кто-нибудь скажет, что вы умерли года четыре назад, то не верьте!..

Тетушка разыскала где-то паспорт своего покойного повара, случайно у нее сохранившийся. Никаких пометок о смерти в паспорте не было. Осталось лишь переменить фотографию и аккуратно подделать кусочек печати, на нее приходившийся.

Это было сделано быстро и чисто. Вечером того же дня тетя Дина сама отвезла беглецов на станцию... Но долго еще в ушах у всех звучали эти своеобразные интонации и возгласы: Ма-шу-ра!..

Больше я никогда уже не встречал его. Знакомые рассказывали, что когда он после «смены вех» и возвращения из эмиграции появился снова в Москве, году в двадцать третьем, то он представлял собой нечто жалкое. Властолюбие, его сгубившее, с годами превратилось в манию величия чисто клинического характера. Не знаю и судить не могу. Но большое количество свидетельств об этом не оставляет сомнения в их правде. Знаю, что отец всегда внутренне относился к нему хорошо, даже в годы, когда они не встречались из-за возникшей между ними ссоры. Он ценил в своем шурине его доброту, искренность и порядочность, зная вместе с тем его наивную доверчивость и склонность преувеличивать свой ум, свои силы и способности, благодаря чему его легко было увлечь куда угодно и толкнуть на что угодно, сыграв на этих струнах. Стремление играть какую-то роль на политической арене — что-либо ниспровергать или утверждать — сыграло роковую роль в жизни этого человека. Искренне верующий человек, добродетельнейший семьянин, привязанный к жене и детям, он, благодаря этим недостаткам, принявшим с годами маниакальный характер, превратился в морально и физически опустившегося политического бродягу, которого уже не занимали никакие другие интересы, кроме мечтаний о возрождении его политической карьеры в качестве наркома в Советском правительстве, мечтаний, для которых, разумеется, не было и не могло быть никаких оснований...

Случившийся вскоре после отъезда Львовых октябрьский переворот дошел до нас как-то глухо. События этих дней, искажаемые противоречивой газетной информацией и обывательскими слухами и кривотолками, не прояснялись для нас очень долго, и возможности судить о их подлинном масштабе и значении не было...

Мадемуазель все еще оставалась в Новинках. Она часто приезжала оттуда, что-то там распродала из упряжей и экипажей, привозила деньги, молочные продукты, получаемые от остатков нашего стада, была, как и всегда, энергична и деятельна. В свое время мы с ней часто ссорились, но теперь, когда приходилось видеть ее так редко, я о ней скучал. Кончились наши вечерние игры в «la langue rouge»*. Этот вырезанный из картона ярко-красный язык вешался поочередно на шею тому, кто в эти часы первым заговаривал по-русски... Не было больше вечерних чтений с Аксусей, которой Мадемуазель, бывало, читала романы с продолжениями, печатавшиеся в «Московском листке». А я в это время, устроившись у кого-нибудь из них за спиной, читал свое. Теперь я почти не читаю. Большинство моих любимых книг осталось в Новинках, и сколько бы я ни просил, она все забывает мне их привезти. Нет у меня больше ни «Маленького лорда Фаунтлероя», ни еще более нежно любимой «Лэди Джен» — подарка сестры покойного Павлика Купреянова — Санечки. Нет и старинной повести «Евгений Волгин» о приключениях мальчика, похищенного цыганами. Только Евгения Тур, много раз уже перечитанная, да еще восхитившая отца повесть О. Сергиевской «Из милого далека», которую он сам несколько раз прочел вслух и мне, и всем членам семьи, включая теток... А у самих теток нет ничего для меня интересного: книги почти все немецкие, да еще полные собрания классиков, приложенные к «Ниве». Мне их читать еще рано...

* Красный язык (франц.).

Всем с каждым днем все больше не до меня. Даже тетя Дина все чаще пропускает наши уроки музыки, хотя пьеску Моцарта все же мы с ней разучили и сыграли папе в четыре руки...

И вот я сижу задумчиво на корточках возле большого книжного шкапа. Все двери открыты. Если кто-нибудь внезапно войдет, мне, конечно, влетит, но Вера с мамой к обеду уехали, Аксюша сидит у себя, тетю Дину при желании даже не скоро сыщешь, а папа в соседней комнате занят разговором со старшей тетушкой...

Оттуда слышно:

— Все-таки, Колечка, как вы хотите, мне не очень ясно, почему вы так надолго остановились на Гамлете? Вы и сами прекрасно пишете, а это всего-навсего перевод. И что-то, а уж Гамлета столько раз переводили, ставили в театрах, комментировали... Я понимаю, конечно: вы чувствовали, что можете добавить ко всему этому что-то свое, но разве не интереснее, когда все целиком свое? И кроме того, конечно, Шекспир — гений, но разве не далек он от всего того, чем приходится жить нам теперь?..

Из раскрытых дверей нижнего отделения книжного шкапа на меня поползла гряда книг. Я напрасно усиливаюсь водворить их на место. Они лезут и лезут, будто живые, соскучившиеся от долгого лежания взаперти. И книги какие-то странные. Читаю и ничего не могу понять из этих заголовков: «Астральная сущность человека и животного», «Спиритуалистические явления в Лионе», «Изида», «Как развить в себе способности медиума», «Ясновидение и гипноз», «Путь к познанию сокровенного», «Тайная доктрина», «Les maisons de France»*, авторы: Папюс, Элифас Леви, Блаватская... Раскрываю одну, другую... Что-то скучное...

— Меня привлекает в Шекспире, — отвечает голос отца, — то, что я не знаю во всей мировой литературе ни одного писателя, который с ним мог бы сравниться... Величайшая умозрительная философия и глубочайший реализм, высокая нравственность и самый разнузданный порок — все соединено в нем так же неразрывно, как и в самой нашей жизни. И не только мы сейчас живем этим самым, но это никогда не может стать устарелым. А особенно Гамлет. Это же поистине великая трагедия жизни и смерти... В свое время, еще в молодости, я перевел и издал несколько первых сцен Гамлета, о чем сейчас весьма сожалею. Тогда я еще не знал языка да и понимал эту вещь совершенно иначе и плохо. Это было слабой, беспомощной работой. И я не стал продолжать ее. Уже будучи взрослым, я изучил английский язык, которого не знал. Изучил ради только того, чтобы иметь возможность читать Шекспира в подлиннике. Вы, конечно, правы: о Гамлете писали много, о Шекспире вообще еще больше. Кого только тут не было: и критики, и комментаторы, и переводчики, и публицисты. И все они тонули в нем, как мухи в меду. Каждый из них подмечал какую-нибудь одну сторону и на ней пытался строить свой разбор, анализ и выводы.

— А ведь Толстой не любил Шекспира. Вы об этом знаете?

— Знаю, конечно. Не любил, потому что инстинктивно пытался ему подражать в своем творчестве и не имел для этого достаточно сил. Он так же не мог объять Шекспира, как и все остальные. Да это и неудивительно. Достаточно посмотреть кругом: современные люди настолько измельчали, что многое, бывшее простым и доступным человеку прежде, представляет для них неодолимое препятствие. Реалисты тонут во всяческом мусоре, идеалисты сходят с ума, отвергая все земное. Философы теряются в бреднях, люди практические отмечают все сколько-нибудь возвышенное. Современное человечество путается, бессильное связать им же самим искусственно разобщенные стороны жизни. А жизнь чудесна, как ребенок, она совмещает в себе все противоречия. Поэтому нам и говорят так часто: «Мы создадим не ту жизнь, которая была извечно разлита повсюду, а свою, лучшую, которую сами и выдумаем!» И каждый при этом тянет в свою сторону, общих тезисов и общего основания у них нет, да и быть не может. Все, что в силах произвести эти говорящие, так это разве местную опухоль, нездоровое разрастание какой-нибудь одной ткани за счет других. Все их усилия не могут создать здорового плода, они рожают только уродов!

— Ну, тут я с вами не согласна. Этих уродов рожают только у нас. Я не сомневаюсь, что люди могли бы сделать и что-то лучшее, если бы общество было организовано так, что каждый бы в нем занимал свое место, довольствовался этим местом, берег его и ценил то, что он, сидя на этом месте, получает лично для себя и отдает государству, то есть в конечном счете тоже для себя. Но для этого нужен тот уровень культуры, который нам и не снился. А посмотрите-ка на Германию...

* «Династии Франции» (франц.).

— Это Германия-то довольствуется своим местом? Ну, знаете... Я боюсь, что вам придется подыскать другой, более убедительный пример...

— Так я же не о Вильгельме и не о военной клике говорю... Однако оставим это. Я хотела бы, чтобы вы, пока никого нет, прочли мне то, что обещали...

Мне наконец удалось втиснуть на место книги и прикрыть дверцы шкапа. Это сделано вовремя — в комнату входит отец; он берет с полки хрустальный стакан и со стола костяной разрезальный нож.

— А ты что тут делаешь? Хочешь, иди слушать? Сейчас я буду тетушке читать Гамлета...

Он возвращается. Ставит около себя на стол пустой стакан и садится в кресло. Я вхожу следом и устраиваюсь на стуле у окна.

— Со мной, конечно, многие не согласны,— продолжает отец,— но я не могу не видеть в действующих лицах этой трагедии персонализации человеческих чувств и свойств, а в фабуле — изображения внутренней борьбы человеческого сознания. Ведь это то самое, если хотите, что, пройдя позднее через дидактические влияния французской ложной классики, выродилось в фонвизинских скотининых, простаковых и цыфиркиных. Но если там это крайне примитивные мертвые схемы вместо людей, хотящие носители двух-трех сентенций, которыми, по мысли автора, должно оправдываться их появление на сцене, то у Шекспира мы находим глубокие, полнокровные образы, насыщенные подлинной жизнью. Они живут и борются. В «Буре» своей он изображает силы природы, а в «Гамлете» нашел высшее выражение для трагедии человеческой души, которая стремится посредством насилия любви победить порок, но, заключенная в его царстве, не находит выхода и, побеждая его, губя его в себе, гибнет и сама с ним вместе...

...Олицетворением этого порока, овладевшего всем и царящего, является король. С ним-то и выходит на борьбу Гамлет. Первая сцена показывает нам зарождение сознания и жизни. Франциско, Бернардо, Марцелло — это пробуждение чувств. Затем появляется Горацио. Совершенно удивительная его первая фраза, когда на вопрос Бернардо, обращенный к Марцелло, он отвечает сам: «Здесь часть его пред Вами!» Он весь уже раскрывается в этой фразе. Гамлет всегда присутствует весь. Горацио с ним неразлучен до конца, но он всегда представлен лишь частью своего целого, и это не случайно. Так же, как король является воплощением порока, Гамлет — души, борющейся в поисках истины и правды; Горацио — это рассудок...

Когда поднимается занавес, на сцене мрак, не тот так называемый мрак, при котором все видно, но полный: угашены все огни, и в глубокой тьме слышен вскрик: «Who is there?»* Это не просто оклик солдата, стоящего в карауле, но сдавленный вопль отчаянного и жуткого вопроса. И в тон этой ночи звучит ответ: «Nay, answer me, stand, and unfold yourself»**, с выделением подчеркиваемых автором энных звуков и в речи, и в доносящемся бое башенных часов. Во время этого боя мрак начинает несколько проясняться, и под конец его в глубине сцены обозначаются матовые, чуть заметные просветы луны, как это бывает ночью, когда она еле может пробиться сквозь густые тучи...

Отец берет лист рукописи и начинает чтение. Разрезальный нож ударами о края стакана имитирует полночный бой часов... Разговор дозорных... Появление тени короля. Тень не соглашается говорить. После первой сцены читается вторая: «В замке». Затем третья — прощание Полония с Лаэртом, разговор с Офелией...

И наконец заключительная сцена первого акта: Гамлет видит тень отца. Он слышит ее. Она говорит:

Подкрался дядя твой со склянкой сока***

Злой белены и яд мне в ухо влил...

Убит... без покаянья...

Без исповеди и без тайн святых,

Не кончив счет, я был на суд отозван

Со всею тяжестью земных грехов...

.....

Ужасно...

Не потерпи, когда в тебе природа есть,

Не потерпи!!!

* Кто здесь? (Англ.)

** Отвечай мне, стой и без глупостей (англ.).

*** Цитирую по переводу Кронеберга, лучшему из известных русских переводов, так как эта работа отца, как и остальные, не сохранились.

И в заключение:

— Прощай, прощай и помни обо мне!

Помолчав, отец кладет рукопись на стол и, опустив глаза, уже с другой, грустной интонацией повторяет последнюю фразу:

— Прощай, прощай — и помни обо мне...

Голос его с каждым словом этой фразы как будто удаляется все дальше и дальше, прежде чем замереть навсегда... Текст длинных шекспировских монологов для меня скучен, мысли, в них заключенные — малодоступны. И тем не менее я всегда слушаю его чтение ненасытно и внимательно, хотя бы он читал одно и то же не в первый, а в пятидесятый раз. Что же я слушаю? Что воспринимаю? Об этом словами не скажешь. Но что бы ни читал он — для меня это всегда его рассказ о себе, о им пережитом, передуманном, а тут уже не может быть места ни скуке, ни равнодушию. Да, непонятым остается многое, но столько вложено им даже в это непонятное, что возникает какое-то совсем иное понимание, другие связи, не разрушающие смысла прочитанного, не подставляющие под него своих образов из моего детского обихода, и... пусть он читает еще!..

Все холоднее становится по утрам. Ледком стягивает лужицы на дворе и в аллее, пожелтая трава белеет от заморозков и, лишь ненадолго пригретая солнцем, покрывается блистающими мельчайшими каплями. Приезжает Мадемуазель. Она в Новинках уже не одна. Совет поселил там какого-то латыша Крюгера. На его обязанности — хранить дом и хозяйство и не давать ничего вывозить. На практике же это что-то вроде Временного правительства. Латыш поддерживает вежливый нейтралитет; его хорошенькая дочка Эльза приезжала как-то к нам. Зачем? Не знаю. Но они ладят даже с Мадемуазель, и она по-прежнему пользуется нашими лошадьми и коляской, привозит молоко и кое-какие вещи. Никто в этом ей не препятствует. Латыш даже колет ей дрова и ставит самовары, но взаимное отчужденное недоверие проводит между ними ощутимую границу. Откопать в его присутствии что-нибудь зарытое уже нельзя.

Вскоре после наступления зимы приехал Ваня. Леша по-прежнему остается в Петрограде. Полки расформированы окончательно. Изодранное в клочья полковое семеновское знамя Ваня с другим, старейшим из офицеров полка — Комаровым привезли с фронта и спрятали в таком надежном месте, что могут пройти века, и его никто не разыщет. Где это, он, конечно, не говорит. Об этом не следует знать никому, даже отцу. Знают только они двое — Ваня и Комаров. Этого достаточно. Такие вещи не говорят даже близким...

Не хранится ли доныне эта реликвия там, куда они ее спрятали?

После смерти Коки Ваня стал еще молчаливее, еще задумчивее, сосредоточеннее. Он не носит уже ни своих орденов, ни погонов, даже кокарда снята с папahi... Ненадолго приезжает и Леша — дня на два. Однажды я слышу случайно какой-то обрывок их разговора. По-видимому, речь шла о каких-то офицерских группировках, о том, что в столице есть люди, которые не утратили надежды повернуть обратно так называемое колесо истории...

Говорит Леша. Ваня молча его слушает.

— Только ведь, ты знаешь, я лично не верю во все это — попытки с негодными средствами, по-моему, ломать себе шею, имея в перспективе только одно удовольствие ее сломать, как-то мало соблазняет...

— И ты, конечно, в этом прав, ни во что подобное не следует ввязываться, — отвечает Ваня, — с меня более чем довольно всего этого, чтобы идти за кем-то; надо верить и в него, и в осуществимость тех целей, которые он перед собой ставит. А все, что сейчас организуют разные авантюристы и горячие головы, в конце концов, слишком смахивает на охоту с подсадными утками. Эти господа пользуются возможностью кричать в кустах до поры до времени, но лететь на их криканье не имеет никакого смысла...

Леша уезжает. Ваня остается у нас. По утрам, после завтрака, мы с ним забираем лыжи и уходим на прогулку; минув двор, выходим в лес и только тогда становимся на лыжи.

— Ну, догоняй, — кричит мне Ваня и, легко оттолкнувшись, скользит по нашей старой, уже наезженной лыжне. Над нашей головой огромные сосны; их красноватые смолистые стволы раскрываются вверху мощными ветвями; на ветвях лежат теплые снежные шапки. Вот кончился лес. Мы бежим вдоль живой

изгороди из стриженных елок. Она такая густая, что под елками даже снега не видно, и видна мерзлая земля, усыпанная серыми, мертвыми сучками.

Для следующей передышки останавливаемся у въезда в аллею. Тут я вспоминаю, что мне надо было что-то спросить... Да!

— Ваня! Ты не знаешь, что это такое: медиум? Я в книжке видел...

— В какой книжке?

— У тети Нади... Там в шкапу их много... спиритуалистические явления... — с трудом припоминаю я, — и еще астральный... астральная...

— А зачем ты трогал эту чепуху? Гадость все это. Наверное, от дяди Вавы остались...

— Это тот, что за границей живет? Тети Вали муж?

— Ну да... Он ведь на этих штуках совсем спятил.

— На каких штуках?

— Ну на спиритизме, на гипнозе и тому подобное. Он уехал, когда мы все еще такими, как ты, были, вскоре после смерти тети Вали. Он ей, бедной, и умереть-то не дал спокойно: все разные пассы над ней делал и повторял: Tu ne mourras pas! Tu ne mourras pas!

— А она все-таки умерла?

— Конечно. Потом, я помню, он завел себе какого-то духа... Подойдет к стенке и стучит согнутым пальцем. И уверял, что кто-то ему отвечает.

— Может быть, и в самом деле отвечал?

— Не думаю, — улыбается Ваня, — он и у нас в Новинках хотел один раз сеанс вызывания своих духов устроить. Он ведь в молодости очень с папой дружен был. Они вместе и за границу ездили путешествовать...

— Что же, и папа был, когда сеанс?

— Нет, папы не было. Но все равно ничего у него не получилось. Тетя Маша шептала: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», а он уверял, что это духам мешает, и все уговаривал ее перестать или уйти, а тут и папа вошел...

Мне, разумеется, ясно, что если кто-нибудь еще и упорствовал после тети-Машиной молитвы, то с появлением папы им уже ничего не оставалось, кроме как «расточиться»...

— ...Попало тогда нам всем от папы, — заканчивает Ваня, — и правильно, что попало, а дядя Вава больше у нас и не бывал. Скоро он уехал совсем...

— А почему правильно, что попало?

— А ты сам подумай. Ведь одно из двух: или все это глупости и фокусы и никаких духов на сеансах не появляется, тогда смешно и не к чему строить из себя дураков, а если что-нибудь там появляется на самом деле иногда, так это еще хуже, и церковь не зря запрещает всем этим заниматься верующим людям...

Снова поскрипывают о снег наши лыжи. Мы бежим дальше. Концы моего башлычка, накинутаго сверху на воротник, отлетая назад, полощутся в воздухе. Добежав до леса, Ваня круто сворачивает, и, проваливаясь в рыхлом снегу, мы уже значительно медленнее возвращаемся к дому...

Еще поднимаясь по лестнице, мы слышим наверху голос отца. Он стоит на верхней площадке и обращается к тете Наде, которая спускается к нам навстречу.

— ...И еще как отпразднуем, тетушка, вот вы увидите, — говорит он, — я сам возьмусь за это. Хочу, по крайней мере, в день своих именин не слышать этих разговоров, что того нет, другого не хватает, это исчезло... Значит, решено: я угощаю вас обедом га́ла и большим именинным тортом. Конечно, если все берутся мне помогать...

Через два дня зимний Никола — его именины.

Он уже увлечен этой новой идеей, и все приходит в движение. Но легко было сказать — большой торт, а белой муки во всем доме два-три фунта, сахару, кажется, еще того меньше...

Однако есть черные сухари, есть пряности, есть малиновое варенье, ну и конечно, молочные продукты, яйца... Вполне достаточно! Весь следующий день из Аксюшиной резиденции слышны удары пестика о стенки бронзовой ступки. Толкутся черные сухари, толчется миндаль, взбиваются белки. Ритм ударов ступки подстегивает во всех жажду деятельного соучастия. Папа повязал голову полотенцем и надел белый фартук, но все-таки не стал похож на повара, скорее на какого-то бедуина. Толченые сухари в большом тазу перетираются с малиновым вареньем. По чисто выструганной доске ходит большой гладкий каток скалки, раскатывающей тонким слоем желтое тесто. Торт должен быть большой; слово сказано: аршин в диаметре — не меньше! Что? Таких не бывает? Он не

* Ты не умрешь! (Франц.)

вместится ни в одну печь? Но ведь главная прелесть трудностей — в преодолении. Можно выпечь его частями, тем более что он будет состоять из совершенно разных секторов, а потом скрепить. Но вопрос о торте не единственный. Должен быть также и обед. Меню уже набросано на узкой полоске бумаги и согласовано с хозяйками. Блюда отныне называются «переменами», и отец, как настоящий метрдотель, объясняет поваренку Вере специфические вопросы кулинарии:

— Ничего-то вы не знаете, просто удивительно! А казалось бы, уж это-то должны были бы знать так, чтобы и мне около вас поучиться. Ну вот хотя бы мука пшеничная. Какие сорта ты знаешь?

— Крупчатка, потом первач... — отвечает сестра, но он не дает ей докончить:

— Ну и плохо... Первый сорт, в продаже называемый крупчаткой, делится на три разряда: конфетная, отъемная и крупчатка, второй сорт — действительно первач, но делится на собственно первач, драную и второй первач, а третий — выбойка или куличная — подразделяется на подрукавную, куличную и межеумок. Он идет на пряники или, в смеси с ржаной мукой, на полубелые хлебы. Тебе ведь это нужнее знать — хозяйкой будешь, а то, если у тебя тесто не поднимется, пожелтеет и расползется, ты даже не поймешь, почему это случилось.

— Плохо замешано, значит, было...

— Не только поэтому. Это бывает и тогда, когда зерно поражено грибом-спорыньей или почва была сильно удобрена овечьим навозом... Да, а первое! Что же мы? Надо же поставить его сегодня, — спохватывается он.

— Накануне? Что ты, папа. Кто же ест суп на другой день?

— Не суп, а щи. Щи суточные, николаевские. Оттого они называются суточными. Ваня! Ты почему сидишь? Твоя помощь тоже требуется. Надо что-то придумать со второй переменной: цыплята под белым соусом не получатся — лимона нет, да и рису мало. Значит, придется делать рулет или бёф-бризе. Впрочем, только прошу, рис зря не расходуйте. Да! Еще сладкое надо! Только не сидите сложа руки. Вера, принеси, там у меня в шкапчике есть немного сахара, мне нужен жженый сахар, и потом еще миндаль захвати для марципана...

Все самые ответственные моменты он берет на себя. Аксюша напрасно скептически поджимает губы (она по праву считает себя специалисткой по сдобному тесту). Но сегодня и она отстранена от руководства — он не спрашивает советов. Ему нужна только помощь. И Мадемуазель что-то не едет. Она должна привезти из Виновок банку с засахаренными апельсиновыми корками для гурьевской каши и что-то еще из пряностей...

В назначенный час, однако, все готово. Сервирован стол. У каждого прибора лежат украшенные затейливыми виньетками меню. Две бутылки вина с красной печатью удельного ведомства на этикетках стоят на концах стола. За окном ранние зимние сумерки опускаются вместе с мелким снегом. Зажигают лампы. Приходит отец в своем парадном сером сюртуке. Торты в его окончательном оформлении никто не видел. Накрытый белой бумагой, этот торт стоит в его комнате, куда никто не допускается.

Дымятся разлитые по тарелкам густые щи. Над ними тоже он колдовал немало. Вкусно пахнет мясной рулет с рублеными крутыми яйцами, поднялись над столом граненые рюмки...

Но разговор не ладится. В этот день всем хочется подыскать какие-то нейтральные темы, далекие от надоевших сетований на нехватку продуктов, неуверенность в завтрашнем дне. Но нейтральных тем больше не осталось. Даже воспоминания неизбежно влекут за собой сравнения, и нет предмета, который не стремился бы определить свое место в ряду всех этих запретных сегодня тем, в кругу этих безответных вопросов...

В самом деле, разве не мог бы рассказать о чем-нибудь Ваня, но уже первая фраза так не подходит сегодня к случаю, что, едва не слетев с его губ, замирает. Это обычное начало всякого рассказа: «У нас в полку...» А что стало сейчас с этим полком, где он и кто вернулся с ним вместе оттуда...

Вера. Точно так же обычное начало: «У нас в Новинках...» А почему мы не там в этот день и вернемся ли туда снова?

Старшая тетушка любой рассказ начинает словом «бывало». Что это значит? Это когда были все еще живы? Многого тогда «бывало» и еще «не бывало» ничего вот этого, того, о чем сегодня наслушалась ездившая сегодня на станцию тетя Дина. Вот она живет только сегодняшним днем и его заботами. Она привозит всевозможные «слухи», доверчиво принимая на веру все, о чем бы ей ни поведали. Но время ли сейчас рассказывать о них. Да и мать так цыкнет, что...

Мама, наша мама... Она тоже здесь с нами за столом. Но после смерти Коки ее как будто нет среди нас. Это не прошло, а как-то закрепились «на постоянно».

Вся она где-то внутри, там, куда загнал ее этот удар... У нее нет сил, ни умения как-то притвориться хотя бы не перед собой, так перед окружающими, что ей еще может быть весело, может быть празднично и хорошо...

А к разговорам на отвлеченные темы не располагают фламандские порции сытных блюд, алые огни вина в хрустале, ароматичная гурьевская каша, салфетки с коронами и вензелями — вся эта сервировка, которая притворяется, что ничего не случилось...

Вокруг теплая комната, часы бьют на полочке камина, и пусть себе снаружи зима. Ведь это только время года. Все пройдет, и не надо будет думать о хлебе, о дровах, в Марусино никто не придет. Его никто не тронет... Ведь это даже не имение, так себе, хутор, кому он может мешать?.. Скоро будет Рождество, потом Новый год, а там и весна... Жизнь идет и будет идти дальше... Да, как это Ваня рассказывал: «Tu ne mourra pas! Tu ne mourra pas!» А она все-таки умерла...

Отец больше других чувствует это то и дело возникающее за столом тягостное молчание. Переводя тяжелый взгляд с теток на Веру и маму, видит на всех лицах тени пробегающих мыслей и... понимает все. Но не для того же он затеял этот обед, чтобы оплакивать прошлое! Забыть ни о чем нельзя, да и не надо. Но ему жаль близких людей, когда они мучаются, часто даже по пустякам, отравляя себе жизнь еще больше этими пустяками, переживая всерьез какие-нибудь недостающие дрова или сахар; вот от этого можно и нужно отвлекаться. Надо понимать самый механизм жизни и уметь, делая над собой усилие, быть выше ее досадных и не всегда безобидных мелочей. А в этот вечер надо, чтобы все отдохнуло, не мечтая о несбыточном и довольствуясь тем, что они вместе... пока.

Внезапно он преображается, в глазах загораются живые, веселые огоньки.

— Да, всем нам, конечно, случилось обедать и получше, — говорит он, — но все же этот обед и не из плохих?

— На комплименты спрашиваетесь? — подхватывает Надежда Федоровна. — Я думаю, что не тому отдала, кому следует, паспорт кондитера, за Володю я не уверена, а вот вы и его носили бы с честью.

— Нет, я не вызываю вас на комплименты. Мне просто вспомнился самый неудачный обед, который... нет, собственно, я даже и не ел, не мог, хотя ужасно был голоден. И вы не догадаетесь, где это было? В Испании, в небольшой таверне, куда мы с Вавой завернули тотчас же по переезде границы...

И он с юмором рассказывает, как после мимического объяснения с хозяином таверны они из многих неизвестных блюд выбрали яичницу, но яичница оказалась зажаренной на прогорклом оливковом масле и, кроме того, с вареньем. За этим рассказом следуют другие; два или три забавных случая из времен его молодости и заграничного путешествия вызывают даже на лице у мамы тень улыбки, и разговор понемногу налаживается. Отец непринужденно ведет беседу, задавая ей тон. Уже кончен обед. На столе появляется кипящий самовар, и наконец приносят торт. Отец несет его вдвоем с Ваней через раскрытые настежь двойные двери. Торт вызывает у всех невольные возгласы изумления. На большом листе фанеры, накрытом бумагой, высится настоящее произведение искусства. Ажурные башенки и лесенки, изукрашенные жженым сахаром и сбитыми сливками, сходятся к центру, где, высоко вознесенное специальным устройством из хвороста с готическими стрельчатыми арками, лежит большое румяное яблоко из марципана с веточкой и зелеными листиками. Все это оформление он сделал сам, сюрпризом...

После чая Ваня садится к роялю. Он не зря был, как и я теперь, учеником тети Дины. Но ее несколько суховатая манера игры претворена им во что-то более ему свойственное — лирическое и задумчивое... Она, получившая в Германии специальное музыкальное образование, считает сама, что он далеко опередил ее... Он играет «Аппассионату» Бетховена. Все затихли. Слушают.

Но уже поздно. Мама с Верой уводят меня, едва только он кончил, укладывать. Я не очень сопротивляюсь, — лишь бы не закрывали дверь. Из моей постели мне видна часть столовой и хорошо слышны голоса разговаривающих там. Впрочем, там уже нет ни Веры, ни Вани, ни тети Дины. Только мама, уложив меня, вернулась. Я вижу, как она, неслышно вздохнув, садится у окна, развернув на коленях какое-то рукоделье; все это без единого слова, как и всегда теперь. Она все время присутствует в нашей жизни и... не участвует в ней. Правда, даже только присутствие ее все же ощутимо и необходимо, но когда я ищу слов, чтобы рассказать о нем, то горько становится, что слов этих у меня нет. Ее роль в семье, трудно объяснимая словами, для тех моих девяти лет и вовсе была необъяснимой. Позднее воспоминания сестры и двух-трех близких ее звавших людей позволили мне как-то дорисовать для себя, но только для себя, этот зыбкий, почти

призрачный образ. Нет, он не был ни бесцветным, ни вялым. Но когда все говорили мне о ней как об очень мужественном, вольном человеке, это так не вязалось с представлениями, сохраненными моей памятью, что я невольно терялся. Отец — да. Но мама? Почему же тогда это было, или казалось всегда, таким незаметным? И не раз люди, знавшие и помнившие их обоих, снисходительно улыбаясь, отвечали: «Но ведь если он мог всегда оставаться таким, так это лишь потому, что она была с ним рядом. Он сам хорошо понимал это и ценил всегда, а ты просто был еще слишком мал»... Что я мог возразить? Наверное, так оно и было. Я находился еще в таком возрасте, когда характеры и взаимоотношения окружающих воспринимаются контрастно. Наше внутреннее зрение не сразу научается различать полутона и не отводит им того места, какое им по праву принадлежит в жизни. Отец заслонял для меня все. Он, его характер, его воля были подлинными организующими абсолютными, и все остальное перед ним невольно умалялось. Так, на древних египетских фресках фараонов изображали вдвое или втрое больше, чем их жен или полководцев. Было ли это только живописным канонем, как считают искусствоведы-аналитики? Или в этом сказывалась непосредственность детских восприятий действительности и это было органичным для сознания того времени.

Да, что касается отца, то его образ, ярко отложившийся в детском сознании, впоследствии был мной критически осмыслен и откорректирован. Для этого я мог использовать в качестве опорных точек воспоминания близких, их рассказы, случайно уцелевшие письма и листки его записных книжек с черновыми заметками и дневниковыми записями. Здесь я иногда привожу эти документы целиком, иногда придаю им форму диалогов, но не позволяю себе изменить ничего даже в интонациях и способах выражения. В них очень много такого, с чем теперь я не мог бы согласиться, чего не понимаю, против чего восстаю. Об этом в свое время будет... Что же касается матери... здесь мне нечем воспользоваться, а всякую фантазию я изгнал раз навсегда из своего обихода. По моему убеждению, она не обогатила бы, а окончательно погубила то единственное, что здесь может быть ценного, — правду действительной жизни.

По-видимому, большие внутренние силы моей матери и ее действительно незаурядное мужество (про нее все говорили, что чувство страха за себя ей с детства и всю жизнь было совершенно незнакомо) проявлялись в сознательном самоотречении, в том, что, поняв однажды и приняв цели и задачи мужа, она совершала свой жизненный подвиг, полагая своим счастьем его счастье, ограничив себя местом его жены и матери его детей. Не силой характера, а силой любви строила она жизнь, никогда не отступая от этого разумом и чувством определенного для себя пути. Жизнь ее была очень трудной. Характер мужа — непреклонный, вспыльчивый до самозабвения и иногда ни с чем не вяжущейся грубости, — могла выносить повседневно или полная безличность, или только очень сильная, сознательно подчинившая себя этому насильно натура. Но такой подвиг не мог быть понятен и тем более чем-либо импонировать ребенку. Мало этого, может быть, он и сейчас недостаточно мне импонирует, хотя и стал понятнее. Я знаю, как представляли свое жизненное назначение женщины в прошлом, но эти взгляды в прошлом и остались, и сказав, что я об этом сожалею, я солгал бы...

Однако же для него, для отца, только такой брак и мог быть счастливым, только такая женщина и могла стать действительным другом и спутницей в жизни. Благодаря ей, ее пониманию и самоотречению он мог в конце жизни с таким удовлетворением оглянуться назад. Только с ней рука об руку, всегда и во всем ощущая *якобы* слабую поддержку этой руки, мог он пройти через все испытания, ни разу и ни при каких обстоятельствах не пошатнувшись...

Голоса в соседней комнате все еще звучат. Тетушка говорит с отцом:

— Знаете, Колечка, мне все же всегда кажется, когда я о вас думаю, что Бог был слишком щедр к вам. И, пожалуй, было бы лучше, если бы он кое в чем поскупился, для вас же лучше, не для кого-нибудь...

— Вы отчасти правы, и мысль ваша мне понятна, — отвечает ей отец, — конечно, у меня от рождения были начатки довольно разнообразной одаренности, но не было возможности когда-либо развить и применить эти дарования. Правда, я имел в своих родителях глубокий источник, откуда мог черпать нравственные начала, которые способствовали развитию этих дарований в нужном направлении, но впоследствии, впоследствии жизнь складывалась таким образом, что никакими путями к осуществлению и воплощению своих дарований я не видел. Мне оставалось, как бесцеленным даровитым натурам, в которых у нас никогда еще не было недостатка, гибнуть по их примеру...

— Но слава Богу, не погибли и многого добились, — прерывает Надежда Федоровна, — но я ведь даже не об этом хочу сказать. А вот, глядя на сегодняшней торт, не смейтесь только, это и раньше мне приходило в голову, думается: беретесь вы за кисть — можете создать картину, и хорошую картину, потом за перо — пишете книгу, и книгу написать вы можете хорошо; у вас есть и слог, и стиль, о мыслях я уже не говорю; но вы уже с лопатой — сажаете и выращиваете прекрасные розы, наконец, хватаетесь за квашню и скалку — и все мы едим вкуснейший торт, едим и радуемся, потому что вкусно. И так во всем. А может, было бы лучше, если бы картины не получались и торты не выпекались, а выходили бы только картины? А то не поймешь, кто же в вас пропадает? Кто главный-то? Что для вас является настоящим, то есть я понимаю, все настоящее, но самым-то важным должно быть что-то одно, а остальное хоть и красивой, и радостной, но все же помехой для главного. Я все же думаю, что торт, хоть и превкусный, но который мы, в конце концов, съедем, несмотря на наше благодарное воспоминание, — не самое ценное из всего, что вы можете. И лучше бы вы занимались чем-нибудь одним. И больше и лучше сделали бы... Ведь помимо способностей, сил, таланта всякий человек ограничен в своей жизни отпущенным ему временем, здоровьем.

— И не только здоровьем и временем: мы ограничены очень многими рамками и обстоятельствами, — отвечает отец. — Но неужели вы полагаете, что я сам никогда не думал об этом? И как еще много и трудно думал! Но я имел, как мне кажется, тот ясный взгляд и сознание жизни, которые допускают вполне осознательный разговор с нею. Я хотел всего или ничего, хотел овладеть всеми родами искусств, хотел жить, создать семью... Не раз я сам говорил себе, что владеть всем — значит растерять все, что имеешь. Но на это у меня находился и ответ. Что за пустяки, думал я, разве великие художники не бывали и учеными, и музыкантами, и полководцами — и чем только они не были; и во всем отличались. Но они были сильнее, здоровее меня и отдавали науке и искусству всю жизнь, говорил я, да и по масштабам своим крупнее, по самому времени, когда они жили, наконец... Но и на это был ответ: пусть все это так, но я сперва должен сделать то, что смогу, а там видно будет.

И теперь, когда жизнь прожита, я, по правде сказать, никогда не жалею, что не сосредоточился на чем-нибудь одним. Моя задача была разнообразной, как сама жизнь. И, сколько мог, я задачу эту выполнил. Единственное, чего я никогда не любил, не добивался и даже, признаюсь, просто боялся, — это славы. И поэтому живопись или литература — все это было для меня серьезным расширением жизни, но не поглощением ее, и я рад этому...

Глава VI

В течение последовавшей зимы отец еще несколько раз повторял свой удачный опыт. Он выдумывал новые блюда, новые пирожные, новые торты. Они получались с каждым разом скромнее — все больше ощущался недостаток продуктов, а скромные запасы истощались с каждым днем. Однако его изобретательность успешно преодолевала многие затруднения...

Он сильно переменялся. Жестокое осуждающее отношение к окружающим исчезло совершенно. Остались только мягкое сочувствие и постоянная жалость, которые выливаются стремлением хоть чем-нибудь облегчить им этот трудный год...

Моя жизнь относительно наладилась, и мне некогда скучать. Уроки с Верой, прогулки с Ваней на лыжах, беседы с отцом, занятия музыкой с тетей Диной заполняют короткие зимние дни. Иногда тетя Дина запрягает в маленькие саночки свою ослицу Мушку и берет меня с собой в Тешилово; там приходская церковь, стоящая на въезде в небольшой поселок (это всего две версты от Марусина). Эти поездки очень приятны. Узкие полозья быстро скользят по наезженной дороге. Мушка, пошевеливая длинными ушами, часто перебирает копытцами. На фоне зимнего солнца и снежного поля шерсть на ее спине кажется совершенно сиреневой. На синеватом снегу, пробиваясь сквозь сосновые стволы, лежат золотистые лыжни холодного декабрьского света. Морозит. Стынут колени над коротенькими валенками, и я напрасно прикрываю их руками, одетыми в теплые рукавички. Неподвижно стоят выстроившиеся на обочине высокие стволы деревьев. На дороге, желтея, дымится свежий навоз, оставшийся после недавно проехавшей повозки... В Тешилово тетя Дина ненадолго заходит к священнику; с румяной молодой матушкой у нее постоянные хозяйственные дела. Эти дела сводятся к взаимно одалживаемым мясорубкам, кофейным мельницам, кулечкам картофельной муки или чего-нибудь еще.

После короткого разговора, отогревшись, едем обратно. Каких-нибудь полчаса — и мы опять дома. Приближается Рождество. Всем хочется чем-то побаловать меня. Но чем? Ни новых книг, ни игрушек достать уже негде. Впрочем, я был бы еще больше рад старым, тем, что остались в Новинках. С каким удовольствием я встретил бы снова этих старых, верных друзей! Но... Мадемуазель выбралась оттуда окончательно. Дочка Крюгера Эльза приезжала на днях попрощаться и сказать, что они с отцом уезжают и надеются, что мы не сохраним о них дурного мнения и воспоминаний... На смену им появился другой латыш, одинокий и мрачный. Он немедленно позаботился прибрать к рукам все, что было можно, и стал неотступно следить за Мадемуазель. Неразговорчивый и невозмутимый, он сумел за несколько дней довести ее до того, что даже она не выдержала и собралась уезжать. Взять лошадь для отъезда можно было только с его разрешения; она предпочла попросить подводу в деревне у знакомых крестьян... Конечно, и все елочные украшения: шары, бусы и бонбоньерки — тоже остались «там». Но тем не менее о чем-то, лукаво улыбаясь, шепчется с мамой тетя Дина. Вера с Ваней накрывают что-то газетой в другой комнате, когда я вхожу и кричат: «Не входи сюда — у нас форточка открыта!» Меня снова усильно оберегают от сквозняков и простуды...

Наступает сочельник. Меня предупреждают, что вешать чулок бесполезно: положить в него нечего, да кроме того, я уже достаточно взрослый. По тону, каким это сказано, понимаю: на этот раз они не шутят. Что же поделаешь? Действительно, из младенца я как-то незаметно превратился в отрока.

И все-таки наутро у постели висит набитый чулок. Оказалось, тетки возмутились нарушением обычая и собрали что могли. Чулок получился скромный. В нем: довольно черствый пряник, пара яблок, бонбоньерка с миндалем и изюмом, маленькая записная книжечка с карандашом... Но насколько же это приятнее, чем если бы так ничего и не было!

Вечером зажигают елку. У теток нашлась золотая, черная и красная бумага, и Вера с Ваней склеили разные картонажи и бонбоньерки. Но самое главное — это два капитальных подарка. Их только два, но таких у меня никогда еще не было. Первый из них — дом. Да, целый дом, настоящий, двухэтажный, с кровлей, крытой железом, в метр с лишним высотой. С одной стороны видны окна с тюлевыми занавесками и кабинетными портьерами, балконы, с другой — дом представлен в разрезе. В каждой комнатке своя обстановка. Этот дом разыскала где-то на чердаке тетя Дина и со своим приятелем — столяром Василием отделала его весь заново. В комнатах есть двери со стеклянными ручками, лесенки с первого этажа на второй. Василий — прекрасный мастер; собрал и починил всю мебель, а недостававшую сделал сам из фанеры и покрасил. На стенках комнат висят картины, календари, географические карты. В гостиной — люстра из позолоченного папье-маше с маленькими свечечками. На письменном столе, в кабинете, чернильница, ручка с пером, карандаши, совсем как настоящие. Но по размерам немного больше ногтя на моем мизинце. Есть и книжный шкаф с крохотными книгами. Каждая из них имеет название, некоторые даже можно вынуть и раскрыть; внутри они иллюстрированы акварельными рисунками. В кухне на полках стоит посуда, на плите — сковорода, и на ней жарится яичница-глазунья, а возле плиты — охапка березовых дров. Количество этих деталей мне кажется бесконечным; они обнаруживаются то в ящиках письменного стола, которые, оказывается, можно выдвигать, то в бюро на столе, то в шкапах и шкафчиках. Самые изобретательные находки, конечно, придуманы и сделаны отцом: он выточил эти малюсенькие шестигранные призмочки для карандашей, он сделал из стеклянной бусинки глобус на подставочке, на котором еле видны не только материки, но и градусная сеть, и он же наколол эти миниатюрные поленца, и каждое из них собственноручно обклеил настоящей березовой корой, подрисовав на ней мох, сучки и наплывы, и свечи для канделябров с фитильками на концах сделаны им. В каждой мелочи видны его вкус, его уменье с увлечением отдаваться любому делу, и главное — его любовь. Ведь когда все это разместилось в домике на своих местах, то даже взрослые, на глазах у которых он делал многое, были поражены обилием труда и выдумки, вложенных им в эту игрушку. Впрочем, здесь и всем остальным нашлось дело. Книжки для библиотеки делали Ваня с Верой, обивкой мебели занимались тетя Дина, а старшая тетушка неумоимо разыскивала в своих ящиках и сундуках все, что могло как-нибудь пригодиться...

Моему восторгу нет, разумеется, никаких пределов! Метла на кухне, пирог, обнаруженный в духовом шкафу плиты, горшочки и криночки, взятые отцом из точеных бирюлек и раскрашенные под обливную глину, которые стоят на

полочке совсем как живые, настоящее решето на гвоздике — каждая такая находка в отдельности поражает и радует...

Когда, уже будучи взрослым, я увидел в Москве на Пушкинской выставке знаменитый нашокинский домик, то невольно проведенная мысленная параллель оказалась не в его пользу. И, думаю, дело тут не только в силе детской впечатлительности. Тот «мой» домик, разумеется, не был таким помпезным. Но он был уютнее. Он не стоил и тысячной доли тех затрат, которые произвел на свою затею Нашокин, но в нем овеществилось так много подлинного чувства и любви, вложенной в его создание. Все эти крохотные детали, сделанные «из ничего» — из сломанной пуговицы, из обгорелой спички, клочка пергамента, кусочка кожи, заставляли всю эту игрушку как бы светиться изнутри бесчисленными творческими находками. Никогда еще ни один подарок даже в лучшие дни моего детства не дарил такой полной радости, согревающей душу...

Второй подарок соответствовал переживаемому времени: это была «потребилровка» — потребительская лавка (понятие, впервые входившее в обиход в те дни). Висячий стенной шкафчик с тремя открытыми полками и шестью закрытыми внизу содержал все, что должно было в ближайшие месяцы стать музейной редкостью. Маленькие аптечные и лабораторные склянки, баночки и пузырьки представляли богатую выставку продуктов, уже ушедших или только еще исчезающих из жизни. Мед и несколько сортов варенья в стеклянных стограммовых баночках, макароны и вермишель в специальных коробочках с этикетками, пузырьки с прованским, конопляным и подсолнечным маслом, ящики с чаем, жженым кофе и кофе в зернах, какао, пряности... По своему масштабу потребилровка была довольно значительной. Обитателей такого домика, как мой, она могла бы, возможно, обеспечить питанием года на два. В каждом из закрытых шкафов было засыпано, наверно, по килограмму муки, ржаной и пшеничной, крупы пшеничной и гречневой, гороха и чечевицы. В стеклянной баночке сантиметров восемь высотой были выбраны крошечные маринованные грибки, в другой находилась пареная брусника. Многие продукты, находившиеся здесь, были последними в доме...

После праздничного вечернего чая, когда я уже лежал в постели, простившись со всеми, счастливый и умиротворенный, готовясь заснуть, ко мне вошел отец.

— Ты еще не спишь? — И он присел с края на одеяло.

— Нет. Что это у тебя... — В руке у него был лист бумаги, сложенный пополам.

— Это я написал для тебя. Вчера вечером я о тебе много думал и хотел кое-что сказать тебе, но ты скоро забудешь то, что я скажу, а может быть, и не все поймешь сейчас, а долго ли еще мы будем вместе...

— Что ты, папочка? — Я совсем очнулся и встревоженно приподнялся на локте.

— Нет, я просто так, ведь никто ничего не знает... Я только прочту тебе и оставлю этот листок, может быть, ты когда-нибудь о нем вспомнишь и он тебе еще пригодится...

Что случилось? Он так говорит со мной уже второй раз. Первый раз это было два с лишним года назад в Петрограде, вскоре после смерти Коки. И тогда он тоже принес мне что-то... Это было маленькое Евангелие в хорошем кожаном переплете. На первой странице он написал: «Милому Сереженьке от папы. В этой книге ты найдешь все, что только нужно для человека, и ответы на все вопросы». И дата... Но тогда все это было как-то наскоро. Мама ждала его. Они куда-то уезжали, да и я в свои семь лет не обратил большого внимания и скоро забыл, что он говорил мне...

Он разворачивает лист, исписанный его крупным характерным почерком.

— «Видишь, дружок мой милый,— читает он,— как твое старание и послушание венчаются успехом. Я учу тебя духу разума и любви. Господь наш сказал: «Будьте мудры как змии и кротцы как голуби»,— и этому-то я и хотел бы тебя научить. Рекомендую тебе не забывать чтения святого Евангелия. Ты видишь, как тебя все любят, как заботятся не только о воспитании твоём, но стараются научить жизни, научить как полезно тебе и нужному тебе, так и приятному. Ты должен отблагодарить старших послушанием, прилежанием, а еще больше — заботой о них. Забота и жалость есть любовь. И как любят тебя во все часы дней, так и ты заботься и жалея постоянно всех окружающих. В этом залог счастья и благополучной твоей жизни, какая бы она, короткая или длинная, ни была. Уповай на Господа и умножай свои духовные силы. Если будешь иметь в себе Духа Господня, все остальное приложится тебе даром к этому главному. Ты должен знать, что добро и зло заразительны более счастья и всяких болезней.

Поэтому прилепляйся к доброму и опасайся зла. Все нечистое, пагубное, грязное, вредное, Богу неугодное, уродливое и злое дурно не только само в себе, но один вид его, один дух его, один слух о нем — зараза и гибель. Почему Господь и говорит: «Отвернись от зла и сотвори благо». Не обращай на зло взоров, слуха, вкуса, всякого из чувств твоих, но скорей делай доброе, чтобы забыть о зле. Не любопытствуй в дурном, не направляй пути к плохому, не иди на совет нечестивых. Тогда только укрепятся твои пути жизни, тогда только ты сможешь проложить свою дорогу в целине простора Божия. Содержи сердце свое правдивым и чистым, тогда иди по сердцу своему, и никто не заманит тебя в западни человеческие, и ни в какой тупик и засаду ты не втискаешься. Узок путь добра, мало идут им, но он приводит к беспредельному простору Божию; широк путь зла, и многие им бегут без оглядки, но он приводит в тесноту и предательство. Храни же тебя Господь на всех путях твоих. В руки Пречистой Царицы Небесной отдаю тебя. Расти и совершай положенное Господом с произволения его. Да будет всегда согласна свободная воля твоя...»

Отец быстро нагибается, крестит меня и крепко целует. Прежде чем я успеваю что-нибудь осознать, я вижу у лампы его лицо. На секунду влажным волнением блеснули глаза и, повернув фитиль, он тушит лампу. Листок остается у меня в руке. Я не понял почти ничего. В первых фразах он сказал о моем старании и послушании... Мне стало стыдно от этой незаслуженной похвалы, и дальше уже я не успевал следить за тем, что он читал мне. Но от всего этого как-то тревожно и страшно. Что это значит? Почему он такой? Что он решил? Я не нахожу ответа и, прежде чем уснуть, долго ворочаюсь в постели и, приподнимаясь, перекалдываю с одной стороны на другую свою горячую подушку...

На дворе во флигеле живут дачники. Ни имен, ни фамилии, дачники — и все тут. Каждое утро из своих окон мы наблюдаем, как две девочки с косичками (одна темноволосая, другая беленькая) бегут на кухню к тете Дине за молоком. На длинных ломких ножках бегут гуськом, одна за другой, через двор с одинаковыми глиняными кринками, а спустя несколько минут возвращаются обратно. А там, во флигеле, есть и еще три девочки — поменьше. Всего пять. Отец их, железнодорожный служащий, недавно овдовел, и все пятеро остались у него на руках. Старших девочек папа с тетей Надей прозвали «веревочные барышни». Действительно, длинные и тонкие ноги и руки у них точно веревочки. За последний год они, видно неожиданно для самих себя, очень выросли, и поэтому так нетвердо и непривычно держатся на этих ломких худеньких ножках. Скользя и путаясь в них, они бегут на кухню довольно бойко. Возвращение же совсем смешно: им так страшно упасть, поскользнуться и пролить свои горшочки. Поэтому обе движутся сосредоточенно и важно, вовсе не сгибая ноги в коленях, точно два журавлика-подростка. А кругом всюду страхи: гусак шипит, еще издали пригибая голову, индюк фырчит и, точно шар, подкатывается боком, боком все ближе и ближе...

На днях у тетушки был их отец. Он приносил деньги за снимаемый ими флигель и жаловался, как трудно ему живется. Разговорился. Рассказал, что службу пришлось оставить, а сбережений совсем немного и надолго хватить не может. Что предпринять дальше с целым выводком девочек, не знает. И как воспитать их без матери? «Вот и Рождество подходит,— говорил он,— была бы жива жена, все-таки как-то отпраздновали бы, хоть по-бедному, да все вместе, а один — что я могу?»...

Тетя Надя рассказала об этом папе.

Когда отец вошел к нам, Вера, сидя у стола, проверяла мой диктант и подчеркивала ошибки. Я писал довольно бойко, конечно, еще с ятями и твердыми знаками...

— Вера! Знаешь, что мне пришло в голову? Давайте сделаем елку нашим «веревочным барышням!» Ну что это, в самом деле? Тетушка рассказывает, что они с тех пор, как потеряли мать, ни одного праздника не видели. Что нам, в конце концов, стоит что-нибудь для них сделать, как ты думаешь?

Через какие-нибудь полчаса Вера уже вдохновилась этой идеей и быстро проходит по комнатам, разыскивая какие-нибудь шелковые обрезки и золотую бумагу. К вечеру из тряпочек и ваты создается прелестная крошечная фея с веселым личиком, раскрашенным акварелью. На ней атласный розовый костюм, отделанный черным бархатом, и корсаж со шнуровкой. На голове высокий старофранцузский колпачок из золотой бумаги, и вся она совсем волшебная — из старинных иллюстраций к сказкам Перро. В руке у феи блестящая палочка, к которой прикреплен узкий свиток пергамента с красными заглавными буква-

ми — формальное приглашение на елку. Все окутано тонкой вуалью, усыпанной блестками...

Быстро пересматриваются и неузнаваемо обновляются кое-какие мои старые игрушки, делается пять штук разных кукол, головки для которых нашлись у тети Дины. Две из них даже открывают и закрывают глаза. Все что-то кроют, шьют, клеят, а таинственная фея на следующее утро уже сидит на спинке кровати младшей из девочек, точно яркая бабочка, прилетевшая из неведомого мира...

К вечеру елка украшена. Все подарки готовы. Сервирован ужин и чай. К елке подготовлены и все комнаты. Елка и стол с подарками закрыты и задрапированы. Девочки должны будут один раз пройти мимо, не увидев их. Им предстоит долгий путь через все комнаты обоих этажей с подъемами и спусками по лестницам. Все должно быть таинственным и неожиданным...

В назначенный час вечером, когда стемнело, прибывает вереница приглашенных. Пятеро девочек — это десяток разноцветных косичек... И столько же глаз, сияющих изумленным ожиданием и предвкушением необычайного. Девочек встречает тетя Дина; всюду сумрак, фитили в лампах прикручены. Помогая им раздеться, тетя Дина делает вид, что ничего ни о каких феях не знает. Даже как будто удивлена их приходом: «А впрочем, что ж, если фея вас пригласила, так, наверно, она появится; тут вообще какие-то последнее время непонятные вещи творятся. Но никто наверно ничего не знает. Да и дома никого нет.. Мне тоже надо уходить. Я корову еще не доила...» И, накинув шубенку, она исчезает. Девочки растерянно жмутся друг к другу в полутемной передней. Младшие вот-вот заплачут... Но в это время на тонкой золотой ниточке откуда-то сверху к ним слетает записка, перевязанная зеленым шелковым бантом: «Идите туда, куда позовет вас моя кукушка. Фея». И вслед за этим за дверью слышно негромкое кукованье. Взявшись за руки, цепочкой, следом за старшей из сестер девочки приоткрывают портьеру и входят в почти темную пустую комнату (широкий проход кончается новой портьерой), потом еще, а кукушка зовет все дальше. Лестница вверх, длинный ряд комнат... лестница вниз, еще комнаты и наконец перед гостями распахивается дверь, и они оказываются лицом к лицу со сверкающей елкой, и Вера, загримированная феей, встречает их у стола с подарками. В играх, танцах вокруг елки, ужине и чаепитии незаметно летит время. Поздно вечером гости уходят к себе, окончательно убежденные, что они побывали в настоящей сказке, у подлинной феи.

Кончились святки. Наступил новый, 1918 год. Его почти даже и не встречали. Последние запасы истощились, и папа, если захочет всех чем-нибудь побаловать, задумчиво останавливается у моей «потребилочки» и, покачав головой, уходит к себе. Правая рука у него перевязана. В этом виноват я. На нижней полке потребилочки кто-то оставил рюмку. Как-то я полез вверх взять горсточку изюма и, слезая со стула, уронил эту рюмку. Она упала и треснула едва заметной трещинкой. Я смолчал и как ни в чем не бывало поставил ее на то же место. Наказывать за разбитую рюмку меня никто бы не стал, но отругали бы наверно... А спустя некоторое время папа стал делать сдобное печенье к чаю. Он раскатал тонким слоем тесто и, взяв эту рюмку, начал выдавливать из теста кружки, как делал это обычно. Рюмка при нажиме разлетелась у него в руках, и он сильно порезал соскочившую прямо на острый осколок руку. Никто не понимал, отчего это произошло. Я один знал правду, но признаться в ней не хватило смелости. Однако же видеть, как он сморщился от боли, когда из руки текла кровь, падая на пол, было невыносимо и еще невыносимее, что, заметив, как я побелел и испуган, он меня же еще и утешал, говоря, что это не страшно и скоро пройдет... Лишь долго спустя я открыл Вере эту позорную тайну.

А в моем домике поселились два гусарика. В домике чисто и прибрано. Вот «потребилочка» тянется изо всех сил, чтобы походить на настоящую, хотя настоящих я-то еще и не видел. Но в ней также не осталось ни муки, ни крупы в закромах, опустели баночки с вареньем, почти вся бакалея постепенно реквизирована старшими для заправки супов и каких-нибудь подливок и соусов; остались только чечевица, постное масло и кое-какие редко нужные в обиходе пряности...

А снег на солнце днем уже тает. В воздухе чувствуется приближение весны. Тени на снегу стали синее и прозрачнее...

Однажды в комнату, где сидят, разговаривая, отец с тетушкой, а я, сидя у окна, переписываю задачку, врывается тетя Дина. Жокейский картузик ее съехал набок, кудельки прилипли ко лбу...

— Ну и дела! Слышали новости? Это же просто ужас какой-то...

— Ну что еще там? Что ты вечно как с цепи... — осаживает ее мать, — сядь и расскажи толком..

— С обысками всюду ходят... эти... красная гвардия. Меня Василий Иванович предупредил, лавочник. Я его в деревне встретила. Не сегодня-завтра, говорит, ждите. У вас тоже обязательно будут. Сегодня, говорят, они в Новинки отправились...

Долгое молчание.

— Ну что же, придут так придут,— роняет отец.

— Да ведь надо же подготовиться... припрятать...— И тетя Дина вскакивает, готовая исчезнуть.

— Постой! Сядь на место! Какая муха тебя укусила? Ну что ты будешь прятать? Куда? — осаживает ее тетушка.— Что они ищут?

— Золото, серебро, оружие, ну и продовольственные запасы, у кого есть...

— Так, надо спокойно все обдумать. А не то ты чего доброго бросишься кухонные ножи зарывать. Идем!

Надежда Федоровна останавливается в дверях:

— Вы, Колечка, тоже подумайте, нет ли у вас чего-нибудь. Вот жизнь настала! Экие прохвосты!

Все взволнованы. Ну, оружие: у папы один браунинг, и у Вани револьвер тоже — их надо спрятать, два никелированных Смит и Вессона старого образца можно сдать. Пусть берут — от них все равно толку нет. Золота уже не осталось. Вот только ложки серебряные...

Эти ложки и револьверы зарывают в саду под елкой с наступлением сумерек. Ночь проходит спокойно. Но утром общее волнение достигает апогея. А продовольственные запасы? Кто их знает, что они считают запасами? Вероятно, все, что им может как-то пригодиться. Куда-то рассыпают остатки пшена, ржаную муку. Тетя Дина зарывает в сено в коровьем стойле банки с вареньем. Оказывается, забыли еще про какие-то чайные серебряные ложечки. Захваченный общим подъемом, я стараюсь тоже обдумать положение и найти такое место, где было бы понадежней спрятано...

Отец проходит по комнатам. Кто-то сунул ему в руку четвертушку чая (тоже продовольственный запас), и он не знает, как ему от нее избавиться. А вернее, просто позабыл, что она у него в руке.

— А если в шкапу, за книги? — спрашиваю я.

— В книгах всегда ищут. Туда нельзя...— рассеянно отвечает он.

Наконец я нашел замечательное место для серебряных ложечек, с которыми мечется встревоженная Аксюша: в земле, в кадке с пальмой...

— Не годится. В девятьсот пятом году так спрятали револьвер, но его обнаружили,— отвечает кто-то.

В девятьсот пятом... Кто тогда прятал револьверы? Кто их обнаруживал? Прятали революционеры. Обнаруживала полиция. Чей же опыт, чьи традиции мы усваиваем сегодня? Тех самых революционеров, которые...

А Аксюша уже стоит на пороге с округлившимися глазами. Белые губы шепчут одно только слово: «Пришли!»

Отец спокойно нагибается и кладет свой пакетик чая на пол под кресло. Этот пакетик отлично виден отовсюду, но папе просто не хочется больше думать о нем. Круто повернувшись, он уходит в свою комнату. Ложечки в последнюю минуту засовывают за дверной наличник и приконопачивают сверху войлоком. А на лестнице уже скрипят ступени. Что-то чужое, чуждое надвигается неотвратно... «Красная гвардия» — звучит как-то декоративно; в памяти всплывают красные штаны и черкеска дядюшки Мамонова, какие-то картинки в красках времен франко-прусской войны... Но вот и они. Какие же они красные? Они в черном...

Впереди большеносый прыщеватый блондин в кожаной куртке, затянутой военным ремнем. Правая рука повелительно протянута вперед и вниз. В руке револьвер, палец на спуске. Вид, исполненный самоуверенности. Следом трое других, попроще. Один, с большими наивными глазами деревенского парня, остается у двери. Первый, с револьвером, молча проходит через все комнаты, возвращается, садится в кресло, то самое, под которым лежит четвертка чая. Недоверчиво осматривается. Тот, что у двери с винтовкой, тоже садится на стул. У его начальника вид такой, как будто он ожидал встретить здесь засаду, вооруженное сопротивление. Может быть, таинственный люк разверзнется у него под ногами или на него выпустят злобных, специально обученных псов? Но ничто не угрожает его жизни, и он давится вздохом облегчения, стараясь сохранить свою решительность и неумолимый вид. Остальные держатся скромно, и, видно, им всем троим неловко. Старший спрашивает об оружии. Ему отдают два блестящих никелированных револьвера. Боязливо, едва дотронувшись, он передает их помощнику. Спрашивает о золоте, о серебре. На секунду

всем становится неловко. Все спрятано, а искать он, видимо, не умеет. Может быть, помочь ему, чтобы не ушел с пустыми руками? Или просто неприятно лгать и изворачиваться? (Перед кем?) Кто-то указывает на массивную серебряную лампаду в углу возле икон.

— Вот... серебряная...

— А-а-а! Ну так ведь это серебро накладное... апплике... — Он нерешительно выговаривает несвойственное ему слово. Его не разуверяют. Он поднимается и выходит, по-прежнему держа указательный палец на спуске револьвера. Следом за ним его спутники. Тетя Дина уже успела дружелюбно разговориться с тем парнем, что сидел у дверей, узнала, из какой он деревни. Она и родителей его знает, и братьев. Хотела предложить им чаю...

— Уфф! Ну, это еще ничего! — вздыхает Надежда Федоровна. — По-моему, его больше всего беспокоило, как бы не выстрелил его собственный револьвер, да я и сама, глядя на него, признаюсь, стала побаиваться... Дина! Доставай варенье. Давайте чай пить!..

И тетя Дина радостно спешит в коровник за вареньем...

Отец в прекрасном настроении тоже. Можно, наконец, вернуться к своим занятиям. Он не был взволнован, как все остальные, предстоящим обыском. Он не изменял себе ни в чем и тут, помогая окружающим прятать серебряные ложки. Все кругом были настолько встревожены, что он не чувствовал себя вправе оставаться и внешне таким же безучастным к этой тревоге, каким был внутренне. Он не осуждал их за это, а жалел, жалел горячо и искренно. Жизнь многому научила его за последние полгода. Только теперь он по-настоящему понял, как важно быть терпимым и невзыскательным с окружающими. Нельзя предъявлять к ним те же требования, что и к себе самому. Нельзя тянуть людей вверх за волосы, от этого они не становятся выше. Есть старая китайская легенда о человеке, который измучился на своем поле, где тянул из земли молодые побеги, помогая пшенице расти. Побеги на другой день увяли. «На свете встречается мало людей, которые не помогли бы пшенице расти» — такими словами заканчивается эта легенда, приводимая в одной из священных книг восточной мудрости. О, как много сам он потратил в жизни сил, предаваясь этому занятию. Но что было, то было, и стоит ли сейчас сожалеть об этом.

Мне плохо помнится весна, наступившая вскоре. Все, что может о ней напомнить — это две небольшие записи отца в его тетради, которые я и привожу здесь полностью, ничего в них не изменяя:

«30 марта 1918 г. Весна наступает. Думал ли я, что доживем среди общих смертей и развала, которые так ужасны, что перестают ужасать — до того притуплена душа...

Вчера вечером Маня пришла укладывать Сережу, и поэтому у них не было конца разговорам. Он раздевался бесконечно долго, а между тем надо же и маленьке посмотреть обиход сына и кое-что приметить, чего не увидят другие. Поэтому я, несмотря на то что весенняя усталь и сонливость вконец меня одолевали, не торопил его укладывание, но, не будучи в силах, упал на постель и ждал, когда это у них кончится, чтобы раздеться и лечь. Но не прошло и двух минут, как я уже спал мертвым сном, и проснулся только за полночь. Быстро разделся, кое-как умылся и лег по-настоящему. Но, увы, спал тревожно, и только что задремал, как разбудила собачонка, бросавшаяся на кого-то под окном. Правда, я не обращал внимания, не смотрел, что там происходит, но совершенно бодрый лежал до самого света, перекачивая из одного угла мозга в другой тяжелые думы... Заснул лишь под утро и проснулся рано с тяжелой головой и головной болью. Ночью видел, что хороню отца, гроб которого куда-то везут, а я настаиваю, что его надо положить у нас в Мелкове, рядом с княгиней, его сестрой, и с мамочкой, с которой и спорю об этом, несмотря на то, что ее памятник на могиле стоит на кладбище перед нами. Утром снова читал книгу о турецкой войне, а затем — своего Гамлета, перемарывая отдельные фразы. Льстит или не льстит мне Надежда Федоровна, но мне всего приятнее читать ей. Она внимательна, и ее замечания дельны... Пора вставать и стучать на машинке...»

«...Уже 8-е февраля. И вся зима была солнечной, от самых декабрьских дней. И сейчас все солнце. Весна чудная. Уже только по лесам виден снег, а то все сухо. Земля еще мерзлая только в глубокой тени. Сегодня воскресенье. Я усердно строчу комментарии к Гамлету. Девять утра. Я еще не вставал и выпил чашку чая в постели, закусывая маленькими (с горошину) кусочками сахара. Дивный сосновый лес на голубом небе стоит в обоих окнах. Смотрю на дымы, поднимающиеся над трубами. Утренние дымы. Надо будет описать их для хроники...

...Вспоминаю Аксакова: «Мой отец был недалек умом»... Как часто простоту сердца смешивают с простотой ума! Чем он был недалек, из его хроники вовсе не видно, разве только если считать глупость, когда не ту шаль человек подарил, ничего не видя за этим...

9 апреля. Сегодня утром Сережа мне прочел (я еще был в постели, а он уже оделся и сидел у меня в ногах) шесть страниц моего диалога, написанного в качестве комментария к первому акту Гамлета. Он сделал четыре замечания, и все более или менее верные: заключение, сделанное архиепископом, чересчур христианское для общего тона и эпохи Шекспира; замена придворным дворянина неудачна, *cela jure**; что Гамлет сам присутствует на совете и при нем же его осуждают на изгнание, тогда как совет происходит втайне, без него; что следует сказать не «одно крыло», а «крыло дворца» (последнее точно о птице говорят).

...Мне тоже запомнилось, вернее, вспомнилось при прочтении этой записки то солнечное утро, когда, едва одевшись, я прибежал к нему, а он попросил меня прочесть несколько страниц философского диалога (ему просто надо было услышать их в чем-нибудь чтении); он изложил в них некоторые мысли, пробужденные в нем работой над переводом Шекспира. В доме все еще спали. Он внимательно и серьезно выслушал мою критику, кое-что мне объяснил и кое с чем согласился. Я уже настолько освоился с его последними работами (он так часто разговаривал со мной или с самим собой, не обращая внимания на мое присутствие, работая как бы «вслух», чтобы сделать меня соучастником его труда), что мне решительно начинала грозить опасность (теперь это считают опасностью) превращения в какого-то вундеркинда. Но отец не видел в этом ничего угрожающего. Он считал, что всякая созревающая мысль созревает своевременно и не следует тормозить ее развития, а только направлять и открывать при ее посредстве дорогу новым, еще более сложным и более глубоким.

Весна развертывалась с каждым днем. Солнце все раньше день ото дня поднималось над Марусином. Выходя на прогулки уже самостоятельно и без сопровождения старших, я то и дело открывал на дворе и в саду столько еще никогда раньше не замечаемого, что совершенно разучился скучать. Кругом было столько интересного! И я подолгу, сидя на корточках, разглядываю перезимовавший под снегом побег, только что проросшее семечко, муравьев, торопливо бегущих по своей едва заметной тропинке через дорожку. Иногда с какой-то глухой болью вспоминаются «свои» тропинки и дорожки, деревня... Анемоны, наверное, уже отцвели. Сейчас там крокусы синеют на клумбе у подъезда, в акациевой аллее желтеют скромные цветочки гусиного лука и мать-и-мачехи, на кругу наливаются бутоны тюльпанов и нарциссов...

Неужели все это там существует все так же и теперь без нас? И почки на деревьях раскрылись в то же время, что и здесь? И пчелы полетели за первым взятком... и такие же бабочки... да нет, не такие, там они были и ярче, и крупнее. А птицы? Сколько там было птиц...

Когда же, наконец, папа скажет: «Ну, поблагодарим тетушку, погостили, пора и домой»... Время выносить из пристройки наружу драцены и пальмы, расчищать дорожки, высаживать в грунт цветы... Уже, наверно, и соловьи по ночам защелкивают возле дома, пробуя голоса, а жаворонки в поле заливаются высоко над своими незаметными ямками-гнездышками. Вот и стрижи уже появились. Только иволги как будто еще нет. Впрочем, это здесь, а там, наверное, и иволга прилетела... В банную аллею. Почти все птицы возвращаются к родным местам.

Сегодня третья мая. А нам все еще не пришел срок вернуться...

А может быть, уже пора? Может быть, я брожу здесь в саду, а там, в доме, уже все решилось и меня ищут, а тетя Дина запрягает лошадь проводить нас домой?

Как все, наверно, рады. И особенно Вера! А как же уложить мой «дом», чтобы ничего не сломать, не испортить??

Я бегу, поднимаюсь по лестнице. Через окно вижу на дворе тетю Дину. Она и в самом деле вывела лошадь и выносит из сарайчика хомут. Аксюша выходит из двери. Почему у нее красные глаза и слезы так и бегут по щекам? И за ней Вера, какая-то решительная и белая-белая, глаза блестят, губы плотно сжаты, а если бы не были сжаты, наверно, сразу стали такими детскими, беспомощными.

* Не вяжется (франц.).

Она всегда становится такой поджатой и решительной, когда что-нибудь плохо. На лбу, высоком и чистом, обозначилась глубокая складка...

Что случилось?

— Ну что же, милый, вот все и кончилось... Собирайся, завтра уезжаем...

Отец быстро проходит через комнату, крупно шагая. В руке у него стакан воды. В кресле вижу локоть тети Нади. Она сидит спиной ко мне; ее рука ошупью, будто она не видит, отводит стакан в сторону. Лицо ее опущено на стол. Плечи дрожат мелкой-мелкой дрожью, и вся ее фигура какая-то осевшая, будто вдавленная в это кресло...

На столе перед ней лежит смятая бумажка — предписание комитета:

«...в двадцать четыре часа... выехать... всем...»

Глава VII

Четвертое мая старого стиля. Широкая, разрезженная песчаная дорога. Копыта лошади и колеса телеги глубоко уходят в нагретый ярким весенним солнцем белесый речной песок. Все шире и шире расстилаются кругом покато-сти зеленеющих полей, вдали лепятся по косогорам веселые домики деревенек, окруженные купами деревьев... Впереди, среди сыпучих переплетений колесных следов, прямо на дороге стоит одинокая старая сосна. Кряжистый, узловатый ствол ее — в обрамлении серебристого песка, вершина — в голубизне прозрачного неба. То ли хочет она оторваться, и будто уже плывет, парит, раскинув широкие хвойные крылья, туда, в эту воздушную гладь с редкими пуховыми ключьями облаков, приподнимаемая над песчаной дорогой струеньем атмосферных потоков, невидимых глазу...

Сосна все ближе и ближе. Там, дальше, в расстоянии версты за нею широкая дорога, обтекая ее с обеих сторон, снова суживается до предела и, будто всосанная воронкой, втекает в большую деревню. Издали видны деревья, шести со скворечниками, дома по обе стороны, сперва невзрачные, серенькие, а дальше крупнее, с покрашенными зеленой и красной краской железными кровлями, один или два даже двухэтажные...

Мок-ши-но. Эти три слога впервые возникли вчера вечером, когда, соскочив с облучка тележки, запыленная и усталая, тетя Дина еле вымолвила это слово запекшимися губами матери, спешившей к ней навстречу, на ее вопрос: «Нашла?»

...Я сижу на телеге с чемоданами, баулами и узлами. Отец, увязая в песке, идет рядом. Лошадь едва плетется; сзади, отстав на десяток шагов, Вера с Аксьюшей, мама, Мадемуазель...

Дорога с незаметным уклоном поднимается в гору.

— Ты посмотри только, какая же кругом красота, — неожиданно обращается ко мне отец, — ведь у нас ты еще не видел ничего подобного. Что значит все же, что это уже Московская губерния — совсем другой пейзаж. А простора-то сколько! Ведь еще это отроги Валдайской возвышенности. И деревушки какие славные: веселые, чистенькие, куда лучше наших... Хорошо!

Он смотрит вокруг, дышит легко, всею грудью, и говорит так не затем, чтобы меня или себя самого как-то подбодрить. Он действительно радуется всему окружающему. Все кругом действительно кажется ему прекрасным. Хорошо! Мир широк и богат. И все это богатство, вся эта красота принадлежит нам; мы унаследовали все это, и никто не в силах лишить нас этого наследства до тех пор, пока мы живем! Не раз думал он об этом и раньше, но так пслно, всем сознанием, всем чувством ощущает это только теперь. Да, теперь. Сейчас. Вот здесь... когда ничего уже не осталось, не осталось того, что требовало столько времени и сил, сбережение чего казалось таким значительным делом. Семья, имущество — вот они. Этот маленький подвижной табор, движущийся с ним рядом... А все, что так связывало долгие годы, что заставляло изо всех сил держаться за какие-то милые сердцу крохи, по воле случая, рока или Провидения оторвалось, и некровоточащая, незаживающая рана внутри, а новое чувство такой переполняющей полноты, такой радости и легкости какого-то освобождения... Да, именно радости...

Тетя Дина сняла для нас целый дом на главной улице, или «порядке», как говорят здесь, в деревне. Старые хозяева этого дома давно уже умерли. Молодые сыновья их живут и работают в столице. Дом стоял заколоченный, оберегаемый родственниками и соседями. Для себя же тетки (их всего двое) сняли переднюю половину небольшой избы, довольно далеко от нас, в другом порядке. Наш дом — добротный, крытый железом, в нем раскрыли окна, смели с подоконников мертвых пчел и жучков, всем показался приветливым и удобным.

Дом был почти пуст: кроме стола, нескольких стульев и лавок по стенам, в нем не было ничего. Мама с Верой заняли полутемную, но чистую и очень просторную горницу, куда вел отдельный вход из сеней. Там, в летней этой избе, развесили они холщовые полотенца, шитые народными кустарями, и стало у них преугодно. Было ясно, что благодаря отсутствию окон здесь в самую сильную жару летом будет прохладно и не станут надоедать мухи и оводы... Отец получил маленькую каюту за тесовой перегородкой, в которой установилась его постель, ночной столик и стул. Моя постель приткнулась между окон в большой комнате; здесь же, на лавке, наметилось и место для Аксюши, хотя постель ее на день придется складывать и убирать. А Мадемуазель облюбовала себе закуточек за русской печкой...

Разместились мы быстро и легко. Убрали пустые склянки, масляную бутылку, заткнутую бумажкой, да жестяную коробочку из-под леденцов, свидетелей чьей-то чужой, задолго до нас протекавшей здесь жизни... При доме был двор, чистый, устланный свежей соломой. В одном углу до крыши было уложено душистое сено, перевезенное за ночь сюда тетей Диной, и в отдельном закуте стояли ее козы. Все здесь: и самый быт, и пейзажи были совсем иными, но выглядели дружелюбными и как-то помогали снова находить себя. Поля звенели жаворонками. Маленькая речка с песчаными обрывами берегов извивалась среди холмов. Красивый, рослый народ трудился вокруг. Большинство крестьян в деревне жили зажиточно и чисто. Нужда и голод еще не согнули людей. Они несли головы высоко, смотрели бодро, занятые своими делами, переносили первые удары разрухи как нечто временное, не преувеличивая их размеров и не отчаиваясь.

Эта жизнь была полна своей особой гармонией, и мы не могли не быть как-то ею захвачены.

Обрушилась китайская стена, столько лет отделявшая нас от внешнего мира, и этот мир, к которому до тех пор относились с привычным недоверием, оказался неожиданно вовсе не таким, каким его себе представляли, а мы, искусственно себя от него отделявшие, — в чем-то самих себя же обкрадывавшими, что измененный в силу обстоятельств ритм дыхания и жизни, наполнение легких этим новым воздухом на всех действовали животворно.

Сломалось все такое дорогое, от чего никто не нашел бы в себе сил откатиться добровольно... Но ломаясь, оно безвозвратно унесло все те узенькие масштабы и мерки, которые год за годом калечили и узили взгляды и мироощущение. Новые картины вставали, двигались и сменяли одна другую перед глазами, поражая то прозрачною акварельною легкостью, то сочным жизнелюбием масляной живописи. Даже озлобленная старая тетушка не всегда находила в себе слова осуждения для этого, неожиданно подаренного каждому из нас разнообразия света и красок. Она упорствовала в своем непринятии и неприятии. Оторваться внутренне от Марусина — не могла и не хотела. Но невольно забывала о всем этом, чаще и чаще залюбовавшись картинками деревенской жизни. Это не значит, конечно, что она хоть с чем-нибудь могла примириться. На это был способен один только отец.

Рано утром, когда еще только чуть светало, под окнами раздавалась мелодичная пастушья свирель. Ее звуками пастух пробуждал хозяек для утренней дойки коров... и жизнь начиналась. Кое-где над трубами закручивались тоненькими штопорами витые сизые дымки. Во дворах слышались серьезные интонации вдумчивого коровьего мычания, и скоро под новые звуки свирели озаренные первыми рассветными лучами на улице появлялось стадо. Оно медленно двигалось мимо окон с бляенем и суматошным метанием овец, колокольчиками, звеневшими повсюду, топотаньем копыт и щелканьем бичей подпасков. В дугах поднималась трава. Налаживались с каждым днем отношения с соседями, да и не только с соседями. Многие охотно шли к отцу поговорить, поделиться с ним своими сомнениями, неуверенностью. Время с его трудностями все больше сказывалось и здесь. Движение по дороге, проходившей через деревню, все усиливалось. Ночью оно только стихало, но не унималось окончательно. Ехали со станции и с парковок сонные пассажиры с кузовками, в разношерстной одежде и всевозможных головных уборах, то лежа, то покачиваясь, свесив ноги с телег и равнодушно поглядывая осоловевшими от долгой дорожной бессонницы глазами. Шли мешочники и мешочницы, шли просто нищие, взрослые и дети, мужчины и женщины, протучать своими палочками все подоконники, прося подаяния Христовым именем. Торбы их были почти пусты. Подавали неохотно, и небольшие черствые корочки хлеба обычно съедались ими тут же под окнами...

Ваня в момент нашего отъезда отсутствовал. Он уезжал в Петроград к Леше. Извещенный о событиях, он вскоре вернулся и жил с нами, ночуя на тети-Динином сеновале. После первых расспросов и рассказов он вспомнил об архиве. Спросил. Лицо отца потемнело. Да... Остался в Марусине... Сил не хватило, времени... не было лошадей. Все ведь произошло так неожиданно. А кто там остался в Марусине? Василий, столяр, живет во флигеле, откуда недавно выехали «дачники». А где стояли сундуки? В кладовой, возле кухни. Там, кажется, есть окно, но оно забито. Надо спросить тетю Дину. Но там уже, кажется, поселили кого-то от комитета для охраны...

Немного отдохнув и посоветовавшись с тетками, Ваня отправляется вечером к Василию на разведку. Заручился его помощью, и на следующую ночь, когда стемнело, тетя Дина, достав где-то лошадь, везет его в направлении Марусина. Они подъезжают к дому со стороны леса. Тетя Дина караулит лошадь, в то время как Ваня с Василием высаживают оконную раму и выгружают огромные сундуки. После этого раму устанавливают на место, как было. Сундуки подносятся к подводу, грузятся. Вся ночь проходит в напряженной работе. И когда подвода подъезжает к деревне со стороны двора, уже рассвело, и пастух заиграл в конце деревни на своей свирели. Сундуки быстро выгружают и затаскивают в сарайчик, где, накрытые брезентом, они стоят весь день, и лишь следующей ночью удается перетащить их в сени, не привлекая внимания соседей. Как удалось Ване с Василием вытащить и погрузить на подводу эти огромные сундуки, остается их тайной, но Ванин измученный вид достаточно ясно показывает, что это не было легкой работой... Весь архив и вся переписка на этот раз спасены и снова с нами...

А жить все труднее. Мы уже задолжали там и здесь. Но долги надо отдавать; некоторым из них уже подходят сроки. До нового хлеба еще остаются месяцы, а старый у всех кончается. Муки купить не у кого. Приходится делить хлеб по кусочкам. Его стало совсем мало. На каждого в день приходится грамм по сто, не больше. Впрочем, для нас это еще не является голодом. Есть молоко. Хотя и с трудом, но удается доставать овес, и что ни день — на столе появляется какое-нибудь новое блюдо, изобретенное кем-нибудь и ожидающее общей оценки. Кроме овсяного киселя, который после нескольких неудач научились делать в русской печи, пекут овсяные блины. Их едят с молочным киселем, а позднее — со сладкой подливкой из свежих ягод — клубники или малины... Ваня все чаще уходит куда-то на рыбную ловлю и редко возвращается с пустыми руками. На шестке русской печки он оборудовал подставки из кирпичей, между которыми разжигается огонь из бересты и можжевельника, и рыба на вертеле из лучины коптится сырой. На пашнях выросла сорная трава — сурепка; у нее мясистая ботва, и цветет она мелкими желтыми цветочками; даже в сыром виде ее стебли напоминают по вкусу какие-то овощи, а суп из нее при незначительной молочной подбелке вполне съедобен и не уступает щам из надоевшего щавеля или крапивы, которая давно уже выросла и стала едва съедобной...

На косогорах, позади деревни и возле сараев, вырастают шампиньоны. Из них получается превкусный соус к вареной картошке. Наконец изобретательность наших кулинаров увенчивается новым открытием — обнаружена съедобность лопухов! Оказывается, внутренний стержень стволов и черенки листьев репейника, отваренные в соленой воде, после ободрания с них наружных волокнистых нитей съедобны и даже будто бы чем-то напоминают артишоки...

Но хотя лопухов и сурепки кругом сколько угодно, а голод становится все чувствительнее, и мысли, разговоры о пище всплывают все чаще и воспринимаются не так, как раньше. К этим разговорам сводятся сами собой очень многие темы; они начинаются ни с того ни с сего и занимают неподобающее место, привлекая какое-то общее настороженное любопытство — все тотчас же в них вовлекаются, и уже трудно остановить такой разговор. Вот сегодня, например, оказалось, что из ржаных, еще зеленых зерен можно варить зеленую кашу. Съедобно и сытно. Вмешался отец: он категорически объявил, что рвать колосья на крестьянских полях недопустимо; это было бы плохой рекомендацией для нас в глазах жителей деревни, и вообще могло бы скверно кончиться, но есть беспризорное марусинское поле, немало и заброшенных за недостатком рук участков, где вырастают отдельные «дикие» группы колосьев. Эти рвать можно — на том все сошлись...

Многие крестьяне, даже из других и далеких от нас деревень, прослышав о нашем положении, стремились чем-то помочь и несли к нам понемногу масло, молоко, овощи. Чаще всего оказывалось, что благодарить за это отношение приходится маму. Она умела так незаметно и как-то мимоходом оставить по себе добрую память, что те побего, которые давали ее незначительные и давно ею

самой позабытые, а окружающими и вовсе не замеченные поступки, казались всем удивительными. И вдруг оказывалось, что никого иного, а именно ее — такую внешне ко всему рассеянно равнодушную, помнят и там, и здесь и рады чем-то заплатить давно всеми забытые люди, которым она когда-то помогла. Можно было удивляться и тому, с каким удивительным внутренним тактом и благородством многие из них это делали: одни, чтобы не обидеть бесплатным предложением, назначали несуразно низкую цену, другие — дарили просто, но так, что не взять значило бы нанести им глубокую обиду, третьи вообще ухитрялись остаться нам неизвестными. Так, например, когда только стала созревать молодая картошка, мы однажды поутру увидели, что кто-то снизу подсыпал под наши ворота во двор с полмешка картофеля. И это в то время, когда у самих нехватка всего становилась ощутимее с каждым днем, а цены на рынке неудержимыми скачками поднимались и поднимались...

Отец, с гордостью за людей, принимал эти глубоко его трогавшие, бескорыстные приношения. Это подаяние (ибо по нашему положению оно было не чем иным) казалось не унижительным, а радостным по самому смыслу, в нем заключавшемуся.

Однажды вечером на пороге нашей избы появилась повязанная белым платочком совершенно незнакомая баба средних лет с четвертной бутылью молока в руке. Она держалась уверенно и с достоинством. Обветренное коричневатое лицо спокойно улыбалось, не выражая ни любопытства, ни торопливости.

— Здравствуйте, как живете-можете, я вот мимо шла, так, думаю, проведать надо хороших людей...

— Здравствуй, что продаешь, молоко, что ли? — ответили ей естественным вопросом (никто ее никогда не встречал). — Из какой деревни-то?

— А мы из Демидова... Да нет, что уж продавать, это я вам, только не взыщите, бутылочку мне опростайте, а то не в чем, коли другой раз...

Названная ею деревня, дальняя, в которой у нас никогда не было знакомых, удивляла еще больше.

Аксинья (так звали гостью) так и не согласилась взять ни копейки, но охотно посидела и степенно выпила чаю.

— Откуда ж ты нас знаешь? — допытывались у нее.

— А как же вас не знать? Мы у вас, бывало, сено косили... — Вот и все.

Простилась. Ушла.

— Ничего не понимаю, никогда у нас из их деревни не косили, — удивлялась мама.

Аксинья появилась через неделю снова и опять с четвертью молока, потом еще...

Отец охотно подолгу разговаривал с ней, удивляясь самостоятельной твердости ее принципов и суждений, уверенной и достойной манере держаться и природному такту.

Оказалось их три незамужние сестры и брат, неженатый. Живут все вчетвером, вместе, «неделенные». Живут недурно, хозяйство хорошее. Все в этом своеобразном монастыре идет под руководством Аксиньи. Ее строгого игуменского окрика слушается даже брат, чернобородый молчаливый Герасим, с которым нам пришлось близко познакомиться вскоре. Этой семье предстояло сыграть большую роль в нашей жизни, и ее поддержка в самые трудные, самые страшные периоды не может быть никогда забыта.

Выяснилось, наконец, и начало этого знакомства, тот давно позабытый, затонувший в памяти незначительный случай, о котором как-то рассказала Аксинья при одном из своих последующих посещений.

Лет десять назад в их хозяйстве было тяжелое положение: две лошади одновременно пали от «сибирки», сгорел овин, да и год был неурожайный. Надо было как-то поправиться и обернуться. Пришлось искать заработков. Прослышав, что у нас нанимают косцов, они приехали и договорились с Мадемуазель. Ночевали тут же, в поле, зарываясь в сено, так как до своей деревни было далеко... Вечером как-то разразилась сильная гроза, разрешившаяся продолжительным ливнем. Все они промокли до нитки, а дождь все шел, укрыться было от него негде. Внезапно под дождем они увидели верхового, который спешил к ним.

— Барыня велела сказать, чтоб вы шли к дому; там обсушитесь и горячего напьетесь, а после в сарае на сухом сене и заночуете, — сказал им посланный, — она уж там распорядилась...

— Вот на! Да откуда ж она знает? — спросили косцы.

А видела мама их только издали, проезжая днем с Мадемуазель лугами и услышав, что эти пришли из далекой деревни и ночуют тут же в поле, вспомнила о них, когда, сидя дома, посмотрела из окон на ослепительные зигзаги молний, освещавшие мокрый сад, и услышала рокот дождевых потоков, катившихся с крыши. Она не сказала и двух слов этим людям и не видела их даже, как, впрочем, и они ее, но тем не менее они обсушились, напились горячего чая и заночевали под крышей. Это не было ими забыто; и спустя много лет, как только пришлось им от кого-то услышать о нашей нужде, Аксинья не посчитала за труд пройти шесть верст от своего Демидова до Мокшина, чтобы чем-то отблагодарить...

И часто с тех пор, сидя на своем обычном наблюдательном посту — стенке сарая, я видел, как голубые волны всколосившейся ржи расступаются, и на скрытой ими узенькой тропочке (двоим не разминуться) показывается Аксинья. То напечет она на сметане домашних лепешек, то захватит каких-нибудь овощей с огорода, нальет молоко в свою большую бутылку и, таща на палочке свои мужские штиблеты с ушками, чтобы надеть их лишь перед входом в деревню, идет себе, босая, к нам...

— Эта знает то, что ей знать нужно, — твердо говаривал отец, — такую не собьешь — ни при каких обстоятельствах не растеряется, цену себе знает и от своего не отступится...

Ему нравилась ее простая и крепкая, быть может, скорее библейская, чем евангельская мораль. Мысль о том, чтобы платить добром за зло, вряд ли могла возникнуть в ее голове. Но уж за добро она платила щедро и от всей души сторицей. Были привлекательны и ее твердые установки, раз навсегда определенные и мудрые той силой инстинктивного понимания и целесообразного выбора, которые приобретаются трудом и из труда вырастают. Этот целостный мир с его нехитрой, но законченной гармонией, при каждой новой беседе внушал к себе все большее уважение и располагал в свою пользу все больше...

— На-ка! Вить барин с мужиком, чай, всегда договорятся. Один язык-то Бог дал, — говорила она, — у одного свой антирес, у другого свой, дак это што? Это вить и все так... А энти што задумали, и концов, стало, не найтить, разговору много, а хлеб от разговору не родится, он от работы родится, а до работы ноне чтой-то мало охочих. У нас вот тоже Федя-племянник с фронту вернулся: я теперь, говорит, бальшавик. Ну, што — твое дело. Тебе жить, ты и смотри. А он посла родителей маленьким сиротой остался, мы его и выходили. Вот неделю пожил и говорит, давайте, говорит, делиться, я жениться хочу и чтоб хозяйство свое... Ну, поговорили с им, — твоя воля, хотишь, так выделяйся. Бери себе новую избу, достраивай, коли что — поможем, телушку дадим, курей, не обидим, по справедливости выделили — не чужой ведь. И сам признал, что всем доволен; Гарасим ему и крышу покрыл. Однако видим — избаловался наш Федя, неохота ему работать. Все не по нем. Приходит наемдни: тетя Аксинья, я вроде ошибся, давайте опять вместе жить, чтобы все обчее... Ну, я ему и сказала: тебя рази кто гнал? А уж теперь не взыщи, как захотел, так и сделал. У тебя своя жись, новая, жена, глядишь, и дети пойдут. Когда что надо — не откажем, а вместе нам одним хозяйством уж не жить. Одни споры пойдут, ни нам, ни тебе спокойно не будет... Говорю, а сама ночью реву ревом — жалко мне его; вижу, что толку у них не будет, а помочь нечем. Ему и Гарасим говорит: ты, мол, все легкой жизни ишщешь, а она, легка-то, у мужика за спиной висит, в своем горбу; другой нам не приготовлено. А как ты хочешь: то за одно, то за другое хвататься? У тебя жись труднее нашей пойдет, да и толку с ней, с такой жизни... Нет, спасибочки, напилася. Итти пора, там у меня дома сестра Аришка больная лежит, Пашка, поди, с ног сбилась, а Гарасим на станцию, на извоз поехал, а я тут вот болтаю. — И она решительно перевертывала чашку вверх дном и клала на нее сверху обгрызенный со всех сторон кусочек сахару: спасибо, мол, на угощеньи, так сыты, что всего не поели, на столе осталось!

Кончался июнь. Над готовыми к жатве полями бродили летние грозовые тучи. Временами они проливались сильными ливнями, после которых все кругом цвело и зеленело еще обильнее и ярче. В хорошие дни мы совершали далекие прогулки по окрестностям деревни, любуясь просторами сельского приволья. Местность вокруг была живописная. С незаметных подъемов, приводивших нас на холмистые вершины, открывался широкий обзор — верст на пятнадцать кругом. Даже группа деревьев марусинского сада и цепочка липовой аллеи отчетливо виднелись, казалось, совсем близко, а иногда, в ясные дни, взрослые уверяли, что едва видимая на горизонте купа голубовато-сизых возвышений, поднимающихся над лесом, — не что иное, как Новинки... Это давало чудесное ощущение какой-то надмирной вершины, откуда все видно. У реки, в песчаных обрывах, чернели круглые норки береговых ласточек, в бочагах, под корягами,

изредка плескалась крупная рыба, и у брода, позвякивая колокольчиками, подневало деревенское стадо. Коровы, стоя по брюхо в воде, лениво сгоняли слепней, помахивая хвостами; по тропинкам к ним спешили хозяйки с подояниками. В небе неторопливо кружили, высматривая добычу, ястреба...

Возвращаясь, мы часто заходили под окна, к теткам. Они обжились и радушно зывали нас к себе. К вечеру мы возвращались обедать домой. Навстречу нам ехали мужики в только что наделенные луга. Начинаясь пора сенокоса. Другие шли с жердями, чтобы домеривать в лугах делянки. Третьи — уже с семьями и пожитками, снаряжались в дальние поля, укладывая в сено запасы хлеба, творога, яиц и лепешек; на телегах, запряженных косматыми, низкорослыми лошаденками, находилось место даже для самоваров и чашек. У домов хозяйки скликали кур; стаи грачей перелетали с березы на березу, кошки припадали на заборах, высматривая воробьев или облизываясь на скворцов, равнодушно поплеывавших в них шелухой каких-то семечек...

В этой деревне, где мы вначале были совершенно никому не известными, нас уже узнали многие. Когда отец после обеда выходил на крыльцо, с книгой усаживаясь в свой плетеный стул, к нему со всех концов, точно притянутые магнитом, слетались ребятишки. Сперва дичась, они молча рассматривали его, потом самые бойкие вступали в разговор, спрашивая, как называется его книга и есть ли в ней картинки, и скоро ему становилось не до чтения. В разговоре с ними он увлекался и забывал обо всем. Так многому можно было их научить, чего они не знали, так много они усвоили не до конца и нетвердо, что скоро всякий лед был сломан, и эти ежедневные разговоры стали потребностью и для него, и для них... Он охотно делился с ними всем, что знал, рассказывая им о движении светил и суворовских походах, о войне 1812 года и о том, как живут пчелы и муравьи. Рассказывал увлекательно и интересно. Нередко можно было видеть, как два запыхавшихся мальчугана, спотыкаясь, тянут за руки к нашему крыльцу совсем еще маленькую сестренку, крича: «Иди, иди скорей, а не то ужинать уйдет!» Они уже хорошо знали, какие часы могут быть им уделены, и торопились воспользоваться этими часами, заранее собираясь у крыльца и ожидая его появления...

А между тем условия жизни становились все труднее. Нередко Ваня, сидя в уголке, задумчиво молот на кофейной мельнице какие-то рогатые зеленые семечки вроде диких бобов, чтобы попытаться испечь из этих семечек что-нибудь вроде лепешки. Пробные лепешки не получались. Вокруг рассказывали страшные истории, и эти истории не были слухами... Случаи убийств на дорогах вокруг деревни становились все чаще. Убивали из-за какой-нибудь ерунды, крохи хлеба, ботинок... Дорога из деревни в приходскую церковь делала большой круг, который издавна все срезали, проходя лесной тропинкой. Недавно, заинтересовавшись дурным и сильным запахом, исходившим из кустов, рядом с этой тропинкой обнаружили полуразложившийся труп. В нем опознали молоденького солдата из соседней деревни. Простуженный на фронте и заболевший туберкулезом, он был демобилизован и возвращался домой. Не дойдя каких-нибудь двух верст до родной деревни, он стал жертвой бандитов. Эти последние орудовали целой шайкой. Неделю спустя в том же лесу пропал крестьянин с лошадей. Отправившись на розыски, обнаружили в кустах два трупа сразу (второго так и не опознали)... Свидетельства очевидцев, которым после столкновения с бандитами удалось убежать, передавались из уст в уста, и лес, начинавшийся сразу же возле деревни, стали обходить все. Общее обнищание становилось все сильнее. На железных дорогах заградительные отряды обирали мешочников, отбирая у них продукты. Но мешочников становилось все больше. В их число постепенно втягивались и некоторые наши соседи победнее. Бобылка Прасковья, которая жила рядом и чей сын, Мишутка, вечно сидел на самой дороге под нашими окнами в коротенькой, выше пупка, рубашонке, горланя «Вставай, поднимайся, рабочий народ» и посыпая из обеих горстей белобрысую головенку дорожной пылью, тоже собралась в дорогу. Препоручив сына соседям, она взвалила на плечи мешок картофеля и, тяжело дыша, пошла к станции... Спустя дня три Прасковья вернулась без картофеля, с пустыми руками. Она благополучно добралась до Москвы и обменяла картошку на муку, чай, сахар и ботинки для сына. На обратном пути все это у нее отобрали. Приходилось голодать дальше...

А у соседней слева были похороны. В белой рубахе лежал под иконами хозяин — высокий рыжебородый красивый мужик. Жена и дочь голосили навзрыд. В избе толпились сочувствующие и любопытные. Под шумок вспоминали, что еще в молодости покойник был избалован в крупной краже и жестоко наказан розгами; с тех пор он постоянно прихварывал, пока не слег окончательно и не помер от какого-то внутреннего кровоизлияния

Еще через несколько домов тоже слышались плач и причитания. Но здесь и слезы, и жалостное пение были только данью традиции. Это «гуляла» свадьба и подружки оплакивали невесту. «Петр и Павел час убавил», как говорится в пословице, но они же принесли разрешение летнему посту, и опять по деревне закружились венчалные хороводы. Народ в деревне был не фабричный, и частушки здесь все еще не стали популярными. Свадьбы вершились по старинным обычаям. Молодых осыпали хмелем, одаривали подарками, жених выкупал невесту, посаженные родители, дружки, величания и подблюдные песни, убранные цветами кони и девишники — все велось по старому чину, ничто не забыто. Нарядные девушки, в вышитых кофтах и сарафанах с бубенчиками, толпились у ворот с утра и до поздней ночи, и если сама невеста не разливалась перед венцом в три ручья, то не одни только подруги, но и сам жених начинали подозрительно поглядывать на такую бесчувственность...

Девушки и молодки в Мокшине были как на подбор красивые и, одеваясь по-городскому в обычные праздники, хранили для нужных случаев и свои национальные костюмы...

Одна из деревенских красавиц, так и прозванная нами «бархатная барышня», ежедневно перед закатом надевала черное бархатное платье и, несмотря на любую жару, проходила в нем по всей деревне, чтобы через полчаса возвратиться, таща за рожки двух маленьких белых козлят. Под зеленым навесом деревьев, окаймлявших улицу, эти козлята на фоне черного бархата были так декоративны, что даже отец с удовольствием наблюдал за ритуалом появлений этой сельской Эсмеральды и не острил над ее наивным кокетством. Младший брат этой «бархатной барышни», Володя, был немногим старше меня, и мы с ним не раз бегали по утренней росе в лес за земляникой, но к тому времени, когда в лесу стали появляться первые грибы, страшные находки заставили и взрослых обходить этот лес возможно дальше.

В начале июля наша приходская церковь в селе Тешилово готовилась справлять свой юбилей, кажется, четырехсотлетие.

Священник Сергей, навещавший теток, рассказал, что в этот день состоится торжественное богослужение, которое совершит викарный епископ Тихон Уральский и Николаевский, который проездом из Москвы в свою епархию заедет всего на один день. К этому рассказу он добавил, что слышал много хорошего об этом епископе как о человеке святой жизни...

В жаркий день, в который должна была отмечаться эта юбилейная дата, все мы с утра отправились в церковь. На дороге было много народа. Почти вся деревня — и старики и молодежь, прифранченные по-праздничному, небольшими группами тянулись в том же направлении, что и мы...

Когда мы пришли, церковь уже была полна; много народу толпилось в ограде, а отовсюду прибывали и подъезжали новые. Долгая торжественная служба с крестным ходом только еще начиналась. Мы стояли довольно далеко, и я лишь издали видел высокую фигуру епископа в митре и блистающем облачении. Он чистым и громким голосом возглашал все, что следовало по ходу богослужения, входил в алтарь и выходил из него. Усиленный хор певчих с двумя приглашенными регентами пел на обоих клиросах. В самом конце обедни епископ, уже без облачения, вышел в фиолетовой мантии на амвон и обратился к присутствующим.

Я знал уже, как знали, вероятно, и многие из бывших в тот день в церкви, что самое скучное из всего совершающегося здесь — это проповедь. В это время часто даже и мама с Верой выходили из церкви, но тут отец взял меня за руку и постарался продвинуться немного ближе...

Первые звуки немного глуховатого, но ясного голоса оказались совершенно иными, чем тон его возгласов во время богослужения. Они были очень негромкими и не могли, да, казалось, и не стремились заглушить сморкания, перешептывания, кашля, шарканья шагов. Люди выходили из церкви и входили. У дверей стало тесно, а впереди — относительно свободно. Кто-то даже довольно громко разговаривал, проталкиваясь к выходу...

Епископ заговорил о юбилее храма, очень коротко напомнил об его истории, остановился на происхождении самого слова — Тешилово. Здесь более четырехсот лет тому назад себя «тешили ловом» московские князья. В их охотничьих угодьях возникла деревянная часовня, потом она стала церковью...

Это не было проповедью в общепринятом смысле — в ней совершенно отсутствовал пафос, стремление к эффектам, или поучительность. Создавалось настроение очень дружеской, очень интимной беседы. Он задавал вопросы и сам же себе отвечал на них, иногда затрудняясь, будто думал вслух. Но это были те вопросы, самые разнообразные, которые действительно могли быть заданы в

этот день собравшимися. Приводимые в подкрепление его мыслей факты и ассоциации, их крепившие, были ярки и интересны еще и потому, что брались им не из церковного обихода, а из окружающей жизни. Язык красочен, но элементарно прост и всякому доступен. И когда через одну или две минуты у свечного ящика кто-то звякнул мелкими монетами и какая-то крупная муха, жужжа, пролетела высоко над головами, то это было услышано всеми и многие, не отрывая глаз от проповедника, досадливо поморщились.

Я не мог рассмотреть его лица — стояли мы все же довольно далеко, но то ощущение, которое испытывали все вокруг, коснулось и меня.

— ..Но ведь и не одно только это нам дорого, не только об этом думаем мы сегодня, в этот торжественный солнечный день,— говорил епископ. — Все мы только что слышали за литургией чтение святого Евангелия, но как часто мы и слушаю, как бы не слышим его. Да и читают нам, бравает, торопливо и не совсем ясно. А я вот думаю как удивительно текст, прочитанный за сегодняшним богослужением, совпадает с тем, что все мы сейчас переживаем. Евангелист Матфей поведал нам о чудесном исцелении женщины. Эта женщина двенадцать лет страдала тяжкой болезнью. Болезнь вызывала у нее кровотечения, изнуряла и губила ее. И вот она, подойдя к толпе, коснулась края одежды Спасителя. Коснулась робко, сзади, стараясь сделать это незаметнее, не обеспокоить Его, но со всей истинной верой в Него, в возможность своего исцеления. А Он почувствовал даже и это легкое касание. Он обернулся. И что же Он сказал ей? «Дерзай, дочь! Вера твоя спасла тебя!»

Голос епископа как бы окреп. Он смотрел на всех, но каждому в церкви казалось, что на него одного устремлен этот взгляд, с ним одним беседует этот голос. Беседует о том, что им обоим понятно, близко и дорого. Единомыслие и взаимопонимание подразумевались как бы сами собой. Их определял уже самый факт встречи в этот день, в этом месте..

— Вот и сейчас, разве не похожи все мы, разве не походит родная земля наша на эту евангельскую женщину? — продолжал епископ,— тело ее кровоточит, тяжелые недуги год за годом мучат ее и истощают. Внешние враги и внутреннее междоусобие привели за собой нужду, привели голод, привели болезни, и все мы чувствуем это, потому что на каждом из нас язва от ее язв, каждое сердце в груди одного из нас ускоряет и замедляет свое биение вместе с ее сердцем, потому что она и мы — одно!

Где же искать спасения? Спасения для нее, а значит, спасения и для нас? Где отдохнем? Где вкусом сладость мира и покоя? Где найдем прибежище? Кому расскажем, как крохотные дети любящей матери, о своем горе, о своих синяках и ушибах? (Он так и сказал — синяках и ушибах.) Кто пожалеет и обласкает нас? Куда принесем и где сложим наши холодные и тяжелые мысли и кто отогреет наши озябшие души? Есть ли на свете тот, кто мог бы это? Кому это было бы под силу?

По толпе молящихся прошло легкое волнение. Он помолчал немного и вдруг совсем тихо, с какою-то глубокой жалостью заговорил снова.

— Но разве этот храм, нерушимо стоящий четыреста лет, где мы собрались нынче,— это не тот же край одежды Его, которого мы с вами касаемся сегодня? Разве если все мы принесем сюда измученные кровоточащие сердца наши и с верою коснемся ими этого края, Он не заметит нас и откажет нам в исцелении? Исцелении в напастях, происшедших от маловерия нашего?

Давайте же попросим все вместе Его о том, что всего нужнее человеку, о том, что всего нам дороже. Не о хлебе даже попросим, без которого нам так трудно живется, не о конце междоусобия, не о лучшей жизни,— ибо все это великое горе снимется с нас, если будем иметь в себе веры хотя бы с горчичное зерно, но попросим Его о том, чтобы дал Он нам эту веру. Скажем все одним голосом, одним дыханием: Верую Господи! Помоги моему неверию! Скажем в надежде, что все мы, вся многострадальная родина наша, вскоре услышим снова слова Спасителя: «Дерзай, дочь! Вера твоя спасла тебя!»

Он круто повернулся лицом к алтарю, поднял руки и очень тихо, почти утомленным каким-то голосом, воскликнул:

— Верую Господи! Помоги моему неверию!

И, неловко взмахнув руками, рухнул на колени.

В абсолютной тишине было слышно, как его лоб стукнулся о каменные плиты пола. И тогда будто волна пробежала по церкви. Все, крестясь и повторяя за ним слова этого возгласа, опустили на колени и простерлись ничком. Затем медленно и вразброд стали подниматься, а он все лежал, неподвижный, точно маленький бесформенный холмик, задрапированный случайными складками своей фиолетовой мантии...

Алтарные служки помогли ему подняться и провели его в алтарь. Когда я поднял глаза на отца, его уже не было со мной рядом. Я с трудом отыскал его глазами: забыв обо мне, он пробирался вперед и уже поднимался на клирос. Ко мне подошли Вера с мамой. Епископ вышел снова с крестом. Мы подошли, приложились, получили его благословение. Отца все еще не было. Он нагнал нас уже по дороге обратно и сказал, что Преосвященный отдохнет немного после литургии и в тот же день посетит нас в деревне, потому что утром следующего дня уже должен ехать дальше, к месту своего назначения.

В церкви побывала почти вся наша деревня. Увязая в накаленном песке, по дороге тянулись празднично одетые группы крестьян, виднелись белые платки и цветистые кофты женщин и косоворотки мужчин. Когда мы вернулись домой, нас уже ожидала Аксюша с кипящим самоваром, но чаепитие было скомкано. Времени до посещения высокого гостя оставалось немного. Времени до посещения высокого гостя оставалось немного. Отец или мама рассказали кому-то из соседей, которые тотчас пошли за лошадьми, чтобы поехать за епископом, и слух о его предстоящем приезде за какие-нибудь полчаса обошел всю деревню. Отец распорядился в доме, чтобы все было убрано как можно лучше. Ему хотелось, ничего не жалея, принять и угостить так хорошо, как мы только могли в нашем теперешнем положении. Крыльцо избы было устлано ковром, другой ковер принесли от теток и постелили в комнате. Когда он увидел, что в сенях пол ничем не застлан, то, приказав убрать отсюда все лишнее и чисто подмести, достал огромную мамину ротонду на ангорской козе и расстелил ее мехом вверх.

А на нашем крыльце то и дело появлялись деревенские бабы; одна тащила молоко, другая — лукошко яиц и тарелку ягод, третья — масло... Все они прониклись сознанием, что гость общий для всей деревни и дело чести каждой из них, чтобы он был принят как следует...

Вера, в своем нарядном сарафане, хлопотала с Аксюшей у русской печи, Мадемуазель тоже пекла что-то у соседей — дым стоял коромыслом...

Время шло, и солнце уже заметно начало склоняться к западу, когда возле дома остановилась коляска, и отец вышел с мамой навстречу. Приняв благословение, он помог сойти епископу и проводил его в дом. Мне запомнился тот ласковый жест, которым гость, проходя, погладил меня по голове. Теперь у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть его. Он был как будто еще не очень стар, но лицо его носило следы крайнего переутомления. Высокого роста, чуть сутулившийся, он не казался полным. Какая-то связанность в движениях создавала впечатление, что он застенчив и легко смущается. Большая, но не густая борода его была совсем серебряной. На лице светились грустные, очень светлые, почти прозрачные глаза, от которых было трудно оторваться. Темные круги под ними, мелкие, дряблые морщинки, стягивавшие нездоровую, желтоватую кожу, не ощущались и не запоминались с той минуты, как он, подняв эти глаза, начинал смотреть ими не «на» что-либо, а «в», так посмотрел он и «в» меня, с таким участливым, нежным пониманием, что, казалось, с ним можно вести беседу и без помощи речи, обмениваясь мыслями и задавая вопросы только взглядами. А между тем можно ли было назвать эти глаза красивыми или выразительными, подразумевая под этим то, что подразумевают обычно? Отнюдь нет. Они были небольшие, серые, скорее маленькие, и сами по себе выглядели просто бесцветными, но стоило ему устремить их в небо, и его синева отражалась и переполняла их до тех пор, пока не начинала струиться уже из них непосредственно; остановись они на собеседнике — и весь этот собеседник возникал и отражался в них целиком, со всем тем, что он, может быть, желал бы и скрыть, даже с самым этим желанием. Но и в том и в другом случае было это не только отражением, но каким-то творческим преломлением отражаемого, приведением его к своему ритму, своему порядку, своей совершенно особой гармонии.

Я не помню, что и как говорилось за столом. Гостя усиленно угощали, но он выпил чай, отказываясь от всякой еды, ссылаясь, что лишь недавно пообедал, и, лишь уступая настояниям хозяйек, попробовал их стряпню, съев по крошке разных печений... Разговаривая, он больше расспрашивал о нас, о деревне и ее нуждах. Он живо интересовался всем, однако временами за этим интересом проглядывала и усталость, и, видимо, то, что ему приходилось торопиться...

А у дома, вокруг крыльца, уже собирались крестьяне. Ребята, которым было вначале строго наказано старшими не глазеть и не толкаться возле дома, видя своих матерей и отцов стоящими или рассаживающимися на бревнах, лежавших у забора, кувыркались тут же на траве. Степенно подходили бородатые мужики.

закуривали, отойдя в сторонку; докурив, выбирали себе место и усаживались; завидев издали толпу, сюда спешили отовсюду новые и новые люди, боявшиеся опоздать к чему-то важному, насущно необходимому каждому из них. Собралась почти вся деревня.

Когда Грехосвященный отодвинул свою чашку, решительно отказываясь от повторения, ему сказали, что собравшиеся крестьяне ждут его у крыльца. Он тяжело вздохнул, поднялся, прочитал благодарственную молитву и вышел, опираясь на свой посох. Все тотчас же поднялись; мужики сняли шапки и плотно окружили крыльцо. Но он не остался на крыльце, а спустился по ступенькам к ним и, пройдя несколько шагов по зеленой лужайке, остановился у изгороди и, повернувшись, обвел всех долгим внимательным взглядом.

— Вот вы пришли поговорить со мной, поделиться своими нуждами? Так я понимаю? — задумчиво и стеснительно вымолвил он. — Что же, спасибо вам за доверие, вместе-то, конечно, легче. «На миру и смерть красна,— в пословице говорится,— и горе не так трудно». Да только вот смотрите вы на меня, а я на вас,— и легкая улыбка пробежала по губам его и скрылась в бороде,— и вижу: ждете от меня хороших советов или слов хотя, которые принесли бы какое-то облегчение, а что я могу сказать вам? Ведь и на мне та же тяжесть лежит, что и вас давит, и у меня слабых сил не хватает ни поднять, ни сбросить ту тяжесть. И меня гнетет она. Я ведь не пророк, не святой, а такой же окаянный грешник. Да что я? Может, и из худших-то последний... Так что же я скажу вам? Чем поделюсь?

И он умолк, потупив глаза и опустив голову на грудь...

— Единственное, чем я владею,— продолжал он после паузы,— это вера в Господа нашего, и эта вера, которой Он посетил меня, недостойного, среди всех лишений, всех испытаний, делает меня счастливым. Вот этим-то богатством моим я от всей души был бы рад поделиться с каждым из вас... Да ведь как им поделиться-то? Научить вере нельзя... Каждого своим путем ведет Господь в жизни...

Вот, если хотите, расскажу вам, как свой путь я хотел избрать сам, в какую трущобу отчаяния меня этот мой путь завел и как Господь спас меня и вывел на простор словом своим...

И подробно, просто, обстоятельно, останавливаясь на мелочах, не обходя даже забавных, анекдотических подробностей, он рассказывает им свою жизнь... Рассказывает искренно и простодушно, просто и живо...

Он говорит о семье, в которой рос и воспитывался, вспоминает годы учения, университет, говорит о том, как постепенно в нем гложет и умирает всякое религиозное начало. Как, наконец, он порвал окончательно со всем, что его связывало с церковью.

— Учился я успешно, жил на стипендию, жил бедно, потому что родители давно уже к этому времени умерли, наследства мне от них не осталось, карманных денег почти никогда не бывало, а дело молодое, хотелось и потанцевать, и поухаживать за девицами, и в театр сходить... Вот тут как-то и попался мне на глаза мой золотой крестильный крест, который я снял и не носил уже ряд лет. Пошел я к ювелиру и продал его, и даже не было в ту пору мысли, что же это я делаю, можно так поступить или нет. Зачем он, думаю, мне? Я уже достаточно взрослый и достаточно ученый, чтобы в такие вещи верить и дорожить ими...

Он говорит о своей неудачной любви, о перенесенной им тяжелой болезни. А потом все изменилось. Пришли материальные успехи. Жить стало легче: появились деньги и положение. Но и в горестях, и в удачах чувство неотступной тоски постоянно преследовало его, мысли о никчемности жизни, о ненужности всего этого, любых усилий и любых достижений приходили все чаще, ничто кругом не имело смысла, ни достойной конечной цели. Отчаявшись окончательно, он задумал покончить с собой...

Когда все было им уже окончательно решено и даже последняя записка написана, благодаря чистой случайности он попал в церковь. Исполняя волю своей матери, он в день ее смерти каждый год служил панихиду. Последние годы перед тем он только заказывал ее и тотчас же удалялся. Так, возможно, случилось бы и на этот раз, но что-то задержало его, кажется, попросили немного обождать кого-то, кому следовало вручить деньги. Стоя в церкви, он невольно задумался. Меньше всего его состояние походило на молитвенное, и мысли, проносившиеся в голове, были мыслями протеста и несогласия со всем, что его окружало... Он шептал про себя какие-то слова, но это нельзя было считать молитвой. Он спорил с Богом, все яростнее упрекая Его в том состоянии, в каком он сейчас находился, говоря, что если только есть этот Бог, так ведь это он должен быть виноват в его безвыходном положении, в этой тоске и бессмыслице, из которой нет выхода, для которой нет разумного обоснования... И с этого часа началось его перерож-

дение. Память не сохранила мне слов его о том, как именно это произошло, но все было так же просто, так же случайно, и только один он видел в этом чудесный промысел Божий... Однако с этого дня, вернее, часа он стал воспринимать все происшедшее с ним совершенно иначе. Дела его продолжали идти хорошо, ему обещали блестящую научную карьеру. Но он вскоре отказался от мира и ушел в монахи...

Этот рассказ епископа в сущности своей — всенародная исповедь. Он не скрывает в ней ничего такого, в чем людям часто непереносимо сознаваться даже спустя много лет. Он не щадит себя и не любит себя ни капли. Говорит очень долго... Уже косые солнечные лучи легли на крыши, просквозили деревья и скрылись, а он все еще говорит. Отец смотрит на него не отрывая глаз. При его горячем религиозном чувстве он не может не ценить случая, который впервые за долгие годы свел его лицом к лицу с явлением человека более высокого, более крупного, чем был он сам. Правда, это почти совсем уже в других категориях, других измерениях, но ведь и он признает эти категории высшими, стремился всегда к ним, считал их наиболее существенными для человека. Но он был более привязан, привержен к суете мира. Ему слишком дорога всегда была и тленная сущность этого мира: он не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы идти только духовным путем. Наверное, в эти минуты ему вспомнились и его разговоры с крестьянами незадолго до отъезда из имения... Как слушали его тогда и как слушают теперь! Разве дело в том, что те были из другой деревни? Нет. Там было две стороны: мужики с одной, барин — с другой, между ними — стена. И кто воздвиг эту стену между ними? Только ли искусная пропаганда классово розни? А может быть, больше всего именно то, что он стоял перед ними человеком, который хочет защитить от них хотя бы силой своего слова, искреннего убеждения, воли что-то дорогое ему лично, такое, в чем у них нет и не должно быть доли. Пусть даже это дорогое — елка, посаженная покойным сыном, старые письма и могилы близких, не все ли равно. Ведь и это — пустое. Даже и это! Там был вопль отчаяния, он пугал их и себя, старался убедить, что они ничего не приобретут, лишая его самого необходимого, но и страх лишиться этого необходимого говорил в нем тогда... И они не понимали его, не хотели, не могли, не должны были понять...

Там был человек, который все теряет, здесь человек, который все нашел, все самое главное. И человек этот щедро делится найденным со всеми. Хочет отдать все, до конца, потому что нашел нечто такое, что сколько ни раздавая его, сам будешь от этого становиться только богаче...

Уже и стадо возвращалось из полей, поднимая позолоченную закатом пыль, но хозяйки не спешили к своим коровам. Эта иная жизнь, этот путь к счастью, раскрытый перед ними, был так доступен и так увлекателен! Глаза молодых и старых блестели, одушевленные одним общим чувством, что вряд ли у каждого из них в жизни было много таких минут...

Преосвященный умолк. Он обводит глазами слушателей и на глазах как-то тускнеет: усталость снова берет свое.

— Ну вот, как мы заговорились... простите... Дай вам Бог!..

И он терпеливо благословляет всех, молодых и старых, поочередно припадающих к его сухощавой небольшой руке.

Лошадь, которую так и не распрягали, нетерпеливо почесывает шею о столб забора, переступая копытами.

По деревне плывет запах парного молока, и во дворах слышны ритмические удары струек о днища и стенки ведер, когда епископ наконец благодарит за гостеприимство и покидает Мокшино. Все мы стоим у дороги. Мне все еще слышится глуховатый голос с его мягкими интонациями, видится взволнованный блеск этих удивительных глаз, и кажется, я впервые понимаю, что вера может быть истинным счастьем для того, кто ею владеет, и что перед этим счастьем всякое другое ничтожно...

Глава VIII

Несомненно, что приглашение и прием епископа, как и всенародная беседа его с населением деревни, были в эти смутные дни весьма опасным делом. Несомненно также, что отец не понимал в полной мере серьезность этой опасности и возможные последствия этих фактов им не учитывались. И в-третьих, для меня несомненно, что если бы он предвидел и понимал все это, то поступил бы все равно точно так же.

Выселенный из четырех стен своего добровольного заключения в имении, он без всякого умысла и какой-либо особой активности со своей стороны все

время привлекал к себе чье-то пристальное и отнюдь не доброжелательное внимание. Конечно же, ему было невдомек, что кто-то может расценивать его беседы с крестьянами как стремление приобрести на них влияние, а затем использовать это влияние в целях агитации, что ежедневные собрания деревенской детворы на нашем крыльце могут быть поставлены ему в вину как погоня за популярностью. А между тем сама даже скромная и естественная жизнь, которую он вел при известном освещении, приобретала характер «деятельности».

Напрасно сам он искренне считал свое отношение к новой власти лояльным. В этом сказывалось лишь то, как мало все тогда еще понимали, что сегодня уже нельзя было вести себя так же свободно, как вчера, а завтра и то, что еще допустимо сегодня, уже станет запретным...

Незадолго до приезда епископа он сделал и еще один, не менее непростительный по своей неосторожности, поступок. Огромная одинокая сосна, стоявшая на дороге недалеко от деревни, навела его на мысль, что было бы хорошо поместить на стволе этой сосны небольшую икону, чтобы верующие прохожие и проезжие могли перекрестить лоб. Казалось бы, что тут особенного? Издревле на Руси на перекрестках и распутьях ставились столбы-«голубцы» с иконами. Но, конечно, сделать это открыто сейчас было неудобно. Поэтому он выбрал скромную и не деревянную икону Николая Чудотворца в штампованной металлической ризе, и в одну из ночей, захватив с собой легкую стремянку, они с Ваней отправились к сосне и прибили высоко на стволе ее эту икону.

Он и сам никак не ожидал, что внезапное появление иконы на этом месте будет многими воспринято как чудо. Не как появление, а как явление.

Девушки с букетами полевых цветов, старики и старухи, опиравшиеся на свои клюшки, потянулись по дороге на поклонение этой иконе. Однажды был, кажется, даже организован крестный ход из ближнего села и молебствие под сосной.

Правда, я хорошо помню, что, когда при отце заходили разговоры, он пытался разубедить знакомых крестьян, говоря, что не видит в этом случае никакого чуда и думает, что появление иконы произошло совершенно естественным путем, но так как забраться вверх по стволу сосны, не имевшему сучьев внизу, невозможно, а кругом нее на большом расстоянии было ровное песчаное место, люди продолжали думать и верить так, как им хотелось. Этот религиозный подъем казался тревожным представителям новой власти и лишний раз привлекал их внимание к местным священникам в первую очередь и к нему самому, к отцу, во вторую.

— Avec de l'air et de l'eau, je ne reux rien faire!^{*}

Мадемуазель взорвалась, точно маленькая бомба. Она заметно похудела и переживала голод труднее, чем все остальные. Сердитая голова с колечками седеющих волос, закрученных в папильотки, высывалась из-за занавески возле русской печки.

Вера спокойно сливала мутную воду с дробленного вместе с кожурой овса, и было с утра уже ясно, что предстоящий среди дня обед — овсяный кисель с кружкой молока, без хлеба, не принесет желанного чувства сытости. Даже в снах Мадемуазель видела свой любимый суп с вермишелью, сочные отбивные и всякую снедь. Не было сил больше день за днем переносить эту жизнь, которая становилась все хуже и голоднее.

— Verá! Vous savez, on peut mourir avec votre cuisine!

— Votre cuisine! Это мне нравится! А, votre cuisine, où est elle? Встаньте пораньше да и приготовьте сами что-нибудь лучшее...

Вот тут-то Мадемуазель и взорвалась:

— Avec de l'air et de l'eau, je ne peux rien faire!

— Et moi aussi. Alors il faut se taire et ne pas parler des bêtises!^{**}

Но остановить и образумить Мадемуазель, когда она закусывала удила, было нелегко. Каждое слово только подливало масла в огонь. Поток бурлящего негодования выливался неудержимо, на невозможном «курдюковском» жаргоне, и на той же французско-нижегородской смеси отвечала ей Вера. Но обе друг друга отлично понимали. А Аксюша, сидя в углу, укоризненно кивала головой, не вмешиваясь в возникшую перепалку.

Виноваты в том, что Мадемуазель голодна, были все: революция с ее комиссарами, Вера и Аксюша, эта мутная омерзительная жижица, лениво

* Из воздуха и воды я ничего не могу приготовить! (Франц.)

** Вера! От вашей стряпни можно умереть! — Где же ваши знаменитые блюда? — Из воздуха и воды я ничего не могу создать. — И я тоже. В таком случае прекратим разговор и не будем говорить глупостей (Франц.).

вытекающая через марлю с хлопьяющим звуком; никто ей не сочувствует, никто не предпринимает никаких шагов, чтобы досыта накормить ее...

Уже Вере стало смешно. Она отвернулась и замолчала. Но тут Аксюша решила, что надо поддержать ее, и подбрасывает сучьев в начавший было угасать костер.

— Да перестаньте вы, и как вам только не стыдно? — обращается она к Мадемуазель.

И вовсе даже ей не стыдно. Чего еще тут стыдиться!

— Je ne suis pas un cheval on un âne! L'avoine, les лопухи, les сурепки, et le diable sait quoi chaque jour...

Мадемуазель возвратилась несколько дней тому назад из Москвы. Она разыскала там множество родственников, которых мы почти не знали. В их числе двоюродные сестры отца — Семевская, Ямщикова (убежденная большевичка-писательница) и семейство Кульгачевых, большое имение которых Боровское в Осташковском уезде продолжает существовать так, как будто ничего не случилось. На обратном пути она проехала в это имение вместе с сыном тетки Кульгачевой — офицером Никой и убедилась, что это действительно так. Дом полон гостей и родственников. Широкая и безалаберная жизнь ни в чем не отказывает обитателям Боровского. Катанья на лодках по Селигеру и верховые кавалькады в большом парке. Все едят и пьют, когда хотят и сколько хотят, в доме чудовищный беспорядок. Посуда и кушанья со стола не убираются, и грязная посуда лишь сдвигается в сторону. Разборка и мытье таких нагромождений в огромной столовой производится не чаще раза в неделю, хотя дом полон прислуги. Кульгачевы, услышав о нашей жизни, зовут всех переезжать к ним, не раздумывая и как можно скорее. Тетка прислала отцу очень теплое родственное письмо с приглашением. Но он не спешит...

В один из дней, следующих за этим, с проезжавшей мимо телеги соскакивает мешковатый, некрасивый молодой человек. Он оказывается Никой Кульгачевым, знакомым лишь по рассказам Мадемуазель.

— Меня мама послала, чтобы поторопить вас и помочь, если будет нужно, с переездом, — заявляет он — Как вы здесь живете? Это ужас, просто ужас. Ведь у нас вы прекрасно устроитесь, и мы вместе переждем, пока вся эта ерунда кончится...

В том, что ерунда кончится, и притом скоро, у него не было ни малейших сомнений; важно где-то выждать месяц, два, а потом можно будет возвращаться к себе. Впрочем, вообще что-то непонятное с нашим отъездом; вовсе не надо было уезжать из Новинок. Можно было остаться и там. «Живем же мы в Боровском!» Чуждые нам замашки капризного баловня, с грехом пополам окончившего лицей, а потом произведенного в офицеры одного из кавалерийских полков, искупались в Нике природным добродушием. Он не переставал ужасаться нашим бытом с его овсяными киселями, и его настояния ускорить переезд казались такими соблазнительными... На другой день Ника уехал. Отец не сказал ему ни да, ни нет, только написал его матери письмо, в котором благодарил ее и обещал подумать над ее приглашением, ссылаясь на трудности переезда. Он как будто не хотел уезжать отсюда...

Уже к земле склонялись тяжелые колосья. «Стефан Савваит ржице клагяты ся велит!» — приговаривали деревенские старики. Развернулась на полях жатва, заблестели серпы, потянулись через деревню подводы с зерном на мельницу. Все с нетерпением ждали нового хлеба, но погода не благоприятствовала урожаю. Вторая половина лета и начало осени были дождливыми. В конце деревни, перед песчаным косогором, уже третью неделю стояла огромная лужа, и в ней светло поблескивало отражение неба. Телеграфные столбы и большие причудливые ивы с ветвями, обрубленными там, где они мешали проводам, тянулись через деревню. В ненастные, ветреные ночи эти столбы протяжно и заунывно гудели...

Хлеб все же убрали и обмолотили. Цены на него хотя и не падали, но по крайней мере задержались на своем высоком уровне и перестали неудержимо ползти вверх. По лесам было много грибов, и хотя разбой и убийства на дорогах не прекращались, Ваня набирал где-то грибов. Крестьяне снабжали нас молодой картошкой, и с питанием положение стало куда более сносным...

Зато все остальные новости не радовали. Марусино было окончательно заброшено и разграблено. О Новинках мы ничего не знали. Передавали возникавшие откуда-то слухи, что дом сожжен и липовая аллея вырублена. Однако слухи эти в дальнейшем не подтверждались. Комитеты свирепствовали, шли

* Я не лошадь и не осел! Овес, лопухи, сурепка и еще черт знает что, и так каждый день... (Франц.)

аресты. Одним из первых был арестован молодой тешиловский священник Сергей, но крестьяне нескольких деревень объединились, угрожа перестрелять весь комитет, если он не будет освобожден, и его выпустили. Особенно велико было раздражение против одного из главных комиссаров по фамилии Кузьмин. Он один навел панику на всю округу, впрочем, панически боясь и сам, — боясь, с одной стороны, вызвать неудовольствие свыше нерешительными действиями и показать свое несоответствие занимаемому посту, с другой стороны — боясь получить пулю в лоб от разъяренных его действиями крестьян. Поэтому, как говорили, он-то и умолял свое начальство «оставить попа в покое», чтобы не волновать народ, и ограничился посылкой в село вооруженных красногвардейцев для производства обыска у священника...

Наступил день Ильи пророка. Ходить лесом или даже мимо него считалось настолько опасным, что и мама с Верой в сопровождении Вани были в этот день у обедни не в Тешилове, а в селе Завидове, за семь верст, куда вела дорога, проложенная среди полей.

После церкви богомольцам предстояло зайти к знакомым в том же селе. Надо было попытаться достать что-нибудь из продуктов. Через сутки наступали мамини именины, и, как всегда теперь, все старались отметить семейные праздники хотя бы всеобщей сытостью. Поэтому на обратном пути Ваня нес за спиной меру молодого картофеля, купленную на сельском базаре; мама с Верой набрали дорогой немного грибов; кроме того, бывшая наша горничная Таня, которую они навестили, одарила их зеленым луком и свекольной ботвой для варки супа, а отцу послала с ними ватрушку с творогом и четыре молодых огурца. Эти огурцы он тут же засалил.

Пообедав, все снова ушли уже в другую деревню, где была надежда раздобыть немного сливочного масла и что-нибудь еще из продуктов. Наскучив их долгим отсутствием, отец пошел навестить тетку, но дорогой почувствовал себя плохо. Слабость и головокружение пошатывали его на ходу, и, усилием воли преодолевая это состояние, он уже думал, не вернуться ли назад, но так как половина дороги была им сделана, заставил себя продолжать путь. Он только остановился и, достав из кармана спичечную коробку, в которой у него были наколоты маленькие кусочки сахара, положил такой кусочек себе в рот. Он верил, что это помогает бороться со слабостью и переутомлением, и последнее время всегда носил с собой сахар, отправляясь куда-либо...

За разговором он немного отдохнул, но пристальный взгляд тетушки и многозначительно сказанное ею: «Вы мне не нравитесь...» — убедили его, что не следует долго засиживаться.

— Вы правы, — ответил он, — прощайте, я что-то неважно себя чувствую сегодня; спал ночью всего четыре часа, наверное, в этом все дело. Сейчас приду, лягу и попробую отоспаться до возвращения наших...

Однако, поднимаясь по откосу в переплете тропинок, чувствуя на себе взгляд обоих теток, стоявших у окон своего домика, он почувствовал, что ноги его решительно не слушаются. Он собрал всю энергию, чтобы преодолеть этот подъем и не выронить из рук стакана с простоквашей, который послала для меня теть Дина.

Скрывшись за поворотом возле серой избы, которая служила пожарным депо, откуда, как знал он, тетки уже не могли его видеть, он остановился перевести дух и собраться с силами. Далекий заречный берег с его песчаным обрывом и лесом, с круглыми кустами, разбросанными там и здесь по лугам и сейчас освещенными проглянувшим сквозь тучи солнцем, как и всегда, немного оживили его. Длинные полосы разноцветных полей и мелькание на них света и теней от бежавших по небу облачных гряд, казалось, находились в непрестанном движении, куда-то торопились, спешили, не останавливаясь ни на мгновение. Передохнув и полюбовавшись этим знакомым пейзажем, он почувствовал себя значительно крепче, настолько, что, вернувшись домой, не стал ложиться, как собирался сделать сначала, а разговорился с пожилым крестьянином, жившим напротив, и просидел с ним на лавочке до возвращения остальных...

На следующее утро он еще сквозь сон услышал в соседней комнате сборы и одеванье мамы с Верой. Свой день Ангела мама решила встретить в церкви. Убедившись в этом, он окликнул ее и попросил не делать этого. Но ее успокоительно-уклончивый тон, которым она сказала: «Ну, ну, там посмотрим», ясно показал ему, что она сделает так, как задумала. Услышав вскоре стук отворяемого засова, он приподнялся на локте и увидел за окном ее в черной кофте и с поминальной книжечкой в руке, а рядом серое платье и зонт Мадемуазель. Больше он не смотрел и уже не видел, как к ним присоединился

Ваня, а Вера, сдавшись на какие-то убедительные убеждения, вернулась, чтобы остаться дома и заняться хозяйственными приготовлениями...

Как ни хотелось отцу спать, он тотчас же после их ухода заставил себя подняться, умыться и оделся по-праздничному — в чесучовый жилет, крахмальное белье, и, подкрутив усы, принялся исследовать скудные остатки провианта, стараясь придумать что-нибудь повкуснее для праздничного обеда.

День был воскресный. Дождь, ливший ночью, прекратился, и с утра принаряженные деревенские «барышни» перебегали от соседей к соседям. Эти два или три листка, исписанных карандашом, сохранились и уцелели, повторяю, совершенно случайно.

«Когда я зашел на кухню, то застал Веру, в ее русском наряде, уже здесь. Она быстрыми пальцами загибала пирожки с рисом и вареники с творогом (конечно, все из ржаного теста). Ее нарядный сарафан старинного покроя из замечательной домашней кубовой крашенины с широкой шелковой, как будто парчовой, лентой цвета буж (спереди — в два, и сзади — в один ряд) хорошо сочетался с вышитой красным шелком рубашкой и с кораллами и янтарями на шее. Она, эта русская утварь избы и печь с горшками в челе, были бы хорошей иллюстрацией для какой-нибудь сказки... Увидев, что дело делается и без меня, договорился с ней насчет пирожного, затем достал кусок вершка в полтора кубических сахара (единственный подарок, который мог поднести супруге) и, завернув его в бумагу, написал на ней: «Prenez ce petit rien d'un couleur que vous aimez bien»*, и положил на чистую скатерть перед ее местом. Затем я вышел на крыльцо, где меня один за другим окружили мальчишки. Начал читать им и совершенно забыл обо всем в разговоре.

Увлечшись беседой с ребятами, я не мог дать себе отчета о принесенной от Козловых (Ванькой) корзине, в которой виднелся большой кусок масла и сложенное письмо. Лишь когда ребята стали окликать из домов пить чай, я вернулся на кухню и увидел все сюрпризы: и стакан сметаны, и кусок масла, и мешочек муки — чего только тут не было! Аксюша тоже была здесь, и поднялась у них с Верой такая азартная стряпня, что мое присутствие оказывалось совершенно лишним. Я уделил только из своего скудного запаса еще два куса сахара на пирожное и заручился, что будет сварен сладкий молочный кисель с изюмом, сухими фруктами и всем, что найдется...

Вскоре подошли Маня и Мадемуазель. Последнюю я тотчас же отправил к Лобачевым за малиной, и ее там великодушно оставили одну в саду распоряжаться, чем и как она хочет. Затем подошел и Ваня с колосьями и занялся их шелушением. Я зеленой каше уделил тоже сахару, а Вера пожертвовала целиком какой-то свой запас, о котором никто даже и не знал. Все было истолчено в ступке, и поэтому малина, принесенная Мадемуазель, была, и даже довольно густо, пересыпана этим сахаром, и вместе с великолепно испеченной драченной они обеспечили вкусное пирожное.

За чаем Маня рассказала, что на Ильин день Сергия в деревнях заугощали на убой и заверяли, что наделят его и дровами, и сеном, и хлебом и будут отстаивать и впредь. Хорошо, что энтузиазм обаятельной личности этого доброго пастыря так высоко оценен народом. Может быть, наконец он и его умная и милая жена хоть передохнут свободно на своем трудном пути...

После чая мальчишки снова собрались на крыльце. Маня пошла благодарить и приглашать тетушку и, возвратясь, рассказала, что та грустит, что не могла поднести к именинам фрукты.

Во время моей возобновившейся беседы с ребятами появилась Дина с двумя большими тарелками черной смородины и малины и, целуясь со мной, весело объявила: «А вот и фрукты!» Обед получался грандиозный. Подъехали Сергей с матушкой, составляя, как и всегда, красивую и на этот раз такую радостную пару, и, сказав мальчишкам: «До свидания, ребята, мне теперь будет некогда», я повел гостей в дом и закрыл за ними входную дверь...

Тетя Надя все же опоздала к сытному и вкусному обеду и застала только пирожное и чай. Зато она просидела у нас до полной темноты, и все пошла ее провожать, когда уже только слабый проблеск зари еще освещал деревню. Шли мимо пожарного депо, где происходят ежедневные сходки крестьян, а по вечерам это место служит для сбора молодежи. Не очень-то строго моральны эти сборища и прогулки парочками в темноте, но общий тон таких ассамблей является довольно сносным и. насколько можно требовать, приличным

* Возьмите этот пустячок он того цвета который вы так любите (франц.)

Вечер был восхитительный и теплый, так что все еще долго стояли перед избушкой Надежды Федоровны и говорили. Жаль было расстаться и идти спать. Небо на западе еще бледнело как раз настолько, что дорогу было хорошо видно. Дина снова оделяла всех малиной, причем я уже никак не хотел пользоваться такой расточительностью и, видя, что все жуют ягоды и ждут, что я начну прощаться, сказал: «Если именинница не хочет прощаться с утомленной тетужкой, которая хочет спать, потому что мы ее совсем замучили, а все ждут, что это сделаю я, то вы никогда не дождетесь. Я на себя почин не беру». Тогда я поцеловал руку Надежде Федоровне, послал воздушный поцелуй Диночке в дом и решительно зашагал в темноту теплого вечера, а за мной двинулись и остальные... По возвращении все тотчас же безмятежно заснули.

...Наутро, то есть сегодня, я проснулся в пять утра и, полежав с полчаса с полузакрытыми глазами, встал, свернув шторы и, подойдя к умывальнику, стал обливать себе лицо, голову и шею, пока окончательно не проснулся. После этого я взял свою дощечку, положил на нее бумагу и устроился снова на постели, чтобы записать для памяти эти самые строки об одном из наших дней в деревне. Кругом все еще спит, беззвучно и спокойно. Решил, что пора поднимать Сереженьку, и, слыша, как он зевает за перегородкой, приказал ему вставать и одеваться...

Так или почти так проходят дни в нашем изгнании. Оно очень мало меня беспокоит. Я решил раз навсегда, что все хорошо на свете и всегда лучше то, что есть в данном месте, в данную минуту и при данных обстоятельствах того или другого времени безразлично...»

На этом кончается запись. Он никогда и не вел систематических дневников, но в этих записках, без всякой литературной правки и стилистической шлифовки, он документально, со всеми мелочами за протоколировал один из дней, может быть, последний мирный и относительно счастливый день нашей тогдашней жизни. Я привел этот документ почти целиком, потому что для меня он звучит убедительнее, чем все, что я сам мог бы восстановить об этих днях по памяти. Последующие события были виной тому, что я и теперь помню во всех мельчайших подробностях и нюансах годы своего раннего детства, нередко с самого меня изумляющими деталями, как, например, не только фразами услышанных разговоров, но интонацией этих фраз и сопровождающими жестами. Наверное, это показалось бы мне самому неправдоподобным, до какой степени я стал жертвой воспоминаний, начинающихся почти с двухлетнего возраста, а с десяти лет мне пришлось узнать, как неумолимо терзают свою жертву эти воспоминания в течение всей жизни, ежедневно и ежевечерне, приравнявшись к пустячному поводу, а нередко, кажется, даже и без всякого повода, начинающие разматывать свои бесконечные свитки, как будто в них-то и заключается самое драгоценное наследство прожитых дней. Эти же последние дни, ужас которых еще не был раскрыт в то время, они не забывались бы даже и в том случае, если бы за ними не следовало все то, что спустя один лишь месяц так смяло и искалечило, так иссушило и озлобило мою тогда еще детскую душу, что все, даже мельчайшие детали тех дней предстали после уже в иной окраске, в другом осмыслении, а не в том, как видел еще их отец, записывая, может быть, для нас, для меня, сам не понимая для чего, свой однодневный дневник в светлом и бодром расположении духа своего.

Глава IX

Миновал июль. В самом начале августа, как-то под вечер, я сидел у окна, раскрытого на деревенскую улицу. День уже заметно убавился, и на улице начинало темнеть. Вторая половина лета выдалась дождливая и холодная. Холодными стали и ночи. В горнице спать стало уже невозможно, и мама с Верой вечерами раскладывали свои постели в избе, рядом с моей и Аксьюшиной. Я смотрел через окно на проезжую дорогу, где на непросыхающих лужах ветер уже гонял кораблики желтых листьев. В некоторых избах уже зажигались огни...

В это время под самыми нашими окнами появилась парочка. Но эти люди были не из деревни. Одетые по-городскому — на женщине белое платье и туфли на каблуках, на мужчине темный костюм, под ним светлая косоворотка, волосы, кажется, вьющиеся, пенснэ или очки. Лица я рассмотреть не успел, хотя он поднял голову, и я на мгновение встретился с его светлыми, совершенно какими-то пустыми глазами. Они мгновенно подарили меня ощущением прикосновения к чему-то холодному и отвратительному, так что я невольно вздрогнул. И в то же мгновение рядом со мной оказалась Вера. Она твердо взяла меня за плечо и отстранила от окна. Ее движение было направлено к тому, чтобы

немедленно встать передо мной, заслонив меня от этих людей, этого взгляда. «Отойди от окна,— громким шепотом сказала она. — Какая гадина, ты видел его глаза?» — «Кто это?» — «Г-ский, председатель их „тройки“». Я уже не в первый раз слышал эту фамилию. Он был, как тогда говорили, «самым главным комиссаром» в большом селе Завидове. Остальные двое (наш тешиловский Кузьмин и еще какой-то третий) ему подчинялись. Раньше он был незаметным сельским учителем... «Откуда же ты его знаешь?» — удивленно спросил я сестру. «Мне тетя Дина как-то его показала, издали, когда мы из церкви выходили. Никогда не думала, что бывают такие омерзительные глаза».

Через несколько дней отца вызвали в комитет, в то село, где этот субъект, как говорили, ухитрился наводить ужас на всех, начиная с собственных сотрудников. Так ли оно было или нет, но отец с мамой, которая пошла с ним, вернулся спокойный: с ним были вежливы, даже любезны, спросили, что он собирается делать дальше, и наконец предложили дать подписку, что он в месячный срок покинет эти места. Подписку он, конечно, дал, и по возвращении тотчас отрядил Мадемуазель к Кульгачевым в Боровское, чтобы сообщить о его решении, если у них ничего не изменилось, принять их любезное приглашение. Мадемуазель, как всегда быстро, собралась и укатила. Это произошло 17 или 18 августа старого стиля.

Ночью, на рассвете, просыпаюсь от негромкого стука в стекло бокового окна. «Наверное, Ваня, Вера, отойди ему, пожалуйста!» — говорит мама. Мы уже недели две говорим всем, что он уехал. Днем он спит или читает, лежа на сеновале, то у нас, то у Аксиньи, чаще у нее. Она, как и сестры, как и брат ее Герасим, вполне надежны, ненадежен только младший брат — Федя; от него все это хранится в тайне, ну да у него своя изба, своя семья. Он выделился от остальных. К семейным разделам в старой русской деревне относился как к неизбежному в иных случаях злу, но всегда в общем-то неодобрительно.

— Доносить против нас Федя не пойдет нипочем, но только говорить ему все равно ни к чему; опять женка у него пустая бабенка, время не то, я считаю, чтобы зря-то языком трепать, вот за сестер да за брата Гараську я спокойна, как за сибя, а и то, живи кто из них не с нами, а выделись отдельно, вот крест, ни за што не сказала бы.

И я лишь много позже понял, что это был голос тех поколений, которые несли в себе чуть ли не врожденное сознание, что жить надо «по Христовой правде и закону», которые есть у каждого внутри, готовые ответить на любой вопрос и подсказать правильное решение; уже само по себе обращение за правдой к иному закону, будет ли он принадлежать к своду законов Российской империи и истолковываться всевозможными юристами и адвокатами то так, то этак, или к не виданному никем кодексу пролетарского революционного правосознания,— есть отпадение от настоящей правды и настоящего закона, должного и справедливого...

Ваня раздевается у входа: с его сапог, куртки, фуражки стекают на пол ручейки дождевой воды. Встревоженный отец выходит к нему, накинув халат.

— Что случилось? Тебя никто не видел?

— Кажется, нет. Завтра на рассвете уезжаю в Петроград. Герасим с лошадей будет ночью ждать меня на старом большаке и отвезет на Редкино, чтобы в Завидове не показываться. Больше нельзя, можно их подвести...

— Да и давно пора тебе уехать,— отвечает отец. — Нам тоже нельзя больше оставаться. Вернется Мадемуазель и двинемся. А тебе в Петербурге все-таки безопаснее. Не так на виду в большом городе, как здесь... Что слышно нового?

— Новости плохие. Сегодня арестовали обоих тешиловских священников, еще нескольких человек...

Ваня похудел за последние недели, под глазами темные круги, вследствие общего истощения и жизни, которую пришлось ему вести, у него разладилось сердце, но разве сейчас время заниматься такими пустяками. Вечером укладываемся спать. Ваня уходит вздремнуть на сеновале перед дорогой. Все как будто скоро уснули, а кто не уснул — притворился спящим. Не спит и не притворяется только отец — он думает о другом сыне — Леше, от которого уже почти месяц нет известий; надо ему написать с Ваней...

После холодного, ненастного дня и вечера наступила такая же ночь. Из сумрачного неба порывами налетал дождь. Телеграфные столбы возле дома гудели протяжно и жалобно. Сколько ночей уже он в одиночестве слушает это гудение.

Письмо к Леше, начатое дважды и оба раза зачеркнутое, под неумолчное пение столбов легче думалось стихами, и он записывал, не отделявая, торопли-

вые строки своим крупным волевым почерком с округлыми буквами, словно выходящими из-под гусиного пера:

Недаром при луне столбы так громко пели,
 Неумолкаемо, в безмолвной тишине,
 Их струны плакали и жалобно звенели,
 И к тихим небесам упрек несли оне.
 Неведомая песнь, мне сердце надрывая,
 За звуком звук лила, напев не прерывая,
 Отверху донизу, кругом со всех сторон,
 Казалось мне, был слышен долгий стон.
 Прозрачным сумраком в ночном своем дозоре
 С плывущей тучкою играя на просторе,
 Гулял ли в проводах свободный Аквилон,
 Счастливый тем, что все уснуло в мире,
 Перстами легкими играя как на лире,
 С косматой ивою беседовал ли он?
 Иль нить железную, на гнездышко ныряя,
 В вечерней тишине к ночлегу подлетая,
 Задела ласточка нечаянно крылом?
 Не знаю я... но проволока гудела
 И что-то мне сказать печальное хотела...
 Не сердце ли твое, друг милый, тосковало
 И в эту ночь забыться не давало,
 В далекой стороне напомнив о былом?
 Иль вспомнилось тебе, как мимолетным сном,
 В обманах жизни счастье миновало,
 В безбрежной вечности к забвению летя,
 Все было, все прошло, исчезло и пропало?!
 ...Чу! что-то дрогнуло и ветер набежал,
 В колодце капнуло и воздух задрожал...
 Не телеграмма ли из дальнего предела
 К нам от тебя неожиданно долетела
 И, в тонких проводах тревожно шелестя,
 Мне хочет рассказать, как ты живешь, страдая,
 Печально день за днем вдали от нас теряя...
 ...Не потому ли ждут все люди, не шутя,
 На все вокруг взирая безучастно,
 Какого-то спасения так страстно,
 Что в этом омуте бессмысленной борьбы
 Жизнь стала неверна в руках слепой судьбы?

Он глубоко задумался. А столбы гудели все громче. Они мычали, точно глухонемые, силясь сказать ему что-то такое, что и он чувствовал настолько ясно, что невольно отразил в этих сроках, удивительных не литературными своими достоинствами, а точностью именно этого ощущения. И первым словом он поставил в них такое многозначительное «недаром». А что и почему «недаром», не сказал, не мог сказать, потому что не знал...

...Не знал, что только накануне во дворе завода Михельсона прозвучали выстрелы Фанни Каплан, что застрелен председатель Петроградской Чка Урицкий и что эти провода, гудевшие так протяжно и скорбно, разносили в ту ночь по всей стране секретную директиву, открывавшую новый день революции — день еще более разнузданного, бессмысленного в своей жестокости террора.

Луна, которая то и дело выглядывала в просветы между тучами, словно кого-то или что-то высматривая, окончательно скрылась. О крышу ударили крупные капли начинающегося дождя. Когда начало слабо брезжить раннее утро, дождь уже лил всю.

«...Что касается меня, то я спокоен, — писал далее отец, перейдя к прозе, — не ропщу понапрасну и тебе не советую. Коль не сошелся счет нашей жизни, то надо требовать отчета у совести... Живется нам тревожно, ползут разные слухи, но я не обращаю на них внимания. К чему? Удел человеческий — ждать, продолжая жить и храня верность этой скоротечной жизни. Мудрец — только тот, кто понял ее мудрость, а того, кто не понял, этот сфинкс топчет, давит и проглатывает. В этом и есть загадка, предложенная Эдипу. Жизнь часто увлекает нас своими лукавыми и непрочными радостями, а залюбовавшись ими, мы так часто забываем, что в этой многоцветной радуге земного пира нет и не может

быть ничего вечного, постоянного. Мы, как дети, тянемся к ней, стремясь овладеть неуловимым, гонимся за воображаемым, не замечая истинного...

Первое, что мы делаем, рождаясь для жизни,— плачем, а затем продолжаем плакать и чего-то бояться день за днем, всю жизнь. О чем плачемся? Чего боимся? Боимся грядущего дня. Как быть завтра, что нам с собою поделать? А жизнь тем временем бежит. И где же причина нашего ужаса? Не напрасный ли это страх? Грядущий день, так пугавший нас,— это лишь легкий пар; только что он струился впереди, и вот он уже испаряется с нами рядом и затем истаивает за нашей спиной. Был, исчез и уже не наш. При всем своем «всемогуществе» мы не владем даже и одним мгновением.

Итак, прошедшее прошло, грядущее нам не принадлежит, а настоящее — одно мгновение перехода из грядущего в прошлое. Оно даже как бы и нереально. Его словно не существует. Так стоит ли трепетать, к чему растрчивать жизнь в бессмысленных тревогах?

Живется нам и голодно, и прохладно, как раз так, как рекомендуют доктора. И действительно: воздержанность всегда и во всем только полезна. А ерго живем даже лучше, чем можно было бы ожидать.

Наслаждаюсь чудесными пейзажами холмистой местности. Славные деревенские дети гурьбой толкуются у нашего крыльца. Крестьяне добры; нас в деревне, кажется, любят, и мы не имеем причин на кого бы то ни было обижаться. Немало друзей прибавилось за этот последний год. С нами часто делятся последним, отдавая мне свой хлеб, одним словом, скажу тебе: я рад этой жизни, пока мы живы, а и померем — так не беда — нам счастливо жилось.

Несмотря на дождливую погоду, всю рожь убрали. Появились картофель. В лесах пошли грибы; мы их сушим, жарим, варим и немного ожили. Все горе, по-видимому, впереди, сейчас-то еще терпимо. К чему гадать о том, что случится далее. Лучше не задумываться. А когда, после дождей, разъяснит и проглянет солнце, с ним и все делается милее вокруг. Деревенские красавицы, проходя, кивают мне, лукаво и весело глядя в глаза. Их здесь много, зато и свадьбы часты. По старинке, с соответствующими обрядовыми песнями, слезами и причитаниями, хороводами. Простой люд, как и всегда, хотел бы поживать в неведении, но... степенный мужичок озабочен нуждой, замучен работой и ненастьем. Осунулись и на несколько лет постарели за последние месяцы наши соседи. С неба льет, а тут еще гадай — что дальше? Какова судьба собранного урожая? Отнимут или нет? Вот и уснащают сверх меры родную речь по русскому обычаю посылками. Да, я не против крепкого словца: за то и раздавлены мы все силою, бросившею нас вниз, что стали такими белоручками, что некуда дальше.

В заключение, друг мой, повторю снова: о старом вздыхать и сожалеть дико — оно не вернется. Нельзя вечно мучиться, желая каких бы то ни было перемен и без толку куда-то спешить, сокращать себе и без того быстро текущие дни. Жизнь сама безостановочно бежит вперед. Верь ей во всем, друг мой. Она дана нам от Бога, и дар этот — великий, радостный, благодатный. Твори, что вздумает, но научись желать. Владей вполне силой чувств твоих. Ничего не проклинай понапрасну, и тогда только будешь ты счастлив на всех путях и во всех намерениях твоих и в любых обстоятельствах обретишь душевное равновесие»

Дверь в его крохотную комнату осторожно приоткрывается: Ваня. Он совсем готов, за плечами рюкзак.

— Уходишь?

— Да, пора!

Отец быстро оглядывается на окно и тушит свечу, потом поправляет старое одеяло, которым занавешено окно, чтобы снаружи ничего нельзя было увидеть, правда, окна высоко от земли (для подсматривания пришлось бы лезть на карниз, а это было бы слышно). Я тоже не сплю; у меня, в деревянной перегородке, у которой я лежу, шель длинная и достаточно широкая: мне видны то он, то брат, то их тени на противоположной стенке.

...Одну минуту... Отец дописывает последнюю строку, складывает в конверт и отдает Ване.

— Это для Леши... Ну что же? — Он встает, как лежал с вечера, в халате, ноги сами привычно попадают в туфли. — Спал?

— Да, немножко, а ты все писал?

Отец не отвечает.

Они стоят друг против друга, держат друг друга за руки и не сводят глаз один с другого. Я слышу трудное дыхание отца, вижу колючий небритый подбородок Вани. Он нарочно не брился уже несколько дней. Оба рядом: до них от меня меньше одного шага.

— Пстой, оденусь... проводить... Нет, впрочем, иди. Тебе спешить надо, скоро рассветет... ну...

Ваня опускается на одно колено. Отец его благословляет — крестит. Брат целует его руку, потом поднимается, смотрит в папины темные и яркие, но такие усталые глаза, на седую бороду, и невольно, как вздох, с какой-то детской умоляющей интонацией с его губ срывается: «Папочка! Береги себя!» — и он, прижав к плечу отца, замирает... Шаги... Ваня быстро и решительно встает. На пороге мама, совсем одетая. Ваня не подходит ни ко мне, ни к Вере — думает, мы спим, но мы не спим оба. А они вместе с мамой выходят, и за ними закрывается дверь. Проходит, наверное, очень много времени; сперва мне не удается заснуть, потом дремота меня одолевает, и тогда-то звук открываемой двери снова вырывает меня из сна. Это мама. Вся мокрая. Снаружи опять припустил дождь. Мамина кофта прилипла к плечам, с ботинок стекают на пол струйки воды. В седых волосах множество мелких капелек. Вера выкручивает фитилек маленькой лампы и встает сама:

— Мамочка, где же ты была? Ну можно ли так?

— Ах, что там... Оставь... — Она тушит свет, и в темноте начинает раздеваться...

Как долго тянется эта ночь.

Как долго не прекращается дождь. И не наступает рассвет.

Глава X

Просыпаемся поздно. Сильный ветер разогнал тучи, и день обещает быть хорошим. Вон и солнце проглянуло и скрылось... Снова выглянуло... Отец, бодрый и свежий, уже встал, оделся, выходит на крыльцо, но скоро возвращается: на улице очень холодно. Температура в доме быстро падает. Мама смотрит на градусник:

— Неудивительно, семь градусов в избе. Сколько же на улице? Аксюша! Надо хоть самовар поставить — все-таки немного согреет. А дров-то у нас неужели совсем нет?

— Нет.

— Все взялось выживать нас отсюда, — шутит отец.

Так проходит день. Наступает такой же холодный вечер.

Вера присматривается ко мне.

— Ну-ка дай лоб, да у него, наверное, жар... Где у нас градусник?

Так и есть. Около тридцати восьми. Укладывают в постель.

— Этого только недоставало...

— И Мадемуазель, как назло, запропала — уже почти неделю как ей следовало вернуться. Остается меньше двух недель от предоставленного срока для отъезда...

Следующий день — день памяти Дюди — маминого отца. Она в этот день хочет, как всегда, побывать в церкви у обедни. Отец напрасно уговаривает ее не делать этого. В Тешилове оба священника арестованы и неизменно, будет там служба или нет. А главное, эта лесная дорога туда очень опасна; какие-то разбойники беспрепятственно выскакивают из леса на дорогу, грабят и убивают прохожих. И это, к сожалению, не из области кем-то пущенных слухов, а так и есть. Пропадали местные, а когда отправлялись на розыски, находили вместо одного тела два. Так был убит демобилизованный солдат, получивший на фронте инвалидность; всего версты две не дошел он до своей деревни. А некоторых приезжих так и не опознали. Значит, приходилось идти в село Завидово, полями, семь верст туда и семь обратно по такой погоде. Еще пока с ними был Ваня — куда ни шло, а теперь они вдвоем с Верой, две женщины... Отец недоволен и почти запрещает ей, но она в этот день не может отказаться от многолетней традиции и уходит, несмотря на его неудовольствие. Это тоже надо понять: что для нее значит — уйти, несмотря на его неудовольствие. Да и он-то, бывало, прикрикнул бы на нее: «Не пойдешь, и все!» А тут... Уходит... Возвращаются поздно, до нитки промокшие обе. В доме все так же холодно. Я лежу с простудой и не выхожу на улицу. Кто-то стучится. Мама отпирает и выходит наружу. Возвращается с повесткой: завтра отца опять вызывают в комитет. Все встревожены. Отец старается их успокоить: «Ну что особенного, скажу, что мы почти готовы и во всяком случае выедем до срока»...

Проходит еще ночь. Рано поутру прибегает тетя Дина. Рассказывает: вчера в комитет вызывали Надежду Федоровну. Там на нее очень грубо кричали и потребовали, чтобы они с дочерью выехали в двухдневный срок. Тетя Дина уже сняла избу в Елизаветине. Это совсем рядом с нашим имением. От Мокшина

всего восемь верст, но здесь Московская губерния, а там Тверская, и комитет действует уже другой.

Немного погодя приходит сама тетушка. Она уже перестала негодовать и проклинать, щеки сморщены, заплаканные глаза ввалились. Повторяет: «Зачем я только дожидая до этого ужаса, до этого позора!»

— Бросьте, тетушка, дорогая, не надо, стоит ли сейчас об этом горевать. — Отец успокаивает ее мягко и внимательно, словно ребенка. — Вы сходили вчера, и для вас это уже кончилось, — говорит он, — а я иду туда сегодня и, видите, не волнуясь. И дело вовсе не в том, что я мужчина, не могу я себя, да и не хочу выставлять каким-то примером, а напротив того, облегчить хочется ваше горе. Есть ведь иная точка зрения на все с нами происходящее, и каждому из нас эта точка зрения близка и доступна...

Понемногу его собеседница успокаивается, но это вовсе не то успокоение, которое он хотел бы ей передать. К ней возвращается ее злость и сарказм по поводу всего окружающего. А о том, что это их последний разговор, не подозревают оба...

...«Взжи, взжи» — визжит под окном колесико колодца. Везде стоят лужи. Песчаная почва так насыщена влагой, что больше ее не впитывает.

— Да если уж правду сказать, то и в вашем спокойствии я не слишком уверена. Что держите себя в руках, за это, конечно, молодец, ну а чего это спокойствие вам самому стоит — об том не будем. Вид у вас плохой, сомневаюсь, чтобы вы мирно спали сегодня ночью!

«Взжи... взжи... взжи...» — кто-то опять с натугой тянет полное ведро.

— Да, я не спал, — просто отвечает отец.

— Не спали и, значит, думали, а думы, уж конечно, были невеселые. Эх, Колечка, чего уж...

— Да, думал, и разные были думы, в общем, те же, что и все последнее время... но что такие уж они невеселые, о них не скажешь. Не то это слово... потому что скорее даже напротив. А под утро написал даже небольшое стихотворение, и в нем мне, кажется, удалось выразить то настроение, которое сейчас для меня стало основным...

— Ну, признаюсь, удивили. Впрочем, на вас это похоже! Счастливый же вы человек в таком случае, если у вас есть это и оно не оставляет вас даже сейчас.

— Ну конечно, счастливый, я об этом-то и пишу... — отвечает он.

— Так прочтите по крайней мере...

— Охотно прочту. Оно коротенькое — ни меня, ни вас не задержит.

Мама у стола намазывает маслом кусочки хлеба ему на дорогу и колет в спичечную коробку крохотные горошинки сахару; никаких лекарств у него нет, а эти кусочки очень помогают при приступах внезапной слабости, которые участились за последнее время. Одна только она знает, как плохо он себя чувствует последние дни...

Отец входит с листом бумаги, исписанным его характерным твердым и округлым почерком.

— Как-нибудь называется?

— Нет...

— Ну, читайте!

Слабый солнечный луч, долго пробивавшийся между туч, наконец проник в комнату. Он густо позолотил стакан с крепким, еще не остывшим чаем, блеснул в пенсне отца, мелкими искорками пробежал в волосах матери, когда она нагнулась, доставая его осеннее пальто из чемодана.

Отец читает:

— Мне в скромной участи кичливых слов не нужно,
 Ни славы тягостной, ни шума, ни похвал,
 Мне суждено делиться чувством дружно,
 И счастье светлое Господь мне в сердце дал.
 Теряя свой очаг и землю с достояньем,
 Надеждой тщетною я не волную кровь,
 Бесприятательным довольный подаяньем,
 Я горд и радостен за ближнего любовь.
 Душе моей легко. С улыбкою веселой
 Спокойно я гляжу на этот белый свет
 И сожалею я, что этой лучшей школой
 Я не воспитан был с первоначальных лет.
 Не знаю отчего, но горе не гнездится
 В душе истерзанной и в сердце у меня,
 Мозг не кипит. Обида не таится

В груди моей... При солнце, в блеске дня,
 Природа, люди — все мне кажется иное,
 Я в горестях моих опять помолодел,
 И небо, и земля — все, все мне дорогое,
 Во мне и вне меня — все славит мой удел.
 И Ты, Всеблагостный, Свою свершая волю,
 И правый суд, и милость без конца,
 Благослови Господь мою и ближних долю,
 И да прославят все Небесного Отца!

Он окончил. Никто из присутствующих, даже тетушка, не проронил ни слова. Да и что можно сказать? Это не стихи, но в чем-то больше стихов. Это — он сам. Вот сейчас, здесь, теперь, в этой нетопленной избе, из которой тоже выгоняют, в этом смятении, голоде, одиночестве он один только видит этот мир и эту радость, принимает ее в себя и делится ею с другими. Тот же ветерок, приподнимающий над землей и заполняющий глаза счастливыми слезами, который тогда в церкви, когда говорил епископ, прошелестел в комнате, такое же радостное волнение озарило на миг это утро и сейчас же угасло вместе с солнечным лучом, перебитым облаками, и тогда в комнате снова стало тихо и пусто...

...Они ушли после короткого препирательства, когда мама сказала, что непременно пойдет и хотя бы проводит его... Надо было спешить. Перекрестили и крепко поцеловали Веру, меня, Аксюшу, обнялись с тетушкой, которая заторопилась к себе и вышла вместе. Щелкнула щеколда входной двери. Облака за окном снова стали темнеть и сгущаться, опять закапал мелкий, совсем осенний дождь...

Прошел день, вечер... наступила ночь...

Они не вернулись.

Глава XI

Есть вещи, которых нельзя пережить. Вещи, о которых нельзя рассказывать словами. Бывает горе, которое нельзя выплакать в слезах, истощить в проклятиях; есть такие кровавые пятна воспоминаний, которых не смывает никакая другая кровь, никакие расстояния, никакое протяжение времени...

Прошел следующий день... еще один...

Вечером кто-то постучал. Уже в темноте вошел незнакомый человек. Мужчина...

— Ваша мама прислала записку. Меня арестовали с ними вместе... Правда, выпустили еще вчера, ввечеру... проще говоря, откупился... Что с ними дальше — не знаю...

На маленьком клочке бумаги по-французски карандашом написано:

«Nous sommes arrêté. Papa et moi en Z. Ne tachez pas de nous voir et ne venez pas (ne venez два раза подчеркнуто). Nous vous bénissons et embrassons. Gardez bien le petit. М.»*

Что это все значит? И как это надо понять?

...Темная холодная изба. Дров нет. Нет и огня. А у меня жар. Бессонные ночи... Полубред... Мама склоняется надо мной... Белая, светлая... ласковая. Из-за своей перегородки выходит отец, приближается, кладет ладонь на мой горячий лоб. Идут часы... Проходят еще сутки, другие. Мне то становится лучше, то снова я куда-то проваливаюсь...

— Вера! Ты помнишь... В Новинках... мы играли в саду. Ты рвала и бросала маленькие бумажки, убежала и пряталась, а я искал. Я тогда еще совсем маленький был... не всегда умел тебя найти по этим бумажкам, да? И плакал, когда ты убежала, возле оранжереи, помнишь?..

...Ну вот... а теперь мама нам прислала эту бумажку, чтобы мы ее нашли... ты не плачь, ты ведь тоже маленькая?... Мы не будем плакать... мы пойдем искать с тобой вместе, будем идти долго, долго... найдем и опять будем вместе... Почему ты все отвертываешься... Что ты прячешь от меня глаза? Ты гадкая... Уходи от меня, уходи совсем, я хочу, чтобы пришла мама, оставь меня... уходи...

«Взжи... взжи... взжи... взжи...» — пронзительно визжит колодезное колесико.

— ...И потом была эта церковь... ты помнишь?... Под землей? Да? И еще там лежал венлок... на ленте «Батальон — герою Коке»... Что там? Стучат... Отопри

* Нас с отцом арестовали в З. Не пытайтесь встретиться с нами и не приходите. Мы вас благословляем и целуем. Берегите маленького. М. (Франц.)

скорее. Это, наверное, мама? Наконец-то. А папа? Почему же она одна?.. Ах, это Мадемуазель...

Опять слезы, слезы везде, ими забрызганы стекла окон, подушки, постели, лица...

Мадемуазель после первых расспросов объясняет причину своей задержки. В Боровском всех хозяев и многочисленных гостей согнали в одну небольшую комнату и держали там вместе мужчин и женщин две недели, не позволяя выходить никуда, пока продолжались обыски и начальная стадия разграбления имения. Потом стали опрашивать, немногих отпускали, других отправляли в тюрьму. Ей удалось выскользнуть, притворилась не то прислугой, не то вовсе посторонней, кому-то сунула небольшую взятку и вот... приехала.

Теперь я целые дни остаюсь под присмотром Аксюши: Вера с Мадемуазель неутомимо ходят. В Завидове им говорят, что арестованных там больше нет — перевели в Клин. В Клину — что отправили в Тверь.

Вера страшна. Она не может плакать, не может спать, не может молиться. Поседевшие виски, большие, блестящие, воспаленные от бессонницы глаза, которые не мигая день и ночь смотрят в одну точку. Черты лица стали суше и заострились. Пальцы судорожно переплетены, сцеплены на побелевших суставах. Она то ходит по комнате, садится, снова ходит, опять садится, дни и ночи, ночи и дни. Все одно и то же.

В случайно раскрытой книге, нет, она не может даже вспомнить, что это было: Евангелие, Часослов, Псалтирь, взялась за нее так же, как берется за все, что попадает на глаза: поднять и переложить, неизвестно зачем, глаза сами увидели: «Руки их скоры на пролитие крови»... глаза видели, но было страшно прочесть, еще страшнее поверить...

Доходили успокоительные слухи: кто-то сказал, услышал, видел... шли... расспрашивали... находили, все оказывалось не так.

Наконец Вера вместе с Мадемуазель идет к председателю тройки, добивается, чтобы он ее принял. Она увидит эти пустые глаза, спросит у него. Даже самое страшное, кажется, лучше этой неизвестности. А власть сейчас — это он, власть на местах, так теперь называют... «ne venez pas» и два раза подчеркнуто в записке, ну да теперь все равно...

В это время, даже еще раньше, уже тогда, когда она получила записку, ни отца, ни матери уже не было на свете. Заровненная братская могила на какой-то лесной опушке приняла их простреленные тела. Вместе с двумя или тремя десятками таких же случайных... для тех... старичок, которого все знали (он ходил с тарелочкой в храме), офицер из крестьян, мелкий лавочник со своей сестрой... Да разве им не все равно кого?! Не одних — так других.

Мадемуазель не решается переступить этот порог. Остается ждать Веру за углом на улице. Вера входит одна, задает свой единственный вопрос. Слышит спокойное и позирующее этим спокойствием, этим ощущением власти: «Кто?.. А, да... расстреляны... (голос доносится откуда-то издалека... Только бы не упасть) ...по приговору... им было объявлено... они сами расписались на этом приговоре...»

Она больше не видит его... Не плачет. Глаза ее сухи. Поворачивается, идет к выходу. Он останавливает вопросом: «А вы кто такая?» Хватает сил ответить: «Родные, которые их разыскивают...» Выходит. Спускается по лестнице. Как будто уже не она. Как будто она, настоящая, стоит там, где-то у края земляного откоса, с ними рядом, а здесь только так...

Мадемуазель что-то спрашивает у нее. Она идет прямо, с остановившимися глазами, не туда — куда-то через дорогу, на какой-то забор. Та берет ее за руку; она позволяет себя вести, переступает ногами. Но куда идти — теперь все равно. Так возвращаются. А я лежу, и жар у меня спал, поправляюсь. Я спрашиваю — мне не отвечают. Аксюша все поняла уже раньше.

Еще один вечер. Ночь. Утро. Кажется, так это раньше называлось. Утро? Это когда светлеют окна, когда начинается новый день. Утро? Как странно: почему именно утро? И я говорил и никогда не замечал, что все слова удивительно нелепы, обидно лживы... Неужели еще не придумали других, когда все стало другое... Эти слова совсем не те: мертвые, сухие, ненужные. Точно прошлогодние листья, да нет, еще ненужней, еще нелепее, даже ушам больно от них; во всех какой-то обман, что-то оскорбительное... издевательское...

И снова стучат. Входят двое или трое. А за ними наш деревенский староста. Сестре: «Вы — Толстая?» — «Я». — «По предписанию комитета вам предоставляется три часа... покинуть деревню... с конфискацией всего имущества... Носильное платье — только что на вас, продукты на три дня можете взять...»

— Хорошо. Только у меня большой ребенок...

— Староста найдет вам лошадь.

Один уже откладывает в сторону папино зимнее пальто с бобровым воротником — оно ему нравится. Меня поднимают с постели. Аксюша одевает. Мадемуазель пытается что-то собрать. Не проходит и десяти минут — у крыльца снова появляется староста с рыжей лошадкой. Крестьяне напуганы, сидят по избам. Им не приходит в голову смысл происходящего, пророческий смысл для большинства из них (деревня богатая, мужички хозяйственные).

Мадемуазель все хлопочет: что-то выносит, укладывает, то открыто, то потихоньку; иногда у нее что-то отнимают и несут обратно. Вера стоит под дождем возле подводы и ни во что не вмешивается. Аксюша совсем растеряна: хватает какую-то ерунду — помазок, которым подмазывали сковороду, сломанную вилку, тряпку, зачем-то сует все это в валенок. Ей говорят: «Валенки оставьте. Сейчас не зима!» Она машет рукой и выходит на улицу.

Я одет. Меня немного пошатывает от слабости. В последний раз прохожу по этому «дому», вернее, углам этой избы. Вижу: у папы — фанерную дощечку, на которой он писал всегда, лежа в постели, на гвозде — его полотенце, на другом — галстук, на ночном столике — свеча в подсвечнике, загашенная его рукой — в колпачке металлическом. Недалеко от моей постели, на стене, висит «потребилетка», что подарили на елку в прошлом году, висит то, что от нее осталось: пустые полки. На одной из этих полок — только два больших куска колотого сахару. Секунду поколебавшись, кладу их в карман, надо бы и еще чем-то помочь, что-то захватить, но не знаю что — голова кружится...

Кто-то поднимает меня над землей и сажает на желтую мокрую солому открытого дождю экипажа — деревенской брички с полукруглым дном и без козел. Тут уже лежит какой-то небольшой чемодан и два узла. В последнюю минуту из дома выскакивает рыжебородый деревенский староста. Он всей душой сочувствует, но сам же и боится чем-то проявить это сочувствие, а тут случайно заглянул в печь, отодвинув заслонку, и не выдержал. Коротенький зипун его невероятно и уродливо оттопырен на груди и боку. Он забегает с другой стороны повозки, старается, чтобы не увидели, достает две горячие ковриги с недопеченным хлебом. Про них все забыли. Староста сует их у меня в ноги, под солому: «Ведь чуть было не забыли, а как пригодится-то!» Да, это только вчера заезжал брат Аксиньи Герасим и привез немного муки. Аксюша с вечера поставила тесто, а на рассвете протопила печь и поставила эти хлебы...

Поскрипывает что-то подо мной. Лошадь, оказывается, уже тронулась... Сыплется дождь... Недопеченные хлебы со сбитой на сторону коркой мокнули у меня в ноги. Все плывет и покачивается. Впереди сереет знакомая большая сосна. А сзади последний раз доносится: «взжи, взжи, взжи» — кто-то уже набирает из колодца воду. Они пока еще живут как жили: все вместе садятся за стол обедать, никто их не гонит, и хлеб у них допекается до конца, и утро — утро, а день — день, и все слова значат то, что должны значить, то, что они значили и для меня еще так недавно, а сейчас все они без смысла. Только вот этот звук еще имеет какой-то смысл: злобный, издевательский, как сама жизнь:

Взжи.. взжи.. взжи.

Публикация Н. С. ТОЛСТОГО.

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДИНЕ

1

Копыта над корчью змеиной.
Под тонкою тогой — плеча,
покрытые свежей патиной,
родителя и палача.
Мы сироты власти Петровой,
что ласковой кажется нам.

Под стенами крепости новой
навстречу торосам и льдам
он терпит едва на престоле
одряблой кагал татарвы,
все цепче держа на приколе
летучее устье Невы.

2

У заветных божниц
дует ветер с границ
и морских, и степных, и таежных.
Разом холоден он
и горяч испокон,
родич свеч миротворно тревожных.

Чем беззвучнее наш
полуплач-полумарш,
заглушенный гудками с вокзала
и последним прости,
тем обильней цвести
на погостах черемуха стала.

Византийский орел
домовину обрел
в средостенье чухонской столицы.
От морозных борозд
до петропольских звезд
зелено оперенье царицы.

У покоев уют
капитанских кают
отнимает хлыстовская дуля.
И симбирский шакал.
И уральский подвал.
И свинцовая легкая пуля.

3

Сердце — шелк да шелк.
Борода у щек
на морозе сохнет.
Матросни штычок
прободал бочок.
Гражданин не охнет.

согревает грудь,
словно стяг, пороша.

Посвежее весть:
на Шпалерной есть
не бордель — застенок.
Если с пьяных глаз
разменяют нас —
значит, за бесценок.

И припомнив вдруг,
как кормил из рук
соловецких чаек,
разожмешь ладонь...
Над отчизной вонь
боев чрезвычайек.

Потускнела пыль
вдруг галактик иль
не по силам ноша?
Провожая в путь,

Пятерней чекист
припечатал лист:
смерть надежней срока,
СМЕРТЬ СМЕТЛИВЕЙ НАС
и светлее глаз
Александра Блока.

1979, 1991.

ЮРИЙ КРАСАВИН

*

ВАЛЕНКИ

Послевоенная повесть

1

Игнат Архапов умер своей смертью в печи, то есть в обыкновенной русской печи, в которой варят и парят, сушат и жарят, которая так славно обогревает в холода и в любую пору года лечит от ломоты в костях, от простуды и старости, и она же хранит жилой дух деревенского жилья, как хранит человеческое тело свою нетленную душу. Конечно, печь не лучшее место для такого исключительного события, как смерть человека, но так уж получилось, тут не утаишь.

Старик Архапов жил один-одинешенек, оборываемый не болезнью, а общей слабостью; вставши поутру, он кое-как протапливал печь, чтобы сварить картошки и поддержать живое тепло в избе, а вечером постилал на теплом поду старое ватное одеяло и заползал на него, укладываясь на ночь. Случалось, что от уголька из жаратка одеяло начинало тлеть, но Игнат, учуяв запах горячей ваты, поплюет на пальцы и притушит этот малый пожар.

Спал Игнат не раздеваясь, головой на шесток, в изголовье клал пару старых валенок один на другой и доволен был таким способом спанья настолько, что даже хвастал им в деревне: поясница, мол, за ночь хорошо прогревается, клопы не донимают, воздух сухой — дышится легко; а удобно-то как: курить захотел — кисет на шестке, уголек в золе жаратка; поесть — пожалуйста, тебе тут же чугунок с картошкой или пареной свеклой. Так он и умер, лежа на печном поду, глядя незакрывшимися глазами в дымоход, сквозь который, как говорили, отлетела его душа к небу; и пролежал мертвецом, должно быть, несколько дней в выставшей избе, в заледенелой печи и сам заледенелый: морозы как раз стояли лютые.

Первой узнала, что старик Архапов умер, Дарья Гурова. Кабы не она, небось не скоро спохватились бы: Игната не то чтобы недолюбливали в деревне, а будто побаивались — никто к нему домой не ходил. Да и он всех сторонился, жил наособицу. Но Дарье ли бояться или сторониться кого-то! У нее забота не своя и даже не колхозная — государственная; так сама она говорила. А государственная-то забота и на тот свет пошлет, не то что в дом к Архапову: сани-розвальни надо чинить, а то ведь тресту возить в город самая пора. Мужики в Пятинах — тот безногий, этот безрукий, а у подраставших ребят, вроде Феде Бачурина, ни умения, ни сноровки «Зашла я к нему да и говорю: Игнат, черт те дери, поимей совесть! бабы работают — один ты без дела сидишь! — рассказывала она. — А он в ответ ни гу-гу И в избе померзень. Глянула я: лежит в печи, головой на шесток — и жив не бывал»

Гроб вынесли из дому и установили на сани; Федя взял Серуху под уздцы и повел, не желая и боясь садиться рядом с мертвым Игнатом, а сзади шли бабы, оба Ивана — один безрукий, другой безногий, — ну и Костяха, Вовка Зюзин, Мишка. Никто из архаповской родни на похороны не явился, и плакать по покойнику оказалось некому. Но проводили его честь честью, на погосте спустили гроб в открытую Федей да Костяхой Крайним могилу и засыпали мерзлой землей.

Вернулись в свою деревню — нет, еще не конец похоронной канители; сели в опустелом Игнатовом доме за кутью (кто-то принес еще картофельник да крупеник), Иваны добыли откуда-то бутылку, заткнутую грубо выструганной деревянной пробкой. Вот к этому-то моменту угодил Степан Гаранин, бледный, без кровинки в лице но веселый, даже гармонию принес.

— Как почуял, что у вас тут выпивка будет, — балагурил он, — так я из больницы марш-марш сюда. Не дал им ничего вырезать, докторам-то... а то еще оттяпают что-нибудь не то, жена на порог не пустит.

— Степан, не к месту твои шутки, — укорили его бабы. — И гармонью зачем принес? Чай не праздник.

— Я мертвых, бабоньки, почитаю наравне с живыми. Они не хуже нас, мы не лучше их. Вы главное помните: ничего не кончается, все продолжается. Я помру — возле моей могилки завещаю вам даже поплясать и песни попеть, мне любо будет.

Пел он за кутьей на мотив «Раскинулось море широко» вот что:

Савраска завяз в середине сугроба,
 Две пары промерзлых лаптей
 Да угол рогожей покрытого гроба
 Торчат из убогих дровней.

Говорили на поминках о болезнях Игната: одни — что-де кашлял он, значит, чахотка свела его в могилу; другие — нет, мол, на поясницу жаловался, небось с почками что-то; третьи — так-то легко, дескать, умирают только от сердца.

— Шевелиться надо было! — возразил Степан Гаранин. — Пока человек шевелится — смерть его не возьмет. А перестал — тут она цап-царап. Шевелиться — вот что главное!

Федя на этих поминках сидел, до еды не дотрагиваясь, как в воду опущенный: слишком свежи были в памяти другие похороны и другие поминки — когда умерла мать. И чего они говорят про болезни? Будь у старика Архапова на столе каждый день крупеник да картофельник — небось не умер бы.

Страх, что и сам он умрет с голоду, не дотянув до весны, холодил сердце.

2

Стук в окно разбудил его, казалось, среди ночи. То есть темнота была именно ночная, глухая. Босой по ледяному полу подбежал, отозвался тоже стуком: так договорились — Вовка Зюзин будит, когда идет мимо к конюшне. Зюзе-то хорошо, мать всегда вовремя поднимет и горячим в дорогу покормит.

Федя вернулся к кровати, сел, поджимая заолодавшие ноги: начинался еще один день, которому он был не рад. Сейчас идти на мороз, запрягать Серуху... Да будь оно все проклято! Согласен не есть, не пить, лишь бы лежать и лежать в теплой-то постели.

Он встряхнул головой, как задремавшая лошадь, которую укусил слепень, и стал одеваться, то есть спал он одетый, в штанах и рубахе, теперь же поверх надел еще одни штаны и ватную фуфайку. Снял с печи валенки, обулся — сыроваты, не просохли после вчерашнего: в конюшне наступил на мокрое. Хотелось зажечь лампу, но последний коробок уже без спичек, пустой. Лезть в жараток да искать уголек — разве найдешь! Кабы топил-то хорошими дровами, а то хворост да палки: они перегорают в золу, углей не остается.

На ошупь достал из чугунка две картошины, очистил, нехотя пожевал, макая в кучку соли на столе. Также на ошупь взял ломток хлеба, спрятанный от Мырзи под перевернутым чугуном, подумал: может, побережь хлеб и взять кусок льняного жмыха? Он как сухарь, его надолго хватает, чуть не всю дорогу грызешь и грызешь. Но разве сравнишь его с хлебом! Недаром этот жмых зовут еще и так, то ли насмешливо, то ли презрительно: дуранда. «Ладно, завтра возьму кусок дуранды, а нынче побалую себя».

Уже у двери подпоясался туго веревкой и вышел на улицу. Скрипя промерзлыми половицами крылечка, запер наружную дверь на висячий замок.

Луна стояла довольно высоко, и была она в радужном ореоле — ну, денек будет нежаркий, сразу видать. Намерзнешься. Возле конюшни чья-то тень мелькнула — может, все уже запрягли и его ждут? Федя прибавил шаг, даже побежал, тем более что и морозец подгонял. Нет, возы, накладенные и увязанные накануне, по-прежнему стояли возле конюшни, и никого из возчиков возле не было.

Приоткрыв ворота, пролез в образовавшуюся щель, услышал знакомые голоса в темноте, храп лошадей, выводимых из стойл, стук копыт о порожки, увидел свет керосинового фонаря в руках у кого-то. Стойло Серухи — крайнее. Федя надел оброты на лошадиную голову — Серуха вздохнула покорно, дыхла на него теплом. Вот лошадка так уж лошадка! Она попусту шарахаться не станет. Она и голову угнет пониже, чтоб Феде удобней было, и потом, уже на улице, сама встанет в оглобли.

Выводили лошадей, запрягали, подгоняя запоздавшего Мишку:

— Не проснулся еще? Ждать не станем!

Четыре воза с льняной трестой отчалили от конюшни, выписывая на снегу плавную дугу. Отдохнувшие лошади побежали жодко, пофыркивали бодро. Возчики перекликались. Дорога тут ровная, накатанная — Федя зарылся в снопы, сберегая тепло. Если б не ветерок, жить можно было бы, но он, стервец, упорно добирался до тела. Пальцы ног уже не просто зябли, а прямо-таки деревенели; и руки в варежках тоже. Пришлось соскочить и бежать за возом, а тут как раз передние стали настегивать лошадей. Серуху понукать не надо, она не отставала; Федя бежал долго и устал настолько, что едва влез на воз. Зато согрелся, да и Серуха поглядывала на него весело то одним, то другим глазом. Временами ему казалось, что она жалеет его, Федю... Наверно, за то, что знает: сирота. Вот такая лошадь — как человек. Да что! Иной и человек не так понятлив.

Въехали в лес, стало безветренно. Деревья стояли безмолвно, словно прислушиваясь к тем звукам, что принес с собой пятинский обоз: скрип полозьев, фырканье лошадей, редкие возгласы возчиков. Зимой хоть у реки не стоять — переехали, и все. А при паромной переправе каждый норовит без очереди пролезть — скопятся тут и ергушовские, и баулинские, и тиуновские, и еще черт те какие — крик, ругань, каждый каждому в морду норовит захватить. Парня из Баулина ножом пырнули... и такое было.

Теперь вот очередь только у льнозавода — выстроились длинной вереницей, в стороне — костер, толпятся возле него человек восемь. Пятинские подошли погреться, а следом девки незнакомые — их попихивали, они отругивались. На одной из девок от искры задымился ватник, она заругалась, подруги затирали тлеющее место снегом. Смех смехом, однако очередь продвигалась медленно, лошади заиндевели, зябли. Федя спрятался за свой воз, добыл из-за пазухи хлеб, пожевал. Скоро, что ли, примут тресту? Греться у костра, опять затеяли возню, и вот тут Федя как-то не углядел — прожег валенок, прямо-таки насквозь прожег! Расстроенный отошел к Серухе. Теперь ветер задувал в самый носок, и снег туда же сыпался — вот еще забота! Федя напихал в валенок сена.

Слава богу, явилась контролерша, выдернула с трех сторон из каждого воза — сзади и с боков — по снопику, чтоб определить качество, через некоторое время указала, к какой скирде подъезжать.

Скирды из льняной тресты на территории завода огромные, перекидать на них воз — работенка не из легких, распределились так: Федя кидал с воза на подмости, Мишка стоял на подмостях и кидал Костяхе Крайнему, влезшему еще выше на лестницу, и уж Костяха — Вовке Зюзину, он на вершине скирды с каким-то мужиком.

Ну, перекидали, расселись по пустым саням, засвистели, закричали, погнались — к дому, к дому. Федя то и дело соскакивал, бежал за санями, выбиваясь из сил, но стоило сесть, как морозный ветер опять выдувал тепло. Опять соскакивал и бежал прихрамывая — клок сена торчал из носка.

Как же теперь? Зима только началась, а уж обувка худая...

Валенки Феде сваял прошлой зимой Степан Гаранин, он тогда только что пришел с фронта. Вернее, даже не с фронта, а из госпиталья. Минные осколки, которыми он был и перепахан, и заборонен, и засеян, время от времени этак «всходили» из него, как всходят посеянные зерна — острыми росточками из земли: то есть вдруг на теле Степана появлялся нарыв, к которому он прикладывал подорожник или лопух, а потом, через какое-то время, морщась и ругаясь от боли, прихватывал он обкуренными ногтями острое жало очередного осколка, вырывал.

Но так было потом, а вернувшись домой, сначала-то с месяц лежал в постели, потом встал и напился пьян. В пьяном состоянии бузил, кричал, принародно сорвал с себя рубаху и спустил штаны — и те, кто видел взборожденное страшными шрамами тело Гаранина Степана, содрогнулись от ужаса и жалости и простили ему бессовестное поведение: грудь его была испорота, перехлестнута багровыми шрамами, и живот, и спина, и ноги... Набузившись и накричавшись, он довольно долго плакал, потом добыл бережно хранимую женой гармонь и горланил на всю деревню:

Бывали дни веселые:
Я по три дня не ел.
Не то чтоб хлеба не было,
А просто не хотел.

Он и раньше любил почудить, потому и звали его чаще не по имени и тем более не по отчеству, а кличкой — Гараня. Как до войны, так и теперь. Кто в этом доме живет? Гараня. Чьи это ребятишки? Да Гаранины. А кто лучше всех валенки в Пятинах валяет? Гараня, кто же еще! Мужичок небравый, но с фронта принес три

ордена; и валяла отменный; и в праздник под его гармошку вся деревня пляшет. «Тонковаты, — вздыхала мать, шупая новенькие сапоги, сваянные Гараней, — боюсь, Федюшка, живо изнасишь». Живое, не живое, а уже к весне валеночки пообтрепались на сгибах, подошвы стали подозрительно мягкими, а теперь вот и дырка образовалась под большим пальцем левой ноги. Небошь был бы потолще, так не прожегся бы так скоро. Винить Гараню, что плохо сваял, или самого себя: зачем не берег? А ведь не берег, верно...

3

На другой день опять наклали и увязали воза с трестой. Затемно еще через лес, через реку, где летом ходит паром, опять в очередь к льнозаводу; грелись у костра, оттирали снегом отмороженные уши и щеки, толкались и пихались меж возов ради сутреву, кидали снопы на высоченную скирду. Совершенно заочневшие вернулись, распрягли лошадей — и по домам. Улицей шли — то один отделится, то другой. У Сентюриных-Крайних огонек в окнах, у Зюзиных дымок из трубы, у Курицыных (только у Мишки прозвище Задорный, а вся-то семья — Курицыны) на стеклах окон сполохи огня — печь топят; а бачуринский дом темный, будто мертвый. От вида его еще озяблее стало Феде.

Он долго отпирал заиндевелый замок непослушными от долгой стылости руками, кое-как отпер, и, пока ступал в сенях, шаги отдавались в душе опять-таки холодом — так пусто и мертво было в родимом доме. В избу вошел — нежилым пахло. Никто не топил печи, никто не зажег огня. Немо и темно. Только одинокий сверчок за печкой подал вдруг свой тонкий голосок, и так-то печально да сиро! Прямо за душу взял. Такой вдруг тоской обьяло Федю, хозяина этого жилья...

Некоторое время стоял он у порога, со страшной остротой сознавая свое полное и безысходное одиночество, — будто нет соседских домов, нет Пятин и деревень в отдалении или городов где-то за ними, а один он на белом свете, криком кричи — ни до кого не докричишься, и весь этот огромный мир чужой ему, чужой.

Он повалился на кровать обутый, в оснеженных валенках, заголосил, завыл, закричал:

— Ма-а-ама!..

Не было исхода, не было утоления отчаянию и тоске, никто не мог его утешить. Открылась пропасть вокруг, будто земля разверзлась. Невероятно, но так: как-то глупо и очень по-детски он всякий вечер надеялся — на что? — а что дома ждут его, что выйдет на стук двери из-за печи мать, скажет: а-а, это ты, Федюшка! садись за стол похлебай горячих щей с морозу-то, назаябся ведь... То есть до самой последней минуты, до того мгновения как переступить порог, он верил в такое чудо.

— Да что же это... как же это...

Темная изба молчала глухо, слушала.

Не могу я так, один, не могу, — выл, катался, кусал подушку. — Помогите же кто-нибудь.

Из подпола вылезла кошка, хрипло мякнула.

И спохватился Федя, устыдился невольного свидетеля — Мырзи. Тотчас другой, утешающий, урезонивающий, голос прорезался в нем: «Да что же это я... Нельзя так».

Некоторое время лежал обессиленно, изредка всхлипывая, будто уснул. Но не уснул, глаза смотрели. «Нельзя мне так. Кто поможет? Никто, кроме как сам себе». Мысли выстроились, как воза у льнозавода: «Куда мне? Никому я не нужен на всем белом свете. В детдом заберут? Как же, ждут меня там! Скажут, взрослый уже, пятнадцать исполнилось. В ФЗУ колхоз не отпустит. Да и не хочу я туда! Надо самому, самому...»

Встал с постели, крепко вытер лицо занавеской, попавшейся под руку, и отправился к соседям за угольками: спичек-то нет, без них печь не растопишь.

4

Нищих стало много: за день проходило их по деревне не меньше десятка. Если не запрешься, вдруг стукнет на крыльце, чья-то рука в сенях, слышно, нащупывает дужку избяной двери, и шагнет через порог фигура в лохмотьях, с сумкой через плечо, озябая, кашляющая, хрипящая: «По-да-а-айте милостыньку!» Мучаясь от собственной лжи, он довольно неприветливо буркал:

— Нету ничего.

— Пода-а-айте, Христа ради, — продолжала скулить какая-нибудь bestолковая нищенка, желавшая продлить свое пребывание в теплой избе.

— Да говорю же: нету ничего! — уже грубо повторял Федя, сам себя ненавидя в эту минуту, и отворачивался.

Иная скажет смиренно: «Спаси тебя Господь» — и уйдет. А иная, уходя, прошелестит злобно: «Господь накажет». Но чаще нищенка шмыгала носом, молчала некоторое время и удалялась без слов — это было еще тягостнее. Федя смотрел в окно: куда она теперь? В соседний дом к Игнату Архапову постучалась — не отозвался. Холодно на улице. Кто ее покормит? Где ей погреться? И жалко было... а только что себя еще жалче.

Среди нищих были и знакомые, приходившие во все праздники да и в будни тоже: Анютка-дурочка, толковавшая о своем женихе, который вот-вот на ней женится («Офице-ер!»); молчаливая, строгая старуха Павловна, сухая, как палка; двое, муж и жена, из деревни Бельская, собиравшие милостыню порознь.

Запереться бы от всех этих нищих, и не пускать никого, и не откликаться, когда стучат, но от соседей принесли и повесили на угол его дома доску: ты, Федюшка, такой же хозяин, как все, — ну и быть тебе в свою очередь десятским. Это значит: окажись в Пятинах кто-то нуждающийся в ночлеге — будь добр, устрой его к кому-нибудь ночевать. А кто мог оказаться таким образом в Пятинах под вечер? Да те же нищие. Постучат в дверь или окно: «Батюшко, говорят, ты десятской...» Ночлег обязан по очереди предоставить каждый дом, и эту очередь соблюдал теперь Федя Бачурин.

Не все-то к другим устраивать поночевщиков — подошла и его, Фебина, очередь кого-то принять. «Нищенку не пущу, — решил он, — а то засмеют. Какого-нибудь убогого старичка — другое дело».

Очень кстати как раз в те дни, когда хоронили Игната Архапова, попросился к нему на ночлег Вася Бельский, муж своей жены-нищенки.

Вася Бельский — это его за глаза так звали, а сам себя он — только Василием Семеньчем и от других требовал того же. Это был толстенький, коротенький мужичок, почти уже старик, поскольку реденькая щетина-борода была с сединой. В бачуринском доме он сел на лавку и сидел смиренно, вздыхал; что-то шептал себе под нос, позевывал и почесывался.

Федя топил маленькую печку, собственноручно им сложенную по осени, и тоже помалкивал: нищий не нравился ему, но надо было терпеть.

— Щец нет ли? — смиренно спросил Василий Семеньч.

Ишь, учуял, что щи есть.

Федя не спеша достал из печи чугунок. Какие щи! Так... квашеная капуста да вода. Однако хозяин с достоинством поставил чугунок на стол, налил нищему отдельную миску, положил рядом две картошины, себе — одну. Больше не было.

— Хлебушка, — вздохнул Василий Семеньч, будто напоминая.

— Нету, — кратко и сурово сказал Федя.

Хлеба действительно не было у него. Муки оставалось еще на одну квашню, то есть не на полную, конечно, на пару ковриг, не больше, и он намеренно не спешил печь новый хлеб. Последняя квашня — это как выйти на край обрыва, дальше — пропасть.

Нищий хитренько улыбнулся, не спеша полез в свою сумку, добыл два довольно больших куска, один положил перед Федей, сказал вдруг окрепшим голосом:

— На вот милостыньку тебе... — И добавил: — Бедно живешь.

— А ты богато? — обиделся Федя.

— Небогато... но лучше тебя. Ешь, может, еще кусок дам.

Федя в сердцах отодвинул от себя хлеб, но подумав, взял-таки его и стал есть; с утра тешил живот пареной свеклой да вот этими щами. И то сказать: сколько он передавал нищим! Еще надо разобраться, чей это кусок.

— Я знаю, ты совсем один... — вздыхал гость, кротко поглядывая на хозяина. — Плохо одному. Мой тебе совет: походи по деревням, что-нибудь подадут. Мир не без добрых людей.

— Еще чего! — Федя презрительно посмотрел на нищего.

— Тогда помрешь с голоду. До лета далеко.

Выхлебали щи. Василий Семеньч откинулся спиной к стене.

— Вот ты небось думаешь про меня: нищий, мол... бродяга... Ну и что? Пусть так. Зато куда хочу — туда иду. На мир смотрю. Интересно! Другие и хозяева, а бьются, как рыбка об лед. Возле дома, да возле скотины, да на поле... Зачем биться? Разбогатеть хотят. Все жадность человеческая... А много ли человеку надо? Одинако все умрем, и нищие и богатые.

Федя глянул на него и промолчал.

— А я иду себе от деревни к деревне. — продолжал гость. — иной раз песню пою. Конечно, зимой плохо: и холодно и ночи длинные, темные. Зато летом-то как хорошо! Ветерок травку колышет. птички поют... Ночевать можно и под стогом и под елкой. Бог даст день, даст и пищу. Я как птица...

И долго эта «птица» так вот напевала, не заботясь, слушает ли ее Федя. Даже потом, когда забрался на печь, Василий Семеныч и оттуда невнятно бормотал, как в какой-то деревне подали ему теплых ватрух, а в другой — пирог с грибами; а то однажды посадили за свадебный стол, и он съел целую тарелку студню. И заключил, уже засыпая:

— У бога всего много... Он даст милосердия людям, а люди дадут мне, Василию Семенычу, и пристанище и хлеба кусок. Вот так-то, парень. Я не глупее иных прочих, не думай.

И смутил он, признаться, Федину душу, смутил. Хозяин дома лежал и думал: оказывается, можно жить, почти ни о чем не заботясь — ни о доме, ни о еде. И никто не станет посылать мерзнуть с трестой к льнозаводу. Ради чего он работает ежедневно и круглый год? Пашет, боронит, таскает мешки.. Ради трудней? Да разве Вася Бельский по куску насобирает меньше? Надо только. переступить какую-то черту, запретную между. Сказать себе: это не стыдно, не плохо — напротив, хорошо.

Одно только внушало сомнение: всю-то ночь умник нищий простуженно кашлял и стонал — знать, не от хорошей жизни.

5

Когда последняя мука ушла в тесто, а тесто стало последней ковригой хлеба, а коврига та съедена, опустевший архаповский дом словно бы придвинулся к бачуринскому, придвинулся в зловещем молчании. Федя постоянно ощущал это мертвящее соседство. В подполье оставалось несколько ведер картошки, но ведь это на семена! В кадке на доньшке — немного мерзлой капусты (приходилось вырубать топором) на постные щи; еще несколько пластиков дуранды, сушеная свекла в мешочке на печи — вот и все съестные запасы, надолго ли хватит?

«Шевелиться надо!» — звучал Гаранин совет

Федя не очень ясно представлял себе, что если уйти куда-то подальше от своей деревни, где его никто не знает, то можно просто попросить поесть, как это делает Василий Семеныч из Бельской: постучит в окно палочкой или просто зайдет в избу... А избу надо выбрать побогаче и чтоб день был праздничный, когда в таких домах пекут пироги и ватрухи. Совестно, конечно, но ведь за минуту-другую стыда можно получить ломоть хлеба... или даже сдобное что-то. Неужели не повезет? Повезет!

Он встал пораньше, еще затемно, потуже подпоясался поверх ватной фуфайки веревкой и по звонкой, промерзлой дороге отправился в сторону, обратную той, куда вышла замуж сестра Лидия.

Когда забрезжил рассвет, прошел Тиуново. Над некоторыми крышами стояли столбы дыма, но деревня казалась безлюдной. Женщина торопливо пробежала по тропочке с сугроба на сугроб, дуя в руки. Нет, догадался путник, это она не руки греет, а несет уголек от соседей свою печь растопить: тоже спичек нет, как и у него, Феде.

Прошел еще одну деревню — это Матреновка. Тут он тоже ничего не предпринимал, тут его могли знать.

Уже совсем рассвело, а он все шагал и шагал, отворачивал лицо от легкого, но колючего ветра. Когда взошло солнце, снега заблестели, будто отглаженные рубаночком. Федя свернул с дороги — ого! наст был так крепок, что выдержит небось не только человека, но и лошадь с санями; значит, пора позаботиться о хворосте, иначе на будущий год останешься без дров.

В животе было пусто, то есть совершенно пусто, просто ничего, ни крошки. Даже голова кружилась от этой пустоты. И отчаянно мерзла нога в прожженном валенке.

В деревню Верхняя Луда вошел — уже оглядывался: что делать? Не зайти ли в этот дом? Или в этот? Что-то страшно. Сам не знал, почему воочию ясно стало, что зря он, пожалуй, затеял этот поход. Вон из дома в дом нищенки ходят. Каково тут просить милостыню! Прогонят. Скажут: много вас таких, побирушек!

Дальше, дальше..

Еще одно селение, занесенное снегом. Женщина у колодца черпала воду. Федя спросил у нее совсем не то, что хотел спросить.

— Как деревня ваша называется?

— Баулино, — отвечала та.

Вот оно какое. Баулино. Никогда тут не был, только слышал о нем.

— Щеку-то потри, чудной! Щека-то побелела.

Федя на ходу потрогал задеревеневшую щеку, стал растирать снегом. Так, растирая, вышел из Баулина навстречу солнцу. Следы санных полозьев на дороге зеркально отсвечивали. Сколько же можно так шагать? Пора решиться. Наконец показалась впереди деревня, где уж точно его никто не мог знать. Он немного умерил шаг, проходя мимо коровника и телятника; хотел было туда зайти погреться, но не решился. Ужасно огорчило его, что и в этой деревне по одному и по другому посаду шастали порознь две нищенки, одна старушка сухонькая с корзиной грибной, беспрестанно крестившаяся; другая тоже старушка, но помоложе, одетая очень бедно, в рванье, и с холщовой сумкой на боку. Еще не хватало, чтоб встретился Вася Бельский, он сразу сообразит что и почему — вот будет стыдоба-то! Федя возненавидел нищенок. Да и самого себя будто увидел со стороны; нет, не дело затеял.

Дойдя до справного дома, возле которого было напилено, но не расколото много дров, он решился: обмел на крыльчке голиком валенки, вошел, плотно притворил за собой дверь, встал у порога:

— Здравствуйте.

Целая семья сидела за столом: мужик в овчинной безрукавке нараспашку, его жена-толстуха с годовалым ребенком на руках и девчонка его, Фединых, лет. Чуть позднее вышла из кухонного чулана старуха, сгорбленная, при фартуке.

— Здорово, — отозвался мужик. — Что скажешь?

В доме очень знакомо пахло кислыми шами, но гораздо более радовал аромат свежего хлеба. Федя сглотнул слюну и вместо слов, застрявших в гортани: «Подайте ради Христа», — выговорил:

— Я это... может, вам нужны колодки для валенок? Если валяете, конечно... У меня есть хорошие колодки, завтра могу принести.

— Нет, не нужны, — крепко, присадисто сказал хозяин.

— А может... например, тубаретку или скамеечку для... корову доить.

— Для корову доить, — передразнили его, — у нас есть.

Девчонка фыркнула в ложку со шами, за что чуть не получила от матери такой же ложки по лбу. И тут Феде пришло на ум спасительное:

— У вас там дрова напилены, давайте я их поколю... а вы меня потом покормите.

Он еле выговорил последние слова — никак не хотели сходить с языка. Мужик переглянулся со своей женой, потом выглянул в окно на гору круглых чурбанов, сказал:

— А что ж, вот переколешь все, отчего и не покормить. Давай, поглядим, какой ты работник.

Федя шмыгнул носом.

— У меня топора нет.

— А как же ты будешь колоть? Кулаком, что ли? — спросил мужик грозно.

Девчонка опять фыркнула.

— Вон под голбцем в углу колун стоит, возьми.

— Украдет еще, Егор, — сказала старуха, похожая на хозяина и бровями и кривым носом.

Федя глянул на нее, ничего не сказал, взял колун и вышел.

Из теплой-то избы показалось, что мороз усилился, но солнце светило по-прежнему ярко, с ним повеселее.

Ветерок веял слабенько, но уж как опанет, так леденит лицо. Большой палец на левой ноге, мерзший всю дорогу, зараза, не отогрелся в избе. Да и руки, оказывается, задеревенели — варежки-то дырявы тоже! — плохо держали рукоятку колуна. Но зато хозяева обещали покормить, а хлеб-то свежий, может быть, даже только сегодня испеченный. Он окинул взглядом гору чурбанов — в основном сосновые и еловые, немного осины и березы. Начал с сосны, выбирая пока те, что поровнее; ставил на попа, цепко приглядываясь к расположению сучков по бокам и по распилу, поправлял, потом замахивался изо всех сил, чтоб с первого же удара обозначить по торцу трещину. Работа была ему знакома.

Из окошка выглядывали лица весело-сурового Егора и девчонки с глазами то ли испуганными, то ли удивленными. Егор вскоре вышел, закурил на крыльце и, не говоря ни слова, ушагал, сильно припадая на одну ногу.

Федя колол и колол, все более сердясь. Он всегда сердился во время тяжелой работы, и делал это нарочно: злость прибавляла силы. Уже взопрел: шапка сбилась на затылок, пар валил от него. Чувствуя противную, тянущую пустоту в животе и слабость в ногах, сел на один из чурбанов, зачерпнул снега, сунул в рот, глядя слезящимися глазами вдоль деревни.

На крыльце самого большого дома толпились бабы, толсто одетые; через некоторое время они куда-то пошли толпой. Возле колодца двое парнишек черпали

воду — слышно было, как ведро скребет по обледенелому срубам, — оба висли на крюке ворот, поднимались на цыпочки, когда крюк оказывался в верхнем положении.

Федя оглянулся на окно — лицо девчонки тотчас исчезло — и снова взялся за колун.

Беда была в том, что с чурбанами потолще да посучковатей у него не хватало сил расправиться. Колун застревал, и Федя натужно, с хрипом вытягивал его. А отступать — как это он отступит? Нужно было вытесать пару клиньев, значит, топор понадобится. Не колунуном же тесать!

Хозяйка сошла с крыльца, крикнула: «Передохни, чай!»

Он попросил у нее топор, она вынесла, потом с ведрами пошла по воду. Вернулась и опять что-то сказала ему, он не расслышал, забивая клин в трещину жилистого толстого комля.

И вот как тут случилось? Топор после удара соскользнул с промерзлого чурбана и угодил в ногу; до живого тела не достал, но — разрубил носок правого валенка. Федя расстроено пошевелил уцелевшими пальцами, нахмурился и продолжал работать.

Хозяин подъехал на санях, полулежа на охапке клевера.

— Эй, работник! — сказал он, привязывая лошадь к изгороди. — Хватит! Иди-ка в избу, поешь: уже пора, заслужил.

Федя, не отвечая, хрясь по чурбану.

— Пошли!

— Мы... как условились, — едва выговорил, вытаскивая зажатый колун, Федя. — Мы условились... переколю все, тогда.

— Потом доколешь, — сказал мужик, уже сердясь. — Иди!

— Не.

Тогда он подошел, крепко взял его за плечо, будто щенка за шкуру, и повел в дом.

— Не... я ж сказал: когда переколю, — сопротивлялся Федя.

Мужик привел его в избу, сам снял с него шапку, бросил на голбец.

— Раздевайся, садись.

Федя покорился.

Ему вынесли шей в глиняной плошке, обкусанную деревянную ложку и ломоть хлеба. Он ел, мучаясь от смущения, глянул на мужика, на старуху, которая собрала на стол. Девчонки, слава богу, не было видно.

— Откуда ты? — спросил Егор строго, а сам что-то искал на полатях.

— Не скажу, — отозвался Федя.

— Ясно... Отец-мать есть?

— Отца на войне убили, мать умерла.

— Та-ак... Веселые дела!

— Какие есть, — буркнул Федя.

— Так что побираешься, значит?

— Я не побираюсь! — Федя отложил ломоть хлеба в сторону.

Вот тут из чулана вышла девчонка.

— Пап, ну чего ты пристал!

Никакая она не девчонка — девушка уже. Ростом как Лида. То есть вполне может выйти замуж за какого-нибудь дурака вроде Завьялова.

Старуха тоже вступилась:

— Дай ему поесть-то. Чай работник! — Она засмеялась отчего-то.

— Ешь, ешь, — сказал Егор, словно извиняясь, и стал закуривать. — Ну и как ты живешь? Где ночуешь?

— Как это где? У меня дом свой

— С кем же ты живешь?

— Один.

— Веселые дела.

Федя выхлебал щи, облизал ложку, встал.

— Спасибо... Сейчас доколю.

— Да где там! — остановил его хозяин. — Тут дров на неделю. Коли будет желание, завтра приходи или послезавтра... А только так думаю, что паренек ты дальний, не придешь.

Федя явился через день, и в этот раз дрова они кололи вдвоем: Егор, хромая, подкатывал себе самые корявые чурбаны, а Феде доставались поровнее, потоньше. Девчонка была с ними: складывала возле двора поленницу. При ней Федя старался вдвое.

К обеду они работу не закончили, то есть осталось еще несколько кряжистых чурбанов, но хозяин сказал, что справится сам. Работничка опять накормили и на

этот раз дали краюху хлеба — с собой. На околице его догнала девчонка: «Эй, погоди!» Подбежала, запыхавшись, сунула в руки теплый сверток — это оказались две доли ватрухи, положенные одна на другую, — и что было силы пустилась назад.

Он уже знал: девчонку зовут Тамарой, фамилия — Казаринова. А деревню зовут — Лари. Больше в ту зиму Федя в Ларях не появлялся. Но и по миру тоже не ходил.

6

В горнице висел на стене узел с шерстью — это то, что настриг Федя с двух овец, тех самых, что увез Завьялов вместе с курами. Но узел с шерстью он, видно, не углядел в полутьме горницы под потолком. Там килограмма два, даже чуть побольше — хватит на две пары валенок. Да ведь вся эта шерсть — лицевка, такая идет на внешний слой, то есть на лицо. А кто ж из одной лицевки валяет? Нужна вторина, то есть та, что похуже, подешевле и помягче, — ее внутрь. Вот только где этой вторины взять? Говорят, бывает, торгуют с рук в Калязине... Но ведь валяльный сезон кончается — весна скоро, — вряд ли привезут теперь на базар шерсть.

Федя еще раз пересчитал деньги. Они хранились в соломенном постельнике, на котором он спал, — тугим свертком, узлы платка развяжешь только зубами. На эти деньги, он знал, можно купить пиджак, но не хватит на костюм. Или ватную фуфайку, но не хватит на зимнее пальто. Можно купить килограммов пять хорошей шерсти, настриженной с овец, а вот вторины... сколько она стоит, он не знал. Хорошо примеряться к деньгам, как и что, но страшно тратить их: что потом? Остаться совсем без денег — последнее дело.

Взвесив на руке узел, Федя обдумывал так и этак: самому не свалить, кого-то чужого просить — кто ж будет задаром-то! Конечно, если отдать всю шерсть, например, Гаране — половина пойдет на валенки, а вторую он возьмет в уплату. Но этак-то больно просто! Нельзя ли как-нибудь иначе?.. Вот если б ухитриться свалить собственноручно — одну пару себе, другую можно продать. Таким образом, узел с шерстью, в общем-то бесполезный, во-первых, превратится в валенки, а во-вторых, денег прибавилось бы! Тогда можно решиться на покупку керосина или калош.

Но денежки нужны не только на керосин да калоши: пустым стоял ларь, в котором некогда, в лучшие-то годы, было насыпано сорное зерно, или горох, или льняная головка — для кур. Мешок еще хранил в себе мучную пыль, но был уже старательно вытрясен и теперь сложенный лежал на лавке. Купить бы хоть пуд жита, мешок картошки, меру хотя бы сорного зерна!

Да ведь и штаны нужны новые! Сколько же можно в этих заплатанных! Костяха Крайний на масленице вырядился в темно-синие, суконные — купил в Калязине. Как сделал их с напуском на новые валенки, сразу выровнялся во взрослого парня — того и гляди милаху заведет.

Шагая на конюшню или проезжая на Серухе, Федя все чаще поглядывал в сторону Гараниной избы. В огороде Степана пролегла по снегу тропочка в вишенник, откуда по ночам насыло дымком: нет, не самогонку гнал хозяин в землянке, называемой стирухой, он валял... именно по ночам, тайно, как вор.

Его предупреждала Дарья Гурова: «Имей в виду: застучает милиция — я тебя покрывать не стану!» «Мой грех — мой и ответ», — говорил он председательнице. Ему грозил подвыпивший милиционер: «Ты мне стакана самогонки пожалел — я для тебя тюрьмы не пожалею!» «Риск — благородное дело, — Гараня ему в ответ. — Поймаешь — твоя взяла. Не поймаешь — мое счастье».

А чего не поймать-то? Невелика хитрость: приходи в любую ночь в Гаранину стируху — тут он. Бери прямо на месте преступления. А только что из Калязина в Пятины не ближний путь, и не в одной только этой деревне валенки валяют, а в Пятинах-то не один Степан вальщик. Вся округа знает это ремесло испокон веку, и всех в тюрьму не пересажаешь, разве что кое-кого для остратки.

Степан Гаранин, мужичок некрупный, в походке вихловатый, с частым говорком, с особенным хитроватым прищуром глаз, считал себя умнее всех. Да и то: кто вернулся с войны на своих ногах и с целыми руками? Он один. Правда, то и дело сваливало его с ног — будто с войны, которая уже кончилась, отодвинулась, долетали пули и осколки мин и поражали его, оставляя страшные следы на теле. Но, оклемавшись, он азартно принимался за работу: днем в колхозе, ночью — в земляночке-стирухе. И был расторопнее, а вернее сказать, отчаяннее всех, не раз ездил с валялками в Москву ли, в Ленинград, в Орехово ли Зуево.

А как иначе! Когда семья — пятеро детишек малых, да большая старуха мать, да опять беременная жена, поневоле станешь отчаянным: если б не валенки,

Гаранины давно голодовали бы. В колхозе определила ему Дарья должность кладовщика, но какая колхозная работа могла прокормить семью? «Воровать-то нечего, да и не умею», — посмеивался кладовщик и шел в свою стируху. Десять—двенадцать пар сделает — и продавать. Возвращался торжествующий, потому что привозил крупки перловой или манной, мучки белой, московские батоны, а то и ситчику, штапелю. У него даже денежки водились, у этого Гарани. А все потому, что валял.

Хоть и под великим страхом, а делу этому обучились в Пятинах даже вдовы — тетя Огаша, Настя Зюзина, Шура Мотовилина. Костяха Крайний хвастал, что под материнским руководством сваял несколько сапог. Задорный, врет ли, нет ли, сказал, что сваял себе пару. Значит, пора и ему, Феде. А к кому?

У Ивана Субботина в вишеннике тоже стирушка и тоже дымилась по ночам. Говорят, за работой он раздевается аж догола: при одной-то руке приходится помогать и коленкой и зубами... Нет, к Субботину в стируху идти неловко. А безногий Иван Никишов не возьмется учить...

— Дядь Степан, я посоветоваться, — сказал Федя, переступив порог Гараниного дома.

Хозяин сидел на кровати босой, тетешкал ребятишек, держа на коленях сразу двоих. Третий и четвертый бегали по избе как угорелые. Вся детва гаранинская уставила на вошедшего любопытно-недоуменные одинаковые глаза. То есть такие же, как у самого Гарани. Да и не только у него, а и у старухи, свесившей голову с печи.

Жена Степана, Рая, недавно родившая, качала младенца в зыбке.

Федя рассказал про шерсть и про то, что хочет сам сваять себе валенки и хотя бы одну парочку на продажу.

— Чего ж ты с одной парой в Москву поедешь? — спросил Гараня. — Или где ты хочешь продать? В Питере, что ли? — Он засмеялся, но, мысленно прикинув что-то, к намерению Феде отнесся серьезно. — Ты вот что, парень: шерсти прикупи еще — и вторины и лицовки. Есть денежки-то? Небось осталось от матери? Ну вот, ступай в Ергушово к Прасковье Зыкиной, она телятницей там работает. Я ее видел вчера: кое-какие остатки не нашли у нее при обыске, хочет продать. Иди сегодня же, чтоб кто-нибудь не перехватил. Она мне предлагала, да я вот разладился маленько. — Он покачал ногой, ниже колена обмотанной грязной тряпицей: должно быть, рана открылась у него опять. — Купи сколько сможешь. Хорошенько расщиплешь, и мы с тобой вместе на шерстобойку в Верхнюю Луду сходим.

— Пособи ему, Степан, — слабым голосом простонала старуха с печи; она не просила, а как бы похвалила сына таким образом. — У бога зачтется.

— Я не ради бога, на фиг он мне сдался, мне Федюшку жалко, — дерзко сказал Степан. — Кому б другому — не. А его обучу. Парочки четыре, а то и пять сваялет! Верно, Федор Алексеич? — Степан подмигнул весело, но вдруг побледнел: подбежавшая девчонка споткнулась о половик и ударила головой о его больную ногу.

7

— Будь проклята эта шерстенка! — Прасковья смахивала с лица злые слезы. — Перепугалась я с нею — страсть. До сих пор, как вспомню, руки трясутся. На прошлой неделе заявили сразу четверо: двое милиционеров, председатель сельсовета да еще какой-то начальник — и пошли по деревне: двое по одному посаду, двое по другому. От избы к избе вваливаются не постучавши и сразу: где валенки, где шерсть — показывай! Обыск... А куда спрячешь, если что есть? Это не иголка — узел-то с шерстью или с валенками. И не летнее время — под куст да в крапиву не сунешь: на снегу все следы видны...

Прасковья подносила безмен к свету лампочки-коптелки, вглядывалась в точки, выбитые на железе: «Вот гляди, паренек: раз фунт, два фунта... четыре фунта — полтора кило», — и продолжала рассказ:

— Сергей Милованов захихнул свой товарец в подпечек, ухватами да вязанками хвороста загородил. Да что! Али они не знают, где искать? Чай не в первый раз — и сразу в подпечек заглянули. И в горницу и в сундуки полезли, и в подполе картошку ворошили, и в сено во дворе вилами тыкали. К сестре моей явились — три пары готовых, только сваяла, да две пары только что заложила — она сновалица, сеструха-то, — и шерсти пять кило... Все забрали! Еще и акт составили. Теперь чего ей? Четверо ребятишек, муж на фронте убитый, не заступится. От немцев загородились — от своих спасу нет.

Она увязала еще один узел, опять, шурясь, рассматривала точки, выбитые на безмене.

— Ко мне пришли, я им: нету у меня ничего. И хорошо успела в ясли коровьи спрятать! Сенцом прикрыла, Пестрянка моя стоит хрумкает. Ну и не пощупали в яслях-то! А если бы... Вот гляди, парень: это десять фунтов, даже чуть поболее. А ладно уж, четыре кило! Ну вот, они и на чердак шасть, и под кровать заглянули, в подполе залез, паразит, лапой-то в кашушку с огурцами, слышу: ест, хрустит. С похмела, видно! А во двор вышли, глазами-то шарят, у меня сердце зашлось. Ну, думаю, найдут: шерсти не жалко, бог с ней, пусть отбирают, так ведь акта боюся! Дедушко Трофимыч только ту пару спас, что себе на ноги надел. «А-а,— говорят,— старый черт, ты тут самый главный спекулянт!» А Трофимычу-то нашему сто годов небось! Он еле-еле, кое-как уж сваял, да и разболтался от этой работы! В стирухе у него котел из печи выломали, колуном разбили... Вот так-то, паренек. Будь она проклята, эта шерстенка! У Ропшиных восемь пар отобрали, у Василья слепого — мешок шерсти, у Офросининых — четыре пары... Эку облаву устроили на нас, как на зверей! Скажи Степану-то, пусть бросает это дело ко псам. Сколько веревочке ни виться...

Федя уже усомнился: а доброе ли дело затевает, покупая вторину, тратит деньги? Стоит ли заниматься таким ремеслом, ведь этак недолго и в тюрьму сесть. Выходит, это все равно что воровать. Но отступать было поздно. Решил так: «Ладно, продам Гаране за ту же цену, сам не буду валять». С солидным видом расплатился за товар, подхватил оба узла, увязанные в старые материны шали, и поспешил в обратный путь.

Было уже темно, дорога едва угадывалась; в низинке он сбился с пути, угодил на пропитанное водой снежное поле. Валенки — и прожженный и разрубленный — тотчас промокли. Из левого кусок портянки выбивался коровьим языком. Если не валять, откуда взять новые? Может, купить? «Купило-то притупило», — говаривала, бывало, мать. А если сам сваяет — мало того что будет ходить в новеньких, еще и в Москве побывает... Продаст там парочки три-четыре — на вырученные деньги можно купить кое-что, например калоши-тянучки, они легкие и нарядные...

Так мечтал Федя, ускоряя шаг и крепче топя по дороге мерзнувшими ногами.

После расчета с Прасковьей сверточек материных денег похудел вдвое — и об этом сокрушался Федя дорогой, ощупывая его за пазухой. Но хоть и страшно лишаться заветного капитала, однако же он был в уверенности, что в данном случае не прогадал. Надо только браться за дело, и все тут, глаза бояться — руки делают!

8

Превращение шерсти в валенки началось с того, что, расщипывая ее, Федя просидел весь вечер. Старушечья работа... Своя-то лищовочка расщипалась споро, была довольно чиста, разве что репы приходилось выбирать; а вот кушленная вторина сваялась комками, жгутами, сосулями — на пальцах нарастал сальный слой грязи, а самое плохое — воняла она очень. Где купила ее Прасковья Зыкина? Или, может, хранила в каком-то протухлом месте?

Костяха Крайний зашел к нему посидеть — Федя бог знает почему упихал шерсть под лавку, спрятал, словно боялся.

— Какой-то падалю у тебя воняет, — сказал гость, кривясь. — Может, кошка слохла? (Мырзя лежала на полатах возле печи, грелась.) Пойдем гулять, а? Чего ты дома сидишь!

— Не,— сказал Федя столь решительно, что ясно было: бесполезно его звать и уговаривать. Костяхе можно шляться по деревне, у него забот нет. Ему шерсть не щипать и не бить. На нем штаны суконные лихо выпущены на голенища валенок — жених!

Не скоро, неделю спустя условились с Гараней идти на шерстобойку в Верхнюю Луду, ту самую, через которую недавно проходил Федя, не решившись попросить там кусок хлеба.

Степан опять болел, перемогался: под правой лопаткой вспухал у него очередной нарыв, но вспухал медленно, неведомо когда проткнется.

— Ладно, пошли,— решил он.— Некогда рассоливать, сезон кончается.

Колхозная шерстобойка досталась верхнелудскому колхозу в тридцатом году, когда разоряли богатеев, — один из них как раз и занимался валяльным делом. По негласному уговору кого-то с кем-то шерстобойка существовала вроде бы тайно, районная милиция, конечно, знала о ней, но делала вид, что не знает. А колхозу машина приносила кое-какой доход: битье шерсти — по рублю за килограмм.

— В прошлый раз ждал я тут своей очереди,— посмеиваясь, рассказывал Гараня,— вдруг прибегают кладовщик: скрывайтесь, милиция! Ну и брызнули все в разные стороны. Кто по целине дал лесу, кто по-за сараями да на скотный двор, а я спрыгнул в силосную яму, закопался, сижу, покуриваю, слушаю голоса. Меня хрен

найдешь! Разведка все-таки... Однако часа два пришлось сидеть, пока собака уполномоченный шугал нашего брата... Шерстобойку опечатали, но на другой день plombу сняли, и вот опять работает.

Возле амбара, в котором слышно пошумливали машина, томилось человек восемь. Каждый приглядывал за своими узлами. Разговаривали негромко, будто милиционеры где-то рядом и могут услышать.

На улице было холодно, и Федя забился в угол амбара, за чьи-то узлы, задремал под ровный шум и постукивание машины, под говор в темноте. Из щелей в стене морозцем несло, но если отворотиться и сжаться в комок, то ничего, терпеть можно. Уснул бы, но кто-то из сидевших вытащил хлеб и стал есть. Аромат хлебный кружил голову и вызывал обильную слюну — хоть уходи из тепла на холод.

Ждали своей очереди баулинские, тиуновские, из деревни Высокий Борок, еще откуда-то. Очередь пятинских подошла лишь глубокой ночью. Гараня встал к барабану — крутить, как крутят ворот колодца, поторопил:

— Давай, Федюха, живей! Некогда рассусоливать! Видишь, люди ждут. Ты подкладывай, я покручу, потом поменяемся.

Огромный барабан повернулся медленно, тяжело, вращая через ременные передачи тесно прижатые к нему валки маленькие, крутившиеся с разной скоростью, — бегунки и ленивцы. Неверный свет коптильнички освещал сбоку широкую, непрерывно двигающуюся ленту полотна, на которую Федя бросал клочки шерсти. Надо, чтоб ложились они во всю ширину, иначе, он знал, лента уже битой шерсти будет сходить из-под гребешка с другой стороны машины рваной, а это не годится.

Большой барабан раскручивался все быстрее и быстрее, игольчатая шкура его, шурша о шкуру ленивцев и бегунков, расщипывала, раздергивала, раздирала шерсть, делая ее похожей на пух. Степан оборачивал время от времени лицо к Феде, и тот мог видеть его болезненно-свирепую гримасу. Гараня словно бы опьянел, через некоторое время волосы его потемнели от пота, но он крутил и крутил как заведенный. Наконец отступил:

— Ну-ка смени.

Федя поймал летающий крюк и стал крутить, боясь, что ненадолго хватит сил, что скоро выдохнется. Но тяжелый барабан, казалось, вращался сам — так, по крайней мере, почудилось Феде сначала, и он даже повеселел. Но вот и испарина выступила на лбу, еще через некоторое время и рубаха прилипла к лопаткам: Федя уже пожалел, что не скинул пиджак.

— Эй, мужик! — окликнули Гараню. — Что это у тебя кровь на спине?

— А-а, пустое! — откликнулся тот, раскидывая по ползущему полотну клочки шерсти. — Осколок выходит, зараза.

Федя приостановился, чтоб пиджак снять, на что Степан заметил насмешливо:

— Э, Федюха, хреновый тот работник, который потеет.

— Сам-то не лучше, — пробормотал Федя самолюбиво.

— Я не от работы, а от азарту, — отвечал Гараня и молодецки пошевелил плечами.

Федя на мгновение увидел его спину — под правой лопаткой Гарани расплылось кровавое пятно.

— Дядь Степан, в самом деле кровь у тебя.

— Пустое, Федюха! Осколок...

— В больницу надо, — сказала из темноты женщина из тех, что ждали очереди; из-под низко повязанной шали смотрели на Степана большие жалостливые глаза.

— Заживет... — пробормотал Гараня. — На живом человеке, как на живой собаке, должно все заживать.

Он и еще что-то сказал, но Федя не слышал.

Дыхание сбивалось, сердце колотилось, подступая куда-то к горлу, и вот-вот сорвется рука, а крюк долбанет по темени — говорят, кого-то этак-то убило...

Наконец услышал спасительное: «Дай-ка я, Федюха» — Степан отстранил его, и работа продолжалась.

Сновалица — так называли Огашу Аверину, Федину крестну. Если только заходила речь о валянии и вспоминали о ней, всегда прибавляли именно это и самым уважительным или даже завистливым тоном: «Ну, она хорошая сновалица». Никто лучше ее не мог сновать (иначе говоря — заложить) валенки в Пятинах, хотя умели это несколько человек: дело не такое простое, это как на гармони играть — коли бог чего-то не вложил в человека, то и толку не будет.

Степан Гаранин, к примеру, сам валенки закладывал, умел, можно сказать, но Огашу Аверину читил: чего, мол, и говорить, у нее получается лучше. Степан как ни старается, вдруг вроде ни с того ни с сего сапог, заложенный им, опасно истончится то на пятке, то на головке, то на подъеме к голенищу — в самых ответственных местах проминалось под пальцами чуть не до дыры, будто промоина во льду, в которую можно провалиться. Ну и все, пропал сапог! Конечно, вальщик пытался прилепить, привалить заплату — да что! Потом на рынке за эту пару тряпись — не ущупали бы покупатели.

Для Феи Степан отказался снова:

— Да что ты, Федюха! Какой из меня сноваль! Еле ползаю вот...

Пришлось просить крестну.

— Неуж ты сам решил свалить? — удивилась она.

— Не знаю... — смутился он. — Попробую.

— Попробуй, крестничек, попробуй. Уж верно получится. А я, так и быть, заложу тебе валеночки.

В назначенный день он принес ей узлы с шерстью — и лицовку и вторину. Валька Аверина, постоянно задиравшая его, была дома, собиралась куда-то, крутилась перед зеркалом. Просто удивительно, какие девки выгуливались в Пятинах ли, в иных ли деревнях — это при таких-то скудных харчах! Впрочем, у Авериных — Хваленка, хоть и велик налог на корову — триста литров в год сдать надо! — хоть и выгадывают они каждую криночку на продажу, но кое-что перепадает и себе. Вот Валька перед зеркалом крутится, кофту одергивает — это она нарочно: любит собой гордиться. Пояском себя перетянула — и как это при таком узком перехвате у нее может быть в юбке так широко! А крутанется — юбка вокруг...

— Ты чего, Федюха?

— Я? Ничего.

— А краснеешь-то?

Ей страсть как нравится, что он краснеет.

— Крестна, чего она пристаёт!

— Беда с ней, — вздыхает крестна. — Скорей бы замуж выдать, что ли.

Свадьбу Валькину хотели играть в масленицу, да у жениха мать в больницу положили, теперь ждать до мая, то есть пока не закончится Великий пост. А пока что ходит Валька будто тесто на дрожжах.

Летом убрали клевер, сели возле скирды отдохнуть — и возчики, и те, кто на воза подает, и те, кто скирду кладет, — ну, разговоры, шутки, то и се. Вдруг Феде в затылок шлепнулся туго скрученный жгут сена. Оглянулся — Валька Огашина прячется за девок, а те хохочут. Вскочил — она от него бежать. Видя, что настигает, упала на охапку клевера и, как кошка, успела повернуться на спину. Он не удержался в беге — на нее. А сзади же смотрят на них! Другая б девка прежде всего загородилась руками, оттолкнула, а эта, наоборот, раскинула руки в разные стороны — на, мол, меня, что ты со мной сделаешь! И хохотала. Федя тотчас встал и, ошеломленный, смущенный, пошел назад к скирде. А Валька сзади прямо-таки переламывается от смеха.

— Нет, — заявила во всеулышание, — не годится этот парень ни на что!

Федю же и осмеяли, а ей как-то сошло. Во бессовестная какая! У нее только и разговору — кто на ком женился, кто с кем гуляет да кто кого бросил. Она и сейчас толковала о том, но, слава богу, ушла скоро.

Крестна освободила обеденный стол, постелила на нем грязную-прегрязную постилушку из холста, развязала Федины узлы, разложила кудели шерсти на полу — все это делала неспешно, будто к празднику готовилась. Стянутые ранее шалью лицовочка и вторина были все-таки пушисты, слоились — крестна брала шерсть этак пластиками и выкладывала ровным слоем сначала лицовочку, пристукивая пальцами по столешнице, потом вторину. Ключки-пластики прибивались один к другому.

— Первую парочку тебе на ноги, так ты примешь ее — я тут лицовочки положу побольше, — сказала она. — А на продажу можно побольше вторинки.

Федя кивнул солидно: да, мол, именно так и надо. Он присел рядом, следил за ее работой. Соображал: пристукивая этак-то, она не только прибивает пластики один к другому, но и следит за толщиной листа, проверяя его на каждой пяди.

— Ты, Федюшка, не товар ли свой стережешь? — спросила крестна, видя, что он не собирается уходить. — И тогда квашонку свою стерег, и теперь...

Федя покраснел.

Не. Я хочу узнать, как это... Мне интересно.

— А-а, вон что... Ну что ж, приглядывайся, приглядывайся, сновалем станешь.

Взяла сковородник на длинной ручке, на него навернула выложенный лист шерсти так, что сверху оказалась постилуха, после чего стала выкладывать еще один

лист. За работой расспрашивала, есть ли у него в подполе брюква или свекла, хватит ли дров до весны, кормит ли он кошку Мырзю.

— Ой, а ить я Хваленку на напоила! — спохватилась она.

Федя перехватил у нее тяжелую бадю.

— Я вынесу.

Понес, стараясь не плеснуть. Хваленка встретила его во дворе радостным мыком: узнала.

Федя помнил ту морозную ночь, когда отец внёс мокрого, уже заиндевелого, дрожащего теленочка в избу и поместил в загородку возле печи. Оба они, отец с матерью, стояли возле новорожденного, гладили по мокрой, чуть закурчавленной спинке и приговаривали: «Телочка... мы ее на племя. Гляди-ка, складенькая, да и глазки-то умненькие...» А он, Федя, лежал тогда на печи и, свесив голову, смотрел вниз, не совсем понимая радость матери и отца. Ну что, теленок как теленок, черный, с белым пятном на лбу, в белых чулочках на передних ногах. Ничего особенного. «Да уж расхвалили-то, расхвалили-то», — сказал насмешливо.

Мать говорила, что именно он, Федя, и придумал телочке это имя — Хваленка. В то лето, когда началась война, приучал Хваленку к стаду — уж помучила она его: как маленько солнышко припечет, как только слепень ее укусит, так она хвост трубой — и помчалась! В Пятины, на родной двор, где прохладно. До самой деревни вскачь, а Федя за ней следом; из сил выбивался, бежал со слезами обиды на глазах, а Хваленке хоть бы что. У двора лишь настигал, возвращал в стадо, а там к ней овода пристанут, она опять хвост трубой — и домой.

А к осени подросла, зимой-то и вовсе стала степенной; на следующее лето вышла, будто девушка на гулянье; а потом, зимой, у нее самой появился теленочек, и она превратилась в настоящую корову, про которую говорили, что, мол, «первым теленком». Когда же стала «вторым теленком», то и молоко давала уже наравне с самыми удоистыми коровами в Пятинах. Разумная, степенная (шутили в деревне, что похожа на Анну Сергеевну, хозяйку), красивая корова — Федя испытывал к ней прямо-таки родственное чувство... вот как к сестре Лидии. Почти так.

Когда Хваленку, то есть половину ее, продали крестной, день корова стояла на дворе у Авериных, а другой — у Бачуриных. Феде казалось, что, вернувшись в родной двор, Хваленка с укором смотрела и на него и на хозяйку, и не мог он отделаться от сознания вины перед нею. В бачуринские дни, когда мать болела, корову доили сначала-то Валька Аверина или сама крестна. Но потом Федя сообразил, что надо самому обучиться этому делу; вышел с подойником к Хваленке, сел с правого боку, как делала мать, неловко огладил вымя.

Хваленка, повернув голову, изумленно следила за его действиями. Она будто насмешничала: э, парень, не мужское это занятие — коров доить, разве что Толька-полудурок в Веселухе ходит с подойником на полдни, а больше-то никто. «Да ладно тебе! — сказал ей Федя. — Много ты понимаешь! Коли приспичит — и курица свистнет Ясно тебе?»

Струи молока почему-то чаще попадали не в подойник, а на копыта Хваленки, в навоз и, что самое досадное, в рукава. Федя никак не мог приноровиться. Соски вымени были туги, крепки, но он, признаться, боялся тянуть их слишком сильно: не оторвались бы, ей-богу! Однако же подоил, и Хваленка совсем иначе, с уважением, посмотрела на него.

Он любил те дни, когда она стояла во дворе: в доме становилось поваднее. Вечером, выходя по нужде, слышал, как корова вздыхала в темноте, и в душе сразу теплело. Она действительно чем-то напоминала мать, эта ласковая, разумная, степенная Хваленка. И как это горько, что она после смерти матери отделилась от Феди, стала чужой...

Он вернулся — крестна выкатывала на сковороднике сразу несколько листов, и выкатывала довольно долго. Наконец развернула — каждый из них был заедино, — простукала, проверяя их, и осталась довольна. Теперь сновалица достала откуда-то из-под лавки вырезанную тоже из холста выкройку, отдаленно напоминавшую валенок, положила на лист, примерилась и аккуратно разорвала с двух сторон, завернула выкроечку, будто пеленая ребенка; кое-где в местах соединений приложила пластики шерсти, приплюнула, пригладила. Федя смотрел: получилось что-то вроде мешка, а чтоб внутри не слипалось, вставлена была та выкройка.

Тетя Огаша стала снова выкатывать, складывая и так и этак. Принялась за следующий — вдруг мимо окон промелькнул кто-то, крестна насторожилась. Вбежала запыхавшаяся Валька.

— Мама, прячь все: в правление к Дарье приехали! Какой-то мужик в пальте с воротником, — задыхливо объясняла Валька. — Пузатый — видно, что начальник. Да что ты стоишь-то?

Тетя Огаша кинулась к окну — ничего не видеть; потом стала пихать Федину шерсть под лавку.

— Куда ты, мама! — закричала Валька. — Сразу найдут. В подпол давай или на потолок.

— Да чего вы переполохались? — недоуменно спросил Федя. — Может, он по другому делу. Он же один, верно?

— Вроде один... но с портфелем.

— Прятать, прятать надо, — твердила тетя Огаша. — Придут ли, нет ли, а все равно... Вдруг явятся, а у нас...

— Я к себе отнесу, — сказал Федя. — Найдут, так уж у меня, а не у вас.

Из окна было видно, как по тропочке вдоль того посада изо всех сил бежит Анна Никишова, тоже перепуганная. Следом торопливо прошагал, то и дело оглядываясь, Иван-безрукий; тут и Федя встревожился не на шутку.

— Бери товар и беги, Федюшка! — жарко дыша, сказала крестна. — Знать, такую же облаву хотят устроить, как в Ергушове. Пересажают всех!

И шерсть и заложенную пару — все вместе стали увязывать, не увязывалось. Пришлось сделать два узла. Схватив их в охапку, Федя выскочил на улицу, выглянул из-за угла — вроде никого. А-а, была не была — пустился к своему дому. Если видели его — сейчас придут.

Надо срочно спрятать. Хотел сунуть узлы на задворках за поленницу — никак, Да и заметно здесь. Полез на чердак — ну что, и там все на виду. «А если в колодец? Потом ведь можно выудить... Да вымокнет шерсть — не высушить. Зато в колодце не найдут...»

Придумал: спустил на веревке оба узла вниз по срубам, но не в воду, так подвесил. И только тогда немного успокоился.

С обыском, однако, никто к нему не пришел.

10

стируху свою Гаранин Степан время от времени забрасывал снегом, чтоб похожа была на сугроб. Но из этого сугроба обличающе торчала жестяная труба, кое-как склепанная из старого ведра. Да еще тропочка вела от двора, которая к весне обнажилась, выдавая скрытое. Тропочка обрывалась ступеньками вниз, как в волчью нору, и, толкнув тут тяжелую, обитую тряпками дверь, согнувшись в три погибели, можно было попасть в самую стируху, тесную, кисло воняющую шерстью, душноватую от прели, гнили, до озноба зябкую и мокрую.

Степан засветло послал сюда Федю: вычерпать за день накопившуюся воду.

— Место у меня низкое — не стируха, а колодец. Ты вот как войдешь, слева под скребницей черпай, там яма.

Федя прошел по тропочке, скрючился на обмерзлых ступеньках, нырнул вниз, открыл дверь, шагнул — и под ногой плеснула вода. Поспешно отдернул ногу и, не закрывая дверь, огляделся. В маленькое окошко сочился слабый свет — даже не свет, а просто белел снег за стеклом. В полутьме разглядел Федя прежде всего широкий каток, вроде верстака столярного, на котором, собственно, и валяют; под ним печка со вмазанным котлом; слева у земляной стены — скребница из набранных гармонью острых дощечек.

Глаза постепенно привыкали к сумеркам, и Федя разглядел под ногами доску, положенную от двери к катку, под ней чернела вода. Зачерпнул ее ведром, вынес вон, вылил под вишню, спустился опять... Ведро задевало о земляной пол, а вот под скребницей верно была яма, там Федя и черпал, пока не вычерпал все.

И стены, и каток, и окошко, и соломенная крыша над самой головой были в прилипших ошметках шерсти. Сыростью стылкой было пропитано все. И запах кислый, мозглый...

Закончив работу, Федя тоскливо вздохнул и отправился сказать Степану, что работа выполнена.

— Теперь, Федюха, налей в котел воды и, как только стемнеет, растопи печку, — распорядился тот. — Закипит вода — позовешь меня.

Сам он был занят тем, что чистил кусочком пемзы свальные и уже высушенные в печи сапоги: они были еще на колодках. Старухи матери и жены не было дома, куда-то ушли. Младенец в зыбке побряхтывал, и Гараня, отрываясь от работы, то и дело покачивал зыбку. Прочие ребята сидели на полу, играли орденами и

медалями, ударяя их друг о друга. «В расшибаловку режутся», — отметил Федя, усмехнувшись. Отец не обращал на их забавы внимания: должно быть, не в первый раз уж фронтовые награды служили малышам для баловства. Известно, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

— Фартука у тебя нет клеенчатого? — спросил Гараня. — Замочишься очень. Ну ладно, не сахарный...

Смеркалось, когда из трубы его стирюшки повалил дымок, растекаясь над сугробами огорода. Федя сидел перед печкой, ждал. Парочка заложенных крестной валенок вместе с Гараниными уже замочена была в лохани с водой, куда добавлено немного купоросного масла. Масло едкое, если случайно капнешь на кожу — мгновенно побелеет, и боль резанет, как при ожоге, поэтому его добавляли немного к замоченным валенкам будто для приправы, чтоб потом, при валке, те садились быстрее.

В стирюшке стало уже тепло и даже по-своему хорошо: весело потрескивали дрова, дым, не уходящий в трубу, пеленой застилал тесное пространство, зато перебивал прочие запахи. Федя уже притерпелся и не кривил лицо, когда нечаянно касался осклизлого катка или скребницы.

Пришел хозяин, оглядел все, разложил инструменты, надел передник с прорезами там и сям. Потрогал воду — в самый раз.

— Ну, Федюха, становись рядом. Делай все, как я, понял?

Палкой деревянной выудил из лохани замоченный валенок — не Федин, а свой, — расправил на катке, ковшом зачерпнул кипятку из котла, полил, стал комкать и валять. Потом окунул прямо в кипящую воду, что в котле, выудил обратно, шмякнул на верстак — пар ударил в крышу стирюхи. Федя делал то же самое со своим валенком.

— Если пару сваляешь сегодня за ночь — ты герой, — говорил мастер.

Он немилосердно комкал и мял, будто отстирывал от грязи свой валенок, еще имевший форму мешка. «Вот почему называется стирюха, — соображал Федя по ходу работы. — В ней именно стирают... совсем как белье».

— Смелей, смелей! — подбадривал главный вальщик. — Вот так, смотри. Видишь?

Подмастерье тоже комкал и мял. И долго так они работали, макая валенки поочередно в котел или просто поливая из ковша. Руки у Феде уже распарились и стали красными, даже вроде бы распухли; купоросное масло разъедало их, но мастер подбадривал: терпи, парень!

Стало душно, пар клубился по стирюхе, заволакивал плотным туманом мигающую копилку и белесое, заснеженное снаружи окно. Спереди было жарко от печки и горячей воды, в спину от двери тянуло холодом. И штаны и рубахи у обоих валяя были уже мокрые, лица в поту и в грязных брызгах...

— Вот так, Федюха, видишь? Жми его, гада, крути, три, жамкай, не жалей!

Иван Субботин правильно делает, что раздевается за работой догола, как в бане. Все равно ведь становишься мокрым до нитки! Ну и без руки он, а как тут одной-то управиться? Это значит, Субботин коленкой тискает валенок на катке... это значит, он зубами — горячий-то валенок! с купоросным-то маслом! — зубами помогает руке. То-то у него рот изъеден, как от дурной болезни...

— Теперь красить! — скомандовал учитель.

И они оба окунули свои валенки в шайку с густо разведенной в ней черной краской. Через некоторое время достали и опять продолжали валять — черная вода струилась по катку; руки стали черными — теперь их не отмыть, вьестся краска в каждую трещинку, каждую ранку на коже.

Насадил Гараня с Федей свои валенки на круглые полена — чураки, — катали по очереди большим вальком — лощиком — с рубцами, в носок валенка загоняли по маленькому чураку и опять терли, и били скалкой по сгибу, и поливали, поливали горячей водой, и конца этому не было. Однако же огромный раньше валенок понемногу уменьшался и уменьшался — садился, уже маленький чурачок с трудом входил в носок, уже большой чурак почти вплотную облегался голенищем...

Главный мастер свалял свой сапог и сел на скребницу верхом — оттирать; а Федя все еще возился со своим, бил скалкой, катал лощиком... Гараня несколько раз вставал со своего места за скребницей, проверял работу, щупал и голенище и подошву, говорил: «Еще немного вот здесь потри» — и Федя тер, крутил валенок о каток так и этак.

Потом Гараня отобрал у Феде валенок и некоторое время, тяжело дыша, ожесточенно катал его, и мял, и бил скалкой, шлепая изо всей силы об каток, так, что брызги летели во все стороны вместе с ошметками шерсти.

— Довольно, — сказал он наконец. — Садись оттирать.

Теперь надо было с полчаса, не меньше, возить валенок вместе с тяжеленным чураком по скребнице. но и это еще было не все...

Далеко за полночь пришел Федя домой. И не пришел даже, а этак приволокся: его пошатывало от усталости.

Когда уже сваял свою пару и думал, что дело сделано, выяснилось, что надо ведь насадить оба сапога на колодки, и не когда-нибудь, а вот именно теперь, пока они разопревшие, разогретые. Насадить оказалось непросто: в носок надо загнать почти круглую головку, а она никак не хотела лезть туда. Зажав валенок в обеих руках, Федя изо всей силы, с отчаянным хаком ударял им о чурбан, на котором сидели возле скребницы, и ударял так раз за разом, а силы явно не хватало: головка все-таки не хотела влезать в носок валенка. Уж и соломки подложил немного, чтоб легче входило, — все равно никак.

Тогда, матерясь озлобленно, за дело взялся тоже измученный, а потому и злой Гараня, хрястнул изо всей силы и раз и два — ему с трудом удалось. Федя с виноватым видом стоял рядом. А еще надо справиться с теми колодками, что забивают в голенища... Потом долго мучился со вторым валенком, опять ударяя со всего размаха, обливаясь потом, и совершенно выбился из сил настолько, что поджилки дрожали. Спасибо Степану Клементьичу, опять помог.

Два сапога — это был итог Фединой работы за ночь. Но кто бы сваял больше? Может, Костяха Крайний или Мишка Задорный? Ведь все-таки первая попытка... Главный вальщик за то же время сваял две пары.

Из стирухи Федя вылез обессиленный, мокрый, потный. Пока шел — морозным ветром продувало; светила на него холодная равнодушная луна. Дома, вальнувшись в постель, долго не мог согреться — колотил озноб. В сон провалился — снилось опять, что каким-то образом очутился в глубоком колодце, вымок там и продрог. И выкарабкивается, выкарабкивается оттуда по осклизлым бревнышкам сруба, цепляясь и ногами и руками. А бревнышки гнилые, то и дело проваливаются, обрушиваются вниз — слышно, как, бултыхая, падают в холодную воду. А он, Федя, отчаянно лезет вверх, туда, откуда просеивается солнечным дождичком свет, — там и сухо и тепло, там спасение...

Наутро предстояло топить печь, да пожарче, чтоб насаженные на колодки сапоги высушить. И он встал затемно, чтоб успеть все сделать до того, как бригадир придет с нарядом, — забота пробудила. Будто под бок толкнул кто-то. Разбитый и сонный топил печь, загребал угли в жараток, ставил к задней стенке печи насаженные сапоги — и проклял это дело: на ухвате валенок — в печь, а он соскальзывал, падал в золу или на угли...

11

— Сходи ты к Дарье, — посоветовал Степан, — возьми у нее справку, что, мол, валенки валял не из купленной шерсти, а из своей собственной. У тебя ж овцы были! Вот и пусть об этом удостоверит. Да и печать чтоб поставила, так-то верней. Если в случае чего заберут в милицию, ты им сразу справку под рыло: имею, мол, право поскольку шерсть своя, не купленная. Понял?

— А ты себе взял такую справку?

— Мне она не дает: овец нет. Стерва баба, чего и говорить! Ей все можно, нам ничего нельзя.

В правление Федя подгадал прийти так, чтоб никого постороннего не было там в это время. Кулакастая Дарья сидела мрачнее тучи, не подступись: как раз в этот день, а вернее, ночью (утром председательница только узнала) подошла колхозная корова. От дурацкого случая, что и обидно: у водопоя пырнула ее в бок рогом другая корова; надо было прирезать, да вот думалось, что выздоровеет. Так нет, подохла...

— Чего тебе? — неприветливо спросила председательница.

Выходит, не вовремя пришел. И справки не даст, и в Москву не отпустит — Феде это было ясно как день. А он уже так настроился, что именно завтра... Ей что — жалко? И жрать нечего, и заработать нельзя! Ложиться помирать, что ли?

— Хлеб кончился у меня, — осердясь тоже, хмуро сказал Федя — Если бы аванец... Хотя бы один пуд. Или полпуда.

Она посмотрела на него, будто спрашивала: ты что, на самом деле дурак или только притворяешься? И говорить ничего не хотела, но все-таки сказала:

— Аванца я тебе дать не могу. У меня в амбаре только семенное. Съедем — чем сеять будем?

— Тогда... мне в Москву надо съездить.

— Зачем?

— Валенки продать.

Она некоторое время молча смотрела на него, соображала.

— Ну вот, еще один спекулянт,— сказала председательница себе самой и после паузы Федя: — Сколько же пар ты сваял?

— Пять.

— Кто тебя учил?

— Я сам.

— Сам с усам... А если попадешься?

— Риск — благородное дело,— сказал Федя тоном Степана Гаранина.— Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

— А-а, вон ты у кого ума набираешься! Ну-ну... Так и в милиции заяви. про шампанское-то. Они сразу поймут, с кем имеют дело.

— У меня шерсть своя,— напомнил Федя.— От наших овец осталась. Я сам ее настриг! Меня и из милиции отпустят, если дашь справку. Вот за ней я и пришел.

Дарья помедлила минуту и написала на листе из школьной тетради в косую линейку:

«Справка... Дана настоящая члену колхоза имени 1-го Мая Бачурину Федору Алексеевичу, 1930 года рождения, в том, что он имел 2 (две) овцы, с которых настриг 4 (четыре) килограмма шерсти, чтобы сваять валенки. Председатель колхоза Гурова».

— Задержит милиция, станут выяснять, кто такой да откуда. И что узнают? — вслух размышляла она.— Отец пропал без вести, мать была осуждена... сын вот стал спекулянтом. А тут моя справка... я тебя покрываю. Сама свою голову, как курица, под топор кладу...

Но листочек в косую линейку протянула ему.

— Нужно с печатью,— напомнил он.

Она, вздохнув, достала печать, приложила.

— Надолго ли поедешь, вальщик? А навоз кто будет возить?

— Я отработаю, Дарья Павловна!

— Эх, Федор, не на ту дорожку становишься. Эти кулацкие замашки оставить надо. Степан Гаранин тебя добру не научит: сам-то отпетый, ничего не боится... — И добавила опять будто сама себе:— Ну, у нас тут не фронт, не таким удалцам рога обламывали. Попадется когда-нибудь, ушлют в Сибирь — что с его детьми будет? Что со старухой матерью?

Случись услышать такое про Гаранина Степана раньше. Федя промолчал бы, теперь — нет.

— Так ведь не от хорошей жизни он,— сказал с вызовом.— У него детей пятеро, все есть хотят.

— Колхоз надо поднимать, а не в стируху бегать! — Дарья пристукнула кулаком.— У нас не единоличное хозяйство, все должны быть заодно, а не врозь.

— А наш колхоз сколько ни заработает, все отберут в государство!

— Вон ты как разговариваешь! — суровая лицом, молвила Дарья. Некоторое время председательница молчала, потом будто смягчилась: — Неуж не понимаешь: война только-только кончилась, разруха кругом. Ты погоди... вот помняи мое слово: пройдет еще немного... И знаешь, как заживем! Хлеба — сколько хочешь, молока, сметаны — сколько хочешь, пироги белые — каждый день...

Федя слушал и смотрел в окно, как это бывало в школе, если вызывали к доске, а он не выучил урока.

— Ты потом меня вспомнишь. Скажешь: правильно тетка Дарья говорила, а я ей, дурак, не верил. Нам бы только теперь, а потом жизнь пойдет как в сказке, на работу будем ходить в белых халатах...

Не в первый раз уже Дарья Гурова говорила так-то: вот кончится война — и заживем. Кончилась война, а что-то не полегчало. Может, конечно, потом...

— Пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет,— усмехнулся Федя.

Дарья грохнула кулаком по столу:

— Замолчи! Я с тобой по-человечески, а ты... Ишь какие песни-то у тебя!.. Ох, гляди, парень. Пеняй на себя, если что!

— Мой грех — мой и ответ,— обронил Федя, уже выходя.

Пять пар валенок уложил он сначала в мешок, но Степан Гаранин велел переклестить в старый чемодан, благо такой нашлся в доме. «Чтоб глазами не ущупали, что везешь, понял? У них глаз наметанный, но насквозь не видит».

У самого Степана тоже был чемодан, в него вошло шесть пар, а еще шесть он уложил в большую сумку из брезента, довольно неуклюжую, самошитую; в сумке

этой валенки были переложены жгутами сена, чтоб по буграм невозможно было догадаться, что именно в ней.

Из деревни вышли — падал легкий снежок, ложился на темнеющие проталины.

— Ну, знагь, зима решила вернуться, — проворчал Степан.

Он вообще был, кажется, не в духе; чемодан и связанную с ним сумку нес, повесив их через плечо назад и наперед. На ходу морщился и прихрамывал. Отошли от деревни этак с километр — остановился, сбросил ношу, сел на чемодан и некоторое время сидел молча.

— Вернуться, что ли? — сказал, прислушиваясь к самому себе.

— Опять нарыв?

— Нет, хуже: тут колет... — Степан потер грудь. — Два осколка сидят у меня возле сердца, Федюх. И острые, зараза! Иногда ничего, а то вдруг... грызут меня, как собаки! — Он оглянулся на Пятины, помедлил немного и поднялся уже решительно. — Нет, надо идти. А подохну дорогой — так тому и быть. — Подняв ношу, пробормотал: — Вот собачья жизнь, а?

Шли не большаком, где, случилось, могла прихватить попутная машина, а другой дорогой — через Веселуху, Задорожье, Высокий Борок... «Береженого бог бережет, — объяснил Степан. — Большаком начальство ездит». Он уже не присаживался отдыхать, но иногда постанывал и чертыхался и вообще словно бы опьянел от внутренней боли и от непрерывного преодоления ее, как тогда, в Верхней Луде, у шерстобойной машины. Федя тоже устал, нес свой чемодан и за спиной, и в обнимку, и сбоку в руке — кажется, тот становился все тяжелее и тяжелее.

— Ничего, Федюха! — хрипел, подбадривая, Степан. — Зато на поезде прокаатишься, в Москве побываешь, булки белой попробуешь. А само главное — разбогатеешь! Если, конечно, не поймут нас дорогой. Ну ничего, авось обойдется.

— Степан Клементьич, а почему нам не разрешают валять валенки? В магазинах, говорят, валенок нет — где ж люди их купят, городские-то, если мы продавать не будем?

Степан покривился то ли от боли, то ли от Федино вопроса.

— Почему не разрешают, говоришь? Боятся, что мы перестанем пахать и сеять, если будем заняты этим ремеслом.

— Но ведь мы валяем по ночам.

— А коли ты ночью не спишь, то какой из тебя работник днем? Ты должен, как пчелка, нести мед только в общие соты. У пчел в улье — полный коммунизм, все трудятся, так и у нас должно быть.

— У пчел одно, у людей — другое. Каждому человеку нужно свое: еда, постель, одежда-обува.

— Пока так, а при коммунизме — все наоборот, — сказал Степан, будто поддразнивал. — Не свое, а общее. Вдруг станем богатые? Выходит, выкорчевывали-выкорчевывали кулачество как класс, и вдруг — снова здорово! — опять они, мироеды, появились!

— Кулаки — это которые работников нанимали, — возразил Федя. — А мы-то сами валяем.

Степан повторил решительно:

— Боятся, что разбогатеем, верно говорю! Я сам об этом думал. Бедный всего боится, а богатый — он самостоятельный, начальников-то может и подальше послать. Так что они не любят богатых.

— А кто это они, Степан Клементьич? Вот мы все говорим: они, они. Дарья Гурова, что ли?

— Да ну!.. Она сама подневольная, как и мы с тобой.

— Значит, милиционеры? Или уполномоченные?

— Этим-то что прикажут, они и рады. Отобрать да ограбить всегда проще, чем своим трудом нажить. На грабеж ума не надо!

Степан замолчал, вид у него был свирепый — то ли от разговора, то ли от мучившей его боли...

До Калязина добрались засветло. На вокзал не пошли, а свернули в сторону и, перейдя через станционные пути, свалили свою ношу прямо в сугроб за невысоким кирпичным строением вроде склада. Степан даже умял вещи поглубже и, ногами подгребая, забросал снегом и свое и Федино. При этом оглядывался сторожко и приговаривал:

— Береженого... бог бережет. Стой, Федюха, тут, не отходи. Если подойдут мильтоны и выкопают — откажешься: не мое, мол. Понял? Я не я и лошадь не моя, я и не извозчик — вот так. Пойду разведая. Тут как на вражеской территории..

Вернулся он не скоро, в легком подпитии и потому воодушевленный.

— Дронниковские клухи пришли с котулями и прямо на вокзал вперлись, — сказал, радуясь неведомо чему. — И вот дурищи-то: каждая на свои котули по подушке привязала! Это для маскировки, значит. Хо-хо! Ну бабы!.. На них сразу мильтон глазом острым. Я им мигаю: уметайтесь, мол. Кажется, сообразили.

Уже стемнело. Ветерок поднялся, выюжило немного. Спрятанные в сугроб вещи припорошило так, что, наверно, мильтонам можно было отыскать их только с собаками.

— Ну, сейчас билеты будут давать. — сказал Степан с таким видом, словно собирался кинуться в холодную воду. — Доставай деньги, я и на тебя куплю, а ты стой тут.

Он опять ушел, и надолго. Наконец прибежал:

— Поезд идет!

Федя схватился за свой чемодан, но Степан придержал его:

— Погоди, погоди...

Выглянул из-за угла, скрылся, но вернулся скоро.

— Пошли, Федюха! Я с проводницей договорился... знакомая. Скорей!

У вокзала ударил колокол. Поезд уже трогался, когда они подбежали, но именно так рассчитал Степан: садиться, когда поезд отходит. Они закинули свои вещи на площадку мимо посторонившейся проводницы, а когда влезали, проплыл милиционер, стоявший на перроне и провожавший их взглядом.

— Стоит разиня варежку, — весело сказал Степан. — Привет теще, служба!

Проводница поторопила их нелюбезно, и они ввалились в вагон, где сидели и лежали пассажиры. Вещи занимали и полки и проходы, однако наши ваялы кое-как протиснулись, нашли местечко и для себя. Федя упряился в темную купе, чемодан ему помогли закинуть на самую верхнюю полку, под потолок. Степан хотел поступить со своими вещами так же, но места не хватило, и он расположился у окна; очень неплохо устроился еще и потому, что прикрыл сумку с валенками чужой пальтухой, а хозяйка этой пальтухи, старушка богомольного вида, сидела напротив, с ней Степан уже пошучивал.

Поезд бодро вздрагивал, набрав ход; за окном мелькали в ночи неясные тени; говор, и стук, и всяческое шевеление наполняли вагон. Восторг постепенно овладевал Федей: он впервые ехал в поезде!

— Смотри-ка, и дронниковские клухи здесь, — опять непонятно чему обрадовался Степан. — Привет, бабоньки!

Те, кого он назвал дронниковскими клухами, сидели неподалеку и тоже улыбались Гаране. Это значит, они из деревни Дронниково и знакомы ему с каких-то пор. Небось, будучи еще парнем, ходил к ним гулять. Их было три — все толстые, увязанные шалами, — и сумки-котули у них были толстые, бокастые, причем чуть ли не к каждой и впрямь привязаны подушки.

— Тоже небось в Москву едут, — сказал Степан Феде, приглушая голос. — Собыют нам цену, а? Как ты думаешь?

Федя воспринял это всерьез, озабоченно пожал плечами: в самом деле могут сбить.

— Эх! — совсем развеселился Степан. — Зря я не сдал их милиции.

И тут, легки на помине, вошли двое милиционеров и стали пробираться по проходу. Один из них остановился возле Степана и, откинув старушкину пальтуху, пощупал сумку, спросил:

— Валенки везешь?

Степан явно смутился:

— Да нет... так... барахло всякое.

Милиционер опять пощупал и сказал своему напарнику:

— Валенки, чего там!

И пошел дальше, остановился возле дронниковских, что-то спросил. Женщины отвечали полупшепотом.

Второй же мильтон сказал Степану, мотнув головой:

— Ну-ка, мужик, давай выйдем.

Степан встал. Они пошли в ту сторону, где проводница лязгала железной дверкой печки. А трех дронниковских первый милиционер повел в другую сторону вагона. Федя испуганно следил: как это? арестовал их всех, что ли?

Он сидел сам не свой. Утешало только одно: вещи Степана — вот они, остались, и тот должен за ними вернуться. А если не вернется — что тогда? Ехать в Москву? А там куда? Двери с той и с другой стороны вагона открывались и закрывались, но входили и выходили чужие люди, Степан не показывался. Не было видно и дронниковских. Может, их хотят всех ссадить? Вот сейчас остановится поезд, и они останутся...

Тревога Феде нарастала. Он то вставал, то садился.

Наконец появился возбужденный, раскрасневшийся Степан, сел на свое место, подмигнул Феде ободряюще.

— Отпустили? — сочувственно спросила старушка.

— А то! — лихо отвечал Степан. — Штраф хотел сорвать! Вот гад, а? Это с меня-то, фронтовика, и штраф! Ну я ему...

— А ты ему чего?

— А вот так рубаху распахнул: на тебе! видишь? вот, полюбуйся.

И он распахнул рубаху на груди до самого жояса, обнажил свои страшные шрамы, грудь Степана была буквально исковеркана. Сидевшие поблизости женщины ахнули, старушка пробормотала:

— Господи боже! Да как же ты еще жив-то?

— Я весь такой, и ниже точно то же, — с вызовом сказал Гараня. — Могу показать, не жалко. Перепахан, и заборожен, и осколками засеян... У меня в сердечной сумке два осколка — так врач сказал. Три хирурга зашивали — утомились, зашивавши, а нитки кончились. А он что со мной хотел сделать? Хошь — бери меня голыми руками!

Степан, ставший в эти минуты именно Гараней, засмеялся и от удовольствия головой покрутил.

— Испугался! Ладно, говорит, катись...

— Застегнися, герой, — сказала проходившая мимо проводница в шинели. — Этот молоденький, потому и отпустил. Погоди, нарвешься на старого.

— Зин, ну ты меня знаешь, — намекая на что-то, сказал проводнице Гараня. — Меня ж не так просто...

Молодой милиционер, который выводил его, прошел мимо, не взглянув на Степана.

— У меня три ордена фронтовых, милый ты мой, — сказал ему вслед Гараня. — Я столько раз через фронт ходил, сколько ты на горшок. Туда належке, обратно с немцем. Я их, гадов, по выбору брал — только крупных, чтоб чином не ниже обер-лейтенанта, понял?

— Развоевался, — сказала проводница уже поласковой, проходя еще раз.

— Ну, Зин, ты меня знаешь...

Дронниковские тоже вернулись на свои места заплаканные, удрученные. Степан сходил к ним, поговорил, вернулся.

— Оштрафовали клух, — сказал он, морщась то ли от боли, то ли от досады. — По сто рублей содрали с каждой. На испуг взяли. Видят, бабы бестолковые, с кого еще сорвать? С них, раз с Гаранина не удалось. Вот так-то, Федюха: как в улье у пчел, не получается. У нас другие порядки.

Старушка, сидевшая напротив, ласково смотрела на него.

— А квитанцию дали? — спросила она.

— Какую квитанцию?

— А вот что оштрафовали.

— Что ты, бабушка! Кабы они в государственный карман мзду-то собирали, а то ведь в свой собственный: на выпивку! Квитанцию... — проворчал Степан. — Попадись эти мародеры мне на фронте... Слушай, — сказал он опять появившейся проводнице, — поищи гармонь, я тебе сыграю, как в прошлый раз. Поищи...

И вот чудно! — та нашла ему где-то гармонь, и Степан ушел к ней в служебный чуланчик, откуда через некоторое время послышалось:

Бывали дни, гуляли мы,
Я по три дня не ел...

Всю ночь Федя не спал. Боялся, что опять придут милиционеры и заберут-таки Степана. За ним-то как за каменной стеной, а без него пропадешь.

13

— Перовский рынок, — сказал кто-то рядом, и Федя вздрогнул.

Нет, никто не говорил — это он задремал, ему и приснилось.

За окнами мелькали огни большого города, светало.

Высадились на бестолковом, суетливом Савеловском вокзале, где Федя сразу слегка ошалел от сутолоки и многолюдья. В этом состоянии ехал и в трамвае, держась за Степана. Потом они, двое деревенских со своими котулями, вошли в одну из дверей огромного дома, оказались в какой-то квартире, вернее, в коридоре ее, заставленном шкафами, табуретками, калошами, вешалками и непонятного назначения предметами. Степан называл кого-то Иннокентием Ильичом, много раз извинялся, велел Феде

вытащить из своего чемодана две пары валенок и завернуть каждую отдельно во что-нибудь — это взять с собой, а остальное оставить тут, упихнув за шкаф. Сам он сделал так же, и с этими свертками валялы отправились на Перовский рынок.

— Держи ухо остро, — наставлял Степан. — Тут шпаны всякой полно, особенно на рынке. Продавай сам, без меня — нам вместе нельзя ходить: заметнее. На маклака нарвешься — пошли его подальше.

— Кто это — маклак?

— Вот он-то и есть настоящий спекулянт: сам не работает, только перепродает. Не отпускаяй товар из рук, понял? То есть давай не всю пару разом, а по одному сапогу. Сначала получи деньги, а потом отдавай... Гляди, Федюха, тут не Пятины, а матушка Москва: рот не разевай. Далеко не ходи, крутись в толпе, меня не ищи, я тебя найду. Не бойся, не потеряю.

Пришли на Перовский — народу тут было как на вокзале. Длинные крытые прилавки, торговые палатки вокруг — это знакомо по Калязину. Так и казалось: вот отойдешь сейчас за этот забор — и откроется площадь, где стоят подводы в ряд и лошади хрюпают сенцом. Интересно, можно в Москву приехать на санях? Вот, скажем, на Серухе.

Федя пробирался в толпе, крутя головой: говор вокруг такой необычный — никак не привыкнешь. Еще в трамвае ехали — дивился: очень уж акают москвичи. Если примерно на пятинский обиход, получится «карова», «барана», «пайдем пагуляим». Смешно...

— Продаешь, паренек? — послышалось над ухом.

Женщина уже щупала его валенок, торчавший из-под мышки. Повертела его так и сяк, помяла, спросила цену.

— Ну-ка померяю... В самый раз, гляди-ка.

Федя держался начеку, в любую минуту готов был отобрать валенок назад.

— Другой, — потребовала она.

Он не давал, пока она не вернула первый.

Мимо них ходили, толкали, спрашивали, почем валенки.

— Ладно, беру, — сказала женщина и, открыв свою сумку из черной кирзы, стала искать, по-видимому, кошелек.

У Феде замерло сердце, как замирает оно при рыбной ловле, когда вдруг дернется и утонет поплавок.

— А где же... Ой, вытащили! Деньги вытащили! — с отчаянием сказала она. Сквозь вспоротое дно сумки вдруг выглянули ее шевелящиеся пальцы — надрез был сделан чем-то очень острым. — Положила деньги, — растерянно объясняла женщина окружающим и Феде, — вот сюда, под эту подкладку: тут, думаю, надежней всего, не догадуются — не вытащат. И ведь несла-то в руке, вот так помахивала — когда и успели? Ну ворье!

Она заплакала; Феде было жаль ее, но он крепко помнил наказ Степана Гаранина: никому не верь, товар держи крепко.

— Уж больно хороши валеночки, как раз по ноге, — горевала женщина со слезами на глазах. — Ну-ка, паренек, отойдем сюда, за торговую палаточку, тут у меня знакомая работает, займу у нее.

Но Федя тотчас сообразил: «Обжудить хочет!» Ишь, суетливая, и глаза бегают, и плачет-то притворно.

Он помотал головой и отступил от нее.

— Миленький, да ты не бойся! — взмолилась женщина. — Не веришь — постой здесь, я сейчас прибегу. Только не продавай никому эту парочку.

Она исчезла, а к Феде подошла грозная, суровая старуха в шали, повязанной поверх шапки. Ни слова не говоря, отобрала у него валенок, помяла головку морщинистыми пальцами, вернула, взяла другой и тоже помяла.

— Закартошил? — спросила она вдруг.

Федя поразился: откуда она знает? При валке хитрые валялы иногда для крепости втирают в головку и в пятку размятую картошку: высохнет валенок в печи — станет будто каменный.

— Купила в прошлую зиму, а они до первой лужи, — пробормотала старуха. — Намокли и распозлились. Ишь, жулики...

— Я не закартошивал! — гневно сказал Федя.

— Вижу, вижу, — примирительно отвечала старуха, щупая валенок изнутри. — Неуж сам валял?

— А то кто же!

— Молодец... А у меня двое таких ухарцев, как ты, и оба бездельники. Хоть бы ремеслу какому научились! Нет — футбол гоняют. — Спросила цену, отсчитала деньги, ворча: — Сына убили, вот с внуками маюся.

Едва она отошла, тотчас появилась первая покупательница:

— Ну слава богу! Выпросила в долг до вечера... Ну-ка, дай я еще раз примерю.

Примерила один сапог, потом другой — Федя держался настороженно. Он дважды пересчитал ее деньги, и только тогда отпустило его напряжение торга — повеселел, заулыбался. Зря подумал плохо об этой женщине, ничего в ней не было подозрительного.

Поискал глазами Степана похвастать — куда тот исчез? Ага, вон он! Расторговался уже и идет сквозь толпу...

14

— Теперь мы с тобой, Федюха, кумовья королю!

Торжество распирало Степана, он победно поглядывал по сторонам, отчего обрел вид озорной, мальчишковатый. Что касается Феде, то он... у него в душе было большее, чем просто радость от удачной торговли: пять пар, сваланных им самим, превратились в тугой сверточек денег — столько-то он раньше и в руках не держал. Сверточек этот был спрятан глубоко за пазухой и странным образом согрелся.

Только теперь, кажется, они заметили, что стоял теплый весенний день, с крыш капало, воробьи московские истинно по-деревенски купались в лужах.

— Вот чудно, Федюха, — дивился Степан, ласково похлопывая себя по сытому животу (в столовой побывали). — Думал, кому нужны валенки в марте-то! Поди ж ты, спрос есть. А раз так, то поедем-ка мы с тобой в Колошино за шерстью. Тут недалеко, живенько обернемся.

Покупать шерсть? Федя мгновенно представил себе весь этот страшный круг: опять щипать — на шерстобойку — снова — валять, красить, отгирать на скребнице... Опять зябнуть и обливаться потом, опять бояться милиционеров...

— Не с пустыми же руками тебе ехать домой, — сказал Степан, видя его нерешительность. — Не захочешь сам валять, продашь кому-нибудь подороже — опять барыш. Ты слушай меня, я тебе не присоветую безделицы.

Сели в трамвай и долго ехали; потом на автобусе... Потом шли пешком мимо каких-тостроек, сараев, куч земли и ям, мимо грязных сугробов и канав. И пришли наконец в такое место... хуже-то и представить себе невозможно.

— Свалка заводская, — коротко объяснил Степан. — Кожи тут выделывают, а шерсть и щетину соскребают и выбрасывают.

Свалка — несколько огромных куч; по этим кучам ползали (казалось, именно ползали, потому как были согнуты в три погребели) две женщины самого страшного вида: грязные, растрепанные, багроволицые. Они собирали клочки шерсти, что топорщились поверху, у каждой была корзина в опухлых, красных руках. Еще одна примерно такого же вида женщина поднималась от ручья по скользкой тропинке, грязная вода стекала из тяжелой корзины ей на подол платья, если это можно было назвать платьем...

Тут же, рядом с вонючей свалкой лепились друг к другу несколько дощатых сарайчиков; из одного вышел мужик, не мокрый, как эти, — просто одетый в грязное, и тоже крепко подвыпивший. С ним Степан поздоровался за руку, как со знакомым; они переговорили коротко, и Степан крикнул:

— Заходи, Федюха!

А тот все еще оглядывался: бабы, что ковырялись в отвратительных кучах, спустились теперь в низинку, где тек грязный ручей, и стали полоскать в нем собранное. А та, что уже прополоскала, раскладывала клочки на досках и кусках ржавой жести, разложенных на мокром и почти черном снегу, — это значит проветрить и сушить на солнышке.

Вид этих людей поразил Федею — и такое может быть на свете? Он смотрел на них со страхом и — как на больных — с жалостью и смущением. Степан опять позвал его, и Федя зашел в сарайчик — вонь здесь душила прямо-таки до тошноты. Шерсть лежала на полу и на полках уже высушенная, увязанная в тюки или просто так, навалом. Степан набивал ею брезентовую сумку, мужик стоял рядом с ним, держал безмен — собирался вешать.

— Давай действуй, Федюха! Я договорился с Пал Митричем: товар подходящий, цена тоже. Выбери, которая посуше.

Да, это была та вонючая вторина, какую Федя покупал у Прасковьи Зыкиной в деревне Ергушово. Вон, значит, откуда она... Он молча, страдая от отвращения, стал накладывать в наволочку, в которую заворачивал валенки, выхода на рынок.

— Набивай больше, Федюха, не покаешься, — советовал Степан.

Когда уже удалялись от свалки, Федя все еще оглядывался, и выражение его лица позабавило старшего товарища.

— Что, страшно? — посмеивался он. — Ад крошечный, преисподняя. Да, парень, по-разному люди зарабатывают кусок хлеба. Еще и так.

— Они на водку, а не на хлеб, — возразил Федя.

— Не спеши осуждать, — строго сказал Степан, — не спеши. Человек что омул: много всякого горя может вместить. Я два года воевал, полгода лежал в госпиталях — всякого навиделся.

— Могли бы пойти куда-нибудь на фабрику. Остальные-то москвичи вон какие чистенькие.

— Значит, не могут. Осудить легко, на это большого ума не надо. Мне этих баб жалко. Как подумаю: каждая из них девкой была когда-то.

— Ну вот... Зачем же они! Смотреть противно...

— А чем мы лучше их? Разве моя стируха краше этой свалки?

— У нас совсем другое, — не согласился Федя. — Мы хлеб сеем, город кормим. А валяем — это от нужды, а не от жадности.

— Они тоже от нужды. Разобраться — не в отбросах они копаются, а в деньгах. Будь у нас такое в Пятинах — вся деревня этим занималась бы.

— Нет, — опять не согласился Федя. — Кто бы землю пахал?

— Пустое, Федюха! Вот ты взял полпуда, я пуд — считай, сколько мы с тобой оба им отвалили. А небось за день не одни мы тут побывали. Точно говорю: это не свалка, а золотой прииск.

Возвращались опять на автобусе, на трамвае...

— Ну Митрич! Ну Змей Горыныч! — посмеивался Степан. — Он у них царь и бог. И подпойт вовремя, и фонарь навесит под глаз любой из бабенок. Ухорез! Угодил как мышь в крупу.

Пассажиры осуждающе — а некоторые и гневно — оглядывались на них: от мешков пахло скверно. Федя отводил глаза: и стыдно было, и досадно, и зло брало.

На рассвете поезд пришел в Калязин. Пятинские валялы слезли, на перроне Степан опять оглядывался настороженно.

— Твою мать... — сквозь зубы ругался он. — Будто не у себя дома, а на вражеской территории. Когда эта война кончится?

Было довольно морозно. Туман стоял плотный и слоился куделями, будто хорошо избитая лицевочная шерсть. Ветки привокзальных деревьев, кусты, покосившийся забор и сами станционные строения были мохнатыми от инея. Феде подумалось, что вот такими же мохнатыми, в пушистых клочках бывают малые валки — бегунки и ленивцы — у шерстобойной машины. Его даже развеселило это сравнение.

Когда уже отошли от станции, отпустило их душевное напряжение последних дней; оба они этак расслабились, шагая твердой хрусткой дорогой, и все радовало Федю Бачурина. Теперь и он нес свои вещи, перекинув назад и наперед: позади наволочка с шерстью, впереди поддерживаемый руками, более тяжелый, чем задний котуль, чемодан. Из чемодана, казалось, пахло московскими сайками, и Федя старался не думать о них, иначе неудержимо хотелось остановиться и достать одну саечку.

Еще в поезде, когда подъезжали к Калязину, он вытащил из чемодана горсть сухого компота и положил в карман. Теперь доставал оттуда то мягкие дольки яблока, нежно-кислые, запачканные (а где такие растут? Небось на Украине или на Кавказе?), то сладкие горошинки изюма, то попалась большая долька сухой груши вместе с черенком. Он шел, мечтательно улыбался, а перед глазами плыло: крыши вагонов, по которым они со Степаном шагают... шумная толкучка Перовского рынка.. Савеловский вокзал и позванивающие трамваи...

Вспомнилось, как на Перовском-то зашли в столовку, где Степан заказал (Федя даже засмеялся теперь) сразу двенадцать порций манной каши. Официантка удивилась, посмотрела на них насмешливо, а Степан ей: «Муж-то жалует?» И она сразу переменялась, поласковой стала и уж на Гаранина Степана поглядывала свойски. Они очистили все двенадцать тарелок, принесенных ею, Степан — Феде: «Поправилось?» Чего и спрашивать было! «Давай еще дюжину», — сказал Степан официантке. «Потом еще столько?» — спросила она. «Там видно будет. Мы люди простые, питаемся только манкой, как пчелка медом. В один присест поедим — месяц сыты».

Живот и нынче еще помнил вчерашнюю кашу.

Дорога, по которой шли — Степан впереди, Федя сзади, — обтаяла в последние теплые дни, а ночами ее опять сковывал мороз. В низинках ее уже размывала вода.

— Еще день-два — и водополища начнется, — говорил Степан, оборачиваясь на ходу. — Все, весна!

Вошли в лес, и тут солнце, только что вставшее, вызолотило верхушки заиненных осин. Тишина была — ни ветерка, ни птичьего свиста, только бодрый хруст под крошащейся под ногами путников дороге.

— Красота! — бодро сказал Степан. — Мы победили, Федюха! Верно я говорю? Мы победили... Нас не так-то просто... Голыми руками не возьмешь, как ежей!

Теперь, когда вокруг все было так привычно и знакомо — лес, поля, кусты, деревни по сторонам дороги и сама эта дорога, низинные, наполненные талой водой, — мир, оставшийся позади, казался Феде Бачурину... как его определить? Это был неправдоподобно другой мир, и все тут. Совершенно другой, ни в чем не похожий на здешний, к чему привык. Даже не верилось, что побывал там, — уж не приснилось ли? Будто рыбка, выскочившая на берег, чудесным образом вернулась в воду и плыла теперь, радуясь родному и дивясь тому, что было, — вот такое чувство владело Федей.

— Степан Клементыч, ты согласился бы в Москве жить?

— Я? А чего ж... пожил бы.

— В большом доме? В городской квартире?

— А чего ж! Не деревенскую же избу возле Савеловского вокзала ставить.

— А где б ты работал?

— Да хоть где: на заводе, на железной дороге... хоть улицу мести — лишь бы деньги платили. А если б приладиться сапоги валять, так я и вовсе забогател бы — ого! Я у Иннокентия в квартире в ванную заглянул, примерился: там каточек поставить, горячая вода есть, вентиляция работает — валяй себе на здоровье! Конечно, квартира не его, там три семьи, а если б дали мне целую-то квартиру — я б всю Москву в валенки обул... Себе радио купил бы. Видел у него радио? Вот то-то.

Вдруг открывшиеся возможности воодушевили Степана Гаранина, он зашагал веселей.

— Чего не жить! Хлеб в магазине, пиво в ларьке... если еще огородик приткнуть где-нибудь, чтоб картошечка, лучок с чесночком, то и се... кум королю!

Федя засмеялся: представил себе огородик возле Савеловского вокзала и корова Гараниных Ромашка тут же привязана... А мимо трамваи идут-позванивают, Степан картошку сажает.

— Пожил бы! — бодро говорил он, оборачиваясь к смеющемуся Феде. — А только потом опять вернулся бы в Пятины.

Федя озадачился:

— Чего так?

— Да в гробину их мать, Федюха, не век же так будет! Ну, авось переменится когда-нибудь! Мордуют, мордуют да устанут, а? Ну под себя же гадят, сволочи!

Степан заругался матерно и замолчал, шел рассерженный — не подступись.

15

Пасха пришлась на водополищу. Вернее, на ту пору, когда большая вода уже схлынула, поля обнажились, снег сохранился лишь в затеньях — под деревьями, с северной стороны строений, в ямах.

В Страстную субботу через Пятины потянулись в Знаменское старушки и пожилые женщины, каждая несла в руках узелок с куличом — святить. У одной богомолки это сдобный каравай из белой муки, сбереженной за долгие месяцы, у другой — ржаной хлебец, у третьей — просто лепешка. И конечно, в каждом таком узелке было крашеное яичко, а то и два.

Некоторые шли с пустыми руками — откуда взяться куличу-пасхе, коли нет муки, и кто сложит яичко, коли нет куриц? Запасы у многих кончались, но уже можно было переходить на подножный корм: крапивка, щавелек...

Федя привезенное из Москвы поел быстро — много ли и привез-то! К тому же крупу манную пришлось обменять на два ведра картошки, а то нечего будет садить в огороде, семенную-то всю съел. Долго крепился, но наконец сходил тайком на колхозное поле, однако же ему не повезло: собирать тошнотики, прошлогодние картошины, повадились и ергушовцы, ихний колхоз совсем бедный, на своих полях они давно уже все повыбрали. Но, может, и хорошо, что набрал всего с десяток тошнотиков: и сварил, и растолок, и лепешки испек, но есть это как? Больше-то десятка тошнотиков и не одолеть.

Так что святить на Пасху было нечего, да если б и испек что-то, разве понес бы! Не мужичье дело...

Когда-то в округе было несколько церквей: и в Баулине, и в Высоком Борке, и в Верхней Луде, — теперь служили только в знаменской, и, как в прошлые годы, во время пасхальной всенощной церковь оказалась набита битком, а народ все прибивал; старые хотели помолиться, а молодые просто так потолкаться, посмеяться — короче, повеселиться, как на беседе.

В самой-то церкви торжественная служба, а вокруг и особенно на паперти толпа гомонила; девчата похихикивали, парни курили, поплевывали семечками, ребятина тузила друг друга.

Вчетвером — Федя, Вовка, Мишка и Костяха — протиснулись пятинские в церковь. Ну что там: старушки молятся, то и дело осуждающе шипят: «Перекрести харю-то, безбожник!» Уж от одного этого беспокойно было, не по себе. И тут Федя увидел в толпе девичье лицо, показавшееся ему... то есть он подумал, что это может быть... или ошибся? Снова глянул туда, где у стены жались кучкой незнакомые девчата... У Феде екнуло сердце, и он стал поспешно вытискиваться вон, чтоб она не увидела его случайно.

Почему не хотел, чтоб увидела? А бог ведает! Да чего там: стыдно было... Она знала его в самую жалкую пору, еще когда он не сваял пять пар валенок и не съездил в Москву когда решился — вот дурак-то! — пойти по миру: ведь явился за милостыней, конечно, за милостыней, как нищий, чего уж там! Она сразу вспомнит, как он сказал тогда: «А потом вы меня покормите».

Толстая старуха зашипела громко:

— Да что ты, леший! Задавил меня вовсе.

Во какая злая попалась! И праздник ей не праздник.

На этот ее возглас Тамара Казаринова из деревни Лари оглянулась; на мгновение Федя и она встретились глазами.

— Экой, прости господи, жердяй! — продолжала рутаться старуха и, крестясь, окидывала его злым взглядом. — Большой, а без гармоньи.

Федя, красный весь, уже от дверей еще раз оглянулся и увидел, что Тамара, глядя на него, смеется. Нет, она не обидно над ним смеялась, совсем нет, а как бы ободряла его... она опять сочувствовала ему! Так понял Федя, и тут ему удалось вытиснуться вон.

Немного погода, когда отдышался и поуспокоился, опять захотелось протиснуться в церковь и увидеть Тамару, так нарядно одетую — в цветастой шаленочке, заправленной в воротник пальто. Нет, не решался войти. А так хотелось!

Вдруг возгласы послышались из церкви: «Ай! Ой!» — и знакомый парень из Веселухи нырнул в сторону, неся что-то в руках. Ну да, чей-то узелок. Вокруг него тотчас погрудились, каждый отламывал себе кусок от круглого кулича, а парень, уминая за обе щеки, рассказывал, как из-за чужих спин вырвал пасху у какой-то старухи. Почему-то всем было смешно.

— Давай еще! — подзадоривали в темноте. — А ну, кто пойдет?

Когда молящиеся повалили из церкви для крестного хода, во всеобщей толчее поживились самые нахальные — вырывали пасхи из немощных старческих рук и тотчас исчезали в темноте. Слышались вскрики, а то и ругань.

Мишка с Зюзей, появившиеся откуда-то, потянули Федю за кладбищенские липы.

— Иди сюда! У нас тоже есть! А Костяха где?

— А ну его! Пусть не зевает. — Мишка торопливо разламывал кулич-пасху. — У девки вырвал и тягу. Зюзя меня загородил. Молодец, Вовка!

— У какой девки? — машинально спросил Федя, не в силах устоять перед соблазном: ему отломали изрядный кусок пасхи.

— Да чужая какая-то, черт ее знает! Их там целая толпа. Дальние, кажись... из Верхней Луды, что ли.

— Из Ларей, — уверенно сказал Зюзя. — У нее отец хромоногий. Я их на маслянойке видел.

— Она тебя узнала? — спросил Мишка.

— А я-то тут при чем! — хохотал Зюзя. — Не я же, а ты у нее выдернул... Ты чего, Федюха! Смотри-ка: не ест. Сытый, значит.

— Его бог покарал: кусок встает поперек горла.

— Ну и правильно: на чужой каравай рот не разевай.

— О, смотри-ка, тут пара яичек!

— Дай сюда! — Федя грубо отобрал одно. Второе ему не дали, на его глаза облупили и съели.

То пасхальное яйцо несколько дней лежало у Феде на столе, будя в нем довольно сложные чувства. С одной стороны, он знал, что оно и покрашено Тамарой Казариновой, и ласкано ее руками, и любовались им ее глаза — все это он сознавал, волнуясь. Но в то же время ведь краденое! Вернее, отнятое, добытое грабежом...

Через несколько дней, вздыхая, Федя осторожно облупил и съел-таки его, а нарядная скорлупа еще долго лежала, радуя и казня... он не в силах был выбросить ее.

16

Как и в прошлые годы, пахали сначала Белый Угор — это поле повыше прочих, тут земля подсыхала раньше. Потом перешли на Клюкшино, оттуда на Сиротининский Отруб.

Выезжали в поле рано, едва взойдет солнце; в середине дня лошади отдыхали, пахари спали на лужку под жавороночий звон. Комаров еще не было, спалось сладко, но... избави бог увидит Дарья!

Председательница дала пахарям по полпуда ржи каждому, боясь, что иначе не потянут они работу — кого тогда ставить за плуг? Федю аванс подбодрил сильно. Он смолот рожь у Никишовых, сам замесил хлеб, сам испек: получился солоделый, корка отстала, мякиш будто из глины, липкий, не ноздреватый, но это был запашистый и вкусный хлеб! По утрам, собираясь в поле, брал с собой ломоть, а уж там ел, посолая круто, — силы сразу прибавлялось.

После посевной стало немного полегче, посвободнее, и тут Костяха Крайний купил вдруг в Калязине велосипед. Ну, Сентюрины жили покрепче прочих; поговаривали, им от бабки что-то досталось, вот Костяхина мать и раскошелилась. Этот велосипед, сиявший никелировкой и свежей краской, совершенно свел с ума не только самого Костяху, но и Мишку с Вовкой; а Федя полез в постельник, набитый соломой, выкопал заветный тугой сверточек, пересчитал деньги: не может ли он тоже купить эту сиятельно красивую вещь? Вышло, что может. Денег как раз хватало, только уж после такой покупки не останется ничего, разве что несколько мятых рублей.

Костяха учился ездить на велосипеде аккуратно перед бачуринским домом — тут луговинка ровная. И видеть это было просто невыносимо — велосипед сверкал на солнце спицами, празднично позванивал в звоночек, сочно поскрипывало седло; Костяха ростился, крутил головой: смотрит ли кто, как он катается. Он снисходительно давал поучиться, но это ж надо было просить у него! Тут Костяхина воля — дать или не давать; он сразу стал выше их, и все вдруг оказались ему должны.

От мук зависти Федю излечило вот что чуть дальше, за луговиной, возле аверинского огорода гуляла привязанная на веревочке дочка Хваленки; ее так и звали — Дочка. Она смотрела и на велосипед и на его владельца с глупым недоумением, и это было очень смешно. То есть Федя увидел вдруг, как смешон Костяха, выделывающий круги по луговине, если смотреть на него глазами Дочки. Ну что такое велосипед? Он молока не дает, на нем ни навоз со двора не повезешь, ни воды из колодца не достанешь, не пашет он и не сеет, а если сломается, то сразу не будет стоять ничего. Скотина ломает ногу — ее на мясо; а если отвалится колесо у велосипеда, тогда что? А ничего, просто железяки, вот и все. Так какой прок от него в хозяйстве? Разве что пофорсить. Баловство это, напрасно так ростился Костяха.

Совершенно другое дело — Дочка. Вот она подрастет и станет коровой. Если бы ее купить, а не эту игрушку — велосипед?.. И так ясно представилось Феде: вот стоит она у него во дворе, уже взрослая корова... вот он выходит к ней с подойником...

Интересно, сколько за нее запросит крестна? Неужели не хватит денег? Что бы такое продать, чтоб выручить их? У него есть шерсть, восемь кило. Что еще? Сено с усадьбы, которое накосится нынешним летом... Нет, сено продавать нельзя — чем тогда кормить Дочку?

Он отправился к Авериным поторговаться: за спрос ведь денег не берут.

— Нет, Федюшка, — сказала крестна, вздохнув. — У Вальки свадьба на носу, я ей обещала Дочку.

Федя пригорюнился: все так хорошо выстраивалось — он вырастит из теленка настоящую корову! Это была бы его собственная корова, одному ему принадлежащая. И вот поди ж ты...

— А ты вот что, парень, — посоветовала крестна, подумав, — раз у тебя денежки-то завелись, купи обратно полкоровы, а? Я тебе продам. Мне одной-то не

под силу держать Хваленку — сена со своси усадьбы не хватит, а покупать накладно. Да и какая у меня семья будет! Валька уйдет из дому, останемся вдвоем с Люськой. Давай-ка прикинь, может, и сговоримся.

Федя ушел от нее взволнованный: не о теленке речь, который когда-то еще вырастет! На половину коровы денег у него явно не хватало, но ведь речь шла о Хваленке! Вернуть ее во двор значило гораздо больше, чем занять полкоровы. Хваленка помнит прежнюю хозяйку, помнит ее руки и его знает, Федю. Выходя во двор, он будет слышать ее дыхание, и родной дом станет не пустой, а одушевленный.

Вот только где взять денег? За шерсть много не выручишь: вторина все-таки, не лицовка. Если же не продавать, а, наоборот, прикупить лицовочки и свалить бы пар шесть-семь валенок да съездить в Москву... Можно и десять сделать да продать! Ведь это, погоди-ка, сколько он выручил бы денег...

Легко так подсчитывать-то, а свалить каково! Уже наступила сенокосная страда: к вечеру всякий день Федя устал так, что только б до постели добраться. К тому же дни стояли жаркие и бесконечно долгие, а ночи коротки настолько, что, за день наработавшись, не выспишься. Нет, не до стирухи теперь. Единственное, что пока было ему посылно, кое-какие хозяйственные хлопоты.

Но что же, время есть: крестна половину Хваленки будет продавать не раньше осени. Значит, в сентябре или октябре он должен обернуться в Москву на Перовский рынок. И уже пробудилась мысль, заставляла приглядываться к огороду: неплохо бы устроить собственную стируху. Не век же ходить в чужую. Раз пустят, два пустят, а потом скажут: нет, парень, ты мешаешь, надо свою иметь. Но огород бачуринский открыт со всех сторон; не было тут густого вишенника, как у Степана, и не было двух огромных елок, как у Никишова Ивана.

17

Степан Гаранин уже свалил двенадцать пар и надумал поехать на этот раз в Ленинград вместе с Иваном-безруким. но опять свалился, и вместо него отправилась жена Рая.

А на другой день в Пятины приехал калязинский милиционер Белов, взял с собой понятых — и к Гараниным с обыском. Отобрали у Степана сколько-то килограммов шерсти, разворотил Белов печь в стирухе, выломанный котел шархнул о камень, после чего составил акт и вместе с понятыми отправился прямым ходом к Субботиным. Там тоже разорил стируху, но ни шерсти, ни валенок не нашел, только колодки, по которым ясно было, что они недавно из работы.

К этому времени переполох в Пятинах стал всеобщим: и бегали, и прятали, и замирали от страха, и охали-ахали... Федя Бачурин примчался с Ямского луга, где клали сено в копны, и проворно спустил шерсть в колодец. Это у него было обдуманно и вымерено заранее: на веревке спустить к самой воде, но не в воду. Колодец глубокий, в нем темно, ничего не разглядишь.

От Субботиных пришли с обыском и к Никишовым, но Иван-безрукий успел спрятать все, что нужно прятать; на него акт не стали составлять и больше ни к кому не пошли, на том успокоились.

Рая, жена Степана, явилась домой в этот же день зареванная: схватили ее в Калязине еще вчера, валенки отобрали.

— Идем уже к станции,— рассказывала она,— Иван Субботин да сват Митрий Коробков, втроем сговорились ехать. Они-то впереди шагают, а я сзади со свои котулями. Догоняет меня на мотоцикле... не милиционер даже, а какой-то дежурный, что ли... спрашивает: валенки, мол, несешь? Ну, я от него бежать. А он за мной... на мотоцикле. Я по картошке... огороды там чьи-то, думаю, по картошке-то твой мотоцикл не пойдет. А он в объезд! Я от него в крапиву — крапива высоченная,— ляпнулась там и лежу. Мотоцикл-то, слышу, фыркает неподалеку, пофыркал да и замолчал, вроде уехал. Ну я и высунулась. А он стоит! Однако спиной ко мне, не видит. А какая-то баба из городских и показывает ему: вон-де, мол, она, держи ее! Я было опять бежать — где там! Догнал, схватил, повел. Я иду, ору... Дорогой спрашивает: кто еще с тобой? А я ему: никого не знаю и тебя, паразита, впервые вижу.

— А Иван? — спрашивали Раю.

— Ивана-то взяли уж на вокзале. Сват Митрий убежал, а он нет. Вот привели меня в милицию. Думаю: ни за что не признаюсь, кто я. Навру все: и фамилию и деревню. А навстречу по коридору идут два милиционера, один другому и говорит: знаешь, мол, кто это орет? Степки Гаранина баба, который из Пятин. Чего уж тут соврешь.

коли узнали! Следователь стал допрос с меня сымать, я реву: гражданин следователь, опусти, ребенок дома маленький, пятый месяц ему. А он: что же ты про ребенка-то не подумала, когда спекулировать поехала? Ну что с ним говорить! Валенки отобрали, заперли в кагалажку. Приехала сюда, а тут...

Степан после обыска выпел на работу вместе со всеми. Был подозрительно весел, хоть и не пьян, песни пел:

Бывали дни, гуляли мы,
Я по три дня не ел...

— Степан Клементыч, как же теперь? — осторожно спросил Федя. — Штраф небось дадут?

Степан поглядел на солнце, погладил левую сторону груди.

— Нет, Федюха, не штрафом пахнет: упрячут, гады, года на два в тюрьгу. На этот раз не отвертеться, у них план, им отчитаться надо: меры приняты, столько-то спекулянтов поймано.

— Посадят?.. Как же так! — несколько раз в растерянности повторил Федя.

— Хоть так, хоть этак, все равно хана. Отстрелялся я, парень... патроны на исходе.

Он стоял, опираясь на вилы, и видно было, что плохо ему: кривясь, провел ладонью по бледному, в испарине лицу.

— Пустое, Федюха! Когда никогда... День больше, день меньше — какая разница! — И махнул рукой этак бесшабашно: гори, дескать, оно ясным огнем! — Приходи ко мне, подарю каток и весь валяльный инструмент. Можешь и скребницу забрать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское..

Рожь жали и серпами и жаткой; возле крытого тока уже высились круглые скирды из ржаных снопов — им стоять до осени: председательница сказала, что в сентябре в Пятины придет трактор с молотилкой. Но возле ошепковой риги, не очень-то надеясь на технику, каждое утро молотили щепами — этой соломы каждый выпрашивал себе у председательницы беремья: только такая годилась в банные дни. В Пятинах, как и во всей округе, бань не было, мысли в русских печах — так повелось испокон веков. И вот тут нужна именно прямая солома: ее постелют и на шестке, и дальше на поду печи. Залезешь туда, загородишься заслонкой и попаришься с веничком, и помоешься, и вылезешь чистенький. А без подстилки как?

Федя выпросил себе целый воз: крышу крыть. Та, что от молотилки тракторной, на это дело не годилась. Привез, аккуратно сложил возле дома и приступил не мешкая к делу: старую, поросшую крапивой да лебедой, сбросил вниз — сколько оказалось в ней воробьиных гнезд! Изба, оголенная сверху, стала похожа на объеденную рыбу. Спешил: ну как начнется дождь! Пришлось повозиться с прогнившими рогами стропил — они шатались и вываливались, а без них как будет лежать жердины? Да и жердины тоже прогнили — опять забота: днем, таясь от лесника, заготовил в лесу несколько штук и спрятал в самой чаще, а ночью привез. Верно говорят: не украдешь — не проживешь.

И вот когда стропила были готовы, с утра пораньше начал выкладывать соломенные снопы тесными рядами, начиная снизу, а потом выше и выше, пригнетая сверху жердями. А ведь один все! Никто снизу не подает — за каждым снопом спускайся, а пока лазишь туда-сюда по лестнице, ветер треплет уложенное наверху. Приходил Костяха, помог немного. Наведалась крестна — советовать. Никишовы от своего дома подбадривали: давай, мол, сосед, рядом с таким хозяином и нам повеселей жить.

Никогда он раньше не занимался этим делом, но видел не однажды, а перенять нехитро — один раз посмотришь и поймешь.

С крыши своей Федя поглядывал в сторону Гараниной избы: что там? Накануне Степан с Иваном-безруким крепко выпили, но не бузили, не кричали, а просто обнимал Иван Степана единственной рукой, а тот играл на гармошке, и оба пели. На этот раз не «Бывали дни, гуляли мы», а вот это:

Последний nonешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Залачет вся моя семья...

И верно, рано утром выла Анна Субботина, провожая безрукого мужа; и рыдала как по мертвому больная старуха мать Степана...

Примерно к полудню посмотреть, как будут судить, из Пятин пошли многие. Федя не вытерпел, бросил недокрытой крышу и тоже отправился: Дарья всех желающих отпустила — такое ей дали указание из Калязина.

Клуб был переполнен. Судья и еще двое сидели на сцене. Степан с Иваном — сбоку у стены. У другой стены, напротив, — прокурор. Федю поразило, что сапоги, сваленные пятинскими валялами, лежали на столе перед судьей с разрезанными от носка до пятки подошвами... Зачем? «А затем, — объяснили ему. — Экспертиза...»

— А почему только десять пар? — спрашивал дерзко подсудимый Гаранин. — Было двенадцать. Куда делись еще две пары?

Ему отвечали, что, мол, согласно протоколу... что ему не доказать про двенадцать.

— Ну ясно, — сказал на это он. — Васька-следователь будет одну мою пару носить, а вторую Белов или его начальник.

Подсудимого грозно попросили не оскорблять должностных лиц. Прокурор вообще разошелся — сорвался на крик.

— А где ты был, когда у Ивана руку из плеча вырвало? — в свою очередь закричал на прокурора Гараня. — И где ты был, когда меня на минном поле перепахало, заборонило и осколками засеяло? Ишь, орет на меня... А ты мою грудь видел? Хошь, покажу?

— Уж показывал, — бросил ему прокурор. — Подумаешь, герой!

Жены подсудимых сидели с детьми на первой, самой ближней к сцене скамейке. Рая испуганно уговаривала мужа: помолчи, мол.

— Нет, я спрашиваю, где он был, когда мы с Иваном кровь проливали на фронте? — не унимался тот.

— В тылу сидел, — угрюмо бухал Иван Субботин, на которого повлиядо бесстрашие Гаранина Степана в том смысле, что он тоже освирепел.

— Ты, товарищ прокурор, тут смелый. А вот там я на тебя посмотрел бы!

Женщина-судья пристрожила:

— Подсудимый Гаранин, веди себя прилично, иначе прикажу вывести из зала суда.

— Выводи. Пролетарию нечего терять, окромя своих цепей!.. У кого власть, у того и сила.

Дали Степану Гаранину и Субботину Ивану по четыре года тюрьмы и там же в клубе, взяли обоих под арест. Жен своих они выгородили — им ничего, хотя ясно было, что и Рая с Анной причастны к преступлению мужей.

— Если б не показательный суд, — вздыхая, говорили пятинские на обратном пути, — то меньше дали бы. Да еще если б они не ершились, Гараня-то с Иваном-безруким...

Федя вернулся с того суда как с материных похорон. и несколько дней приходил в себя, будто его там оглушили.

18

А между тем проходили престольные праздники, которые так или иначе отмечались в деревнях: Ильин день — в Ергушове, Спас яблочный — в Матреновке Преображенье — в Тиунове...

— Пойдемте в Лари гулять, а? — стал уговаривать Федя друзей своих, движимый непонятным для себя стремлением. — Там Успенье — праздник.

— Чего так далеко-то? — сказал Костяха. — Давай поближе.

— В Ларях парней — по трое на каждого из нас, — напомнил Зюзя. — Да если еще задорожские придут...

Не удалось уговорить их, и Федя решил идти один. Ждать, что когда-нибудь повезет и он случайно еще раз увидит Тamarу Казаринову, это все равно что стоять в поле и ждать, не пробежит ли заяц. В Успеньев день он добыл из сундука рубаху новую, надел кепку-шестиклинку, долго критически осматривал штаны, достал утюг — гладить.

Он даже в зеркало заглядывал, словно решая, а можно ли с такой-то рожей появляться в Ларях. Что же, рожа как рожа, не хуже других. Может, даже и получше. Честно говоря, ему даже нравилось его лицо: голубые глаза смотрят твердо, по-мужски, брови прямые, решительные: может, только губы... детские какие-то, да и волосы выгорели на солнце. Ну ничего.

В Лари он пришел уже в сумерках. Праздник там шумел всюду: под окнами большого дома гомонила толпа, гармонь наяривала, девки плясали. Федя осмотрелся и увидел Тamarу — она стояла тут же, возле палисадника, положив руку на поперечную жердь.

Он подошел, встал рядом, поздоровался тихонько, так, чтоб никто, кроме нее, не слышал. Она в ответ не отозвалась, только улыбнулась. Времени терять было нельзя: если зря займется, пусть скажет.

— Я из-за тебя пришел, — это он ей, и повторил: — Я к тебе.

Тут к ним придвинулись двое парней, подошел еще один, все трое стали нарываться на драку:

— Откуда такой здоровенный?

Федя отвечал миролюбиво, хотя ясно было, что не то им надо:

— Из Пятин. Сказали, у вас весело гуляют.

— А у вас?

— У нас престол в Иванов день

— Ну и что? Не нагулялся?

Спрашивали и теснили, теснили в сторону, за палисадник.

— Вася, дай ему.

И дали. С ног не сшибли, но кепка-шестиклинка улетела куда-то, подглазье вспухло, и губа оказалась разбитой. От соседнего дома закричали бабы, заступаясь, но на них не обращали внимания, ударили по правой руке повыше локтя чем-то твердым: палкой, наверно.

— Хромой отсюда!

Он отступил. А отступая, зашагал быстрее: не догнали бы, а то разохотятся и еще добавят.

Случившееся не столько напугало, сколько обозлило его. Не было раскаяния, что, мол, зря затеял, то и се: перед глазами стояла Тамара, положив одну руку на жердь палисадника, а другой теребя пояс.

И вот тут на обратном пути шальная мысль стукнула Федю в голову; именно стукнула, потому что такие мысли не приходят чинно и степенно: он представил себе, что в его собственном доме хлопочет... Тамара. Да-да, хлопочет в доме не как посторонний человек, а как хозяйка, наравне с ним. То есть, вставши поутру, топит печь, что-нибудь варит, печет... встречается с работы, собирает на стол. Пусть то же, что и у него на столе: вареная картошка, пареная свекла, щи из крапивы — что угодно! — но это именно ею сваренная картошка, ею паренная свекла и репа. Ведь это же... это же какое счастье — идти к своему дому и знать: он не пустой, в нем тебя ждут. И кто на свете живет один? Даже воробей находит себе пару и вьет гнездо в соломенной крыше. Вдвоем хорошо, а одного тоска замучит: впереди долгая зима...

Впервые придя в голову, эта мысль не ушла, а все более укреплялась, будто пересаженное откуда-то дерево пускало корешки, расправляло веточки. Федя уже прикинул, что, выдавая замуж свою дочь, Егор Казаринов не поступит так, что вот, мол, тебе Тамара, и все; он даст за ней приданое. Не об одежде речь, одежда само собой, а вот по хозяйству что-нибудь... Может быть, теленка даст, как крестна за Валькой... Или пару овец... Или хотя бы десяток кур. И теленка этого, и овцу с ягненок или двумя, и кур с петухом мысленно поместил Федя на своем дворе, и все пришлось к месту, будто двор того и ждал.

Во все последующие дни Федя часто улыбался, а иногда смеялся невпопад, удивляя своих приятелей, если те оказывались рядом.

— Ты чего? — спрашивал Задорный или Костяха сердито. — Смешинка в рот попала?

— Да так...

Прошла неделя — шальная мысль не давала покоя. И он решил: попросил у Костяхи велосипед съездить в Лари.

— Не дам, — сказал тот, даже не спрашивая, зачем да почему.

— Ну пойми ты, позарез нужно.

— Не дам же, сказал!

Пришлось признаться:

— Сватать еду, понимаешь? Нельзя мне пешком, самое бы лучшее на велосипеде.

— Кого сватать? Кому?

Вид у Костяхи был дураковатый: он не поверил. И только потом, наконец уразумев суть, долго смеялся, но велосипед дал. Просто из интереса, должно быть: что получится.

Все вышло так, как жених и запланировал: приехал средь бела дня, прислонил велосипед к ветле, как раз под окнами Казариновых — знакомая черная собака зарычала на него от крыльца, но не встала, продолжала лежать. Отряхнув штаны от пыли, солидно пригладил волосы, оглянулся — в окне маячило чье-то лицо, но не Тамарино, а, кажется, бабки ее. Вошел, уже самого себя не чувствуя, в каком-то

онемелом состоянии, но в полной решимости сделать так, как задумано. То была решимость человека, готового на все. Встал у двери, солидно кашлянул, сказал:

— Здравствуйте.

Отец Тамары лежал на кровати и курил. Босые ноги его с грязными ступнями свешивались к полу. Маленький парнишка, Тамарин братик, играл с котенком посреди избы, он удивленно уставился на Федю. Знакомый стульчик с дыркой в сиденье стоял под голбцем. Тамара как раз вошла в избу, внесла ведро воды, надо полагать, из колодца. Как это он ее на улице-то не видел! То была большая оплошность: надо было сначала с нею словом перекинуться. Она бросила на него то ли изумленный, то ли испуганный взгляд и прошла на кухню, что-то там зашептала, а бабкин голос ей возразил уже погромче.

— Мне поговорить,— сказал Федя Тамариному отцу. не слыша собственного голоса.— Поговорить надо.

Маленький мальчик встал с пола и поковылял на кухню.

— Говори,— сказал хозяин. — Но дров нет, колоть нечего.

— Разговор серьезный.— сказал Федя, мгновенно разозлился: не будет же он вот так, стоя у порога,— ему лежащему. Так не делается. Пожалуй, эта злость помогла ему, он овладел собой.

— Ну, если серьезный, тогда пожалуй под перед, гость дорогой.

Хозяин сказал это с коротким смешком, встал с кровати, ткнул окурком в цветочный горшок, сел к столу, кивнул: садись, мол. Федя сел и брякнул:

— Я сватать пришел.

Хозяин ошалело молчал.

— Кого?

— Тамару.— Голос Феди сразу охрип.

— Егор! — крикнула с улицы Тамарина мать.— Ты все еще разлеживаешься? — Лицо ее в надвинутом на глаза платке показалось снаружи в окне.

— Я не лежу, а сижу. Тут вот человек пришел... с серьезным разговором. Беседуем.— Он коротко выдохнул из себя воздух, явно задавливая смех.

— Иди, звали же тебя,— гневно сказала жена.— Там люди ждут.

— Ты зайди, тут сватать явились,— сказал ей хозяин.

И как раз в эту минуту из кухни Тамара вышла явно любопытствовать, что это отца так развеселило. Она небось не слышала, что сказал Федя, поскольку бабка ей там что-то выговаривала.

— Ну валяй, сватай,— как бы разрешил хозяин гостю.— Начинай.

Федя шутки не принял, очень серьезно сказал, что живет один, что есть у него дом с огородом и усадьбой, что скоро купит у крестны своей половину коровы Хваленки. Но одному хозяйство вести тяжело, хотя он умеет делать все: и корову доить, и валенки валять, и пахать, и столярным ремеслом владеет... Вот и решил жениться, так советуют многие. А ему не нравится никто, кроме Тамары.

Говорил он это вполне солидно, рассудительно (невеста поспешно скрылась на кухне), то есть настолько солидно и рассудительно, что этот мужик сразу понял, с кем имеет дело и что дело тут серьезное, а смеяться совсем не к месту.

— Отдайте за меня Тамару,— закончил жених, вспомнив, что, кажется, именно так сватали сестру Лидию.

Тут распахнулась дверь и появилась гневная хозяйка.

— Егор,— сказала она,— поймей совесть! Люди ждут, а ты рассиживаешься, глупство какое-то затеял.

Но Егор был мужик, по всему видать, не из тех, кто жены боится. Он хлопнул по столу ладонью и бросил на жену взгляд — она осеклась. И осеклась, и прошла в избу, села на лавку.

— Вот парень пришел,— сказал Егор.— нашу Тамару сватает. Хороший человек, хозяйство имеет. Работящий. Помнишь, как он у нас дрова колот?

Говоря это, Егор был серьезен, только в глазах у него черти прыгали.

— Это тебя на празднике-то наши дурали избили? — сострадательно сказала свату-жениху Тамарина мать.— Да неуж из-за нашей девки? Ай-я-яй! Слышишь ли, дочка! Ну-ка выйди.

Вместо Тамары вышла бабка и заявила, шамкая:

— Полно тебе не дело-то городить, Егор. Постыдись, ведь не маленькой. А ты, паренек, иди-ка отсюда вон, иди. Како тако сватовство? На смех, что ли? Так мы и за уши можем откатать. Экой жених выискался!

— Ну погоди, мам,— остановил ее Егор.— Худого тут нет. Он не воровать пришел, а честно-благородно... Я б на такое не решился, ей-богу. а он вот... Это,

знаете ли, смелость надо иметь, характер. Потому он мне нравится. А, Катерина? Хороший был бы зять, верно?

— О господи! — вздохнула Катерина и разразилась вдруг смехом. — О господи! — повторила она и залилась еще пуще.

И хозяин тоже засмеялся.

— Сколько тебе лет, жених? — спросил он.

— Семнадцать, — рассердился Федя. — Вы что, сами не видите?

Ну, семнадцати ему еще не было, годик прибавил.

— А полно, полно, паренек, — зашамкала старуха. — Поди домой, поди. Ишь что надумал!

Выручил Тамарин братишка: он выбежал из кухни и, чего-то требуя, потащил бабушку сзади за подол цветастой юбки и захныкал. Бабушка ушла.

— А ведь я о тебе, парень, кое-что слышал, — вспомнил Егор. — Кто-то мне рассказывал. Ты ведь из Пятин... А как там у вас Серега Караулов?

— Дядь Сергей не вернулся с войны.

— М-да... Хороший был кузнец. Гуляли мы с ним, бывало, вместе в парнях. Однажды подрались даже, забыл, из-за чего. Но я не в обиду, нет. Я его уважал. А Семен Мотовилин что?

— Убили.

— А Пряжин Васюха?

— Тоже убитый.

— Прямо хоть не спрашивай ни о ком... ну а Бачурин Алексей?

Федя остро глянул на Егора и сказал после паузы:

— Пропал без вести... Это мой отец.

— Э, да ты вон чей — Бачуриных! — словно обрадовался Егор. — Как же, знавал и отца твоего и мать. Что ж, из хорошей семьи, значит... Ну-ка, жена, собирай на стол. Гость пришел, а мы не угощаем. Там, — он кивнул на окно, — без меня обойдутся.

Отвечая на вопросы, Федя рассказал, сколько выдали в прошлом году на трудодни, удоисты ли коровы, как с рабочими лошадьми. Тамара, пылая лицом, внесла на брякнула на стол ковригу хлеба: вот, мол, тебе, женишок, подавился, еще угощать тебя! Больно надо. Егор, прижимая ковригу к груди, стал отрезать ломти. Федя, может, не совсем кстати сказал, что недавно покрыл крышу новой соломой, но что-то не нравится, на будущий год сам нащепает дранки и сделает новую — драночная крыша гораздо лучше соломенной.

— Самостоятельный парень, — сказал жене и матери Егор, кивнув на гостя. — Ему б не нашу соплюху, а хорошую девку в жены. Так что спасибо за честь, Федор Алексеич, — заключил он, — а молодая наша невеста, только-только исполнилось шестнадцать. Жениться тебе, пожалуй, и вправду надо, только не на нашей...

Жених встал, несколько секунд стоял, набычившись, потом спросил:

— Можно я с Тамарой поговорю? С глазу на глаз.

— Да нечего тут толковать, — сказала старуха, вздохнув.

— Мала еще наша девка, пусть подрастет. — Мать тоже вздохнула и опять засмеялась.

— Тогда я пойду.

Федя, обиженный, направился к двери.

— Тамара! — позвал отец. — Проводи жениха.

Гость подождал на крыльце: и впрямь не выйдет ли?

Не вышла. Значит, это они так пошутили. Он уже взялся за велосипед, когда услышал сзади скрип двери и легкие шаги. Тамара подошла, сказала, сильно волнуясь, но очень строго:

— Ты что, сумасшедший? У тебя, наверно, не все дома?

— Почему?

— Кто же так делает-то? На смех, что ли?

— А как надо?

— Не знаю как, а не так.

— Иначе не получается. — сказал Федя, сознавая, что сейчас она уйдет. —

Скучаю я без тебя.

— Чего это вдруг? — Она смутилась и засмеялась.

— Сама знаешь... А сюда приезжать — ваши меня бьют.

Она глянула вдоль деревенской улицы, пожала плечами и пошла к крыльцу.

— Я все равно на тебе женюсь! — крикнул он ей вслед.

На обратном пути вел велосипед, как лошадку в поводу. Просто забыл о нем. И не заметил, как прошел Баулино, Верхнюю Луду...

И вот теперь уже, когда он дорогой по-хозяйски размышлял о доме и о своей будущей жизни, чинно и степенно пришла к нему очень дельная мысль (будто подсказал кто-то со стороны): не надо делать стируху в огороде, а самое место ей — в подполе. Если там сложить печку да вмазать котел... Котла нет, но можно вместо него приспособить ведро. Сделать каток... Чего его делать — Степан Гаранин свой предлагал!.. Дым из подпола направить в трубу большой печи: никакому уполномоченному или милиционеру в голову не придет по этому дыму догадаться, что в доме валяют валенки.

Да, именно так следует устроить себе стируху. Это же как удобно-то! Не надо после работы идти мокрым по улице. Вылез из подпола — и сразу ложись спать.

Уже возле своей деревни остановил Федю пастух — стадо паслось неподалеку. На это лето в пастухи подрядился в Пятинах старичок Ван Ваныч, смирный, приветливый со всеми, умевший плести великолепные кнуты — они хлопали так резко и оглушительно, будто выстрелы из ружья. Вся пятинская ребятня ходила теперь с кнутами и хлопала, пугая кур и гусей. Ван Ванычу скучно, вот и остановил Федю.

Хваленка смотрела на них из стада вопросительно, словно узнать хотела: покупает ее бывший хозяин или нет? Он позвал:

— Хваленка! Хваленка!

Она тотчас направилась к нему, остановилась в двух шагах, ожидая, не угостит ли чем.

— Да нет у меня ничего, — сказал он ей и, положив велосипед на траву, подошел, обнял за шею. — Хваленушка... Хваленушка.

— Обгулялась еще в июне, — пастуху хотелось сказать доброе о корове. — К марту отелится.

— Скоро у меня будешь во дворе стоять, — пообещал Федя. — Ты же наша, бачуринская.

Она вздохнула, будто не веря ему.

— Я тебя назад отработаю, — сказал он ей на ухо. — Вот посмотришь. Себя не пожалею, а отработаю

19

В этот день, вернее уже вечером, когда стемнело, он перетащил к себе из гаранинского огорода каток-верстак и скребницу. Рая вынесла из дома валяльный инструмент — скалки, ложило и прочее.

— Колодки возьмешь? Бери, ему уж не понадобятся.

— Я отдам, как только Степан Клементыч вернется.

Рая заплакала и ушла в дом.

На другой день при свете коптилки Федя сложил в подполе печку и вмазал в нее ведро вместо котла.

В следующую ночь вывел трубу вверх через шесток.

Потом опять же ночью (днем-то колхозной заботы хватало) укрепил над печкой каток, установил скребницу, лохань, в которой замачивать перед валкой, и еще одну лохань — в ней красить...

Вот теперь можно было начинать работу.



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

КАК-НИБУДЬ

Рассказ

И а днях выяснилось: Богданов не знал, чем жить.

Богданов всегда жил чем-нибудь, даже если и не знал — чем, но нынешние времена вменили ему в обязанность — узнать. Проклятая обязанность! Эта задача — узнать — никогда-никогда не была такой трудной, как нынче, так нет же, приспичило.

Богданов не то сидел, не то полулежал на диван-кровати у себя в кабинете. В руках газета, не посмотрел какая. Цены на периодические издания подскочили, на будущий год Богдановы выписали газет немного — две, кажется. Как хорошо: нынешние газеты — это ведь зло мира.

Нечего защищать... Себя самого? А пошел он к черту — он! К черту и еще куда-нибудь. Будущее? Сначала его нужно представить, это будущее, сообразить, что это такое, но ни представить, ни сообразить Богданов не умел. Он как бы тонул в собственном неумении, пускал пузыри.

В жизни не оставалось ни капельки театра, только она сама... Высоцкий, бедняга, давно умер, а живой Окуджава говорит: время его театра прошло — прости-прощай! Пусть другие играют — сочиняют, танцуют, — отныне он зритель. Будет на что смотреть — посмотрит, не будет — пошли вы все... Вот Богданов думает: «Пошли вы все...»

Жизнь нынче голая. Но жизнь совершенно голая, без грима и без театральности, к изобразительности неспособная, — это дрянь хуже некуда, хуже не придумаешь... Разве Освенцим или ГУЛАГ. Ну и еще — соцреализм, то есть ничего, кроме грима. Нынче так много кругом происходит, что и тонюсенького слоя театральности на все события не хватает. Одна документальность, и женщинам все равно, как и на какой возраст они выглядят, мужчины истеричны и крикливы, как бабы, а дети — те же взрослые, только маленького роста. Заботы у них те же, подлость — та же...

Стриптиз жизни — мерзость, мерзостнее быть ничего не может... Никогда не думал, не предполагал Богданов, что у себя дома, на своем диване вдруг все это почувствует. Это и еще многое-многое другое в том же мерзостном духе. Как теперь жить-то? Дома?

Бывало... Приятные бывали минувшие пятничные, субботние, иногда и воскресные кухонные сборища и заботы, чтобы на твою кухню не затесался стукан. Приятно вспомнить: «Не орите, вам говорят! У меня за стенкой — тип!» Нынче ори сколько хочешь, где хочешь, перед кем хочешь, но прежнего вкуса нет как нет, и то, что было прекрасным соблазном, стало пошлостью, и гитары на кухне — нет, запретной кассеты — нет, самиздата — нет. Все эти и другие атрибуты — где ваша сладость?

Атрибут... «Существенный признак, неотъемлемый признак чего-либо» (Толковый словарь русского языка). Но вот уже и нет неотъемлемых признаков, а без признаков что-либо тоже не существует.

Только бы еще хуже не было! Только бы...

Мысли можно пережить, но если уж сама жизнь не хочет, чтобы ее пережили, хочет, чтобы ее не переживали... Еще одно непереживаемое событие, еще один невероятный факт — и Богданов, честное слово, умрет. Честное слово!

Тут — звонок. Богданов позу переменил, газету выронил, так и не узнал, что это за газета. «Независимая», что ли?

— Я слушаю!

Молчание...

— Кто говорит?

— Как это кто? Дочка твоя. Твоя любимая. Аннушкой называется.

— Вот так раз — откуда?

— С улицы. С улицы Ленинградский проспект. Не знаешь — может быть.

уже Санкт-Петербургский?

— В чем дело? — У Богданова где-то екнуло, кажется, под сердцем.

— Дело? Дело, папочка, такое: я замуж выхожу.

— Ты? Замуж? Как же так?

— Вот так: я замуж.

— Так, так, так... За кого? Уж не за того ли, который с косичкой? За Володечку? У меня на его счет возникали подозрения.

— Какой догадливый, надо же! Какой подозрительный, надо же!

— Так, так, так... Что же ты так-то? Сказала бы заранее. Обменялись бы мнениями. Поговорила бы с отцом, с матерью.

— Вот мы с Володей и едем. Поговорить. Такси поймаем или левака и обязательно приедем. До скорого!

«А зачем Володе с косичкой Аннушка Богданова? Если у него косичка собственная? У Аннушки еще в восемьдесят пятом году, в самом начале перестройки, косичек было две. Она взяла и остригла обе. Сначала намеревалась из двух заплетать одну, потом остригла обе. В девятом классе. А Володя свою, может быть, в том же восемьдесят пятом и отпустил? Тогда зачем же ему Аннушка?»

Куда бы пойти?

Богданов пошел на кухню. К жене.

Людмила Ниловна укладывала на сковородке что-то белое.

— Мать!

Она не обернулась.

— Мать! Знаешь новость?

— Знаю! — не оборачиваясь, ответила Людмила.

— Давно?

— Со вчера.

— Со вчера. А почему я только сегодня?

— Этого не знаю.

— Сейчас они приедут.

— Тороплюсь. Не мешай разговорами. Поставь тарелки на стол.

— А я — не выдержу! Я умру.

— Чего выдумал!

— Ничего не выдумал. Совершенно ничего! Не могу что-нибудь выдумать..

— Подготовь-ка свою психику к разговору. С гостями. Подготовь хорошень-

ко

Гости приехали неожиданно скоро. Аннушка весело сказала:

— Повезло — такси поймали! Недорого взял.

— Именно, — подтвердил жених Володя. — И ультиматумов нам не ставил — посадил, повез, будто так и надо. По пути в магазинчик с черного хода заезжал. За предметом. Не понял, что за предмет: небольшой такой, но на бутылки не похожий. Здравствуйте, Константин Семенович! Здравствуйте, Людмила Ниловна! Ниловна — это у какого же писателя? Однако у Горького?

— У Горького, — подтвердил Богданов.

— У Максима, — подтвердила Аннушка.

— Сейчас, сейчас приготовлю, — с азартом и почему-то очень громко объявила Людмила. — Колбаса! Качество: поджаривать и то можно. С рисом вот.

— Эт-то хорошо! Колбаса нынче — эт-то хорошо! С рисом! — в том же бодром тоне заявил Володя. — А водочка?

Тут Людмила сняла.

— Сегодня — последнюю. На даче. Сторожу. Я вчера и сегодня на даче была. А без водки сторожа нынче не сторожат. Сажеников вот, профессор и сосед через два дома, пожалел — и что? Заслуженный деятель, ветеран, соцгерой, а дачу разграбили. Окна побили. Крышу разобрали. Через крышу и проникли. На кровати и на новый диван нагадили. И на подушки.

— Это нынче модно — любить героев, — подтвердил жених Володя. — Оч-чень модно! Гер-роев! На диван! А? Ну придумали! На подушки?

Богданов чуть не спросил: «Вы, Володя, моде подвержены?» — но тут, подумать только, Володино остроумие произвело впечатление: Аннушка — засмеялась, Людмила — засмеялась...

Богданов остолбенел и еще больше растерялся. Людмила сказала:

— Хорошо, что не сожгли. Все соседи Саженикова так и говорят: хорошо, что не сожгли.

— Ваша-то дача в порядке? — поинтересовался жених.

— Почти что... — вздохнула Людмила. — В позапрошлую среду два окошка выбили.

— А всего сколько? Окошек?

— Шесть. Считая с маленьким, кухонным.

— Если не разграбили, значит, баловались, — догадался Володя. — Разбаловался нынче народ, останова нет.

— Хорошо, что не сожгли, — снова подтвердила Людмила.

— Хорошо-то хорошо, а водочки, Людмила Ниловна, все равно не мешало бы. Как так: торжественный случай — и насухо?! Не годится! Нам же за стол надо садиться? Надо, если приглашаете. Надо, а на столе — ни капельки. Как так?

И Аннушка озаботилась:

— Мамочка, а если пошуровать? У соседей, например?

— Тоже мне — пример! — вздохнула Людмила. — А колбаска с рисом готова! Масла маловато — переживем. Тарелки у всех поставлены? Ложки-вилки? Ну а насчет капельки — извините, вряд ли...

— Переживем-то переживем — но почему все-таки «вряд ли»? — пожал плечами жених Володя и сделал большую паузу. — Прежде всего, Людмила Ниловна, надо утвердиться в собственном сознании: не вряд ли, а наверняка! Когда человек не верит в себя, ясно, у него не получится. А на вашей на лестничной я краснорозега такого встречал — ни за что не поверю, что у него нету! Ни за что! Мы курили вместе, он сказал: «Заходи, мужик! Поговорим, мужик!»

— Так и сказал — «заходи», — обрадовалась Людмила. — Вот и зайдите, Володечка, миленький! Зайдите к нему, пожалуйста! Его Мишей зовут. Я вас прошу — зайдите сами. Мне неудобно!

— Мамочка, — всплеснула руками Аннушка, — ну что ты говоришь! «Неудобно»! А Володе что же, удобно? В такой ситуации! Действительно, а если, мамочка, к Мише — ты? Он же на складе работает! Чуть ли не на продовольственном! К нему почти каждый вечер в семь ноль-ноль «Москвич» приезжает. С коробками!

— На складе? Мишей зовут? — обрадовался Володя. — Господи, да это же, Людмила Ниловна, верное дело! Поверьте в себя! Мне не с руки: он или за мной вот сюда увяжется, или у себя задержит. Одно из двух. А вам? Вам и карты в руки. Вам сам Бог велел! Понятно — сам!

— Попробовать разве? — вздохнула Людмила и накрыла сковороду большой крышкой. — Чтобы не остыла. Пока бегаю.

— Фартук сними, мамочка! Дорогая моя! — напутствовала мать Аннушка.

Володя тоже напутствовал:

— В случае чего, Людмила Ниловна, апеллируйте к мужской солидарности. Не стесняйтесь, хотя бы и от моего имени. И вот от имени Константина Семеновича Богданова.

Людмила торопливо ушла, говорить стало не о чем, но Богданов неожиданно нашелся:

— А ведь вы, Володя, до сих пор шапку не сняли.

— Неужели?! — удивился жених Володя. — Это потому, что до сих пор толкаемся в коридоре и в кухне. Конечно, нехорошо! Конечно, не положено. — Сбросил потрепанную ушанку. — А теперь наконец-то присядем! Ноги — они не казенные. Они у всех собственные. Правильно говорю — у всех? Ха-ха! Хи-хи!

Сели за стол перед пустыми тарелками.

Богданов ни на что не смотрел, ничего не видел, только Володину косичку. Она вовсе не каштановая, как все вообще волосы на Володиной голове, она была другого цвета. Фиолетовая... Не может быть! Ну если не фиолетовая, тогда — синяя. Темно-красной ленточкой перевязана. И тут Богданов рассмотрел Воло-

до в целом: человек с такой косичкой должен ведь обладать еще какими-то исключительными приметам... Какими именно? В целом парень красивый. Лоб высокий, без морщин и складок (скоро появятся, угадал Богданов), глаза серые, смелые (и нахальные), нос правильный (почти что), классической формы, по краям цветущего, как бы даже и телевизионного лица — темноватые баки (под Пушкина, что ли?), небольшие аккуратные усики (под Дантеса?), но уже другого цвета — рыжеватые.

Самое неприятное было, что лицо-то, в общем, приятное. Чтобы отделаться от впечатления этой неприятной приятности. Богданов постарался снова увидеть косичку, но не удалось: Володя сидел к нему анфас.

А еще надо было прислушаться к Володиному голосу. Уже давно шел разговор, но Богданов слышал слова, а голоса до сих пор — нет.

Володя постукивал вилкой, но нетерпение сдерживал и занимал Аннушку рассказом о двух студентах, которые подделывали талоны на сахар и, конечно, на водку «А теперь, когда талоны вот-вот будут на все продукты, а на хлеб — карточки, вот раздолье фальшивомонетчикам! Даже малоквалифицированным! Ведь талоны и карточки подделывать гораздо проще, чем несчастную двадцатипятирублевку. Плохо соображает наше правительство, Попов — плохо. Почему от него Станкевич ушел? Не знаешь, милая моя? Именно поэтому и ушел... Вот я достоверно знаю криминальный факт...»

Голос у Володи опять-таки приятный (почти), сдержанный и солидный — пониже, чем полагалось бы по возрасту. А возраст?.. Ему тридцать маячило, а эта? Девчурка! Соплюшка! Взять ее на руки, как бывало когда-то, прижать тепленькое чудо к себе, потом приподнять над головой, потом пошутить: «Ты что это, Анютка, выдумала-то — замуж выходить? Да ты посмотри, посмотри на него — снизу тебе не видно, а сверху? Да он же — с косичкой. С фиолетовой, а может быть, и с синей?» Театр не получался, то есть театр был до того реальной — жуть! Искусства никакого, одна жуть! В этом реализме и Богданову тотчас нашлось место — статиста. Философом Мартином Хайдеггером, кажется, сказано: слово — это непотаенный смысл; но дело статиста — молчание, и потому Богданов — весь потаенный и весь никому со своей потаенностью не нужный. Конечно, люди не любят тайн, поэтому у них так много совершенно бессмысленных и бессильных слов... им предназначено вертеться и прыгать вокруг тайн. А еще обязанность статиста: ни один мускул не должен дрогнуть на его лице! Ни один! Богданов стал овладевать собственными лицевыми мускулами и вдруг увидел себя совершенно отчетливо. Покуда все они вчетвером разговаривали в прихожей — Богданов стоял против зеркала, отражался в нем, но своего отражения не видел, но вот сейчас увидел воображением: старик стариком и уши холодные... Растерянный старик, старик статист, злой и жалкий. Волосенки седеющие, жалкие. Зубы вставные. Глаза тусклые, жалкие... Выражение лица? Если и есть, то — каменное, жалкое. И в таком-то вот виде Богданов ждал возвращения Людмилы словно спасения. Когда он ждал ее так же? А вот когда: лет тридцать пять назад, в возрасте постарше Аннушкиного, чуть помоложе этого, который жених.

И как это можно, что Богданов тогда, а Володя нынче исполняют одну и тут же роль жениха? Такие разные, но ампула — одно!

— О! О! — восклицал между тем жених Володя. — В перестройке теряться нельзя. Нельзя. тем более что она разделила людей на умных и на глупых, глупые — теряют, умные — приобретают. Вот и все. Остальное меня не касается. Я в лидеры не лезу, в телохранители не хочу, хочу — сам, и когда пою-танцую, бью в барабан, то замечаю: в третьем ряду, в проходе тип сидит с девкой — вот, наверное. умеет загребать! Это я вырабатываю чутье. Говорят, кто сидел в тюрьме — тот это умеет. Но сидеть неохота, а без чутья в наше время приобретешь ноль целых ноль сотых.

Наконец-то вернулась Людмила, пробежала в кухню.

— Ой! Каша-то все-таки остыла!

Володя ей крикнул:

— Удалось?

— Самую капельку!

— Я же говорил! Ну и как — аргумент насчет мужской солидарности пригодился?

— Без него обошлось... Хотя уж очень мало...— Поставила на стол крохотные рюмочки и склянку с притертой пробкой. Когда-то в этой склянке был уксус. До тех пор, пока он был в продаже.

Володя сокрушенно покачал головой:

— С действительностью приходится мириться.— Потряс косичкой. Потряс теми самыми движениями, которыми когда-то орудовала с двумя своими Аннушка.

Богданов подумал — как Володя со своей управляет? Когда ее заплетает? Неужели перед зеркалом?

— Действительно...— еще повторил и еще вздохнул жених Володя.— Что ни говори, но ведь она,— кивнул на скляночку,— она полагается. Независимо от ее количества — полагается тост. Не помню, кому из родителей первому? Ты не помнишь, Анюточка?

— Откуда ей! — удивилась Людмила. По-моему, первому полагается Косте, но давайте я. Будет надежнее.

Она встала с маленькой рюмочкой в крупной и музыкальной руке (в молодости Людмила играла на фортепиано) и ясно, отчетливо заговорила:

— Дети! Дети мои! Самое главное, Анечка, самое главное, Володечка, чтобы было хорошо с самого начала! Чтобы начало было первые полгода, и год, и два — чем дольше, тем лучше. Начало — делу венец, без начала — нет ничего на свете, начало дается на всю жизнь. Говорят: потом притрется, потом уладится, потом — привычка. А ничего подобного. Конечно, бывает и так. Но только не у настоящего мужчины и не у настоящей женщины. А наша Анечка, учти, Володя, наша — настоящая. Лично я в молодости тоже была настоящая, но не совсем, а вот она — совсем! Я — окровенно,— я о своей о старшей, которая теперь в независимом Вильнюсе, этого никогда не скажу. не приму греха на душу, она — нет и нет, она тихая и каждую мелочь переживает, она в отца, а ты, Анечка, ты да и да! Я еще одну, третью, не родила, потому что побоялась: первая послушная, тихая, вся в себе, от нее только и слышишь «я должна», «я обязана». Но вторая в пеленках себя показала, успела, если же экстраполировать на третью — что получится? Я знала, я чувствовала — обязательно будет девка, от него,— кивнула Людмила в сторону Богданова,— от него парня сроду не дождешься. Я все это к тому, что ты, Анечка, и ты, Володечка, постарайтесь оба насчет начала, чтобы между вами не было ни-ни, а было только ах и ах! Ну а дальше, честное слово, все будет хорошо на всю жизнь, на веки веков! Желаю!

Богданов слушал жену, удивлялся: дочь-то родную, первую, зачем предавать? Надобность какая?

Но было мгновение, оно Людмилу подменило: была одна, стала другой — бестактной и грубой. Богданов и над собой мгновение вдруг ощутил: вот и он сейчас тоже улыбнется, тоже засмеется, тоже скажет какую-нибудь глупость и сделает вид, будто счастлив. И если бы только вид! Во что, во что, а в собственный вид поверить проще всего. В собственную глупость — проще всего! Жених Володя — поверил? Невеста Аннушка — поверила? Теща Людмила и говорить нечего. И только он, Богданов, кое-как держится. В одиночестве. И если бы в гордом! Но гордости и признака не было, была тоска, была жалкая растерянность и вот еще возмущение; старшую-то, Евгению, зачем предавать? Богданов ее, в себя, Ахматову и Пастернака углубленную, любил больше, чем младшую, легкомысленную, но ломоть был отрезан, отрезан Литвой, а тогда Богданов решил, что Аннушкино легкомыслие еще лучше серьезности Евгении и уж конечно современнее.

Правда, решение это далось ему очень трудно. Когда Евгения уехала в Литву, дом Богдановых как будто перестал быть их домом, стал чьим-то чужим, скучным и нелюбимым. Это ведь Евгения устраивала кухонные посиделки с гитарой и самиздатом, так устраивала, что молодежи ничуть не было неловко со старшими, то есть с Женечкиными родителями, а родителям — с молодежью. Она так устраивала, что в конце концов Богданов уже не мог без посиделок обходиться, каждую пятницу пораньше сматывался с работы, бегал по магазинам, чего бы еще сшибить из жратвы, молодым этим хоть быка жареного притащи — косточки не оставят. Правда, если и косточки ни одной — они не обидятся, никто не намекнет, даже если и голоден, как собака...

Так Женечка посиделки устраивала, что в конце концов вышла замуж за одного из многих ее искренних поклонников, и когда вышла — молодой и красивый муж увез ее в Литву

— А мы уже для начала как можем, так и стараемся, Людмила Ниловна, — с басом в голосе заверил Володя, возобновив прерванный разговор и тряхнув косичкой.

Потом он опрокинул рюмочку, вздохнул, глядя на нее, пустую, и поцеловал Аннушку. Потом не торопясь отправился на другую сторону стола — целовать Людмилу. По пути чмокнул Богданова. Целуя со смаком будущую тещу, говорил:

— Хор-рошо ныне было сказано насчет начала! Очень хор-рошо! И точно! Как в аптеке! Я, конечно, догадывался, что у Анечки очень мудрая мама, а теперь объявляю для всеобщего сведения: догадки оправдались на восемьдесят пять процентов. Да-да, пятнадцать процентов еще остается за вами, моя дорогая Ниловна, пятнадцать в кредите. Пятнадцать — не больше и не меньше!

— Ага, ага! — громко, в голос радовалась Людмила. — Давно доказано: лучше всего жить в начале чего-нибудь и не дай Бог — в конце. Против пятнадцатипроцентного кредита не возражаю. Ничуть!

Вскочила и Аннушка, глазки в слезах, бросилась целовать мамочку и тоже по пути и в тоже самое место около правого уха чмокнула отца, и Богданов ощутил на себе слюнявое пятнышко... Детское... А детскость эта опять-таки была обманом, ничем больше. Обман — от всей души, искренний. Оказывается, Богданов все еще отличал искренность от неискренности. Надолго ли его еще хватит? Мгновение ведь критическое — вот оно, тут и витает, и чтобы от него отвлечься, Богданов обратил все свое внимание на Аннушкин носик... Такие носики кнопкой производят впечатление, Богданов помнил: у Людмилиной мамы был такой же, у Людмилы и вот у Аннушки, а это значит — порода. Породистая была кнопка! И опять противное это сходство между ним, Богдановым, и Володей с косичкой: и того и другого эти носики смутили... Сумбур в голове Богданова, и вот уже он думает о том, что Аннушка только на третьем курсе, на третьем медицинского! А если, не дай Бог, ребенок? Тогда она и кончить не сумеет. Одна надежда — медик, значит, сообразит что и как. Чуть-чуть отлегло от души.

Однако чему это Аннушка и Людмила, дуры бабы, все время радуются? — снова думал Богданов. Ну ладно, примирились они с невероятной действительностью, а радоваться-то — чему? Этому примирению? Больше, кажется, нечему...

Сызнава расселись за столом — на одной стороне Аннушка с Володей, на другой Людмила с Богдановым. Богданов, уже ни о чем не думая, спросил:

— Жить где будете?

Тишина стояла недолго, тут же и прозвучал рассудительный басок Володи-жениха:

— Вопрос серьезный. Серьезный вопрос.

— А — ответ?

— Ответ, дорогой Константин Семенович, совершенно конкретный: у меня жить негде. Негде: две комнаты, в одной старики, в другой мы, молодежь, три человека.

— Значит, здесь? Так, так...

— Вы знаете, Володя, наш дом, кажется, кому-то продали...

— Ваш? А кто продал? Кто купил?

— Не знаю, но продан. Октябрьский район продали Заславский, Васильев, кажется, ну и, конечно, мэр Попов. Они продали и от дела умыкнулись. Ловко так умыкнулись. А насчет нашего дома даже и неизвестно — кто, что.

И Богданову от этих слов становилось, кажется, полегче на душе. Напрасно становилось — Володя не унывал:

— Значит, афера? Если аферу вовремя раскусить, то от нее можно даже что-то иметь! Ох, любопытно узнать — сколько миллиончиков кому-то перепало? Валютных. Так и есть. Мне мой папашка однажды двухкомнатную устраивал. Себе в обиду. Вторично вопрос поднимать нельзя: совесть надо иметь.

Еще одна догадка, уже которая по счету, осенила Богданова:

— Ну и где же она, та двухкомнатная? Кем вдруг занята?

— А в той, в двухкомнатной, моя первая половина с девочкой. Представьте себе: девочку тоже Аннушкой зовут. Два годика и два месяца.

В беспамятивстве Богданов спросил:

— Половина-то в той квартирке, она самая первая? Самая-самая?

— Ага... — неохотно подтвердил Володя. Вид у него был: отстань, старый хрыч!

— Не жаль? Аннушку? Ту, которой два и два?

— Как не жаль! Живому человеку, конечно, жаль.

— Тогда почему же...

— Вашу Анечку встретил, вот почему. Лучше вот этой Анечки ничего на свете нет, быть не может. Подтверждается гениальная мысль Людмилы Ниловны: или сейчас, или — никогда! Ну а «сейчас» в наше время — это больше чем все на свете. Гораздо больше. Прозеваешь сейчас — не наверстаешь никогда. Правильно, Людмила Ниловна, я трактую вашу мысль? Подтвердите — правильно?

Тут и Людмила покраснела, замахала руками.

— О чем разговор, Володечка! О чем, Анечка! Кушайте, пожалуйста... Уж чем богаты — кушайте, а богаты мы нынче ничем!

— Алименты? — еще спросил Богданов.

— Ерунда. Не имеет значения.

— Не имеет?

— Никакого. Они с зарплаты идут, а кто же нынче живет на зарплату?

Никто. Живут на доходы.

Аннушка и Людмила забоялись. Забоялись, но не очень. могло ведь быть и хуже, а хуже пока что не было. Людмила сидела молча, сжав губы, с капельками на лбу, кажется, готовилась к броску, если все-таки будет хуже. Вот тогда она и бросится на мужа с вилкой и с ложкой.

— Так, так... На какие же доходы вы с Аннушкой будете существовать?

— Еще не решили. Скорее всего пойду в такси. У меня подстраховано.

— Доходное дело — такси?

— Из Внукова до центра города уже триста берут. А то ли еще будет!

Рыночная экономика на месте не стоит.

— А где вы в настоящее время работаете?

— В настоящее — в ансамбле.

— Поете?

— Ударник. Ударник и танец в процессе музыкального исполнения

— Ударник — невыгодно? От искусства — не тот доход?

— Не тот, не тот. Рэкет спасу нет как одолевает. Аренда за концертные помещения, за обслуживание. Аренду гони, а в артистической одежку оставишь — сопрут. Так с ключами в кармане и танцуешь. Конкуренция. Еще авторы текстов и музыки заламывают. Такси лучше. В такси главное — выехать на линию, дальше сам себе хозяин, а твое дело — не растеряться.

— Убьют... Убивают же таксистов? — злобно и вслух подумал Богданов.

Аннушка вскрикнула: «Ой!» Людмила сказала: «Костя!» И еще раз: «Костя!» Володя вполне логично продолжил разговор:

— Ну так ведь и они, таксисты, тоже кого-то могут. Мне это нравится: народ дружный! Тронь в парке одного — все встанут на защиту. А у меня чувство коллективизма очень развито. Со школьной скамьи.

— Кушайте! Кушай, кушай, Володечка! — говорила Людмила, хотя Володя, кажется, все скушал, и, наверное, поэтому в голосе Людмилы не было той настойчивости, с которой она обычно угощала гостей, — отказаться невозможно. Другое что-то в ее голосе звучало, что-то вроде отчаяния, но тут Людмила заметила, что Богданов это заметил, и голос изменила и хозяйственно стала настаивать. — Кушайте, кушайте. Вот и колбаска — без очереди пролезла и достала, уметь надо!

— Ага! — подтвердил Володя. — Каждое дело требует, чтобы его уметь. Каждое дело — наука. Я с барабаном сколько халтурил, прежде как научился. Вот и вы, Людмила Ниловна, — ничего готовите, а главное — из ничего Муж должен быть доволен.

Володя внимательно посмотрел на Богданова. Богданов подумал: «Действительно! Рис у Людмилы как рис, а колбаса странная, а все-таки колбаса!» Жених Володя ее ел и комментировал:

— Честное слово, по нынешним временам — хорошо, а главное, семейная обстановка, семейное чувство коллективности... У меня со школьной скамьи.

Людмила подбрасывала жениху колбасные ломтики, в ее собственной тарелке ломтиков почти не было. Один-два.

— Со школьной? — переспросил Богданов. — А вообще-то какое у вас образование?

— Гуманитарное. Педагог. По физике-математике.

— Педагог?! — удивился Богданов. — Вот не думал! Склонность же к этому надо.

— Я тоже не думал. Но обстоятельства: в педагогический конкурс в тот год был ноль целых восемь десятых на одно место. Если не ошибаюсь, вы ведь

философией сильно интересуетесь, знаете, что такое сила обстоятельств. Знаете? Мне Аннушка рассказывала — вы доцент... Жаль, жаль, не дотянули до доктора... Тоже, наверное, обстоятельства? Везде они, проклятые. Ну, с проклятиями надо бороться. С чем и бороться, если не с ними? Вы боретесь?

Ответа жених Володя не ждал, обернулся к Аннушке, а Богданов вспомнил, что обстоятельства бывают, во-первых, по месту действия, во-вторых, по времени, в-третьих, по образу действия. Две первых категории обстоятельств ему и сейчас, несмотря ни на что, были понятны, но третья, по образу действия, — убей, он эту последнюю категорию нынче объяснить не мог.

Тем временем Володя развивал следующую идею. Он сказал:

— Идея, Людмила Ниловна: мы с вами кооперируемся, Людмила Ниловна. Обязательно!

— Каким образом?

— Простым: я всех пассажиров, кто мается зубами, буду возить к вам. Не всех, конечно, только солидных. Вы же зубной врач — какой стаж?

— Скоро тридцать.

— Уже хорошо. Пациенты стаж любят. Тем более если им доставка туда-обратно. Им будет хорошо и нам нехудо: устроим кооператив «Зубтакси»! Ну как вам идея? Сама по себе? Подумайте: кооператоры народ зубастый, но зубы у них тоже болят. А это наш с вами шанс, да какой: кооператив для кооператоров!

— Я, Володенька, доктор не знаменитый. В свое время подавала надежды, но не получилось. Увы!

— Получится! Главное — надежда. Хотя бы прошлая. Сделаем из вас нормальную знаменитость...

— Время для этого нужно. И не поздно ли?

— Нужное дело сделать никогда не поздно. Полгода максимум — и мы сделаем.

— С тобой не пропадешь, Володенька!

— Со мной? Никогда! Ни в коем случае! А если человек пропадает — значит, туда ему и дорога. Я материалист. Хотя, если требуется, могу быть идеалистом. И даже утопистом.

И Володя принял свою идею развивать: как они с Людмилой Ниловной приобретут известность, как арендуют помещение под стоматологию «Л. Богданова и К^о» (на первые год-два можно ориентироваться вот на эту квартиру), как и что будет в дальнейшем. Аннушка, слушая, смеялась. Людмила хоть и не очень верила, но беседовала с азартом. Богданов же думал о том, что нынешнее время — совершенно не его время: для каких-то людей уже как нечто вполне реальное существуют биржи, реклама, рекламные передачи ТВ, он ничему этому не верил, не хотел, он был уверен, что без мошенничества, без взяток, без рэкета ни одного из этих дел не обходится, и все это был совершенно иной мир, ему недоступный. Он сказал об этом Володе. Володя засмеялся.

— Волков бояться — в лес не ходить. А в лес ходить надо.

— Но если — нельзя? Не боишься, а все равно — нельзя?

— А что значит «нельзя»? Вот вы, Константин Семенович, знаете, что это значит — нельзя? Нынче?

Богданов опять не знал. То есть он знал, но не мог ответить и снова подумал об Аннушке. Не о своей, о другой, маленькой, которой два и два. И так ему стало жаль такую маленькую, такую неизвестную, что от этой жалости и растерянности, уставившись в лицо жениха Володи, Богданов сказал:

— Деда нашего нет сегодня. Он бы вам, Володя, кое-что сказал. Кое-что объяснил.

Дедом в семье назывался отчим Людмилы, условный тесть Богданова, который нет-нет, а заходил к ним и кричал из прихожей: «Людка! Чаю горяченького! Кому говорят — горяченького чаю!»

Дед был маленьким, плешивым, с красным носом картошкой. Невзрачный дед. Невзрачный в своем обычном виде, но иногда он облачался в черный пиджак с орденами и медалями в три с половиной ряда и преображался. Походка у него становилась другая, голос другой, сам веселее, и видно было, каким славным телосложением он обладал в то время, когда этот пиджак пошил. Лет поболее пятнадцати тому назад... Вот именно: к тридцатилетию победы над фашистской Германией. Нынче тот же пиджак висел на Деде мешком. Смешно и нелепо висел.

Попив чайку, Дед заявлял: «А я, пожалуй, проживу у вас сколько-то деньков. Я нынче с Томкой сильно разругался, а в вашей квартире я за чаем хорошо остываю. Сам себя не узнаю, как остываю. И Томка, как вернусь от вас, не узнает: ангел небесный, только и всего!»

А Томка, Тамара Федоровна, была родной дочерью Деда, у нее он и жил и даже числился владельцем ее кооперативной квартиры. Людмила отчима читала: «Он мне действительно отец! Мне от него даже меньше, чем Томке, доставалось — та шалопутная девчонка была, а я старательная. И маму мою, покойницу, он любил — дай Бог каждой женщине так. Ну, правда, нормальных женских имен — никого не знал, только и слышишь: Томка-Варька, Машка-Дашка!»

И вот месяца два тому назад дед встретился у Богдановых с Володей, в то время еще не женихом, и Аннушка представила Володю так:

— Мой приятель!

Дед воззрился на Володину косичку.

— Аннушка, не пойму я, это кто же: приятель или все ж таки приятельница?

Володя обиделся, сообразил, в какую плоскость перевести разговор, и сказал:

— Среди молодого поколения существует мнение: зря Россия, весь бывший Советский Союз победил Германию! Если бы победили немцы, мы под их оккупацией стали бы культурной нацией. И послевоенного сталинизма у нас не было бы. И без гонки вооружений мы обошлись бы. И без советской власти.

Дед три раза глубоко вдохнул-выдохнул, зловеще-спокойно сказал:

— Нет, не слышал я такого мнения. Значит, совершенно отстал от жизни. Но мне, моя приятельница, одно непонятно — для чего немцы с нами воевали? Чтобы устроить нам хорошую жизнь или чтобы нас уничтожить? В Освенцимах, ну а потом и в московских концлагерях?

— Всех не уничтожили бы.

— А твоего папу? А маму твою? Послали бы учиться в Академию наук, да? Щ-щенок! — вдруг заорал Дед. — Кому ты говоришь, щ-щ-щенок! Я вот живой с войны пришел, и ты мне говоришь вслух, а на моих собственных глазах погибло солдат-офицеров, если построить в колонны, так батальона два, а то три. Ты им, мертвым, то же самое говоришь? Да? — Дед уронил плешивую голову на стол и заплакал.

Володя сказал:

— Ну если так, дедушка, то я извиняюсь перед вами. Честное слово, извиняюсь!

— А, я пошел! — поднялся Дед из-за стола. — Спасибо, Аннушка, за новое знакомство! Я пошел. От греха. А то еще пришибу щ-щ-щенка. Следствие будет. Неприятности.

— Вы? Меня? — удивился Володя.

— Ну а ежели ты — меня? — спросил Дед. — Опять же следствие. Опять же неприятности. — Дед ушел и с тех пор у Богдановых не бывал.

Аннушка тот раз поплакала, Володя, еще не жених, ее уговаривал:

— Не надо, Аннушка, не надо: я же извинился! Честно. Если ты скажешь — я и домой к дедушке схожу и еще извинюсь. — Потом обратился к Богдановым-старшим: — И вы, старшие, меня извините. Это я по молодости лет обидел дедушку. По молодости мало ли что случается. Я же — извинился!!

Вспомнив инцидент, Богданов чуть не сгорел со стыда. Зачем вспомнил-то? Что теперь будет?

А ничего не было. Володя улыбнулся и сказал:

— Сегодня день торжественный. На торжествах об ошибках и обидах не говорят. А если и заговорят и вспомнят, так только ради укрепления дружбы и доверия. Только!

И тут, в этот момент Богданову захотелось плюнуть. Не то на себя, не то на Володю, но плюнуть. И все мускулы на его лице статиста вдруг дрогнули, он собрал во рту слюну, соответственно сложил губы и в этом состоянии замер: испугался Володю-жениха — ведь он же примет на свой счет!

Володя не принял, ему на любые плевки было наплевать, но Людмила схватила мужа за руку и за плечо.

— Богданов! Пойдем-ка в кухню! Ты мне в кухне кое в чем поможешь! Пойдем, Богданов!

«Костя» — это было у нее обычное обращение к мужу, «Семенович» — обращение в сердцах, а «Богданов» — верный признак крайней крайности.

В кухне, прикрыв дверь, Людмила тихо, но выразительно спросила:

— Богданов! Ты дурак или умный?!

Вопрос ошеломил Богданова.

— Не знаю...

— Я тоже не знаю. И знаешь, оказывается, никогда не знала. Никогда! И знаешь, я еще так понимаю: ты любимой доченьке обязательно жизнь хочешь испортить! Да? С самого начала? До самого конца? Да?

— Это кошунственно, что ты говоришь. Я за нее всегда страшно боялся, всегда переживал... За отметки, за мальчиков, за то, что после одиннадцати домой приходила... А нынче «боюсь» даже не то слово. Нынче отчаяние, ужас, и я готов волосы на себе рвать! Сейчас завою, под стол полезу — будете знать! С такой жизнью — с такой! — я не справляюсь!

— Господи Боже мой! Мужик нынче или баба этот Богданов? Он, видите ли, отец. А я — мать, я Аннушку Богданову, было бы тебе известно, родила! Лично! И теперь за голову не хватаюсь, под стол не лезу, а делаю, как доченьке лучше! Вот он жених Володя, и что же мне теперь с ним делать? Прогнать? Убить? Нельзя! Невозможно! Он сумел — Аннушка за ним в нищенство и в притон пойдет, а мне-то как лучше для нее сделать? А вот приголубить шикарного, войти к нему в доверие, понравиться ему, а потом воспитывать и влиять, влиять и воспитывать. Или у тебя другая кон-цеп-ци-я? Я слушаю! Ты ведь любишь кон-цеп-ции?

— Какой ужас! — воскликнул Богданов и прислонился к кухонному шкафику. Из шкафика выпала чайная чашка — последняя из чайного набора, который лет десять тому назад Богданов подарил Людмиле на день рождения. Чашка разбилась, Богданов и Людмила притихли, подождали, не выпадет ли еще чего-нибудь. Выпала чайная ложка, безобидно, без осколков.

Из столовой доносился, показалось Богданову, на редкость отвратительный хохоток Володи-жениха. И Аннушкин негромкий, домашний и глупейший смех. Удивительный, потому что ничего удивительного в нем не было — смех как смех...

— Ладно, Людмила... — сказал через паузу Богданов, — наша с тобой дочь смеется. Слышишь? У нее теперь своя судьба. Она смеется, ты улыбаешься — а я куда? У меня какая судьба? Я не смогу жить с этим человеком под одной крышей! В одной квартире. Каждое утро — «доброе утро!», каждый вечер — «добрый вечер!». Каждый день — за одним столом. Еще и мыться с ним в очередь в одной ванне? Нет-нет, хватит с меня и сегодняшнего дня, я больше не могу! Свыше моих сил! Какое несчастье!

— Не можешь? Не хочешь? Как хочешь, твое личное дело. Меня не касается. Меня Аннушка касается, вот и все... Счастье, несчастье — а что ты в этом понимаешь? Что ты, эгоист, понимаешь не в своем, а в Аннушкином счастье? Что ты понял в счастье Евгении? Что, пророк и лирик? Где он нынче, твой восторг, с которым ты обнимал литовского жениха? Где? Успокойся, пожалуйста. Ну!

Богданов попробовал успокоиться и снова спросил:

— Как это Аннушка, умненькая девочка, — и вдруг этот хам? И вдруг она хама любит? Как понять?

— Ну если не понимаешь — пойди и скажи ей, чтобы она сию же минуту его разлюбила! Такого нехорошего — сию минуту! Глупый ты, глупый! Это же от Бога, любовь-то... Бог не спрашивает, кого к кому приворожить. Может, Аннушка через год волосы на себе будет рвать, может, уже сегодня знает, что рвать будет, а сейчас все равно сидит с ним рядом и смеется. И — счастлива.

— Но есть же какое-то сознание в выборе? Или это вслепую?

— Всяко может быть. И так, и этак... Опять же — как Бог положит.

— Людочка... — вдруг не то чтобы с нежностью, но с воспоминанием какого-то счастья, он сперва и не понял — какого, проговорил Богданов, — Людочка, но ведь ты сама когда-то не от Бога, не от черта, а сама собой выбрала хорошего парня... А почему же твоя дочь? Внуши ей! Исходя из собственного опыта, из собственного счастья — внуши ей!

— Собственный опыт... Тоже скажет... А я вот вспоминаю, вспоминаю и не вспомню... Я ведь не девочкой за тебя шла, а в двадцать шесть и уже перебесилась. Конечно, не так, как нынче бесятся, но все-таки. И так уже мне надоели тогда все эти трепачи: «ты красивая», «ты необыкновенная», я никому не верила — треплются, и ладно... А тебе — поверила. Не знаю почему... Вот и все..

— Все? Да не поверю я, и сегодня не поверю, что это было «все»! Никогда не поверю!

— Нет, ты все-таки очень глупый, старик Богданов! Очень! Чем больше седых волос на голове, тем меньше ума в голове... Я и сама виновата — за тридцать лет сделала хорошего парня ещё глупее, чем он был. Еще и еще! Ну да поздно об этом говорить. И некогда. Одну дочь я потеряла ни за что, другую ни за что не потеряю и слушать тебя не буду, а лстить Аннушке буду, и лгать ей буду, и миленького Володечку буду гладить по головке, если ей так хочется, если это нужно для их совместной жизни. Они ноги будут о меня вытирать — я согласна... Только бы не повторилось, как с Евгенией... не повторилась бы та счастливая-счастливая свадьба Женечки, когда мы, старые дураки, рыдали от счастья. Помнишь? — Людмила заплакала, тут же и улыбнулась. — Вот! Буду улыбаться, хоть ты тресни, а я — буду!

А верно: свадьба Евгении — это было такое радостное-радостное явление. Без всякого преувеличения: яв-ле-ние! Женечка за однокурсника выходила, за литовца Адольфаса Эйдукавичюса — белобрысо-рыжий красавец, рост сто восемьдесят два, джентльмен, юрист, музыкант, полиглот. Гостей-студентов был полон дом, гостей-литовцев — еще раз полон, все гости — с дорогими и умными подарками, с торжественными лицами. Ксендз тоже был с крестом на груди — опять-таки высоченный и опять же торжественный, с Богдановыми-родителями говорил по-русски, с Адольфасом — по-литовски, с Женечкой — по-немецки. Богдановы радовались, как дети, — по-немецки! Аннушка, кроха еще была, радовалась сдержанно, как взрослая, — по-немецки! Кто бы мог подумать? Никто! И потому была сказка! Самое счастливое действо в доме Богдановых, самое умное. Ведь даже на свадьбе у молодежи нашлось время забраться в комнатку Жени и поговорить на ее любимую тему: юридическое право и нравственность. Женечку ни уголовный, ни гражданский процесс, ни хозяйственное право — ничто не интересовало, только эта тема, как решалась она в Риме, как в Византии, как у христиан, как у мусульман... И Адольфаса она увлекла, и он слушал невесту с не здешним, а с иностранным вниманием и любознательностью, но с русским увлечением говорил о литературе — о Юлии Жеманте и Мицкявичюсе-Капсукасе, напевал дайны, вспоминал, будто вчера было дело, о союзе литовцев с Александром Невским против тевтонского ордена.

Одним словом, была в доме любовь — молодая и благородная. И Богданов в своем доме ходил на цыпочках, ощущал личную потребность в любви и снова полюбил собственную жену. Жена будто бы откликнулась, хотя Богданов и не был в этом уверен до конца. Глухие, застойные были времена, донельзя лживые, всюду портреты — гений Брежнева на каждом шагу, позже гений Черненко, бесконечные их доклады, гимны, лозунги, всюду почти что до конца построенный коммунизм, но ведь было и убеждение, что все это — самое худшее, что хуже не будет, не может быть, а жить все-таки можно, и ты живешь как победитель самого худшего, а твой дом — все-таки твоя крепость: ни один стукач в дом так и не проник, а если бы Богданову сказали, что десять лет спустя он будет жить в этом доме вместе с зятем, а зять будет Володей, а Володя будет с косичкой, будет походя чмокать в щеки Людмилу, а заодно и его самого, — разве он бы поверил? Никогда — крепость же! Что Людмила будет бегать по соседям в поисках ста граммов для Володи? Никогда! Что будет час и другой ошиваться в очереди, чтобы без очереди урвать полкило очень странной колбасы — для Володи же? Никогда!

Может, он-то глухое время идеализирует сегодня, на Володю глядя? Глядя на него, и ГУЛАГ будешь идеализировать?.. И трагедию — будешь? Трагедию старшей дочери? Адольфас и Евгения в доме Богдановых жили полгода, окончили они университет, с блеском защитились и уехали в Вильнюс. Уезжали — Людмила очень плакала, а Богданов радовался и удивлялся слезам жены. Удивляясь, не так уж и любил ее.

В Вильнюсе будто бы даже и безо всякого перерыва, а сразу один за другим еще двое явились на этот свет — внук Витаутас, внучка Юрате. Еще радость, еще и еще она же. Вот уже всей семьей они звонят в Москву в строгом порядке — дважды в неделю. Один раз в неделю пишут. Потом звонить перестали, и Евгения сообщила: ей так удобнее. Писать перестали — удобнее. Приезжать перестали — удобнее. Людмила извелась, исхудала, домогалась по телефону: «Как, Женечка, будешь жить-то дальше?» — «Как-нибудь...» — «Приезжай к нам! Как можно быстрее!» — «Дети?!» — «Детей с собой!» — «Что вы там, в Москве, понимаете —

«с собой»?! А кто их отпустит? У них имена литовские! Они в костеле крещенные!»

Кто бы мог подумать? Хотя бы и лет пять-шесть тому назад?!

Богданов кое-как держался, русские философы помогли: Бердяев, Соловьев, другие; но у Людмилы поддержки не было — Богданов не в счет.

Нынче все не так — он едва держался на ногах, Людмила держалась слишком бодро, но бодрость эта была для Богданова нестерпимой.

Богданов сказал:

— Ты в обморок упала бы, что ли! Женщина ведь! Мать!

— Падай сам! Падай, а я сопли распускать не буду! Пробовала уже — толку никакого. Скоро и ты убедишься: никакого!

— И что же ты будешь делать? Хотя бы сегодня ночью? Спать крепким сном?

— Молиться буду.

— За кого? Ты же никогда не молишься. Не умеешь!

— За Аннушку — умею. И за маленького. Чтобы здоровеньким родился.

— Ну, это еще не так скоро...

— Месяцев через пять.

— Как-как?!

— Вот так! Слыхал — жениха? Он же русским языком объяснил: «Мы с Аннушкой стараемся!»

Богданов опустил на пол и снизу вверх стал задавать безнадежные вопросы:

— А ванночка где — купать? А коляска где — катать? А пеленки где — пеленать? А стиральные порошки где — стирать? А детское питание где — кормить? А...

Он бы и еще продолжал, но Людмила перебила:

— Встань с пола, мужик! Все-то он, мужик, знает. Специалист по материнству-младенчеству! А еще детская присыпка ребеночку нужна, а ее тоже нет. Упустил из поля зрения присыпку. Ай-ай!

— Не паясничай! — шепотом взревел Богданов. — Время пещерное. Пещера двадцатого века, но это в принципе дела не меняет, все равно — пещера! Поселить современного человека в пещеру — преступление, но кто-то поселил. Родить на тонущем корабле — катастрофа! Уж лучше родить в тюрьме. Лучше!

— Можно и в тюрьме. Неужели нельзя? Где угодно рожают. Этого ты не понимаешь — уж очень катастрофическая умница. Ты, когда родился, у мамочки спрашивал — можно или нельзя? Или — погодить? В маминой утробе, поди-ка, неплохо обустроился?

— Аннушка... И грудью-то кормить не сможет...

— Нелепый человек! Да кто нынче грудью-то кормит? Коровы? У них грудь на другом месте, вот они и могут! Понял, доктор Живаго?!

«Доктор Живаго?» — удивился Богданов. Доктор не доктор, а только глаза бы его на самого себя не смотрели — действительно сопляк! Действительно интеллигентное ничтожество, самый скверный вариант самого себя. Ведь люди — каждый — живет во многих вариантах самого себя: в сильном и слабом, в честном и бесчестном, в умном и глупом, — а нынешний вариант Богданова был самым ничтожным. Вариант же Людмилы — самым мерзким, такое случилось сочетание их вариантов.

Вошел в кухню жених Володя, посмотрел на сидящего на полу Богданова, ничуть не удивился, а потрепал себя за косичку.

— Ну? Как? Ужин считаем законченным? Торжественный?

Богданов еще сник на полу, Людмила подхватила:

— Что ты, что ты, Володечка! Мы продолжим! Обязательно!

— Вы тут, конечно, на мой счет пригорюнились, да? Вам бы другого зятка — профессорского сыночка какого-нибудь? А?

Людмила растерялась, залепетала нельзя понять что.

Жених Володя похлопал ее по плечу, крепко поцеловал.

— Я вам двоим лучше объясню, чем вы оба — мне одному: профессорские сынки нынче совершенно не в моде. Совершенно! Они уже и своим умом дошли — не в моде, и в приличные дома не суются, так где-то блудят. По мелочам. Они нынче ниже травы, тише воды. А я? Я проживу! И не так уж худо. Я вам не рассказал, считаю преждевременным, но у меня, кроме таксомоторного, и еще кое-что замечано. За-ме-та-но! Мостики наведены. На-ве-де-ны... И с колбаской у нас будет не так уж слабо. А рисом вы запаслись, Людмила Ниловна? — Голос у Володи стал очень строгим.

— Ну так, немножко... — повинулась Людмила. — Больше не удалось.

— Что значит — немножко? — напирал жених Володя.

— Килограммов семь-восемь.

— Семь-восемь? Так он же очень тяжелый, рис, по объему это вот такой мешочек! — начертил в воздухе Володя размеры мешочка. — Всего-то-навсего.

— Хранить негде. В очередях стоять некогда.

— Ну, когда двести двадцать пять граммов крупы в месяц на человека будут выдавать — тогда время найдется... А хранить? Можно на даче.

— Украдут...

— А сторож?

— Сторож и украдет...

— Да-а-а. Надо соображать... — серьезно вздохнул Володя. — Так и есть: правительство речи толкает, а соображать как и что — нам, смертным.

— Я сегодня ждала бабу Дашу, думала, она принесет хотя бы граммов триста маслица — как назло, не пришла, не принесла. И даже свидание в метро мне не назначила, — вздохнула Людмила.

— А это что еще за баба Даша? Мне незнакомая? — справился Володя. — Что за свидание?

И Людмиле пришлось довольно подробно объяснять.

Баба Даша, лет восемьдесят, кажется, двоюродная бабушка Людмилы по материнской линии, одинокая, нынче специализировалась по очередям — составляла в очередях «старые» и «новые» списки, одни объявляла недействительными, другие, наоборот, действительными, при возникновении конфликтов, даже с применением физической силы, бесстрашно исполняла роль народного судьи, ну и, конечно, имела контакты с продавщицами нескольких магазинов Черемушкинского района. Мечтала о контактах с завмагами, ей не удавалось, она надежды не теряла. Людмила беспокоилась, звонила бабе Даше: «Вам скоро восемьдесят, а такие нагрузки! И днем и ночью приходится! А мы и без сухариков, без сметаны, без грузинского чая обойдемся!» «А нынче я триста граммов сливочного достала. Приезжай на «Октябрьское» метро, я тебе вручу триста граммов. Я вручу, а ты, пожалуйста, не беспокойся, не волнуйся, у нас здесь своя мафия и правильная организация труда. Мы зря не работаем. Тут у старичка у одного шесть очередей на ладошке химическим карандашом было записано, он запутался, а мы расшифровали, ни одна очередь не пропала. У нас даже увеличительное стекло нашлось записи очередей на ладошке рассматривать — некоторые действительно очень сильно стерлись. Стерлись, а мы опять распределились, переписали номера еще на трех человек, и ни одна очередь у нас не пропала, все реализовали. И на молоко и на вермишель, а одна очередь на шоколадки оказалась. Хотя и не на правдашние, на соевые, но все-таки. Приезжай на «Октябрьскую!» Мне самой-то зачем? Мне восемьдесят, я на воде-хлебе проживу, не в первый раз, а вам? У вас Аннушка, ей кусочек намажьте! А между прочим, я Горбачева никогда не ругаю — некогда!»

Вслушав Людмилу, жених Володя посмеялся, после посерьезнел:

— А что? Старушечья эта мафия да в масштабе всего района — крупный бизнес может оказаться! Я вам говорю, крупный.

Тут и Богданов зачем-то подтвердил:

— Развал... Бесчестие кругом. Чем жить — неизвестно, как жить — неизвестно... будущего нет... Коррупция... Спекуляция... Бесчестие...

— Запомните, Константин Семенович, — посоветовал жених Володя, — запомните: слишком честные люди — глупые люди... Глупейшие. Еще годок-два — и все они самоуничтожатся... А может, и уничтожатся. В общем, так: нынче надо посредничать. Что-нибудь производить тяжелое — блюминги, самолеты, электровозы, — это невыгодно, когда-то еще эти тяжелые предметы кооператорам понадобятся! Производить можно мелочь и легкость: чашки, ложки, подштанники, бюстгалтеры. Ну и, конечно, морковку. Но еще лучше не производить ничего, а перевозить людей с места на место в такси и посредничать на биржах. Еще лучше посредничать между посредниками — совсем хорошо. Кто там, наверху всего и всякого посредничества, — тот нынче царь, Бог и президент. Тому любой бардак — находка и золотое дно. Кто такой спекулянт? Он тоже посредник. Конечно, все наши правительства умным людям на каждом шагу мешают, но с этим надо мириться: самое-то главное они все ж таки делают — бардак и дефицит делают! И надо соображать и устраиваться на какую-никакую биржу водителем. На «мерседес». Конечно, конкурс, но надо преодолеть.

Преодолею, тогда тебе любой дефицит — удовольствие, источник настоящего дохода. Вы чего это в окно-то смотрите? Не на меня, а в окно? Константин Семенович! Тесть! Я, по-вашему, не так воспитан, да? А я говорю: в цивилизованном обществе воспитывают не родители, а время. Время — вот кто главный воспитатель масс. Так было при Сталине, так и сейчас. И всегда так будет, я не сомневаюсь!

— Сталина вы не помните... — заметил Богданов и даже вздохнул: «Вот ведь — без Сталина человек обошелся!»

— Не помню. Но уроки того времени — это дело другое.

Людмила тоже вздохнула:

— Да-да — жизнь...

— Она и есть! — подтвердил жених Володя. — Так как же насчет ужина? Дорогая Людочка, как? Эндшпиль? Или все-таки миттельшпиль?

«„Людочка“, — отметил в уме Богданов, — „дорогая“...»

— Я же сказала, Володя: продолжим! — подтвердила Людмила.

— Продолжим насуха? Или?

— Мы с Костей будем стараться.

— А это другое дело! Так что я пошел к Анечке, наверное, уже скучает, а вы, будьте добры, постарайтесь поднять общее настроение. — Но, прежде чем уйти, Володя еще поговорил: — Я ведь ударником работаю. А что это значит? В принципе прекрасная специальность, потому что требует чувства ритма.

— Ритма? Какого?

— Какого угодно. Без ритма жизни нет. Это без духовой трубы, без скрипки, без фортепиано, без дворцов, без прокуратуры она может быть. А без ритма ей куда? Без него и сердца нет, пульса нет. Основа всему.

Богданову это рассуждение, несмотря ни на что, показалось любопытным. Оно его удивило. Он спросил:

— Как? Вы еще и теоретик?

— Я и в музыкальную школу ходил. И сейчас посещаю. Мы там к первому января Гимн Советского Союза разучиваем.

— Гимн? Что же его разучивать?

— А в новом ритме.

— Я что-то такое уже видел по телевидению. Очень странно... парни в кожанках орут. Девчонки ногами топают.

— До сих пор ничего особенного. А вот мы сделаем странно так странно: парни в плавках, а девчонки еще не придумали в чем. Может быть, и на телевидение пробьются. А вы? Неужели для вас госгимн так госгимном и остался? Государства уже нет, один бардак, а мы под него и сделаем гимн. Не одобряете? Напрасно. Оригинальность надо искать во всем. Бардак должен быть оригинальным.

— Я этот гимн тоже никогда не любил: ужасный избыток торжественности, то есть лжи. Но мне кажется, еще ни один народ таким издевательством над самим собою никогда не занимался.

— Никогда? Вот хорошо-то! Значит, мы будем первыми! Если дело пойдет, сделаем отчисления автору Михалкову. Кажется, Сергею Владимировичу. Этот вопрос у нас уже стоял на обсуждении. Вот если бы он еще гимн против рэкета написал, вот бы заработал!

Наконец-то Володя ушел. В столовую. К невесте.

Людмила заметила:

— Богданов! Ты жизнь прожил, а до сих пор не понимаешь, что женщина любит опору. Без опоры она никто. Без опоры у нее не может быть счастья. В самой себе женщина не может найти истинного счастья, сколько бы она ни читала книг и ни слушала Чайковского. А тебе я снова и снова удивляюсь: неужели ты собираешься этот самый гимн защищать? Вот уж не думала!

— Не собираюсь. Но видеть Володю с барабаном и в голом виде не хотел бы.

— Знаешь, что я тебе посоветую, Богданов? — побледнев и тут же покраснев, металлическим голосом произнесла Людмила. — Не знаешь? Самое лучшее, что ты можешь сделать, это не вмешиваться в жизнь молодого поколения: не твоего ума дело! Не хочешь на что-то смотреть — не смотри, кто тебя заставляет? Никто не заставляет, нынче плюрализм и свобода. А я вот посмотрю! Хотя бы из уважения к молодому поколению. Хотя бы потому, что я мать своих дочерей... — Людмила вдруг погладила Богданова по голове, легкое такое движение, почти незаметное. — Богданов! Такое впечатление, будто у меня не две, а десять

дочерей... И каждую надо устраивать. И каждая никак не устраивается. Мне назло. И тебе назло. И себе назло. И всей жизни назло.

— Уж ты скажешь...

— И скажу. Что этой дурочке Аннушке надо-то было? Что ей надо было, когда у нее был Саша Кирпичников, а? Ты Сашу помнишь? Он, я слыхала, уже с месяц как директор о-о-огромного концертна! Ты его помнишь — вот был человек, а?

Богданов Сашу Кирпичникова, признаться, забыл, но, признаться, и помнил тоже: молодой бизнесмен, с бородкой, в очках, донельзя самоуверенный и очень сдержанный, и вот такой — умный, расчетливый, сдержанный — взял да и влюбился в Аннушку. На каком-то концерте Аннушка купила с рук билет и оказалась рядом с Сашей — только и всего!

Но Саша стал регулярно посещать Богдановых, регулярно беседовать с Константином Семеновичем и объяснять ему, как, что и о чем он думает, о чем не думает:

...не думаю, что в принципе может существовать совершенно честный бизнес. Но что он не может существовать у нас — в этом я уверен...

...думаю, что дело сейчас не в том, кто из политиков победит, а в том, кто победит в бизнесе: относительно честные люди или мафиози..

...не думаю, что наше поколение достигнет стабилизации

...думаю, что России нужно помогать. Тем более что настоящий бизнес обязан быть благотворительным..

О бизнесе как таковом Саша почти не говорил. Может быть, потому, что Богданов в этом вопросе ровным счетом ничего не понимал.

Только однажды Саша пояснил Богданову:

— Значит, так: бизнес заинтересован в соотношении доллара к рублю как один к ста. И даже выше.

— Почему? — спросил Богданов.

— Очень просто. Вот я должен в российский банк сто тысяч. Я полетел в ФРГ к своему компаньону и попросил его оплатить мне стоимость авиабилетов. Того проще — захватил немудрящую какую-нибудь икону, крестик какой-нибудь, это тысяча долларов. Я приехал в Москву и расплатился с банком карманными деньгами за сто тысяч.

— Действительно! — согласился Богданов. — Действительно нелепица. Ее, наверное, скоро устроят. Как-нибудь.

— Наверно, — согласился Саша. — И, наверно, придумают какую-нибудь другую глупость. Побольше, чем эта.

А еще Саша Кирпичников изучал слова:

«Спасибо» — это «спас», а еще «ибо»... «Природа» — «при родах», непрерывность родов... А что такое «деньги»? «День» — это ясно, это ежедневность, но «ги»? От слова «гик»? Гикнуть, гикать? Не думаю. Не догадываюсь. А знаете, сколько в русском языке слов, подобных «переделке» и «перестройке»? Не знаете? Так вот: больше двух тысяч. Пере-дельвать — это в русском духе!

Ну и вот о чем еще Саша Кирпичников, непрерывно что-то просчитывая в уме, думал:

— А что, Константин Семенович, если бы я предложил вам в своем концерне должность? Должность консультанта-референта по нравственности. Для начала тысячи две в месяц? И фамилия подходит: Богданов, Бог дал. А?

— Это очень странно, Саша..

— Вот и хорошо! Бизнес должен быть со странностями. Реклама, престиж, привлекательность. Но странности не должны быть ему навязаны, он должен их выбирать сам. Так как?

Богданов не знал, что и ответить, но Саша был тактичен.

— Нет-нет! Считаете, не подходит? Значит, не надо. Останется в области фантазии. Но в целом идею еще надо просчитать.

После бесед с Богдановым Саша шел в комнату Аннушки, и оттуда доносилась тишина...

Людмила и Константин Семенович делали вид, будто их совершенно не интересует — тишина-то почему? Ну прямо-таки мертвая? Вид делали, но и сами замолкали, говорили шепотом, лучше было, если и вовсе не говорили.

После этой тишины Аннушка и Саша тоже почти молча одевались и ехали куда-нибудь в концерт — Аннушка в то время увлекалась музыкой, в Москву наезжало много знаменитостей, а для Саши не составляло труда снять трубку и

позвонить Жоржику: «Жоржик! Два билетика на Рихтера. Ряд? Ну, чтобы облегчить тебе задачу, ряд с третьего по восьмой включительно».

Что это был за Жоржик, старшие Богдановы так и не узнали, Аннушка, кажется, не знала тоже. Саша Кирпичников не раз предлагал Людмиле: «Хотите, Людмила Ниловна, я дам вам телефон Жоржика? Если что — звоните ему от моего имени».

Людмила — с удовольствием бы, но Богданов ей не велел ни в коем случае, а в ту пору она еще слушалась мужа. Мужа слушалась, но на Сашу Кирпичникова серьезно ставила: «Какой человек! Какой удивительный человек!»

И Людмила, сердито поглядывая на мужа, как-то сказала Саше:

— Знаете, Александр Матвеевич, мне, право же, неудобно эксплуатировать мальчика.

— Какого мальчика? — не понял Саша.

— Ну этого... вашего... Жоржика.

— Ах, Жоржика... Ну какой же он мальчик? Ему за шестьдесят.

Тут и Людмила смутилась, и Аннушка заморгала своими голубыми. Саша и ухом не повел.

— Хороший работник. Незаменимый.

Встречался с Сашей Кирпичниковым и Дед, они разговаривали. Странное дело: Саша как будто бы и нехотя, как будто бы и через силу, но поговорить, рассказать, о чем он думает, о чем нет, очень любил. Правда, не более минут пятнадцати — двадцати. Дед от этих разговоров был в восторге:

— Во-о-от голова! Я бы товарища Кирпичникова министром завтра же сделал! А то — президентом!

Но вскоре случилось: Саша позвонил, трубку подняла Людмила: «Здравствуйте, здравствуйте, Сашенька! Как ваше здоровье?» — но тут выскочила в коридор Аннушка:

— Скажи ему, что меня дома нет!

Людмила молча открывала-закрывала рот, Аннушка подошла к ней, взяла трубку, тоже справилась о Сашином здоровье и сказала:

— А меня дома нет. И не скоро буду. Привет, дорогой! — Потом объяснила матери: — Мы поссорились!

— Мало ли что, доченька, бывает! Поссорились — помиритесь! Только не надо так грубо отвечать, это очень некрасиво!

— Вполне может быть, что некрасиво! Но я красивой музыки наслушалась, хватит. Хватит, надо и совесть иметь!

Больше Саша Кирпичников в доме Богдановых не бывал. Богданову даже показалось, что он и Людмила вспомнили Сашу Кирпичникова и вместе и одинаково, хотя вместе, а тем более одинаково, они давно уже ничего не вспоминали, ни о чем не вспоминали, ни о чем не думали... К тому же Людмила подняла Богданова с пола. Он долго сидел на полу, смотрел по сторонам: хоть бы помог кто-нибудь подняться!

Людмила ему помогла, но сказала:

— Конечно, нынешний Володечка не то. Он хам. Он хам, но мужчина. А ты — кто? Вставай! Пошли!

— Куда?

— К тебе в кабинет.

— Зачем?

— За тем. За тем самым.

Богданов встал и пошел.

В кабинете Людмила остановилась около полок с книгами.

— Вон там, на самом верху, Гегеля видишь?

— Гегеля? Вижу.

— Поставь лестницу и поднимись. Сними Гегеля и посмотри, что там за ним на полке. Я бы сама, но действительно... действительно голова кружится. Ты меня понимаешь?

— Понимаю... — И Богданов сделал, как ему было сказано: лестницу поставил, поднялся, снял Гегеля.

На полке позади стояла бутылка водки.

— Откуда?

— Припрятала когда-то... — подняв чуть припухшее лицо, сказала Людмила.

Сверху она показалась Богданову пониже ростом, чуть полнее и постарше тоже. Вместе с тем в этот момент она снова была скорее доброй, чем злой, немножко красивой, не очень сильного характера и совершенно не склочной...

Перемена мест, что ли, имела значение? То Богданов, сидя на полу, видел Людмилу снизу вверх, а то смотрит на нее с высоты. Смотрит и на минуту забывает о существовании на свете и в его собственном доме Володи с косичкой. Если бы минута-другая выпала и для того, чтобы взять в руки самого себя? Самому определить, какой ты сейчас: подло-растерянный? подло-бессильный? или же все еще и назло всему на свете пусть не до конца, но нормальный человек? мужчина? Богданов стал внимательно смотреть на Людмилу: вдруг она подскажет ответ? Отсюда, сверху, ему показалось возможным взаимопонимание с женой. А всякое взаимопонимание и примирение с окружающей действительностью начинается с примирения с женой.

— От кого прятала-то? Неужели от меня? — спросил Богданов.

— Много о себе думаешь! — ответила она. — Слишком много чести. Слезай, слезай. Жду!

И неожиданно вдруг замерла с запрокинутой вверх головой. Что-то в ней случилось — или какая-то мысль-догадка, или бессмыслица и пауза в собственном существовании?

Богданов хотел паузу нарушить, потом подумал: «Не надо» — и распахнул том Гегеля. На распахнутой странице Гегель объяснял, что нельзя говорить «Бог существует», надо по-другому: «Бог создается». «Об пол, об пол!» — подумал Богданов, приподняв бутылку над головой.

Он и раньше помнил гегелевскую мысль, давно ее знал, но мало ли что знаешь, что за всю свою жизнь начитал. То, что мысль лицом к лицу встретила ему именно сейчас, в эту минуту, поразило его до глубины души, весь организм поразила. «Каждая мысль в каждом человеке ищет свою минуту. И находит!»

Об пол!

Людмила вздрогнула, вышла из оцепенения и пришла к чему-то — к какой-то мысли, должно быть. Позвала:

— Ну?

Богданов спустился вниз.

— Знаешь, Люда, Бог действительно всегда создается или же не создается в каждом из нас. И создание и несоздание — это процесс. Он идет непрерывно, неустанно, и мы или созидаемся, или разрушаемся... А ты о чем только что думала?

— Я?.. Я сегодня, я сию минуту думать разучилась! Навсегда. Дай-то Бог, чтобы навсегда.

— А как будешь жить?

— Как-нибудь...

— А я?

— И ты как-нибудь... Сейчас я тебе скажу, что делать, а ты делай и не плачь. Мы войдем к ним, к молодым, в столовую, ты поднимешь бутылку над головой и крикнешь «ур-р-ра!».

— Так не может быть!

— Может, может! Тебе перед Володей надо реабилитироваться. Надо! Ради Аннушки. Ради маленького. Аннушку любишь? Значит, «ур-р-ра». Понял? Если понял — о жизни не думай. Вредно. Вот тебя уволят скоро по сокращению штатов, а почему именно тебя? Потому что много думаешь. Но жить все равно надо. Как-нибудь.

Людмила взяла мужа за руку и повела в столовую, шепча на ходу:

— Ш-ш-шире ш-ш-шаг! Вот так! Ш-шире... И — вперед!



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

НАТАЛИ САРРОТ

*

ДАР РЕЧИ

Ich sterbe

Ich sterbe. Что это? Немецкие слова. Они значат «я умираю». Но откуда это? Почему вдруг? Сейчас узнаете, потерпите немного. Они явились издалека, они пришли (как мы говорим, «мне пришло на память») из начала века, из немецкого курортного городка. Но на самом деле из областей куда более далеких. Однако не будем спешить, отправимся сначала туда, куда ближе. То есть в начало века — в 1904 год, чтоб быть точными, — в гостиничный номер немецкого курорта, где приподнялся на постели умирающий. Он был русский. Вам знакомо его имя: Чехов, Антон Чехов. Он был прославленным писателем, но в данном случае это не важно — можете не сомневаться, он не имел намерения оставить нам на память знаменитое предсмертное изречение. Нет, только не он, это было совсем не в его духе. Его слава имеет для нас лишь то значение, что благодаря ей эти слова не пропали, как пропали бы, будь они произнесены каким-нибудь заурядным умирающим. Но этим и ограничивается ее значение. Есть другая важная деталь. Чехов, вы ведь знаете, был врачом. Он болел туберкулезом и приехал сюда, в этот курортный городок, лечиться, но на самом деле — как он признался друзьям с неизменной своей иронией по отношению к себе, с той беспощадной скромностью и смирением, которые, как мы знаем, были ему свойственны, — чтобы «подохнуть». «Еду туда подыхать», — сказал он им. И так, он был врачом и в последнюю свою минуту, когда у его постели стояли по одну сторону жена, по другую врач-немец, он приподнялся, сел и сказал — не по-русски, не на своем родном языке, а на языке того, кто сидел рядом, на немецком, — сказал громко и четко: «Ich sterbe». И упал на подушки мертвый.

И вот эти слова, произнесенные на этой кровати, в этом гостиничном номере три четверти века назад, вдруг являются... каким ветром их занесло?.. и опускаются здесь... маленькие угольки... черня, прожигая белую страницу...

Спокойный. Скромный. Благоразумный. Всегда столь неприхотливый. Довольствовавшийся тем, что дают... И вдруг такой беспомощный, лишенный слов... у него их нет... это ни на что не похоже, не напоминает ничего когда-либо кем-то рассказанного, когда-либо созданного человеческим воображением, это, конечно, то самое, про что говорят «нет слов, чтобы выразить»... здесь больше нет слов... Но вот совсем рядом, подле него, наготове... с чемоданчиком, со всеми нужными инструментами... вот добротное слово немецкого производства, слово, которым этот немецкий доктор обычно пользуется, устанавливая факт смерти, сообщая о ней родственникам, крепкий и сильный глагол: sterben.. спасибо, я его беру, я тоже сумею спрягать его правильно, я сумею воспользоваться им как следует и смиренно применить к самому себе: Ich sterbe.

Я сам сделаю операцию... я ведь тоже врач, не так ли?.. чтобы облечь в слова... Операцию, которая в этот беспредельный беспорядок внесет порядок. Невыразимое будет выражено. Непостижимое будет постигнуто. Безумное подчиняется рассудку. Ich sterbe.

То, что во мне вибрирует... колеблется... трепещет... дрожит... пульсирует... вздрагивает... рассыпается... распадается... разлагается... Нет, не то... Совсем не то. Но что же? Ах, да вот оно, здесь, забилось в эти слова, отчетливые, непроницаемые. Принимает их форму. Четкие контуры. Больше не движется. Затвердевает. Усмиряется, Успокаивается. Ich sterbe.

Меня сносит, тащит, я пытаюсь удержаться, цепляюсь, хватаюсь за то, что подворачивается там, на краю, за этот бугорок... камень, растение, корень, комок земли... чужой земли... твердой земли: Ich sterbe.

Никто, попав туда, где я сейчас, не смог... а я, собрав последние силы, делаю этот выстрел, посылаю этот сигнал, сигнал, который тот, кто оттуда наблюдает за мной, сейчас же узнаёт... Ich sterbe... Вы слышите меня? Я уже на краю... На самом краю... Здесь предел. Это и есть та самая точка.

Ich sterbe. Сигнал. Не крик о помощи. Там, где я нахожусь, помощь невозможна. Спасения уже быть не может. Вы знаете не хуже меня, что происходит. Кому как не вам знать, о чем я говорю. Потому-то к вам я и обращаюсь: Ich sterbe.

К вам. На вашем языке. Не к ней, которая тоже здесь, подле меня, не на нашем с ней языке. Не нашими слишком нежными словами, ставшими чересчур гибкими и мягкими, оттого что так долго служили нам, перекатывались во всплесках нашего смеха, когда мы падали без сил... о, перестань, я умираю... не теми слишком легкими словами, которые, когда сердце колотилось от избытка жизни, проскальзывали в нашем шепоте, слетали с губ вместе с дыханием... я умираю...

Что ты говоришь, милый, ты сам не знаешь, что говоришь, для нас не существует «я умираю», есть только «мы умираем»... но этого не может случиться, только не с нами, не со мной... ты ведь хорошо знаешь, как ты не прав, когда видишь все в черном свете, когда впадаешь в отчаяние... ты же знаешь, мы с тобой оба знаем, мы же видели, и ты и я, как в конце концов все улаживается... конечно, конечно, да, я тебя слышу... но главное — не утомляйся, не волнуйся так, не садись... тебе вредно... ну, ну, полно, я понимаю, тебе плохо... да, это мучительно... но это пройдет, ты увидишь, как все прежние приступы... но главное — ложись, не шевелись, постарайся успокоиться...

Нет, только не нашими словами, слишком легкими, слишком смягченными, им никогда не преодолеть то, что сейчас разверзается между нами, ширится... огромное зияние... нет, словами плотными и тяжелыми, по которым никогда не пробегала волна веселья, наслаждения, которые никогда не пульсировали вместе с биением крови, не дрожали от дыхания... словами безукоризненно гладкими и твердыми, как баскский мяч, я бросаю их ему изо всех сил, ему, хорошо натренированному игроку, — он стоит как раз там, где полагается, в том месте, куда они должны упасть, и принимает их, не дрогнув, в самый центр своей прочно сплетенной хистеры.

Нет, не нашими словами, а теми, которых требуют обстоятельства, торжественными и холодными, мертвыми словами мертвого языка.

Много лет, месяцев, дней, всю жизнь, это подспудно существовало во мне, было моей изнанкой... и вот разом, двумя словами, я чудовищным рывком выворачиваю всего себя... Видите: изнанка стала лицом. Я тот, каким должен был быть. Все наконец пришло в порядок: Ich sterbe.

Этими словами, остро отточенными лезвием превосходного качества — я им ни разу еще не пользовался, ничто не могло его затупить, — я, опережая момент, режу сам: Ich sterbe.

Всего лишь расположенный к содействию, послушный и полный готовности, я, прежде чем это успеете сделать вы, ставлю себя на ваше место, отрешившись от себя самого, и точно так же, как это сделаете вы, в тех же словах, что и вы, устанавливаю факт.

Я собираю все свои силы, приподнимаюсь, сажусь, тяну и опускаю на себя плиту, тяжелый надгробный камень... а чтобы он опустился точно, куда нужно, вытягиваюсь под ним...

Но может быть... когда он приподнимал плиту, когда держал ее на вытянутых руках и собирался опустить на себя... за миг перед тем, как упасть под нее... не пробежала ли едва уловимая дрожь, чуть заметный трепет, почти неощутимый признак живой надежды... Ich sterbe. А вдруг тот, кто наблюдает за ним, кто единственный может знать, вмешаться, крепко схватит его, удержит... Но нет, уже нет никого, уже нет никаких голосов... Лишь пустота и безмолвие.

Как видите, тут всего несколько небольших водоворотов, легких разбегающихся кругов, которые удалось уловить из бесконечного множества волн, производимых этими словами. Если кто-то из вас сочтет такую игру занятой, он может — правда, это требует времени и терпения — попытаться ради развлечения найти и другие. Во

всяком случае, вы не рискуете ошибиться, все, что вы обнаружите, налицо в каждом из нас: круги, которые разбегаются и ширятся, когда, пущенные из такой дали и с такой силой, падают в нас, всколыхнув снизу доверху, слова: Ich sterbe.

До скорого!

Интересно, куда направляется вон тот человек с таким воодушевленным, открытым видом? Смотрите, как он стремительно пересекает улицу, не обращая внимания на светофор, он ужасно торопится, ведь он так не любит заставлять себя ждать... А тем более друга, да еще такого друга, всегда столь тактичного, предупредительного. Так и есть, тот уже ждет... Надеюсь, вы пришли только что, я ведь не опоздал, правда? — Нет, нет, не беспокойтесь, это я сегодня пришел чуть раньше. Ну, что слышно хорошего, что нового с прошлого раза? Но прежде давайте решим, что будем заказывать...

Они единомысленны в пристрастии к этому ресторанчику, скромному, но такому уютному, со своим настроением, к этому простому, но превосходному меню, которое вносит в их союз остроту легких разногласий... Нет, это я не очень люблю... Нет, не то чтобы я этого вообще не любил, но просто сейчас... А потом, развернув салфетки, они слегка откидываются назад, чтобы лучше видеть друг друга... и вот уже бьет фонтан слов. Из чьих уст? Да из уст того, кто несся через улицу, нетерпеливо толкал вертящуюся дверь и спешил по проходу между столиками, как будто слова уже распирала его и ему необходимо было как можно скорее их выплеснуть... Но что это за слова? Что за слова уже были в нем в тот момент? Он сам не знает, он ничего не подготовил заранее, ничего конкретного, разве что какие-то смутные наметки, обрывки мыслей, он всегда полагается на сиюминутное вдохновение. Он — тот, кто бежал, кто привлек наше внимание. Только он один, другой — нет. Почему? Потому что именно из него неудержимо изливается поток слов...

Между тем нет ничего для нас привычнее, чем то, что несет в себе этот поток... происшествия, неопубликованные и еще никому не известные новости, статьи, любопытные истории, мнения, предположения, выставки, фильмы, спектакли, концерты, книги... такое впечатление, будто говорящий сидит на спутнике и, наблюдая оттуда за всей землей, посылает другому сигналы, которые тот принимает и время от времени отвечает на них короткими знаками — словами, кивками, улыбками или смехом, — поощряя продолжать передачу... Тогда зачем мы уделяем этому обмену сигналами столько внимания? Чего искать в этих знаках, которые так просто расшифровываются? Каждое слово здесь из разряда тех, которые «говорят именно то, что хотят сказать»: они точно доносят все, что на себя взяли, облекая это в свою форму — уставное форменное одеяние, предписанное обычаем для всех свободных, прямых дружеских разговоров. Так зачем же?... Да затем, что есть нечто... не в том, что несут эти слова, нет, есть нечто немного странное, быть может, в манере... излишне торопливой? Нет, они текут внешне вполне спокойно. Скорее поражает величина, протяженность их потока. И еще направление течения. Он катится почти все время в одну сторону — от того, кто по этой единственной причине нас и интересует, к другому.

Но вы начинаете терять терпение, вы уже собираетесь отделаться от всего этого, выбросить на помойку, записав в специальный полиэтиленовый мешок для мусора. Поток слов «неистощимого говоруна», или «влюбленного без памяти», или «подчиненного, обхаживающего своего начальника», или «щедрого благодетеля»... ничего интересного тут нет, ничего, что было бы жалко выкинуть. Но не кажется ли вам, что и я не из тех, кто пожалел бы выбросить на свалку такое старье? Только дело в том, что в других обстоятельствах этот неутомимый болтун молчалив и скуп на слова, что он вовсе не подчиненный и нисколько не влюблен.

Поэтому окажите мне доверие еще ненадолго, мы уже близки к тому последнему мгновению, когда, стоя на тротуаре, они обмениваются долгим, крепким рукопожатием, обещая друг другу скоро, очень скоро... и тут происходит нечто любопытное: тот из них, кто больше говорил, так что чувствует себя совершенно вымотанным, испытывает в миг расставания как бы неутоленный голод, словно ему не хватает чего-то... осталась какая-то незавершенность, какая-то недосказанность, надо обязательно... Давайте договоримся о встрече сейчас, зачем откладывать? — Прекрасно, я с удовольствием... — Ну, как обычно... на том же месте, в тот же час... — Да, через две недели...

И две недели спустя все повторяется. Опять тот же поток слов и опять у говорившего в конце то же ощущение незавершенности, мучительной разлуки...

Тут следует сделать паузу... Мы должны признать, что налицо все основания считать эту встречу встречей друзей.. Но не торопитесь смеяться... махнуть на меня рукой... Где они, по-вашему, находятся, эти два друга? И мы вместе с ними? Мы находимся внутри величественного здания, на фронтоне которого написано... давайте скажем «золотыми буквами», чтобы подчеркнуть его особую респектабельность, внушительность... словом, где над входом золотыми буквами выбито его название: Дружба. Как вам известно, такое заведение можно покинуть, только получив пропуск, который выдается в исключительных случаях... Устаете так много говорить? Это, по-вашему, уважительная причина? Вы шутите!.. Говорите меньше, если вас это утомляет... Кто вас заставляет? — Заставляет? Да нет... кто же меня заставляет? — Будьте откровенны, так много говорить побуждает вас редкое качество, присущее вашему другу,— умение слушать... Среди пансионеров нашего заведения мало найдется таких, кто соответствовал бы в большей степени, чем вы оба, предъявляемым требованиям: полное равенство, один и тот же уровень, общая среда, общие интересы и вкусы, взаимная симпатия... Кто лучше, чем вы, отвечает условиям, предусмотренным нашим уставом? Так что ни о каком пропуске на выход не может быть и речи. Признайтесь, вы бы первый отказались его выдать, если бы должны были выписать его самому себе...

При такой ситуации не возникает ли у нас мысль — ибо мы знаем, что происходит порой с теми, кто заперт в такого рода заведениях, именуемых «Дружба», или «Любовь», или «Любовь материнская, отцовская», или «Любовь сыновья», «Любовь братская»... пожалуйте, преодолите отвращение перед такой бесчувственностью, таким цинизмом... вы ведь знаете не хуже меня, что иногда с теми, кто вот так заточен и не может выдвинуть для получения пропуска никаких причин, уважительных даже в своих собственных глазах, случается... случается так, что, желая наказать себя за то, что они допустили это заточение, и одновременно за желание уйти, они, чтобы еще усугубить собственную безысходную участь... да, как узники концлагерей, которые обращают свою ярость против самих себя и предаются самоистязанию... не возникает ли мысль, что, подобно им, друг, который столько говорит, делает это, дабы покарать себя... и, обессиленный, опустошенный, униженный, в состоянии остервенения молит, чтобы все поскорее повторилось. Давайте признаем, что это весьма соблазнительное объяснение.

Как ни жаль, но совершенно несомненно, что тот, кто не в силах удержать поток слов, прекрасно осведомлен, как и каждый из нас сегодня, обо всех этих самобичеваниях и самоистязаниях, поэтому маловероятно, чтобы он не осознал, и причем давно, этого насилия над собой, этих терзаний. В том-то и дело, что в нем как раз нет — потому он нас так и притягивает, — ровно ничего, сколько бы мы ни допрашивали его и сколько бы он ни силился это в себе отыскать, ничего иного, кроме горячего, страстного желания как можно лучше оберегать и постоянно украшать бесценное сокровище, которым ему повезло обладать, — этот идеальный образец дружбы.

Если бы мы попросили рассказать о достоинствах его столь безупречного друга, он не сумел бы ответить... он воспринимает их в целом, ему никогда не приходило в голову их перебирать, давать им названия, он никогда не мог взглянуть со стороны... невозможно судить о том, что тебе так близко, с чем ты составляешь почти одно целое и что в любви, как и в дружбе, так удачно именуется «второе я».

Так из года в год и тек бы между двумя друзьями всегда в одном направлении все тот же поток слов. Только смерть иссушила бы его, и, вероятно, ничто никогда, даже на время, не прервало бы его течения, если бы в один прекрасный день в бездумном разговоре кто-то посторонний, не сознавая, что делает, случайно не обронил в присутствии болтливого друга о молчаливом друге следующее замечание: «Да, мы с ним довольно давно знакомы. Он всегда меня слегка раздражал. Мне не хотелось с ним сближаться. Я стараюсь избегать гордецов вроде него»...

Это был удар... удар заступа, пробивший стенку засыпанной штольни... вдруг хлынули воздух, свет... он приходит в себя, расправляет плечи, осматривается... Что произошло? Что со мной случилось? Где я?.. Знакомый маленький зал ресторана вытянулся, стал огромным, на полу появился пушистый ковер, а в самом дальнем конце, обвешанный наградами, восседает за столиком, наблюдая за мной, пока я приближаюсь к нему, нагруженный подарками, собранными для него по всему свету... это вам и еще вот это... согласитесь ли вы принять? Достойно ли это вас, вашего вкуса, вашей культуры, вашего суждения?.. соблаговолите взглянуть... И вдруг все снова уменьшается, возвращается к нормальным размерам ресторанный зал, где за узким столиком сидит напротив меня — на стуле, который он скромно выбрал, предоставив мне, как всегда, лучшее место,— мой друг и чуть удивленно на меня

смотрит... «Я, кажется, на минутку отключился, но все уже прошло... пустяки...» — и друг успокаивается... вот он уже смеется, я очень люблю, когда он смеется, у него такой заразительный смех, я и сам начинаю смеяться вместе с ним, до слез.

После этой краткой заминки поток слов возобновляется. А потом, в другой прекрасный день, наш говорун встречает еще одного общего знакомого им обоим, уже не столь далекого... Более того, это один из тех людей, к помощи которого ему нередко случается прибегать, когда он чувствует, что разговор, обескровленный злоупотреблением бесплодными темами, слишком отвлеченными или возвышенными, для вливания свежей крови нуждается в предмете подлинно живом. И всякий раз оказывается, что этот «живой предмет», когда он заводит о нем речь, заставляет его друга как бы слегка отшатнуться... отпрянуть... на лице появляется чуть презрительная гримаса... молчание его становится тяжелым, словно исполненным неприязни... иногда он роняет замечания, которые можно отнести к разряду нелестных... «Вы определенно не любите его... — Да, по правде сказать, не слишком... — Но почему все-таки? Я не понимаю... — О, не знаю... ничего определенного...» И, как вы, конечно, догадываетесь, именно это его свойство вызывать живую реакцию, позволяя в большей степени, чем кто-либо другой, расшевелить, позабавить друга за его счет, и делает его излюбленным предметом разговора.

И тут происходит нечто неожиданное. Во время этой встречи выясняется, что так часто используемый «живой предмет», невольный донор, не только не догадывается о своей роли и характере оказываемых услуг, но и мнит себя их общим другом, любимым и ценимым за совсем другие достоинства, «таким сдержанным и застенчивым... он не любит выставлять напоказ свои чувства, но я постоянно ощущаю его дружеское расположение, и оно меня очень трогает, кстати, я плачу ему тем же. Я невероятно привязан к нему...».

Ну и что же тут неожиданного? Ничего, разумеется, но погодите... Простак постепенно разговорился, он пускается в откровенности, пытается выразить нечто, что сам не может в себе понять... что никогда не возникает у него с другими... потребность непрерывно говорить, развлекать, заинтересовывать... всякий раз, даже еще до встречи, он чувствует, что его переполняют слова и ему не терпится их выплеснуть... Если б вы только меня видели, когда я иду на встречу с ним... Я перехожу улицу, не обращая внимания на светофор... я чуть ли не бегу, если вижу, что он уже сидит за нашим столиком и ждет меня... А когда мы расстаемся, у меня возникает ощущение какой-то незавершенности, мучительной разлуки... мне непременно нужно получить от него обещание, что мы скоро опять увидимся, я предлагаю назначить день сейчас же... мне хочется, мне просто необходимо, чтобы вскоре все повторилось...

«Ошеломление» — вот грубое определение действия, произведенного этими словами на того, кто, не веря ушам, их слышит и, не веря глазам, видит в другом свое собственное отражение, влекущее его, словно Нарцисса... он видит самого себя, да, это он — бежит, говорит, жмет руку, домогается... «Да это же я! Все, что вы говорите, относится ко мне. Я в точности как вы... Мы похожи... Два сапога пара...» Два сапога пара?.. Что он говорит? Куда ведет его это выражение, которое он употребил машинально? Куда? Он не видит... все затуманилось, смешалось...

Но вот, словно из запутанного клубка, торчит ниточка... он тянет за нее... Та же потребность говорить, та же спешка, то же нетерпение... не так ли и я сам... как он... нет, невозможно..., он отпускает, теряет нить... потом мужественно отыскивает вновь... хватает ее. Да, как он, я такой же, как он, совершенно такой же, наивный до скудоумия, до слепоты, солнечный идиот, донор... он дергает сильнее, и весь клубок разматывается... он кричит: «Я такой же, как вы, в точности такой же, и, знаете, что я открыл, знаете, что мне кажется: наш друг, которого мы с вами так любим, он не... да, все ясно, он не любит меня».

И тотчас он видит в другом согласие, мгновенное, без колебания... в его взгляде поддержка, почти облегчение... ах, наконец-то ты догадался, наконец сообразил... вдруг его взгляд пустеет, обращается внутрь, где явно совершается та же работа, чтобы разобраться... чтобы размотать... еще одно усилие... и вдруг все нити разом распутываются... теперь уже он кричит, и в голосе его слышится торжество: «Я тоже понял, для меня тоже все теперь прояснилось, суть в том, что он нас не любит!»

Это открытие, которое для двух наших говорунов не могло не иметь значения и легко воображимых последствий, интересно для нас с вами тем, что благодаря ему завожовивший нас поток слов предстает вдруг в довольно любопытных и неожиданных аспектах.

Слова — волны работающей в эфире глушилки...

Слова — радиоактивные частицы, излучаемые, чтобы не дать распространиться... чтобы разрушить в другом больные клетки, где разрастается его враждебность, ненависть...

Слова — лейкоциты, которые бессознательно вырабатывает организм, заполненный микробами...

Слова, непрерывно выгружаемые самосвалами для осушения трясины...

Слова — речной ил, свозимый в избытке для удобрения бесплодной почвы...

Слова смертоносные, которые, повинувшись неумолимому повелению, орошают жертвенник кровью заколотого брата...

Слова — податели даров, богатств, свезенных со всего мира и возложенных на алтарь перед богом смерти, сидящим в глубине храма за потайной дверью, последней дверью...

Куда только не заносит нас порой течение непринужденной беседы, самой обыкновенной, за столиком в ресторане, где регулярно встречаются, чтобы вместе пообедать, двое друзей!

А почему бы нет?

Вот два других собеседника. Опять друзья, как те двое? Нет, просто собеседники, они обмениваются фразами, какими люди обмениваются обычно... обсуждают события, высказывают мнения... ничего примечательного... Но и тут тоже нужно чуть-чуть терпения.

Тот, кто в данный момент говорит, только что упомянул, как это бывает в разговоре, ну, скажем, некий факт и сделал из него выводы, поделился своими соображениями... Каким тоном? Да, он, что верно, то верно, имеет большое значение. «Песню делает тон» — гласит старинная французская поговорка... Но в его тоне нет ничего, что стоило бы отметить. Это тон серьезный, с оттенком убежденности, свидетельствующий о работе мысли, тон человека, который, обращаясь к кому-то, считает, что сказанное им заслуживает ответа. Поэтому он умолкает, чтобы ответ прозвучал, и доверчиво ждет.

А тот не отвечает? Что вы, как можно, мы имеем дело с людьми, знающими правила беседы. Тот отвечает. И весь интерес — в ответе? Да, во всяком случае, начинается с него.

Тот, кто получает этот ответ, сразу же, как полагаются, его изучает, и он его удивляет. Может быть, этот человек привык, чтобы каждое его слово принимали за истину в последней инстанции, и удивляется, когда ему возражают? Ничего подобного! Он как раз из тех, кто любит свободный, честный спор. Он хороший игрок и всегда готов позволить себя убедить, если он ошибается. Он любит «общаться», легко доверяется собеседнику, не пытаясь прежде узнать, с кем имеет дело, и в отличие от дворян, которые не снисходили до поединка с плебеями, не задумываясь ввязывается с кем попало в то, что называется борьбой идей.

Итак, он адресует кому-то слова, которые должны донести некую мысль, умозаключение, ждет, чтобы они достигли цели, а затем рассматривает те, которые получает в ответ...

Но что за слова он посылает? И получает? Вы, вероятно, хотели бы это знать. Но я не могу вам ответить по той простой причине, что я этого не знаю... и, поверьте, так лучше, потому что если бы можно было их процитировать, то вы не удержались бы от искушения к ним прицепиться, и я с вами заодно, принять участие, позицию, сторону... и таким образом, погнавшись за журавлем в небе, мы упустили бы нашу добычу... ибо добыча для нас состоит не в истинности той или иной идеи... добыча... но не будем забегать вперед...

Итак, звучит ответ, и в нем есть нечто странное... Впрочем, ответом это назвать нельзя. Потому что подобного рода странных ответов несметное множество. У них столько разновидностей, что приходится ограничиться лишь несколькими образцами. Вы можете без труда, если захотите, добавить или подставить на их место другие, выбрав среди тех, что имеются у вас наготове... Кто из нас не откладывал их впрок в бездонный запасник, который у нас нет ни времени, ни охоты разобрать и пересмотреть, но который тем не менее поддерживает наше существование...

И вот хотя и наугад, но вариант ответа выбран. Получивший его внимательно смотрит, удивленно крутит его так и сяк... Нет, право, я не понимаю... какое отношение... я говорил совсем другое... и вдруг он узнает сказанное им, но в таком искаженном, раздутом виде... Ах это? Но ведь это пустяк, мелочь, вы придаете ей слишком большое

значение, это же не важно... просто я по рассеянности позволил себе небрежность... досадную, я согласен, но это нисколько не меняет сути дела, речь не об этом... Мне кажется, вы не совсем уловили... Хотя нет, он не может так сказать, кто угодно, только не он... это, конечно, его просчет, и он его исправит, он полон готовности... Наверно, я нечетко выразился... я имел в виду... И он усердствует, добивается абсолютной гладкости, чистоты, отшлифованности, дабы на сей раз то, что он собирается послать, не имело ни малейшей зазубрины, ни малейшего бугорка, за который можно зацепиться, оторвать, преувеличить, раздуть... и изо всех сил, метя как можно точнее в невидимую, но верную цель, в которую это должно попасть, он бросает... и снова ждет...

Ну и как на сей раз? На сей раз могло, например, случиться, что в этой идеальной конструкции, где все безупречно гладкое и круглое, во время приземления что-то вопреки всем ожиданиям... к нашим услугам есть сравнение, трудно подобрать точнее... что-то укатилось, как колобок... да так далеко... он кидается вдогонку, бежит, плутает... возвращается, запыхавшись, ничего не найдя, охая... Нет, в самом деле, мы совсем отошли от темы, вопрос вовсе не в этом... И тут его собеседник... Как уже было сказано, выбор у нас даже слишком широк... собеседник... принимает неприступный вид и, что называется, «отказывается принять дело к слушанию»... он категорически не согласен, он не находит... И тут, как бы против его воли, точно вытянутые из него столь напряженным ожиданием и даже предваряемые характерным звуком... он вам знаком... как будто, пролагая им путь, из носоглотки выгоняют воздух... хм, хм... прорываются слова... и сейчас же вызывают у любителя свободных и честных споров мобилизацию всех его мыслительных способностей... в нем немедленно происходит развертывание сил, чтобы окружить и рассмотреть со всем хладнокровием, со всей беспристрастностью и непредвзятостью, на какие он только способен... но нет, определенно приходится признать, что это не выдерживает никакой критики, только щелкни, и не останется камня на камне... нет, как хотите, но вы не можете утверждать этого всерьез... это же трещит по всем швам.

И тут собеседник выдвигает аргумент, заставляющий вспомнить о классическом кошмаре карточного игрока, когда он выкладывает на стол козырного туза и видит, как партнер кроет его трефовой двойкой и спокойно забирает выигрыш... он возмущается, протестует... Послушайте, это же невозможно, я не понимаю, как вы можете утверждать это... нет, вы жульничаете, вы не имеет права...

Тогда... но это может длиться бесконечно... и все-таки еще одно, последнее, только это маленькое сокровище — для тех, кто не сможет отыскать его в своих запасниках... это настоящая драгоценность, если поместить ее в надлежащую оправу, умело подать, изобразив на лице и в голосе «обезоруживающее престолюбие»... одно только это словцо: «Почему?» — сразу же вызывающее бурный поток объяснений, доказательств, оправданий... И конечно, с моей стороны было бы непростительно не поделиться с вами еще тремя драгоценными словами: «Почему бы нет?»; вернее, даже четырьмя: «А почему бы нет?» — где «А» дает трем следующим толчок, который ощутимо усиливает их действие. «А почему бы нет?» Эти слова обладают способностью вклиниться под сокрушительный аргумент, под весомое возражение, приподнять его и пустить по воздуху как нечто легковесное, лишенное почвы, а тот, кто его выдвинул, силясь поймать его, тянется, выгибается, подпрыгивает...

Почему? Теперь и вы подхватили это словцо... но не затем, чтобы использовать с той же целью, — слова, которые за ним следуют, сразу успокаивают меня. Почему, спрашиваете вы, почему он так себя ведет? Почему так старается, лезет вон из кожи? Неужели он не замечает, что тот просто издевается над ним, морочит ему голову?

«Морочит голову»... как это кстати. Какую бесценную помощь оказывают порой такие обороты, если подворачиваются вовремя... какое неожиданное освещение получаем мы в данном случае... сразу отчетливо становится видно то, что едва проступало во мгле. Он не замечает, что другой морочит ему голову, потому что вообще забыл, что у него есть голова, а собеседника просто не видит.

Единственное, что он видит, воспринимает, что он в состоянии воспринимать, это смысл слов, которые он получает или посылает... только смысл приковывает его, только на него он набрасывается и над ним одним бьется. Он как бык, видящий что-то красное и больше ничего, только цвет, который перед ним расплывается, колышет, ускользает, приближается... и именно на него он упорно кидается, тряся бандерильями, истекая кровью... «благородный» бык, способный видеть только чистый цвет и никогда — человека, размахивающего мулетой...

Пока наконец... к этой развязке и клонится вся наша история... пока любитель споров и борьбы идей, на мгновение потеряв их из виду... то ли потому, что в конце

концов устал, то ли противник совершил оплошность, позволив себе чрезмерную развязность, грубость... не имеет значения, важно то, что, упустив мысль, он вдруг замечает... ни одно слово не приходит ему на ум, чтобы выразить это, у него нет времени описывать... это обрушивается на него разом, как глыба... и мы вынуждены, если хотим найти подступы к тому, что он замечает, что он чувствует, воспользоваться не вполне адекватными словами, сцепленными в тяжелые фразы... он видит рядом существо, себе подобное, обладающее точно таким же мозгом, умеющее говорить, причем на том же языке, что и он, превратившееся... как же он не заметил этого раньше?.. в неизвестную тварь... От него исходит что-то, что вызывает такое же чувство, как пустой, неподвижный взгляд хищника или застывший оскал маньяка, безумца...

На это существо разумные слова, несущие мысль, уже не действуют... Они его «не берут». Им некуда опуститься, для них нет ни одной посадочной площадки... и они парят словно в невесомости, порхают над ним... он следит за ними взглядом хищника, маньяка, ловит, сжимает, давит, смысл брызжет из них, растекается, а он с восторгом прислушивается к звуку, с которым шлепаются наземь отброшенные им дряблые оболочки... слова, которые проигрывает он сам, это подделки, они наполняют их лжесутью, лжесмыслом, превращает в игрушки с сюрпризом, использует лишь для того, чтобы фигурировать, устраивать с их помощью розыгрыши, забавные шутки, когда повезет встретить такого простака, как этот, кто так легко поддается, клюет на любой трюк.

Мы вздохнули бы спокойнее, если бы удалось обнаружить в нем какую-нибудь затаенную идею, убеждение, нечто, что он с помощью уловок и игр старается скрыть, защитить... такое поведение свойственно человеку и называется «кривить душой».

Но тут — и это совершенно очевидно — никакого криводушия нет, как нет и прямодушия и никакой души вообще.

Есть только прихоть, только желание развлечься, удовлетворить внезапную причуду, сиюминутный каприз. Одно лишь легкомыслие, чистейшая взбалмошность... Бессмысленность, от которой захватывает дух... сеть, сплетенная из мыслей и рассуждений, охватившая, вобравшая в себя целый мир, разорвана одним ударом ноги, когтистой лапы, все распадается, теряется, растекается... у вас подкашиваются ноги...

Хочется сказать «подкашиваются мозги»... именно так мы бы и сказали или попытались найти выражение поточнее, поизящнее, будь мы способны всерьез заняться подобными случаями, потрясениями такого рода... Но кого это интересует? Все слишком поглощены бесконечным перемальванием одних и тех же коллизий, одних и тех же чувств, больших и маленьких, одних и тех же ощущений, эмоций, радостей и страданий... Сколько ни ищите, вы не найдете этого ни в одном списке. Ни один перечень наших переживаний этого не включает, это нигде не описано, никем никогда не упоминается... между тем это должно было бы давно получить общее признание и даже в силу своей остроты, своих серьезных и далеко идущих последствий заслуживает того, чтобы значиться в весьма почетной графе.

Твой отец. Твоя сестра

«Арман, если ты не перестанешь, твой отец будет больше любить твою сестру».

Вслушайтесь в эти слова... они того стоят, поверьте мне... Мною уже делались попытки поговорить с вами о них, привлечь к ним ваше внимание. Но вы не захотели меня слушать... Не тот глух, кто не слышит... Нет, это не про вас? Вы их помните? Признаюсь, для меня это неожиданность, настоящий сюрприз... И все-таки, прошу прощения, но к ним необходимо вернуться, непременно нужно еще раз заняться этими словами.

В каком же надо оказаться тупике... я полагаю, и не без основания, что вы это скажете... в каком надо оказаться тупике, чтобы вот так талдычить одно и то же, без конца жевать одну и ту же жвачку... Вы ошибаетесь, я действительно чувствую себя иногда в тупике, но только от невероятного богатства, от избытка возможностей выбора. Да, в тупике, но лишь перед нехваткой средств, что порой становится непереносимым, приводит в отчаяние.

Нет, на сей раз я скорее испытываю некоторое чувство вины. В свое время, когда речь у нас шла об этих словах, меня подвела слишком большая надежда на заключенную в них силу, на магическое действие, которое они должны были бы оказывать одним лишь своим появлением... а может быть, просто меня влекло тогда слишком многое и у меня не получилось задержаться на них подольше, совершить ради них нужное усилие. Но сейчас спешить некуда. Там, куда мы с вами попали, подобные слова находятся в центре. Здесь они — центр притяжения. Все сходится к ним и только к ним.

Итак, еще раз, вот они: «Арман, если ты не перестанешь, твой отец будет больше любить твою сестру». Женщина, сидевшая за соседним столиком в ресторане или на террасе гостиницы — какая разница? — сказала своему маленькому сыну эти слова; которые, если им уделить... или, точнее, как это делаю я, посвятить полностью свое внимание, производят удивительный эффект...

Мне не нужно было прислушиваться специально, чтобы их услышать, они поразили мой слух, едва коснувшись его, и отдались в ушах с такой силой... «Арман, если ты не перестанешь, твой отец будет больше любить твою сестру».

Немного найдется фраз, которые заслуживали бы в большей степени, чем эта, названия ключевых. Это и есть ключ, где слова «твой отец», «твоя сестра» торчат, как зазубрины на бородке, позволяя повернуть ключ в замке... «Твой отец», «твоя сестра»... в невидимой стене открывается брешь, и там... что же мы там видим?..

Разглядеть как следует трудно, контраст так велик, это так не похоже на то, что происходит здесь, с нашей стороны... мы к этому когда-то так привыкли, что почти не обращали внимания, зато теперь чувствуем... там что-то теплое, мягкое, трепетное, агукающее, лучистое, блестящие капельки слюны, радужные пузырьки вокруг первого лепета... ба... па... улыбки, смех, умиление, он меня узнал, он меня позвал, ласки, щекотка... нежные имена, звучащие все время по-разному, гибкие, податливые, способные удлиниться, растягиваться, чтобы вместить... чтобы мы могли поймать, удержать, сжимать, лепить то, что принадлежит только нам, несравненное, единственное...

И вдруг «твой отец», «твоя сестра»... на наших глазах ребенок вырван из этих яслей, усталых шелковистой соломой, согретых теплым дыханием... Его выталкивают...

Теперь нам лучше видно, что расстилается перед ним... огромное пространство, открытое со всех сторон для посторонних глаз... что-то вроде широкой эспланады, где в сероватом свете вырисовываются какие-то формы... силуэты, которые ребенок узнаёт... «Твой отец», «твоя сестра». Они стоят неподвижно, словно у них не гнутся руки и ноги... плотные, торжественные одеяния, парадные униформы, тяжелые и твердые, словно отлитые из бронзы, сковывают их... Невозможно подбежать к ним, прижаться, ощутить их запах, ущипнуть, пощекотать, поколотить, осыпать поцелуями... Кажется, будто от этих одеяний тянется к нему и упирается в него длинная жердь, прочно закрепленная на нем самом, тоже вдруг отяжелевшем и затвердевшем... она удерживает его все время на одном и том же расстоянии... на одном и том же месте, отведенном ему раз и навсегда, заранее для него предназначенном, и нет никаких способов... сколько бы он ни пытался, ему их не изыскать... расплавить или сломать эту жердь, способную, как говорится, — здесь это выражение будет более чем уместно — выдержать любые испытания; которая разделяет их всех и одновременно связывает...

В этой группе не хватает еще одной фигуры — фигуры матери... она должна была стоять здесь, облаченная в обязательную униформу матерей, на уготованном ей месте, но она куда-то отодвинулась, отделилась, она теперь так далеко, ничто не связывает ее с ними... можно подумать, будто это посторонняя женщина... Когда она произносит слова «твой отец», «твоя сестра», голос ее звучит, как все эти неведомо откуда доносящиеся безымянные голоса, которые в общественных местах передают объятия.

Что же случилось? Ведь их было четверо, прильнувших, прижавшихся друг к другу... мягкие, нежные очертания их сливаются, тают... они не чувствуют, где граница между ними... это один живой ком, теплый и влажный, пропитанный родными, сладковатыми, добрыми запахами... И вдруг она высвободилась, привстала... там, на улице, зовут, стучат в дверь...

Она растолкала их, заставила проснуться, оторваться друг от друга, встать, одеться... пожалуйста, побыстрее, вам следует выглядеть прилично, вот ваши форменные костюмы... потом, сочтя наконец, что все как положено, что все в порядке, в должном порядке, она открыла дверь и позволила осмотреть их тем, кто ждал снаружи, блюстителям этого установленного порядка... Видите, мы вот, перед вами, я готова помочь вам провести перепись. Вот отец. Вот дочь. Это сын. А я — мать.

Она первая услышала шум снаружи, у нее очень тонкий слух... Она такая чуткая... при малейшем оклике сразу вскакивает, опережает требования представителей закона.

Но разве была когда-нибудь нужда призывать ее к порядку? Когда она была еще совсем маленькой, она ловила такие слова, как «твой отец», «твоя мать», «твой брат», «твоя тетка», с каким-то возбуждением, с жадностью... Она бросалась к шкафу и вытаскивала парадные платья, красивые форменные костюмы, в которых... и она

среди всех, немного скованная в отглаженной форме дочери, внучки, сестры, племянницы... вся семья отправлялась стройной группой постоять на эспланаде...

Но еще больше, чем эспланады и парадные смотры, она с непоколебимым постоянством любила большие общественные здания мощной конструкции, содержащиеся в образцовом порядке, где во время экскурсий с экскурсоводом, смешавшись с толпой тех, кто был объединен с ней в одну категорию, установленную раз и навсегда в соответствии с полом и возрастом, она впитывала все с той же странной жадностью любые сведения, разъяснения, комментарии, плоды познаний, накопленных с незапамятных времен, непререкаемые истины... ее успокаивало, что за каждым углом на случай, если она потеряется, отвлечется на минуту, отстанет от своей группы, имеются стрелки, указывающие, куда следует идти, чтобы догнать... она останавливалась как положено, чтобы ознакомиться с документами, рассмотреть репродукции, фотографии, мемуары, письма, свидетельства, фильмы, романы, пословицы, поговорки, лозунги... листала каталоги, изо дня в день исправно пополняемые, где могла найти под рубриками «Родители», «Дети», «Свадьба», «Молодость», «Старость», «Смерть»... с прилагаемым перечнем приличествующих поступков и положенных чувств все, что ей хотелось узнать... полный ассортимент...

Иногда, не найдя в каталоге того, что искала, она пугалась, не решаясь спросить у других, не случилось ли и им тоже... а вдруг они пристально посмотрят на нее с внезапным изумлением... может быть, это значит в другом месте, в совсем другом каталоге, под рубрикой «Отклонения», «Аномалии»?.. Нет, то, что она якобы заметила и что, как ей почудилось, закралось на миг в ее душу, прошло, бесследно исчезло, она больше этого не чувствует... с ее покладистостью и расторопностью ей удавалось без усилия обзавестись всем, что надлежало иметь, она мгновенно восполняла любой пробел, любое отставание... всегда держась «на высоте», умея в любых обстоятельствах абсолютно непринужденно найти подходящее случаю поведение, продиктованное «естественными» чувствами.

Тут надо признать, для нее были большим подспорьем — хотя нельзя недооценивать и ее природные способности — четкость объяснений и классификаций, простота предлагаемых образцов. Вот в разделе «Семья»: Отец, Мать, Сын, Дочь.

Дистанция, отделяющая их друг от друга, это дистанция правильная, необходимая и достаточная. Неоспоримая, как расстояние до населенных пунктов, указанное на дорожных щитах и столбиках, расположенных вдоль шоссе. Неизменная. Установленная навеки.

Невозможны никакие отклонения, резкие зигзаги, разрывы, непредвиденные сближения, внезапные слияния.

Здесь каждый на своем месте. И это место никто на свете не может у него отнять.

Но как же тогда получилось, что мать... что ее не оказалось там, где положено, где ее всегда можно найти, — между мужем, дочерью и сыном? Она была так далека от них в тот момент, точно чужая, когда, обращаясь к ребенку, назвала остальных этими словами: «твой отец», «твоя сестра»...

Неужели она сбежала? Сбросила свою форму, забыла роль матери? Что за безумная мысль, как вы только могли подумать!..

Она вовсе никуда не делась, она мать в полном смысле слова... и сейчас даже больше мать, чем всегда... разве не должна она время от времени, для пользы дела, отойти в сторонку, отдалиться, отодвинуться на расстояние, положенное для посторонних, чтобы приучить ребенка ориентироваться, осваиваться, как следует разбираться...? Разве не нужно закалить его, оторвать от теплых объятий, нежных запахов близости, мягкой приторности молока, заставить пройти суровую школу? Разве не полезно, как это делалось раньше, приучать его сызмальства носить тяжелую и неудобную взрослую одежду?

«Твой отец», «твоя сестра». Пусть знает! И это должно быть твердо. Они должны быть твердыми для него. Они незыблемы.

Тот, кто попытается от них ускользнуть, найдет их даже на краю света, связанных с ним той же связью.

Даже смерть не может превратить их в призраки, исчезающие с первыми проблесками рассвета. Они вечно сохраняют свою форму. Вечно стоят на своем месте. Облеченные той же властью, исполняющие ту же должность.

Здесь все подчинено законам, нерушимым и непреложным, как законы божественные.

Для того чтобы следовать им, она вступила сюда еще в нежном возрасте, осененная ранней благодатью. Самая послушная, самая ревностная... неприметное лицо, маловыразительный взгляд, безликий голос: «Твой отец», «твоя сестра»... она добровольно отказалась даже от того, что дозволяют самые жесткие правила... не пожелала сохранить никаких сословных признаков, привилегий... ни малейшего следа телесных радостей... как будто и не было нежного щебетания, лепета, пузырьков слюны... пушистой мягкости, трепета ласковых имен и прозвищ маленькой девочки... Нет, только то, что предписывает самый строгий устав, самый суровый долг: «твой отец», «твоя сестра».

Она произнесла обет навеки, как, вероятно, те, которых в прежние времена родители принуждали постричься в монахини... Впрочем, нет, она заточила здесь себя добровольно... Ей некого винить, кроме себя.

Теперь уже ничего не поделаешь. Расстричься уже невозможно. Остается лишь повиновение... И ему тоже, заточенному вместе с ней... сидящему напротив за столиком... ему, отражающему для нее всю ее «неудавшуюся жизнь», предпринявшему ее заточение, ее намеренную ограниченность... ему тоже придется рано научиться подчиняться... *durā lex, sed lex!*: «твой отец», «твоя сестра»... слова, похожие на нее самое, на все вокруг... холодные и жесткие... она проводит ими по его лицу... «Знаешь, Арман... твой отец... твоя сестра...»

О, на этот раз, кажется, удалось! На этот раз вы со мной, вы ощутили, как и я... Вижу ваши понимающие улыбки... «Твой отец», «твоя сестра»... Ну и слова, правда? Разве так говорят с собственным ребенком? Но в ваших взглядах удивление, вы качаете головой, смеетесь... Значит, дело не в этом?.. Не в «твоем отце», не в «твоей сестре»?.. Тогда в чем же? Почему у вас был такой вид, словно вы согласны, разделяете... вы выглядели взволнованными... Ах, поэтому! Боже мой... я просто не могу прийти в себя. Прийти отсюда, где вы оказались... Да и кто вас туда завел как не я... «Арман, если ты не перестанешь, твой отец будет больше любить твою сестру»... Вы не поверите, но это ускользнуло от моего внимания, выпало из поля зрения: «Если ты не перестанешь... будет больше любить...» У меня помрачился рассудок от этих поразительных слов, они затмили для меня все: «твой отец», «твоя сестра»... для меня существовали только они. Можно было бы с тем же успехом, даже нужно было... как же мне не прийти это в голову?.. я бываю порой так далеко от вас, как говорится, на другой планете... мне следовало предложить вам: «Знаешь, Арман, твой отец пойдет встречать твою сестру к вечернему поезду». Или: «Знаешь, Арман, твой отец собрался отвезти твою сестру к доктору». Да что угодно, где выделялись бы только слова «твой отец», «твоя сестра»... Но мне в моем затмении, в моем помрачении показалось естественным взять фразу, которая однажды мне подвернулась. Она выглядела вполне приемлемой... «Арман, если ты не перестанешь, твой отец будет больше любить твою сестру». Да, теперь я понимаю, что, конечно, «если ты не перестанешь» и «будет больше любить» выходят на первый план... «твой отец», «твоя сестра»... отступают. Как на тех рисунках, где видишь то черные ромбы, то белые... надо только, чтобы наш глаз научился проделывать определенное упражнение.

«Если ты не перестанешь... будет больше любить...» Так вот что вас поразило! Вовсе не «твой отец», «твоя сестра», слова, которые любой из нас на каждом шагу... Что в них плохого? Кто из нас так не говорит?.. Но это! Это только бессердечная мать могла... Таких встретишь не часто... вы обступили ее... вы подходите поближе, чтобы было лучше видно... очень любопытно смотреть, как грубое, пошлое создание прививает свои дурные чувства невинному ребенку... «Арман, если ты не перестанешь, твой отец будет больше любить твою сестру»... Да, я тоже вижу ее, но я отворачиваюсь... не от отвращения... нет, даже не от отвращения... от скуки... на что она мне?.. пусть другие, если им интересно, занимаются ее случаем... а по мне, она могла бы сказать и десять раз повторить что угодно, даже еще более жестокое и низкое, и это не вызвало бы у меня ничего, кроме здорового отвращения, которое испытываете и вы, чувства внутреннего удовлетворения оттого, что мы на нее не похожи, возникающего у каждого при виде чудовищ, извергов... Но никогда не пришло бы мне в голову показывать ее вам... Если у меня было намерение домогаться вашего внимания, то исключительно ради этих слов, более удивительных, более завораживающих, чем все бездушные матери

¹ Закон суров, но это закон (лат.).

и чудовища... «твой отец», «твоя сестра»... Вот они опять, они снова выдвигаются вперед... обыкновенные слова... как вы и сказали: слова, которые любой из нас... слова столь привычные; что становятся невидимками... проникают повсюду... проходят сквозь стены... Как, как? Сквозь стены... Да, да, слова-отмычки... они открывают нам... «твой отец», «твоя сестра»... Стена как будто расступается, в ней возникает брешь, и по ту сторону мы видим... Нет? Вы ничего не видите?.. сколько ни повторяете «твой отец», «твоя сестра»?.. Я повторяю вместе с вами... разве вам не кажется, что там что-то... «твой отец», «твоя сестра»... Нет? ничего не шевелится? стена гладкая, неподвижная. «Твой отец», «твоя сестра»... наверное, вы правы... там ничего нет... ничего, что могло бы двигаться, открываться, никакой стены.

Слово Любовь

В глубине маленького прокуренного кафе, тускло освещенного... быть может, привокзального буфета... по-моему, там был слышен шум поездов, паровозные гудки... но это не имеет значения... имеют значение два лица, едва различимых, простиупающих над столиком сквозь желтоватый полумрак, и, главное, два голоса... но и голоса эти звучат для меня неотчетливо, мне трудно было бы их теперь узнать... Мне слышатся сегодня только слова, произносимые этими голосами... вернее, даже не сами слова, они не запомнились... но и это не имеет значения, я могу с легкостью придумать точно такие же, самые банальные слова... какими перекидываются два чужих человека за столиком в кафе... Ну, скажем, о вкусе стоящих перед ними напитков... оранжада или чая?.. или о плюсах и минусах путешествия на самолете или на поезде... в общем, о чем угодно, отдаю это на ваше усмотрение, можете, если хотите, придумать другие слова... но что я не могу вам отдать, что в этих словах ненадолго принадлежит мне, притягивает меня, дразнит... это... не знаю... это, наверно, какое-то ощущение... легкости... невесомости... они словно порхают... кажется, будто все, что они несут... вкус гранатового сока, утомительность поездов на поезде... вещи самые что ни на есть банальные, скромные, незатейливые не заполняют их целиком, оставляют в них пустое пространство, где что-то, не находящее себе мест нигде, ни в одном из слов... ни одно не рассчитано на то, чтобы это вместить... нечто невидимое, невесомое, неосоздаемое... находит себе уют...

Почти не нагруженные, едва заполненные слова поднимаются, летят, слегка покачиваются и мягко опускаются, едва касаясь...

Следя за этими словами, такими банальными, их легкими спусками, прикосновениями, взлетами, можно усмотреть в них сходство с плоскими камешками, пушенными так, что они отскакивают рикошетом...

Но от этого образа, соблазнительного и на первый взгляд точного, лучше сразу отказаться, забыть его, пока он не увел нас в сторону. Он непременно вызвал бы на сцену того, кто бросает эти камешки и чьи ловкие движения выдают определенную споровку... он отвлёк бы нас от того, что притягивает меня в этих словах, не дает мне покоя... от этих пустот, где под прикрытием простеньких, незамысловатых вещей дрожит, трепещет... но откуда это взялось?

Те двое, от которых так же естественно, так же непреодолимо, как выдыхаемый ими воздух, это исходит, не смогли бы дать нам ответа. Источник этого никогда не был описан, он лежит в областях, которых ни один человек, даже вооруженный самыми отточенными и проникновенными словами, не может достичь... ни одному слову до сих пор не удалось добраться туда, разведать, раскопать, схватить, извлечь, показать...

Над столиком летают взад и вперед слова... Они похожи на лучи, которые два одинаковых зеркала, установленных друг против друга, отражают под одним и тем же углом, на волны... «Какие приятные огни... Теперь везде один неон... Поезда на коротких перегонах...»

Полупустые, вибрируя и мерцая, струятся слова... из нехоженых областей, где в первый раз, в первый и единственный раз... пробивается, чуть вздрагивая... из родника... в миг зарождения...

Ну конечно, этого и следовало ожидать... я слышу, как вы это говорите, мы сказали это с вами одновременно... вот что значит иметь дерзость вторгнуться в эти заповедные области, нарушить их безмолвие, пусть даже едва слышным бормотани-

ем, невнятным шепотом, самыми робкими, осторожными словами... Их только впусти, и они непременно повлекут за собой другие... Например, «зарождение» влечет за собой... слишком поздно, помешать теперь не удастся... вон оно, уже здесь... от слова «зарождение» словно простерлась рука, потянув за собой огромное, грохочущее слово «любви»... «Зарождение любви»...

Быть может, вам, как и мне, хотелось побыть еще немного возле тех двоих, способных воспринимать лишь порхание, лишь нежное прикосновение легких слов, которые они ловят и отсылают обратно. Как было бы хорошо, не правда ли, еще на несколько минут разделить с ними их невинность, их свободу...

Но мы можем утешаться тем, что отсрочка все равно была бы недолгой — для нас, как и для них.

Тот, сидящий напротив, пока еще прозрачный и словно пропускающий сквозь себя рассеянный свет, некое излучение... простите мне эти убогие слова, но где взять другие?... мягкое, рассеянное излучение, идущее из далеких глубин через бескрайние пространства... вот он приобретает плотность, четкие очертания существа из плоти и крови... внутри у него образуется нечто, что заполняет его целиком, приливает отовсюду, выступает на поверхность по линии век, лба, ноздрей, щек, во взгляде, в улыбке, в каждой интонации его голоса... порождает... но что же это такое? Это не похоже ни на что, испытанное прежде... это мучительно... чудесно... смущение? воодушевленность? растерянность? смятение? Но возможно ли?... Неужели это она и есть? Неужели и со мной тоже... Да, ничем другим это быть не может... это, несомненно, она... охватывает все мое существо, заполняет собою все... «любовь»... так это называется. Это и есть «любовь».

Можно удивляться восхищению, которое по сей день вызывает открытие — вы, конечно, помните, его сделал Стендаль в «Пармской обители», — открытие того, что, казалось, должно было быть известно каждому с незапамятных времен, — я имею в виду мгновенное действие «слова, которое даст название их чувствам друг к другу». Он уже понимал, он угадывал то единственное, что занимает нас в данный момент: эффект появления слова как такового, когда оно врывается... но для нас не важно, в кого именно оно врывается — в него, в нее, в Фабрицио или герцогиню Сансеверина... Двух что-то шепчущих друг другу теней нам вполне достаточно... свободных поначалу от каких бы то ни было слов... И вот — слово. Только оно, его явление. Оно перед нами, вне той или иной конкретной жизни, очищенное от любых событий и обстоятельств... химическое вещество в чистом виде. Слово «любовь» и некоторые его следствия, возможные где угодно, у кого угодно.

Уже некоторое время это слово кружит над ними, ловя момент, который не замедлит наступить... и в самом деле, вот он... то, что до сих пор довольствовалось укрытием в спасительной серости самых неприметных, бесцветных слов, теперь настолько сгустилось, набрало такую силу, что требует себе пространства — всего пространства — в большом, крепком слове, могучем, громком...

И слово есть, оно наготове, слово «любовь», распахнутое, зияющее... то, что носилось в воздухе, что вихрем кружило все быстрее и быстрее, устремляется в него, влетает и сразу же уплотняется, заполняет собою все, сплавляется с ним, соединяется, становится неотделимым от него, образует с ним одно целое.

Слово «любовь» входит в ореоле света, как ангел-вестник... и встречают его с таким же смирением, с такой же покорностью и безропотностью, той же робкой радостью и тем же страхом...

Слово «любовь» вошло, принеся с собой знание, уничтожив невинность... и сейчас же скромные слова предшествующего разговора утрачивают свои пустоты, пронизываемые порой едва ощутимым трепетом... они становятся плоскими, безжизненными, оказываются всего лишь покровами, в которые слово «любовь», не осмеливаясь выставлять себя напоказ, целомудренно облекается.

Они — маскировка, под защитой которой, не решаясь показаться на свет, оно осторожно прячется... Это все, что ему удалось найти, чтобы надеть на себя, создать себе панцирь... Но под непреодолимым напором роста, могучего внутреннего натиска панцирь трещит, лопается, разлетаются слова разлетаются во все стороны... и из безмолвия над их разбросанными останками выступает слово «любовь»...

Не все ли нам равно, кто из двоих... но у них теперь тоже есть... мы можем им тоже дать теперь название... кто из двоих влюбленных первым его произносит. Слово «любовь» здесь, оно в них, готовое вырваться, оно уже у них на устах.

От слова «любовь» и его производных: «я люблю вас, я тебя люблю, мы любим друг друга»... когда их произносят, повторяют, как слова молитвы, которую веками, из поколения в поколение, твердили бесчисленные голоса, возникает чувство безопасности и успокоения.

Тот, кто после стольких других, вместе со столькими другими это произносит, смиренно соглашается быть одним из них, всего лишь одним из многих.

Слово «любовь», переходя от одного к другому, совершает чудо: беспредельные миры, неуловимые, неосязаемые, не имеющие четких границ, вдруг уплотняются, оказываются схожими, состоящими из одного и того же вещества. «Любовь» едина в каждом из них.

Слово «любовь», когда оно готово сорваться с уст влюбленных, когда оно показывается на свет,— это словно флаг с гербом властелина, который поднимают над дворцом, дабы возвестить, что царственный гость прибыл, что он здесь, в этих стенах.

Дворец, стоявший до сих пор в запустении, с унылыми пустыми залами, теперь оживляется, сверкает, вымытый, отремонтированный, вычищенный, натертый до блеска, полный великолепных вещей, которые любовь собирает..

Некоторые из тех, кому выпало счастье поселиться в одном из этих роскошных дворцов, среди такого собрания шедевров, позволяют иногда зевакам, почтительным и восхищенным, столпившимся перед фасадом, войти внутрь и, молча восторгаясь, пройти по залам...

Иногда даже случается, что эти счастливицы в порыве великодушия доходят до того, что начинают сами показывать свои коллекции, лично водить экскурсии.

Кого не удивляло одно из самых неожиданных последствий, вызванное обменом словами «я вас люблю»,— присущая им власть тотчас же наделять каждого, кто их произносит, уникальными, несравненными достоинствами, которые никто другой не может отнять, о которых никто не способен даже судить?.. Жители всей земли могут объединиться, чтобы оспорить наличие у него или у нее какого-то из этих качеств,— и немедленно получают отпор.. «Что вы хотите?»... будут отброшены на почтительное расстояние и принуждены к молчанию волшебной силой одних лишь этих слов, которыми размахивают перед ними: «Они же любят друг друга».

«Я вас люблю» — это слова священного таинства, когда один возлагает на другого корону, наделяя его превосходством, с которым никто на свете, будь он одарен хоть всеми существующими в мире талантами и прелестями, не может соперничать.

Тот, кто произнес эти слова: «Я вас люблю» — и только он один, как сам Господь, имеет власть отнять то, что он дал.

Слово «любовь» наполняет тех, кого оно озарило, столь ярким светом, что все сразу выравнивается, сглаживается... нигде нет больше шероховатостей, выступов, темных уголков, где могло бы проشمыгнуть, шевельнуться что-то почти невидимое...

Вон там, смотри, мне секунду назад показалось... нет, это невозможно, невысказанно, как мне могло прийти в голову... скорее, помоги мне, умоляю тебя, посвети ярче... «Ты меня любишь?»... и сейчас же пучок ослепительных лучей заливал все вокруг своим сиянием... «Ну конечно, люблю»...

Слово «любовь», как слово «Бог», вызывает в нашем воображении нечто абсолютное, беспредельное... некое совершенство, которое присутствует, должно присутствовать повсюду, куда придет Царствие Его... Во всем, в каждой малости, это совершенство предстает во всей полноте, и любое движение подвергает его опасности все целиком...

Опасности постоянной, ежеминутной угрозе... влюбленные неусыпно следят... малейшая тревога, и слово «любовь» летит на помощь... Что случилось? В чем дело? — Там... что-то... — Но что? — О, я не знаю... похоже на какую-то тень, на тонкую трещину... — Как это называется? — Не знаю, не могу подобрать ни одного слова, чтобы это выразить. — Ни одного слова? Но вам ведь отлично известно, что на этом свете ничто не может претендовать на существование, пока не будет названо... — Да, да, я стараюсь подобрать.. наверно, это можно назвать... Нет, что за безумие... разве

это похоже на...? Я не решаюсь, не могу... нет, только не это название, не это слово... — Конечно, ведь это слово невозможно, пока я здесь... — Да, да, здесь, во мне, в нас, переполняя нас... Любовь... священное слово... очищающее, посылающее лучи... Слово мощное, как кобальтовая пушка, чье облучение не позволяет возникнуть, развиваться... разрушает, заживляет, залечивает...

У границ этого бдительно охраняемого Государства с мощной армией и полицией, которое именуется Любовью, бродят «темные элементы», готовые посеять смуту, стремящиеся проникнуть... но нет такой лазейки, где Любовь не поставила бы своих часовых: Что вам надо? Как ваше имя? Как, как? Что? Беспокойство? Да еще неясное? Грусть?.. Просто грусть, и все? Такие имена не годятся для удостоверения личности. Не рассчитывайте, что вас пропустят. Убирайтесь прочь!

Иногда, проявив настойчивость, эти темные безымянные «элементы» ухитряются обзавестись настоящим именем. Тогда, получив выправленные по всей форме документы, они являются... — Как ваше имя? — Меня зовут... часовые, охраняющие безопасность Любви, бледнеют и холодеют... Да, да, вы не ошиблись. Так меня и зовут. Другого имени у меня нет. Так меня называют все. Да: Скука. Именно. Да: Унижение. Да: Отречение. Да: Недовольство. Да: Отчужденность. Да: Презрение. — Презрение? Но стражники уже подняли тревогу. Вся страна на ногах. Всеобщая мобилизация. Все войска, какими располагает Любовь, с ее священным именем на устах устремляются на имя врага.

Здесь не место описывать все возможные перипетии подобных битв.

Часто слово Любовь побеждает. Оно, торжествуя, возвышается над поверженным словом. Нога его гордо попирает это неузнаваемое отрепье, брошенное на растерзание воронью, носившее некогда грозное имя Скуки, Отчужденности или Презрения...

Но стоит смертельно раненному слову Любовь рухнуть наземь, как картонные короны сваливаются, восковые скипетры тают, роскошный дворец раскалывается надвое, и при свете дня все видят сорванные резные панели, драпировки, драгоценную утварь и мебель, покачивающиеся над пустотой.

Однако с некоторых пор между словом Любовь и одним из его врагов, который мог бы показаться наиболее непримиримым, наметилось определенное соглашение. Это слово — Ненависть, — обладающее не менее могучими и грозными свойствами, равное ему по силе и чистоте, вместо того чтобы вступить с ним в бой не на жизнь, а на смерть, добивается сосуществования, официального признания и получает имя Любовь-Ненависть, нерасторжимо связывающее братьев-врагов.

Но бывает и так — ибо жизнеспособность этого неистребима, — что из какого-нибудь из зданий, возводимых словом Любовь, будь то роскошный дворец, музей, обветшалый полузаброшенный дом, тюрьма, психиатрическая лечебница, приют для престарелых, скромный коттедж, потрясающий небоскреб... сквозь весь этот мрамор, цемент, стекло и бетон вдруг, словно в мире, еще не тронутым и невинным, пробивается нечто... едва уловимое... но откуда это взялось?.. и, не находя себе места нигде... ни одно из слов для этого не годится... секунду трепещет... и вот уже оно во всех этих словах, самых простеньких и неприметных, самых неброских... цвет неба... вкус оранжада или кофе... обретает приют в их пустотах и, увлекаемое ими, поднимается... мягко пульсирует.

Эстетическое

Место, где это случилось... но до чего же слово «случилось» не подходит для таких моментов, самых что ни на есть неприметных, ничего не значащих, не имеющих никаких последствий... Спросите кого угодно минуту спустя после этого: «Что случилось?» — и вы наверняка услышите в ответ удивленное: «Да ничего, что вы! А что, по-вашему, могло случиться? Абсолютно ничего».

Поэтому давайте лучше откажемся от слова «случилось», скажем «было пережито», хотя это выражение тоже может показаться напыщенным, преувеличенным — так мало на первый взгляд заслуживают эти моменты права именоваться частью того, что мы называем нашей жизнью. Но в конце концов согласимся, что, какими бы незаметными, незначительными они ни были, мы тем не менее можем сказать, что они были пережиты...

Место, благоприятное для подобных моментов, это улица. Узкая улица небольшого городка или поселка... почти пустая — это важно, чтобы люди, в чью жизнь должны незаметно вмешаться эти случайности, были вынуждены идти навстречу друг другу, не имея возможности уклониться от встречи и сделать вид, затесавшись в толпу прохожих, будто они друг друга не заметили.

Сделать вид? Это уже настораживает... Может быть, они испытывают друг к другу враждебность или просто антипатию... тогда эти случаи, якобы незначительные... Нет, конечно, нет, о враждебности не может быть и речи. Это скорее симпатия — во всяком случае, отсутствие антипатии... отсутствие чувства, которое нарушало бы глубокое безразличие... вполне, впрочем, естественное... ибо эти люди знают друга друга издалека и довольно смутно... Но все же достаточно, чтобы, случайно встретившись, они сочли себя обязанными заговорить... Иначе есть опасность, что поддавшись... но до чего же эти слова, которые первыми приходят в голову... поддавшись лени, необщительности характера, склонности к одиночеству... до чего они грубы, невыразительны, бессильны извлечь на свет и показать нам, что же именно может пробудить этих людей уклониться...

Попробуем выразить это так: то, что может вызвать у них искушение обратиться в бегство... все мы это испытывали... это перспектива маленькой операции, которой они вынуждены будут подвергнуться... Маленькой?.. Но стоит ли из соображений благоразумия, благопристойности покорно, трусливо прятаться за словом «маленькая»? Будем честны, операция эта не маленькая, совсем не маленькая... слово, которое тут напрашивается, — «огромная»... огромная операция, настоящая линька, смена кожи...

Каждый из них, неотвратимо приближающихся друг к другу, представляет собою... и опять в голове вертятся слова, которые мы едва решаемся выговорить... «бесконечность», «туманность», «мир»... эти слова могут вызвать улыбку, заставить покраснеть.

Осмелимся, однако, сказать, ибо другого выхода у нас нет, что эта неопределимая сущность — все и ничто, пустота и полнота, — коей является каждый из них, внезапно видит перед собой какой-то грубо очерченный силуэт, примитивную схему, фоторобот... куклу вроде тех, что дети вырезают из картона... нужно только аккуратно следовать пунктиру...

И вот перед вами одна из них... вы ее сразу же узнаете... такая есть в наших коллекциях: тонкие, затянутые в черные чулки ноги, худощавое тело, облаченное во что-то темное, вытянутая голова с забранными на затылке волосами, сероватое и усталое лицо женщины без возраста, точнее, довольно молодой...

Мгновенно узнаваемая, опознанная... нет нужды как-то ее называть... это некий ансамбль, где плотно пригнаны... но слово «пригнаны» наводит на мысль о чем-то твердом, четком... тут скорее тянущаяся за ней дымка, где неясно смешалось все, что могут вызывать в нашем сознании... но ни одно слово не произнесено... что могут приблизительно обозначить такие слова, как одинокая, неудавшаяся жизнь, драма юности, потери, покорность судьбе, сдержанность, скупость, достоинство, мягкость... целая туманность тянется за этим персонажем, сведенным с иллюстрации к старому роману.

Она в свою очередь заметила, увидела перед собой... Что?.. Что могла она увидеть на другом конце улицы, движущееся ей навстречу?

Как может он это знать, тот, кто, как и она, вдруг чувствует, что он «увиден»? Как может он вырезать самого себя по пунктиру, сам очертить эту бесконечность, эту полноту и пустоту, все и ничто... целый мир... весь мир... куда вдруг вошел, отеснив все остальное, заняв собою все пространство, этот образ старой девы, вышедший из романа прошлого века?

От нее исходит нечто... словно какие-то токи... какие-то лучи... он чувствует, как под их воздействием подвергается операции, в процессе которой ему сообщается форма, дается тело, пол, возраст, припечатывается знак, как бы математическая формула, подводящая итог долгому развитию... сам он не может, не успевает раскрыть эту формулу... Он неосознанно, наугад пытается ей соответствовать... рука его тянется вверх, приподнимает шляпу, спина еще больше ссутуливается или, наоборот, распрямляется... походка становится более шаркающей или более твердой... расплывается улыбка... но на каком лице? Как он может представить себе это? Он такой разный на всех фотографиях, во всех зеркалах... нужно, важно только одно — чтобы от этого лица веяло симпатией, благожелательностью, добродушием... чтобы с губ слетали слова, которые... да вот же они, их легко найти, ведь существует целый склад,

общественный запас, созданный для этих целей, доступный каждому, откуда черпают все... откуда и он выхватывает и отсылает по назначению слова, которые мгновенно поставят их обоих надежно и крепко на твердую почву, на крохотный участок твердой земли, где они знают, что найдут друг друга, где они полностью едины и солидарны перед общей участью: сегодняшней погодой.

Вот я зачерпываю... берите, я протягиваю вам слова: «Как надоели эти дожди со снегом! Бог, наверно, перепутал времена года... ведь сейчас не март»... Спасибо, я держу, я держусь за вас, мы держимся друг за друга, друг друга удерживаем... вокруг нас, внутри нас головокружительные провалы, рокошущая тьма... но мы держимся, стоим на якоре, мы устойчиво закрепились, нас не снесет с этого места: «Да уж, что и говорить... Ну и погодка!.. А ведь по радио обещали...— Да, позавчера вечером как раз передавали...— У них вечно все наоборот...— Это как прошлым летом»...

Нет, только не сейчас, еще не пора... чересчур резкая пауза, молчание, затянувшееся на несколько лишних секунд... и между нами развернется трещина... мы будем оторваны друг от друга, выбиты из своей расколовшейся скорлупы, из наших телесных оболочек... две одинокие блуждающие души...

Не сразу, не так резко, постоим еще немного, попытаемся продержаться здесь, прильнув друг к другу... простите, если в страхе перед тем, что нам грозит, я не нахожу... если в спешке я опять беру, да, да, те же самые слова, снова и снова... но вы же понимаете меня, мы понимаем друг друга... «И самое ужасное, что это, похоже, надолго, такая скверная погода, вот увидите...» Мы киваем, соглашаемся.. «Да, наверняка... теперь времена года, кажется, не отличаются друг от друга...»

Между нами течет непрерывный словесный ток... теплые, мягкие волны переполняют меня... я чувствую что-то вроде легкой тошноты, слабого головокружения... но я не хочу, чтобы это прекратилось, чтобы мы расстались, оторвались друг от друга...

Но вот я нахожу... вернее, ко мне приходят сами, не знаю как, откуда... приходят на помощь другие слова, более свежие, освежающие, тоже извлеченные из нашего общего запаса... они сблизят нас еще больше, заставят теснее примкнуть друг к другу наши тела, созданные из одной и той же плоти... «Но, главное, эта сырость... эти постоянные перепады... Я не вылезаю из насморка, из трахеитов...— Как я вас понимаю! Мне уже вроде бы стало лучше... и вдруг опять... хожу вся разбитая... все болит...»

И вот настает момент, когда можно было бы потихоньку, осторожно, деликатно... с понимающим кивком, со словами, смягченными вздохом... «Ну да, что ж вы хотите... Но не будем гневить Бога...— Да, увы, если бы только одно это!..» — и, еще недолго подержавшись друг за друга, мягко отстраниться... «Вы правы... конечно.. ну, пора...» — протянуть руку, улыбнуться и ублаженными, насытившимися, успокоенными разойтись в разные стороны... и снова превратиться — даже не почувствовав, как совершается в обратном порядке та же операция, происходит линька,— в то, чем мы были прежде... в это все, в это ничто..

Но может случиться, что одному из них, или даже обоим, захочется побыть еще немного в этой форме, в которую другой заключил его и которую продолжает лепить, а исходящие из его глаз, из его улыбки лучи приглаживают, ласкают..

Случается, что, сомкнувшись друг с другом без зазоров, как правильно подобранные куски головоломки, они пытаются отдалить тот миг, когда им придется, разъединившись, испортить картинку, разрушить красивую конструкцию... Иногда они поддерживают, удерживают друг друга настолько крепко и хорошо, что чувствуют себя полностью слившимися, единым целым, и с удовольствием скользят вокруг взглядом, останавливая его то здесь, то там на их общем достоянии... «Знаете, иногда просто глазам своим не веришь... Рядом с церковью вдруг такое здание...— Да уж, этот толь на крыше...— Эти бетонные стены...— Подумать только, ведь наш город внесен в список достопримечательностей! — Да, даже в каталог исторических памятников... Все, что строится в радиусе менее пятисот метров от колокольни...— Но кто теперь соблюдает предписания? — Ах, и не говорите! Это просто позор...— И ведь так повсюду...— Нет, они явно...»

Беспечные, безмятежные... Разве все не принадлежит нам двоим? Вам и мне? Все эти слова, которые мы можем свободно черпать... вот слово, возьмите, это как раз то, что нам нужно, я его беру... Но почему я медлю? почему не протягиваю сразу слово, которое уже выбрано, которое я держу? Разве есть что-то, что мне хотелось бы придержать, сохранить для себя одного? Разве она не способна подхватить его? Разве она слабее? менее ловкая?

Как же я мог хоть на мгновение... Нет, нет, вот оно, я вам его протягиваю... только завернутое... на всякий случай, если вдруг вы, ловя его... извините меня за эти излишние предосторожности, за эти кавычки, за эту едва уловимую интонацию, которыми я окружил это слово: «Нет, они явно не страдают от избытка «эстетического» чувства»...

«Эстетическое»... это слово там, в другом человеке, провалилось куда-то, пробило воронку, заставив сбежаться, столпиться, склониться... Что это такое?

Вещество, из которого оно, судя по всему, состоит, не похоже ни на одно из нам известных... это метеорит... откуда он упал? с какой планеты?

Да нет, вы ошибаетесь, это вовсе не оттуда, не из такой дали, все произошло здесь, совсем рядом... это просто неуклюже брошенное слово, оно неудачно приземлилось, упало не той стороной, достаточно перевернуть его, и вы увидите, что оно вам знакомо... оно из того же вещества, что и все слова, оно наше, свое... взгляните на него с другой стороны... что может быть более привычного? Смотрите, я переворачиваю... «Нет, правда, уж от чего они не страдают, так это от избытка чувства красоты».

Чужие глаза пристально изучают того, кто с виноватой, заискивающей улыбкой, криво растянутой по лицу, делает жалкие попытки... Но к чему?.. сколько ни переворачивай это слово, «эстетическое», оно одинаковое со всех сторон... зачем пытаться скрыть одну из них, прищлепнув сверху слово «красота»?

«Эстетическое» выскочило, как характерный роковой гнойничок, означающий... оно появилось, как татуировка, свидетельствующая о принадлежности... Нет, пожалуйста, не думайте так, это вовсе не признак того, что вам кажется, во всяком случае, у меня... Я совсем не из тех и могу это доказать, вы сразу поверите... Я сейчас подставлю к этому слову «эстетическое» другие слова... общедоступные, наши добрые, крепкие словечки, которые я охотно употребляю... вы увидите, как при соприкосновении с ними слово «эстетическое» сразу же утратит тот вид, который вам неприятен... да, я знаю... вид надменный, высокомерный, чуть презрительный, не так ли?.. но вы сейчас увидите, как от этих славных словечек на него повеет их беззаботностью, широтой, добродушием... «Да... они кладут с прибором на эстетическое чувство. Кроме всякого дерьма, их ничего на свете не интересует!»

Под действием этих слов, как фотоснимок под действием проявителя, проступает стоящий рядом человек: персонаж совершенно четкий, довольно одного взгляда, чтобы его охватить, очертить — это старая дева, очень сдержанная, холодная и чопорная. Ее замкнутый, непреклонный взгляд отталкивает, ставит на место... но кого же?.. грубияна? хама? человека неловкого? претенциозного? высокомерного сноба?.. «Да, повсеместный недостаток эстетического чувства»... эти слова, которые она без усилия подхватила и выставила перед собой словно затем, чтобы заставить его отступить подальше, чтобы прогнать его, вонзают в него свои шипы... «это, в самом деле, факт весьма плачевный. До свиданья, мсье».

Детка

Теперь, если вам не жаль потерять еще несколько минут, если все эти драмы вас не утомили, позвольте мне пригласить вас еще на одну.

Она сулит — надеюсь, я не ошибаюсь — несколько эпизодов или поворотов, не вовсе лишенных интереса.

Вас не удивит — поскольку занимают нас сейчас слова, точнее, некоторые из них и только они, — что драму эту развязывает слово, короткое, самое обычное слово. Это слово «детка».

Но для того, чтобы слово «детка» вызвало к жизни нечто интересное, должны быть соблюдены определенные условия.

Нужно, чтобы оно выплыло внезапно, во время самого что ни на есть мирного и дружеского разговора, затесавшись в поток других слов, влекомых тем же течением.

Ничто в тоне, которым оно произнесено, не должно наводить на мысль о вызове или о нежности или вообще нести отпечаток какого бы то ни было чувства.

Надо, чтобы оно прозвучало абсолютно безмятежно, возникло бы в самой рядовой фразе... неторопливо... лучше даже, чтобы слоги были растянуты... появились бы не спеша один за другим... «дет-ка»... чтобы оно очень спокойно вошло в собеседника и заняло место, которое, бесспорно, ему подобает.

И на это место, что тоже очень важно, оно не должно попасть как «детка» из числа тех, на которых не стоило бы и останавливаться: «детка», исходящее от более

старшего или вышестоящего... короче, от кого-то, обладающего очевидным, признанным превосходством, которое это слово и выражало бы.

Итак, в самом дружеском и безмятежном разговоре между двумя людьми, чьи отношения строятся на полном равенстве, внезапно появляется «детка».

Тот, в кого это слово нацелено, встречает его как легкий удар током... или, если не побояться еще более банального сравнения, испытывает ощущение, как будто задел крапиву или случайно дотронулся до мохнатого листа кактуса.

Тут-то эта драма, или, если хотите, игра, на которую вы приглашены, и начинается.

Как он, по-вашему, поступает?

Ответ, который немедленно напрашивается сам собой, это что скорее всего он делает вид, будто ничего не почувствовал, и разговор плавно продолжается как ни в чем не бывало.

Возможно, вы захотите этим и ограничиться, сочтете, что завязки нет, что драма эта — мертворожденная, игра не стоит свеч или, если угодно, что гора родила мышь.

И тем не менее эти слова прозвучали, слова, которые вы сами невольно выделили: «делает вид»... они поблескивают, обещая богатые залежи...

Да, делает вид, ибо никто не может всерьез полагать, будто тот, в кого слово «детка» проникло, ничего не почувствовал... для этого он должен быть мертв, в обмороке, в состоянии истерической нечувствительности, каталепсии... то есть настолько же отличаться от нас самих, как мертвец или душевнобольной.

Следовательно, поскольку все мы тут люди живые и психически здоровые, мы вынуждены предположить, что он, как поступили бы и мы, оказавшись мы на его месте, делает вид.

Делает вид? Но в чем дело? Делает вид? Но почему?

Удивительно то, что если мы зададим этот вопрос тому, кто мгновенно, даже не задумываясь, делает вид, или спросим об этом самих себя, то ответ, который дадим и мы и он, неизбежно будет: «Сам не знаю».

Да и как можем мы ответить иначе? Было ли у нас время обдумать положение? Принять решение? Нет, мы отлично знаем, что в подобных случаях время не терпит, мы не можем терять ни секунды, «делать вид» не позволяет нам этого, чтобы «делать вид» имело смысл, надо, чтобы ни малейшее замешательство, пусть даже самое ничтожное, не нарушало гладкого течения беседы...

Однако несомненно, что выбор все-таки был сделан. Возникли альтернативы, порывы были укрошены, естественные побуждения обузданы...

И все менее чем за миг...

Но давайте попробуем его поймать, остановить, рассмотреть, и мы обнаружим... не сразу, не без усилия... это так смутно, так неуловимо... чуть заметишь, сразу исчезает... но если все же удастся удержать достаточно долго в поле зрения... взгляните...

Тот, в кого «детка», смешавшись с другими словами, проникло, тут же отделяет его от прочих слов, хватает его, рассматривает... да, это то самое, сомневаться не приходится, как ни удивительно, среди полного покоя, среди совершенного умиротворения вдруг это вторжение, не война, нет, но тревожный, недопустимый набег... пользуясь состоянием мира, небольшой отряд позволил себе нарушить границу... Тревога дастся немедленно... нет нужды трубить полную боевую готовность, достаточно прибегнуть к известному оружию обороны, очень действенному в таких случаях... оно наготове: «Не называйте меня деткой»... они здесь, под рукой, эти слова-ракеты, которые внезапно озарят нападающего резким светом, обратят его в бегство, послужат предупреждением, отобьют охоту к подобным вылазкам впредь... «Не называйте меня деткой»... достаточно их выпустить...

Но чего же он ждет? Что с ним? Он не может пошевелиться, он словно скручен по рукам и ногам... просто он... кто из нас этого не переживал?.. он просто запутался в нити разговора, вернее, эта нить его связывает, держит в своих путах... он смотрит на слова, вот они, перед ним, совсем рядом... но чтобы дотянуться до них, чтобы их достать, надо нарушить эту нить, прервать ее, разорвать совсем, сделать бросок в сторону и произвести запуск, рождая спящий свег, грохот: «Не называйте меня деткой»... но у него нет на это сил; путы, которые его держат, слишком прочны, слишком крепко затянуты, он силится освободиться, дергается несколько раз и наконец сдастся, он делает вид...

Но вот он зашевелился, задвигался... не для того ли, чтобы сделать новую попытку?.. поздновато, он упустил момент... Нет, он благоразумно придерживается нити разговора, ясно, что он вовсе не собирается ее нарушать... Он только хочет...

это ведь так естественно, не правда ли? отослать слово «детка» гуда, откуда оно пришло... он хочет в свою очередь вернуть его, незаметно вплести вместе с другими словами в нить разговора... Да, но как? Как это делается? Что за странное слово — «детка»!.. оно не входит в его словарь, он никогда прежде им не пользовался, не знает законов его употребления, ведь чтобы умело с ним обращаться, нужен опыт, сноровка... есть, конечно, слова, которые могли бы помочь его притянуть, могли бы взять его на буксир: «видите ли...» или «но послушайте...». Достаточно прибавить к ним слово «детка», и они сами потянут его за собой: «Видите ли, детка...» — среди всего этого неостановимого потока фраз... «Но послушайте...» Нет, ничего не получается, «детка» отрывается, «Но послушайте», влекомое течением, уплывает само по себе, так и не захватив с собой «детку».

Да, определенно «детка» — слово чужого языка, он никогда не сумеет произнести его правильно, сколько бы ни старался, его выдаст акцент. Его выдаст голос... вот «детка» уже на подходе... но голос никогда ему не подчиняется... он заранее дрожит, готовый пресечься.

А тот, другой. — ничто из всего этого не могло ускользнуть от него — смотрит на него с усмешкой, с жалостью... бедняжка, слово «детка» задело его за живое, и вот он теперь... лягушка, забавно пытающаяся раздуться... вот он теперь, встав на цыпочки на своих крошечных ножках, вытягивая ручки, хочет в свою очередь назвать «деткой» его... как будто он способен до него достать... как будто уже давным-давно... но как же он, бедный несмышлениш, сам этого не замечал?

И вправду, как? В какой момент там, в другом, это слово «детка» могло зародиться? Как оно могло развиться, созреть, отяжелеть настолько, чтобы сорваться, упасть с его уст?.. упасть на него, накрыв его с головой... Слово «детка» покрыло его полностью... оно было скроено по его росту... было готово давно... оставалось только пригнать по фигуре... Какой-то спазм душит его... он весь кипит, обжигающий пар, пузыри скапливаются там, где перед ним возникает... да это же он, он и никто другой, этот маленький добрячок с примирительной улыбкой, согласно кивающий... а здесь он как бы чуть-чуть пригибается... исключительно ради того, чтобы другой почувствовал себя повыше... но это просто игра, шутка... разве что-то может его принизить, разве он не вне всяких мерок?.. он откровенничает, изливает душу, доверяется, открывается до конца, показывает себя «таким, какой он есть»... к чему притворяться? Зачем что-то изображать?.. разве он доступен для какого бы то ни было суда?.. а вот опять он, стремится к еще большему сближению, спрашивает... ребенок, который обращается к старшему... хочет услышать совет, мнение, а тот, другой, участливо вникает в его проблемы... а в том, другом, уже зарождается слово «детка» и вот-вот сорвется... слово «детка», из которого он теперь не в силах вырваться... невозможно сделать ни единого движения... даже изобразить подобие улыбки, чтобы хоть как-то, мимоходом, отреагировать... нет, только не это, показывать ничего нельзя, надо делать вид...

Делать вид, как поступают, когда собеседник случайно обрызгает вас слюной и вы потихоньку вытираете лицо, стараясь, чтобы тот не заметил. Показывать ничего нельзя, это было бы бестактно, он ведь не нарочно...

Он не нарочно, конечно, не нарочно, что вы, это слово сорвалось у него случайно, это слово проходное, слово-паразит, которое он иногда употребляет безо всякого намерения возвыситься, обратиться свысока, дать другому почувствовать собственную смехотворную ничтожность... Достаточно посмотреть на него... его изумила бы до глубины души вся эта сумятица, переходящие границу отряды, нити, пути, слова-ракеты, все эти буксиры, чужие языки, волы и лягушки, обжигающий пар, пузыри, игры, все эти судороги и трепетные попытки... что за мнительность!.. какая мстительная душа, сколько подозрительности, самолюбия!.. и он, по сути, был бы прав, разве нет? Как можно было бы жить на свете, если бы люди лезли в бутылку по пустыкам, если бы благообразно не пропускали мимо ушей подобные словечки, в общем-то, пустые и безобидные, если бы каждый раз устраивали из-за таких мелочей — из-за выеденного яйца, в сущности, — целую историю?

Ну и что? Он просто чокнутый...

«Ну и что?»... подставьте дальше то, что вам больше нравится, предоставляю выбор вам... «он просто тряпка, просто одержимый, просто эгоист, просто скупердяй, просто лодырь, просто позер, просто, просто, просто...», только не забудьте, не упустите главное — предварить это недоуменным «ну и что?»...

Что до меня, то среди всех слов, которые просятся на это место, позвольте мне предпочесть «он просто чокнутый»... Быть может, за звучность, за оттенок самодовольства, с которым оно порой, лениво потягиваясь, тяжело опускается на свое место, развязно развываясь перед вами... «Ну и что? Он прос-то чок-ну-тый...» И еще за то, что это слово позволяет пойти чуть дальше, углубиться... Хотя нет, неправда... «Он просто тряпка», «он просто одержимый» или любые другие слова в том же духе, если с ними обойтись, как они того заслуживают, могли бы с тем же успехом...

Но меня уже давно прельщает «он просто чокнутый»... Кто из нас не слышал этого? Никогда этого не говорил? Кто сейчас не скажет мне: «Ну и что?»...

«Ну и что? Что ж вы хотите?», «Ну и что? Какой из этого вывод?», «Ну и что? Какое это имеет значение?»

Действительно, ну и что?.. Что тут такого, что могло бы навести на мысль о землетрясении, об извержении вулкана, о цунами?

Но я увлекаюсь... Забудьте, пожалуйста, пока об этих крайностях. Дайте мне время создать условия, при которых, быть может, фраза «Ну и что? Он просто чокнутый» предстанет перед вами в том же свете, что и передо мной, способной вызвать... нет, нет, не волнуйтесь, я больше не буду.

Прежде всего нужно, чтобы тот, кто рассказывает... Ах, рассказывает? Кто что рассказывает?... Подождите, не торопите меня. Необходимо, чтобы тот, кто начинает рассказывать, был уверен, что другой, тот, кто сейчас его слушает, наделен теми же чувствами, что и он сам, то есть отдергивает и трясёт палец, коснувшись раскаленной плиты, дрожит и ежится, если ему холодно, смеется и плачет по тем же самым поводам... Словом, можно без конца перечислять факты, способные внушить ему уверенность, что, не считая нескольких чисто внешних особенностей, ничего не значащих мелочей, другой похож на него самого...

Исполнившись доверия, он принимается рассказывать... надо отметить, что, перед тем как начать, у него может вдруг возникнуть некое смутное чувство, как бы едва осязаемое опасение... но сейчас некогда задерживаться на этом, мы рискуем отклониться, сбиться... скажем лишь, что, отогнав все эти смутные ощущения или вовсе их не испытывая, он делает попытку показать... И тут у вас широкий выбор, достаточно оглядеться по сторонам... вокруг так много разных вещей, на которые нам хотелось бы, чтобы кто-нибудь, наделенный теми же пятью чувствами, что и мы сами, согласился бы хоть на миг... Не кажется ли вам, что тут...? Неужели вы не замечаете, как я, что...? И начинаешь рассказывать, упорно добиваясь, с ищательностью, с надеждой... точно так же, как тот, кто показывает другому... тянет его, пытается заставить... Вот здесь, посмотрите, вот...

Вот, видите в стене эту щель, трещину... оттуда как будто проступает, просачивается что-то непостижимое... словно там внутри какое-то пористое вещество, какая-то губка, насквозь пропитанная... чем-то невообразимым... и это сочится.. Что это может быть?.. Что может, по-вашему, так странно действовать на человека, который это чувствует? Что тут притягивает его, точно лунный луч лунатика?..

Надо видеть, как он мечется, вскакивает, бежит, наклоняется, опускается на четвереньки, чтобы получше рассмотреть, встает, куда-то уходит, возвращается, ведет помощников, чтобы заделать, законопатить, заткнуть, закупорить, заштукатурить, закрасить, заровнять, стереть... точно ли никаких следов?.. совсем никаких?.. он отступает назад, чтобы посмотреть издали, хорошенько убедиться, успокоиться, потом снова трет и ровняет и не унимается, пока...

Губы слушающего растягиваются в усмешке, приоткрываются, и вот перед вами, лениво потягиваясь, развязно развываясь... «Ну и что? Он прос-то чок-ну-тый...»

«Ну и что? Он прос-то чок-ну-тый...»

Тот, на кого эти слова обрушиваются, ощущает примерно то же, что взломщик, который внимательно исследует, обшаривает незнакомый дом, нащупывает что-то впотьмах, шепчет... «Кажется, здесь, иди сюда, осторожно, за мной»... и вдруг в глаза ему ударяет слепящий свет, и его товарищ, сообщник, наводит на него револьвер и кричит: «Руки вверх!»

Взрывное действие этих слов можно еще сравнить с тем, что, вероятно, чувствует человек, прогуливаясь в обществе друга, когда тот вдруг набрасывается на него, в мгновение ока связывает, засовывает в рот кляп и шипит ему в ухо: «Не пытайся ударить. Ты попался!»

С тем вниманием которое порождается сознанием опасности, застыв и весь сжавшись в комок, он молча, сосредоточенно, собрав все силы, старается понять...

Что произошло? Как это могло случиться? Куда его тащат?.. Нужно спокойно все обдумать, вспомнить еще раз, не спеша, все сначала...

Какие-то зигзаги, помехи мелькают у него перед глазами, не давая как следует разглядеть, что это за существо такое внезапно появилось на месте его друга... что это за незнакомец с непроницаемым взглядом, с этой усмешкой...

То и дело знакомый, надежный образ друга всплывает перед ним, заслоняет того, другого, потом снова тает, исчезает... но не совсем... этот образ как бы постоянно присутствует, просвечивает, два образа соединяются, сливаются... А потом постепенно незнакомец уплотняется, становится непрозрачным, сквозь него ничего уже больше не просвечивает... Никого другого тут нет, только он, тяжелый, плотный, массивный, несокрушимый, — тот, кто и был здесь с самого начала...

Каким же слепцом, каким легковверным разиней нужно было быть, чтобы так попасться...

Он все время был здесь, такой же, как сейчас, исподволь наблюдал за ним, предвидел... его сразу встревожил, насторожил этот тон, где звенела надежда, звучало сочувствие, где отражались, продолжались «волны, подобные лунным лучам», которые перед облупленными стенами и всякими трещинами заставляют кого-то комично метаться, смешно садиться на корточки, вставать на четвереньки, бежать и звать на помощь, чтобы законопатили, чтобы замазали... Но он-то знал, что его отнюдь не хотят рассмешить, а, наоборот, хотят коварно вынудить посмотреть, тоже сесть на корточки... выискивать... нет ли там, внутри... Разве вы не чувствуете?

Вот тут-то, выведенный из терпения, сочтя, что игра затянулась... или, быть может, вдруг тоже почувствовав, как нечто проступает... просачивается... нет, это было бы слишком хорошо... тут-то он и решает, что настал момент положить этому конец. И есть ли способ более действенный, чем: «Ну и что? Он просто чокнутый?»

Как не восхититься подобным подвигом? Какая же нужна изощренность, какая дьявольская ловкость, сила мысли, находчивость и быстрота выбора, чтобы суметь извлечь из слов все, на что они способны? Причем без тени усилия, в мгновение ока... По невообразимо сложному знаку они прибегают, выстраиваются: «Ну и что? Он просто чокнутый...»

Сначала «ну и что?» основательно проходится по всем этим пористым, губчатым веществам, все стирает, осушает...

А потом: «Он просто чокнутый»... и тут уже вся стена отступает, отодвигается, перемещается на задний план. Это самая обыкновенная стена, довольно ветхая, местами подгнившая, кое-где с трещинами. Ничего невообразимого там не проступает и не просачивается... Сколько бы вы ее ни колупали, вы обнаружите только кирпичи или штукатурку... Можете продырявить ее насквозь — по ту сторону не окажется ничего, кроме улицы, двора, сада, другой комнаты...

Но зато теперь на фоне этой стены выделяется, маячит, привлекая к себе взгляды, приковывая всеобщее внимание... вы, конечно, узнали его: это чокнутый.

«Чокнутый»... модель, содержащая вместе и по отдельности все волнения и страхи невесты перед чем... У чокнутого может вызвать их все что угодно.

«Чокнутый»... смирительное слово, оно усмиряет все метания и конвульсии, отправляет их в надежное место, под крепкий запор, под неусыпную охрану.

«Ну и что? Он просто чокнутый»... это бронированная камера. Ничто не может проникнуть сквозь ее стены, абсолютно непроницаемые, проверенные на прочность.

«Ну и что? Он просто чокнутый»... Внутри нет ничего, кроме виденного уже тысячу раз, ничего, кроме одной и той же картины, всегда одинаковой, отражающейся с неизменной точностью в гладких металлических стенках.

«Ну и что? Он просто чокнутый»... Если бы вдруг, случайно, вопреки всякой вероятности, здесь, внутри этой камеры, оказался бы незаметно пошавший сюда зародыш, из которого на свет могло бы явиться нечто, в чем, кажется, сосредоточена сама жизнь, нечто, что и есть сама жизнь, что-то влажное, слепое, нетронутое, похожее на кофенка или на новорожденного щенка. — если бы это попыталось, трепеща и неуверенно пошатываясь, пробраться наружу, оно везде натолкнулось бы на твердый плотный металл...

Вот куда — теперь он это видит — его приволокли и заперли, когда он, думая, что обращается к своему ближнему, к другу, захотел повести его за собой, сам не

зная куда, куда-нибудь подальше от бронированных камер... когда попытался привлечь его внимание... робко, стыдливо воспользовавшись как ширмой этим беднягой, который вскакивает, иногда даже по ночам, чтобы посмотреть, чтобы прекратить, остановить, заткнуть... когда он трусливо выставил его перед собой, чтобы оградить себя... но был схвачен вместе с ним и вместе с ним заперт... «Ну и что? Он просто чокнутый...» — эти слова воздвигли вокруг него свои непроницаемые стены.

Да и мне, несмотря на все меры предосторожности, даже окружив себя для верности двойной защитой, трудно удержаться, чтобы, рассказывая вам эту историю, не представлять себе время от времени, как вы поглядываете на меня вот так же странно, с такой же усмешкой и говорите себе: «Ну и что? Он просто чокнутый».

Не говорите мне про это

Есть одна игра, в которую мне иногда хочется попробовать поиграть... Можно утверждать почти наверняка, что это одна из тех игр, где мы с вами — если, конечно, вы согласитесь в ней участвовать — будем первыми и последними игроками.

Вряд ли тут есть чему радоваться, скажете вы. Вы правы. Однако несомненно одно: эта игра, какая бы она ни была, имеет по крайней мере то преимущество, что может внести некоторое разнообразие в наши привычные развлечения.

Ее отправным моментом будет, как вы догадываетесь, некая фраза, слова, которые мне, как, быть может, и некоторым из вас, приходилось слышать. Я выбрал их за то, что, как мне кажется, они могут... мне трудно пока сказать, почему мне так кажется, но я рассчитываю вскоре это выяснить... во всяком случае, я надеюсь, что они могут позволить мне устроить игру, как я люблю, с неизбежностью выбора и непредсказуемыми перипетиями.

Для начала представим себе... ибо невозможно совершить это на самом деле, не возбудив недоверия, не вызвав подозрения, что у нас «с головой не все в порядке», не рискуя услышать, что у нас «крыша поехала»...

Итак, удовлетворимся тем, что представим себе, будто мы задаем людям, выбранным наудачу, такой вопрос: можете ли вы во время разговора, когда собеседник рассказывает вам о чем-то, что вам неприятно... ну, например, нагоняет скуку... или вызывает смутную тревогу, а может быть, и не смутную, а вполне определенную... способны ли вы перебить его и сказать: «Не говорите мне про это?»

Представим себе вдобавок, что каждый из тех, кого мы спрашиваем, вовсе не пытается уклониться и прямо отвечает на наш вопрос.

«„Не говорите мне про это?“ — так вы сказали?.. Ну а как же! Я часто так говорю. Да, если мне не нравится то, что мне рассказывают, по какой-то причине... и я вовсе не обязан объяснять, по какой именно. „Не говорите мне про это“, и все. Да, без всяких объяснений. Не понимаю, а в чем дело? — Ни в чем, пока ни в чем. Спасибо. Но не уходите пока, по стойте здесь, вы нам еще понадобятся». И с покорностью, составляющей одну из прелестей этой игры, человек встает рядом в сторонке и молча, но внимательно следит за тем, что будет дальше.

Теперь очередь следующего, зададим ему тот же вопрос. Кажется, он слегка удивлен. Он задумчиво смотрит на нас, медленно повторяя: «Не говорите-мне-про-это»... Дайте подумать... Ну да... «Не говорите мне про это»... Вот так ни с того ни с сего на то, что человек вам говорит?.. когда он совершенно явно не отдает себе отчета... заведомо не хочет ничего дурного, и даже не объясняя ему ничего? Только «не говорите мне про это», и все? Взгляд его, все более и более задумчивый, устремляется куда-то вдаль... а потом возвращается к нам с выражением слегка смущенным, почти виноватым... «Нет, вот так, не добавив ни слова, я не мог бы этого сказать... — Очень хорошо, спасибо, встаньте, пожалуйста, сюда. Будьте так любезны. — Ну конечно, да, да, мне здесь очень удобно, не беспокойтесь...» — и он встает рядом.

Теперь вот этот. «Не говорите мне про это»? На его лице удивление, почти испуг. «Как? Вот так вдруг, посреди разговора? Но послушайте, это же невозможно. Немыслимо... Никогда, сколько бы я ни припоминал... Да если бы кто-нибудь, когда я что-то говорю ему, рассказываю... Нет, ей-богу, это даже вообразить нельзя. — Спасибо большое. Не сердитесь, мы не хотели вас обидеть. Раз уж вы имели любезность нам ответить, встаньте, пожалуйста, сюда, если вы не против, и подождите немного».

Так постепенно мы собираем тех, кто ответил примерно одинаково. Мы делим их на две группы, которые размещаем друг напротив друга и которые я предлагаю вам для удобства называть «те, кто может» и «те, кто не может».

Можно заметить... упоминаю об этом просто так, мимоходом... что в их облике ничто не позволяло предсказать — без риска глубоко ошибиться, — каков будет их ответ. Среди «тех, кто не может», попадаются толстые, румяные, широкоплечие здоровяки, а среди «тех, кто может», — бледные, тщедушные хлюпки с изможденными лицами. Это лишний раз подтверждает, как глубоко мы не правы, когда продолжаем вопреки стольким предостережениям и разочарованиям судить, как мышонок из басни, о людях по их внешности.

Теперь давайте медленно прощупаем эти неподвижные группы, как локатором, все тем же вопросом: можете ли вы сказать «не говорите мне про это»? Повторим настойчивее, несколько раз: «Не говорите мне про это». Можете вы так сказать или нет?

В группе «тех, кто не может», местами возникает движение, небольшие водовороты... Под действием слов «не говорите мне про это» некоторые начинают волноваться... вдруг один отделяется от толпы и выходит вперед... Чего он хочет? В чем дело?.. «Вы можете это сказать?» Он кивает с довольным видом: «Да, могу... Я как раз вспомнил, что совсем недавно сказал: «Не говорите этого!» — Вы серьезно? — Ну конечно, вот видите, я тоже смог... — Вы с нами не до конца откровенны. Это было сказано во время спора? — Да. — По конкретному поводу? — Да... — Вы отклонили таким образом некое утверждение? — Кажется, да... — Тогда о чем мы говорим? Зачем вы заставляете нас терять время? «Не говорите мне про это» касается всего, всего целиком, что рассказывает ваш собеседник... всего, понимаете?.. Нет, кажется, вы не видите этой колоссальной разницы... Подумайте еще, а пока будьте добры встать туда, где стояли, в группу «тех, кто не может»...»

Движение в группе продолжается, несколько человек спорят между собой... «Что вы там говорите? Выйдите сюда и скажите вслух. — Мы считаем, что мы не принадлежим к этой группе... произошла ошибка... — Вот как? А почему? — Потому что вот она, например, сейчас мне рассказала, что однажды ей случилось сказать: «Не будем говорить об этом...» — Нет, честное слово, с вами просто руки опускаются! Пусть та, которая смогла сказать «не будем говорить об этом», выйдет вперед. Это вы? Так вы полагаете, что «не будем говорить об этом» равносильно словам «не говорите мне про это»? В группе «тех, кто может» раздаются смешки... «Видите, «те, кто может» смеются над вами. Неужели вы воображаете, будто сказать «не будем говорить об этом»... да еще вот так, стусевавшись, не употребив слово «мне», заменив его на «мы» и приглашая собеседника вместе с вами сообща свернуть с пути, на который вы вступили вдвоем... Право, начинаешь подозревать, что вы просто хитрите... надеетесь, что мы по рассеянности спутаем... Нет, вас невозможно перевести в другую группу. К тому же, послушав, как они зубоскалят, начинаешь опасаться, что «те, кто может» — а вы сами знаете, с ними шутки плохи — устроят вам веселенькую встречу... Нет, нет, оставайтесь-ка на своем месте».

Между тем среди «тех, кто не может» не утихает какое-то волнение... Может быть, еще кто-то считает, что он не принадлежит к этой группе? Люди расступаются, снисходительно улыбаясь, и пропускают вперед человека, залившего румянцем... «Как? вы способны сказать: «И не говорите!»...» Со всех сторон раздается смех... «Найдется ли среди вас кто-нибудь, кто объяснит ему, что «и не говорите!»... Но возможно ли, чтобы он не знал, что «и не говорите!» значит как раз обратное словам «не говорите мне про это!» Это означает согласие, поддержку, полное единодушие. Ничего не стоит сказать: «И не говорите!» Это может каждый... Вы берете его на себя? Прекрасно. Ну будьте умницей, вернитесь в свою группу, к этой даме, она вам все объяснит...»

Теперь, когда все улажено, начинается вторая половина нашей игры. Мы поворачиваемся к группе «тех, кто может» и спрашиваем: «Чем объясняется, что вы можете это сказать?» А «тех, кто не может» мы спрашиваем: «Чем объясняется, что вы не можете это сказать?»

«Те, кто может» озадачены больше, чем другие... Они переглядываются,жимают плечами... Кто-то бормочет: «Что за вопрос... По-моему, тут все ясно... Вы же сами сказали: собеседник рассказывает вам что-то скучное, раздражающее вас, вы не хотите этого слушать... Наконец, когда вас уже просто тошнит, вы можете сказать: «Не говорите мне про это»... Это ваше право. Да, без всяких объяснений. Разве обязательно откровенничать?»

Из группы «тех, кто не может» слышатся возмущенные выкрики: «Нет, это просто невероятно!.. Пожалуйста, вот наш ответ, тут нечего и думать: мы не можем сказать этого, потому что это невоспитанность, потому что так не делают. Потому что это невежливо. Потому что это хамство...»

«Те, кто может» смотрят на нас с жалостью... «Да, результат блестящий: так не делают, это невежливо это хамство. Они думают, будто могут отделаться оскорблени-

ми... И вообще, по какому праву вы себе это позволяете?.. Если для вас игра состоит в этом, то и мы можем так же: вы просто тряпки, конформисты, это трусость, ханжество...»

Необходимо вмешаться: «Пожалуйста, перестаньте. До сих пор никто на вопрос так и не ответил. «Потому что вас тошнит», «Потому что это невоспитанность»... Это не ответы, это уход от ответа, но ненадолго, ответить придется...»

После длинной паузы из обоих лагерей раздаются одни и те же протесты: «Разве можно сообразить вот так, с ходу?.. Надо представить себе ситуацию... Пережить ее заново... Да, восстановить для себя...»

Что ж, этого следовало ожидать. Вам нужен определенный случай, и вы совершенно правы. Не частный случай, конкретные проявления и сложность которого могут запутать дело, отвлечь нас от главного. Нужен случай-модель. Чистый продукт. Квинт-эссенция. Реактив достаточно сильный, чтобы оказать одинаковое действие на всех.

Вот вам, пожалуйста, один из таких случаев. Встречаются два человека... один у другого в гостях, или они сидят в кафе, или вместе гуляют, не важно... Важно то, что они вынуждены — или им хочется — друг с другом разговаривать. Во всяком случае, они знают, что молчать нельзя, а если и можно, то очень недолго... Вопросов пока нет? Даже среди «тех, кто может»? Это большое облегчение, а то если бы сейчас пришлось еще разбираться с этой невозможностью молчать... Итак, два человека оказываются вместе и не могут, не испытывая неловкости, всем нам знакомой, перестать разговаривать... или разойтись — для этого еще не пришло время... Поэтому они, как положено, что-то говорят по очереди.

А теперь представьте себе, что в данный момент слушателем являетесь вы... Мельчайшие хватательные приспособления, подвижные и цепкие, которыми должен располагать ваш мозг — их можно за неимением лучшего очень грубо представить себе как усики, щупальца, пальцы, клешни, — тянутся, чтобы нащупать, схватить то, что вам предложено, зажать это со всех сторон, принести и положить на предназначенное для этого место.

Тут собеседник повторяется... ваши крохотные щупальца снова поднимаются, вытягиваются... и что же они находят на сей раз? Нечто совершенно плоское, недвижимое, этакую безжизненную копию... ее не за что ухватить, здесь ничто не шевелится, не возбуждает их, не побуждает это взять, обхватить... они опускаются, ничего не добыв, и, скрючившись, падают без сил... тем временем эта безжизненная вещь сама по инерции проникает в вас и накладывается на то, что было принесено секунду назад, перекрывает это... Тут вам опять посылают то же самое, только еще более инертное и плоское, и снова ваши тоненькие усики, на сей раз уже не так бодро, поднимаются и тут же падают... а безжизненный плоский предмет неотвратимо приближается, накладывается, перекрывает... но ваши усики, щупальца, пальцы, клешни больше не движутся, они сморщились, атрофировались... мертвечина сама укладывается, накладывается на то, что уже там есть... И при каждом повторении эта штука, все более плоская, тяжеловесная, врезается в ваш натруженный, распухший мозг, уплотняется, затвердевает, придавливает... и снова...

Из группы «тех, кто может» раздаются крики: «Не говорите мне про это»... В соседней группе некоторым делается дурно, кто-то вытирает со лба пот... «Ну как? Нашелся кто-нибудь?.. Нет?.. Ах, все-таки? Значит, вы это сказали? И вы тоже? Хорошо, прекрасно!.. В таком случае перейдите, пожалуйста, вон туда, в группу «тех, кто может». А вы неужели так и не можете?.. По-прежнему нет? Никакой реакции?»

«Те, кто может» явно забавляются, хихикают... некоторые вытягивают голову в плечи и испуганно озираются... «Видите ли, дело в том, что эти люди — те, кто не может, — такие воспитанные, они до того озабочены соблюдением условностей... Так не делают, они ведь вам сказали, лучше вынести любую пытку, чем позволить себе... хамскую выходку... ни за что...»

Чуть заметным одобрительным кивком мы выражаем свою благодарность «тем, кто может», за то что они помогли нам этими насмешками, издевками... Действительно, им удалось слегка встряхнуть «тех, кто не может», вызвать у них слабые протесты... «Нет, это не так...» Ах, не так? Правда не так? Мы вынуждены сделать над собой усилие, чтобы не выказать слишком явно свое жадное любопытство, чтобы усмирить в себе пробудившуюся надежду, и спрашиваем у них как можно спокойнее: «Не так, вы говорите?.. Дело не в условностях?.. Но тогда в чем же?..» Секунду они колеблются, потом качают головой, смотрят друг на друга... «Не знаю... — А вы?.. — Я знаю, что не могу; вот и все... Я тоже предпочитаю потерпеть, пытка же не может длиться вечно. Рано или поздно непременно наступает момент, когда люди, имеющие склонность повторяться, наконец замолкают...»

Не будем падать духом. Попробуем еще раз. Может быть, нам все-таки повезет. Если не возражаете — вы ведь так терпеливы, — представьте себе другой случай.

совсем не похожий на предыдущий. На сей раз никакого переливания из пустого в порожнее, никакого повторения. То, что несут вам слова, все новые и новые, а ваши протянутые шупальца ловят, хватают, переносят и укладывают на место, непрерывно растет, ширится и вызывает у вас такое чувство, будто вы бредете среди унылых, хмурых равнин... проходите по бесконечным коридорам... увязаете в болотах... продираетесь сквозь опасные дебри джунглей... вы пытаетесь ускользнуть, но вас с неумолимой настойчивостью подталкивают, заставляют идти вперед... все дальше и дальше... к чему-то, против чего в вас все восстает, ошетиливается... Медлить больше нельзя... у вас есть талисман, который в ту же минуту... надо только сказать... Берите пример с «тех, кто может», сделайте, как они, и вы будете спасены, дурной сон рассеется... скажите: «Не говорите мне про это».

«Те, кто не может» мгновение стоят словно громом пораженные... потом взгляд их устремляется вдаль, словно им явилось видение... Мы делаем «тем, кто может» знак не шуметь и мягко, стараясь их не спугнуть, спрашиваем у «тех, кто не может»: «Теперь вы, конечно, сумеете нам ответить. Едва вы услышали слова «Не говорите мне про это»... у вас сделался такой вид...— Да, в самом деле, когда я услышал эти слова...— «Не говорите мне про это»...— Да. Сразу же унылые равнины, все эти бесконечные коридоры, все эти болота, джунгли, опасности... мгновенно исчезли, как вы и предсказывали... Да, для меня тоже... Эти слова точно вырвали меня из всего этого... Они подхватили меня, подняли и перенесли туда, к нему... Да, к тому, кому решились их бросить... и тогда...— И тогда? — Погодите, мне так трудно это восстановить... Если б вы могли помочь...— Да мы только этого и хотим, готовы сделать все что угодно...— Хорошо бы еще раз повторить... мы сами не можем...— «Не говорите мне про это»? — Да. Не могли бы вы попросить об этом их, они так хорошо это умеют...— Нет ничего проще! «Те, кто может», будьте так добры...» И сейчас же кто-то из них произносит с самой точной интонацией, о какой только можно мечтать: «Не говорите мне про это».

Из рядов «тех, кто не может» доносятся приглушенные вскрики... Мы нажимаем... «Итак?...— Итак, краска, которая бросилась ему в лицо, когда эти слова ударили его наотмашь, заливают и меня, я чувствую, как меня вместе с ним бросает в жар... У меня, как и у него, перехватило дыхание... Но понять, что же именно в этот миг произошло... Это так стремительно, так насыщенно...» Мы делаем знак «тем, кто может», и сейчас же «не говорите мне про это» оглашает воздух... «Те, кто не может» сжимаются, зажимаются, стискивают кулаки... «Ну вот... кажется, проясняется... Он говорит, рассказывает... И вдруг...» Даже без нашего вмешательства раздается «не говорите мне про это». «Те, кто может» определенно увлечены игрой... «Да, да, вот именно... он говорит, слова текут... бьют из источника...» Возбужденные голоса «тех, кто не может» звучат почти одновременно... «...из источника жизни... его жизни... его жизненных соков... они поднимаются... и вдруг грубый удар секатора, серпа, топора... смотрите, как он оседает, как из него вытекает кровь...»

«Не говорите мне про это»... Удар ноги отталкивает лодку, такую хрупкую, на которой, прижавшись к вам, он пытался пересечь... переплыть среди рифов, течений, крокодилов... вы с ним сели в лодку вместе... но потом вы спрыгнули на берег, бросили его одного, уносимого течением...

«Не говорите мне про это»... Смотрите, как он идет смело, свободно по дружественной стране, по знакомой стране, не покидая ее пределов... по нашей общей родине... и вдруг пограничный пост, вооруженные пограничники, дотошные, озлобленные таможенники роятся, ворошат... Что это? Это подарки, сувениры — для нас, его близких... Они вытаскивают их, осматривают, грубо швыряют, конфискуют...

«Не говорите мне про это»... На зеленой дороге, среди лесов и полей вдруг красный свет... полицейский в белых перчатках поднимает жезл...

«Не говорите мне про это»... Но как же так?... Это просто дурной сон... Тот, кто сидит напротив за столом, оказался экзаменатором... и он ставит ему... но что же он такого сказал, чтобы заслужить эту единицу?

«Не говорите мне про это»... Внимание! Вам известно, куда вы попали?... Невидимый писарь заносит в протокол каждое ваше слово... Предупреждаю: все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

«Не говорите мне про это»... Разве вас не предупредили, что это аудиенция и вам оказана честь быть принятым высоким лицом? Вам следовало взвешивать каждое

слово. Вы совершили оплошность. Вы не угодили. Вас выставляют. По знаку господина наглые и грубые лакеи выпроваживают вас за порог...

«Не говорите мне про это»... Где, по-вашему, вы находитесь? Среди соотечественников, в мирное время? Вы разве не знаете, что это оккупированная территория? Разве вас не ознакомили с предписаниями? Вы нарушили их, патруль вас заметил, взял на прицел, стреляет... в голову со страшным грохотом что-то взрывается...

И вдруг с глазами, налитыми бешенством, «те, кто может» надвигаются на «тех, кто не может», они кричат... Но это уже не игра, не шутка... они кричат... даже не верится... они кричат им: «Не говорите мне про это!»

Не понимаю

Мне не довелось совершить этого, да если бы и довелось, то разве скромность позволила бы мне хвастаться таким подвигом? Мне всего лишь повезло стать его свидетелем, а может быть, мне это приснилось, но в таком случае это было одно из тех сновидений, которые трудно отличить от того, что произошло с нами «взаправду», что мы видели «на самом деле».

Два человека сидят на садовой скамейке в летних сумерках и как будто беседуют. Но если подойти поближе и сесть неподалеку, то выяснится, что говорит лишь один из них, а второй слушает.

Что он говорит? Это непонятно... Однако все слова, которые он произносит, известны. Это слова знакомые, которые обычно полны смысла и составляют с ним одно целое... но тут, в цепочке, когда они следуют друг за другом, их смысл... Куда он исчез? Сколько ни ищи...

Но, скажете вы, улыбнувшись — ибо такая наивность, такое невежество способны вызвать улыбку, — может быть, то, что вы слышали, это были просто стихи, слагавшиеся не один день и наконец прочитанные, или, наоборот, нахлынувшие в миг вдохновения?.. Да, я знаю... это когда грохот сшибленных друг с другом слов заглушает их смысл... когда они трутся друг о друга и загибают его блеском высекаемых искр... тогда в каждом слове смысл его сведен к крохотному ядру и окружен широкими туманными пространствами... когда он затенен игрой отблесков, отсветов, отражений... когда слова в светящемся ореоле словно парят, обособленные друг от друга... когда, опускаясь по одному, они входят в нас, медленно заполняются тем непостижимым, что в нас таится, завладевают нами целиком, расширяются, разрастаются до пределов, выходят за наши пределы, за все пределы вообще...

Кто из нас не чувствует этого сразу, мгновенно, куда быстрее, чем это может выразить ценой кропотливых усилий беспомощный наш язык?

Но тут, поверьте, ошибиться было невозможно. Каждое слово было из тех, прямых и четких, которые целиком заполнены смыслом, — никаких туманностей, никакого ореола, никакого пространства между ними. Они аккуратно выстраивались одно за другим, движимые некой мыслью, связанные хорошо натянутой нитью рассуждения... Проникновенный, настойчивый тон старался внедрить их в сознание слушавшего, заставить его согласиться, утвердить в нем уверенность, убежденность.

Его встревоженное сознание, как водится в таких случаях, созывает, скликает, пересматривает, отбирает все свои лучшие силы, самые надежные, наиболее способные поймать то, что ему посылают... мысль... один конец ее он поймал... Но что происходит? Она ускользает от него, словно ее потянули назад... словно по принципу бумеранга она возвращается к исходной точке... там она вновь обретает свою стихию, оживляется, превращается в одушевленное существо, изгибается подобно змее, вьется, сворачивается кольцами... извивается, точно разрубленный червяк... дергается и вихляется, как в пляске святого Вита... бесстыдно, кокетливо вертится, поглаживает себя, нежится, красуется... невозможно схватить ее, она играет в прятки, скрывается за поворотами, терется в лабиринтах...

А потом возвращается, снова выгибается, предлагает себя, завлекает, навязывается... Мысль, принявшая положенную форму, поданная согласно всем правилам... Слова, в которые она облечена, за исключением нескольких вполне уместных инверсий, нескольких перескоков, расположены в порядке, которого требует разум, они надлежащим образом выполняют свою функцию... существительные, прилагательные, местоимения и глаголы послушно согласуются, предлоги и союзы управляют и связывают.

Но это крепкое на вид сооружение, когда его открываешь, когда в негоходишь, оказывается лишь фасадом, как преслявотые «потемкинские деревни», выстроенные

на пути Екатерины Великой... а за ними лишь непригодные для жилья развалюхи, пустыри, бурьян...

Но пока слова плавно следуют одно за другим, возникает ощущение, что где-то там должна быть мысль... она, словно хорек, перебегает из фразы во фразу, из одного слова в другое... Кажется, ее уже видишь, она должна быть здесь, в этом слове, которое проходит снова и снова, чаще, чем другие... вы изловчаетесь, хватаете его, удерживаете, рассматриваете... Но, конечно же, смысл его оказывается — не мог не оказаться — совсем иным, не тем, который вы увидели в нем в первое мгновение. У этого слова должен быть другой смысл, вот он, этот смысл... достаточно впрыснуть его туда, и слово, вновь наполненное и ожившее, сможет вернуться в цепь, примкнуть к другим словам, объединиться с ними, они будут взаимно укреплять друг друга, и сквозь них наконец-то рассуждение, мысль... но при соприкосновении с другими словами — как будто их значения несовместимы и взаимно уничтожают друг друга — наше слово вдруг пустеет, становится полым и плоским... и другие слова рядом с ним тоже оседают, снижают, лишившись смысла.

Все новые и новые слова без конца прибывают и сейчас же чахнут... Тот, в кого они попадают, чувствует, что его разум становится похож на бесплодную почву, от которой исходят удушливые испарения, на поле, усеянное безжизненными словами...

А мы, слушая все это рядом с ним, превращенные, как и он, в унылые, мертвые земли со смертоносными испарениями, заваленные пустыми словами... мы, погруженные вдруг, как и он, во тьму, и не понимающие толком, что же с нами произошло... может, это отслоение сетчатки?... мы, теряющие равновесие от каждой фразы, как на ярмарочных аттракционах, где подвижные ступени лестницы разъединяются и разъезжаются... мы все-таки упрямо храним — так уж мы устроены — крохотную надежду...

А что, если тот, к кому обращены эти слова, вдруг возьмет и... достаточно нескольких слов... Но хватит ли у него мужества их выговорить?... Нам хочется его подстегнуть... пусть он сделает это, пусть решится... мы бы на его месте это сделали... Сделали бы?... Правда? Будем чистосердечны... Мы отважились бы?... Такое случилось? Чтобы мы отважились в подобной ситуации решительно перебить?... Вы решились произнести эти слова, вы сказали: «Не понимаю»?.. Ну полно, признайтесь, что вы находились в других обстоятельствах, что вы были экзаменатором, прерывающим сбивчивое бормотание отвечающего. Вы были с приятелем, немного усталым или ленивым, в беззаботном состоянии полного взаимопонимания, абсолютного равенства... что тут могло вам грозить?

Но здесь вы прекрасно знаете, каков риск. Если он вдруг скажет — я заранее дрожу и съеживаюсь,— если он скажет говорящему, скажет тем достойным и уверенным тоном, какой приличествует случаю: «Не понимаю»... Не говорите мне, будто вы не знаете, что может произойти... будто вы никогда не задумывались над тем, что удерживает всех тех, а их множество, чей ум ежеминутно превращается в опустошенное поле, усеянное трупами... тех, кто толпами сдается в плен, бросает оружие, отрекается от всех своих прав... кто безропотно позволяет увести себя в рабство... кто ищет защиты господина... Чего же все они так боятся, почему не пытаются защитить свою независимость, свое достоинство, сказав: «Не понимаю»?

Похоже, тот, кто сидит сейчас на этой скамейке, не принадлежит, как говорится, к «породе героев и мучеников», и я не из тех, кто бросит в него камень. Подобно тому как жители завоеванных городов вывешивают на балконах знамена и знаки, символизирующие капитуляцию, он изображает на лице, в глазах понимание, согласие... Есть все основания опасаться, что эта скамейка в полумраке парка стала еще одним из мрачных мест пыток, гнусного предательства...

Но вдруг — возможно ли это? — абсолютно спокойным голосом он произносит эти слова: «Не понимаю».

«Не понимаю». Он отважился. Он пошел на этот риск. Риск огромный, и не только для него. А вдруг другой сейчас резко замолчит и устремит на него взгляд, полный сострадания и изумления, который тихонько оттолкнет его, отбросит во мрак, вдруг он замкнется в молчании, соберет свои драгоценности, свои сверкающие слова, и запрет их, отныне навеки недоступные, в сейф, шифр которого никогда не откроет,— тогда тот, кто показал себя недостойным обладать этим сокровищем, и я и мы все, недостойные, как и он, жалкие, грешные умы, будем обречены с тоской бродить вокруг, навеки обделенные, нищие.

Или... что не меньше пугает чувствительные души... «Не понимаю», брошенное с несокрушимой самоуверенностью, грубо заставит другого замолчать, он лишится речи... Быть может, он станет делать жалкие попытки обрести ее вновь, будет что-то бормотать, мямлить... Нет, он лишился ее навсегда... она у него отнята... «Не понимаю» вырвало ее из-под его власти... Он ее совратил, заточил, лишил свободы...

посмотрите, что он с ней сделал: бедное голое тело, раздувшееся от недостатка пищи... Вы видели, для каких целей он позволял себе пользоваться ею, как подчинил ее своим порочным потребностям, низвел до положения орудия, к которому он прибегал, чтобы развращать, чтобы вымогать, терроризировать, подчинять, угнетать...

Но то, что происходит сейчас на наших глазах, право, могло бы показаться сном, если забыть, что самые невероятные сны — безделка по сравнению с тем, что преподносит нам порой «реальность».

Услышав эти слова — «не понимаю», — мошенник, развратник, палач, угнетатель вдруг поворачивается к тому, кто их произнес, и в глазах его сияет благодарность, радость, он кладет ему руки на плечи, обнимает, жмет ему руку... «Браво! Вот спасибо!.. Если бы вы знали... я уже почти потерял надежду, это такая редкость, этого почти никогда не случается... сколько я ни стараюсь, ни нагромождаю нелепости, бессмыслицу... я соединяю наудачу бессвязные слова... бесстыдно заимствую у наших самых бессовестных шарлатанов, дохожу до предела — все напрасно, никто и глазом не моргнет, все соглашаются, кивают... Но вы!.. Ах, какая удача!..»

В одно мгновение неловкость и возмущение тем, что он был подвергнут столь тяжкому испытанию, был без его ведома использован для эксперимента, улетучились, ощущение счастья заслонило все...

Опасность миновала. Все спокойно. Все в порядке. Враг превратился в союзника. Место заточения и пыток стало островком сопротивления. Среди обступающих его океанов мракобесия, шарлатанства, терроризма, конформизма, трусости речь здесь в безопасности. Она окружена здесь уважением, заслуженными почестями. Восстановлена во всех своих правах, способна нормально делать свое дело, выполнять возложенные на нее тяжелые обязанности... Что могло бы заменить ее? Здесь торжествуют смелость, справедливость, свобода, злодеи обезврежены, праведники вознаграждены...

Можно, право, подумать, что вся эта прекрасная, слишком прекрасная история, в сущности, не что иное, как волшебная сказка.

Перевела с французского ИРИНА КУЗНЕЦОВА.

Читайте в 1992 году:

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

(1905—1989)

Пещера

Роман

Перевела с английского И. СУМАРОВА

Крупнейшим эпическим произведением этого американского прозаика, при несшим ему мировую известность, является роман «Вся королевская рать» (1949, Пулитцеровская премия). Русский перевод книги, осуществленный В. Гольшевым, был напечатан в «Новом мире» (1968, № 7—11).

«Наиболее искусное произведение Уоррена на тему самопознания — это роман «Пещера» (1959). Жив ли еще Джаспер Хэррик, очутившийся в пещере? Его близкие, а благодаря телевизионной шумихе и вся страна пребывают в ожидании известий. Все, к чему стремились у входа в пещеру (платонову пещеру?) скорбящие, молящиеся и предающиеся блуду, сводилось к тому, как говорит один из героев, чтобы „прорваться к тайне, заключенной в нас самих“, — пишут Уиллард Торп и Р. Э. Спиллер в «Литературной истории Соединенных Штатов Америки».

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

*

«КАК БЫ РЕЗВЯСЯ И ИГРАЯ...»

Эти заметки о Пастернаке придется начать немного издалека — с акмеистов и символистов. Ведь для того, чтобы понять художника, поэта или философа, очень важно знать фон, на котором он проявил себя. Какое было настроение умов? Какие господствовали вкусы, мнения, идеи? К чему он присоединился, от чего оттолкнулся? Дул ли в общую дуду с большинством или шел против течения?

Иначе говоря, то новое слово, которое приносит с собой художник, нужно рассмотреть не как простое высказывание, а как ответ. А вопрос ставит время и эпоха.

ПОСТСИМВОЛИЗМ: ХОДУЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ В ГАРДЕРОБЕ

Самым важным, переломным моментом в истории «серебряного века» русской поэзии, несомненно, было возникновение акмеизма. Дело даже не в его художественных декларациях, не в образовании новой школы — время показало, что единой школы как раз и не возникло, — дело в рождении новой, постсимволистской генерации поэтов, которым было суждено определить лицо и суть русской поэзии на целых полвека.

Это был первый всплеск, волна от которого шла вплоть до 50-х годов, — Мандельштам, Ходасевич, Ахматова, Георгий Иванов, Пастернак. Это был исторический переворот вроде того, что описан в греческой мифологии: смена старых богов-титанов (Крона, Гелиоса и других) новым поколением богов-олимпийцев — Зевса, Аполлона и так далее.

Я не случайно упомянул титанов. Можно было бы вспомнить также древнеегипетские фрески и рельефы с их огромной разницей в масштабе фараона и всех прочих людей. Поэты-фараоны и читатели-муравьи — вот как выглядел поэтический пейзаж начала века перед приходом акмеистов. Теперь, глядя с почтительного расстояния, поражаешься прежде всего резкой смене масштаба самой фигуры поэта, смене его отношения к читателю и к миру.

У старших символистов (Бальмонта, Брюсова) это горделивый взгляд сверху: жреца искусства на косную толпу, исключительной личности на серого обывателя. Возьмите хотя бы эти стихи Бальмонта:

В мучительно-тесных громадах домов
Живут некрасивые бледные люди,
Окованы памятью выцветших слов,
Забывши о творческом чуде.

Или эти программные заветы Брюсова:

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно...

Эта «беспредельная» любовь к самому себе на фоне «некрасивых бледных людей» феноменальна. И переходя границу автопародии, поэт остается абсолютно серьезным. Одному лишь Игорю Северянину удалось зафиксировать (кто знает, насколько осознанно) комичность ситуации.

Кстати (вот парадокс!), футуристы, отбросив как хлам наследие символизма, сохранили и усвоили себе именно эту гигантоманию — самую отличительную черту того направления, которое они так яростно отвергали. Дальнейшее развитие русской поэзии показало, что их путь (Северянин, Хлебников, Маяковский) в перспективе уводил в тупик.

Нет нужды подробно исследовать истоки этого титанизма, даже демонизма рубежа века — брюсовское «никому не сочувствуй», бальмонтовский выкрик: «Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь!» Ясно, что это и отзвук европейского байронизма, и влияние Ницше с его «сверхчеловечеством», «дионисийским» высвобождением страстей.

Я не хочу напоминать о том, к чему привели сходные идеи в политике, в истории XX века — максимализм, исключительность, одержимость вселенским идеалом; сбьлись и «горящие здания» и «кричащие бури». (К сожалению, вклад искусства, в частности футуристического, в эту идеологию весьма ощутим.)

Я хочу лишь подчеркнуть, что уже в начале 10-х годов пришли в поэзию молодые люди, интуитивно уловившие фальшь и опасность титанизма. Одним из них был Владислав Ходасевич. Возврат к человеку нормального масштаба, переход от громовых раскатов к нормальному звучанию человеческого голоса, от одержимости великими идеями к частной, обыкновенной жизни — вот пафос, а лучше сказать, лейтмотив его сборника «Счастливы домик» (1914). Недаром он воспел в нем мышь, смиренную соседку, жительницу запечного закутка. Именно мышь, а не слона, например. Недаром он позаимствовал название своей книги из пушкинского стихотворения «Домовому» (1819). Возвращение к норме было и возвращением к Пушкину, самому нормальному из всех русских поэтов. Вопреки призыву «никому не сочувствуй» Ходасевич стремится именно сочувствовать — вспомним его стихотворение «Швея» (1917), его гениальную «Обезьяну» (1918).

Интересно под этим углом взглянуть на более позднее, написанное уже в эмиграции, стихотворение «Слепой»:

Палкой шупая дорогу,
Бродит наугад слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.
А на бельмах у слепого
Целый мир отображен:
Дом, лужок, забор, корова,
Ключья неба голубого —
Все, чего не видит он.

Посмотрите, чего именно не видит слепой: не каких-нибудь тайн Неба и Земли, он не видит простых и обыкновенных вещей, таких, как дом, лужок, забор, корова...

В стихах постсимволистов поражает эта резкая смена оптики; будто отнят от глаз перевернутый бинокль, уменьшавший обыкновенных людей в глазах символиста до толпы статистов, словно отброшены ходули, на которых ходил великан поэт.

Поражает и смена тона. Уставшее от громыхания и завывания ухо жаждет если не тишины, то спокойного разговора вполголоса. Перечитайте «Камень» Манделштама.

Первое стихотворение:

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины¹ лесной...

Во втором стихотворении:

О, вешая моя печаль,
О, тихая моя свобода...

В четвертом:

От неизбежного —
Твоя печаль
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

В седьмом:

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

И то же, что у Ходасевича, отталкивание от гигантизма:

¹ Курсив в цитатах везде мой. — Г. Кружков

Только детские книги читать,
Только детские думы делать,
Все большое далеко развеять...

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна...

Сходные наблюдения можно сделать и по «Счастливому домику» Ходасевича. Вместо грома — тишина, вместо космоса — обжитой уголок, вместо мятежа — смиренномудрие и благодарность:

Пусть опять на зов твой мыши
Придут вечер корогать.
Только нужно жить потише,
Не шуметь и не роптать.

Бунт против символизма есть бунт против бунта; он характеризуется пониженным уровнем требований, неприязнательностью.

Должен сознаться, что я не слишком большой поклонник не только старших символистов, но и младших — Вячеслава Иванова, Андрея Белого. То, что дистанцирует их от меня, это именно высокий уровень притязаний.

Меня смущает, например, концовка стихотворения Вяч. Иванова:

Вот отчего напев мой светозарен!

Смущает нажим А. Белого:

О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —
Вернусь!

Да, обнаженный индивидуализм своих предшественников младшие символисты пытались заменить идеей соборности... Но осталась поза жреца, любимца публики.

«Позиция символистов была учительской — и в этом их культурная миссия. Отсюда их стояние над толпой, их тяга к сильным личностям. Даже Блок не избежал сознания своей исключительности, которое перемежалось, правда, у него с естественным для поэта ощущением связи с улицей, толпой, людьми», — пишет Надежда Мандельштам в первом томе своих «Воспоминаний».

«СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ»: ДВА ЛЕЙТМОТИВА

Пришедший в литературу несколькими годами позже Мандельштама и Ходасевича, Борис Пастернак не был акмеистом, наоборот, «организационно» он был близок к футуризму. И тем не менее в долгосрочной перспективе и по своей внутренней сути он оказался соратником не футуристов, которые, по точному замечанию Н. Мандельштам, «довели до логического завершения начатое символистами», а акмеистов, последовательно выступавших против грехов символизма — театральности, ячества, игры на публику, мании величия.

Романтизмом (в ходовом значении этого слова) он переболел как юношеской болезнью, хотя процесс выздоровления растянулся на много лет и ощущается еще, скажем, во «Втором рождении».

Весь первый период его творчества — это осцилляция между демоном и ребенком, между первым и вторым стихотворениями книги «Сестра моя — жизнь»:

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончатся кошмару.

(«Памяти Демона»)

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою пестолку
И дам чигать сырым углам.

(«Про эти стихи»)

Какая разительная смена интонации! В первом стихотворении маячит какая-то гигантская тень — то ли Демона, то ли самого автора, который вот-вот нагрет, «вернется лавиной». — а там? А там известное дело: «Он вашу сестру, как вакханку с амфор, подымет с земли и использует». «И таинье Андов вольт в поцелуй...». Тут уже повеяло не столько Лермонтовым, сколько Бальмонтом или Северяниным.

Чувствуется перебор. Некоторая неловкость, которую, думается, ощущал в зрелые годы и сам Пастернак.

Наоборот, второе стихотворение открыто вневременному, олицетворением которого являются дети: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Правда, и тут напоследок автор как будто встряхивается — что это я разлепетался? — и кончает таким крутым романтическим замесом, что грамматика трещит и не выдерживает:

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейггауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал.

К счастью, истинный поэт всегда незаметно для себя проговаривается. Достаточно вслушаться в интонацию вот этой строфы:

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По? —

и мы поймем, что речь идет о юноше, который, чтобы казаться более взрослым, курит и пьет на равных с Байроном и По, но, в сущности, сохраняет достаточно трезвости и иронии, чтобы увидеть эту ситуацию со стороны — и скорее как «чужачество», а не как «бедствие».

Тропка, проторенная к двери и засыпанная снежной крупой, дыра, где живет поэт, здесь намного реальнее и значительнее, чем призраки книг.

Прибавим эту «тропку», «крупу» и «дыру» к «сырым углам» первого четверостишия — и мы в точности получим «Счастливый домик» Ходасевича с мышью, скребущейся под полом.

Вот почему мы и соединяем Пастернака, даже раннего Пастернака — вопреки очевидности знакомств и манифестов, — не с футуристами, а с Ходасевичем и Мандельштамом.

Безусловно, такие стихотворения, как «Памяти Демона», впечатляют, и, видимо, именно они подвигли Мандельштама написать: «Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически *священный восторг пространства и птичьего полета*. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах...» («Заметки о поэзии», 1923)

Но, если разобраться, и это не вполне «демонические» стихи. В них есть юношеский восторг (порою неуклюжий), но нет юношеской агрессивности и обидчивости, нет уязвленности и желания «отомстить» (как, например, у Маяковского).

«НА РАННИХ ПОЕЗДАХ»: ПАСТЕРНАК И ТРАЁРН

Бунт, эгоцентризм — это, можно сказать, болезнь подростковая, юношеская. Ребенок ощущает себя частью мира, подросток выламывается из него, через протест обретая свою новую индивидуальность. В этот период он враждует со взрослыми и одновременно с презрением, свысока смотрит на мир детства. Должно пройти время, прежде чем он переберется и через отцовство, через чувство ответственности вернется (на новом витке) к слиянности с миром, к открытому и просветленному взгляду на жизнь.

Романтизм есть мироощущение подростка. Символизм в своей основе — течение неоромантическое. По моим наблюдениям, Брюсов и Бальмонт вызывают наибольший энтузиазм в юношеском возрасте, и это не случайно. Таков и футуризм. Затянувшийся подростковый возраст — явление ненатуральное и опасное, что вполне показал Ю. Карачижевский в своей книге о Маяковском.

Возврат к детству часто бывает связан с обретением нового метафизического, религиозного опыта, с чувством сыновства. Религиозно просветленный человек приобщается бессмертию — чувство, которым ребенок обладает в абсолютной степени и, так сказать, задаром. Путь души становится возвращением — возвратом в первозданный Эдем младенчества.

Такой путь прошел Пастернак. «Он награжден каким-то вечным детством», — сказала Ахматова, и это совершенно точно. Надо лишь добавить, что он постоянно трудился над своей душой, над собственным даром, чтобы очистить его от шелухи резкого своеволия, от юношеского оригинальничанья, очистить и гармонизировать. Этого, по-видимому, ему удалось достичь к началу 40-х годов. Русский парижский критик Владимир Вейдле проникательно, как нам кажется, писал о происшедшем преобразении пастернаковской поэзии:

«Если же спросить себя, не куда привел перелом, а откуда он пришел, откуда пришло преобразование, то никакого прямого свидетельства нет, которое позволило бы нам на этот вопрос ответить. Но если поэт мастер слов возвращает их слову,

становится мастером слова, значит он что-то нашёл, что превыше всяких слов. От калечащей искусства религии искусства исцеляет только религия. Трудно себе представить, чтобы пережитый Пастернаком в 1940 году перелом был какого-то другого, не религиозного, порядка.

Неожиданное, хотя и косвенное подтверждение этой мысли мы получим, если сравним мироощущение Пастернака со стихами английского религиозного поэта XVII века Томаса Траэрна, воспевавшего свет и красоту мира такими, какими они являются глазам ребенка. Приведем одну строфу из стихотворения «Чудо» («Wonder»):

The streets seemed paved with golden stones,
The boys and girls all mine —
To me how did their lovely faces shine!
The sons of men all holy ones
In joy and beauty then appeared to me;
And everything I found
(While like an angel I did see)
Adorned the ground.

(Улицы казались мощенными золотыми бульжниками,
Парни и девушки — всецело моими, —
Какое сияние исходило от их прекрасных лиц!
Дети человеческие — все до единого — святыми
Представлялись мне в их радости и красоте;
И все, что я находил на земле
(Как ангел, взирая вокруг себя),
Было драгоценным.)

Та же самая восторженность, влюбленность в глазах Бориса Пастернака, едущего «на ранних поездах» в Москву из Перedelкина:

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

.....
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

«Обожанье», «боготворя» — разве это не та же канонизация, возведение в чин святости? Младенческая ослепленность. Иначе как он мог увидеть столько достоинства в людях зимы 1940/41 года:

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.

«Как господа»... Ой ли? — спросим мы с высоты исторической перспективы, представив себе замордованного, запуганного русского человека первых бериевских лет. Но наши подозрения беспочвенны, а обвинения в лицемерии невозможны. В том-то и дело, что поэт смотрит не глазами историка, а глазами ребенка, которому открылось чудо. То самое чудо, о котором он одержимо, взалхлеб пишет на соседней странице:

Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво...

Кстати говоря, не зарубка ли для нас, идущих «по живому следу», не особая ли веха — все это стихотворение 1941 года? Ведь для Пастернака весна — всегда символ воскрешения и преображения. Все обрело новый смысл, полностью преобразилось за считанные часы:

Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.

Где-то вблизи этой даты (зима 1940 — весна 1941 года), видимо, и свершился тот внутренний поворот, результат которого нам явлен в стихах последнего периода и в «Докторе Живаго». Это была победа радости над смутой, сыновства — над отверженностью, детского, открытого взгляда на мир. — над остатками юношеского комплекса.

ДУША РЕБЕНКА: ПРАЗДНИКИ, ПОДАРКИ, ИГРА

Но это не было выворотом наизнанку, изменением сути — наоборот, все это жило в нем с самого начала, произошло лишь утверждение в прирожденном и «восанном с молоком», отпадение лишнего, выщелушивание ядра, избавление от сомнений.

В чем же суть детства как возраста и как состояния души?

В ощущении чуда, в слиянности со всем, что есть в мире, в сознании себя частью целого.

Все это в высшей степени присуще поэзии Пастернака.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
— Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

(«Про эти стихи», 1917)

Здесь не формула «аполитичности», за которую его щпыняли соцреалистические критики, а свидетельство вечности и бессмертной новизны, слитой с миром ребенка.

Усни, баллада, спи, былина.
Как только в раннем детстве спят.

(«Вторая баллада», 1930)

Это сказано о заветном тайнике творчества, о колыбели истинной мудрости, интуитивного понимания жизни.

А вскачь за тряскою четверкой,
За безрессоркою Ильи,—
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

(«Все снег да снег,— терпи и точка...», 1931)

Телячье тут — вдвойне природное и неиспорченное: не просто детеныш и не просто тварь Божья, но и то и другое вместе. Источник чистоты.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

(«Без названия», 1956)

И в любви высшим критерием оказывается детскость: детская открытость, свобода, непринужденность.

Таковы три чуда детства: бессмертная новизна мира, интуитивное принятие жизни и чистота.

А теперь спросим себя: к чему более всего стремится душа ребенка?

К трем вещам: к праздникам, к подаркам и к игре.

Но ведь это и есть три главные доминанты поэзии Пастернака. Доказательства рассыпаны по стихам без счета, и все же несколько примеров не помешают.

Подарки.

Это и те бесценные дары, которые получает человек:

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

(«Иней», 1941)

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падаюшем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознать.

(«В больнице», 1956)

Это и ответная щедрость человека, творца, поэта:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

(«Свадьба», 1953)

Не потрясения и перевороты
 Для новой жизни очищают путь,
 А откровенья, бури и щедроты
 Души воспламенной чьей-нибудь.

(«После грозы», 1958)

Праздники.

Трудно найти другого поэта, чьи стихи были бы так проникнуты ощущением праздничной радости. Первый снег — праздник, и дождь — праздник, и варка варенья, и поездка в город, и гроза, и весна, и осень. Если же говорить о календарных датах, то любимейший праздник Пастернака, конечно, Рождество.

Одной лишь рождественской елке посвящено сколько строк! В том числе два удивительных стихотворения 40-х годов: «Вальс с чертовщиной» и «Вальс со слезой». А как поражает в «Рождественской звезде» (из цикла доктора Живаго), когда в эпически-сдержанный рассказ врывается вихрь и блеск детского праздника:

Все шалости фей, все дела чародеев,
 Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет заглупевших свечек, все цепи,
 Все великолепье цветной мишуры...
 ...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
 ...Все яблоки, все золотые шары.

То, что однажды в детстве запечатлелось с такой силой и яркостью и сверкает в душе как вечное чудо, — от ранних стихов («Там детство рождественской елкой топорщится...») до последних:

Будущего недостаточно,
 Старого, нового мало.
 Надо, чтоб елкой святочной
 Вечность среди комнаты стала.

(«Зимние праздники», 1959)

Игра.

Есть два вида игр, в которые играет ребенок. Во-первых, игры с жесткими правилами: спортивные, настольные, футбол, шахматы, лото и прочее. В них ценится ловкость и смекалка, царит дух соревнования и жажда победы. Во-вторых, это ролевые игры, игры-импровизации, игры-представления, фантазии, шалости и суматохи. Их цель — не победа, но сама игра, их выигрыш — интерес и радость самовыражения. Тут нет со-ревнования и, следовательно, нет ревности к чужому успеху.

Когда ребенок кормит кукол, когда он наделяет мыслями и чувствами дерево в саду, облако в небе, когда он обсуждает важные проблемы с кошкой Муркой, когда он примеряет шенку мамину шляпку, тогда он играет, то есть творит, оживляет собой мир.

Правда, существует одна ролевая игра, которую Пастернак явно избегает: это игра в школу. Он не засаживает деревья и облака за парту и не обращается к ним (предварительно попеняв за плохое поведение) со словами Н. Заболоцкого:

Читайте, деревья, стихи Гезиода,
 Дивись Оссиановым гимнам, рябина!

Он предполагает, что ничему научить природу не сможет. Со всем, что есть в мире, он общается на равных, по-братски. Как некогда святой Франциск говорил огню: «Братец Огонь!» — и воде: «Сестрица Вода!» — и даже смерти: «Сестра моя Смерть!» — так и Пастернак говорит: «Сестра моя — жизнь». (Не важно, что это может быть и цитатой из Верлена², сути это не меняет.) Если бы ему довелось писать американскую Декларацию независимости, то он бы, наверное, расширил ее знаменитый второй абзац так: «Мы верим и считаем самоочевидным, что все люди (а также звери, птицы, деревья, травы, ветра, облака и так далее) сотворены равными».

Вот почему он запанибрата не только с ливнями и облаками, даже такая отвлеченность, как инстинкт, выступает у него в роли заботливого дядьки-губернера:

² Et fais-toi doux de toute la douceur.
 La vie est laide, encore c'est ta sœur.
 («Sagesse», I, XXI)

В переводе А. Ревича:
 И надо, чтоб душа была добра.
 Пусть жизнь горька — она твоя сестра.
 (Из сб. «Мудрость»)

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
 Был невыносим мне. Он крался бок о бок
 И думал: «Ребятня зазноба. За ним,
 К несчастью, придется присматривать в оба».

(«Марбур»)

Даже ночь у него «босоногою странницей пробирается... вдоль забора». «Босоногой», настаивает Пастернак, то есть бесшумно ступающей («Белая ночь»).

Даже снег у него идет исключительно «из скрытности и для отвода глаз» («Первый снег»).

Даже «поленья на станционном тупике» мечтают о прекрасном и недостижимом («Город»).

ЕЩЕ ОБ ИГРЕ: СОТВОРЕНИЕ МИРА

Всякий творческий акт есть в своей основе подражание первоакту Творца, сотворившего мир. Ощущение духа и настроения этого первоакта глубоко укоренено в душе художника, в его творческом кредо.

Уже в 1922 году в статье «Несколько положений» Пастернак писал:

«Фангазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой действительный мир — это единственный, *однажды удавшийся* и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежесекундно успешный. Он все еще — действителен, глубок, неотрывно увлекателен. *В нем не разочаровываешься на другое утро*. Он служит поэту *примером* в большей еще степени, нежели — натурой и моделью».

Тут замечательно ощущение игрового, «экспериментального» характера первоакта.

«И был вечер, и было утро, день один» (Быт., 1, 5) — «В нем не разочаровываешься на другое утро» (Б. Пастернак).

Почему же на следующее утро могло бы наступить разочарование? Потому что был подъем, ощущение удачи накануне, после свершенной работы.

«И увидел Бог, что это хорошо».

Меня всегда умиляли эти слова Творца, говоримые под вечер дня во всю неделю творения. Как удивительно! Ведь если Бог всемогущ и всеведущ, то, замыслив свой План, он не мог сомневаться в удаче, не мог ожидать увидеть что-то другое кроме того, что он задумал. Ему абсолютно незачем было удостоверяться, как оно получилось: он все знал и видел внутренним оком заранее.

И однако он с явным интересом смотрит на дела рук своих и, видимо, доволен результатом. Вслушаемся в эти слова, в эту изумительно уравновешенную фразу (с паузой посередине — чтобы дать время Всевышнему оглядеться):

«И увидел Бог, что это хорошо».

Радость и удовлетворение здесь настолько очевидны, что невольно вспоминается, как Пушкин в Михайловском, окончив «Бориса Годунова», бегал по комнате и восклицал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»

В чем же тут дело?

Видимо, всемогущий и всеведущий *in potentia* Бог в каждом конкретном случае не употребляет этих своих свойств на полную катушку. Он творит чуть прищурясь, играя — оставляя место случаю и неожиданности. Не зря же он, создавая людей, наделил их свободной волей и правом выбора.

Он не стал создавать механический театр марионеток, хотя и мог. Но так ему было бы скучно!

Ему желательно, конечно, чтобы люди шли по путям его и приближались к Истине, но он не тянет их железной уздой к цели, а дает пример и намек, множество намеков, рассеянных повсюду, в равной мере тайных и явных. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит.

В Книге Притчей мудрость говорит: «Я была с Ним, сотворившим все вещи, и радовалась каждый день, *играя перед Ним во все времена, радуясь и играя с детьми человеческими*»³.

Догадывалась о смысле игры и древнегреческая философия. Платон в «Законах» писал: «Человек... это какая-то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято... Надо жить играя. Что ж это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах».

Здесь, продолжая этот пунктир (Ветхий завет, Древняя Греция...), мы приближаемся к порогу Нового времени и не можем пройти мимо известной цитаты из

³ В обычном переводе Библии сказано не «играя», а «веселясь» (Прит. 8. 30—31). Здесь мы основываемся (вслед за И. Хэйзингой) на авторитетном английском переводе Нокса. Важна принципиальная возможность такого прочтения: «играя».

О. Мандельштама (статья «Скрябин и христианство», 1915). Это критический момент, так как высказывание Мандельштама применительно к Пастернаку нуждается в некоторых комментариях. Итак, вот эта цитата:

«Христианское искусство... бесконечно разнообразное... «подражание Христу», вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре... прообраз его, то, чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. Итак, не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу — вот краеугольный камень христианской эстетики. Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа!.. *Вся наша двухтысячелетняя культура... есть отпущение мира на свободу — для игры, для духовного веселья, для свободного „подражания Христу“*».

Читатель заметит, что Мандельштам довольно резко отделяет христианство от предыдущей эпохи и говорит о «единственном творческом акте» Бога, искупившего мир, как бы оставляя за скобками тот первоакт, которым этот мир был создан. Для Пастернака психологически (мы не говорим о догматах, о Троице и т. д.) Бог-отец все же на первом месте. Его присутствие в мире — очевидный факт, превосходящий своей наглядностью даже «реальнейший факт искупления» (по выражению О. Мандельштама).

«Подражание Христу», о котором пишет Мандельштам, на языке поэзии Пастернака зовется самоотдачей.

Но в том-то и дело, что самоотдача, щедрость у Пастернака всегда сливается с чувством одаренности и благодарности. Если первое — лейтмотив Нового завета, то второе идет от Книг Моисеевых, от Песней Соломоновых, от Псалмов Давидовых.

Поэзия Пастернака в равной степени отдает и берет — поэтому в ней достигнута та степень гармонии, которой не встретить ни у какого другого русского поэта XX века.

Даже у Мандельштама можно ощутить превышение отдачи над дарами, трудность взваленной ноши; недаром слово «тяжесть» — одно из ключевых для него, недаром он призывает носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия» (статья «Утро акмеизма»); о том, чтобы не ощущать этих оков, и речи быть не может.

В стихах же Пастернака перевешивает легкость. Легкость, идущая от взаимности его любви к миру, той любви, которая — игра, ибо вся заключается в неожиданности отклика, в сладкой непредсказуемости предмета обожания, в неожиданности даров, которых всегда оказывается «больше, чем просят».

ЛЮБОВЬ ПРОСТРАНСТВА: РИФМА У ПАСТЕРНАКА

Поэт, пишущий без рифм, свободным стихом, всегда одинок. Сам из себя тянет он бесконечную нить строк. Подобно Зевесу он вновь и вновь раскалывает свою голову, чтобы породить из нее очередное стихотворение.

Рифма — символ взаимности в любви. Посредством рифмы входит в стихи свободная стихия языка, ее непредсказуемый отклик. А вместе со стихией языка — все мировые стихии, поэтому так важно для поэта «привлечь к себе любовь пространства».

Поэт задает вопрос, а стихия языка отвечает. Талант влюбленного и талант поэта — в счастливой гибкости ума и сердца, умеющей дожидаться ответа и повернуть его в свою пользу.

Есть у Пастернака маленький трактат о рифме, замаскированный под любовное признание:

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу.
Вся рвется музыкаю стать
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

Остановимся здесь и попробуем прокомментировать последние три строки.

«А в рифмах умирает рок...»

Сильная метафора, приводящая на память фразу Джона Донна: «Ты, Смерть, умрешь».

Предопределение умирает. Поэт свободен от собственного жесткого умысла и связан лишь тем, что ему случайно откликнется в мире. Античное божество Рока уступает место новому божеству — Любви.

Рок — это машина, а рифма (она же любовь) — игра. Рок говорит «не избежишь», а любовь (она же рифма): «что-нибудь придумаем», «обойдется», «Бог не выдаст — свинья не съест».

«...и правдой входит в наш мирок...»

Рифма подтверждает правду сказанного. Мысль, восходящая еще к Баратынскому:

Свою ласкою поэта
Ты, Рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного берега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его своим отзвучием
И признаешь его мечты!

Итак, рифма подтверждает правоту поэта. А это вещь первостепенная («драгоценное сознание поэтической правоты», говорил Манделштам).

Сталкиваясь с рифмой, мы всякий раз невольно удивляемся этому чуду — совпадению смысла и звука. Так влюбленные не могут надивиться тому, что им, таким единственно нужным друг для друга, посчастливилось встретиться на земле.

«...миров разноголосица».

В переписке с Пастернаком у Шаламова есть мысль о том, что рифма — важнейший инструмент, стимулирующий поэтическое воображение (за точность выражения не ручаюсь, но смысл такой), и Пастернак, в общем, соглашается с таким пониманием.

Однако это лишь одна, «технологическая» сторона дела. Говоря обобщенной, рифма разрушает герметичность поэтического сознания (маленького «мирка») — и сквозь распахнутые окна врывается множество неожиданных отзвучий, мыслей, образов. Исключить рифмы из стиха — значит добровольно, как Одиссей, залепить уши воском.

Есть авторы, которым это нужно; но здесь не тот случай.

ЕЩЕ РАЗ О РИФМЕ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

Само собой разумеется, что, когда мы читаем переводы Б. Пастернака на другой язык, выполненные свободным стихом, без рифм, мы читаем совсем другого поэта. Исчезает эффект присутствия при сотворении стиха, восторг очевидца («Я была с Ним, сотворившим все вещи, и радовалась...»). Исчезает атмосфера этого мистического действия, когда

Слитки рифм, как воск гадальный,
Каждый миг меняют вид.

(«Художник», 1936)

Уильям Батлер Йитс, великий поэт XX века, как-то признался, что он никогда не смог бы писать верлибром. «Я бы потерял себя, стал безрадостным».

Именно это происходит с переводами Пастернака. Такое впечатление, будто разбойники напали на человека и обобрали до нитки. И ведь знали, кого подстеречь! Богатство пастернаковских рифм баснословно. Начиная читать его стихотворение (по-русски, конечно), мы уже заранее знаем, что он, кроме всего прочего, одарит нас целой пригоршней свеженьких, незатертых рифм. В том, как они сами естественно идут к нему в руки, есть какое-то колдовство.

Все это начисто теряется в переводе.

Словно набрал простак золота да драгоценных камней в стране эльфов, воротился домой, вывернул карманы, а там — камушки, черепки, древесная труха...

В оправдание полупрозаических, нерифмованных переводов англичане и американцы часто приводят тот довод, что в XX столетии изменилась просодия английского стиха и ныне регулярным размером и в рифму пишутся только легкие, юмористические стихи (light verse). Довод серьезный; пожалуй, даже слишком серьезный для данного конкретного случая. Как бы то ни было, он подводит нас еще к одной парадоксальной теме.

ЮМОР У ПАСТЕРНАКА: ЮМОР У ПАСТЕРНАКА??

Наличие юмора в поэзии Пастернака начисто отвергается профессорами и специалистами. Даже Ю. Карабчиевский, исследователь острый и нетрадиционный (и вдобавок сам поэт), пишет об этом вскользь, как о безусловном факте.

Но тут не все так просто.

Если приглядеться, то за строками самых лирических стихов Пастернака нередко проглядывает пародия и ирония:

Я дал разбегаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством, всегдашним
Полно все в сердце и в природе.

«КАК БЫ РЕЗВЯСЯ И ИГРАЯ...»

И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

(«Осень»)

Вот, пожалуйста вам, и легкая поэзия (light verse), вросшая в самую плоть стиха
«Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки...»

Читаем дальше:

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Откуда эти ни к селу ни к городу взявшиеся «преграды»? Да оттуда же, из звукового фона эпохи. Из шума времени, что вполне мог исходить от висящего на той же стене тарелки-репродуктора, который только включи — тотчас заведет свое привычное «не страшась преград», «преодолевая трудности» и все прочее, что Юрий Коваль так удачно назвал борьбой борьбы с борьбой. Естественно, и любовь в те времена обычно описывалась в терминах достижений и преодолений, например: «Через все испытания, через все расстояния я пройду и найду путь к тебе одной...» (из радиомусора, застрявшего в голове с детства).

В меланхолическом пастернаковском: «Мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно» — пародия на бодрую тарабарщину эпохи, ироническое отстранение подлинного чувства от тиражируемых клише.

Пропустим одну строфу...

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Откуда опять-таки этот неожиданный для лирики глагол «превысить»? Откроем «Словарь современного русского литературного языка» (1961) и прочитаем примеры из творчества советских писателей:

«Плантация даст урожай, втрое превышающий обычный» (А. Арбузов);

«Наращивание плотины шло со скоростью, превышавшей все расчеты» (К. Паустовский);

«Он быстро достиг и превысил плановые, потом проектные нормы» (Б. Полевой)...

Легкий сдвиг, достигаемый введением этого «чужого» слова, — и, не правда ли, становится похоже, будто поэт призывает природу включиться в соцсоревнование и, не останавливаясь на достигнутом уровне печали, превысить показатели тоски в сравнении со вчерашними, как превышают показатели надоев или выплавки стали.

В стихах Пастернака комические элементы присутствуют в разных формах. Например, в форме каламбура:

Солнце садится, и пьяницей
Издали, с целью прозрачной
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Или в форме остроумного, парадоксального сравнения:

Кругом семенящейся ватой,
Подхваченный ветром с аллея,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

Но самый обычный, самый важный для Пастернака прием — травестирование, снижение. Есть два противоположных комических жанра: бурлеск — применение высокого стиля к низким, ничтожным предметам («Война мышей и лягушек»), и трагести — рассказ о высоких предметах низким стилем («Энеида» Котляревского).

Снижение стиля постоянно используется Пастернаком как профилактика против излишнего пафоса. Чтобы, так сказать, не дать лирическому мотору пойти вразнос. Как шофер, едва лишь появляется в машине этот надрывный гул перегрузки, сразу же переключается на другую (пониженную) передачу, так Пастернак умеет моментально переключиться на другой (сниженный) стиль.

Собственно говоря, это умел делать и Пушкин. Уж на что высоким стилем начинается стихотворение:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить...

И резкое переключение — два простонародных выражения подряд:

...И глядь — как раз — умрем.

А до Пушкина это великолепно делал Державин. Перечтите хотя бы его оду «На счастье».

Но бывают поэтические машины без коробки передач. Таковы Бальмонт, Брюсов, Вяч. Иванов.

СМЫСЛ СТИХОТВОРЕНИЯ: АНЕКДОТ НАИЗНАНКУ

Для снижения, деромантизации стиля Пастернак использует разные пласты языка: и простонародный, и ученый, и казенно-бюрократический.

Не знал бы никто, *может статься,*
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.

(«Ветер»)

Зимой мы *расширим жилплощадь,*
Я комнату брата займу.

(«Кругом семенящейся ватой...»)

В статье «Канцелярит» (из книги о русском языке «Живой как жизнь») Корней Чуковский рассказывает, как какой-то чиновный дядя, увидев плачущего ребенка, погладил его по головке и спросил: «Ты по какому вопросу плачешь?» То есть казенный язык до того довел человека, что даже для добрых, человеческих чувств у него человеческих слов уже не находится.

Но что-то очень знакомое напомнила эта фраза. И вот я вспоминаю с начала...

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка,
Мне снилось, что ко мне на провода
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Это — «Август», стихи о смерти, провидческие и трагические стихи. И однако — этот странный прозаический оборот: «Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка...» («Ты по какому вопросу плачешь?») Так может сказать человек, стыдящийся своих слов, маскирующий свое смятение обыденным, абсолютно формальным словом: по какому, мол, поводу разнюнился?

Вообще, все стихотворение по четвертую строфу включительно выдержано в прозаическом, обыденном духе: что ж, смерть тоже дело житейское, ничего такого сверхторжественного в этом нет. Поэтому люди идут за гробом так неорганизованно — «толпою, врозь и парами», поэтому как бы случайно «вдруг кто-то вспомнил, что сегодня шестое августа по старому...».

И тут (после слов «Преображение Господне») — резкое «переключение» языка, и в стихе начинают звучать совсем другие ноты:

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

Таких «переключений» в стихотворении несколько, и только со слов «прощай, лазурь преображенная» стих отрывается от земли и звучит в полную свою трагическую силу. Вплоть до последних торжественных слов, в которых есть и парение Горациева журавля — улетающей в бессмертие души поэта, — и весомость животворящего Слова:

Прошай, размах крыла расправленный,
 Полета вольное упорство,
 И образ мира, в слове явленный,
 И творчество, и чудотворство.

Однако смысл стихотворения не сводится к пафосу последних строк. Его лирический мотив включает контраст между обыденностью жизни человеческой (которая проявляется и в смерти) — и высоким ее значением. Что отражается в стиле и в лексике: с преобладанием сниженного стиля в первой половине и высокого во второй половине стихотворения.

И это отнюдь не единственный, а самый что ни на есть типичный случай. Можно сказать, что многие стихи позднего Пастернака — анекдоты наизнанку.

Ведь как строится анекдот? Обязательно со снижением. Шел человек задрав нос, споткнулся, упал в канаву: от серьезного к смешному.

А у Пастернака наоборот. Шел человек, смотрел на землю, букашек разглядывал и тут его неведомая сила подняла.

В начале может быть:

Зима на кухне, пенье петьки.
 Метели, вымерзшая клеть
 Нам могут хуже горькой редьки
 В конце концов осточертесть.

А в конце совсем другой, верхний регистр:

И даже место неба занял
 В моих ребяческих мечтах.

(«Город»)

В середине может быть:

Опять эти белые мухи,
 И крыши, и святочный дед,
 И трубы, и лес лопухий
 Шутом маскарадным одет.

А в конце:

Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
 Ты больше, чем просят, даешь».

(«Иней»)

Или в начале: «Плетемся по грибы». А в конце:

Где день в красе земной
 Сторел скоропостижно.

(«По грибы»)

Или сперва так: «Осенний лес заволосател». И всякая бестолочь петушина в середине:

Петух свой окрик прогорланит,
 И вот он вновь надолго смолк,
 Как будто он раздумьем занят,
 Какой в запевке этой толк.

Но где-то в дальнем закоулке
 Прокукарекает сосед.
 Как часовой из караулки,
 Петух откликнется в ответ.

А в концовке опять преображенная вселенная, взгляд в небо:

И вновь увидит с непривычки
 Поля, и даль, и синь небес.

(«Осенний лес», 1956)

Мир, застигнутый врасплох взглядом поэта, так своенравен в своих причудах, забавен в маленьких пустяках, так оживлен игрой окликов и соответствий, что не может не вызвать улыбки.

Однако Пастернак никогда не стремится произвести комический эффект. Наоборот, его цель — возвышение и просветление (катарсис). И для его создания он использует, как и Шекспир, метод контраста. Но у Шекспира (или, например, у Мидлтона в «Оборотне») это контраст двух разделенных полусфер жизни — комической и трагической, — отражающих друг друга, но не смешивающихся.

А у Пастернака мы видим контраст двух сфер жизни не только не объединенных друг от друга, но взаимопроникающих, почти тождественных. Поэтому комическое и трагическое смешаны у Пастернака таким образом, что чисто комического, по сути, нет. Оно все вовлечено в лирическую струю стиха и преображено в нем. Оно исчезло, но работу свою выполнило: очеловечило, заземлило трагическое, обогатив его спектр светом мудрой, всепонимающей улыбки.

ПОСОХ ТРАДИЦИИ

Всякий анализ оперирует делениями и противопоставлениями. В реальности же они объединены, и противоречия между ними неизживаемы. Сынотство — сиротство, своеволие — послушание, бунт — примирение, детство — отрочество, игра — серьезность: вот некоторые из этих пар, имеющих непосредственное отношение к нашей теме.

Всякая палка о двух концах, и критик, желающий отделить одно от другого, оказывается в смешном положении человека, распиливающего магнит: на сколько частей его ни дели, в каждом кусочке окажется и северный и южный полюс.

Это так; и все же у каждого поэта, как и у каждой эпохи, есть свои тенденции и уклон.

Уроки XX столетия оказались весьма впечатляющи. Им удалось-таки кое-что втемяшить миру. Все меньше наблюдается желания раскидывать камни, все больше — собирать. Все реже слышны призывы перетряхнуть и переделать, все чаще — сохранить и спасти. Бунтари остались, но они не в моде. Хрупковата стала эта палуба для данс-макабров.

Многие крупнейшие поэты XX столетия, как и Пастернак, прошли вместе с веком по многим его путям иллюзий и отрезвлений. И то, что они в зрелые годы пришли к общепонятным идеалам оправдания и принятия жизни, несколько не умаляет их метафизической глубины. «Everything we look upon is blessed» («Все, на что мы глядим, благословенно», У. Б. Йитс) и «Bless what there is for living» («Благослови все, что служит жизни», У. Х. Оден) — это почти тождественные формулы примирения.

Поэзия Б. Пастернака оказалась на самом стряже больше классической традиции XX века. Это линия преемственности культуры, принятия родительского наследства. В пастернаковской «чехарде чудачеств, бедствий и замет» мы узнаём пушкинскую грациозно-небрежную повадку (да и «заметы» — те самые, пушкинские: «...и сердца горестных замет»).

В ритме и звуке весеннего ливня и грома:

А вскачь за тряскою четверкой,
За безрессоркою Ильи... —

откликается тютчевское:

Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

В тонкости иронии и самоиронии, в их мягком туше, а еще больше — в стремлении жить «без помпы и парада», в зоркой внимательности к так называемым пустякам, к необычности обычного чувствуется чеховский взгляд, чеховское влияние.

Позиция Пастернака в конце 30-х годов была уже вполне осознанной.

В эти же годы нидерландский историк Йохан Хейзинга писал, заканчивая свою книгу «Homo ludens» («Человек играющий»): «Судорожные потуги на оригинальность искажают творческое начало... Когда искусство начинает слишком заботиться о себе и любоваться собой, оно неизбежно теряет что-то из своей вечной детской непосредственности».

Но дело, как мне кажется, не только в модернистской самоосознанности приемов, о которой пишет Хейзинга. Для искренней и радостной игры нужен метафизический базис, глубина. А глубина — такая вещь, с которой дело обстоит по пословице: или она есть, или ее нет.

Но тут нам придется снять маску всезнайки и остановиться на пороге того, чего объяснить нельзя. Как и откуда берется Дар? Этот особый настрой зрения и слуха, эта впитывающая, как губка, память, эта воспламеняемость души, эта легкость и крепость пастушьего посоха, умение выдержать долгий путь, пережить и тучных и тощих коров фараона... Мудрость ребенка и патриарха явлена нам в поэте.

Он как будто явился из того баснословного далека, из той предрассветной местности, откуда пришли все эти его пастухи в кожных и волхвы-звездочеты, ослики и верблюды, погонщики и овцеводы — пришли затем, чтобы вместе поклониться родившемуся в мир Младенцу.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

П. СОРОКИН

*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ

ГРОЗНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА ПИТИРИМА СОРОКИНА

Четверть века назад в музее научного центра в Париже меня знакомили с историей социологических исследований во Франции. Мы двигались по залу, увешанному портретами выдающихся ученых.

— Мы надеемся, вам это было интересно, поскольку в России нет социологических традиций, — завершил свой обзор французский коллега.

Его разъяснения и правда были полезны и любопытны для меня. Но в них, особенно в конце обзора, прорывалась какая-то раздражавшая снисходительность.

— Простите, я не расслышал фамилию этого господина, — указал я на портрет, открывавший выставку.

— Это основатель нашего центра профессор Гурвич.

— А не скажете ли вы, откуда он?

— Он приехал из России и создал этот социологический центр.

— Кстати, — продолжал я, когда мы, покинув музей, шли к исследовательским лабораториям, — кто сейчас президент Американской социологической ассоциации?

— Профессор Питирим Сорокин.

— Откуда он там взялся?

— Как откуда — из России, — сказал мой коллега. Потом он остановился и смущенно улыбнулся. — Да, к сожалению, мы плохо знаем историю русской социологии...

Признаюсь, я, как «ползучий эмпирик», много лет занимавшийся так называемыми конкретными социологическими исследованиями, по существу, почти ничего не знал о работах П. Сорокина. В этом отношении мой уровень мало отличался от уровня других обществоведов (за исключением небольшой группы специалистов, занимавшихся критикой буржуазной социологии, которые слышали о нем в связи со статьей Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина»). Лишь в 1966 году, когда на VI Всемирном социологическом конгрессе в Эвиане в качестве главного был объявлен доклад Питирима Сорокина, до меня дошло, что наш соотечественник является одним из лидеров мировой социологии.

И вот теперь его труды начинают возвращаться на родину. В наше смутное время работа «Современное состояние России», опубликованная в Праге в 1922 году вскоре после его изгнания ничтожным тиражом, для многих явится откровением, вызывая массу ассоциаций и позволяя глубже осмыслить процессы, происходящие в нашей стране. Его анализ охватывает все основные сферы российской жизни: изменения в численности и составе населения, в структуре «социального агрегата», в экономике. Он изучает положение власти, морально-правовые отношения, просвещение и науку, религиозную жизнь, изменения народной психологии.

Исследуя плату за «завоевания» войны и революции, автор приводит цифры: с 1914 года население всех нынешних советских республик убавило на 21 миллион. Но главное внимание Сорокин уделяет качественным потерям. «Судьба любого общества зависит прежде всего от свойств его членов, — пишет он. — Общество, состоящее из идиотов или бездарных людей, никогда не будет обществом преуспевающим. Дайте группе дьяволов великолепную конституцию, и все же этим не создадите из нее прекрасного общества. И обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо создаст и более совершенные формы общежития».

Профессор Сорокин утверждает, что все крупные войны и революции «всегда были орудием отрицательной селекции, производящей отбор «шиворот-навыворот», т. е. убивающей лучшие элементы населения и оставляющей жить и плодиться «худшие», т. е. людей второго и третьего сорта».

Читатель, я думаю, внимательно прочтет страницы статьи, где анализируются последствия гибели наиболее здоровых, трудоспособных, волевых, одаренных, развитых умственно и морально. «Не будь войны и революции, «худшие» были бы оттеснены на второй план погибшими «лучшими». Теперь же они занимают первые места и делают производителями грядущих поколений. Их дети будут творцами нашей истории». Какая это была история, мы теперь хорошо знаем. Знаем мы и то, как массовые уничтожения «лучших» крестьян, рабочих, интеллигентов в годы сталинщины сказались на генофонде страны. Знаем и то, что отрицательная селекция, отбиравшая худших из худших, дала нам тех, кто и ныне оголтело рвется к власти, стремясь стать «творцом истории».

Исследуя крупные социальные движения, Сорокин обращает внимание на то, что выдвигаемые ими великие идеалы обычно используются лишь для пробуждения фанатизма, героизма, веры. Но ни одно из них никогда не осуществляло провозглашенных идеалов. «Не приводя других фактов, утверждаю, что это явление «иллюзионизма», расхождения «тмы низких истин» от «возвышающего обмана» — явление общее, позволяющее формулировать его в форме особого закона называемого мною законом социального иллюзионизма».

Автор раскрывает действия этого закона в ходе Октябрьской революции, которая якобы ставила своей задачей разрушить социальную пирамиду неравенства и имущественного и правового, устранение эксплуатации. Вместо этого произошла простая перегруппировка. Пирамида сохранилась. «На низах снова были массы, наверху командующие властители. Последние были еще более привилегированы, чем старая власть, первые — еще более обездолены, чем раньше». Эксплуатация усилилась. Вместо свободы — деспотия. Вместо мира — война. Вместо хлеба — голод. Вместо автономии, децентрализации — централизация. Вместо частного капитала — госкапитализм.

«Бухгалтерский баланс» завоеваний не только нашей, но всех «великих» по пролитой крови революций приводит П. Сорокина к следующему выводу: «Величайшими эпохами реакции в истории любого народа являются эпохи глубоких революций, а величайшими реакционерами — величайшие диктаторствующие революционеры». Цитирую эти слова и тайне надеюсь, что, может быть, они охолодят некоторых наших соотечественников, которые все еще балдеют на митингах, слушая разглазгования о «национально-освободительной революции», «революционной перестройке», «второй русской революции» и т.п., не задумываясь, что они означают реально и к чему ведут. Пока мы не освободимся от этого революционного дурмана, нормальной жизни нам не видать как своих ушей.

Исследуя крах централизованной экономики, Сорокин отмечал, что правители России начинают искать спасение в восстановлении капитализма. «Это значит, что их выдуманные, «рациональные» рецепты по сравнению с бессознательно сложившейся, но гениальной по своей тонкости и целесообразности системой «капиталистического» общества решительно никуда не годятся. Это не значит, что последняя идеальна, а значит, что по сравнению с ходячими, выдуманными системами общества и хозяйства господ коммунистов и многих социалистов она несравненно лучше и совершеннее. Это многим было известно раньше. Но нужно было распыление России, чтобы поняли это и много других «неверующих». Было бы поистине жаль, если бы опыт не был усвоен». Кажется, эти слова доносятся к нам не из далекого 1922 года, а их произносит наш современник в 1992 году.

В 1922 году профессор Сорокин успел опубликовать до высылки ряд статей в России: «О влиянии войны», «О влиянии голода» и другие. Этот анализ подводит его к важному выводу о причинах становления у нас коммунистического общества. Основными причинами — родителями — такого общества были всегда две: война и голод и бедение масс при наличии имущественной дифференциации. «Чем сильнее (при прочих равных условиях) количественно и качественно поднимались «независимые переменные» войны и голода, тем резче деформировалась общественная организация в сторону так называемого коммунистического, или этатического, или государственно-капиталистического типа с полной централизацией неограниченным объемом опеки, вмешательства и регулирования власти поведения и взаимоотношений граждан, с ничтожным объемом автономии поведения последних, иначе говоря, тем сильнее область публично-правовых

отношений вытесняла из всей области отношений долю отношений частноправовых»

Сейчас, когда ряд наших интеллектуалов подменили борьбу за демонтаж тоталитарного строя в стране демонтажом самой страны и добились, разумеется под знаменем великих идеалов, больших успехов, было бы полезно задуматься, к каким результатам приведет эта победа. Голод мы уже почти обеспечили. Национальные революции и игра в суверенитеты в скором времени обеспечат межреспубликанские войны. Все это не может не вести к чудовищному подавлению единственного суверенитета, за который стоило бы бороться, — суверенитета личности. Это будет означать возрождение худших форм тоталитаризма то есть тоталитаризма, приближенного к человеку, а потому особенно безжалостного, всеохватывающего, опасного. Да иначе и быть не может. Ведь вопреки П. Сорокину мы вместо создания основанного на частноправовых отношениях гражданского общества, которое является органической базой демократии, создаем предпосылки тоталитаризма в полном согласии с законом социального иллюзионизма.

«Московские новости» в шапку на первой полосе выносят такую информацию «Из источника, заслуживающего абсолютного доверия, «МН» стало известно, что на прошлой неделе в кулуарах российского правительства обсуждался вопрос о возможности обмена ядерными ударами между независимой Украиной и РСФСР. Идея государственного суверенитета, похоже, грозит из блага обернуться злом, и прав, видимо, один мудрый наш современник, утверждавший, что дьявол рождается из пены на губах у ангела...» Если это так, то, может быть, вообще бессмысленно вспоминать Пилирима Сорокина. Ведь он все-таки ориентировался на людей нормальных, а мы — то ли в результате многократно повторенной отрицательной селекции, то ли в результате повышенной солнечной активности — имеем теперь в качестве некоторых правителей людей неменяемых, да и сами стали безумцами, поскольку творим из них кумиров!

Исследуя нравственное и умственное состояние России, Сорокин приходит к выводу, что освободиться от влияния войны и революции никому не дано. Следствием их является «оголение» человека. С него спадает тонкая пленка подлинно человеческих форм поведения, которая представляет нарост над рефлексами и актами чисто животными. Война и революция разбивают ее. Объявляя — это особенно относится к революции — моральные, правовые, религиозные и другие ценности и нормы поведения «предрассудками», они тем самым: 1) уничтожают те тормоза в поведении, которые сдерживают необузданные проявления чисто биологических импульсов, 2) прямо укрепляют последние, 3) прямо прививают «антисоциальные», «злостные акты»... Словом, эти следствия войн и революций биологизируют поведение людей в квадрате.

Как рано и как сразу угледел суть революции Пилирим Сорокин. Ведь в самом деле нелепо говорить о homo sapiens в эпоху революции. Если же исходить из триады человек биологический — человек социальный — человек духовный, то становятся очевиднее результаты революции. Она уничтожает не только человека духовного, но и социального. Точнее — от социального остаются какие-то элементы, которые есть в животном царстве: стая, ее иерархическое строение, доминанты (паханы) и т.п. Революция в кратчайший срок уничтожает тонкий слой цивилизации, превращает человека в зверя. И целые десятилетия нашей истории представляют собой историю зверинца, где одни, самые бессовестные и беспощадные, пожирали других.

Справедливым представляется и упрек П. Сорокина в адрес тех собратьев по веру, которые всячески приветствовали наступление новой, счастливой эры, часто закрывая глаза на то «оголение» человека, что в действительности несла с собой «очистительная» революционная волна. С горьким сарказмом он писал в этой связи. «В заключение предлагаю г. Горькому, Барбюсу, Б. Шоу и многим другим «intellectuelles» проверить правильность сказанного, раз, а проверив и найдя все верным, подумать и ответить себе, не играли ли они роль наивных дураков или вредных идеалистов, распевая гимны «вождям коммунистов»? Не причинили ли они ряд объективных зол, исходя из высоких субъективных мотивов? Не ввели ли они в заблуждение многих и многих, веривших им, когда они гасителей духа возводили в ранг «освободителей человечества», антропоидов — в сверхчеловеки, проходимцев истории — в гениев, темных дельцов — в вождей нового мира?»

История ответила на эти вопросы, поставленные семьдесят лет назад. Но они сохранили свою актуальность, ведь и сегодня среди наших интеллектуалов полным-полно играющих роль «наивных дураков или вредных идеалистов», которые вводят в заблуждение верящих им, толкая их вверх по лестнице, ведущей вниз.

В отличие от многих захваченных мирскими делами социологов П. Сорокин придавал большое значение религии, церкви. В своей работе он тщательно анализирует духовную жизнь страны. Из его исследования мы узнаем новые подробности, связанные с изъятием церковных ценностей, с ролью ЧК в кровавых расправах с верующими, в попытках захватить управление Церковью. Напомню только один факт: «Этому мешал прежде всего патриарх Тихон. Он был арестован. Но ареста мало, нужно его отстранить. Тогда был пущен в ход отвратительный шантаж человеческой кровью: посланы были к нему несколько ренегатов-священников с требованием, чтобы он отказался от своей власти: если он не откажется — 11 приговоренных к расстрелу московских священников будут казнены, если откажется, будут помилованы... Кошмары из «Бесов» Достоевского менее ужасны, чем этот ультиматум. Тихон не отказался...»

Тревожные симптомы наблюдались в послереволюционной России и в сфере национальных отношений. «Раз Россия и русский народ превращены были в проходной двор, где лицо наше топталось каблуками интернационалистов всех стран, раз Россию стали растаскивать по кускам, раздирать на части, взрывать изнутри, грабить отовсюду, раз среди «распинающих» оказались и враги, и вчерашние друзья, раз бывшие окраины стали смотреть на русский народ сверху вниз, раз все его покинули, все изменили, все обманули, раз теперь ей грозит участь колонии — все разгромлено, разорено, и за все «битые горшки» должен платить тот же русский «Иванушка-дурачок», — раз Россия при благосклонном участии бывших союзников начинает продаваться «оптом и в розницу», превращается «из субъекта в объект», то должно было наступить одно из двух: или гибель, или резкая реакция защиты. Симптомом последней и служит рост глубоко подсознательного национального чувства, охватившего все слои». Аналитики, политологи, советники сегодняшних властей должны помнить о неминуемости этих грозных симптомов. Ведь сегодняшняя ситуация у нас поразительно напоминает ту, что описывал опальный профессор. Только следствия на этот раз могут быть планетарными.

Будем надеяться, что влияние работ П. Сорокина на нашу социологию и на нашу жизнь возрастет. Это поможет профессиональному росту наших социологов, политологов, философов. Новые поколения еще на студенческой скамье будут знакомиться с его трудами. Они по достоинству оценят его пророчества, его последовательное противостояние марксизму. Его труды упредят их и от соблазнов позитивизма. Молодые люди откроют в этих работах поразительно типичную российскую эволюцию ученого от позитивизма к идеям Достоевского, альтруизма и христианской любви. Они оценят его самостоятельность, независимость, эрудицию, яркий публицистический стиль его работ. Я могу лишь позавидовать этим будущим социологам, ибо старшему поколению, в том числе и автору этих строк, пришлось знакомиться с трудами Питирима Сорокина лишь на излете профессиональной карьеры и жизни. И не будем лукавить: порой мы открывали то, что давно уже было исследовано нашим великим социологом.

Питирим Сорокин принадлежал к поколению, которое не по книжкам, но из личного опыта знало, какой была и куда была устремлена Россия. «Не будь войны и революции, — писал он, — Россия теперь была бы неузнаваема. Начиная с 90-х годов 19 века, мы развивались во всех отношениях — и в материальном, и в духовном — с такой быстротой, что наш темп развития опережал даже темп эволюции Германии. Росло экономическое благосостояние населения, сельское хозяйство, промышленность и торговля, финансы государства находились в блестящем состоянии, росла автономия, права и самостоятельность населения, могучим темпом развивалась кооперация, уходя в прошлое абсолютизм, деспотизм и остатки феодализма. Исчезала безграмотность, народное просвещение поднималось быстро, процветала наука, полной жизнью развивалось искусство, творчество духовных ценностей было громадное in extenso и глубоким по интенсивности. Не будь войны и революции — Россия в 1922 г. была бы процветающим духовно и материально государством. Но пришли эти явления — и блестящее развитие было прервано. Не только остановлено, но отброшено назад на 1—2 столетия».

Отвечая на вопрос «что делать?», П. Сорокин видел один выход — денационализация, упразднение или сокращение функций всех этих государственных органов «регулирующих хозяйства», ограничение самих экономических функций государства и власти, признание собственности (не только фактическое, а и юридическое), то есть полное возвращение к старому. «Лично я не сомневаюсь в том, что в течение 1—1½ года это будет иметь место, если не будет войн и катастроф».

Здесь, казалось бы, профессор Сорокин называет нереальные сроки. Но не будем забывать, что тогда российская экономика (и прежде всего сельское хозяйство), хотя и резко ослабленная, была еще жива. Стоило большевикам чуть-чуть ослабить путы, и началось быстрое восстановление народного хозяйства. Можно представить себе, что

принятие тех мер, которые предлагал Сорокин, привело бы к резкому ускорению экономического развития страны.

Этому мешал установившийся у нас тоталитарный режим. И хотя Питурич Сорокин пытается дать ответ на вопрос: каким же образом такая власть могла удержаться? — он все-таки не мог вообразить, на какие чудовищные преступления может пойти тиранья, состоящая, по его словам, из беспринципных интеллигентов, деклассированных рабочих, уголовных преступников и разного рода авантюристов. Силу этого режима тогда профессор Сорокин недооценивал, надеясь, что эта основанная на прямом насилии и принуждении власть должна рухнуть в ближайшие годы.

Но только ли он в этом заблуждался? Пожалуй, и сегодня один из самых важных и трудных вопросов, стоящих перед нашими историками, социологами и политологами, тот же самый: как могло случиться, что этот тоталитарный режим смог просуществовать в нашей стране свыше семидесяти лет?

ВЛАДИМИР ШУБКИН.

III Прошло только восемь лет с 1914 г. «Испепеляющие годы». Поистине «мало прожито, но много пережито». Испытан целый цикл исторических превращений. Пережиты самые полярные состояния общественного уклада, социальных процессов и массовых настроений... Мы знали высочайшие вершины героизма и бездонные пропасти греховности... испепеляющий восторг и смертную тоску, упоение творчества и сладострастие разрушения... Безграничную жертвенность и необузданное себялюбие... Поднимались на гребни исторических валов и падали в бездну...

Испытано все, что может испытать в течение одной жизни поколение. В течение восьми лет мы не жили, а бились в необузданной лихорадке, горели в буйном опьянении и сжигали себя в диком сладострастии.

Теперь температура падает. Пьяный угар проходит... Наступает пора нормальной жизни, а вместе с ней и необходимость трезвого учета реальной обстановки... Приходится брать в руки книгу «доходов и расходов» и подводить баланс за эти годы.

Попробуем это сделать. Проникнемся психологией самого аккуратного бухгалтера и попытаемся с его сухостью и точностью подвести итоги. Они таковы в основных чертах.

1. Изменения в численности и составе населения

Первую и самую важную графу изменений за эти годы составляет рубрика изменений в численности и качестве населения Русского государства и русского общества. Начнем с количественной стороны дела.

Русское государство вступило в войну с численностью подданных в 176 миллионов. В 1920 г. РСФСР вместе со всеми союзными советскими республиками, включая Азербайджан, Грузию, Армению и т.д., имела лишь 129 миллионов населения. За шесть лет Русское государство потеряло 47 миллионов подданных. Такова первая плата за грехи войны и революции. Кто понимает значение количества населения для судеб государства и общества, тому эта цифра говорит очень многое. Кто не понимает этого, пусть прочтет труды Ратцеля, Ковалевского, Бугле, Кости и других социологов, тогда он кое-что поймет... Я здесь не могу заниматься комментариями на эту тему.

Эта убыль на 47 миллионов объясняется выведением из России ряда областей, ставших самостоятельными государствами.

Теперь спрашивается: как обстоит дело с населением той территории, которая составляет современную РСФСР и союзные с ней республики? Убыло оно или возросло?

Ответ дают следующие цифры. По переписи 1920 г. население 47 губерний Европейской России и Украины убыло с 1914 г. на 11 504 473 человека, или 13% (с 85 000 370 до 73 495 897). Население же всех советских республик убыло на 21 миллион, что на 154 миллиона составляет потерю в 13,6%. Война и революция пожирала не только всех родившихся, ибо все же некоторое количество продолжало рождаться. Но они сверх этого поглотили 21 миллион жертв. Нельзя сказать, чтобы аппетит этих особ был умеренным и желудок их скромным. Если бы даже они дали ряд действительных ценностей, трудно признать цену таких «завоеваний» дешевой.

Такая плата за шесть лет войны и революции не часта в истории. Такая убыль за подобный период мне неизвестна из истории европейских стран. Она едва ли когда-либо имела место и в истории России. Только история Китая знает несколько подобных фактов. Мы можем «гордиться» таким «рекордом». Апологетам войн и революций рекомендую воспеть его в особых акафистах и гимнах. — тема благодарная.

Из 21 миллиона на прямые жертвы мировой войны падает: убитыми и мертвыми от ран и болезней — 1 000 000 чел., пропавшими без вести и взятыми в плен (большая часть из которых вернулась) 3 911 000 чел. (в официальных данных пропавшие без вести и взятые в плен не отделены друг от друга, поэтому привожу общую цифру) плюс ранеными 3 748 000, всего на прямые жертвы войны — не более 2—2,5 миллиона. Затем, едва ли меньшей была цифра прямых жертв гражданской войны. [Господин] Михайловский считает ее равной примерно 1 миллиону¹. Я полагаю, что эта цифра низка и должна быть по меньшей мере удвоена. В итоге, число прямых жертв войны и революции мы можем принять близким к пяти миллионам. Остальные шестнадцать миллионов приходится на долю их косвенных жертв: на долю повышенной смертности и падения рождаемости.

Некоторое представление о движении кривой смертности дают следующие цифры:

Годы	На 1000 чел. умирало		
	В Петрограде		В Москве
1913	21,4	1913—1914	24,1
1914	21,5		—
1915	22,8		22,1
1916	23,2		20,1
1917	25,2		21,2
1918	43,7		28,0
1919	72,6		45,1
1920	50,6		46,2
1921(1 пол.)	27,8		—

Этим путем, как видно отсюда, революция работала интенсивнее войны. Лишь в 1921 г., с отпадением гражданской войны и улучшением жизни в столице за счет остальной России, получилось некоторое приближение к коэффициенту нормально-го времени.

Тот же значительный рост смертности имел место по всей России. Это видно хотя бы из следующих цифр:

Губернии	На 1000 населения умирало	
	В 1914	В 1920
Костромская	28,6	49,6
Московская	26,8	40,8
Нижегородская	29,1	33,8
Орловская	26,8	36,4
Пензенская	30,0	40,8
Рязанская	22,3	27,2
Тверская	25,7	27,0
Смоленская	28,3	33,4

Здесь фигурируют губернии, не испытавшие ни катастрофического голода, ни настоящей гражданской войны. В областях же, бывших ареной последней или подвергнувшихся ужасающему голоду, коэффициенты будут гораздо более высокими. Они доходили до 200—300 на 1000 населения. Если в столицах с 1921 г. наблюдается понижение смертности, то в голодном районе именно в 1921—1922 гг. она необычайно возросла. Война и революция с их неизбежными спутниками: голодом, эпидемиями и т.д., — «славно поработали». Если другие «завоевания» сомнительны, то несомненна богатая добыча, добытая ими в пользу Царицы Смерти... Последняя сняла и продолжает снимать обильнейшую жатву.

Рядом с этим повышением смертности мы видим и параллельное понижение рождаемости. И это — несмотря на колоссальный рост брачности за годы революции. Казалось бы, последнее обстоятельство должно было вести и к подъему рождаемости. Но в ненормальных условиях революционного времени браки стали бесплодными и, как ниже я покажу, превратились только в «легальную форму случайных половых связей» без «санкций и обязательств», без прочности и потомства. Представление о движении брачности дают следующие цифры:

¹ Данные В. М. Михайловского опубликованы в «Трудах Центрального Статистического Управления» (М. 1921, т. 1, вып. 3). Они не внушают доверия Сорокину, так как автор не указывал источников, на которых основаны его цифры. С большим доверием Сорокин относился к расчетам статистика С. А. Новосельского, основанным на итогах работы специальной научно-статистической комиссии (см. «Экономист», 1922, № 1).

На 1000 населения приходилось браков

Годы		В Москве	В Петрограде
1912	Средняя за 1910—1914	5,8	6,5
1913		—	6,3
1914		5,5	6,0
1915		4,1	5,0
1916		3,9	4,7
1917		5,3	8,5
1918		7,5	9,2
1919		17,4	20,7
1920		19,6	27,7
1921(1 пол.)		-	26,7

Как видно отсюда, коэффициент брачности за годы революции поднялся до небывалых размеров. Сходное происходило и во всей стране. И однако, рождаемость до 1920 г. не только не росла, а падала. Лишь в 1920 г. в столицах, где жизнь за счет всей России несколько улучшилась, получился перелом, резко проявившийся в 1921 г., когда коэффициент рождаемости превзошел даже нормальную величину. В 1921 г., однако, этот «эксцесс» исчезает и кривая рождаемости снова пошла книзу. (Точный коэффициент за 2-е полугодие 1921 г. и 1-е полугодие 1922 г. я не помню сейчас, но в бытность мою в России эти цифры я имел и знаю, что со второй половины 1921 г. кривая пошла книзу.) Картину рождаемости рисуют следующие цифры:

На 1000 населения родилось

Годы	В Петрограде	В Москве
1912	26,7	1911—1913 28,9
1913	26,4	—
1914	25,0	31,0
1915	22,5	27,0
1916	19,1	22,9
1917	17,8	19,6
1918	15,5	14,8
1919	13,8	17,5
1920	21,8	21,9
1921(1 пол.)	36,0	

Сопоставляя эти таблицы, мы видим, что первые 2½ года революции были годами «бесплодных» браков. Лишь с момента понижения кривой революции и возврата к нормальным условиям жизни (конец 1919 и 1920 гг.) стала расти и рождаемость, хотя и в несравненно меньшей степени, чем брачность (последняя возросла в 4 раза по сравнению с мирным временем, рождаемость же только приблизилась к обычной норме).

Та же картина имела место и по всей России. Повсюду за эти годы рождаемость не покрывала смертности. Отсюда — убыль населения. Сказанное видно из следующих данных:

В 1920 г на 1000 населения приходилось

Губернии	Рождений	Смертей	Разница
Череповецкая	240	296	56
Новгородская	240	253	13
Смоленская	297	334	37
Тверская	261	270	9
Московская	245	408	163
Иваново-Возн.	328	463	135
Костромская	332	496	114
Нижегородская	249	338	89
Вятская	162	241	79
Пермская	190	260	70
Пензенская	280	408	128
Рязанская	254	272	18
Орловская	242	364	122
г.Петроград	218	506	288
г.Москва	219	462	243

В губерниях, бывших главной ареной гражданской войны и постигнутых катастрофическим голодом, эта разница гораздо выше и значительнее.

Таковы вкратце «завоевания» войны и революции в области количества населения.

Если принять экономическую ценность человека равной 32 тыс. франков, как это делают некоторые экономисты, то потеря 21 миллиона населения равна экономическому ущербу 672 000 000 000 франков. Не убыточно ли?

Если подойти к делу с чисто энергетической стороны и принять физическую энергию человека-машины, работающего 10 часов, равной 290 тыс. килограммо-метров, а в год 290 тыс., помноженное на 365, то потеря 21 миллиона людей (если бы они жили лишь один год), превосходит потерю 211 400 000 000 000 килограммо-метров.

Величина эта не очень большая, но все же заслуживающая внимания. Чем тешить себя и других «электрификациями», реально не осуществимыми сейчас, было бы разумнее не губить бесплодно эту доступную физическую силу, так нужную для поднятия и возрождения страны.

Если же учесть далее, что человек не только физическая машина, а носитель высших психических форм энергии, тогда потеря 21 миллиона «психических машин» превращается в безумное мотовство, растроченное на ветер. Наконец, не сказано ли: «человек — самоцель» и «жизнь человеческая — высшая ценность». Если это не пустые слова, то каким трагическим укором и обвинением являются эти 21 миллион загубленных жизней во имя мнимых «завоеваний» войны и революции. Впрочем, не будем говорить об этом: мы же условились вести лишь бухгалтерский подсчет. Посему будем спокойны, холодны и аккуратны.

Взглянем теперь на дело с иной, качественной точки зрения. Если отбросить в сторону всякие там моральные и прочие «буржуазные» предрассудки (как их называют коммунистические «спасители человечества»), то количественная потеря вознаграждена и поправима. «Одна ночь Парижа возместит все это», — когда-то сказал Наполеон в ответ на указание на множество убитых, лежавших на поле битвы. «Ряд ночей России покроет и этот дефицит», — бухгалтерски повторим мы за ним. Но как дело обстоит с качественной стороны явления?

Мы знаем, что люди неравны. Есть гении и идиоты, здоровые и больные, герои и преступники, волевые и безвольные, старики и дети, мужчины и женщины и т.д.

Судьба любого общества зависит прежде всего от свойств его членов. Общество, состоящее из идиотов или бездарных людей, никогда не будет обществом преуспевающим. Дайте группе дьяволов великолепную конституцию, и все же этим не создадите из нее прекрасного общества. И обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо создаст и более совершенные формы общезития.

Легко понять отсюда, что для исторических судеб любого общества далеко не безразличным является, какие качественно элементы в нем усилились или уменьшились в такой-то период времени. Внимательное изучение явлений расцвета и гибели целых народов показывает, что одной из основных причин их было именно резкое качественное изменение состава их населения в ту или другую сторону.

Изменения, испытанные населением России, в этом отношении типичны для всех крупных войн и революций. Последние всегда были орудием отрицательной селекции, производящей отбор «шиворот-навыворот», т.е. убивающей лучшие элементы населения и оставляющей жить и плодиться «худшие», т.е. людей второго и третьего сорта.

И в данном случае у нас погибли преимущественно элементы: а) наиболее здоровые биологически, б) трудоспособные энергетически, с) более волевые, одаренные, морально и умственно развитые психологически.

1. За эти годы из разных возрастных слоев всего более потерпели ущерб самые здоровые и трудоспособные возрастные классы. Если общий процент уменьшения населения равняется 13,6%, то возрастные слои от 15 до 60 лет уменьшились на 20%, а мужская часть этих возрастов — на 28%. Отрицательная селекция войны и революции отсюда ясна.

2. Погибли преимущественно мужчины, а не женщины. До 1914 г. на 1000 мужчин приходилось 1038 женщин, теперь 1250. Население России «обабилось». В городах это уменьшение мужской половины еще значительнее.

3. Так как калеки и вообще лица биологически дефективные не берутся в армию, то процент их гибели был значительно меньшим, чем лиц здоровых.

4. Население Европейской России потеряло в войне почти одну седьмую часть, население Азиатской России — только 1/30. Это значит, что война и революция унесли гл. обр. те элементы, которые строили Россию, составляли ее ядро и по своим свойствам были выше азиатских инородцев.

5. В силу той же причины в меньшей мере пострадали и лица морально дефективные: во время мировой войны они в армию не брались, следовательно, не подвергались риску гибели. За время же революции условия как раз благоприятствовали их выживанию. В условиях зверской борьбы, лжи, обмана, беспринципно-

сти и морального цинизма они чувствовали себя великолепно; занимали выгодные посты, зверствовали, мошенничали, меняли по мере надобности свои позиции и жили сытно и весело. Совсем иначе чувствовали себя элементы морально честные. Они не могли «жудьничать», воровать, злоупотреблять и насиловать. Поэтому они голодали и таяли биологически. Окружающие ужасы подавляющим образом влияли на все их жизнсоощение, нервная система их не выдерживала «раздражений» среды — и это вело к их усиленному вымиранию. В силу своей моральности они не могли так или иначе не протестовать против совершавшихся зверств, а тем более хвалить их: это навлекало на них подозрения, преследования, наказания и смерть. Наконец, они не могли легко отказываться от исполнения их долга. В условиях войны и революции такое поведение опять-таки усиливает риск гибели таких людей. Вот почему за эти годы, и особенно за годы революции, процент гибели лиц с глубоким сознанием долга (с красной и белой стороны) был гораздо выше, чем процент гибели лиц «аморальных» (шкурников, циников, нигилистов и просто преступников).

6. Процент гибели лиц выдающихся, одаренных и умственно квалифицированных за эти годы опять-таки несравненно выше, чем процент гибели рядовой серой массы.

Во всякой войне, а особенно гражданской, крупные лица всегда были мишенью, которую в первую очередь стремится уничтожить другая сторона. Римский лозунг *Parcere subjectos et debellare superbos* (щадите покорных и добивайте гордых) остается верным и по сей день. Он оправдался и в нашем опыте. В армии процент гибели офицеров за эти годы был гораздо выше, чем процент гибели солдат. Почти все наше кадровое офицерство погибло еще в мировой войне. Заменившее его офицерство из прапорщиков также почти поголовно легло костями на полях гражданской войны. Офицерство же, начиная с «унтеров и фельдфебелей», — это «мозг армии», ее душа, выжимки и культурная аристократия.

Возьмите далее хотя бы слой умственно квалифицированных лиц с университетским образованием. По подсчетам Гальтона², таких лиц в Англии приходится около 2000 на каждый миллион населения. В России же дай Бог, чтобы их приходилось 200 человек на один миллион. Погибло же их всего не 4000 на 21 миллион, а много раз больше. С самого начала войны мужская половина наших высших учебных заведений почти вся была мобилизована и скоро очутилась на поле битвы, где и погибла. В течение гражданской войны этот слой умственно квалифицированных лиц поделел катастрофически. 30—40 тысяч — вот минимальная цифра гибели людей этого рода, т.е. их погибло в 6—7 раз больше, чем рядовой, умственно не квалифицированной массы.

Выдающиеся же ученые, писатели, художники и т.д., эти уникамы любой нации, погибли еще в большем проценте. Мы лишились большого числа мировых и крупных ученых и поэтов (Шахматов, Иностранцев, Тураев, Блок, Л. Андреев, Покровский, Хвостов, Палладин, Белелюбский, Туган-Барановский, А. А. Марков, Е. Трубецкой, Б. Кистяковский, Овсянко-Куликовский, Арсеньев и т.д. и т.д.), прямо или косвенно погибших от войны и революции. Мы потеряли большую часть нашей интеллигенции, всего более страдавшей от ужасов и тягот этих годов. Общая смертность таких слоев повысилась в 6—7 раз по сравнению с довоенным временем. Короче, и без того бедные культурными силами, за эти годы мы стали прямо нищими. «Мозг и совесть» страны вымерли в колоссальном размере и продолжают вымирать.

Прибавьте к этому то, что во всякой гражданской войне выдающиеся лица с той и другой стороны гибнут всегда в усиленном размере. Поликрат, Гиппий и Гиппарх, Эфиальт, Клеон, Алквивад, Критий, Ферамен, Сократ, Эпаминонд, Муций Сцевола, Кориола, М. Манлий, Гракхи, Спартак, Друз, Катилина, Помпей, Цезарь, Антоний, Лавуазье, Дантон, Кондорсе, Шенье и т.д. и т.д., все они погибли и гибнут, в то же время рядовой «якобинец», «роялист» и «жирондист» в силу своей серости выживают и спасаются.

Наконец, присоедините к этому огромный процент выдающихся ученых, писателей, поэтов, общественных и политических деятелей, эмигрировавших из России или высланных из нее; возьмите рядовой уровень политической эмиграции, всегда более высокий, чем уровень оставшейся массы, учтите вдобавок ко всему, что война и революция облагодетельствовали оставшихся многими десятками тысяч калец, раненых, больных и вообще «порченных» особей... и тогда будет понятен весь трагический смысл очерчиваемого качественного отбора.

«Дайте лучших» — гласит римский лозунг, требовавший солдат. В этом лозунге глубокая правда. Война и революция берут лучших поистине.

Лучшая кровь нации погибла или выброшена за ее пределы. Остался материал второго и третьего сорта. Это ли не прогресс! Это ли не улучшение человеческой природы! Есть от чего прийти в восторг. Есть за что деть дифирамбы «освежающей» войне и «окрыляющей» революции.

Но и это не все. Вен. Франклин был прав, говоря: по векселям войны (и особенно гражданской. — П. С.) главные платежи приходится платить

² Гальтон Френсис (1822—1911) — английский психолог и антрополог.

не столько во время войны (и революции), сколько позже. Убийственный качественный урон — капля по сравнению с дальнейшими его следствиями. В силу закона наследственности, каковы семена — таковы и плоды, такова и жатва. Война и революция, пожирая лучших, пожирают и их потомство. Оставляя выживать материал 2-го и 3-го сорта, они ведут к размножению этого второсортного материала за счет погибшего первосортного. Раз плохи семена, плоха будет и жатва. Не будь войны и революции, «худшие» были бы отеснены на второй план погибшими «лучшими». Теперь же они занимают первые места и делаются производителями грядущих поколений. Их дети будут творцами нашей истории. Война с революцией сыграли роль огородника, выпальвающего с гряд лучшие овощи и оставляющего размножаться сорную траву. При таком отборе она, конечно, вытеснит овощи. То же и в истории людей. Войны, и война гражданская в особенности, безжалостно выпальвающие лучших из среды народа, всегда деградировали его в биологически-расовом отношении. Это редко замечалось. Но стоит немного вдуматься в суть дела, чтобы понять роковое назначение этих фактов.

Данные биологии за последние годы особенно выдвинули роль наследственных свойств в одаренности человека или целого народа. Если среди англичан, по подсчетам Гальтона, один гений приходится на миллион населения, среди древних греков 1 гений приходится на 4 тысячи с небольшим, а среди негров нет ни одного гения, то причину этого приходится искать не столько в социальной среде, сколько в расово-наследственных свойствах народа. По подсчетам проф. Старча, своей одаренностью или неодаренностью человек обязан наследственным свойствам от 60—90% и только от 40—10% среде. Великими и даровитыми рождаются, а не делаются. Благоприятная социальная среда может сыграть лишь роль содействующего фактора, а не создающего таланты. То же, *mutatis, mutandis*³, применимо и к тормозящей роли неблагоприятной среды. Вот почему политика, направленная на процветание народа, прежде всего должна обратить внимание на то, чтобы основной биологический расовый фонд лучших производителей страны не уменьшался и не иссякал. Если такое иссякание получит место — его ничем не компенсируешь.

Оглядываясь на нашу историю, я принужден признать расовые свойства наших предков отличными. Волею судеб мы принуждены были постоянно воевать. Это значит — губили носителей лучших расовых свойств и все же сумели создать могучее государство и ряд великих, общечеловеческих ценностей. Если бы наши предки были наследственно неодаренными — давно уже история России была бы кончена. И обратно, не будь на нашей истории этой проклятой печати милитаризма — мы не только не отстали бы от Запада, а, быть может, уже опередили его. Но... сие не дано. Мы воевали и воюем, т.е. мотовски губим свои лучшие силы. Наступавшие небольшие передышки частично позволяли несколько компенсировать ущерб.

Но всему есть предел и мерз. Последние 8 лет причинили в этом отношении ущерб огромный, непоправимый. Как указано, они выкинули с пира жизни лучшие силы, носителей лучших расовых свойств, а вместе с ними лишили нас и лучшей жатвы «сынов человеческих».

Вот именно в этой плоскости роль войны и революции чревата трагическими последствиями. Она неэффектна. Она не заметна с первого взгляда, но в действительности она имеет роковой характер и проявляется лишь в ряде будущих поколений.

Здесь мы можем спокойно ответить Наполеону и всем тем «вождям», которые десятки тысяч людей бросают на смерть: «Нет, *Sire*, не только одна ночь Парижа, но сотня ночей не могут возместить эту гибель „лучших“». Они могут дать обильный урожай сорной травы, а не жатву первосортных плодов. Только длительный период мира может в известной степени поправить дело, способствуя выживанию лучших.

Урон, понесенный нами, в этом отношении несомненен. Однако, быть может, он еще не смертелен. Если в дальнейшем будет мир, внешний и внутренний, мы можем возместить до некоторой степени этот ущерб. Если же «мудрые правители» и дальше будут гнать народ на войны и революции — боюсь, что дело может принять роковой оборот, тот, который не раз имел место в истории. Звезда Греции стала закатываться как раз после персидских, пелопоннесских и гражданских войн, убивших лучших производителей. После войн с Карфагеном и гражданских Рим теряет свободу, силу натиска и через два поколения начинает свою агонию. «Лучшая кровь погибла», а рабы, вольноотпущенники и варвары, проникшие на верхи социальной пирамиды, не оказались способными продолжать дело древних создателей Римского государства. Достаточно было двух-трех веков непрерывных войн и междоусобиц, чтобы уничтожить громадную свежую нацию арабов и привести к падению большинства основанных ими государств.

Это деградирующее влияние войны и революции замечалось не раз и позже, например после Французской революции, после гражданских войн (через 3—4 поколения), после войны 1870—1871 г. в Париже и т.д.

И обратно. Народы, мало воюющие или долго живущие в мире, обнаруживают удивительную силу роста и расцвета. Одной из причин огромного прогресса С. А. С.

³ С соответствующими изменениями (*лат.*)

Штатов служит их мирная история, на протяжении столетия с лишним знавшая лишь две — и то не очень уж кровавые — войны. Мы удивляемся необычайно быстрому развитию Японии, в течении полувека ставшей из азиатской страны великой державой. Но учтя тот факт, что она в течение 250 лет не вела войн (период «великого мира») и могла копить свои лучшие элементы, не приходится этому удивляться. Раз отбора «шиворот-навыворот» не было в течение столь долгого времени, не могли не накопиться огромные контингенты «лучших», что и проявилось в ее необычайном развитии, продолжающемся и по сей день.

Я не могу здесь подробно развивать эти положения. Сказанного, однако, достаточно, чтобы понять весь трагический смысл очерченных потерь, с одной стороны, с другой — величину той платы, которую приходится платить за военную славу или за фетиш революции. Будь еще два-три повторения таких войн и революций — и историю России можно считать оконченной. Вот почему я не могу без глубокой горечи слушать и читать панегирики и дифирамбы революции, распеваемые ей десятками трубадуров и скоморохов. «Потише, господа, над могилами не пляшут... Еще менее допустимы канкан и пьяное ораание над могилой или смертными ранами целого народа. Приводящие вас в восторг эффектные сцены революции часто стоят народу всей его истории. Будьте поскромнее и сумейте помолчать...»

Таковы вкратце основные «завоевания» войны и революции за эти годы.

* * *

Но увы, и ими дело не исчерпывается. Война и революция сильнее всего образом ухулили и выживший второстепенный материал населения. Особенно молодое поколение, родившееся и выросшее в грехе военных и революционных судорог. Голод, болезни, эпидемии, ужасы и кошмары, сопутствующие всякой «великой» войне и «великой революции», страшно ослабили и без того ослабленную природу выживших. Теперь уже браются в глаза биологические дефекты молодого поколения.

Их деградация проявляется в целом ряде симптомов. Во-первых, в том, что значительно пал вес новорожденных. Исследования проф. Личкуса и др. показали, что вес новорожденных в 1918—1920 гг. был значительно ниже веса нормальных годов. Во-вторых, в том, что возрос процент мертворожденных (соответственные данные я привожу в печатающейся сейчас книге «Голод как фактор»⁴).

В-третьих, в том, что пала жизнеспособность новорожденных: процент их смертности в первые дни жизни резко повысился по сравнению с нормальным временем.

В-четвертых, в том, что биологическая конституция молодого поколения оставляет желать много лучшего. Рост его задержан и уменьшен. Это видно хотя бы из следующих цифр, кстати, вскрывающих и «прелести» коммунистических «детских домов», «детских колоний», «интернатов» и «приютов», устроенных нашей властью.

Дети 1921—1922 гг

Возраст	Интерны	Экстерны	Нормальное время
7 лет	105,9	112	—
8 "	112,8	115,8	—
9 "	117,4	122,5	—
10 "	121,8	126,6	132
11 "	126	129,5	133,4
12 "	131,8	134,5	138,2

(Цифры 1921—1922 гг. дают результаты исследования 2000 детей Петрограда. Цифры нормального времени дают рост воспитанников приюта принца Ольденбургского.)

Из этих цифр видно, что дети нормального времени выше ростом детей нашего времени; дети «интерны», т.е. содержащиеся в «детских домах», отстают от детей, живущих дома.

Столь же невеселы результаты детей и в других отношениях.

⁴ Полное название книги: «Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь» (Пг. «Колос». 1922). Это последняя книга, написанная Сорокиным в России. Первоначально Сорокин намеревался включить главу о «социологии голода» в третий том «Системы социологии», но постепенно глава разрослась в самостоятельное и весьма обширное исследование. К изучению голода Сорокин приступил осенью 1921 года по совету И. П. Павлова и В. М. Бехтерева, и вся дальнейшая работа велась в «тесном сотрудничестве» с ними. «В мае 1922 г., — вспоминал Сорокин в своей автобиографии, — книга была сдана в набор. Перед публикацией многие ее параграфы и даже целые главы были сняты цензорами. Книга как нечто целое была разрушена, но то, что сохранилось, было все же лучше, чем ничего» («А Long Yomeu», p. 196). После высылки Сорокина из страны тираж книги был уничтожен.

В-пятых, громадный процент их, а именно 5%, рождаются наследственными сифилитиками. Во всем же населении заражено им около 30%.

В-шестых, колоссально возросла нервность населения и душевные болезни. Абсолютно ненормальные условия, в которые поставлено было население и его нервная система во все эти годы, сверхчеловеческие ужасы, лишения и горе, вывели последнюю из равновесия у всех, увеличили психозы и неврозы. Исследования проф. Осипова, Горового-Шалтана⁵ и др. ясно вскрыли этот рост душевных заболеваний. В голодных же районах психические расстройства приняли массовый характер.

В-седьмых, прибавьте к этому тиф, которым переболела чуть не одна треть населения, цингу, дизентерию, огромное распространение малярии, «испанки», всевозможные простудные болезни, наконец, катастрофический рост туберкулеза, сейчас уже уносящего жертв больше, чем тиф, учтите все это — и тогда поймете всю громадность биологической и нервно-мозговой деградации населения. Она становится несомненной. В силу этого «второсортная» природа строителей будущей России еще более ухудшается. Раны, нанесенные войной и революцией, становятся еще опаснее и чреватее...

Когда учтешь все это, не можешь без улыбки сожаления и снисхождения слушать разглагольствования всевозможных — иностранных и своих, больших и малых — апологетов войны и революции. Одни из них, не выдавшие подлинного лица последних, делают это по детскому неразумению: другие — «эстетосадисты», нервы которых требуют острых щекочущих сцен в силу своей извращенности; третьи, спекулирующие на революции и войне, — в силу своего эгоизма... Вдумчивый же исследователь, не довольствующийся эффектной панорамой событий, а вкладывающий персты свои в самую сущность явлений, не может не прийти к желанию, чтобы судьба избавила все народы от лечения своих язв методами войн и глубоких революций: «Да минет их чаша сия». Кто этому не верит, пусть попробует сам: тогда он на опыте убедится в правильности сказанного.

2. Изменения в структуре социального агрегата

Все крупные общественные движения начинаются и идут под знаменем великих лозунгов: «царства Божия на земле», «Бога и веры», «братства, равенства и свободы», «водворения справедливости», «прогресса», «демократии» и т.д. Множество лиц, прямо или косвенно участвующих в них, верили и верят, что эти движения призваны «уничтожить вековую несправедливость» и осуществить эти великие идеалы. Последние являются «крыльями», на которых поднимается, ширится и взлетает общественное движение. Они — обычные спутники последнего. Они его «прикрашивают», «пудрят», «расцветивают» для того, чтобы был возможен энтузиазм и фанатизм, героизм и безграничная вера, необходимые для успеха таких движений. Так было и бывает всегда.

Но вместе с тем ни одно из этих движений никогда не осуществляло в сколько-нибудь серьезном масштабе выставленных идеалов. Объективная действительность, получавшаяся в результате таких движений, всегда была далекой от выставленных лозунгов.

История зло шутила и продолжает шутить над людьми в этом отношении.

Примеры: христианство деботировало с лозунгами «царства Божия на земле», «братства», «бесконечной любви» и «равенства» и т.д. Объективным результатом были: иерархия церкви, ад на земле, деспотизм папства, инквизиция, зверства и войны.

Реформация шла под лозунгами свободы совести, прав человека, торжества разума и т.п. Объективный результат: сожжение и преследование инаковерующих протестантами и реформаторами, войны и тьма новых суеверий, пришедших на место старых.

Французская революция провозгласила: *égalité, fraternité, liberté*, «декларацию прав человека и гражданина», «религию разума». И никогда не было такого неравенства, зверства, деспотизма и «псевдорационального культа заблуждений», как в годы революции.

Вспомним лозунги мировой войны. Вместо них объективно получился Версальский договор, не требующий пояснений. Не приводя других фактов, утверждаю, что это явление «иллюзионизма», расхождения «тьмы низких истин» от «возвышающего обмана» — явление общее, позволяющее формулировать его в форме особого закона, называемого мною законом социального иллюзионизма.

В резчайших формах он проявился и в нашей революции. Все мы помним великие лозунги февральской и октябрьской революций: «освобождение от деспотизма самодержавия», «самоуправление народа» и «автономия лиц и групп», «полная демократия», «самоопределение народов», «мир, хлеб и свобода», «низвержение

⁵ См.: Осипов В. П. «О душевных заболеваниях в Петрограде» («Известия Здравоохранения Петроградской Трудовой Коммуны», 1919, № 7—12); Горовой-Шалтан, «К вопросу о душевной заболеваемости населения при современных условиях» («Психиатрия, неврология и экспериментальная психология», 1922, № 2), и его же статью в газете «Врачебное дело» от 1.2.1921.

⁶ Равенство, братство, свобода (франц.).

капитализма», «полное равенство», «раскрепощение трудящихся классов», «власть рабочих и крестьян», «диктатура пролетариата», «коммунизм». «Интернационал», «мировая революция» и т.д. Таковы были великие лозунги, прокламированные революцией. Из одного края великой русской земли до другого пронеслись они, заражали миллионы, зажигали их огнем энтузиазма и фанатизма, будили и ошьяняли их и возбуждали великую веру к себе и в себя. Казалось, что великий час пробил, вечножданное наступает, мир обновляется и «синяя птица» всех этих ценностей в руках...

Достаточно было двух-трех лет, чтобы слепцы из слепцов и глухие из глухих убедились в своих прекрасных иллюзиях. Они растаяли, как дым... Вместо «синей птицы» в руках оказалась та же ворона, только обстриженная и искалеченная... История еще раз обманула верующих иллюзионистов. Поисгине «слепые вели слепых и все упали в яму». Миллионы за эти иллюзии заплатили жизнью, другие — невыносимыми страданиями, третьи — горьким похмельем, четвертые, вдохновители иллюзий, — потерей ореола вождей и спасителей человечества, падением в бездну цинической подлости, низкой преступности, в пропасть махинаций самолюбивых интриганов, тиранов и темных дельцов.

Вы хотите подтверждений сказанному? Я могу их дать в любом количестве. Ограничусь минимумом.

Во-первых, октябрьская революция ставила своей задачей разрушение социальной пирамиды неравенства — и имущественного, и правового, — уничтожение класса эксплуататоров, и тем самым эксплуатируемых.

Что же получилось? — Простая перегруппировка. В начале революции из верхних этажей пирамиды массовым образом были выкинута старая буржуазия, аристократия и привилегированно-командующие слои. И обратно, снизу наверх, были подняты отдельные «обитатели социальных подвалов». «Кто был ничем, тот стал всем».

Но исчезла ли сама пирамида? — Ничуть. Если слепым сначала казалось, что она исчезает, то только в начале революции и только слепым. Через два-три года разрушаемая пирамида оказалась живой и здоровой. На низах снова были массы, наверху командующие властители. Последние были еще более привилегированы, чем старая власть, первые — еще более обездолены, чем раньше. При старом режиме у них все же были кое-какие права и гарантии, у власти — ряд ограничений, за которые она ни юридически, ни фактически не могла переступить... Теперь... у массы и гражданина не оказалось никаких прав, даже права на жизнь. Она превратилась в случайного, гражданина — в улику, которую мог раздавить и давил — без разбора рабочего и крестьянского происхождения — каблук первого встречного комиссара. Власть и ее агенты были не ограничены. Они могли вмешиваться во все. Нормой стало: *quod principi placuit legis habet vigorem, princeps legibus solutus est*⁷. Ни законов, ни гарантий, ни прав — вот объективный результат «поравнения»...

Имущественное неравенство? О, его мы наблюдали за все эти годы. Оно осуществлялось в «коммунизациях», «реквизициях» и «национализациях» вплоть до последней пары ложек и белья. Но в пользу кого и кем? Агентами власти и ее клиентами в пользу себя самих. Конечно, это не мешало иногда бросить обглоданную кость и крохи, якобы в пользу общества и бедноты, но только крохи, и то жалкие.

Это «равенство» проявлялось далее в том, что в 1918—1920 гг. массы — интеллигентный пролетариат, рабочий класс и крестьянство — умирали от голода, [живя] на $\frac{1}{16}$ и $\frac{1}{8}$ фунта хлеба, — верхи жили на пайке «что душа хочет». Там было все, вплоть до тропических фруктов, автомобилей и... нескольких любовниц. А теперь это «имущественное равенство» может видеть всякий экспериментально: пусть он побывает в России, посмотрит, как живут в Москве и в других местах власть имущие, их квартиры, стол, одежду, автомобили и т.д., и как там же валяются на улицах голодные и оборванные люди. Для этого достаточно просто пройти по двум-трем улицам. Контраст нищеты и роскоши в современной России больше, чем в любой «буржуазной» стране. Пропасть между «уровнем жизни» коммунистических и спекулятивных верхов и умирающей от голода многомиллионной массы значительнее, чем между «уровнем жизни» Моргана и американского рабочего. В итоге революции — и правовое и имущественное неравенство не уменьшилось, а усилилось. Пирамида стала не покатье, а круче и острее... Трагедия «молота и наковальни» не только не оказалась преодоленной, но еще более усиленной.

Мало того. Если ряд глупых людей вздумали бы утешать себя тем, что «все же, мол, на верхи, на командующие позиции попали люди низов», то и это утешение их теперь беспочвенно. В течение 1921—1922 гг. совершалась и продолжает совершаться обратная «циркуляция»: множество рабочих и крестьян, попавших на верхи в начале революции, теперь обратно выбрасываются оттуда, и наоборот, множество лиц, выкинутых в 1917—1918 гг. из командующих позиций на низы, теперь снова поднялись в *status quo ante*⁸. В армии — наверху снова старый генералитет (брусилковы,

⁷ Что угодно повелителю, имеет силу закона, повелитель законам неподвластен (*лат.*).

⁸ Прежнее состояние (*лат.*).

лебедевы, слащевы и т.д.) и офицерство, разбавленное процентом «новичков». В комиссариатах, кроме членов комиссий, остальные директора и начальники департаментов — старые «спецы»; здесь немало старых министров, товарищей министров, директоров... Так дело обстоит во всех этих госпланах, совнархозах, наркоматах.

Посмотрите далее, кто сидит в правлении трестов. Сначала были рабочие. Потом — два рабочих и один «буржуазный спец». В 1922 г. уже два, а то и все три члена правления состояли из «спецов», в число которых обычно входят бывшие хозяева данного предприятия. И так везде. «Переменная величина» революции неуклонно идет к старому пределу.

Рекомендую заглянуть и в такие ведомства, как ЧК и ГПУ. И здесь сейчас весьма значительный процент «чекистов» составляют бывшие агенты жандармского корпуса и охранного отделения, начиная с безымянных «шпиков» и кончая матерыми охранниками вроде знаменитого полковника-погромщика Комиссарова.

Во главе церковного управления власть поставила члена Союза русского народа Красницкого, а обер-прокурором стал бывший обер-прокурор Львов...⁹

«Все возвращается на свои места». Поистине неожиданные трюки выкидывает история, ошарашивая горячие, но невежественные головы.

А уничтожение эксплуатации? О, его испытало 97% населения на своей шкуре. «Добивались восьмичасового рабочего дня, а теперь работаем шестнадцать часов и получаем за это $\frac{1}{8}$ и $\frac{1}{4}$ фунта хлеба» — так резюмировало положение дел народное сознание. Правда, у нас юридически не было в 1918—1921 гг. капиталистов как собственников средств и орудий производства... Но зато был слой властвующих «разрушителей капитализма», безжалостно заставляющих население работать на себя и на свои забавы, начиная с III Интернационала. Людей мучили и хлестали хуже, чем хлещет дурной извозчик изнемогающую лошадь. Из семи дней в неделю крестьянин должен был отдавать «коммунистической барщине» 3—4 дня в виде выполнения бесчисленных повинностей: «дровяной, сплавной, гужевой, подворной, оконной, строительной, хлебной, молочной, яичной» и т.д. Под видом «суботников» и «сверхурочных» работ рабочего заставляли работать по 12—14 часов. А сверх них, придя домой, он сам должен был варить, добывать и колоть дрова, копать летом на огороде, шить, убирать жилище и т. д., ибо пойти в ресторан, на рынок, в кафе он не мог за отсутствием их и неимением денег.

Энергия тратилась пропасть. Питание же состояло из $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ фунта хлеба и жидкой каши. Весь заработок его в 1918—1920 гг. колебался от 2—5 рублей золотом, теперь он колебался от 3 до 8 рублей.

В то же время, как и теперь, верхи жили «на славу» и копили капиталы. Они сами «не сеяли и не жали, но успешно собирали в житницы». В настоящее время 30 миллионов крестьян умирает с голоду, остальные задавлены тяжестью неимоверных многочисленных налогов, рабочие непосильной работой и нищенской платой (3—8 рублей золотом), а верхи и новая буржуазия, вышедшая гл. обр. из коммунистов и кругов им близких, сколотили и сколачивают весьма солидные капиталы и кладут начало будущим банкирским домам и солидным капиталистам.

Вместо уничтожения эксплуатации революция создала в 1918—1920 гг. небывалую эксплуатацию, настоящее крепостничество в одной из худших форм, в форме государственного рабства; в 1921—1922 гг. с новой экономической политикой оно несколько смягчилось, но по-прежнему представляет эксплуатацию «буржуазного общества», усиленную во много раз.

Если есть еще люди, сомневающиеся в этом, я рекомендую им простой способ проверки: поехать в РСФСР, посмотреть лично положение дел и особенно сделаться рабочим. В одну-две недели Фома неверующий поймет, прав ли я или нет.

Революцией была провозглашена свобода. Действительность преподнесла такую «свободу», от которой все взвыли. Поведение людей оказалось связанным и опекаемым всесторонне. Автономия их пала до нуля. Область опеки, регулировки и вмешательства власти стала беспредельной, врываясь в сферы самых интимных отношений. От рождения до могилы каждый шаг оказался регулируемым сверху. Свободы совести, слова, печати, союзов, собраний объявлены были «буржуазными предрассудками». Власть стала вести «учет и контроль» и регулировать все стороны поведения и взаимоотношений. Что должен гражданин есть и пить, что делать, какой профессией заниматься, как и во что одеваться, где жить, куда ездить, чем развлекаться, что и как думать, что читать и писать, во что верить, что хвалить и порицать, чему учиться, что издавать, что говорить, что иметь и т.д. и т.д. — все было определено и регулировано. Люди обращены были в манекенов, которых дергали, но сами они не могли определить свое поведение. Я часто заводил домашним животным: их хоть в стойле предоставляю себе самим, а граждане РСФСР не имели и этой свободы: в их «стойло» даже ночью то и дело врываются «регулирувщики» и «наводили свой учет и контроль», часто кончавшийся тюрьмой или свободой смерти...

⁹ Протоиерей Владимир Красницкий и обер-прокурор Синода В. Н. Львов — деятели так называемого обновленческого движения.

Тюрьмы были переполнены как никогда, и не столько «буржуями», сколько крестьянами и рабочими. Целыми стадами гоняли людей на сотни «повинностей». Печать свелась к уничтожению всех книг и газет, кроме правительственных, собрания — к правительственной повинности для выслушивания очередной порции коммунистического «оратора», союзы — в фикцию и т. д. Словом, получилась такая «свобода» необузданного самодурства власти и беспросветного рабства населения, что гражданин РСФСР с полным основанием мог завидовать свободе рабов. Они действительно были свободнее.

С 1921—1922 г. стало немного легче. Но объем свободы при старом режиме по-прежнему остается желанным и недостижимым идеалом. Так обернулось дело о «свободе»...

Революция *urbī et orbī*¹⁰ провозгласила в октябре «мир». На деле же из него получилась зверская и безжалостная война, беспощадная и бессердечная, в течение трех лет после того, как остальные народы перестали воевать. Миллионы жертв, разрушенные города и села, взорванные мосты, развороченные пути, опустошенные нивы, замолкшие фабрики, кровью орошенные равнины России — свидетельства этого «мира»... Едва ли бы и сам дьявол сумел злее надсмеяться над этим «миром»...

Наконец замолк гром пушек. Но остался по сие время милитаризм, пронизывающий всю жизнь русского общества. Даже современная демобилизованная армия больше, чем армия мирного старого режима. Она поглощает чуть не весь бюджет государства (1 200 000 000 из 1 800 000 000 по проекту 1922 г.). Вся общественно-политическая жизнь милитаризована до сокровенных глубин, вплоть до обучения и посещения собраний и лекций (так и пишется: «в порядке военной и революционной дисциплины»).

«Кто плохой воин, тот гражданином быть недостоин» — так гласили официальные плакаты. Все управление, вся психология милитаризованы. Перед вами не страна, а огромная казарма...

Получившийся «мир» достоин коммунистической «свободы». В трехчленной формуле октябрьской революции стоял наряду с «миром» и «свободой» — «хлеб»... Населению были обещаны «кисельные берега и молочные реки», сытость, довольство, «курица в супе». Вместо этого русский народ накормили... свинцовой пулей, корой, травами, глиной, жмыхами, дурандой и в качестве десерта... мясом своих детей... «И будешь ты есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих», — сказано в Библии. Россия же стала великим кладбищем сотен тысяч трупов, умерших от голода и разобщенных и разбросанных по ее лесам и лугам, городам и селам... Таков хлеб, которым накормила революция русский народ... Он причастился тела и крови своей в буквальном, а не переносном значении этого слова. Совершилось поистине великое таинство. Остается воскликнуть: Те, Deum, laudamus! Ave, Revolutio, morituri te salutant!¹¹

С 1921—1922 г. питание столиц и городов несколько улучшилось за счет остальной России, зато деревенская Русь за эти годы стала голодать сильнее не только в районах, постигнутых катастрофическим голодом, но и в других областях: неизменно тяжелые налоги заставляли крестьянство продавать самое необходимое, продналог оказался не легче, а тяжелее разверстки. Крестьянин снова недоедает, во славу Интернационала, Советской власти и новой спекулятивной буржуазии.

Революция провозгласила принцип автономии народов, областей и децентрализацию. На бумаге она как будто провела свои обещания. На месте Российской империи теперь числится ряд автономных советских республик и областей. На деле же Россия сейчас централизована гораздо сильнее, чем раньше. Все эти автономные республики имеют чисто фиктивное существование и представляют простые вывески, скрывающие суть дела. Всем и вся управляет Москва, даже не Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, не Совнарком и даже не РКП, а «Политбюро Рос. Коммунистич. Партии» в составе пяти человек. Сюда стянуты все провода управления и отсюда исходят все «токи» власти. Остальные — простые исполнители приказов этой пятерки. Как Французская революция, по справедливому замечанию Токвиля, только довела до предела основные свойства старого режима, в том числе и тенденцию централизации 2-й половины 18-го века, так и русская революция довела до предела дурные стороны старого режима, в частности его деспотизм, тиранию, его бесправие, его централизацию и бюрократизацию. Если царизм не давал возможности развитию земского и городского самоуправления, не признавал автономии национальностей и областей, то революция пошла еще дальше по этому пути, прикрыв свое дело архиваутономными лозунгами и вывесками.

Основным лозунгом коммунистической революции был лозунг разрушения капитализма. Во что же он вылился?

В разрушение средств производства и обращения, раз. В установку на место частного капитализма худшей формы последнего — капитализма государственного, два. Наконец, в попытку

¹⁰ Городу и миру (*лат.*).

¹¹ Тебя, Господи, хвалим! Радуйся, Революция, идущие на смерть приветствуют тебя! (*Лат.*)

возрождения разрушенного частного капитализма, три. Таковы объективные итоги в этой области.

Ниже будут приведены данные, характеризующие катастрофическое разрушение всего хозяйства страны. Грандиознейшее обнищание страны и вымирание, наступившее в итоге «коммунизации», рост крестьянских восстаний, грозивших власти, заставили последнюю в 1920 г. сделать первый шаг назад: провозгласить вместо коммунизма государственный капитализм, представляющий якобы высшую форму капитализма.

Я не знаю, цинизмом или невежеством объясняются такие заверения. То, что у нас введено было под именем государственно-капиталистической системы, представлял буквально повторение хозяйственной системы древней Ассирии-Вавилонии, древнего Египта, древней Спарты, Римской империи периода упадка (III—V вв. по Р. Х.), государства инков, Перу, иезуитов, системы, не раз имевшей место в истории древнего Китая, напр. при Ван-ан-Ши и др., древней Японии, системы, близкой к состоянию ряда государств ислама, бывшей не раз в истории Персии, Индии и т. д. (мной подготовляется на эту тему специальная монография. См. развитие этих положений в моей печатающейся книге «Голод как фактор» в главе «Голод и этатизм», а также в статьях: «Влияние войны на общественную организацию» и «Влияние голода». — «Экономист», № 1, 2 и 4—5 за 1922 г.).

Эта-то примитивная система, несравненно более древняя, чем частный капитализм, наступавшая обычно в периоды декаданса, войн и обнищания, в силу тех же условий долженствовавшая наступить и у нас, была объявлена «высшей формой капитализма» (см. речь Ленина о продналоге). Невежественные и трагические шутники! — остается сказать на это.

Мудрено ли, что вместе с ней рабочие и крестьяне попали в то же положение, в каком они были всегда при такой системе: в положение рабов и крепостных Египта, рабов и илотов Греции, колонов и закрепощенных ремесленников Римской империи, индейцев государства иезуитов, бесправных рабов государства инков и т. д.

Приведу для примера описание государства инков и Римской империи III века. Они представляют адекватное описание РСФСР этого периода. В Перу власть была «центром и церковной и судебной главою». Нация состояла из рабов этой власти, носивших звание солдат, работников и чиновников. Военная служба считалась обязательной для всех индейцев. Отслужившие сроки отчислялись в запас и должны были работать под надзором государства... Все жители были подчинены чиновникам («комиссарам». — П. С.). Церковная организация была устроена подобным же образом. Шпионы, наблюдавшие за действиями других служащих (ЧК. — П. С.), имели также свою организацию. Все было подчинено государственному надзору. В деревнях были чиновники, наблюдавшие за посевом, пахотой и жатвой. Когда был недостаток в дожде, государство снабжало пайком воды. Путешествующий без разрешения наказывался как бродяга; но зато для тех, кто путешествовал по служебным обязанностям (то есть «командировкам». — П. С.), существовало особое учреждение, снабжавшее квартирой и всем необходимым. На обязанности десятников лежало наблюдение над одеждой народа, чтобы носили те платья, которые им предписаны. Сверх этого контроля жизни внешней существовал еще контроль и жизни домашней. Требовалось, чтобы народ обедал и ужинал при открытых дверях так, чтобы судьи могли входить свободно (для надзора). Тех, кто дурно содержал свой дом, секли. Под этим контролем народ трудился над поддержанием столь сложной государственной организации. Высшие чины были свободны от налогов, зато земледельческий класс, за исключением находящихся на службе в армии (красноармейцев. — П. С.), должен был отдавать весь свой продукт, оставляя себе лишь то, что требовалось для скудного пропитания. Сверх натуральной повинности, состоявшей в обработке земель, крестьяне должны были обрабатывать земли солдат, находящихся на службе (у нас — красногвардейцев. — П. С.). Кроме того, должны были платить подать обувь, одеждой (у нас — продналог, льняная, гужевая, топливная и другие повинности. — П. С.). Участки земли, предназначенной на нужды народа, распределялись между отдельными людьми сообразно с их семейным положением. Точно так же и относительно продуктов от стад: часть их периодически подвергалась стрижке, причем шерсть делилась чиновниками (у нас — молочная, яичная, шерстяная, мясная, масляная и другие повинности. — П. С.). Это устройство было следствием того, что частная собственность находится в пользовании каждого человека только по милости власти. Таким образом, личность, собственность и труд народа принадлежали всецело государству; народ переселялся из одной местности в другую по указанию власти (у нас — «переброски» Троцкого и трудовые переброски); люди были просто единицами централизованной военной машины и направлялись в течение всей жизни к наивозможно большему выполнению воли власти и наивозможно меньшему действию по своей собственной воле... Перуанцы не имели монеты; они не продавали ни одежды, ни домов, ни имений, их торговля почти не выходила за пределы простого обмена съестными припасами.

(Герберт Спенсер: Основание социологии, т. II, 436. В Римской империи III—IV вв. по Р. Х., как и у нас: 1) власть не ограничена, 2) ее вмешательство, опека и централизация безграничны, 3) частной собственности, торговли и промышленности почти нет: все занято государственно-плановым хозяйством, 4) денежной систе-

мы тоже почти нет, 5) нация система «пайков» и карточек, 6) все население прикреплено к своим местам, 7) свободы труда нет, 8) свободы союзов также и т.д. и т.д. См., напр., Waltzing: Etude Historique sur les corporations professionnelles chez les romains. 1896, т. II, 480-4 и др., работы М. И. Ростовцева, Hirschfeld'a, Diel'a, Salvioh, Digny и др. Подробно смори в моих указанных работах.)

По сравнению с этим положением государственных крепостных положение рабочих в буржуазном обществе является — с материальной, и правовой, и моральной стороны — недостижимым идеалом. Рядом с этим результатом неизбежно явилось и второе следствие этой наилучшей формы капитализма: дальнейшее падение производительности труда, дальнейшее обнищание и вымирание. (Вообще государственно-капиталистическая система экономически неизбежно ведет к этому обнищанию и через это — к самогибели. Если в ряде обществ она могла сравнительно долго существовать, то только потому, что грабила другие народы путем войны /Липара, Спарта, Рим, ислам и т. д./ или бесчеловечно-эксплуатировала трудовые слои, заставляя их работать сверх сил в пользу кучки властвующих /государство иезуитов, инков и г.д./.) В итоге и наши «сладкие вожли» поняли это и принуждены были сделать новый шаг назад: прокламировать новую экономическую политику, а тем самым частный капитализм. Началось усиленное закрывание и изъятие частного капитала: сотни приманок были пушены в ход, чтобы привлечь его и аренда, и концессия, и архиреволюционные проценты, и привилегии долов, и всекие гарантии. — словом, началась распродажа России оптом и в розницу с целью привлечения капитала. Денационализировали деревню и мелкую промышленность, продолжают, умираясь, денационализировать и крупную индустрию. Нужно ли говорить, что это в течение года будет сделано? Нужно ли говорить, что все слова о непризнании «собственности» — пустые слова, пускаемые только для внешнего употребления, а затем — допуская право владения, пользования и распределения на 45 и даже 99 лет — власть тем самым признала собственность в объеме большем, чем нужно.

Граждане РСФСР, видя этот ход назад, естественно спрашивают: «Раз так, то зачем нужно было разрушать национальное богатство, объявив низвержение капитализма, раз сами разрушители его вынуждены снова вводить и культивировать этот плод?»

Я не мистик и не ищу в истории руки Провидения, но есть нечто постоянное знаменательное в той злой шутке, которую история выкинула с коммунистами: их же самих своими собственными руками она заставила возродить то, что они разрушали. Теперь они пытаются капитализм посадить всеми силами, но разрушники редко могут стать организаторами хозяйства. Изгнанный капитал, несмотря на все приманки, не идет. Постоянно большего банкротства коммунизма трудно вообразить.

Но ирония истории идет дальше... Помимо сказанного, в результате коммунистической революции в России возникла и сейчас бушует небывалая собственническая стихия. До коммунизма у нас в деревне не было настоящей мелкой буржуазии, у крестьян — глубокого чувства и положительной оценки института частной собственности. Теперь то и другое налицо. Революция превратила наших общинников-крестьян в индивидуалистов-собственников. По всем областям России идет стихийное выделение крестьян на отруб и хутора. Власть бессильна сопротивляться этому, и земельный закон 22 мая 1922 г., представляющий разновидность закона П. А. Столыпина, санкционировал это. Короче, в деревне коммунистическая революция выполнила программу П. А. Столыпина, создала мелкого собственника и надолго похоронила всекие коммунизмы.

То же и в городе. Здесь объективным результатом явилось образование новой буржуазии — «измаилов», — пока чисто спекулятивной, шакаловидной, хищной, непродуцательной, но архиндивидуалистической, полнокровной и чистого общего не имеющей со старой «интеллигентной» буржуазией. Выйдя г.д. обр. из рядов коммунистов, сколотив капиталы путем грабежа, «национализаций», «реквизиций», «коммунизаций» плюс — мошенничества, обмана, спекуляций, она знает цену «хорошим словам»: «что свое — мое, что мое — мое» — таково было осуществление ею коммунизма на практике. Ее не проведешь теперь хорошими словами, она к ним глуха и будет защищать награбленное всеми силами, «зубом и когтем». По своей психологии она архиндивидуалистична, антикоммунистична и теперь уже составляет ту долю, о которую разбиваются все волны коммунизма... Ее число растет, 200 000 вышедших из партии коммунистов в огромной части перешли в этой слои довой буржуазии. Наконец, сама коммунистически-социалистическая идеология после опытов в стране окончательно дискредитирована. Она ненавистна. Против нее по меньшей мере 97% населения. Прибавьте к сказанному полную ликвидацию коммунистических начал в самой жизни, в форме почти полного уничтожения «коллективных хозяйств», «совхозов», «комхозов», бесплатного обучения, школ, трамваев, прекращение пайков, социального обеспечения и т.д. и т.д. — и тогда будет понятно, что коммунизм в России кончился. Его нет, если не считать им еще остающуюся в плену «национализации» разваливающуюся гажелую индустрию (и то потому, что нет охотников взять ее обратно). Стадия коммунизма пройдена (оставив по себе появление и расцвет антикоммунизма, психологию частной собственности, образование полнокровной сельской и городской буржуазии и ненависть к идеологии и системе коммунизма-социализма.

Такое же полное банкротство случилось и с диктатурой пролетариата. В стране, где пролетариат составлял не больше 3—4% населения, такая диктатура, если бы она и была осуществлена, могла бы быть только тиранией пролетарского меньшинства над большинством. Фактически и этого не было. В 1917—1918 гг. мы имели власть, составленную из *intellectuelles*, из лиц никогда не работавших на заводе или на поле, вышедших из среды буржуазных классов (Ленин, Троцкий, Зиновьев, Красин, Чичерин, Луначарский, Межлаковский и т.д.), но опиравшихся на стихийное движение значительной части армии, крестьян и рабочих. Став во главе движения, мастерски используя усталость от войны, недовольство от ухудшения материальных условий, желание отобрать помещичьи земли, — они были вынесены наверх этими массами. Заняв верховные командующие позиции, они допустили на подчиненные места множество выходцев из крестьян, рабочих и солдат. Наученные опытом, зная непрочность своего положения, они с первых же дней захвата власти принялись за организацию армии своих преторианцев. Создав аппарат насилия и террора в виде ЧК, тем самым они положили начало перерождению трудовых масс — в власть тираний над этими массами.

К началу 1919 г. уже произошел отлив масс от власти, начались рабочие и крестьянские восстания. Диктаторы, вместо удовлетворения массовых желаний, перешли к необузданному усмирению их посредством своих преторианцев. Начался террор. Наивны те люди, которые думают, что он был направлен только против буржуазных классов. С полной готовностью нести ответственность за свои слова, я утверждаю, что он не в меньшей, если не в большей степени пал на рабочих и крестьян. Так как большинство Советов, избранных в 1918 г. трудящимися, оказалось антибольшевистским (в отличие от 1917 г.), то эти Советы были разогнаны, избранные депутаты арестованы.

Рабочие собрания и митинги, проникнутые оппозиционными настроениями к правительству, закрывались, не допускались, а наиболее видные члены их арестовывались. То же произошло и с крестьянскими съездами.

Вслед за арестами пришла и полоса расстрелов, индивидуальных и массовых. Последние приняла форму настоящей войны с деревней. Села и поселки окружались военно-преторианскими частями, громилась, сжигалась артиллерией, а вслед за «завоеванием» их наступала массовая экзекуция в форме расстрелов «зачинщиков», в форме убийства одного из каждого десятка лиц.

Я утверждаю: огромное большинство из тех сотен тысяч, которые были расстреляны властью, состояло из рабочих и крестьян.

Позже все это вылилось в форму грандиозной гражданской войны, множества фронтов, составленных восставшими массами, и необъятного количества рабочих, крестьянских и матросских восстаний, говорящих весьма ярко о характере этой мнимой «диктатуры пролетариата». С 1919 г. власть фактически перестала быть властью трудящихся масс и стала простой тиранией, состоящей из беспринципных интеллигентов, деклассированных рабочих, уголовных преступников и разнородных авантюристов.

Западноевропейский читатель недоумевает: если так, то каким же образом такая власть могла удержаться? — недоуменно спрашивает он. Для него такое положение дела непонятно. Ему кажется, что так обстоит дело не может. Но увы! это так.

Причины этого «странного» положения таковы.

Во-первых, из личного опыта ему должно быть известно (социология же еще устами Спенсера это показала), что небольшая, но хорошо организованная группа может управлять группой, в десятый раз ее превосходящей по числу. Отряд полицейских в 20 человек может разогнать толпу в несколько тысяч. Дисциплинированная воинская часть побеждает гораздо более численную, но плохо вооруженную и организованную армию. Исторический пример дает герцог Альба, с 10-тысячной армией испанцев властвовавший над 3-миллионным населением Нидерландов. Армия большевистских преторианцев в несколько десятков тысяч способна была властвовать и насилловать многомиллионную массу. Это делать было тем легче, что к этому времени (1919 и позднейшие годы) пролетариата в городах почти не стало: с развалом промышленности состав его сократился в 4—5 раз. Получилась «диктатура пролетариата без пролетариата». Массовые выступления его стали невозможными. Куда многократной пролетарской массы перестало существовать. Оставшаяся небольшая часть не могла быть внушительной силой.

Еще бессильнее оказалась деревня. Население России, разбросанное на $\frac{1}{6}$ части земного шара, расплыто, очень редко и потому не в состоянии организованно выступить сразу и действовать планомерно. Это затруднялось и тем, что печать была захвачена властью, все другие органы ее были закрыты. Власть же захватила почту, телеграф, телефон, пути сообщения и общения. Присоедините сюда факт умелого обезоруживания населения в 1918 г., в силу чего оно оказалось безоружным. Учтя все это, легко понять, почему крестьянские движения вспыхивали неорганизованно, без взаимной связи, почему, несмотря на их колоссальную численность, власть легко могла подавлять их. Один и тот же отряд сегодня расправлялся с одним селом, завтра перебрасывался за десятки верст, послезавтра — на новое место и таким путем мог

подавлять десятки восстаний. Армия же «усмирителей» в несколько десятков тысяч легко справлялась со многими миллионами.

Большую роль сыграла и усталость масс вместе с голодом. Истощенные, обессиленные, утомленные пятью годами войны и революции, они не имели достаточно энергии для борьбы. Террор при этих условиях вызывал легко покорность и апатию.

С другой стороны, надо отдать должное и власти. Она проявила громадную энергию в организации карательных отрядов. Питая их сытно за счет населения, предоставляя им свободу грабить и насиловать, ежечасно гипнотизируя их своей агитацией, она спаяла их в единую, крепко сплоченную группу преторианцев и связала судьбу и благополучие последних со своей собственной судьбой.

Присоедините сюда, наконец, веками воспитанную привычку русского народа к повиновению палке, физическому насилию... и, полагаю, даже для западноевропейца указанный «странный» факт будет вполне понятен. У нас повторилось то же самое, что повторялось много раз в истории тиранов разных народов.

Власть, вынесенная в 1917 г. на плечах рабочих, солдат и крестьян, в течение 1½ лет выродилась в диктатуру над рабочими и крестьянами, став из «трудовой» власти чистым деспотизмом. Сейчас ее армия преторианцев — «отряды особого назначения» — насчитывает около 400 000. Она организована. Рядом с ней создана своя бюрократия. Печать, почта, дороги — в руках правительства. Население истощено и расплывлено.

Отсюда понятно, почему оно держится, несмотря на то, что 97% населения его ненавидят глубже и сильнее, чем они ненавидели старый режим.

Вместо «диктатуры пролетариата» получилась диктатура авантюристов над народом и исчезновение самого пролетариата в силу разрушения и закрытия фабрик и заводов.

То же случилось и с III Интернационалом. Интернационал!.. Мировое объединение трудящихся для создания нового мира, основанного на новых началах! Таково задание. Что же имеем фактически? Во-первых, странное сужение объема лиц и групп, могущих быть его членами. I Интернационал допускал всех социалистов и даже анархистов вначале. II Интернационал — уже только социалистов, и то определенного толка, выкинув анархистов и другие группы за борт и сузив, таким образом, свой базис по сравнению с I Интернационалом. III же Интернационал еще более ограничил слои, могущие входить в его состав. Не только простые смертные — несоциалисты, не только все социалисты-некоммунисты, но даже ряд коммунистических групп не могут войти в лоно этой церкви. 99,9% населения — еретики и недостойны благодати Зиновьева-пророка и Маркса-Аллаха. Недурной Интернационал! С таким же правом тогда можно основать 4-й и 5-й Интернационалы собирателей старых каблук или испаривателей женских животов. Так обстоит дело с количественно-объемной точки зрения. С качественной точки зрения III Интернационал представляет институт, сеющий за деньги русского народа семена ненависти и зверства по земному шару. С точки зрения его состава — это в огромной части скопление авантюристов и циников всех стран, заинтересованных в хороших синеккурах и в приобретении власти, не стесняющихся в средствах, руководствующихся заповедью «все позволено», хорошими словами прикрывающих свои уголовные задания и довольно ловких в деле использования недоvolьства масс. Я не могу ждать спасения человечества от международного союза бандитов. По той же причине не могу ожидать его и от III Интернационала. Положительных результатов улучшения положения рабочих он дать не может, но бедствия может вызвать весьма серьезные.

Довольно...

Сказанное, полагаю, достаточно четко подтверждает: 1) правильность закона социального иллюзионизма в явлениях русской революции, 2) неисполнение ею ни одного из ее лозунгов, а осуществление результатов, противоположных им; 3) социальная пирамида русского общества осталась нетронутой. Она скорее удлинилась, чем сократилась. Переменились лишь жилыцы разных этажей пирамиды, но за последние полтора года и здесь появилась реставрация: выкидывание сверху рабочих и подъем наверх «буржуев»; 4) равенство — правовое и экономическое — не увеличилось, а уменьшилось; 5) эксплуатация не ослабела, а усилилась; 6) объем свободы страшно сократился; 7) деспотизм власти возрос; 8) разрушено народное хозяйство, а не капитализм; 9) вместо создания более совершенной системы общества под именем коммунизма и государственного капитализма был введен архаический строй государственного рабства, характерный для древних деспотических организаций. Вместо коммунистического строя происходит реставрация частнокапиталистической системы; 10) вместо «мира» революция дала зверскую войну, опустошившую страну и обескровившую население; 11) вместо «хлеба» — голод, вымирание и людоедство; 12) вместо коммунизма полное дискредитирование коммунизма — как системы общества и хозяйства, как идеологии и как практического идеала; 13) создала стихию индивидуализма, частной собственности и класс новой деревенской и городской буржуазии, совершенно иммунитетный к идеологии коммунизма и ненавидящий ее; 14) вместо «диктатуры пролетариата» — унич-

тожила пролетариат России, в то время власти трудящихся преподнесла неограниченную тиранию, попирающую интересы крестьян и рабочих; 15) вместо Интернационала — клику авантюристов, расхищающих остатки золотого фонда России, беспринципных антропоидов, сеющих ненависть, вражду и новые бедствия. Таков сжатый бухгалтерский подсчет новых «завоеваний великой революции». Радуйтесь, господа апологеты этой прожорливой особы! Что касается меня — я возвращаю билет на вход в ее лоно и отказываюсь от чести быть ее рыцарем.

Мой «бухгалтерский» баланс «завоеваний» не только нашей революции, но и всех «великих» по пролитой крови революций привел меня к определенному итогу, гласящему: «Величайшими эпохами реакции в истории любого народа являются эпохи глубоких революций, а величайшими реакционерами — величайшие диктаторствующие революционеры». Все это, как и все выше- и нижеследующее, относится к кровавым революциям, и чем они кровавее, тем эти отрицательные результаты больше. К бескровным революциям все это не относится. (Книга по социологии революции, где это будет показано, мной готовится к печати.)

Это звучит парадоксально, но верно. Все дальнейшее будет новым подтверждением сказанного.

3. Изменения в экономической области

Здесь итог ясен и краток. Мы, современники и актеры этих лет, представляем то поколение, которое в 8 лет умудрилось промотать 60—70% всего достояния, накопленного предыдущими поколениями. Мы «славно били стекла», с размахом, разухабисто, основательно. Не беда, если бы за эту «гульбу» наказание несли мы сами: мы его заслужили.

Но увы! грех отцов ляжет грузом на плечи грядущих поколений. Им придется расплачиваться за наш бесшабашный разгул. Вот когда вещими становятся слова поэта:

И прах наш с строгостью судьи и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой гордою обманутого сына,
Над промотавшимся отцом¹².

И оскорбит по праву...

Но к делу. Оно вкратце таково.

Мы сейчас много слышим от ряда наивных или лицемерных иностранцев об улучшении экономического положения России. Если судить об этом по виду Москвы и Петрограда, изучаемому из окон отеля или со слов любезного правительственного «гида», такой вывод будет вполне естественным.

От этого он, однако, ничуть не делается верным.

Верным было и остается утверждение, гласящее: за годы революции народное хозяйство России разрушено «вдрызг». Оно продолжает разрушаться и сейчас. Введение новой экономической политики замедлило, однако, темп этого разрушения, кой-где даже дало симптомы его остановки, но только кой-где и симптомы ненадежные. Я не сомневаюсь, что предоставление свободы частной инициативе, юридическое введение частной собственности и ее правовых гарантий повлекло бы быстрое сравнительно возрождение экономической жизни страны. Но увы! власть, давши маленький простор «личному стимулу», не дает ему развернуться, душит его и потому мешает ему дать свои положительные следствия.

Нижеследующие данные — взятые из официальной статистики — четко рисуют положение дел. (Официальная статистика в разных изданиях дает разные цифры. Привожу более вероятные.)

Сельское хозяйство

Посевная площадь по сравнению с довоенной нормой составляла

в 1920 г.	лишь 55—60%
в 1921 г.	— 50%
в 1922 г.	— 40—45%

Голод 1922—1923 гг. не дает оптимистических надежд на ее расширение и в наступающем году.

Урожайность. Она пала и продолжает падать.

¹² Не совсем точная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума». У Лермонтова «насмешкой горькою»

Сбор с десятины ржи	в 1909—1913	был 53,9 пуда.
"-" "-" "—" "	в 1920	"- 33,7 "-
"-" "—" озимой пшеницы	в 1909—1913	"- 62,3 "-
"-" "—" "—" "—" "	в 1920	"- 32,7 "-
"-" "—" яровой "—" "	в 1909—1913	"- 50,7 "-
"-" "—" "—" "—" "	в 1920	"- 28,5 "-

В 1921 г. урожайность еще более пала. В 1922 г. она несколько повысилась, но ничтожно и не везде.

Мудрено ли поэтому, что вместо 7 009 331 600 пудов валового сбора всех зерновых хлебов и картофеля (в переводе на зерно) в 1909—1913 гг. и 4 498 507 000 пудов чистого сбора на территории современных советских республик было собрано

в 1920 г.	лишь 2,1 миллиарда пуд.
в 1921 г.	"- 1,9 "—" "—" "
в 1922 г.	"- 1,8—2 "—" "—" "

Россия, раньше вывозившая за границу 650 миллионов пудов, теперь голодает, умирает и дошла до людоедства.

Сходное видим и в области животноводства. К 1921 г. крупный рогатый скот сократился на 50% по сравнению с довоенной нормой, молодняк — на 50—60%, число свиней — на 60%, овец — на 70%, лошадей — на 50—60%. Племенные рассадники уничтожены, производители съедены, 30% всех крестьянских хозяйств безлошадны. В голодающих областях картина еще мрачнее.

Славно поработала октябрьская революция!

Сбор льна был	в 1913 г.	31,9	млн.	пуд.
	в 1920 г.	2,0	"—" "	"—" "
	в 1921 г.	1,5	"—" "	"—" "
Сбор хлопка давнялся	в 1916 г.	12	млн.	пуд.
	в 1919 г.	4,5	"—" "	"—" "
	в 1920 г.	3,2	"—" "	"—" "
	в 1921 г.	1,0	или даже	0,7 млн. пуд.

Свеклосахарная промышленность в еще худшем положении.

Принимая площадь посева и величину производства сахара в 1914—1915 гг. за 100, мы получаем:

	1914—1915	1918—1919	1919—1920	1920—1921
Посевная площадь	100	59,0	55,6	25,9
Производство сахара	100	19,3	4,6	5,3

В 1921—1922 гг. жизнь была также «не сладкой».

Производство сельскохозяйственных машин составляло

в 1914 г.	44,8	млн.	руб.
в 1920 г.	2,8	"—" "	"—" "
в 1921 г.	2,1	"—" "	"—" "

Сбор шерсти составлял в довоенное время 6 млн. пуд., в 1921 г. 0,6—0,7 млн. пуд. (3 млн. пуд. по др. источникам).

Сбор пеньки составлял в довоенное время 20 млн. пуд., в 1921 г. 3 млн. пуд.

Из этих цифр картина совершенно ясна.

Промышленность

Продукция всей промышленности равнялась в довоенное время 4,5 миллиарда зол. руб., в 1921 г. — 650 миллионам зол. руб., т. е. 15%.

Добыча угля равнялась в довоенное время	1,8	миллиарда	пуд.
в 1920 г.	0,45	"—" "	"—" "
в 1921 г.	0,5	"—" "	"—" "
в 1-ю пол. 1922 г.	0,32	"—" "	"—" "

Причем самопотребление угля на копиях раньше не превышало 7—8%, теперь достигает 48%.

Добыча нефти в довоенное время составляла	526	миллионов	пуд.
в 1920 и 1921 гг.	"—" "	230—242	"—" "
в 1-ю пол. 1922 г.	"—" "	300	"—" "

Выплавка чугуна в 1914 г.	была	249,4	миллиона	пуд.
в 1921 г.	"-	7,5	"-	"-
в 1-ю пол. 1922 г.	"-	5,4	"-	"-
Добыча жел. руды в довоенное время	составляла	550	миллионов	пуд.
в 1921 г.	"-	13	"-	"-
в 1-ю пол. 1922 г.	"-	11	"-	"-

Добыча меди в 1921 г. составляла лишь 6% довоенной нормы.

В хлопчатобумажной промышленности в 1921 г. работало лишь 12% веретен (довоенной нормы), и то неполное время.

В 1922 г. здесь наметилось некоторое улучшение. В первое полугодие 1921 г. было произведено 119 мил. аршин тканей.

Льняная промышленность в 1921 г. сократилась на 75% и вернулась к норме 50—60-х годов 19-го века.

Химическая промышленность в 1922 г. составляла 15% довоенной нормы.

Добыча золота равнялась в довоенное время	3774	пуд.
в 1920 г.	109	"-
в 1921 г. около	84	"-
Добыча платины равнялась в довоенное время	299	пуд.
в 1920 г.	21	"-
в 1921 г.	12	"- 35 ф.

Транспорт тоже «налаживается»:

в довоенное время мы имели 19 000 паровозов, теперь — 7 000, в довоенное время мы имели 473 000 вагонов, теперь — 195 000.

Государственные финансы умопомрачительны.

До 1 янв 1922 г.	выпущено	бумажных	денег	на	7	трил.	руб.
к 1 мая 1922 г.	"-	"-	"-	124	"-	"-	"-
к 1 ноября 1922 г.	"-	"-	"-	1302	"-	"-	"-

С 1 окт. по 31 дек. 1922 г. предполагается выпустить еще около 1 800 трил. руб.

Итого за год эмиссия грозит дойти почти до 3 квадрильонов! Стабилизируется и рубль. Еще в начале сентября 1922 г. 10-рублевый золотой стоил около 25 мил. сов. руб., 26 окт. он стоил уже 125 миллионов.

В переводе на золото, однако, вся эта квадрильонная бумажная лавина стоит всего 40—100 мил. зол. руб. Таково все национально-денежное богатство России. Денежная душевая норма теперь составляет около 1—2% довоенной денежной нормы!

Торговля. С введением нэпа она оживилась, но по-прежнему ничтожна по сравнению с довоенным временем. Иллюстрацию дает внешняя торговля России. Ввоз и из-за границы составлял

в довоенное время	1 139 600 000	зол	руб
в 1921 г.	248 500 000	"-	"-
в 1-ю пол. 1922 г.	279 200 000	"-	"-

Вывоз за границу составлял

в довоенное время	1 501 400 000	зол	руб
в 1921 г.	20 200 000	"-	"-
в 1-ю пол. 1922 г.	24 800 000	"-	"-

Материальное положение крестьянства в 1921, 1922 гг. резко ухудшилось. В голодных областях оно ужасно. Но невесело оно и в неголодных районах. Замена разверстки продналогом не облегчила положение крестьянина. Теперь с него «дерут» семь шкур в виде множества налогов и повинностей. Ободранное крестьянство снова перед нами!

Материальное положение рабочего класса видно из цифр его заработка. До войны средний месячный заработок рабочего равнялся 21 руб. 25 коп.; в 1920 г. — 2 руб. 70 коп., в 1921—1922 гг. — от 2 до 7 руб.

Прибавьте к этому рост безработной армии, сейчас уже превышающей 1 000 000 человек, абсолютно безвыходное их положение, и картина будет вполне ясной!

Опыты «коммунизации» и «государственных капитализмов» разорили страну.

Такое положение дел волей-неволей заставило коммунистов «бить отбой» и начать заманивание капитала. Отсюда — новая экономическая политика, денационализация мелкой и средней промышленности, щедрое обещание аренд, концессий, распродажа России и готовность предоставления капиталистам львиных выгод и процентов, без «признания собственности», но с правом пользования, владения и распоряжения на 50 и даже 99 лет. Это у нас называется непризнанием собственности!

Но увы! капитал, который так рьяно разрушали, не идет, несмотря на все приманки. Из предприятий, предназначенных к аренде, сдано не больше 70%, причем взяты в аренду предприятия небольшие, главным образом мельницы, хлебопекарни и т.п., не требующие вложения капиталов. Основным мотивом их аренды был мотив «снятия жира», т. е. разграбления остатков сырья, инструментов и машин арендаторами в свою пользу. Общее число рабочих на этих предприятиях очень невелико. Часть этих договоров теперь снова расторгается.

О крупных и больших концессиях, где требуется вложение капитала, пока говорить серьезно не приходится.

В итоге этой политики «назад к капитализму», введенной снова в игру выключенный стимул личного интереса, замечается некоторое оживление торговли, производительности в деревне, не постигнутой голодом, в мелкой промышленности, освобожденной от цепей национализации, но все это в размерах скромных. Беспорядочный режим и система произвола тормозят возрождение экономики.

Что же касается крупной индустрии, пока еще не денационализированной, то она продолжает разрушаться и приносить все больший дефицит, словом — агонизирует.

Система «государственных трестов» (т. е. государственных богаделен и синекур для коммунистов и спекулянтов, где они, в качестве членов правления, получают громадные оклады, но не несут — в отличие от предпринимателя — риска, куда поэтому попало много дезорганизаторов, а не организаторов хозяйства, где нет стимула к энергичной работе, ибо оклады обеспечены, а риску нет), эта система успешно способствует этой агонизации.

Бесконечное число органов, «регулирующих» хозяйство. — Советы народного хозяйства, Совет труда и обороны, Госплан, Всерос. совет проф. союзов, Совнарком и наркоматы и т.д., с невыясненностью и столкновением их функций, с патриотизмом своего ведомства, стремящимся «подставить» ножку другому ведомству, с взаимной борьбой и антагонизмом, все это еще сильнее ухудшает и без того безнадежное состояние национализированной тяжелой индустрии и ведет ее к вымиранию.

Этот результат становится теперь понятным и нашим «гениальным» вождям и «организаторам» развала хозяйства. Итогом его может быть лишь один выход: денационализация, упразднение или сокращение функций всех этих государственных органов «регулирования» хозяйства, ограничение самих экономических функций государства и власти, признание собственности (не только фактическое, а и юридическое), т. е. полное возвращение к старому.

Лично я не сомневаюсь в том, что в течение 1—1½ года это будет иметь место, если не будет войн и катастроф.

Таким образом, и здесь мы имеем одни только потери и никаких приобретений. Одно разрушение — без продуктивного, развивающего хозяйство страны творчества. Общее обнищание, голод, вымирание — словом, развал.

Едва ли после этого опыта можно повторять: «Дух разрушающий есть и дух созидующий».

После всех понесенных потерь и гибели хозяйства, в чем сами коммунисты вынуждены видеть спасение? — В восстановлении капитализма.

Это значит, что их выдуманные, «рациональные» рецепты по сравнению с бессознательно сложившейся, но гениальной по своей тонкости и целесообразности системой «капиталистического» общества решительно никуда не годятся. Это не значит, что последняя идеальна, а значит, что по сравнению с ходячими, выдуман-ными системами общества и хозяйства господ коммунистов и многих социалистов она несравненно лучше и совершеннее.

Это многим было известно раньше. Но нужно было распятие России, чтобы поняли это и много других «неверующих». Было бы поистине жаль, если бы опыт не был усвоен.

Что касается России, то она его усвоила и теперь надолго гарантирована от повторения подобных экспериментов. С нее довольно... Пусть теперь попробуют это делать другие, те, кто не усвоил урока. После опыта и они поймут великолепно эту простую истину.

(Окончание следует)

А. СИНЯВСКИЙ

*

ЧТЕНИЕ В СЕРДЦАХ

Статья А. Д. Синявского «Чтение в сердцах» поступила в редакцию после публикации в «Новом мире» (1991, № 5) эссе А. И. Солженицына «...Колеблет твой треножник». Наставив на своем праве на ответ, А. Д. Синявский предложил в качестве такового статью из парижского журнала «Синтаксис» (1984, № 17).

Напомним, что полемика-вокруг «Прогулок с Пушкиным», начатая в эмиграции и продолженная в России, развертывалась скорее в пространстве идеологическом, нежели в культурном. Готова ли сегодня широкая читательская аудитория воспринимать слово писателя со свободной критичностью, не переходящей в «последний и решительный» идеологический бой? Представление о современной культуре, которым руководствуется в своей практике «Новый мир», позволяет надеяться на оптимистический ответ.

Предлагаем читателю статью А. Д. Синявского и знаменитых, но в России еще не печатавшихся «Наших плюралистов» А. И. Солженицына (на эту публицистическую работу автор «Прогулок с Пушкиным» не случайно ссылается в своем отклике) как документы недавней, неостывшей истории русской общественной мысли. При этом в намерении редакции вовсе не входит вытягивать читателей в этот долгий спор, провоцировать его новый виток.

Еще одна оговорка: поскольку некоторые выражения автора статьи «Чтение в сердцах», адресованные культурным деятелям русского зарубежья, на наш взгляд, за гранью допустимого, оставляем их на совести автора — естественно, огорчаясь и, естественно, не «цензурируя».

В последних номерах «Вестника РХД» появился ряд материалов, задевающих меня по разным мотивам и поводам. Начало расправе с «плюралистами» положили А. И. Солженицын в «Вестнике» № 139, подхватила З. Шаховская в № 140, а в № 142 уже четыре-пять статей меня близко касаются. Я было не хотел отвечать. Но соблазнила территория, так щедро предоставленная мне — по французскому праву ответа — в «Вестнике РХД». К тому же проблема шире личных неудовольствий и затрагивает несколько интересных аспектов¹.

* * *

В виде продолжения «Очерков литературной жизни», в № 142, Солженицын напечатал статью «...Колеблет твой треножник», где сердится на мою книжку «Прогулки с Пушкиным». Здесь не место спорить о вкусах. Солженицын — реалист (являющийся последнее время к «сореализму» с обратным знаком) и моралист. Понятно, у нас разные вкусы и разные стилистические ориентиров. Допустим, о чем-то для меня святом и великом я пишу иногда в тоне ироническом, а Солженицын эту иронию и самоиронию принимает всерьез, торжественно, «реалистично» и дает ей шевельвающий оппор. Его, понятно, коробят мои словесные обороты. Так же как меня коробят его со звучия типа «збирчино», «оупанься», «прыжовой хот», «в лабиринте своего прогрыза» и т.д. И мне, скажем, почему-то не нравятся его эротические сцены в древнерусском духе. Однако, при всех разногласиях, не стану же я утверждать, будто Солженицын особенно, по застарелой казачьей слобе корезин и ломает могучий русский язык или хочет совершить сексуальную революцию в России с целью подорвать ее нравственные начала. А Солженицын у своих оппонентов подозревает в первую очередь подобного рода коварные планы и замыслы. И потому книжку «Прогулки с Пушкиным» он не читает, он ее вычитывает, складывая из отдельных фраз злокозненную (с моей стороны) мозаику. Он не видит текст, но смотрит дальше и глубже, прозревает, «читает в сердцах», как говаривали в старину о высокопоставленном начальстве. С его точки зрения, я, будучи отъявленным «плюралистом», во яммерился нанести удар специально по Пушкину как по великому авторитету России и из-за моей, конечно же, неутомимой несправедливости к России.

«Естественно ли было нам ожидать, что новая критика, едва освобождаясь от невыносимого гнета советской цензуры, — на что же первое употребит свою свободу? — на удар по Пушкину? С нашим нынешним опоздавшим опытом ответим: да,

¹ Статья «Чтение в сердцах» была написана в ответ на статью А. Солженицына и предназначалась для «Вестника РХД». Но «Вестник» в «праве ответа» мне отказал. — А. С.

именно этого и надо было ожидать... В этом суть. (И дух «плюралистов».) Для России Пушкин — непрекаемый духовный авторитет...»

Казалось, надо ли объяснять, что в «Прогулках» не наносил я по Пушкину никаких ударов? Выходит, надо. Комментирую. Эта книга была написана не «едва освободясь от гнета советской цензуры», как утверждает Солженицын. От гнета советской цензуры я освободился за десять лет до того, в 1956 году, ударив первым делом не по Пушкину, а по социалистическому реализму, за что и был арестован в 1965 году. Так что не «едва освободясь от цензуры», а едва попав в лагерь, я писал «Прогулки с Пушкиным» в самых что ни на есть подцензурных обстоятельствах. Писал в 1966—1968 годах как продолжение моего последнего слова на суде (только в другом стиле) — в защиту свободного творчества. И никакая это не «критика», и напрасно меня Солженицын в данном случае именует «критиком». Это лирическая проза писателя Абрама Терца, в которой я, по-своему, пытаюсь объяснить в любви к Пушкину и высказать благодарность его тени, спасавшей меня в лагере. По Солженицыну — наоборот: «Вот, дескать, сейчас мы тебя (Пушкина) распатроним перед нашим лагерным опытом». Ну скажите на милость, зачем мне, попав в лагерь, первым делом потребовалось «распатронить» Пушкина? Для чего — там, на истощении сил, отрезанному от литературы, и, казалось, навсегда, без надежды, что эти листочки увидят когда-нибудь свет?..

Правда, З. Шаховская в «Вестнике» № 140 подозревает за мною какие-то особые, легкие условия лагерного существования: «Особое место среди «либералов» занимает А. Синяевский... К номенклатуре он не принадлежал, был в лагере, по-видимому, в довольно благоприятных условиях, позволивших ему не прерывать литературную деятельность, и, вернувшись в Москву, можно предположить, был он там окружен культом личности, которому обычно подвержены вернувшиеся герои...»

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Тех, кого Солженицын клюет под именем «плюралисты», Шаховская доклевывает под названием «либералы», взяв это слово в саркастические кавычки... Даю справку — без «по-видимому» и без «можно предположить». Госпожа Шаховская в лагерях строгого режима, слава Богу, не сидела, условия лагерного содержания не знает и рассуждает об этих вещах предположительно, держа парус по ветру. Между тем об этом имеется уже большая литература. «Мои показания» А. Марченко, например. Смеею заверить Шаховскую: ни на шарашке, ни лагерным придурком, ни бригадиром я никогда не был. На моем деле, от КГБ, из Москвы, было начертано «использовать только на физически тяжелых работах», что и было исполнено. Работал большей частью грузчиком. В промежутках, между погрузками, писал — урывками, клочками, кусочками, в виде писем жене (два письма в месяц).

Специально Пушкиным раньше я не занимался, но многое — еще с детства — помнил наизусть и вначале решил писать о нем по памяти — во славу любви и «чистого искусства». Но в Лефортовской тюрьме, с неплохой библиотекой, кроме пушкинского томика, мне попалась известная книга В. В. Вересаева «Пушкин в жизни», построенная на документах и свидетельствах современников поэта. Я сделал оттуда кое-какие выписки. Вот и весь капитал.

Солженицын рекомендует (это за колочей-то проволокой!) опираться на работы о Пушкине — Бердяева, Франка, Федотова, П. Струве, Вейдле, Адамовича, о. А. Шмемана. Как будто не знает, что в Советском Союзе не то что в тюрьме — на воле эти книги запрещены. Требуется он также расширить наши узкие и грубые представления о Пушкине за счет того, что ему, Солженицыну, особенно импонирует в Пушкине, — имперские заботы, патриотизм, признание цензуры, обличение США, критика Радищева... Это чтобы я, лагерник, посаженный за писательство, лягнул Радищева, проложившего дорогу русской литературе в Сибирь?! Но, простите, это не мой Пушкин, это Пушкин Солженицына².

² Мне ставится в вину помимо собственных прегрешений публикация в «Синтаксисе» статьи Н. А. Кленова (псевдоним из России). По изысному выражению Солженицына, Синяевский «приючает» Кленова. Зачем «приючает»? Ну, конечно, чтобы продолжить поход на Пушкина и другие непрекаемые духовные авторитеты России(!).

Должен пояснить, что взгляды незнакомого мне Н. А. Кленова я разделяю далеко не полностью. Это не мешает нам публиковать статьи Кленова, которым в силу их остроты вообще нет места на эмигрантском «рынке». Говорить помимо прочего на острые, спорные и «запрещенные» темы, а не словословить хором прописные истины — такова позиция журнала «Синтаксис», и для этого он был основан.

Сам подход Кленова к Пушкину противоположен моим «Прогулкам». Я стремился лишить Пушкина почти всех человеческих примет и представить его исключительно как «чистый дух» самого искусства. Кленов же поэта выносит за скобки и оставляет «одного человека», что, на мой взгляд, противоречит самой природе Пушкина, у которого все — поэзия. Но объективности ради необходимо отметить, что не Пушкина «ниспровергает» Кленов и вообще не Пушкин основная тема его четырех статей, представляющих единую связку и опубликованных в «Синтаксисе», а советское общество и советский конформизм. Солженицын просто-напросто игнорирует этот факт — ради стройности собственной «пушкинской» версии.

Интересно было бы проследить, как на разных этапах русской и советской истории менялась и распространялась официальная, государственная мода на Пушкина. Точнее говоря — начальственные на него виды и предписания. В дореволюционный период это выражалось, например, в каменных параграфах гимназического воспитания, которые пересказал нам Александр Блок: «Пушкин — наша национальная гордость», «Пушкин обожал царя», «Любил царя и отечество» и т.п.

Сходным образом высокий государственный пост Пушкина насмешливо оценил Маяковский, поминая ранние футуристические турне по России: «В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина».

После революции новое начальство, естественно, пожелало увидеть в Пушкине своего передового предшественника. Коротко это можно представить анекдотическим (но вполне правдоподобным) эпизодом 20-х годов, о котором напоминает современный советский пушкинист В. Непомнящий: на одном литературно-партийном заседании тогда строчку Пушкина «Октябрь уж наступил» предложили толковать как — начало Октябрьской революции.

В 1937 году столетие со дня гибели Пушкина праздновалось как грандиозное всенародное торжество, прикрывающее авторитетом и гением поэта массовые аресты и казни. Попутно Пушкин становится символом русского национализма и советского патриотизма. Западный очевидец (немецкий русофил) Вальтер Шубарт писал по поводу пушкинского юбилея: «Тот факт, что противник Пушкина по дуэли, Дантес, не был русским, подчеркивался не без нотки ненависти». Сорок лет спустя этот тезис повторил писатель-эмигрант Вл. Максимов: «...Пушкина убило не царское самодержавие, а представитель европейской культуры Дантес».

Последнее время входит в обычай восхвалять особые государственные заслуги Пушкина. Советский писатель Ф. Абрамов в дневниковых заметках, опубликованных посмертно «Литературной газетой», объявляет Пушкина величайшим государственным, лучшим преемником которого сделался А. Твардовский: «В этом смысле он (Твардовский), как никто другой из советских писателей, близок Пушкину... Идея государственности, социалистической государственности составляет самую сердцевину его поэм, начиная со „Страны Муравии“».

Сходный взгляд на достоинства Пушкина проводит А. Солженицын, меняя, конечно, советские ордена на святоотеческие медали.

Подведем итоги.

Консервативное гимназическое начальство хвалило Пушкина за то, что он «обожал царя».

Революционное правительство хвалило Пушкина за то, что он отвергал царя и поддерживал декабристов.

Государственность (любая): Пушкин был великим поэтом-государственным.

А. Солженицын хвалит Пушкина за то, что он отверг Радищева и поддержал цензуру.

Не вижу принципиальной разницы.

И те, и другие, и третьи, и четвертые провозглашают:

«Пушкин — наша национальная гордость» (общее место).

* * *

Пушкин для России настолько чудесное, вселенское и неколебимое явление (это просто смешно — «колебать» Пушкина!), что каждый из нас берет у него понемногу — что кому ближе. Солженицыну в Пушкине ближе критика Радищева, а мне «чистое искусство». И мне дорог не канонизируемый (по тем или иным политическим стандартам) поэт и не Пушкин — учитель жизни, а Пушкин как вечно юный гений русской культуры, у которого самый смех не разрушительный, а созидательный, творческий. И оттого так легко и беззлобно он переходит на что и на кого угодно, в том числе на самого поэта. Подобного не допускает серьезный, дидактичный Солженицын, для которого и смех лишь оружие в борьбе. Потому автоэпиграмму Пушкина, не справляясь с источником, он с негодованием выбрасывает на улицу — «похабный уличный стих о Пушкине»³: не мог же Пушкин с его нравственным авторитетом смеяться над самим собой! О нет, мог. И над собой, и над художником, изобразившим его рядом с Онегиным в «Невском альманахе», и над Петропавловской крепостью, изображенной на том же рисунке, местом заклю-

³ Из новомирской публикации А. И. Солженицын этот пассаж выбросил, но коль скоро «Новый мир» публикует рецензии на неизвестные своему читателю тексты, то... — А. С.

(Фрагменты книги А. Терца «Прогулки с Пушкиным» были опубликованы в журнале «Октябрь», 1989, № 4; полный текст книги — в журнале «Вопросы литературы», 1990, № 7—9, однако выход этих трех номеров, к сожалению, сильно запоздал. — Прим. ред.)

чения политических преступников. Для тех, кто не в курсе, осмелюсь привести полностью эту автоэпиграму:

Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опершись ... о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосье Онегиным стоит.

Не удостоивая взглядом
Твердьню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плвой в колодец, милый мой.

Какое великолепное презрение к тюрьме! И это написано в 1829 году, когда всем памяты были узники, сидевшие в Петропавловской крепости. И никакой это не «уличный стих», а тоже сам Пушкин, в котором нет ничего зазорного. И дух такого Пушкина, помимо других поворотов веселого и свободного, мне тоже хотелось передать в моих «Прогулках» — не рассуждениями, а преимущественно стилистическими средствами. Солженицыну же, естественно, подавай иное: положительный герой, воспитательные задачи, отображение действительности, партийность (применительно к Российской империи), народность... А вкусы, допустим, народного «балагана», воспринятые Пушкиным, ему кажутся дурными и кощунственными по отношению к памяти поэта. Тогда как у меня это похвала и признак неслышанной в пушкинские времена эстетической широты и раскованности. О том же гласит таинственная связь поэта с Пугачевым (в «Капитанской дочке»), такая, что и кровавая притча разбойника оказалась ему внятной. И это не Сталин мне подсказал, как язвит Солженицын, а М. Цветаева с ее статьей «Пушкин и Пугачев», прочитанной мной с восторгом в самиздатском списке еще до ареста.

Да и то ведь надо учесть, что, обдумывая Пушкина в «Прогулках», я не просто хотел выразить ему свое совершеннейшее почтение как незыблемому авторитету России (на одних авторитетах в искусстве далеко не уедете), но — стремился перекинуть цепочку пушкинских образов и строчек в самую что ни на есть актуальную для меня художественную реальность. Отсюда трансформация хрестоматийных о нем представлений, которые, не волнуйтесь, от Пушкина никуда не уйдут, не убудут, в ином, не пушкинском, стилистическом ключе. Тут мне помимо прочего мысленной опорой служил опыт работы над классикой — Мейерхольда и Пикассо. Чем в тысячный раз повторять общепотребительные штампы о Пушкине, почему бы, пользуясь его живительной свободой, не попробовать новые пути осознания искусства — гротеск, фантастика, сдвиг, нарочитый анахронизм (при заведомой условности этих стилистических средств)?.. Этой условности в тексте Солженицын, как писатель строгих консервативных взглядов, не заметил (или ее с возмущением отбросил) и пошел заступаться за будто бы обиженных классиков.

Разумеется, я не мог и не пытался охватить «всего» Пушкина. И никакого учебного пособия по Пушкину, руководства там или научной монографии о нем не стряпал. Не до монографии было. Это не академическое исследование. Мой Пушкин вольный художник, сошедший ко мне в тюрьму, а не насупленный проповедник и ментор, надзирающий за русской словесностью — кому, как и о чем писать.

Поражает глухота. Отсутствие юмора. Впрямую. Уже, выясняется, не одного Пушкина я попробовал угробить, но и Гоголя, и Лермонтова, и Чехова, и Гончарова... В общем, всю русскую литературу вздумал извести, мерзавец. Правильно, значит; меня осудила наша правильная советская власть!..

«Пушкинское наследие — любовь к Родине, гражданственность, бесценный дар нашего народа! С этим Пушкин вошел на века и века в отечественную литературу. Об этом ни слова. Вот каким оказывается Пушкин по Абраму Терцу: «Если... искать прототипа Пушкину поблизости в современной ему среде, то лучший кандидат окажется Хлестаков, человеческое alter ego поэта...» «Кто еще таким дуриком входил в литературу?» «Пушкин, сколотивши на женщинах состояние, имел у них и стол и дом». «Жил, шутя и играя, и... умер, заигравшись чересчур далеко». «Мальчишка — и погиб по-мальчишески, в ореоле скандала»... А в чем же цель творчества Пушкина? Абрам Терц: — Без цели...

Глумление над Пушкиным Абрама Терца не самоцель, а приступ к главной цели: «С Пушкиным в литературе начался прогресс... О, эта лишенная стати, оголтелая описательность 19-го столетия... Эта смертная жажда заприходовать каждую пядь ускользающего бытия... в горы протоколов с тусклыми заголовками...» Бойкий Абрам Терц единым махом мазнул по всей великой русской литературе, все выброшены — Пушкин, Достоевский, Гоголь, Гончаров, Чехов, Толстой. Не выдержали, значит, «самиздатских» критериев. Сделано это не только ввиду мании

величия Абрама Терца, ведь он тоже претендует на высокое звание «писателя», а с очевидной гаденькой мыслишкой — хоть как-то расчистить плацдарм, на котором возвысятся некие литературные столпы, свободные от «идеологии»...»

Простите, читатель, я перепутал цитаты. Последняя взята не из Солженицына, а из книги Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», 2-е издание, М., «Молодая гвардия», 1981, стр. 181—182. Но Яковлев, вот удивительно, почти дословно совпадает с Солженицыным (ср. в «Вестнике» стр. 137, 139, 140, 151—152). Кто же у кого списал? Никто ни у кого не списывал. Только некая общность вкусов, литературных критериев, логики исследования. Всему подыскивается простенькая и гаденькая мотивировка. Так, по мнению Яковлева, Абрам Терц покусился на русскую литературу из ненависти к родной стране и мании величия. То же самое у Солженицына: «И что же вырастает за грандиозная аполитическая фигура самого судьи, создателя „Крошки Цорес“». Спросим: при чем тут «Крошка Цорес», отделенная от «Прогулок» десятилетним барьером и другими книгами Абрама Терца? А для унизости. Дескать, мелочь. И всюду прогнозы, подозрения, догадки. Вот-вот «грянет и книга о Лермонтове». Успокойтесь — не грянет! У меня нет привычки писать подряд похожие друг на друга книги. По мнению Солженицына, «Лермонтов чем-то сильно уязвил критика, своим ли мистическим мироощущением?». А где, собственно, у меня написано, что — «мистическим»? Снова чтение в сердцах? Кстати, именно Лермонтова я люблю и чту как самого, может быть, мистического поэта России. Или тут же Солженицын выискивает улику — будто мне особенно отвратительно желание Лермонтова «мстить» за Пушкина. А я-то имел в виду совсем не Лермонтова, а Багрицкого и других советских писателей («Я мстил за Пушкина под Перекопом...»), о чем легко догадаться из контекста этой «мести» — «театральных постановок», «кинофильмов», которые, конечно, не имеют никакого отношения к Лермонтову...

И так на каждом шагу. Помимо Лермонтова, выясняется, я и Гоголя — одной фразой — перечеркнул. Казалось бы, пораскинь умом: зачем же он и Гоголя-то? Ведь стоит же рядом с «Прогулками» толстенная книга: «В тени Гоголя» (там и о Пушкине в соотношении с Гоголем, и о Хлестакове подробно). А если научная монография интересует или объективная критика, протяни руку: книга о Розанове (там же и о Гоголе и о Достоевском, там и религиозной философии много). Нет. К чему сопоставлять какие-то книги, факты, противоречащие концепции? Книга у него уже есть.

Люди (а тем более писатели) в любви объясняются по-разному. Один автор так прямо и пишет: «ткнулся бородой в ее лоно» («Красное колесо»). Другой стесняется впрямую выражать свои чувства и прячется за иронию или прибегает к каким-то смысловым смещениям: «Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот беспомощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину или Пушкина к Татьяне, к черному небу, к белому свету...» («Прогулки с Пушкиным»). Солженицын в этой тираде прочел только «слизываем языком слезы со щек» и сделал вывод: очередное nepозволительное глумление над Пушкиным!

Когда критика ведется путем выискивания криминальных цитат, ничего ей не докажешь. Тычут в морду одни и те же цитаты — и баста! И безразлично, где происходит действие — в Москве или в эмиграции. В эмиграции даже труднее. Общественное мнение здесь на стороне сильного. А скажете, оскорбясь: но здесь же все-таки в тюрьму за литературу не сажают? Разве что. Но в этом не ваша заслуга, а проклинаемого вами Запада, господа. Бывает, однако, психологически для писателя не так уж страшна тюрьма. Страшнее другое — господство преодоленных, казалось бы, но тех же самых, что и в Советском Союзе, эстетических канонов и штампов. И скука, смертная скука, которой так и несет от вашего Пушкина, от вашего, с позволения сказать, «национального возрождения». Все как двадцать лет назад:

«Рассеять эту атмосферу крайне трудно, здесь не помогут ни развернутые аргументы, ни концепции творчества. Уже на следствии я понял, что не это интересует обвинение: интересуют отдельные цитаты, которые все повторяются и повторяются... Тут логика кончается. Автор уже оказывается садистом... Тут какой-то особенно изощренный автор: он и русский народ ненавидит и евреев. Все ненавидит: и матерей и человечество. Возникает вопрос: откуда такое чудовище, из какого болота, из какого подполья?.. Вот у меня в рассказе «Пхенц» есть фраза, которую я считаю автобиографической: «Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться...» Так вот: я — другой...» (из моего Последнего слова на суде, 1966).

* * *

В итоговой статье номера (№ 142) в ответе Г. Померанцу Н. А. Струве с присущей ему оперативностью откликается «на отповедь Солженицына всем тем новым эмигрантам, которые взяли опорочивать в глазах иностранцев и наших в первую очередь Россию, а заодно и автора (между прочим) „Архипелага ГУЛАГ“».

Хотелось бы уточнить некоторые детали, некоторые границы разногласий с Солженицыным. Во-первых, под огонь («отповедь!») Солженицына попадают не только новые эмигранты, но «все те» авторы, в том числе живущие в России, которые пытаются ему сопротивляться или желают уклониться от его национальной программы. И странно, что Н. Струве этого не замечает в своем ответе не эмигранту, а россиянину Померанцу, которому не так-то легко — оттуда — возразить Н. Струве. Во-вторых, Солженицын обожествился и самоотжествился с Россией, и потому любое слово поперек ему, Солженицыну, рассматривается теперь как опорочивание России. В-третьих, спорят не с автором «Архипелага ГУЛАГ», а с другим автором, и «Архипелаг» у Струве всего лишь дымовая завеса, прикрытие: не смеет спорить с автором Такой книги! с тем, кто столько сделал «для русского слова, для русской славы!» «Не стыдно ли? Нам, во всяком случае, за Г. Померанца стыдно».

Наверное, Лев Толстой тоже немало сделал и «для русского слова» и «для русской славы». Однако находились люди, которые спорили с религиозными и социальными идеями Толстого, и ничего ужасного в этом не было, и им не затыкали рот «Войной и миром»: как, мол, смеют эти ничтожества спорить с автором «Войны и мира»!

Струве в литературные споры вносит табель о рангах. Перечисляет книги и заслуги Солженицына. И визгливым голосом: «Кто сделал больше... пусть смело шагнет вперед... И даже А. Синявский смиренно должен будет признать, что не «Голос из Хора» и не «Прогулки с Пушкинами» произвели переворот в умах людей...»

Смиренно признаю. Но позвольте возразить чисто теоретически, никого ни с кем не сравнивая, что у искусства существуют задачи не только производить «перевороты в умах людей», но и собственно, так сказать, художественные. И раньше случались книги, производившие перевороты в умах. «Что делать?» Чернышевского, например... «Капитал» Маркса... Величие же и слава человека не обеспечивают ему безгрешность...

А Солженицын не стоит на месте — наподобие иконы. Солженицын — эволюционирует, и необязательно по направлению к небу. «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и более ранние его вещи встретили, как известно, восторженный прием у людей свободомыслящих. Единодушие нарушилось не с «Архипелага», а позднее и по совершенно другим причинам: исторические построения, авторитарные рецепты и деспотические замашки Солженицына. Ему посмели ответить! Вот тут-то и появились зловредные «плюралисты»...

В солженицынской наступательной стратегии-технике есть такой выразительный прием: придумать кликуху позабористее, хлесткое прозвище, а потом уже «народ» разнесет. Так было придумано словцо «образованцы» (по типу «оборванцы», «заср...»), и все страшно обрадовались. Через десять лет — новое клеймо: «плюралисты». Эти «плюралисты» тем понятнее и приятнее звучат, что пересекаются с глаголом «плюнуть». То ли они «плюют», то ли на них «плевать» — все равно метко сказано (по-советски, по-ленински — «наплеви́зм», «наплеви́сты»). И вот уже русский народ в лице Струве пользуется этим ругательством как научной терминологией.

Но откуда, спрашивается, взялись эти самые «плюралисты» и почему их раньше не было слышно? «Вестник» объясняет их появление завистью к великому русскому писателю и ненавистью к России. Детское объяснение. Нетрудно заметить, что по мере развития Солженицына или (если он всегда так думал и лишь тайл до времени свои думы) по мере развертывания его идей появляются лица и мнения, которые по каким-то вопросам с ним решительно расходятся. Расходятся в этом новом спектре его воззрений и образов. С другой же стороны, параллельно, за Солженицыным начинают идти люди и группы, у которых сами понятия «демократия», «либерализм», «диссиденты», «права человека» возбуждают острое чувство неприязни, и они в открытую, чем дальше, тем громче, об этом заявляют, размахивая именем и портретами Солженицына. Вероятно, и «Красное колесо» по мере своего вращения будет кого-то отталкивать, а кого-то притягивать в свою орбиту. У Солженицына появится (и уже появился) новый сорт почитателей. На смену «диссидентам» идет «черная сотня»...

Этот последний образ я употребляю, разумеется, условно, как символ, как знак возможной деградации. На самом же деле у солженицынцев не одно лицо. В движении, которое величает себя «национально-религиозным возрождением России», принимают участие люди разной политической и умственной окраски — от умеренных либералов до фашиствующего заграничного «Вече». И чаши весов качаются. Но пока что улавливается в этом «возрождении» определенный перевес в пользу Союза Русского Народа, и сам «Вестник РХД» постепенно на глазах «чернеет».

Об этом свидетельствует, в частности, статья в № 142 из Москвы — Д. Мирова. Фамилия автора (или его псевдоним?) звучит красиво — почти как Добролюбов: примирение, мол, несущее вам, братья! Меня этот миротворец аттестует «литературным погромщиком». А по контрасту с моей зверской литературно-погромной рожей тут

же Мирю реабилитирует тех, кого было когда-то принято по ошибке или по злему умыслу называть погромщиками. Реабилитирует Союз Русского Народа, «лишь некоторые рядовые члены коего запятали себя участием в одном-двух погромах». Бедненькие! Разок-другой всего-то и погромили сволочей евреев, а на третий погром не пошли (и то ведь не сами же вожди-идеологи убивали и грабили, а лишь некоторые несознательные рядовые члены) — и — здарсьте! — репутация испорчена. Где справедливость в мире? В результате: «Политическая партия недавнего прошлого, объединявшая сотни наших дедов и прадедов из всех сословий общества и именовавшаяся Союз Русского Народа, ныне предана несправедливым проклятиям, оболгана, оклеветана...»

Сочувствую и не берусь судить о степени «погромности» славной организации. Как говорит Солженицын, дело хозяйское — кому какое родство больше нравится. Меня занимает сейчас другой вопрос: переворачивание понятий и слов по советской схеме. Стоит, допустим, заменить «погромщиков» (настоящих погромщиков) «литературными погромщиками» (мнимыми) — и дело в шляпе. Эпитет «литературные» не ослабляет, а усиливает степень виновности, так что подлинных погромщиков уже и не видно за этой «литературой». Точно так же устаревшему, обесцененному словцу «диверсанты» (раньше ведь все враги народа были «диверсантами» и «шпионами») советская власть сообщила новую жизнь с помощью одного лишь эпитета — «идеологические». «Идеологические диверсанты» — это просто инакомыслящие, однако в такой упаковке они кажутся ужаснее обычных «диверсантов», и весь состав преступления здесь уже налицо. Аналогичным жестом советская пресса лихо присвоила Солженицыну звание «литературного власовца» (чем тебе не «литературный погромщик?»). Подделка документов по советскому рецепту привилась и уже вошла в антисоветский стиль и быт. И вот уже христианнейший из христиан, добрейший, милейший Д. Мирю совершает такую же (как с «литературным власовцем») словесную операцию: «Мы имеем изрядное количество литературных погромщиков — некоего Максудова при М. Бернштаме, некоего А. Синявского при А. Солженицыне и т. д. и т. п.». Как это красочно и как это еще корректно сказано: «некий», «некоего» (варианты того же советизма — «небезызвестный», «печально известный», «пресловутый»...)! Я бы, например, не решился Д. Мирю, которого впервые слышу, обозвать «некий Мирю». Почему? Да потому хотя бы, что слишком часто встречал в советских газетах подобное обхождение: некий Зоценко, небезызвестный Пастернак...

К сожалению, Солженицын тут подает не самый лучший пример «национальному возрождению», забирая все новые области культуры — стилистику, эстетику, историю искусства — под свою прокурорскую руку. Это бросается в глаза в его новых «Очерках литературной жизни», которые будут продолжены. То-то начнутся идеологические чистки!..

Ну что ж? Успокаиваю себя. Ведь «идеологическим диверсантом» я уже был? Был. «Ненавистником» советской власти, русского народа, мировой культуры и всего прогрессивного человечества — называли? Называли. И «неким» и «пресловутым». И даже «литературным погромщиком» давно уже числюсь. Печально притом известным. Впервые, помнится, погромщиком назвал меня большой русский гуманист Вс. Кочетов (к тому моменту я уже сидел) — за старые мои отзывы в «Новом мире» о Софронове, Долматовском, Шевцове...

Странно, однако ж. Обычно погромщики прислуживают как умеют сильным мира сего. Угоджают власти. А тут — не захотел угождать, прислуживаться — и погромщик? Тебя же громит начальство — и тебя же называют погромщиком? А — не спорь! А — не высывайся! Пытаюсь вспомнить: кого я в жизни громил? Мысленно перебираю статьи по пальцам. Их не так уж много. А подавляющая часть вроде бы положительная, даже патриотическая. «Отечество. Блатная песня», например, «Люди и звери», «Река и песня»... И вдруг — с ужасом. И — улыбаюсь: «Прогулки с Пушкиным»?!

Кто же вам дал эту власть — присвоить Пушкина, узурпировать Россию? Религию, нравственность, искусство? Исключительно себе и своим единомышленникам. Да слыхали мы эти байки: антипатриотизм! антипатриотизм! Дескать, они одни выражают волю народа. А кто не с ними, те — изменники родины. Какую все-таки дьявольскую веру в собственную святость надо носить в душе, чтобы других людей, не согласных с тобою, лишать обыкновенного права — любить свою родину...

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

НАШИ ПЛЮРАЛИСТЫ

ОТРЫВОК ИЗ ВТОРОГО ТОМА
«ОЧЕРКОВ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»*

(Май 1982)

ШШШ есть лет не читал я ни сборников их, ни памфлетов, ни журналов, хотя редкая там статья не заострялась также и даже особенно против меня. Я работал в отдалении, не обязанный нигде, ни с кем из них встречаться, знакомиться, разговаривать. Занятый Узлами, я эти годы продремал все их нападки и всю их полемику. Уже загалдели всё печатное пространство, уже измазали меня в две дюжины мазутных кистей, уже за меня в одной новоэмигрантской газете удивлялись: да что ж я вовсе не отбиваюсь? да меня не бьёт только ленивый, меня бить — легче нет, сношу все удары. Да можно узреть и такое гнёздышко, где мечтали бы, чтоб я с ними сцепился, повысил бы им цену, а без этого хиреют на глазах, захлебнулись в собственном яде. И если б касалось только меня, то без затруднения прожил бы я так и ещё двенадцать, и умер бы, так и не прочтя, что ж они там понаписали.

Но нет, облыгают — народ, лишённый гласности, права читать и права отвечать. Пришлось-таки взяться, непривычная, несоразмерная работа: доставать и читать эти «самосознания», «противостояния», «альтернативы», «новые правые», старые левые, и не везде даже синтаксический уровень. Вот сейчас в первый раз прочитал их, кончивши три Узла, — сразу посвежу и пишу.

О ком я собрался тут — большей частью выехали, иные остались, одни были участники привилегированного коммунистического существования, а кто отведаль и лагерей. Объединяет их уже довольно длительное общественное движение, напряжённое к прошлому и будущему нашей страны, которое не имеет общего названия, но среди своих идеологических признаков чаще и охотнее всего выделяет «плюрализм». Следуя тому, называю и я их плюралистами.

«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением истории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот они нередко формулируют: «как можно больше разных мнений», — и главное, чтобы никто серьёзно не настаивал на истинности своего.

Однако может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признаем, — однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опёртых на математику, — истина одна, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоятся, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверждают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, — и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца: «Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели».

В той речи я как раз и говорил о множестве миров на Земле, не обязанных повторять единую стандартную колодку Запада, — то и есть плюрализм. Но наши «плюралисты» сперва хотят обстрогать всех в эту единую колодку (так это уже — монизм?) — а внутри неё разрешить — мыслящим личностям? — «плюрализм».

Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим. Но если разнообразие становится высшим принципом, тогда невозможны никакие общечеловеческие ценности, а применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие. Если не существует правоты и неправоты — то какие удерживающие связи остаются на человеке? Если не существует универсальной

* Том первый — «Бодался телёнок с дубом». Первое издание — YMCA-PRESS, Париж, 1975. Дополненный текст — «Новый мир», 1991, № 6, 7, 8, 11, 12.

основы, то не может быть и морали. «Плюрализм» как принцип деградирует к равнодушию, к потере всякой глубины, растекается в релятивизм, в бессмыслицу, в плюрализм заблуждений и лжей. Остаётся — кокетничать мнениями, ничего не высказывая убеждённо; и неприлично, когда кто-нибудь слишком уверен в своей правоте. Так люди и закупаются как в лесу. Спел с гитарой Галич — и с тех пор сотни раз повторены и декларативно выкрикнуты полюбившиеся слова:

...Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо».

Чем и парализован нынешний западный мир: потерей различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом, центробежным разбродом, энтропией мысли — «побольше разных, лишь бы разных!». Но сто мулов, тянущих в разные стороны, не производят никакого движения.

А истина, а правда во всём мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем именно к ней приблизиться, прикоснуться. Многообразие мнений имеет смысл, если прежде всего, сравнением, искать свои ошибки и отказываться от них. Искать всё же — «как надо». Искать истинные взгляды на вещи, приближаться к Божьей истине, а не просто набирать как можно больше «разных».

Однако я не настаиваю, что правильно выбрал термин. Будем пользоваться им как рабочим. Зато — какое духовное пиришество нас ждёт! Как изумимся мы сейчас бесчисленным переливам плюралистической мысли, бескрайнему спектру!

Увы, доглядысь: даже в иных западных странах сегодня «плюрализм» остаётся скорее лишь лозунгом, чем делом. Современное западное образованное общество (а оно-то и диктует) — на самом деле мало терпимо, и даже особенно — к общей критике себя, всё оно — в жёстком русле общепринятого направления: правда, для обуздания противящихся действуют не дубинкой, а клеветой и зажимом через финансовую власть. И — подите пробейтесь через клубок предвзятостей и перекосов в какой-нибудь сверкающей центральной американской газете.

С удивлением видим, что таковы и первые крепнущие шажки плюралистов наших: «Проповедывать демократиям о вреде демократий — дело неблагодарное». Справедливо изволили заметить. Но — тоталитаризму о вреде тоталитаризма тем более не напроповедуешься, тогда разрешите узнать, чем демократия вдумчивей и объективней? Странно, вот уже несколько лет ширяет крыльями на Западе наш ничем не стеснённый плюрализм (уж ни на кого не кивнёшь, что не дали «самовыразиться») — и где же вереница его освежающих спасительных открытий? Всего лишь несколько поверхностно-плёночных, да ещё и наследованных убеждений. И первейшее из них — о русской истории. Разумеется — «в целом», в самой общей сводке, а не в конкретном анализе.

Когда я попал в Швейцарию и услышал от тамошних радикалов (есть и там радикалы, а как же?), что «это у вас такой плохой социализм, а у нас будет хороший», — я изумился, но и снисходительно: сытые, неразвитые умы, вы ж ещё не испытали на себе всей этой мерзости! Но вот приезжают на Запад «живые свидетели» из СССР, и вместо распутывания западных предрассудков — вдруг начинают обильно валить коммунизм на проклятую Россию и на проклятый русский народ. Тем усугубляя и западное ослепление, и западную незащищённость против коммунизма. И здесь-то и лежит вся растрва между нами.

И поразительно: разные уровни развития, разные возрасты, разная самостоятельность мысли, а все — в единую оглушающую луду: против России! Как сговорились.

«Марксистская опричнина — частный случай российской опричнины». — «Сталинское варварство — прямое продолжение варварства России». — «Царизм и коммунизм — один и тот же противник». — «Всё перешло в руки деспотизма не в 1917, а в 1689» (по другому варианту — в 1564). — «Русский мессианизм под псевдонимом марксизма». — «Разделение русской истории на дооктябрьскую и послеоктябрьскую — под сомнением...» — «Коммунизм — идеологическая рационализация русской империалистической политики, — более универсальная, чем славянофильство или православие». — «Нет изменения в русской политике с 1917 года». — «Преувеличенное отношение к октябрьскому перевороту: ...уничтожение первоначальной модели (революции), возврат русской истории на круги своя». — «Семена социализма погибли в русской почве». (Тут соглашусь: почва оказалась для социализма крепенькая, пришлось киркой добавлять.) — «Как до революции господствовало зло и подавлялось добро, так и после революции». — «Между царизмом и советизмом прямая преемственность в угнетении», «качественное сходство».

Господа, опомнитесь! В своём недоброжелательстве к России какой же вздор вы несёте Западу? зачем же вы его дурачите? Не было в до-большевицкой России ЧК, не было ГУЛага, массового захвата невинных, ни системы всеобщей присяги

жи, проработок, отречений от родителей, наказаний за родство, люди свободно избирали вид занятий, и труд их был блажен, городские жёны не работали, один отец кормил семью в 5 и 7 детей, жители свободно переезжали с места на место, и, самое дорогое, — в эмиграцию тотчас, кто хотел, — и философ нам говорит, что тут *качественное* сходство?

«Христианство — это путь, не испытанный Россией». — «Религиозность русско-го народа и в прошлом была сомнительной». (Цитаты из разных, из разных, я чаще не указываю кто, однако на полях рукописи помечаю — книгу, журнал, страницу.) — «Русское православие столь же поверхностно, как и русский марксизм». — «Религия, которую *как будто* исповедует русский народ» (вернулись к Белинскому). — «Совесь... у нас постоянно находилась на положении пасынка». (Прочистим уши: это о России? Да где же шире жило покаяние, и на людях? Или, при всеобщем отворачивании к судебной волоките, купеческая и ремесленная деятельность по устному слову, а не по письменному договору, — много ли такого в Европе? Да даже это проникло и в государственные документы (Екатерина, 1778): купцам платить налог 1% «с капитала, объявленного *по совести*». Но в народные свойства не погружается глаз их.) Даже: «духовная структура» русских унаследована от монголов, «она застойна, неспособна к развитию и прогрессу» (понимать: унгерменши? безнадежная раса?). — «Страна Иванов и Емель». — «Грузин Сталин больше всех приближается к русскому идеалу». — «Жандарм Европы Суворов, реакционер Кутузов» (прогнать глаза: воскрес Покровский? так же учили в 20-е годы). И на каждом шагу у самых разных: «гениальный маркиз де Кюстин»... «великолепная книга маркиза де Кюстина» (это — хором, нашли себе достойного учителя-гуриста, отчего тогда не Теофила Готье?). — «Была ли Россия тюрьмой народов? У кого достанет совести это отрицать?» А у кого достало совести эту пропагандную мерзость повторять? У Шрагина.

С большой лёгкостью рассуждает он (они) о любом веке русской истории — то из XIII века, тут же держи из XVII, да откуда же такая эрудиция крылатая? Да разве можно хотя бы по русской истории знать все века уверенно и равномерно? У меня вот, слабака, вся жизнь ушла на один 1917 год. А секрет прост, доглядитесь в сноски: Шрагин не загружает себя чтением источников, он цитаты выдёргивает вторичные, из уже нахватанных кем-то обзоров, да всё ревдемократов или радикалов, а уж как они там отбирали? — совесь-то у нас, пипут, была пасынок. (Знаю, знаю я эту слабость, сам когда-то обжёлся на «Истории русской общественной мысли» Плеханова, такие же нахватанные цитаты приводил и я. Тому потоку, *как понимали все умные люди*, нашей Освобожденческой идеологии — очень легко поддаться, трудно сопротивиться. Встречаюсь это и у меня — и пока идёшь в направлении потока, с тем большей силой тебя уверенно поддерживает элитное *общество*.) И Чернышевского цитирует нам целыми страницами, спасибо! С таким фундаментом вот и выводят они «русский либерализм — от конца XIX века», даже не знают, откуда он пошёл и что он есть. Вот и узнаём: «идея «святой Руси»... предусматривает, что ответственность за всё плохое несём не мы с вами», — ну, откуда это притянуто? тогда и понятия греха не было в России?

О самом народе: «Русские — сильный народ, только голова у них слабая», «умелая слабость». «Широкая русская нагура Подонка». И о России в целом: «Что это за девушка, которую все, кому не лень, насилуют?» А один глубокий их мыслитель открыл: все нации — существительные, только «русский» — прилагательное! Так вы что, усмехаетесь, сами себя за людей не считаете? Боже, как это прощительно! Только не подумал ни мыслитель, ни редактор журнала, что ведь «Пинский» и «Синяевский» — тоже прилагательные. Да ведь какой «учёный» — а тоже прилагательное. (Эта мысль до того показалась им глубока, что в двух смежных номерах журнала приволят её от двух разных лиц, оба претендуют на авторство.)

Но были всё же у России и заслуги: «Россия отличается от азиатских обществ *лишь* тем, что сумела создать европейски мыслящую интеллигенцию». А уж «вина интеллигенции за удручающие события русской истории сильно преувеличена», хотя, правда, интеллигенция и «пыталась подменить прошлое и будущее России». Вот это — самокритично. Вот это — очень верно сегодня.

В процессе глубокого плюралистического исследования рождены и новые важные термины: не «славянофильство», а «монголофильство» (Амальрик). И — «татаро-мессианская Россия», «татарский мессианизм» (Янов). Термины настолько богатые и загадочные, что хоть объявляй конкурс на истолкование.

И как ни обрагивают мёртвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — всё вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперёд! к перспективе! к октябрьской революции!

Взвучи к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь, — но я умоляю остановиться: а Февраль?? Разрешите же хронологически: а что с Февралём?

Вот удивительно! Столько отворачивания к этой стране, такая решительность в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слона-то и не заметили! Самая

крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить по времени, это же не Филофей с «Третьим Римом», и единственная истинная революция в России (ибо 1905 — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь — лёгкий переворот уж сдавшегося режима), — такая революция *никем из наших оппонентов не упоминается*, не то что уже не исследуется. Да почему же так?

Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во-вторых, не менее главное, снижу голос: не знают. Вот так, всё учили, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают. Отчасти потому, что и большевистские пропагандисты и учащие профессора всегда спешили вперёд — к Октябрю и к интернациональному счастью народов, освободившихся из российской тюрьмы. Отчасти — и сами промаршируют эти неприятные 8 месяцев, трудные к оправданию.

А между тем, господа, вот тут-то и был взрыв! Вот тут-то и выхвачен бомбовый чёрный ров — а вы как легко облетаете его на крыльшках.

А я — взялся напомнить. Я годами копил, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионов передвижений. И начал из тех Узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сущённый, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, да петита.

И что же? Вот поразительно! Обмолчали! Любую фразу моей публицистики (десятая часть написанного мной) — выворотили, обнюхали, истолковали, испровергли с десяти сторон. А эти главы — как не заметили. Отчего же их перья не клюют вот это? Казалось бы: философу Шрагину с его искренной «тоской по истории» (перепечатывает из книги в книгу, и как верно требует — помнить! вспоминать!) — вот бы и брать историю! разведать, опенить, указать на ошибки, раскритиковать, разнести вдрызг? Нет!.. Во-вторых опять-таки: это не та доступная обзорная либеральная культура, нарастающая сама на себе слоями — вторично, третично, где уже до нас потрудились многие просвещённые умы, а мы только — хватить пример из XV века, хватить из XVIII, — а здесь труда много класть, и здесь потребно собственное вживание в обнажённую историю, стать и ощутить себя в её трясении беспомощным стебельком. Куда легче порассуждать «вообще». Но и, во-первых, это всё — крайне неприятный материал, идущий в противоречие с теориями и желаниями, непривлекательное знание. И — смолчали, обошли, как нет, как не было!

Не все, отладим справедливость. Профессор Эткинд, из самых пламенных плюралистов, окрикнул (это место и другие все заметили): зачем я в думском заседании цитирую крайне правого Маркова 2-го? (А он держал там речь больше полутора часов, ему продляли, как же мне огорбать? я там не председатель. Значит — вычеркнуть, переписать историю по оруэлловскому рецепту?) А главное, окрикнул: «Нет смысла задним числом устраивать суды над Милюковым или, скажем, Парвусом (над Сталиным — нужно, это вопрос иной)». А — почему иной? А как насчёт Ленина? — не указал. И ещё один историк: «нас не интересует роль Парвуса в русской революции».

Вот так так! Вот это «тоска по истории!» Да ведь и пишут: «что пользы расчёсывать язвы, и без того зудящие нестерпимо?»

Ба! Так от демократических плюралистов я слышу то же самое, что слышал от коммунистических верзил с дубинками, когда прорвался «Иван Денисович» (не пускали меня дальше, к «Архипелагу»): не надо вспоминать! зачем ворошить прошлое? — это так больно, это сыпать соль на старые раны!

Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в её новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость.

О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой лёгкостью, что года этого не представляют. (Кто дерзает и на фантастические выкладки, почти вроде марсианского десанта: а вдруг бы «черносотенцы взяли в свои руки»?..) Народную распущенность, возбуждённую ещё до большевиков всеми образованскими подстрекательствами Февраля, — теперь изображают коренно-народным прорывом векового классового гнева, для которого большевики оказались лишь послушными удобными выразителями.

И поэтому заговорщицкий октябрьский переворот — ? «Бунт народа». — «Лидеры октябрьского переворота скорее были ведомыми осуществителями массовых желаний (а лидеры Февраля — стало быть не массовых? — А. С.). ...Они не порывали

с народной почвой» (! — в Женеве, в бреде соцдемовских брошюр). «Как революция, так и её последствия — национальны». (Да товарищи-господа, зачем же вы из Советского Союза уезжали? — это можно всё и там открыто печатать.) «Взбунтовавшийся народ руками ленинской партии свергнул интеллигентскую демократию», — и барашкам-ленинцам реабилитация. И даже так рыдают: «развитие марксизма было приостановлено Октябрьской революцией». И размышляет философ: «Октябрьская революция последовательна, не минуя ни одного пункта, опровергла все утверждения марксизма». (Например — марксизму «науку восстания», захват банков, телеграфа, власти? диктатуру «авангарда», классовую борьбу? атеизм как стержень идеологии, сокрушение «жандарма Европы» — да многое...) «Октябрьский переворот — прорыв азиатской субстанции... Но, в противоречие с этим, другой философ: «Пока старые большевики не были истреблены — над ЦК и ЧК клубился дух демократии». (Померанц. Попал бы ты к ним туда!)

От октябрьского переворота мой обзор несколько разветвится: наши плюралисты стопроцентно единодушны в осуждении старой России и в игнорировании Февраля — но с Октября разрешают себе различие оценок, правда, не слишком пёстрое. От этого чтение их не так безнадежно уныло, как я опасался; бывает написано совсем не зло, и не со злости.

Можно встретить такое: «Ленин прежде всего был гений, и нет сомнения в его субъективно честных намерениях... Обаяние его всё ещё сильно в России, перед ним всё ещё благоговейт и преклоняются». (Очень сердечно, узнаете? Это Левитин-Краснов. Да это так общеизвестно, что и западным радиостанциям указано не критиковать Ленина, чтобы... не потерять аудиторию в СССР!) «Слово «советский» глубоко привилось в России и не вызывает у большинства населения отрицательных эмоций». «Советская „нация“ существует... *Положительные идеалы „советскости“*» (это — наследник коммунистического вожака). «Коммунистический интернационализм — общечеловеческое движение с общечеловеческими целями» (это — присоединившийся М. Михайлов) — а не какой-нибудь «прорыв азиатской субстанции», да и приняли же большевики «самую разумную и умеренную эсеровскую программу» по земле (просто: отобрали всю землю государству и весь урожай). Правда, «правящая партия надругалась над идеалами» (мне и самому неудобно, но это — Шрагин). — «Перерождалась и умирала сама партия». Той, в которую «я вступила радостно, давно нет в живых». (Позволительно поправить — что *та самая*, которая в Киеве 1918 года, вместе и с молодым активом, творила первые каннибальские убийства, а сегодня — в Абиссинии, в Анголе. И хотя «не берусь ответить, почему произошло то, что произошло», но «отречения от моего прошлого никто не дожждётся». Какая способность к развигию! Дальше и «советское отношение к литературе, к мысли — это вовсе не выражение советских идей», так понять, что русская традиция, что ли? И, наконец, отступая, отступая по ступенькам, всё ж упинаются, что советское правительство — не «самое гнусное» на планете. (Копелев. А отчего бы тогда не назвать, какое же гнусней?)

Историю своего просветления и умственного обогащения плюралисты не скрывают: «новая интеллигенция» — от XX съезда КПСС. «В 1953 почти никто не признавал реальности». (Совсем уж глупеньким народ представляют. Сознали — десятки миллионов, да уже полегли, или языки закусали. «Не признавали» — кто был на элитарном содержании.) А погром «у интеллектуалов будто пала катаракта с глаз». «Только тогда у них открылись глаза на колоссальные преступления прошлого» (Синявский). И как не стыдно такое печатать? Кому «открыл глаза XX съезд» — вот это и есть рабы: о миллионных преступлениях им должны открыть сами палачи, иначе они не догадываются.

Да Михайлов-то, издала глядя, раньше их всех и открыл: «Что во всём виновата марксистско-ленинская идеология — не выдерживает никакой критики... Идеология ничего не определяла. Когда уничтожают целые классы по 20 миллионов человек — это оказывается всего лишь «жажда власти». «И борьба с религией ведётся не из-за идеологии, а из-за власти». — Без уничтожения верующих какая же нынче власть может устоять? «Идеология никогда — (и в коминтерновские времена) — не определяла внешней политики Кремля! Ну, а из «жажды власти» и американские политики погрызывают друг другу глотку, так что это всё понятно, близко, обыденно, и бояться Западу нечего. Да идеологию «мировой революции или построения социализма» наш автор называет «передовой», её-то тем более нечего бояться.

Наиболее изо всех раздумчивый Шрагин настойчиво убеждает нас: «дело не в марксистской идеологии, а в нас самих». О да, конечно, в высшем смысле — в нас самих, да! Во всяком грехе, которому мы поддаёмся, например, сотрудничаем на марксистских кафедрах, прежде всего виноваты мы сами. И в том, что сегодня человечество на 50% уже проглочено коммунизмом, на 35% туда ползёт, а на 15% шатается, — виноваты сами эти 50, и эти 35, и даже те 15. Но почему уж так вовсе «не в идеологии»? Если мы умираем от яда, хотя бы и добровольно выпитого, — хил наш организм, что не мог сопротивиться, — но яд всё-таки был?

Итак, что же мы получили в результате величайшего исторического и т.д. интернационального (международного) акта? Ну конечно же — «то, что у нас называют социализмом», — «это государственный капитализм». — «То, что зовётся у нас социализмом, есть типически-азиатское — и русское в том числе — порождение». — «У внутреннего строя СССР *ничего общего* с социализмом нет», «когда-то начали строить совсем другое общество» (пожить бы тебе в том военном коммунизме, когда баржами топили, да расстреливали крымских жителей через одного). — «В России коммунизм в прошлом» (да сбудется это как пророчество!). Сталин-де погубил и убил истинный коммунизм, — размазывает Чалидзе самое затасканное представление о Сталине, какое на Западе мызгают уже четверть века — с XX съезда, когда у всех у них «катаракта пала». (И американская радиостанция с дрожью в голосе спешит передать эту новинку в СССР.)

Никто из плюралистов не взялся нам нарисовать подробное историческое полотно, как это коммунизм хотел утвердиться, да не вышло на русском болоте. Но дают нам некоторые бесценные детали. «Ведь не угрожали же тем, кто именовал бы (города и улицы) по-прежнему, ни аресты, ни расстрелы, ни даже увольнения с работы». (Это в подлом контексте выражено, что было русский народ сам не хотел постоять за своё прошлое.) О, коротка же память! О, ещё как грозило! Промолвили бы вы «Тверь» или «Нижний Новгород» — где бы вы были? Мой Тверитинов погиб на этом, и случай подлинный. А и за уличный вопрос «где Таганрогский проспект» вместо «Будённого» — вели вас в милицию тотчас, и неизвестно с возвратом ли. — «Враждебность интеллигентской и народной психологии в терроре 30-х и 40-х годов». — «Не случайно жертвы партийных чисток получают название „врагов народа“». — «Вина русской интеллигенции перед самой собою» (а не перед народом). — «Интеллигенция не была информирована, разделена взаимным недоверием и страхом» (как будто масса была информирована и не разделена тем же), и не из советской интеллигенции состоял «контингент давителей», — да побывали, побывали, и в прокуратурах, и в ЧК. (Особенно когда «над ЧК клубилась демократия».) А — среди пылающих партийных, комсомольских активистов и доносчиков 20-х и 30-х годов? «Представляют большевизм естественным порождением интеллигенции, однако это неверно». (Однако это уже некрасиво, это как в 1937 отречься от осуждённого брата. Все ревдемы все революционные годы никогда не оклеветывали так большевиков: верно чувствовали их частью себя, из-за того и бороться с ними не умели.) А — кто ж они, большевики? — да «всё равно что черносотенцы». — А всё это раскулачивание, 15 миллионов жизней, против чего интеллигенция никогда не протестовала, а кто и тёр в деревню в городских бригадах-отрядах, и можно бы теперь хоть покраснеть? — нет! — это «крестьяне сами увлеклись собственным раскулачиванием». (Ахнешь! И это нашлапал уважаемый диссидент.) — «Колхозы — чисто русская форма». (Смотри её во всех веках: план посева из города, бригады, палочки трудодней, ночная стрижка колосков.) — «Лишь русские и китайцы могут находить этот социальный порядок естественным».

То есть «природное» вечное «русское рабство», о котором уже столько нагужено. А плюралисты — не рабы, нет! Но и не подпольщики, и не повстанцы, они согласны были и на эту власть и на эту конституцию — только чтоб она «честно выполнялась». Это не один только приём диссидентов был — «соблюдайте ваши законы!» (впрочем, это добавляло им и мужества стояния). Те писали так в СССР и пишут в эмиграции: «У правозащитников не было цели установить в Советском Союзе другой политический строй или хотя бы определённо изменить тот строй, который существует». Они никак не схожи ни с бойцами белого движения (из того «рабского народа»), ни с крестьянами-партизанами 1918—22, ни с донскими и уральскими казаками (всё из тех же «рабов»), ни с Союзом защиты родины и свободы в московском подполье, ни с ярославскими и ижевскими повстанцами, ни с «кубанскими саботажниками», — а это всё наша сторона. В моём «Иване Денисовиче» XX съезд и не ночевал, повесть достигала не «нарушений советской законности», а самого коммунистического режима. На нашей стороне не знали мудрости Померанца, что не надо бороться с окрепшим злом: мол, через 200 лет оно само изведётся; что коммунистическому перевороту в Индонезии не следовало противостоять, ибо это «вызвало резню». Так и нашей Гражданской не следовало затевать? — а сразу сдаться переворотчикам? «Пусть Провидение позаботится, как спасти то, что ещё можно спасти». Против безжалостной силы, которая сегодня обливает жёлтым дождём лаосцев и афганцев, накопила атомные ракеты на Европу. — не надо бороться? Конечно, живя в Советском Союзе, очень предусмотрительно так выражаться. Но ведь это и искреннее убеждение многих плюралистов, что коммунизм — не зло.

А мы, войой не войой, — всё равно «рабы». И — «революция в России осталась национальным делом».

Так — заканчивается «тоска по истории». Так — меркнут волшебные переливы плюрализма. Увы, увы, где-то на свете он есть, да что-то нашим не достижим.

Так — не надолго и не далеко разветвлялись течения плюрализма, вот они снова все плотно текут проверенным руслом. — «Это растление человеческих душ не содержит в себе ничего специфически коммунистического». — «Русский социализм вылился в формы, специфичные для народа». — «Сталин возможен был только потому, что русскому человеку нужен был новый царь-Бог». — «Из-под коммунистической маски — традиционная российская государственность», советское общество «приобрело структурные очертания Московского царства». — «Хитрый татарский механизм». — Большевицкое «обогащение техники — это трансформированное суеверие крестьянского православия». (Меерсон-Аксёнов. И с таким сумбуром автор идёт в священство.) — «Россия строила своё народное государство», и получила, что хотела; партия и народ едины, власть общенародна, держится народом, — это мы и в «Правде» читаем, это и общий главный пункт плюралистов, об этом и все рефрены постоянно раздражённого Зиновьева.

В какую же плоскость сплюснул сам себя этот плюрализм: ненависть к России — и только.

Таким единым руслом потекли, что в десятке их главных книг даже не встретишь название «СССР», только пишут «Россия, Россия», можно подумать, что от душевного чувства. И даже чем явнее речь идёт об СССР — тем с большей сладостью выписывают: нынешняя «Россия делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и ещё больше». А всё же иногда и помучит научная добросовестность: ну Россия ладно, Россия или там «Советский Союз — это терминологический трюк», — а как же остальные 30 стран под коммунизмом? — они тоже «в структурных очертаниях Московского царства»? И тут, кто пофилософичней, находит мудрый ответ: «К русскому варианту вообще склонны отсталые страны, не имеющие опыта демократического развития». Вот это называется утешил, подбодрил! Так таких стран на земле и есть 85%, так что «хитрый татаро-мессианский механизм» обеспечен. А в оставшихся 15% был бы социализм самый замечательный! — да только их раньше проглотят.

Худ же прогноз.

Прогнозы? В будущем «тоталитаризм может даже отбросить атеизм». (М. Михайлов. Жди-пожди, кто ж от своего фундамента откажется? Да никою озверённое не ненавидели хоть Маркс, хоть Ленин — как Бога.) — В освобождении от тоталитаризма «национальное возрождение совершенно ни при чём». — «В качестве общественного человека русский человек останется навсегда рабом» (Синявский). — Программы будущего? «Есть все основания надеяться, что повторится Февраль и повторятся свободные выборы в Учредительное Собрание — (будто то были выборы) — и никакие враги плюралистического строя не смогут его разогнать». — Одни предполагают, что обойдётся без революции (неясно, откуда тогда Февраль), другие (Плющ) откровенно жаждут революции, которая изменит «и политическую сферу, и экономику». Кто видит лучшим выходом — «как предложил Ленин! — избрать в нынешний ЦК «сто простых рабочих» — (непонятно, почему Ленин при власти сам же их и не избрал) — можно и нужно инженеров и учёных, но не ютю всего населения, а от крупнейших предприятий, институтов, и разумеется чтобы все они были членами партии, — и так СССР, простите, Россия, будет спасён. Дело в том, что «для великого и образованного народа все дороги ведут к демократии, притом основанной на социалистических идеалах». У народа нет навыков демократии? — неважно, но «есть потребность в ней». Один (Янов) заносится и на более решительный проект: предлагает внутри переходной России между спорящими группировками или классами установить западный, видимо военный (?), арбитраж. Есть и так: «Обязательно должно сохраняться государственное планирование, пока мы не перейдём к коммунизму» (курсив мой). Спа-сибо!

А вот — закружившийся планетарист. Он вообще отказывается решать будущее в пределах одной страны: «не будет даже полутора лет и ни для одного народа спокойной жизни, посвящённой только внутренним задачам». (Упаси нас Бог от такого будущего! и жить не надо.) Идёт «подготовка человечества к общемировому объединению», «путь планетаризации человечества необратим», «так называемое „национальное самосознание“», «никаких национальных государств вообще в мире не будет», — а будет общемировое правительство?

Страшная картина. Грандиозный нынешний кабак ООН, безответственный, на пристрастных голосованиях, не способный ни на какой конструктивный шаг и за 40 лет не решивший ни одной серьёзной задачи, — да наделить его кроме парламентарных прав ещё и исполнительными? Если даже в малых странах, где всё обозримо, то и дело открываются коррупция, скандалы, — то кто же докритичит мировому зеву о нуждах своего отдалённого края? Всё будет — в чужих, равнодушных, а то и нечестных руках. Это уже — конец жизни на Земле. Если серьёзно уважать «швей-

царский» принцип, что местное управление должно быть сильнее центрального, то в этой иерархии что остаётся всемирному правительству? Ноль. Тогда — и зачем оно?

Но — снова же об интеллигенции. Дело в том, что интеллигенция «самим фактом своего существования утверждает права личности» — и «именно поэтому всегда была и остаётся чужда народу»... Да и вообще: «протест их индивидуален, они никого не хотят вести за собой». И даже: «Вести за собою массы могут лишь демагоги, выбрасывающие «народу» вовсе не те лозунги, которые намерены осуществить». Вот те раз. А как же тогда с ценностью демократии, и из чего состоят демократические выборы? Да не волнуйтесь, успокаивает нас запредельный демократ: даже «самые обманчивые, демагогические, подкупные выборы в каком-нибудь американском штате — в моральном, этическом, духовном и христианском смысле несравненно выше *всей* (курсив автора) многовековой истории русского самодержавия». Потому что «идеология демократического общества определяема стремлением к Богу»... (И тот же самый автор убеждал нас, что марксистско-ленинская идеология ни в чём не виновата, ибо «идеология ничего не определяла».) А например, «вполне законно сомневаться, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем монополия коммунистической партии» И вот: «Террористы появляются только там, где в самом деле под видом демократии скрывается какая-либо форма неравенства перед законом, а значит и скрытый авторитаризм». А так как террористы кишат более всего в Западной Европе — то и...? Разбирайтесь сами.

Всё говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Они — всё яснее видят язвы Америки и всё отчётливей о них говорят. Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены! И теперь они публично жалуются на еврейскую эмиграцию, что та находит американские свободы избыточными до опасности. Нельзя без улыбки читать жалобы Шрагина, его возмущение трезвыми пожеланиями новой эмиграции: ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства; усилить административную власть за счёт парламентаризма; укрепить секретность государственных военных тайн; наказывать за пропаганду коммунизма; освободить полицию от чрезмерных законнических пут; облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника, от гомерического адвокатского формализма; перестать твердить про права человека, а сделать упор на его обязанностях; воспитывать патриотическое сознание у молодёжи (караул! что это делается? куда мы попали?); запретить порнографию; усилить сексуальный контроль; искоренить наркотики из молодёжного употребления; и ещё о многом подобном — о гибели школы, о моральной гибели детей. Но это идёт в полный развал идей высочайшего и широчайшего демократизма, с которыми наши плюралисты приехали из Москвы! Они-то привезли, что «Америка через Ватергейт очищалась от грязи вьетнамской войны», а тут — отчаяние: «большинство эмигрантов настроены антидемократически», «антидемократическое настроение как единственно возможное...», «почему среди выходцев из Советского Союза антидемократы берут верх?». Увы, и ещё я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какой раньше не предполагали. Не то плюралисты. «Выбрав свободу», они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся.

Комично печальное впечатление от того, как плюралисты несут и слагают свои жалобы и надежды к стопам Запада, ослеплённо не видя, что Запад сам себя уже не способен защитить.

Кто активнее, кто менее, они спешат преподнести Западу свои советы, как держаться относительно коммунизма. Но вместо ожидаемого плюралистического спектра мы и тут встречаем довольно унылое однообразие. Мы уже видели, что по их оценкам либо не коммунизм виноват в том, что делается в СССР, либо даже это вообще не коммунизм. — «Борются против коммунизма и тем расходуют силы впустую». Чёрную и опасную работу — снова, и впрямь, и вечно выслаивать против живого коммунизма, они оставляют другим. Себе они видят более актуальные задачи. — «Логически невозможно доказать, что русский вариант коммунизма единственно возможен». — «Кто знает, возможен и бархатный коммунизм?» «Чего нам бояться? Зачем рисовать грандиозный образ мирового зла?.. Они тоже начинали с борьбы за добро». (Померанец. И даже я бы добавил: во скольких странах прямо сегодня на наших глазах начинают с борьбы за добро при помощи автоматов и ракет.) А вот европейские марксистские компартии — это «грозная опасность Советскому

Союзу». — «Мне не хочется встречать анафемой первые шаги еврокоммунизма». «Такое важное явление, как еврокоммунизм». (А меж тем — он уже и испарился.)

Еврокоммунизм — надежда, а угроза — это русская «националистическая банда», которая всё уже приготовила, чтобы сменить Брежнева в СССР. И когда касается этого — ещё острее сужается весь ожидаемый спектр плюрализма. «Проблема национализма» — любимейшая для их изданий, и даже когда вот сейчас собрались в Бостоне на литературную вроде бы конференцию — то сразу же и сбились на проблему «национализма». И — одиноко, и — осуждаемо прозвучали отдельные голоса (да и совсем не тех философов, кем наполнена эта глава), что, может быть, этот пресловутый «национализм» — попытаться бы понять? и даже войти с ним в союз? Нет! нет! — отрезали вершители, выступая и по дважды. И — восстановили то единомыслие, какое беспомешно течёт все эти годы по их плюралистическим каналам и в западные уши. Не дать, не дать русским очнуться к национальному сознанию!

Где Западу разобраться? Почему ему не верить — если *сами русские* предупреждают: будет «православный фашизм!» «Крест над тюрьмой вместо красного флага!» — Синяевский, славянофил, а сам себя публично не раз называл православным, — так зря на своих не скажет? До него осторожно указывали плюралисты: «У нашей интеллигенции есть все основания быть предубеждённой против православия», православная Церковь прежде должна «вернуть себе доверие интеллигенции», — то есть православию ещё надо заслужить себе место в плюрализме. А тут — «Сны на православную Пасху», название вызывает особое доверие, православие так и выпирает из груди автора. А он — эссеист не простодушный, не однослойный, вот умеет вовремя увидеть и нужный сон, умеет и пропользовать слово, так вывернуть абзац и фразу, что как бы совсем не от него, неизвестно от кого, вдруг выползают эти нужные каракатицы: «Крест над тюрьмой вместо красного флага». Кто это? где это? А — лови. Умеет как-нибудь так состроить, пугануть: «*Альтернатива: либо миру быть живу, либо России*» (и в языке раскоряка: древняя форма рядом с «альтернативой»). И каждый здравомыслящий откинется в ужасе: ах, вот как? И нас о том предупреждает *русский*? Какой же выход, какой же выбор подсказывается прочему миру, если он хочет жить?..

И — никто из плюралистов не возразит, не остановит. Да ведь — истины же нет, и никто не знает, «как надо» и «как не надо».

Неразумчивым американцам как угодно выворачивают нашу старую историю, чтобы соорудить эстакаду Грозный — Пётр — Сталин, а все века русской жизни потопить в болотной невыразимости. А чего стоит нечестное, неосмысленное употребление термина «неославянофилы» (как и в XIX веке «славянофилы»; изобретено оппонентами, кличкой-дразнилкой), вот уж ни одного живого «славянофила» сейчас в России не знаю (пardon, кроме Синяевского). Есть патриоты умирающей родины — так так надо и говорить, не юля. А если «профессиональному историку» потребуется срочно под перо славянофил XX века, так не глядит на ведущих — Дмитрия Шипова, Александра Самарина — а хватает ничтожного Шарапова и сдувает с него пыль в глаза. Вот так и мотают нам «историю» на шарапа. А произошла кровавая революция в Иране — наши честные и образованные плюралисты задули во все трубы, что православие — это и есть исламский фундаментализм и даже ещё кровавей. Лепят басенки о «голубях» и «ястребах» в Кремле, об обещательной смене старого поколения вождей на молодых, и как СССР можно обуздать и направить торговлей с советскими «динамичными менеджерами», лавочный анализ, и на этом строят прогнозы на тараканьих ножках, — а в их компетентности вольная американская демократия не смеет усомниться. Так и читаем мы в видных американских изданиях: то «Брежнев — миротворец» (Янов, перед вторжением в Афганистан), то «советская агрессия — старая сказка», «от коммунизма остались одни слова». Наш плюрализм до того не имеет объёмного взгляда, что, вместе с Западом, не видит, как коммунизм шагает через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придушит и всё человечество вместе с плюрализмом, — нет! При таких мировых событиях у наших плюралистов: то злокозненный мессианизм, которым якобы пылала масса русского народа от XV века до XX; то тёмное православие; то гнилость русской истории (обновлённой лишь идеалистическими ленинскими годами); мракобесие всех национальных течений и учений, извечная скотскость народа; и новая опасность для всего человечества — русского выздоровления, которое непременно станет ещё страшнейшим тогалигаризмом.

А забегливые спешат забегать перед Западом и многобрызно: у русских националистов — «братское соединение с режимом!» «Сближение «правых диссидентов» и официальной Новой Правой!»

Сближение — через каналы. «Брата» Огурцова догноили: 15 лет до конца и послали умирать в лесоповальную глушь. И второй восьмёркой, до тех же 15 лет, догнаивают «брата» Осипова. И посадили на второй срок «брата» Бородина. Не как врагов-плюралистов, не как тех свободомыслящих журналистов отпускали на Запад, не

как враждебного Синяевского, «единственно опасного из писателей эмигрантов» (как понял из интервью с ним «Штерн»). — освобождены из лагеря досрочно. (Предлагаемые им аспекты делятся: «Монд» 7 июля 79 — «находился в плохих отношениях с лагерной администрацией», «Штерн», октябрь 81 — «благодаря хорошему поведению».)

Победа «Новой Правой» будет — «концеп детагга и усиление тонки вооружений» (да куда ж ещё усиление?), их цель — «реставрация сталинизма», «сочетать ленинизм с православием». И громко срывается метущая журналистическая чета (Соловьёв и Клепикова): «Секретная Русская Партия — очень мощная и всё захватывает», «у неё есть свой ЦК, теневой кабинет, железная связь между Москвой и провинцией», даже «вашига памятников старины связана с Госбезопасностью», «в этом обществе особенно видна зловещая роль Русской Партии». И даже добавим: только эта националистическая банда и могла задумать уничтожить русский Север — повернуть реки, затопить пространства, а сам русский народ так отечески привести к вымиранию. — «КГБ и Русская Партия имеют тенденцию перекрывать», хотя «большинство основателей Русской Партии — журналисты и литераторы». (Что-то соскользнули, тут уже не так страшно.) Да жми железку до конца: «Русские националисты — попросту фашисты и используют немецкие приёмы», «Русская Партия переходит в национал-фашизм». (Всё та же чета.) — «Они нагло следуют аргументам и процедурам (очевидно, газовым камерам?), которыми пользовались их германские братья по оружию».

Тут уже — сердце Запада не откажет, в реакции можно быть уверенным: русских надо уничтожать! А коммунизм меж тем — вовсе затнен и исчез.

Эти настоячивые призывы — уже не по-русски печатаются, не для эмигрантов, а — для американских простаков, и формируют же мнения, и обещают действия. Афганистан? Польша? — на Западе шлются проклятиями не советскому имени, но русскому, и плюралисты не поправят, но сами то и создают. «Русский империализм», «за жёсткую внешнюю политику СССР ответственна „Русская Партия“», этот гибрид лагерников с маршалами... Так — неразумно, безумно, толкают Запад повторить гитлеровскую дорожку: воевать не против коммунизма, а против русского народа.

Никак не обещали нам в спектре плюрализма — лжи и обманных приёмов. Уж их-то можно было оставить советской пропаганде? Нет, прихвачены по наследству.

Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счёт ограбления остальной страны), наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, повое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада: что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кошмарном уровне здравоохранения, при уродливом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распридаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об этом ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о чём об этом? Для многих народов нашей страны дума сегодня упёрлась в простое: они вымирают, ещё останутся ли на земле? Но ни у кого из плюралистов мы такой кручины не встречаем. Как их предшественники и отцы спокойно пропустили тотальное уничтожение ещё ленинских лет, тотальное вымирание Поволжья, потом генотипную коллективизацию, голод на Украине, на Кубани, послевоенные потоки ГУЛага (только заметили вовремя партийные чистки 37-го года, «кормополитов» и «дело врачей»), так и сегодня наши плюралисты не замечают, что Россия — при смерти, что она уже — обмерший полугруп, — а кружится на павшем теле хоровод оживлённых гномов, всё нащечивая своё. Для доверчивого Запада переписывают нашу новейшую историю по вехам диссидентских выступлений. Превеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране, а лишь: соблюдает ли этот режим-убийца свои собственные живые законы? После своевременной эмиграции их забота теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)

Сколько среди них специалистов-гуманитаристов — но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? — да разумными давно бы нас убедили! Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: *какую* демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать «вообще как на Западе» — ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — всё приноровлено к *данной* стране, а не «вообще». Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав

парламента, и большие меньшинства могут «проглатываться» бесследно, либо, напротив, никогда не составится стабильное правительство.) Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) — нет? — ведь это совсем разные действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать «свое» правительство из одних партийных соображений — то это опять власть партии над народным мнением? А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии — и ни об одной из них мы ещё не слышали. Ни одного реального предложения, кроме «всеобщих прав человека».

Они — демократы «вообще». Но должны ли мы поверить, что они жаждут власти реального народного большинства, а не своего «культурного круга», чьё управление и будет «демократия»?

А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то ещё скорее начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — буду вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто усюкоит их и спасёт людей от резни?

Ни о чём об этом наши плюралисты не выражают забот.

Ну, скажут, и пусть их? Там, в России, их здешний гулок не воспринимается как имеющий значение, а тем более как угроза нашему реальному будущему.

Если бы опыт Семнадцатого года не пылал у меня под пальцами — вероятно и я не придавал бы значения. Но что-то становится — весьма похоже. Уже основательно мы испытали один раз, когда нас заболтали и проторили «стране рабов» дорогу в светлое будущее.

Вот рыскают по свету, бьют баклуши.

Воротятся — от них порядка жди

Они наворачивают, наворачивают — а как бы опять не вокруг нашей головы, как бы опять не затмит нам глаза. Прежде чем Россия придёт в сознание — уже направить это сознание. И уже сейчас, где могут, наталкивают по русскоязычному радио, чтобы правильно повести оставшееся там население.

Скажут: ну, не такие ж это крупные фигуры, как те прежние. Да а те, разобратся, нечто были крупные? Каких история выпускает на арену — те и действуют. Да не верстаются нынешние и к либерально-демократической эмиграции 20-х годов, ни по масштабу, ни по уровню мысли, ни по общественному опыту, — а ведь насколько превосходят тех по возможностям. Те — перебивались с корки на корку, убивались заработать сотню франков, не знали где голову приклонить, а напечатать статью в крупном французском или американском издании им было много лет недоступно. Эти — основывают собственные издательства, журнал за журналом (уже сейчас их выходит в эмиграции столько, что хватило бы на всю Россию), ездят по конференциям, открыты им и западные газеты, открыты и университетские кафедры без подробного спроса о научном багаже, их слушает Запад, молодой и не молодой. Их влияние на Западе несравнимо с влиянием всех предыдущих эмиграций из России.

А если оглядеть круг личностей шире, чем цитированные здесь: ведь десятилетиями жили в столицах, и многие служили на деликатном идеологическом фронте — марксистскими философами, журналистами, очеркистами, лекторами, режиссёрами кино и радио, даже пропагандистами ЦК, референтами ЦК, даже прокурорами! — и нам, с лагерного и провинциального дна, справедливо казались неотличимы от цекистов и чекистов, от коммунистической власти. Они жили с нею в ладу, ею не наказывались и с нею не боролись. И когда я в окружающей советской немоте 50-х годов готовил свой первый прорыв через стену Лжи — то именно через *них* прорыв, через *их* ложь, — и ни от кого из них нельзя было ждать поддержки. И вдруг — открылась возможность некоторым двинуться на Запад, и они двинулись, где-то по пути тихо роняя свои партийные билеты. И по другую сторону Атлантического океана вдруг стали исключительно смелы в суждениях о советской жизни, вчера успевали там, сегодня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и неподкупные, тяжело страдали в грязных гнёздах пропаганды ЦК, или прокуратуры, или союза писателей и журналистов, опубликовавши в СССР кто по три, а кто и по десятку книг и множество статей, и записывают себе в послужной список поставленные в СССР пьесы, фильмы, — а что это всё было, если не ложь, ложь и ложь? И никто из них — ни один! — не раскаялся, не заявил публично, что это он и заплёвывал наши глаза ложью, не рассказал ни о каком своём соучастии, как он, хотя бы часть своих лет, укреплял и прославлял коммунистический режим и получал от него награды. Их философия: это — скотская народная масса виновата в режиме, а не я. Им и в голову

не приходит, что настоящее творчество начинается не с безопасного (или даже опасного) сатирического разоблачения других, а с поисков своей собственной вины и с раскаяния.

Сегодня от Февраля то различие, что перед тем нельзя было «проговориться», тогдашние плюралисты вещали совершенно открыто в 50 газетах и с 50 трибун, и можно было заранее видеть, что они готовят (но, по неопытности, не понимал почти никто, и даже многие сами они). А теперь, в СССР, все истинные взгляды, процессы, мысли, настроения, желания скрыты под казённой вменяемой однообразностью режима, под его чугунной коркой. И обнажиться могут только в эмиграции — но и как же откровенно! История вот произвела и показала нам предупреждающую пробу.

Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеётся. И русские всегда, русская литература и все мы,— свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас всё на свете худшим, но, как и классики наши,— Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучёбе, но вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымираньи мы услышим их тысячекратный рёв, не об ответственности и обязанности каждого, а о правах, правах, правах,— и разгромят наши останки в ещё одном Феврале, в ещё одном развале.

И в последней надежде я это всё написал и зываю, и к этим и к тем, и к открывшимся и к скрытым: господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего «самовыражения». Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как (Амальрик, «Синтаксис», № 3, стр. 73) «у пивной, размазывая соплю по небритым щекам, мычит»... — а мат оставляю закончить вашим авангардным бестрепетным перьям.

* * *

Теперь вот читаю, что понаписали за эти годы лично против меня,— редко встретишь честную полемику, то и дело выверт, натяжка, ложь. Вот видный культуртрегер («культура — это религия нашего времени») дважды или трижды приписывает мне в западной прессе: то желание «восстановить византизм Третьего Рима» (с какого брёху?), то иметь в России теократию, то «православного аятоллу». И это — не ошибка одного ума или натяжка одного полемиста, но от одного к другому так и потекло и все указуют: «Солженицын предлагает теократию». Да — где же, когда? — да перетрясите мои десять вышедших томов и найдите подобную цитату! Ни один не приводит. Значит, заведомо знают, что лгут? Да, вкруговую знают, что лгут,— и лгут!

На «аятоллу» мне пришлось всё-таки ответить, исключение, уже заврались за пределы. Ответил — абзацем в 80 слов (считая предлоги и союзы). Эткинд мне в ответ — 1300 (пропорция неуверенности), и при том ни тени извинения, что я публично оболган, а взамен — новая ложь: будто я «учу», что «критерий нации кровь». Да — где же это я так «учил», что «критерий нации кровь»? Откуда это «то есть»? Цитаты — не ждите, и не дождётесь, ибо её не существует. Очередная подтасовка, а литературовед мог бы прочесть «Ленина в Цюрихе» потоньше. Наши предки — да, это прежде всего наше духовное наследство, *ими* определяется оно, и из того вырастает нация, и из душевной связи с родной землёй, а не с любой случайной, где досталось расти. И у Ленина — душевной связи с Россией мы не видим нигде, ни в чём, никогда. И если в Соединённых Штатах в польской, теперь и вьетнамской, семье растёт ребёнок — то каким бы образцовым гражданином Штатов он ни вырос, и даже если он никогда своей родины не видел,— всё же к сердцу его с наибольшим отзывом прикладывается боль его дальней родины. Отчего же иначе все поляки, вот уже и в четырёх поколениях живущие в Штатах, так бурно и больно отозвались на события именно в Польше, а не в Камбодже или в Эритрее? И кто же настаивает, что это — «кровь»? Это — предки, духовное воспитание, национальная традиция. И вот отчего Соединённые Штаты и за 200 лет ещё не спаялись в единую нацию, но раздираемы сильными национальными лобби.

Или вот распространённый приём плюралистов: выхватить удобную цитату, но не из меня, а из кого-нибудь — В. Осипова, Н. Осипова, Удодова, Скуратова, Шиманова, Антонова — я может быть тех авторов и в глаза не видел, не переписывался, тем более в одни сборники не входил — неважно, дерь цитату и лепи её Солженицыну, он ведь на лай не отгавкивается, значит — прилепитесь. Раз тот так написал — *значит* и Солженицын так думает!

И этим нехитрым приёмом не брезгают многие плюралисты — начиная от «приимкнувшего» М. Михайлова. И «Синтаксис», претендующий, кажется, стать эталоном нашего эстетического вкуса и утончённого мышления, — в первом же номере своём громит некоего Шиманова, преградившего дорогу всей свободной русской мысли, — разоблачитель-предупредитель мечется, мечется по шимановской конструкции, и выясняется, зачем: вот он собрал и выкладывает, что нашел «общего» у Шиманова с Солженицыным: всякий нехристианский народ — варварский, а Китай — особенно; задача русского народа — охранить христианство от «жёлтой опасности»; говоря об «образованщине», конечно имеют в виду «сионских мудрецов», и именно они должны быть устранены как главное препятствие на пути русской нации.

Какие сотрясательные выводы о Солженицыне! И насколько же бы они прогремели, если бы взяты цитаты да прямо из Солженицына! Да — нету таких цитат. Да — неоткуда их взять. Только вот — соскрести с Шиманова, местами, и то плохонько.

И первым вкладом в бриллиантную диадему будущего законодательства вкуса принимает главный Эстет от суетливого коммивояжёра — дешёвую дутую подделку. И как же не побрезговать — в тени-то, позади-то: ведь этакая мусорная стекляшка пожалуй и в диссонанс со взятыми напрокат гравюрами Фаворского?

Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав — критикуйте! разносите! раздолье! Тут и целая желанная программа есть для разноса — Шипова (пока поглубже, чем всё предложенное нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Подобно коммунистам, спорят со мной как с партийным публицистом, и только. Накидываются со всеми трубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь интервью.

Но когда я пишу: «Винить нам некого, кроме самих себя», — такой фразы и подобных умудряется не заметить никто из двух дюжин критиков, а дружно голосят, что в «русской революции Солженицын винит исключительно инородцев». Затем есть ещё сручный приём: цитату взять истинную, но вырвать её из текста, но истолковать ложно, но извратить. Такой отмычкой воспользовались сразу несколько плюралистических авторов, в том числе, увы, и разборчивый Померанц. выхватя фразу из моего «Раскаяния». Фраза — самого общего характера: что в раскаянии трудно вовсе освободиться от памяти, односторонен твой грех или обоесторонен, всё же температура разная, не на церковной исповеди, но в человеческом быту, — и кто же от этого свободен? Да, это не высота христианского исповедального покаяния, но статья не ему и посвящена, а повседневному человеческому раскаянию, у него и пределы. Вот она: «Если обиженный нами когда-то обидел и нас — наша вина не так надрывна, та встреча вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды». То есть простая мысль: не мы к ним первые пришли. И это относится к событиям шестисот лет, протекших от падения Орды, — тут и подчинение Казани, и Астрахани. Но выхватив фразу из контекста, изо всего строя статьи, бессовестно истолковали её — один! другой! третий! четвёртый! — именно в том смысле, что этим я одобряю советское выселение татар из Крыма!

Не прослеживал, кто из них первый придумал (другие — перенимали). Изю всех обращусь лишь к тому, от кого нельзя было ожидать. Григорий Соломонович! Ведь Вы призываете, чтобы даже в разоблачении ГУЛага, миллионных коммунистических уничтожений, не было бы «пены на губах». Отчего ж — не к государственному деятелю, но к писателю, никому не рувившему головы, — Вы допускаете ей пениться на Ваших собственных? и не пристыдите единомышленников и Ваших учеников? Судя по Вашей статье, Вы «Архипелаг» прочли, и Вы помните, что я пишу там о страданиях выселенных крымских татар, и сочувствую я им или тем, кто их выслап. А ещё, может быть, Вы читали и «Раковый корпус» — и запомнили, с какой нежностью описан умирающий татарин Сибгатов, лишённый вернуться в Крым? (Одно из самых «непроездных» для цензуры мест «Ракового корпуса».)

И после этого — вот так выворачивать? А ученики зовут Вас «кротчайший мудрец»...

И весь расчёт — только на то, что я всё равно смолчу, занят Узлами — и не отвлекусь?

Не у меня, это у ваших плюралистов — «татарский», «татаро-мессианский» — первая брань.

Какие же цели ставит себе эта бесчестная дискуссия? Что доброе надеются ею построить в русском будущем? Почему нашему гордому интеллектуальному плюрализму с первых же шагов понадобилась ложь? Неужели без неё не выстраивается аргументация? Самые дотошные книгоеды из них беззастенчиво сочиняют, не приводя ни единой цитаты, — потеряли всякую осмотрительность.

И насколько можно верить последовательности плюралистов? «Права человека» относится ко всем людям или только к ним самим? Вот я воспользовался самым скромным из прав человека — не поехать по приглашению на завтрак, и свой отказ объяснил в письме к Президенту. И какой же это вызвало гнев плюралистов: я *должен* был поехать! чтобы придать весу всему их коллективу приглашённых! И некто Любарский пишет задыхательную статью (и снова пропорция неуверенности: в три раза длиннее, чем моё письмо Президенту). И снова: что в моём письме главное, существенно, — то обмолчать или вывернуть, «не понять». зато правоучительно втолковывать, кем из диссидентов (кроме почему-то Синявского) я пренебрег — хотя в моём письме ясно сказано, что состав участников от меня тщательно скрывали, и Любарский знает, что он был объявлен лишь вослед. С привычным советским вывертом втискивает меня в компанию Брежнева, «Лигазеты», обвиняет в безответственном повторении «бредовых мнений» «какого-то генерала» из «какой-то американской газеты», — извольте: «Вашингтон пост», ведущая столичная, генерал Тейлор, командовавший объединённой группой начальников штабов, а стратегическую идею избирательно уничтожить русских ядерными ударами ему подали из университетских кругов, профессор Гёртнер.

С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. Очень помогло им, что западная пресса, особенно в Штатах, в руках левых — и легко, и охотно эту травлю переняла и усвоила.

Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под лапю всё это громко вывездет режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?

«Фальсификатор... Реакционный утопист... Перестал быть писателем, стал политиком... Любит защищать Николая I (?)... «Ленин в Цюрихе» — памфлет на историю... «Ленин в Цюрихе» — карикатура... Оказался банкротом... Сумблимирует недостаток знаний в пророческое всеведение... Гомерические интеллектуальные претензии... Шаманские заклинания духов... Ни в грош не ставит русскую совесть... Морализм, выросший на базе нигилизма... Освящает своим престижем самые порочные идеи, затаённые в русском мозгу... Неутолимая страсть к политическому пророчеству с инфантилизмом... Потеря художественного вкуса... Несложный писатель... Устройство сознания очень простое и близкое подавляющему большинству, отсюда общедоступность. (Вот это их и бесит. А я в этом и задачу вижу.) Фанатик, мышление скорей ассоциативное, чем логическое... Пена на губах, пароксизм ненависти... Политический экстремист... Волк-одиночка... Маленький человечек, мстительный и озлобленный... Взращённый на лесте... Ходульное высокомерие... Одинокий волк, убежавший из стаи... Полностью утратил контакт с реальностью... Лунатик, живущий в мире мумий... Легко лжёт... Пытается содействовать распространению своих монархических взглядов, играя на религиозных и патриотических чувствах народа (ну, буквально из «Правды»)... Пришёл к неосталинизму... Его сталинизм полностью сознательный... У Ленина и Солженицына абсолютно одинаковое понимание свободы... По его мнению коммунистическая система не подходит России только из-за того, что она нерусская (не из-за того же, что атеистична и кровава)... Капитулировал перед тоталитаризмом... Яростный сторонник клерикального тоталитаризма... Аятолла России... Великий Инквизитор... Солженицын, пришедший к власти, был бы более опасным вариантом теперешнего советского режима... Его поведение запрограммировано политическими мумиями, которые однажды уже поддержали Гитлера (отчего не самим Гитлером)... Опасность нового фашизма... В его проповедях и публицистике — аморальность, бесчестность и антисемитизм нацистской пробы... И наконец: «Идейный основатель нового ГУЛага»...

И это всё написано не замороченными иностранцами, но моими, так сказать, так сказать... соотечественниками. И так нарастал от года к году раздражённый оскорблённый тон плюралистов, что даже этих, кажется уж высших, обвинений им казалось мало — и стали лепить больше по личной части: «...Ослепление рассудка... Помрачение рассудка ослабило моральные тормоза... Наведенное безумие... Удар славы тем сильнее раскаляет голову, чем менее плотно её нравственное наполнение...»

И требовали, чтоб я наконец замолчал, не выступал перед Западом! (Уж я ли не молчу? Не управляемся отказывать всем западным приглашениям.) И прямо так и вопрошали: за чем я выжил? — и на войне, и в тюрьме, и сквозь рак. И объявляли меня — уже вполне конченным, хоронили (мышь кота).

И — как не перемывали в сплетнях мои собственные признания! — как будто они первые дознались, открыли. Ни одна моя покаянная страница не осталась без оживлённого обтащивания, на каждую находились низкие оппоненты, кто выплясывал, скакал, указывал, торжествовал, как будто я скрывал, а он разобла-

чил. (А ведь среди этой публики — и писатели есть. И — как же они себе мыслят литературу без признаний?)

Так постепенно сводили клеветы под единый купол и ещё такой приём придумали, наглядное пособие: напечатать серию фотофантазий на «род Солженицыных» — морда за мордой, тупица за тупицей — презренный род, каким только и может быть всякое русское крестьянское порождение. Или, как выразился левый «Мидстрим» (остроумный Макс Гельтман): «в его родословной все крестьяне до того, что коровьим навозом почти замазаны писательские страницы».

А в левом американском «Диссиденте» шустрая чета (всё те же Соловьёв и Клепикова) приоткрыла опасную связь: «Отрицательные черты Солженицына являются чертами России, и расхождения с ним его либеральных оппонентов относятся не к нему, а к самой России... Читатели могут любить или не любить Солженицына, но это равносильно любви или ненависти к его стране... Связь с отечеством его не прервана, а скорей усилилась изгнанием, подобно тому как — (оцените сравнение) — части раздавленного червя извиваются, пытаясь соединиться».

И усвоили, и печатно употребляют как самоечное выражение — «люди Солженицына», — то есть как будто мною мобилизованы, обучены, и где-то существуют, и тайно действуют страшные когорты. Да очнитесь, господа! Если бы я непрерывно ездил на конференции, как вы все это делаете, всё организовывал бы комитеты, или мостился бы к госдепартаментским, как вы этим заняты! — но я заперся, уже 6 лет тому, для работы и даже трубку телефонную в руки не беру никогда. Да у вас переполох от ненависти и страха. Ваша дружная сосредоточенная ненависть немало и убеждает меня в правильности и полезности для России моей тропы.

Естественное возрождение русских умов и русских сил там и сям, признак не до конца умершей нации, — вы принимаете за заговор?

Так с удивлением замечаем мы, что наш выстрадавший плюрализм — в одном, в другом, в третьем признаке, взгляде, оценке, приёме — как сливается со старыми ревдемами, с «неиспорченным» большевизмом. И в охамлении русской истории. И в ненависти к православию. И к самой России. И в пренебрежении к крестьянству. И — «коммунизм ни в чём не виноват». И — «не надо вспоминать прошлое». А вот — и в применении лжи как конструктивного элемента.

Мы думали — вы свежи, а вы — всё те же.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

*

СТРАСТЬ К РАЗРЫВАМ

Заметки о сравнительно новой мифологии

Бородкин. А я так думаю, что люди всё одне-с.
А. Н. Островский, «Не в свои сани не садись».

Бьют не по паспорту, а по морде.
Расхожая шутка.

Второй эпиграф звучит, конечно, грубовато, но все же лучшего подобрать не могу. Разве что перефразировать: дружат, спорят, соглашаются, бранятся не с представителем той или иной условно выделяемой группы, но с человеком, неповторимой личностью, не укладывающейся ни в какую «форму», не сводимой ни к одному определению. Сколь ни груба популярная в оны годы шуточка, а ведь намекала она не только на межнациональную проблему, но и на все менее явственный императив: человека следует мыслить конкретно. Особенно если дело доходит до противостояния. Впрочем, не идеологические раздоры сами по себе являются предметом этих заметок.

Понимание человеческой культуры как осмысленного единства, предполагающего проницаемость смысловых границ и возможность договориться для всех, кто этого хочет, и понимание культуры как неизбежного разномыслия личностей, ответственных за себя, не противоречат, но подразумевают друг друга. Противоречат же они подходу «по одежке», когда в оппоненте-современнике или изучаемом писателе, мыслителе, политике, идеологе времен минувших видят представителя некоей конфессии, нации, узкой традиции, сословия — и только. (Подобный подход, кстати никогда до конца не выдержанный, заставляет более или менее ответственного человека формализовать и собственное «я», помещать и себя в ту или иную классификационную клетку.)

Сказанное не означает, что «религия» или «нация», «сословие» или «профессия» суть понятия мнимые, — это как раз реальности, заданные самой жизнью. Человек может, и скорее всего (хотя это вопрос не из бесспорных) должен, осознавать себя (возьмем нарочито «чужой» случай) католиком, англичанином, буржуа, адвокатом, и это не мешает ему быть человеком, то есть братом всех живущих на земле и носителем совершенно неповторимого сознания, откуда любое из исчисленных выше «свойств» обладает для него позитивным содержанием и не становится способом отгородиться от протестанта, француза, крестьянина или врача. К несчастью, бывает и иначе — абсолютизация исключительности, сущностно противоречащая как раз позитивному смыслу религиозного, национального, сословного или профессионального, нередко берет верх над человеческой сутью. Так реальность подменяется мифом, который ее стремится уничтожить вовсе. Превращаясь в замкнуто агрессивную силу (с непременным комплексом неполноценности), даже религия перестает быть религией, что и чувствует тот, кто верует истинно. Сходным образом германский национал-социализм был не выражением, но опровержением немецкого национального духа, был сущностно враждебен великой культуре и стремился ее переформировать (в конечном счете — уничтожить), что и чувствовали настоящие немцы, коим для национальной самоидентификации не были нужны национал-социалистские мифы. Немцем был Томас Манн, а Гитлер — убийцей, у которого не было ни веры, ни национальности, ни сословной принадлежности.

Если такие укорененные в реальности, а потому вроде бы застрахованные от дурной мифологизации свойства, как те, о которых шла речь выше, способны искажаться в идеологических пространствах и становиться собственной противоположностью, то что уж говорить о понятиях чисто интеллектуального происхождения, о том, что придумывается и обосновывается людьми? Здесь опасности куда больше, ибо связь с реальностью гораздо слабее, опосредованнее. Интеллектуальная конструкция в оборот как рабочий инструмент для решения очередной задачи (иногда эту задачу иначе не решишь, иногда решишь только иначе, а иногда ее и решать-то не стоит), но затем, подобно утвари из легенды об ученике чародея, обретает самостоятельную жизнь, жизнь мифа, порой занятого и даже необходимого в общем культурном процессе (покуда действуют рядом иные мифы и, главное, не засыпают вовсе разум и совесть), но часто зловещего, путающего, сеющего раздор.

О таких мифах и пойдет речь. Ни один из них не вырос в тотальность во многом потому, что они проговорены были литераторами отнюдь не тоталитарного склада, движимыми к тому же вполне благородными импульсами и взявшимися решать отнюдь не надуманные задачи. Мне бы хотелось, чтобы мои возражения героям статьи воспринимались как возражения личностям (а не представителям той или иной идеологической тенденции). Возможно, я не выдержал этих поставленных над собой законов — пусть читатель окажется умнее, сдержаннее, логически строже, чем я. Но пусть при этом помнит о том, какие цели были мной избраны.

А теперь к делу.

1. Миф об эмигрантах

Первый сюжет, на который мне бы хотелось обратить внимание, может насторожить читателя. Ведь статья Аллы Латыниной «Когда поднялся железный занавес» («Литературная газета», 24.7.91) уже рассмотрена под всеми увеличительными стеклами, оспорена, поддержана, заклеяена и восславлена как в метрополии, так и на чужеземных просторах. Критик, вновь обращающийся к этой статье, рискует показаться смешным, как всякий, кто машет кулаками после драки. А драка была нешуточная. Даже августовские события не смогли ее разом притормозить. «Возмутительницу спокойствия» спешили поддержать или поставить на место многие, при этом суть статьи, сама постановка вопроса, на мой взгляд симптоматичная и меня лично пугающая, оставались вне поля зрения сочувственников и оппонентов Латыниной. Среди первых были эмигранты, благодушно соглашавшиеся с общим приговором критика и спешившие подыскать кандидатуры на роль «плохих эмигрантов». Московский «выкрик» встраивался в контекст непростых парижско-нью-йоркских взаимоотношений с их неизбежными для любой диаспорной культуры взаимными обидами и подозрениями. Другие на Латынину обижались: за себя лично (эмигранты) или за своих друзей, коллег, любимых писателей и общественных деятелей (россияне). Не обошлось без резкости и «чтения в сердцах». Латынина тоже не замедлила обидеться, наиболее отчетливо продемонстрировав это в заметке «Моя корысть — выпрямленная спина» («Литературная газета», 23.10.91). Интересующий нас фрагмент звучит так:

«...когда я слышу на знакомой радиоволне голос поэтессы, надрывно (ну не так уж и надрывно, слышали и понадрывнее. — А. Н.) порицающей Латынину за недостаточную почтительность по отношению к эмиграции, я испытываю скорее сострадание, чем раздражение. Потому что вижу, как из натужных и надрывных восклицаний, лишенных убедительности, возникает некое подобие вопросительного знака, напоминающего согнутую спину»

Ведь мой оппонент, обвиняющий меня в «недостойных» играх, в глубине души не может не понимать, кто из нас двоих принимает участие в чужой игре, где выигрыш дается в форме валютного гонора и зарубежной поездки, а кто — отказался играть».

Интересное дело! Выходит, я, никогда не бывавший за границей (коли не считать школьной поездки в Чехословакию) и в глаза не выдавший валюты, писал сугубо «положительную» статью о «Верном Руслане» Владимова и «Чонкине» Войновича («Октябрь», 1989, № 8) в расчете на... И об Аксенове («Новый мир», 1991, № 11) тоже писал корыстно (наверно, наполовину: «Ожог» — хвалил, зато «Остров Крым» — ругал). И о Бродском несколько раз отозвался (и в этой статье еще отзовусь) как о великом поэте. И о Солженицыне — как о великом прозаике (впрочем, сходно писала и А. Латынина). Обидно как-то узнавать о себе эдакое. Я-то думал, что словесностью занимаюсь, тексты анализирую, закономерности отслеживаю, а вон как дело обернулось. И наверно, мое несогласие с Латыниной опять-таки будет щедро оплачено?

Но ведь Латынина лишь отреагировала на суждения своего оппонента, тоже замечившего анализ статьи характеристикой автора и его побудительных мотивов. Между тем вопрос о «моральном облике» Латыниной ли, ее ли оппонента, моем ли, откуда мы уголовного кодекса не нарушаем, в сущности, значим лишь для наших родных, друзей и знакомых. Неужели не ясно, что и попросту неверное суждение того или иного литератора вовсе не очерчивает его облика, что причинами появления того или иного (предположим, абсурдного) пассажи вовсе не обязательно служат игра «темных сил» или порочная страсть к наживе, завербованность или житейский эгоизм? Я, например, рискну утверждать, что обе наши дуэлянтки совершенно бескорыстны, вполне искренни и всецело озабочены сегодняшним состоянием дел в российской культуре. Вообще же мы сильно рискуем взаимной подозрительностью окончательно заморочить головы не только друг другу, но и той самой аудитории, к которой адресуемся.

Забавно, но всеми принятая логика спора о «железном занавесе» присутствовала в самой статье Латыниной, начинавшейся с совершенно справедливых тезисов: среди эмигрантской литературы достаточно мусора, эмигрантство становится фирменным знаком, бывших соотечественников принимают с распростертыми объятиями (оно, кстати, по-человечески и не худо), печатают без разбора, критике не подвергают (ушаты грязи, выплеснутые на Войновича, например, справедливо выносятся за скобку; это была не критика, а нечто иное).

Все правильно, но позволительно спросить: иначе ли обстоит дело с писателями, нигде не уезжавшими, а, например, сидевшими в лагерях и тюрьмах? Или умершими, не дождавшись публикации заветных вещей? Или, наконец, пребывавшими до недавних пор в полуопале и круто пошедшими в гору, добравшими упущенное в последние несколько лет? Разве здесь все было равноценно? Разве в издательской эйфории не

смешивались конъюнктурные устремления, естественное чувство вины и живая любовь к тому, что представлялось редактору имярек важным? Разве критики наши всегда произносили безошибочные приговоры?

Подчеркну: речь идет не о тех, кто действовал по принципу «чего изволите?» и судорожно искал нового хозяина (обычно не порывая со старым). Речь идет и не о неизбежном разномыслии критиков, издателей, читателей. (Мандельштам сказал. «Есть ценности неизблемая скала», но это не мешало ему относиться к Чехову, мягко говоря, «критически»; стоит ли после этого дивиться тому, что, скажем, А. Латынина и А. Немзер по-разному оценивают роман Войновича о Чонкине?) Речь идет о совершенно особенной ситуации прорванных плотин, одновременном информационном обвале и духовном повороте, о чрезвычайном болезненном процессе возвращения «всего разом», в котором комическое переплеталось с серьезным, живое с духовно насущным, выдуманное с реальным так тесно, что никаким скальпелем не отделишь. Есть надежда, что историки будущего сумеют ощутить и запечатлеть эту драму «поздних восьмидесятых» в ее гротескно-трагическом единстве.

Мы субъективные участники этой драмы, и нам судьбой положено раздражаться, дергаться и делать ошибки, может быть, и чаще, чем в иные времена. Но, кстати, добрые слова о писателях, работавших в изгнании, вовсе не свидетельствовали с непреклонностью закона, что произносящий обожает всех эмигрантов до судорог. Ярлык (положительный) выкраивался общими усилиями, иногда против желания того или иного критика, высоко ценящего, скажем, Галича и на дух не переносящего, скажем, Лимонова Ярлык выкроился — и искать виноватого здесь последнее дело. Латынина, справедливо недоброльная политикой «этикета и этикеток», заменила один ярлык другим. Все эмигранты разом стали «чужими». Разумеется, в статье так не говорится и, уверен, зная работы Латыниной о Солженицыне, такое и не подразумевается, не входит в авторскую задачу. Но текст, в котором нет и не может быть примера позитивного, начинает работать против автора.

Как только ярлык оказался замененным «антиярлыком», наступила все та же неразбериха: Лимонов предстал почти двойником Буковского, а критика не смутило то, что в качестве аналогов ей же понадобилась отнюдь не в эмиграции возросшая диада «Память» — «Демсоюз». Разбираться в этом, так сказать, четырехугольнике было бы любопытно, но не в том моя задача. Разом обнажились два методологических принципа латынинской статьи: во-первых, небрежение конкретикой судьбы, поступка, высказывания, поиски надличностных универсалий; во-вторых, подмена тезиса — речь пошла уже не о специфически эмигрантском феномене. Критик заменила проблему ее частным вариантом, довольствуясь псевдонимом-синекдохой. Сколачивание из эмигрантов единой когорты было удобным основанием для финального вывода о том, что «они, уехавшие (быть может, даже не всегда отдавая себе в этом отчет), хотя и, чтобы реформы (в нашей стране. — А. Н.) провалились к чертовой матери, а занавес соткался бы вновь».

Между тем Лимонов и Буковский не имели ни малейшего отношения к тезису «хотя, чтобы реформы провалились». Лимонов считал происходившее не реформой, а контрреволюцией и ненавидел (или изображал, что ненавидит) это самое происходившее всеми клеточками «Эдичкиного» организма; Буковский полагал, что никаких реформ нет, что они вряд ли возможны, а в стране есть реальные предпосылки для свержения коммунистов. И то и другое идеологическое построение не описывается латынинской формулой. Полюса смыкаются лишь в расплывающейся сентенции критика, — в реальности они остались полюсами, о чем мир и был оповещен 19—21 августа.

Во-вторых же, сами упреки Латыниной Лимонову и Буковскому, упреки в том, что они лезут к нам с советами¹, входят в решительное противоречие с ее же финальным обвинением в, так сказать, «наплевательстве». Можно, конечно, замаскировать логические неувязки словесной игрой, но от этого они не исчезнут.

Частные суждения Латыниной могут казаться мне верными — или неверными (как в случае с В. Буковским). Посылка же статьи, разделяющая россиян по «пространственному» признаку, предполагающая непроницаемость очередного «железного занавеса», вызывает у меня протест. Дело не в том, чтобы защитить от Латыниной тех писателей-эмигрантов, что и в защите моей не нуждаются и не являются, по сути, противниками автора статьи о «занавесе» Гораздо важнее другое: всякое «они» подразумевает «мы», в данном случае — не уезжавших из страны.

Нелепо укорять всех, кто жил и работал в СССР, и если Латынина верно расслышала таковые мнения в эмигрантской среде, то остается разделить справедливую досаду критика. Вопрос только: действительно ли кто-то так думает? Не принимает ли А. Латынина интонационные погрешности за смысл высказывания? Не рисует ли портрет фантастического «ворога», глядя на вполне обычного человека?

Но если даже кто-то судит о нас бестолково и обвиняет всех чохом в смертных грехах, меня все равно шокирует конструкция «мы, оставшиеся, хотим успеха всем этим реформам» Каким «реформам»? Какие «мы»? Станислав Куняев хочет одного, Станислав Рассадин — другого, Станислав Шаталин — третьего, Станислав Говорухин — четвертого. А чего хочет мясник Стасик из окрестного гастронома? Притом количество «оставшихся» несколько больше, чем количество людей с не самым частым мужским именем.

¹ Как в таком случае надо оценивать известную брошюру Солженицына? Или правы те ее критики, что готовы обвинить писателя в непонимании процессов, идущих в России, отрыве от почвы и т. д.?

Вроде бы азбука, но стоит об этой самой азбуке забыть — и окажется излишним вопрос об ответственности тех, кто прожил брежневские годы во внутренней эмиграции. Тех совсем не худших, кто добросовестно делал свое дело, но никак не подходил под нормы солженицынской статьи «Жить не по лжи». Латынина пишет: «...природа не ставит ни героев, ни гениев на потоки», — она совершенно права, но, выдвигая этот тезис, было бы уместно вспомнить о давнем призыве Солженицына (не настоянии, но увещевании — подчеркну для любителей рассуждать о солженицынской авторитарности). Здесь, а не там писалось: «И тот, у кого неостанет смелости даже на защиту своей души, — пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — так пусть и скажет себе: я быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло».

Многие ли из оставшихся здесь выдержали испытание «неучастием во лжи»? Ответ очевиден. Мы все толкуем об упреках Солженицына эмигрантским публицистам, но ведь слова, обращенные к нам в 1974 году, значимее для самого писателя, чем отпор «нашим плюралистам». Покаяние — дело личное. Но нет человека без греха. И тем более нет советского человека без греха исторического и социального. И никакой сказкой об убежавших в «теплые края» эмигрантах, которые, дескать, еще хуже нас, от чувства личной вины не отделаешься.

Разумеется, люди жили по-разному. Но не нам гордиться «выпрямленной спиной», даже если на совести нашей нет доносов, прямой лжи, предательства. Не нам, гуманитариям, в первую голову.

В заметке о «выпрямленной спине» А. Латынина измыслила (я тоже люблю этот прием «ехидного читателя, вопрошающего тоном булгаковского Воланда: „Так вы, стало быть, высокоморальный человек?“). Не желая занять его место и тут же уподобиться зловещему прототипу, не стану обсуждать работу критика в «Литературной газете» под чутким руководством А. Б. Чаковского. Убежден, что А. Латынина сделала в те годы очень много и вполне заслужила свое доброе имя. Мне проще сказать о другом гуманитарии — о себе.

«Мои редакторы 70-х годов! Помните ли вы нас? Нет, я не простила вас. Я еще не прощаю кусков нашей жизни, оставленных у издательских столов в обмен не на жизнь вашу, не на свободу, даже не на кусок хлеба для ваших детей... а на квартальные премии, на сохранение за вами этого почему-то удобного для вас места», — пишет М. Чудакова («Литературная газета», 4.12.91). Помню, Мариэтта Омаровна. Как забудешь. Правда, редактором Вашим был уже в 80-е, в начале оных, но ведь последние наши сложности «имели место» уже при шуме «апрельских ветров». Так и не смог я вовремя пробить материалы Б. М. Эйхенбаума, и слова сверху о том, что «это не будет напечатано никогда и нигде», Вам и Е. А. Тодлесу передавал я.

А. Латынина любит свою «Литературку» — я тоже любил да и люблю журнал «Литературное обозрение», где работал в 1983—1990 годах. Очень был по когдатошним временам интеллигентный и либеральный журнал с совсем даже не реакционным руководством. Но сколько же тоскливых и постыдных воспоминаний о «неподлой» службе не оставляют меня до сих пор: угваривание строптивых (то есть лучших, смелых, умных авторов); лавирование между ними и руководством; двусмысленные редакционные заключения и «защитные» врезки; невозможность отказа сочинителям известного сорта; переписывание полуграмотных статей разных полуакадемиков и «полных» секретарей СП; заказы рецензий на «нужные» (кому? мне? я ли им цену не знал!) книги откровенным циникам; изобретение «советских» тем для статей, что должны уравновешивать статьи нормальные; этикетное одобрение «необходимых материалов» на летучках (и не то чтобы за язык шипцами тянули), дабы вернуть в речь «либеральное» замечание об их «низком качестве» (какое там «качество»!). Остановлюсь. Профессионалы без меня знают, а люди из нелитературной сферы думают о нас еще хуже: когда я поступал на филфак, друзья моих родителей (все негуманитарии) плакали по мне, как по покойнику: «Всю жизнь тебе врать да нищенствовать».

Я работал в хорошем журнале. Мне удалось сделать немало из того, что казалось интересным, нужным людям, помогающим им жить по-человечески. Ко мне хорошо относились. Терпели мои взбрыки (начальство ссылалось на тех, кто стоял над журналом, почти как я на начальство, и это не было игрой — не меня костерили в ЦК, а главного редактора). В партию звали лениво, прекрасно предвидя мой отказ и даже избавляя от необходимости его отчетливо артикулировать. Рядом со мной были достойные люди, многие из которых и сегодня мои друзья, а о других я помню больше хорошего, чем плохого. Меня много чему научили. Я не считаю те годы, в том числе и жутковатые доперестроечные, когда журналу было очень худо, потерянными и бессмысленными. Я никогда не писал того, что прямо противоречило моим взглядам (занимался «слаломом» и в неподписанных текстах). И все же с «выпрямленной спиной» у меня плохо. Горбатого — могила исправит.

Если у А. Латыниной жизнь складывалась лучше, если она вела себя тверже и вывереннее, рад за нее. Но в любом случае прошу вычесть меня лично из того «мы», которое противопоставлено «им», оказавшимся далеко от России, но не вне русской истории. Хотим мы (все — тамошние и здешние) того или не хотим, но опять-таки все мы в истории живем. И зря А. Латынина отрешает эмигрантов от российской истории, оставляя им «язык, родину, культуру». Они участвуют в истории: сочиняя книги; производя тексты на знакомой радиоволне; воздействуя на общественное мнение Запада; ратуя за «гуманитарную помощь» (или против нее); принимая многочисленных вояжеров из России и помогая им как-то обустроиться, кому — на месяц, кому — на год, кому — на... А как, кстати, относиться к тем, кто сегодня (вчера) заключил контракт на пять лет? Они еще «свои» или уже

«чужие»? А к тем, кто на семестр двинулся (здесь, что ли, делать нечего?), к тем, кто, сохранив гражданство, курсирует туда-сюда? Каким прибором мерить?

Знаю, что только чувством. Конкретного человека к конкретному человеку. Стараясь не судить и того, кто избрал, по твоему мнению, не ту дорогу. Но какую бы дорогу наш соотечественник ни избрал, ему вопреки выводам А. Латыниной от России и ее истории спрятаться будет почти невозможно.

Нам не нравится, что отъехавшие пишут, говорят, делают? Очень может быть. Но неприятные нам поступки не перестают быть поступками. Герцен (как к нему ни относись) участвовал в российской истории, некоторые полагают даже (впрочем, ошибочно), что он-то ее «не туда» и повернул.

Само противопоставление истории и культуры кажется мне неточным. Культура существует лишь в истории, а история осуществляет себя в культуре. Следовательно, тот, кто отделен от истории, оказывается и вне российской культуры. Так поняли Латынину ее оппоненты, что и обусловило возможность сравнения автора статьи о «железном занавесе» с идеологами охранительного толка. Вслед за Латыниной ее оппоненты теряли самую малость: отдельную личность, конкретную судьбу. Били по паспорту.

2. Миф о поколениях

Все-таки замечательный документ — советский паспорт. Чего там только не написано. Каждый может выбрать по душе. Вот А. Латынина пропиской заинтересовалась. Об интересантах «пятого пункта» наговорено так много, что сейчас их лишь упомяну. Но ведь есть еще дата рождения, тоже предмет богатый.

Последний год во многом шел под знаком разборки с шестидесятиниками. Правда, кто это такие, никто толком сказать не мог, слово становилось чем угодно: символом, ругательством, комплиментом, жупелом, — но только не термином. Любимая тема «отцов и детей», порой с пикантной фрейдистской огласовкой, в который раз завладела умами. При этом как-то забылось, что название тургеневского романа не антитетично, что непримиримыми противниками у Тургенева выступают люди, выпадающие и из семейных связей и из контура эпохи, люди экстраординарные, никогда и нигде «не уместные».

Павел Петрович и Базаров противостоят не только друг другу, но и как знаковые фигуры людям дожинным: отцу и сыну Кирсановым. Если герои интеллектуальных рабоборств и комической дуэли обречены на знаковость (пресловутый костюм Павла Петровича стоит базаровского балахона, а его «принципы» базаровских «принципов»), одиночество, любовную трагедию (отражением исключительных страстей обоих героев предстает их увлеченность одной и той же Фенечкой, реализующаяся у Павла Петровича сублимированно, а у Базарова сугубо плотски; меж тем и Фенечка предпочтет обоим героям «обычного» Николая Петровича) и смерть (у Базарова — физическую, у Павла Петровича — символическую: «Освещенная ярким дневным светом, его красивая исхудавшая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец»), то конфликт между Николаем Петровичем и Аркадием к концу романа оказывается не исчерпанным даже, а обнаружившим свою изначальную мнимость. Одновременные свадьбы отца и сына (с немедленным отъездом ненужного в мирном обустроившемся доме Павла Петровича), «ферма», благодаря заботам Аркадия приносящая доход, но замысленная-то Николаем Петровичем, его деятельность в качестве мирового посредника — все это, чужое и чуждое Базарову и Павлу Петровичу, и есть нормальная жизнь, в которой, конечно, бывает всякое, но которая держится не на разрыве, а на связи «отцов» и «детей». Кстати, только сохранение этой связи и оказывается залогом памяти о тех, кто из нее выломился (с этой точки зрения важны и старики Базаровы на могиле сына, и тост в его память, шепотом произнесенный Катей на ухо Аркадию).

Так то — «нормальная жизнь», скажут мне, а то — «культура». Она структурирована, она нуждается в членении. И разве случайно родились понятия вроде тыняновского «люди двадцатых годов»? Да, смысловые границы между эпохами есть, существуют. Но это границы достаточно символические, мягкие, податливые; их проводим мы сами, и от нас же зависит, как к ним относиться: как к природному явлению или как к плоду семиотической деятельности всегда субъективного соучастника событий. Кроме того, противостоят в истории именно эпохи, чей облик складывается усилиями, положительными или отрицательными, людей с разными датами рождения. В «Смерти Вазир-Мухтара» Тынянов писал как раз о смене эпох, о том, как «страшна была жизнь *превращаемых*», тех, кто меняет вместе с ориентирами «кровь»: тот, кто, подобно Пушкину, подымается над культурно-временными границами, одерживает победу. Грибоедов у Тынянова умирает не оттого, что он «человек двадцатых годов», а оттого, что он «превращаемый», не творящий эпоху, а приспосабливающийся к ней. Здесь не место обсуждать, насколько адекватно описан Тыняновым конец 1820-х годов, насколько окрашены они в тона более позднего времени, наступившего на Россию, пожалуй, с катастрофического 1831 года, и зачем Тынянову было нужно такое решение². Важнее другое: энергичное использование слова «поколение» вводило и вводит в соблазн многих. Думаю, что в сегодняшней свистопляске вокруг поколений есть и доля вины Тынянова. Впрочем, дело не в Тынянове, а в нас.

² Желаящие могут узнать мои соображения на сей счет из статьи «Литература против истории» («Дружба народов», 1991, № 6)

Смысловый конфликт эпох решительно упрощается, коли его содержание сводится к борьбе поколений (тыняновские соображения о литературной эволюции как борьбе жанров лежат в иной плоскости). Между тем именно это и происходит сплошь и рядом, обнаруживая по меньшей мере три интерпретаторские стратегии.

Первая — наиболее частая и наименее интересная — по сути своей прагматична: уровень рефлексии здесь стремится к нулю. Это борьба как борьба, борьба как норма существования. Манифесты «новых», нуждающиеся в образе «старого» супостата, который конструируется из подручных материалов. «Антиманифесты», нуждающиеся в образе молодого нахала. В обоих случаях нет места понятию об эпохе как о системе, созданной представителями разных поколений. В обоих случаях не нужны и конкретные личности, неповторимые и не укладывающиеся в обоймы. Тот, кто ориентируется на «старших» или «младших», не имея подходящих анкетных данных, объявляется ренегатом (чаще это происходит в кулуарных разговорах). Критерий возраста удобен. Например, руководствуясь логикой «новаторов», легко выстроить ряд из Вик. Ерофеева, В. Курицына, Д. Галковского, М. Айзенберга, А. Агеева, О. Хрусталевой, А. Левкина, М. Золотоносова, и пусть меня извинят те, кого я забыл. Правда, у меня другая логика — я ведь ярко выраженный «ренегат», с точки зрения «поминалищиков» советской литературы, борцов с «колхозным» сознанием, действующих на диво «колхозными» методами и не чуждающихся брать в союзники тех, кто еще недавно рассуждал о мощи литературы 70-х, а сегодня готов рассуждать о ее немощи³.

Наглядна и вторая стратегия, к счастью, постепенно набирающая силу. Я разумею осмысление литературного и культурного «разноязычия» двух эпох, поиски смысловых переключек и снятие надуманных конфликтов. Отраднo, что свою лепту сюда вносят и «старшие» и «младшие», вовсе не отказываясь от ориентации на собственные ценности, но стараясь понять другого. В этом случае логичным и определяющим становится дифференцированный подход. Существенны не оценки, в которых, разумеется, никогда не будет полного единомыслия, но именно установки, которыми руководствуются, например, М. Липовецкий и Ст. Рассадин в, на мой взгляд, прекрасных статьях, помещенных (соответственно) в № 9 и 11 «Знамени» за 1991 год. И если я отношусь к поэзии Тимура Кибирова гораздо лучше, чем Ст. Рассадин, если я убежден, что критик не разгадал поэта, это не колеблет моего уважения к Рассадину. Его претензии к поэтам и прозаикам нового призыва суть претензии к лицам, неотделимые от стремления понять писателя не как представителя поколения только, но как личность, ответственную за свои творческие промахи и имеющую право гордиться своими удачами. (Редкие раздраженные нотки у Рассадина звучат, когда, принимая предложенную теоретиками «новой» литературы концепцию ее как единого обособленного феномена, он начинает сражаться с этим призраком. Ворчливая интонация в таких случаях почти неизбежна.)

Примерно так обстоит дело и в статье М. Липовецкого, и, не сходясь с ним в конкретных оценках, я радостно фиксирую близкую мне авторскую установку. Соседство статей Липовецкого и Рассадина представляется мне конструктивным ходом редакции «Знамени», тем более что в программной статье С. Чупринина, поместившейся между этими работами (№ 10; занятно, что и по возрасту Чупринин тоже между Рассадиным и Липовецким), обсуждаемый сюжет (шестидесятники — восьмидесятники) трактуется в том же ключе⁴ (немаловажно, кстати, что Чупринин — составитель интересно выстроенного четырехтомника «Оттепель», выходящего с 1989 года в «Московском рабочем»). Идет нормальная работа, в ходе которой со всей непреложностью выявляется сугубая условность поколенческого подхода.

Казалось бы, описанными стратегиями дело исчерпывается. Борьбой можно жить, стремясь «поставить на место» того, кто назначен тобою в противники. Борьбу можно анализировать. Но, оказывается, третье дано. Борьбу можно эстетизировать и, почти не склоняясь («почти» здесь дорогого стоит!) на чью-либо сторону, уверенно занимать позицию ироничного наблюдателя, рассматривать тобою же срежиссированные битвы оловянных солдатиков, поименованных шестидесятниками, семидесятниками, восьмидесятниками.

Сведущий читатель, видимо, сообразит, что я чуть перефразировал заголовок статьи Л. Аннинского, посвященной «диалектике поколений в русской культуре» («Литературное обозрение», 1991, № 4). Но несогласия мои с Аннинским основаны не на поколенческом конфликте: я достаточно спорил со сверстниками и достаточно соглашался с теми, кто дольше, чем я, работает в науке и литературе. К тому же любители генерационных баталий рискуют получить крайне противоречивые результаты, рассмотрев другие возрастные пары. Например, отношения В. Кожина и П. Горелова будут свидетельствовать о

³ Пример далеко не единственный, но уж очень выразительный. М. Золотоносов, постоянно демонстрирующий свою осведомленность во всех вопросах гуманитарной мысли (вспомним обвал библиографических сносок едва ли не в каждой его статье) и посвятивший специальную работу проблеме репутации («Звезда», 1990, № 5), цитирует Г. Белую, которая «очень точно заметила, что „сегодня даже „толстовский“ роман, будь то «Жизнь и судьба» В. Гроссмана или «Красное колесо» А. Солженицына, многим „молодым“ кажется наследием авторитарного искусства» («Октябрь», 1991, № 4). Г. Белая с «молодыми» солидаризируется, а «молодой» М. Золотоносов на нее ссылается. Именины сердца. И помину нет о книге Белой «Художественный мир современной прозы» (М. 1983), где положительными героями были не только Шукшин, Трифонов, Белов, Астафьев, но и Ю. Бондарев, а Распутин на равных сопоставлялся с Фолкнером. Не думаю, что М. Золотоносова, включившего Распутина в обойму писателей, «мифологизирующих патриархальную деревню и общинное устройство крестьянской жизни», это могло бы устроить.

⁴ Говорю о конкретном фрагменте; многие же тезисы Чупринина вызывают у меня несогласие, частью выраженное в «портрете» «Знамени-91» («Независимая газета», 21.11.91).

полной межпоколенческой идиллии, а отношения Ю. Суровцева и Б. Кузьминского — об абсолютной непроницаемости, исключаяющей даже взаимное отторжение.

Я не могу спорить с «представителем шестидесятников» как раз потому, что не верю в их существование. Я не могу себя числить восьмидесятником (согласно Аннинскому, люди, рожденные между 1953 и 1968 годами) потому, что и их существование для меня миф. Не знаю, вручали ли Аннинскому мандат на право говорить от имени поколения и какова была процедура вручения, у меня такого мандата нет, и мне он не нужен. А потому статью Аннинского я готов понять как его личное слово. Готов понять как закономерный фактор нынешней культурной ситуации. Но не как кредо поколения.

Нацелившись на постоянно обсуждаемую проблему сегодняшнего противостояния поколений, Л. Аннинский разрабатывает стройную методику вычленения поколений в историческом потоке и с художественным размахом рисует картину духовного и интеллектуального движения российского общества от начала XIX века до наших дней. Хронологические игры (равно как и игры другого рода, например отслеживание реминисценций) — занятие на редкость увлекательное (любый гуманитарий подтвердит), иногда продуктивное и довольно безопасное. Оппоненту можно загодя даровать титул педанта и крохобора, особенно если гран самоиронии (мы же играем!) ошугим в самом тексте (а когда он у Аннинского не ошугим?). И все же, не особенно увлекаясь, попробуем некоторые Аннинским сформированные «поколения» на прочность.

«Итак, пушкинское поколение. Золотая точка отсчета. Рафаэлевская соразмерность. Отделим этих людей от декабристов, встретивших 1812 год не мальчиками, но мужами: у будущих декабристов конфирмация — при Бородине, декабристы (опираясь на выводы М. Гершензона) — люди действия, а не рефлексии, люди дела, люди акций, цельные и монолитные. Два поколения спустя придут как раз люди рефлексии, люди духа («оранжерейное поколение», — скажет Гершензон). Так вот, пушкинское поколение — между теми и этими. Гармония духа и реальности. Опора на реальность: уже не презрение к ней, как у Чаадаева, и еще не ужас перед ней, тайный ужас от ее пошлости, как у «людей сороковых годов», — нет, тут именно гармония в основе. А в результате? Великая поэзия. Пушкинская плеяда. Баратынский и Тютчев. Великое искусство: Верстовский и Глинка, Брюллов и Иванов. Величие духа. Гоголь, впоследствии переосмысленный как писатель бытийного ужаса и гнева, в душе своей хранит незыблемость идеала и надежду, что реальность его не утратила».

Я выписал абзац, в котором методология Аннинского как на ладони. Все примерно соответствует читательскому ожиданию, укладывается в старые-старые штампы и все должно казаться необычайно свежим. Самое же главное, все это похоже на реальность только «вообще».

Вот Аннинский отделяет от пушкинского поколения декабристов, и мы, еще до обращения к персоналиям, можем спросить: а это что такие? Если руководствоваться демографическим критерием, то это ровесники Пушкина. Н. Я. Эйдельман указывал, что средний возраст осужденных по делу 14 декабря на лето 1826 года — 27,4 года.

Теперь о «людях действия». Кто выводил солдат на Сенатскую площадь, кто был «мотором восстания», кто действовал решительнее других? Н. А. Панов (1803), А. Н. Сутгоф (1801), М. А. Бестужев (1800), князь Д. А. Шепин-Ростовский (1798), И. И. Пущин (1798), вопреки расхожим представлениям — В. К. Кюхельбекер (1797). Надеюсь, что Л. Аннинский простит мне зачисление в пушкинское поколение двух его лицейских одноклассников и ближайших друзей, формально старших? Никто из них не был конфирмован не только при Бородине, но и под Лейпцигом и Бауценом.

Кто в день 14 декабря «рефлектировал», колебался, чувствовал неодолимую тяжесть ситуации, за что заслужил обвинения в «измене»? Князь С. П. Трубецкой (1790), «диктатор» восстания, его предполагаемые помощники А. И. Якубович (1796; повоевать успел не только на Кавказе, но и в походах 1813—1814 годов), А. М. Булатов (1793), князь Е. П. Оболенский (1796), «начальник штаба» восстания, бывший на площади до конца, но не рискнувший начать действия, даже заняв «вакансию» Трубецкого, К. Ф. Рылеев (1795; тоже участник заграничных походов; о том, что Рылеев рано покинул площадь, предпочитают умалчивать). Я не собираюсь задаваться праздным вопросом, кто вел себя лучше, а кто хуже. Я просто знаю, что одного дня 14 декабря 1825 года достаточно для того, чтобы схема Аннинского поплыла.

Но возьмем другие дни — южное выступление, восстание Черниговского полка. Именно М. И. Муравьеву-Апостолу (1793) принадлежит крылатая фраза о «детях 1812 года». Именно Матвей Иванович воплощал в себе рефлексию в «момент действия» и постоянно как мог тормозил возглавившего восстание младшего брата, Сергея Ивановича; восстание же, по сути, было поднято младшими по возрасту и по званию офицерами-черниговцами.

Может быть, Л. Аннинский не знает о том, что тяжелый духовный кризис переживал в 1824—1825 годах самый «железный» декабрист — П. И. Пестель (1793)? Что он думал и об уходе в монастырь, и о явке с повинной (рассказом о тайных обществах) к государю? Что отдаление от дел общества М. С. Лунина (1787) не было случайностью? Что последние преддекабристские два года — это постоянные споры, не сводимые к вопросам тактики и взаимным подозрениям в бонапартизме? Что духовный кризис Пестеля неоднократно сопоставлялся с духовным кризисом А. С. Пушкина (1799), начавшимся в Одессе и с трудом изжитым в Михайловском, а может быть сопоставлен и с духовным кризисом Александра I (1777), сведшим его в безвременную могилу и увсковеченным в легенде о старце Федоре Кузьмиче?

Эти культурологические сюжеты не мной выявлены. Правда, тут не будет места поколениям — речь пойдет о неповторимой ситуации печального заката александровской эпохи, о сложном противоборстве разных тенденций, о негаданных схождениях и парадоксальных (только с точки зрения школьного учебника) расхождениях...

Конечно, Аннинский знает, что единый декабризм — это миф, удобный Николаю I и автору статьи «Памяти Герцена». Знает, что для самих осужденных в 1826 году символическое значение слова «декабрист» было неприемлемым. Знает, что у Н. И. Тургенева были веские основания оговаривать особенность своей позиции и что не трусость, но убежденность в своей непричастности к делу обрекла его на участь невозвращенца. Знает, насколько существенным был антагонизм между «южанами»-аристократами и членами общества «Соединенных славян», никуда не девшийся и после долгих лет каторги и поселения («Записки» И. И. Горбачевского не секрет). Все он знает, но, поскольку это работает против концепции поколений, оставляет в стороне.

Но двинемся далее и, миновав одностороннюю характеристику П. Я. Чаадаева (1794; кстати, как увязать его якобы презрение к действительности с якобы поколенческим пафосом «действия»?), глянем на тех, в ком живет «рафаэлевская соразмерность», она же «гармония духа и реальности». «Пушкинская плеяда», — привычно произносит Л. Аннинский. Что ж, эпиграмматическая характеристика из «Элегии» (1828) П. А. Катенина («Друг же друга хваля и до звезд величая, / Юноши (семь их числом) назывались Плейдой») давно утратила изначальный смысл. Катенин (1792) напал на определенный литературный круг, в который, сколько мы можем судить по его статьям и эпистолярно, явно попали бы и старший Катенина на девять лет Жуковский, и ровесник Катенина Вяземский, но явно не попал бы младший на пять лет единомышленник Катенина Кюхельбекер. Сходно мыслили и участники «Плейды». легко привести цитаты и из Вяземского и из Баратынского. «Пушкинская плеяда», при всей условности такого обозначения, при всей конфликтности внутренней (расхождение не личное, но бытийственное и эстетическое Пушкина и Баратынского — особая и непустая тема!), не возрастными данными определяется. «Пушкинский круг писателей» (точный термин, введенный в оборот и осмысленный М. И. Гиллельсоном) непредставим без Жуковского и А. И. Тургенева (1784). Поэтическая легенда и точное литературоведческое знание равно не похожи на чертеж Аннинского. Упоминание же Тютчева, о «непушкинских» свойствах мышления, мироощущения и поэзии которого было известно даже невежественному герою «Пушкинского дома», аспиранту рубежа 50—60-х годов Леве Одоевцеву, заставляет не то плакать, не то смеяться.

Не являясь знатоком музыки и живописи, подавляю свои сомнения в связи с композиторами и художниками, с тем чтоб порадоваться характеристике Гоголя. Все верно: «...в душе своей хранит незыблемость идеала и надежду, что реальность его не утратила». А не сказать ли так же и о Достоевском, Толстом, Пастернаке, Солженицыне, у которых совсем другие даты рождения? Отношения человека с Богом (а именно о них в конечном счете говорит Аннинский) идут поверх не только поколений, но и культур.

Неизбежно маячат и другие вопросы. Почему так ошугим разделяющий Пушкина и Гоголя барьер? Почему поздний Гоголь так много сил кладет на стилизацию и мифологизацию и Пушкина и своих с ним контактов? Почему столь разноплановые писательские установки да и бытийственные раздумья этих классиков? Почему (с самыми разными интерпретациями) постоянно актуализуется противопоставление Пушкина и Гоголя (хоть у Чернышевского, хоть у Мережковского, хоть у Розанова, хоть у Синявского)?

На все эти вопросы в рамках поколенческой схемы нет ответа. Между тем ветви существуют, но лежат в иной плоскости. Например, Пушкина и Гоголя разделяли не десять лет, а различие в статусе (социальном, культурном, образовательном) в момент знакомства. Они были людьми не разных поколений, но разных культурных ситуаций: один — главой русской литературы, которого все кругом готовы были почитать, но никто не хотел слушать, другой — неопитом, собравшимся всех и все побеждать. Они встретились в роковое лето 1831 года — на самом разломе эпох — и сумели понять друг друга (несмотря на огромное количество расхождений, характеризующих их общение вплоть до гоголевского отъезда в Италию, отъезда без прощания с Пушкиным). Невооруженным глазом видно, как Пушкин «держал дистанцию». Видно, как рвался к старшим и раздражался Гоголь. Это было бы «борьбой», если бы не было другого. Того, что действительно сближало писателей. Надпоколенческой общности традиций, надежд, идеала. Достаточно широко понимаемого христианства.

У меня нет ни места, ни, признаться, особого желания елозить по всей дюжине поколений, придуманных Аннинским. Методология ясна, и следует из нее два вывода.

Вывод первый — фатализм едва ли не биологический. Тезис «такое у нас поколение» гораздо жестче, чем «такое у нас время». Ситуация, эпоха, время — творится. Творится многими. Так, оттепельную эпоху строили и старики и тогдашние двадцатилетние. Эпоха видится ретроспективно, как то, что было создано диалогом, личностными отношениями, личностной борьбой, — она многоцветна и полиглотична, стоит лишь взглянуть. Она (именно потому, что действуют люди разных возрастов) принципиально открыта смысловым потокам прошедшего и чает грядущего. Оттепель в словесности и культуре лишь обнаруживалась по политическим командам (смерть Сталина, XX съезд) — росла она из духовного подъема, наметившегося еще в годы войны (тут разное вспомнить можно, хоть «В окопах Сталинграда», хоть «декабристские» настроения офицерской молодежи, обрившие Солженицыным, хоть духовное освобождение Пастернака, — в общем, Сталин знал, что делает, когда развертывал послевоенный террор). Что такое разомкнутость оттепели в будущее, надеюсь, объяснять не надо. Обращу внимание лишь на обычно

опускаемый факт. В брежневскую эпоху подпольная или легальная, незакамуфлированная, борьба за духовное и культурное возрождение выростала из того, что обнаружилось в оттепель: идеологический зажим усиливался и смягчал разом; в 60-е Цветаева и Мандельштам читаются в основном элитой; в 70-е они все больше становятся доступными если не массам (хотя и им; здесь есть комические обертоны вроде эстрадной «пугачевщины»), то, во всяком случае, более широким кругам «образованного сословия». Кстати уж, «акмэ», как выражается Аннинский, многих замечательных гуманитариев и художников его возраста (на мой взгляд, и самого Аннинского) пришлось именно на «застой»⁵.

Если смотреть на эпоху как на эпоху, коль она многоголоса и открыта, есть смысл толковать о голосах. А стало быть, и о личной ответственности, которую не закроешь «таким временем». А вот «таким поколением» очень даже и закроешь. Ибо поколение, в отличие от эпохи, не реконструируется историком, а задается случайностью дат. И попавшие в капкан должны делиться своими «свычаями» друг с другом. Вот Л. Аннинский и поделился «умением сохранить лицо в условиях деспотизма» с Ю. Суровцевым и Ф. Кузнецовым. А те ему, надо полагать, сказали «спасибо». Один — «большое, партийное», а другой — «наше русское».

Второй вывод из описанной методологии — непроницаемость поколений, обреченных на абсурдный квазидialog в духе того, что описан Аннинским: «Вот вы, «шестидесятники», научились жить в условиях деспотизма, сохраняя лицо; всю свою жизнь вы ухлопали на это искусство, так? — Да, так. Ухлопали.— Вот! А нам это ваше искусство вовсе и не понадобится» — это эпиграф. А в финале дополнительный штрих:

«Что тут скажешь? Что «современное общество» рано или поздно напорется на свои проблемы? Так ведь не поверят.

И правильно сделают».

Что ж, Аннинский занял выигрышную позицию. Не захочешь — вспомнишь Шпенглера, что в одиночестве возвышался над всеми культурами и рассудительно толковал Западу про то, как ему закатываться. Начиная здесь, впрочем, не очерченная литературная маска. Артистизм артистизмом, но есть и полемическая сверхзадача, упрятанная достаточно глубоко. О ней, однако, потом...

Можно с иронией смотреть на петушавшихся молодых, ловить их на неосторожных словах и улыбаться тому, что они так или иначе, а шишки набьют. И ровно с такой же иронией адресоваться к сверстникам — наиболее ретивым и «агрессивным» из них. Мол, успокойтесь. У нас обычный «конфликт поколений». Всегда так было. И ничего.

Так разобщиенность смыкается с «фатализмом», а «многообразие» поколений оборачивается удручающим однообразием исторического процесса. Процесса обреченных на одиночество и глухоту. Из истории убирается тайный смысл, а за личность все решает дата рождения. Л. Н. Гумилеву, вращающему не десятилетиями, а веками, приходится прямо вводить в игру безразличные космические силы. Тем же самым занимаются многочисленные астрологи. Крайний сциентизм сплетается со «внечувственными», как бы мистическими интуициями. Л. Аннинский обладает достаточным юмором, чтобы не толковать про солнечную энергию и катастрофы в районе Кассиопеи. Но дело от этого не меняется.

Если бы Л. Аннинский был последователен, я бы испугался. Ибо детерминизм поколенческий стоит классового и расового. Но Л. Аннинский, к счастью для всех нас и для себя, абсолютно непоследователен. Он много написал и много что еще напишет. Он слишком многое демонстративно не принимает во внимание. Например, вся его концепция держится на анализе элитного слоя нации. А где «молчаливое большинство»? Где традиционность общественного уклада российского крестьянства или духовенства? Или там двенадцатилетний ритм не работает? Сказанное относится не только ко временам минувшим. Рассуждая о восьмидесятниках, Аннинский, видимо, полагал, что теперь «межсословные» грани уж совсем не важны. И при этом упускал другое значимое (вот уж никак не обойдешь!) деление. Афганистан. Неужели критик и впрямь считает, что у тех, кто там был, и у тех, кто там не был, один и тот же духовный опыт? Ладно Афганистан; в конце концов, там был не такой уж большой процент от поколения (но и не такой малый, чтобы жертвовать его особой статьей). Неужели не ясно, сколь существенны различия между просто прошедшими армию и теми, кто ее избежал?

Но придирается не стоит. Как не стоит сердиться на занятую путаницу семидесятников и восьмидесятников, царящую в статье. Это семидесятники-то — «поколение ищущих»? Зачем же такое ограничение? Навалом восьмидесятников, и поныне пишущих стихи в котельных и гордящихся этим. Это восьмидесятники-то уверены в отсутствии реальности и подменяют ее культурным маскарадом? А по-моему, тут семидесятники сто очков вперед нынешним дадут. И «другую прозу», кстати, не восьмидесятники придумали. Как насчет Венички Ерофеева и Саши Соколова? Правда, может, Л. Аннинский об их возрасте не знает? Такое с создателями новых мифологий случается. Г. Гачев про С. Л. Франка уже концепцию придумал, исходя из его немецкого происхождения, а потом выяснил, что Семен Людвигович — еврей, пришлось переключаться на ходу.

Но не все ли равно, в какой цвет будет выкрашена решетка, отделяющая тебя и твоё поколение от других. Не все ли равно, если нет надежды на осознание себя личностью в истории: личностью, способной на поступок, решение, мысль; личностью, способной

⁵ Это не правило, а один из возможных поворотов судьбы. К тому же есть надежда, что шестидесятники будут жить долго и мы, возможно, увидим еще блистательные книги, картины, спектакли, что покамест «в душевной зреют глубине».

прощать других и отвечать за себя. Как сказал «иронический» поэт Игорь Иртеньев (дату рождения не выяснил, а потому не знаю, семидесятник он или восьмидесятник): «Неужто не взвоем от личной вины, /Отличные люди отличной страны?»

3. Миф о XIX веке

Вот теперь пришло время сказать о полемической сверхзадаче статьи Л. Аннинского, о том глубинном импульсе, что породил поколенческую модель. Дело в том, что Л. Аннинский почувствовал (и совершенно верно) маскировочную природу сегодняшних выпадов против шестидесятников, понял, что молодые теоретики на самом деле замахиваются не на «отцов», но на нечто большее — на «предшествующую» (читатель поймет, почему я ставлю кавычки) культуру в целом, на то, что называется классикой: на литературу XIX века. Он ощутил претензию на глобальность, на новый эсхатологизм — и отшатнулся.

В самом деле — тема полной перемены литературной ситуации витает в воздухе, и не перечислить всех, кто в последние годы говорил о радикальной смене — литературных приоритетов, статуса словесности и филологии, конвенции, связующей писателя и аудиторию, соотношения факта и вымысла и многого другого. Говорилось все это с разными интонациями (восторженной, отчаянной, отчужденно констатирующей), но интонация была важна: слишком разные литераторы сообщили публике о конце литературы в привычном ее понимании. Противовесом эсхатологизму и стала у Аннинского своеобразная цикличность, оставляющая надежду на преодоление «сегодняшнего финала» и одновременно обрекающая культуру на перманентную прерывистость. Клин был выбит клином. Любопытно, что не один Аннинский поступил таким образом. М. Эпштейн («Знамя», 1991, № 1) пошел по сходному пути: сперва объяснил, что литература кончилась, а потом нас утешил, отыскав всем апокалиптическим сюжетам современности аналоги в XIX веке. Курьезность статьи Эпштейна, привычно желающего поспеть за всеми интеллектуальными модами разом, — симптом чрезвычайно выразительный; этот критик с точностью барометра указывает каждой статьёй на то, что нынче культурные люди «носят» или, если угодно, с чем носятся.

А носятся сегодня с претензиями к XIX веку, к русской классике, из-за «тлетворного» воздействия которой мы все никак не доберемся до рынка, демократии, плюрализма и других приятных материй. «Самое искусственное, самое умышленное общество» и «хomo советикус», которому «дивится цивилизованный мир», признаются плодами классической литературы, сбывшейся утопией, «слава богу», что «на уровне Чернышевского и Савинкова» (последний — типичнейший русский классик, не правда ли?). «Вряд ли было бы лучше, если бы воплотились монументальные замыслы Достоевского, а особенно моральная утопия Толстого» (спасибо большевикам!).

Я цитирую «Конспект о кризисе» Александра Агеева («Литературное обозрение», 1991, № 3). Детальный разбор этой статьи едва ли возможен и не слишком актуален, ибо в появившихся вскоре по ее выходе откликах А. Василевской и И. Роднянской («Литературная газета», 29.5.91) было указано такое количество фактических ошибок А. Агеева, что вроде и возвращаться к теме неудобно. Что до сути проблемы, то я могу вполне солидаризироваться с уже выступившими коллегами. Но кроме сути есть «детали», и они-то как раз важны для хода моих размышлений о «новой мифологии».

Речь пойдет о внутрикультурных причинах, породивших «Конспект о кризисе», а стало быть, о лице его автора и его месте на интеллектуальной карте. Начальная аттестация, данная Агееву Роднянской — «отличный филолог», — в ходе ее замечок де-факто оказывается снятой (не может, считает Роднянская, профессионал не знать, что Иннокентий Анненский должен стоять рядом с «младшими», а не «старшими» символами или что русский роман XIX века преодолевал детерминизм романа западноевропейского и т. п.). Взамен предлагается другая трактовка — перед нами не филолог, а лидер новой литературы, мы читаем не «трактат», а «манифест». Оно бы и хорошо, да как-то странно: что-то я не припомню «манифестантов» без сколько-нибудь нового литературного круга, без группы писателей-практиков. Белинский делал ставку то на Гоголя, то на Лермонтова, то на «натуральную школу». Аполлон Григорьев — на Островского. Брюсов — на самого себя и своих оруженосцев. На кого ставит Агеев? На Трифонова, Битова, Окуджаву и тех, кого десять лет назад называли сорокалетними (Маканин, Киреев, Курчаткин, Афанасьев «и другие»). Писатели — разные, в основном серьезные и яркие, достойные всяческого уважения, но все же не те, о ком в 1991 году можно восклицать: смотрите, кто пришел! Глашатай «обновления» Агеев не называет ни одного нового имени (хотя мне трудно поверить, что критик А. Агеев действительно не замечает сегодняшних молодых). Извините, но перед нами не манифест, не выкрик из кружка, не символ веры литературного направления, читая который обычно прощаешь скандальную тональность, прощаешь за любовь манифестанта к «своим», однобокую, но объяснимую, становящуюся двигателем литературного процесса. Перед нами нечто иное. Что же?

И. Роднянская, не обозначив указанной загадки, в заключительной части своих замечок ее, видимо, почувствовала: здесь Агеев из автора литературного манифеста превратился в невольного адвоката марксоидной социологии. Мне трудно согласиться с такой трактовкой, но не потому, что логические построения Роднянской необидительны. Убедительны, и даже очень, а еще одно напоминание о том, как «левое» своеволие приводит к тоталитаризму, отнюдь не представляется лишним. Останавливает другое.

Речь стоит вести не об идеологии критика, а об индивидуальных ориентирах; тогда дело прояснилось бы. Ведь можно довольно эффектно разговаривать с публикой, выдавая черное за белое, но нельзя обмануть самого себя. Как только Агеев всерьез рассмотрит свои же соображения о «серебряном веке» и поверит их не казенными учебниками, вывернутыми наизнанку, он принужден будет отказаться от своей статьи. Факты вещь упрямая. «Варварский футуризм и рафинированный акмеизм», ниспровергшие во имя эстетической свободы «младших символистов», — это дурная химера. Чиновникам от литературоведения вольно было толковать об «индивидуализме» (буржуазном или мелкобуржуазном) и эстетизме футуристов и акмеистов: честный читатель (не только профессионал) знает и о логике пути Маяковского (найдите большего коллективиста), и об утопическом мышлении Хлебникова — Председателя Земного Шара, и о гражданственности Ахматовой и Мандельштама. Знает и то, что «отщепенство» Мандельштама или Цветаевой качественно разнится от того «индивидуализма», что отрицает все и вся, ставит личность вне истории и социальных процессов и, кстати, крайне редко встречается в кристально чистом виде. Я не хочу заменять одну сказку другой: судьбы писателей, условно называемых постсимволистами, их гражданское поведение, мировоззренческие установки, эстетические предпочтения глубоко различны. Общее одно: включенность в единый процесс русской и мировой культуры («тоска» по ней, как говорил об акмеизме Мандельштам), в частности нерасторжимая связь с XIX веком (увы, не только у даже не упомянутых Агеевым Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, но и у Маяковского). Связь эта ничего не гарантирует и ни от чего (случай Маяковского) не спасает, она просто е с т ь.

Была она, кстати, и у «декадентов», чьи «остроличностные, граничащие с аморализмом идеи свободы искусства и автономии художника» не мешали им создавать мифы, претендующие на то, чтобы стать реальностью, и чаять преобразования действительности. Не говорю уж о Мережковском, но и Федор Сологуб (и не только в «Творимой легенде» но и в «Тяжелых снах» и «Мелком бесе») непредставим без воли к пересозданию бытия, жизнестроительству, воздействию искусства на жизнь, слиянию его с философией и прочих «реакционных» изобретений, по мнению Агеева, являющихся достоянием лишь «младших символистов». Кстати, в учебниках, по которым он строит свою схему, а равно и в более надежных источниках, справедливо указывается, что членом ВКП(б) и строителем нового общества стал именно «декадент» В. Я. Брюсов, который милее советскому официальному литературоведению, чем «младосимволисты». Вообще же «игры» советской системы с писателями прошлого — тема особая; это Агееву кажется, что «социалистическому реализму» было легче столкнуться с Достоевским, чем с Чеховым, — издательская практика свидетельствует об обратном. Разумеется, «социалистический реализм» сталкивался с особенным образом поданным Чеховым, но в этой связи можно припомнить кое-что любопытное: например, жесткое неприятие Чехова Ахматовой и Мандельштамом (вроде бы «рафинированные акмеисты», уважаемые Агеевым).

Сходные претензии можно предъявить и к агеевской оценке новейшей словесности. С поразительной легкостью минует критик вполне зримые сложности «приватной» литературы, которую он же стремится выдать за единственно подлинную. Неужели ни на какие раздумья не наводит его творчество позднего Э. Лимонова, выводящего величие эпохи и апологию бесчеловечного общества из почти биологического («Эдичкиного») индивидуализма? Неужели забыл Агеев литературно-идеологические скандалы, гремевшие вокруг «сорокалетних» в начале 80-х? Забыл, как мнимые апологеты «тайной свободы», трубадуры наскоро придуманной «московской школы» (теперь с необходимыми вариациями восстановленной Агеевым в правах, хоть и без ее имени), естественно встраиваются в монолит «наших»?

Любая продуманная идеология, в том числе и та, с которой И. Роднянская связывает статью А. Агеева, вовсе не требует такой уймы фактических накладок, логических неувязок и неосмотрительных прогнозов. Очень может быть, что Агеев ее и почитает своею, но, на мой взгляд, без должных оснований. Для того чтобы быть сознательным сторонником той или иной мыслительной тенденции, надобно обосноваться не в мифражном пространстве, но в реальности культуры, грубо говоря: «Надо историю знать /И географию тоже». А пока этого нет, предъявлять Агееву идеологические претензии (и защищать его от идеологических нападков, как это делает С. Чупринин в № 10 «Знамени») по меньшей мере опрометчиво.

Можно, впрочем, понять И. Роднянскую иначе и предположить, что она ведет речь не об Агееве, но об общей идеологической тенденции: дескать, жесткое отделение классики от XX века — это симптом «левого» сознания, с неизбежностью ведущего через индивидуализм и нигилизм к тоталитарному мышлению, а то и к сходной практике. Бывает ли так? Да, бывает. Но бывает и иначе. К тому же противопоставлять XIX век XX можно ведь и с другими оценками, побивая классикой модернизм или авангард, лишая крупнейших художников столетия если не права на собственный голос (здесь возможен обходной маневр: художник признается «исключением» чаще всего на основании отчетливо личного пристрастия к нему со стороны критика), то уж во всяком случае права на пребывание в едином смысловом потоке культуры. В крайнем случае допускается вариант «возрождения традиции» художнику подыскивают престижных далеких предков, брезгливо отворачиваясь от тех, кто стоял между, скажем, Пушкиным и писателем N (кто у нас не был наследником Пушкина, Толстого, Чехова!). Так, и поклонники и противники Солженицына в большинстве своем предпочитают мыслить его «писателем XIX века» более узко — «толстовской традиции». Между тем такое представление существеннейшим образом обедняет эстетическую систему писателя, совсем не чужающегося художественного опыта XX века. Сколько ни дели критиков на «новолюбцев» и «традиционалистов», для меня важнее подчеркнуть, что «страсть к разрывам» остается едва ли не непреложным законом для тех и других. Но гораздо печальнее вот какое обстоятельство.

Сказав «Агеев сбрасывает с пьедесталов русскую классику», мы, справедливо «обидевшись» за Гоголя и Достоевского, не успеваем задать себе простого вопроса: а что такое классика?

Не Агеев сделал так, что великий поэт Некрасов воспринимается большинством наших современников в качестве «мертвеца из учебника». Не Агеев вынес за пределы осмысления XIX века всю революционно-демократическую традицию (про нее только ленивый не скажет, что разрушала культуру и готовила семнадцатый год; для Герцена и то исключение делать перестают). Не Агеев догматизировал восприятие Тургенева сквозь призму злой и односторонней карикатуры из «Бесов». Не Агеев создал впечатление о Гончарове как о скучном писателе (впечатление, чтобы рассеять которое понадобилась «наоборотная» книга Ю. Лошица, чей полемический пережиток был лучше и продуктивнее «добролюбовообразной» трактовки, но достаточно далек от свободного взгляда; потому впечатление не рассеялось, а произошла смена мифов). Не Агеев снимал в 50-е годы жутковатые фильмы из жизни «деятели русской культуры», блистательно описанные Битовым в комментариях к «Пушкинскому дому» («Стасов в роли Черкасова»). Не он затевал в 70-е бесконечные дискуссии о «современном прочтении» классики (как будто кто-то может прочесть ее иначе!). Все это не спишешь на представителя определенной идеологической тенденции хотя бы потому, что ряд имен вымывался из культуры по-разному и представителями разных идеологических школ. Каждый убирал что-то «свое» (то есть «себе чуждое»). В итоге слово «классика» оказалось мистифицированным и о самом составе ее договориться едва ли возможно. Несомненно, в последние лет десять—пятнадцать классикой для гуманитарного истеблишмента с непреложностью были только Пушкин, Гоголь и Достоевский. Может быть, еще «Война и мир», но никак не целое философско-художественного наследия Толстого (показательно, сколько мало включен Толстой в сегодняшние споры о России, истории, человеке; показательно, что вопреки Агееву в его адрес, пожалуй более резкие, чем в адрес Достоевского, остались вне ответов агеевских оппонентов). Ну что ж, Агеев просто продолжил коллективную работу, даже до конца ее не довел: трогать Пушкина, скажем, не входило в его намерения. Так за что же на него нападать? Смысловой разрыв между веком нынешним и веком минувшим не дело рук Агеева, а вина общая...

Известно, что петровские реформы искорежили русскую культуру. Первый император собирался править «новым», им же выкованным государством, населенным «новыми», им же сформованными людьми. Кажется, все сбылось по воле «строителя чудотворного», и князь А. Д. Кантемир на законном основании написал про «мудры... указы Петровы /Коиими стали мы вдруг народ уже новый». Тонкость в том, что указы действовали не мгновенно. Для демиургов «новой» российской словесности — поповича Тредиаковского и поморского крестьянина Ломоносова — традиция допетровской культуры была живой и постоянно проступавшей сквозь европеизированное обличье их творений. Живой она была и для чуткого к фольклорному слову Сумарокова, и для издателя «Древней российской Вивлиофики» Новикова, и для забытых историков Татищева и Шербатова (в отличие от Карамзина не бывших Коломбами Древней Руси), тем более для беллетристов вроде Чулкова и Левшина, ориентированных на массового читателя. Живой была традиция для самого читателя, в том числе и помещного дворянина, что легко почувствовать не только по мемуарам Болотова, но и по более поздним книгам С. Т. Аксакова. Весь век эта подспудная культурная линия преодолевалась теми, кто принял к исполнению указы первого императора. К рубежу веков для Древней Руси потребовался Коломб — Карамзин сел за «Историю государства Российского», фольклор понадобилось олитературить — этим занялись многие, среди прочих Жуковский, Пушкин, Гоголь. «Несколько сказок и песен, беспрерывно поновляемых, сохранили полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности». Это написал в 1834 году Пушкин, не только поэт с удивительной интуицией, но и профессиональный историк. Мы знаем, что он ошибался. Думаю, что сходно оценили бы пушкинское мнение и его предки — люди, не догадывавшиеся о существовании «Слова о полку Игореве», еще не найденного, но вовсе не почитавшие себя обитателями умственной пустыни. Пушкин точкой отсчета полагал петровские преобразования, Тредиаковского, Ломоносова, — книжная премудрость существовала на Руси с XI века.

Зато для Пушкина живым был XVIII век. Он прекрасно ориентировался в словесности миновавшего столетия, и самые его резкие отзывы о Ломоносове и Державине (обычно не предназначавшиеся для печати) свидетельствуют о «домашнем» контакте с национальной классикой. Тот, кто всерьез занимался Пушкиным или Гютчевым, Баратынским или Гоголем, знает, что они попросту непредставимы без смысловых пространств русского и европейского XVIII века. «Ниспровергатель» Белинский не случайно начинал свои ежегодные обозрения то с Кантемира, то с Ломоносова — общепонятных отправных пунктов. Имена писателей прошлого века, в том числе и второстепенных, не были для Белинского и его читателей пустыми звуко сочетаниями, их поэзия и проза были на слуху, с ними должно было разбираться (иногда агрессивно), но их можно было и процитировать (к досаде будущих комментаторов). Разумеется, уже ко второй половине века дыхание «времени Екатерины» слабее. Но не исчезает вовсе хотя бы благодаря гимназическим курсам, хрестоматиям и тем же статьям Белинского. Конечно, поражающая своим масштабом, скрупулезностью и эдиционной культурой деятельность филологов XIX века, и изучавших век XVIII, вызывает иронию, а то и озлобление в радикальном лагере (в принципе и здесь картина была достаточно пестрой), но она ведется и как-то да сказывается в общем культурном раскладе. Постепенно, однако, век Екатерины задвигается в запасник, гимназистам начала XX столетия «Фелица» может показаться тарбарщиной («К царевичу младому

Хлору /И — Господи благослови!—/Как мы в высоких голенищах /За хлороформом в гору шли», — обыгрывает свои детские впечатления в 30-х годах Мандельштам); XVIII век уже надо открывать как загадочный и бесценный клад, ибо всем (то есть широким кругам образованного сословия) ясно, что литература началась с Пушкина.

А раз так, то неминуемо вызревает «домашнее» отношение к XIX веку, крепнет «литературная злость», появляются свежие (и чреватые неожиданностями) перестановки акцентов, расширяется интерпретационное поле. В 1890—1910-е годы складывается золотой запас представлений о классике, в силу известных обстоятельств становящийся относительно общедоступным лишь сейчас. Предложение «бросить Пушкина... с Парохода современности» звучит скандально, но молодые историки литературы припоминают, что говорил Пушкин о Державине. Кажется, что все идет «по Агееву», и, не обрушясь на Россию большевизм, ушел бы XIX век в тихую тень, а мы бы читали коллективные сборники с названиями вроде «Брюсов — родоначальник новой русской литературы». Наша же реальная любовь к Пушкину и Достоевскому, Гоголю и Толстому оказывается заслугой советской власти. А теперь, когда «оковы пали», самая пора начинать отсчет пожалуй, уже не от Брюсова — от Хармса. Или прямо от Маканина.

Все не так. Тоталитарная идеология как раз не остановила процесс знакового расподобления эпох, не отменила давней страсти к разрывам. Она лишь заставила эту страсть идти по обходным путям, обрекла на крысиное подполье, мучительно затянула процесс, а главное, посягнула не на самосознание культуры, но на культуру как таковую.

«Страсть к разрывам» в XVIII веке привела к многим неприятностям, но не разрушила смыслового единства культуры. Допетровская традиция питала словесность и во времена Ломоносова и во времена Пушкина, который парадоксальным образом мог не осознавать своей связи с древней письменностью и в то же время быть легитимным наследником старых книжников, — была церковь, был фольклор, были летописи, которые читал Пушкин, вроде бы не числа их словесностью (отсюда приведенная мной цитата) и одновременно воспевавшая не только нравственным величием летописцев или агнографов, но и их книжным искусством, языком, тоном повествования (отсюда другие суждения Пушкина, а главное, его зрелое творчество). «Страсть к разрывам» в веке XIX была еще отчетливее. Но опыт Просвещения (и его отрицания) вошел в самый состав мышления, но европеизированность и светскость словесности стали необсуждаемой нормой, но жанровые установки и система возможных сюжетов оказались незамечаемыми формами художественного творчества (как язык, меняющимися, но остающимися собой), но силлаботоника воспринималась начинающим поэтом как естественная данность.

В XX веке не знаки меняли (знаки иногда и оставить могли) — меняли кровь культуры, так появились привычные химеры: «социалистический гуманизм», «социалистический реализм», искусство «национальное по форме и социалистическое по содержанию», роман без «проблемного» героя, «новая», реформированная орфография, убивающая саму душу старых книг (то-то и оно, что буква здесь была не просто знаком, но частицей прежнего духовного уклада), стихи, которые не спасает даже оставшаяся дозволенной силлаботоника (впрочем, иногда скверно выдержанная), и, что нам всего интереснее, «литературная учеба у классиков», превращающая мнимых учителей в ступени, по которым самозванные ученики карабкаются на вершину коммунистического искусства.

Разумеется, культура не была вытоптана полностью (говоря грубо, такое и большевикам не под силу), но искорежена основательно.. Лучшие выдержали — и создали великую русскую литературу XX века от Ахматовой и Пастернака до Солженицына и Бродского и великую русскую филологию XX века от Гынянова до Топорова; литературу и филологию, совсем не схожие с литературой и филологией века XIX и от них неотделимые. Нормальный же ход литературы и рефлексии над ней был чудовищно искажен. Не события 1985—1991 годов обусловили сегодняшний раскордаж в словесности (а в особенности в критике) — они лишь выявили то, что накапливалось десятилетиями тоталитаризма. Не перестройка обусловила и то обстоятельство, что привычная (и по-своему необходимая) «страсть к разрывам» приняла не слишком ласкающие глаз формы, что исчезли (или почти исчезли) компенсаторные механизмы, что многие из тех, кто сегодня «рвет связи», не понимают, насколько это, мягко говоря, неактуальное занятие. Между тем именно опыт гуманитарной мысли XX века, опыт мысли, нацеленной на проблемы истории, позволяет отделить мифотворческую эссенстику от культуры как сложно организованного целого.

Может быть, мои надежды на историзм и филологизм тщетны. Но мне кажется, что, лишь восстанавливая связи, реконструируя многомерный облик нашего прошлого, ощущая как сложную систему со многими неизвестными наше настоящее, то есть пребывая в истории, которая началась не в 1991-м, 1985-м, 1917-м, не при Пушкине, Петре, Владимире Святом или Рюрике, а гораздо раньше, мы обретаем возможность для творческого продолжения все той же истории, немислимой без новых (и непривычных, неожиданных) свершений в искусстве, словесности, науках о человеке.

«Страсть к разрывам» не может быть изжита вовсе. Да это и не нужно. Надеюсь, что со временем она станет играть меньшую роль. Легко задвинуть XIX век в запасник (тем более потом все равно вынут) Труднее и счастливее мыслить заодно с Мандельштамом

Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех -
Рожденных, гибельных и смерти не имущих

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В журнале «Новый мир» (1990, № 8) осуществлена знаменательная публикация: возвращено отечественному читателю исследование одного из крупнейших экономистов XX века Бориса Бруцкуса (1874—1938) — «Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта» (1920—1923). Позволю себе несколько дополнить те сведения о Б. Д. Бруцкусе, которые смог сообщить своим читателям «Новый мир». Предлагаемая ниже статья представляет собой отклик на книгу Виктора Кагана. Физик-теоретик и публицист, В. Каган был соседом А. Солженицына по камере в Бутырках. В Архипелаге В. Каган отбыл в общей сложности одиннадцать лет.

Иерусалим.

Дора Штурман.

ОНИ — ВЕДАЛИ

Книга Виктора Кагана «Борис Бруцкус»¹ — это вторая обширная публикация, знакомящая современного читателя с жизнью и наследием одного из крупнейших экономистов первой половины XX века. Судьба Б. Д. Бруцкуса парадоксальна: широко признанный при жизни ученый, опубликовавший около трехсот работ, по меньшей мере — на пяти языках, известный в России, в Европе и в подмандатной Палестине общественный деятель, он был надолго забыт, хотя умер не так давно — в 1938 году в Иерусалиме. История забвения и воскрешения трудов Б. Д. Бруцкуса кратко описана В. Каганом и составителями первой — после полувекового перерыва — книги его и о нем².

Выпадение работ Бруцкуса из повседневного бытия современной экономической и политической мысли тем парадоксальней, что актуальность его исследований все эти полвека не падает, а растет. Надо отметить, что международная известность Бруцкуса при жизни была весьма велика. Он был арестован и выслан из Советской России по распоряжению Ленина осенью 1922 года вместе со многими другими крупнейшими учеными, общественными деятелями и мыслителями России. Его читали, переводили, и о нем писали крупнейшие из коллег-современников. Правда, не во всех требующих того случаях они, зная его работы, на них ссылались. Бруцкус предвосхитил основные идеи по меньшей мере двух отмеченных Нобелевской премией работ своих младших современников и единомышленников. Один из лауреатов, близко его знавший, написавший при жизни Бруцкуса предисловие к одной из главных его работ, не упомянул его в обширнейшей библиографии к своему Нобелевскому труду (я имею в виду Фридриха Августа Хайека). Лихо опровергал Бруцкуса Н. Бухарин — в 1924 году. Шельмовала Бруцкуса в 1927 году БСЭ — за то, что он «пытался доказать несостоятельность экономической системы социализма» и (следовало так понимать) в этом просчитался. В более поздних изданиях БСЭ Бруцкус, опубликовавший ряд блестящих работ на нескольких языках, уже не упоминается вовсе.

В целом о Бруцкусе в СССР молчали более полувека. Но наконец час пробил: в статье «Что имеем, не храним...» с подзаголовком «Неизвестные факты о причинах и обстоятельствах высылки из Советской России в 1922 году элиты гуманитарной интеллигенции» («Московские новости», 10.05.90) кандидат исторических наук Т. Красовицкая дважды упоминает Бориса Бруцкуса. Первый раз при перечислении ученых — критиков социализма, якобы сочувственно понятых Лениным. Второй раз вот в какой связи:

«Ленин знает: чтобы освоить Маркса, нужны фундаментальная теоретическая подготовка, солидная образованность, время, наконец. Но есть уже молодая поросль, у которой пока налицо лишь громадная убежденность в правоте линии партии. Потеря этой убежденности очень беспокоила его. Недаром он специально отмечает, что молодой коммунист, приславший ему журнал «Экономист», «отозвался о журнале чрезвычайно сочувственно».

Если Троцкого заботило, как высылка будет воспринята за рубежом, то для Ленина, если принимать эту гипотезу, важно, что его, скажем, новые экономические

¹ «Евреи в мировой культуре». Серия биографий под ред. М. Соминского. Выпуск 13. Иерусалим. 1989.

² Бруцкус Б. Д. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта. Послесловие Доры Штурман. Комментарии Виктора Сорокина. Париж. «Понски». 1988.

подходи скорее разделит бы высылаемый экономист Борис Бруцкус. Если в этой гипотезе есть резон, то нам никогда не дано узнать, какие внутренние мучения он переживал... Ленин настаивает на высылке носителей идей, способных нарушить хрупкий гражданский мир, который начал устанавливаться в стране».

Ах, г-жа Красовицкая, г-жа Красовицкая! Уж так вам необходима гипотеза, что Владимир Ильич испытывал «внутренние мучения» при самопожертвенной (ради мировоззренческой цельности молодых коммунистов) высылке своего единомышленника Бруцкуса? А ведь на самом-то деле Ленин с особой решительностью и даже яростью требовал разгрома, ареста и высылки именно сотрудников «Экономиста», в котором печатался Бруцкус! Это ему и его коллегам адресованы следующие инвективы:

«Это один из примеров того, как современная якобы наука на самом деле служит проводником грубейших и гнуснейших реакционных взглядов.

Недавно мне прислали журнал «Экономист» № 1 (1922), издаваемый XI отделом «Русского технического общества». Приславший мне этот журнал молодой коммунист (вероятно, не имевший времени ознакомиться с содержанием журнала) неосторожно отозвался о журнале чрезвычайно сочувственно. На самом деле журнал является, не знаю насколько сознательно, органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т. п.» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 31).

И еще хлестче в письме Дзержинскому от 19 мая 1922 года:

«Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд. XI отдела Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейства. В № 3 (только третьем!!! это nota bene!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение» (там же т. 54, стр. 265—266).

Главное расхождение между Лениным 1921—1922 годов и экономистом Бруцкусом состояло в следующем: Ленин упорно и многократно говорил и писал, что нэп — это не эволюция большевизма, а временное и вынужденное отступление, и за «доказательство» противоположного мнения учил «ставить к стенке» (Ленин В. И. Политический отчет ЦК РКП(б) XI-му съезду 27 марта 1922 г.— Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 90). Бруцкус же в № 1—3 журнала «Экономист» за 1922 год исчерпывающе и неопровержимо доказал, что если нэп не эволюция большевизма, а временная политика, то Россия погибла. И противопоставить этому тезису и его доказательству ничего, кроме насилия, Ленин не мог. А соглашаться, что большевиками затеяно дело не просто пустое, но убийственное, не хотел, надеясь за время «отступления» научить коммунистов хозяйствовать и вообще что-то спасительное придумать.

Кандидат исторических наук Т. Красовицкая завершает статью так:

«Беда той власти, которая не может позволить себе «роскошь» иметь оппозицию, но горе и той оппозиции, которая не хочет понять власть...»

Этот финал — в ключе всей статьи: нельзя не сдать очередной рубеж обороны и не признать, что Ленин, не будучи в силах полемизировать со своими идейными оппонентами, вышвырнул их из страны.

Но надо подвести под этот партийно-самозащитный поступок пристойное основание: вождь берегал духовно неокрепшую молодежь от сомнений, «переживая» при этом «внутренние мучения»... Плохо не позволять себе «роскошь иметь оппозицию», но и оппозиция должна «понять власть»!

Можно ли суесловить на столь кровотокающие темы?

«Роскошь» иметь оппозицию позволяют себе только жизнеспособные социальные системы. Нежизнеспособные создают беспощадные режимы, которые рано или поздно рушатся даже при отсутствии оппозиции, но убивают при этом свои народы и среду их обитания.

Оппозиция, понявшая, как того требует автор статьи, такую власть, имеет моральное право идти с ней только на один компромисс: на ее постепенную ликвидацию вместо переворота.

Бруцкус и надеялся, что нэп постепенно изменит режим, систему, власть. Он к этому звал. Ленин именно этого и боялся. Компромисс в такой ситуации невозможен.

В. Каган в своей небольшой книге (94 стр.), а также в статье «Запад и права человека» («Континент», 1990, № 62) сумел развернуть захватывающую картину трагической и одновременно счастливой научной и человеческой судьбы Бориса Бруцкуса. Счастливой не только потому, что он не погиб ни в СССР, ни в Германии, где жил и работал до 1933 года, а умер в Иерусалиме, в кругу семьи, а до этого проработал четыре года в Еврейском университете, в стране, где сегодня живут его внуки и правнуки. Оказалась счастливой и научная судьба Бруцкуса: он был и остался великим прозорливцем, мысль которого работала и работает на благо людям, как он того и желал.

Но хотелось бы остановиться не на его научных идеях, а на той стороне его деятельности, о которой в первой из двух вышеупомянутых книг говорится мало, а в книге В. Кагана и в его же статье «Запад и права человека» рассказано существенно больше. Сегодня оборачиваются особой злободневностью не только экономические исследования и выводы Бруцкуса, но и те его упорные и неустанные акции, которые в наши дни именуются правозащитными. В этом плане интересны и знаменательны взгляды и мироощущение не только самого Бруцкуса, но и тех, кто ему помогал или противостоял, иногда даже не лично, а только исторически, эпохально.

Разумеется, никого не удивит, что Бруцкус, проживший и успешно проработавший одиннадцать лет в Германии, одним из первых пытался (уже из Иерусалима) сплотить мировую, в том числе и немецкую, интеллигенцию для отпора нацизму. Уже тяжело больной, он успел отреагировать и на Мюнхен, написав потрясающего публицистического накала письмо своему австрийскому коллеге, будущему Нобелевскому лауреату Ф. А. Хайеку, в то время жившему в Англии. В этом письме нетривиальна для Запада 1938 года не только реакция на мюнхенскую капитуляцию великих держав Европы перед нацизмом, но и совершенно нехарактерное для большинства прогрессивных интеллектуалов тех (и только ли тех?) лет отнесение нацизма и коммунизма к родственному классу явлений. Вот обширная выдержка из письма Бруцкуса Ф. А. Хайеку:

«23.9.38.

Многоуважаемый г-н коллега...

Я верю, что сейчас время элите человечества выступить против расизма (разумеется, с чисто моральной точки зрения) и сказать, что те, кто вводит такие оценки, ставят себя вне культурного общества.

Самое яркое выражение это воззрение находит в развязанном нацизмом преследовании евреев. Хотя преследовались и другие группы народностей, но их рассматривают как политических врагов, а евреев преследуют как расу со зверским замыслом уничтожить их вообще. Я нахожусь под невыносимым впечатлением от известия о судьбе венских евреев, среди которых, я думаю, было немало Ваших знакомых. Семь тысяч из них (обычно целыми семьями) покончили с собой. Они сделали это, понятно, не потому, что ограбили все их имущество. Они сделали это потому, что их подвергли всяким гнусным мучениям. Надругательство невыносимо для культурного человека, и замысел нацистов был прямо уничтожить элиту евреев с потомками.

Я не вижу в культурном мире достаточной реакции против этих гнусностей. А это-то должно же произойти, если мы хотим предотвратить разрушение самых высоких культурных ценностей. Я верю также, что наступление не остановится на евреях, что скоро также другие нации (в первую очередь чехов), стоящие на пути Гитлера, объявят расово неполноценными и начнут уничтожать. Надо же, как написано в «Mein Kampf», создать пространство для немецкой колонизации.

В аналогичной ситуации мне удалось склонить тайного советника Зеринга организовать демонстрацию вождей немецкой умственной жизни против гнусностей советского правительства в 1930 г. Я очень внимательно следил за последствиями этой демонстрации. Она имела значение, и советское правительство было вынуждено оправдываться перед общественным мнением. Уверен, что аналогичная демонстрация не будет неудачной и подействует на фюрера нацистов. Они же заявляют, что они хорошие европейцы, могут быть в приличном обществе и организовывать в Германии международные конгрессы. Им будет очень неприятно, если элита человечества скажет, что своими гнусными действиями они поставили себя вне культурного мира»³.

Но гораздо удивительней реакция Бруцкуса, тогда еще жившего в Германии, на события в СССР 1930—1933 годов, а также на события, развернувшиеся вокруг одной из его основных правозащитных инициатив.

Замечу с удовлетворением: еврей Бруцкус пытался поднять западную интеллигенцию на защиту советского крестьянства прежде и активней многих других интеллектуалов — эмигрантов и изгнанных «первой волны». И особенно болезненно он относился к равнодушию части западных интеллектуалов-евреев к его призыву. Он звал свободных западных интеллигентов защитить своим словом от кремлевского террористического произвола как миллионы уничтожаемых крестьян, так и сотни уничтожаемых российских ученых. Некоторые откликнулись на его призыв, иные же... Представленные В. Каганом в его книге и статье документы из семейного архива Бруцкусов, который ныне хранится в Еврейском университете в Иерусалиме, рассказывают о событиях глубоко драматических и актуальных, повторяю, к сожалению, не утративших.

Бруцкуса не примиряет с большевизмом тот умиляющий его западных собеседников факт, что, возможно, «в сердце Сталина вложен некий идеализм, как был он

³ Каган В. Борис Бруцкус, стр. 36—37. В дальнейшем все цитаты, за исключением особо оговоренных случаев, из этой книги.

вложен в сердце Торквемады. Это, вероятно, самое опасное»⁴. Он еще раз обмолвится мимоходом, что, может быть, Ленин и даже Торквемада, в отличие от Розенберга и Гитлера, были в какой-то степени идеалистами и поэтому интеллигенту, очевидно, легче понять побуждения коммунистов, чем нацистов. Справедливости ради замечу, что Гитлер несколько не в меньшей степени идеалист и фанатик своей идеи, чем Ленин; Сталин же — совершенный прагматик, чуждый и намек на идеализм. Просто идея коммунизма в своей литературно-облагороженной фразеологии интеллигенту ближе, чем идея расизма и тем более — геноцида. Классоцид интеллигентом-идеалистом — успокоительно для его совести — мыслится как массовая переквалификация паразитических классов в трудящиеся. Реальность классоцида представляется интеллигенту извращением прекрасной идеи. Он по сей день упорно не хочет видеть, что иной, чем в СССР, Китае, Камбодже, Эфиопии, Албании и пр. пр., эта реальность не бывает и не может быть. Бруцкус понял это достаточно рано. Он понял самое главное и самое неприятное для его либеральных оппонентов: корень коммунистического тотального насилия состоит именно в утопии упорно навязываемой народам «великой идеи», в непоправимой неработоспособности ее основных принципов. Бруцкус писал в предисловии к немецкому изданию своей работы «Социалистическое хозяйство»:

«Коммунизм был тогда в упоении своих побед. Советская власть заканчивала успешно свою борьбу с Врангелем и обещала теперь, когда у нее руки развязаны, быстро справиться со всеми затруднениями на экономическом фронте. Так нас, ученых, уверяли ее клеветы... и даже не коммунисты. И вот я в своем докладе в момент величайшего торжества коммунистических настроений позволил себе утверждать, что экономическая проблема марксистского социализма неразрешима».

Отсюда — все, с 7 ноября 1917 года по сей день.

Но вернемся к началу 30-х годов. В книге В. Кагана представлена хранящаяся в архиве Бруцкуса его переписка с Немецкой Лигой прав человека, относящаяся к 1930 году. Были на Западе и тогда организации типа Международной амнистии наших дней, и страдали они теми же пороками — зрениа? нравственного чувства? миропонимания? — что и сегодня, когда Ясира Арафата и Нельсона Манделу встречают овациями и рукопожатиями. И только ли их?..

24 марта 1930 года Бруцкус адресовал немецким газетам «Vossische Zeitung» и «Die Welt am Montag» письма, содержащие в частности следующее: «12 лет существует в России правительство, которое принципиально отвергает принцип прав человека как буржуазный инсигитут и сообразно с этим правит самым жестоким образом. При той всеобщей моральной депрессии, в которой мир все еще находится после войны, мало шансов пригвоздить к позорному столбу эти жестокие нарушения прав человека и мобилизовать против них общественное мнение. Однако, когда в этом отношении что-либо делается, то менее всего кругами Лиги, хотя, казалось бы, это должно быть ее первым священным долгом...»

Странное впечатление производит речь Президента Международной Лиги проф. Баша в изложении Курта Гроссмана. Проф. Баш, пишет Курт Гроссман, «ясно изложил позицию Лиги прав человека в отношении советской России. Он сравнил Италию с Россией. В обеих странах права человека грубо нарушаются. Однако фашизм стабилизирует тиранию, тогда как за советской системой стоит идеал, которого страстно желают все социалисты». Во-первых, надо сказать, что не все социалисты считают, будто за советской системой стоит их идеал. Именно главные направления в русском социализме отклоняют такое утверждение с большим негодованием как глубочайшее оскорбление их идеалов. Правы ли эти социалисты или проф. Баш — вопрос можно считать открытым. Но чрезвычайно огорчительно, что Президент Международной Лиги прав человека позволяет себе руководствоваться не только правами человека, но и своими политическими симпатиями в момент, когда определяет отношение Лиги к режиму. Когда права человека рассматривают не как абсолютную ценность, когда не делают дистанции между ними и преследованием политических целей, тогда нельзя выступать хранителем этих святых прав, тогда возникает даже опасность их предать».

Этот странный и как бы не роковой перекоп универсален для либерального мышления XX века. Даже те ветви классического либерализма, которые сегодня принято называть неоконсервативными, «ударяют всегда вправо, приглаживают всегда влево» (А. Солженицын). «Право» и «лево» берутся здесь в традиционном, а не в нынешнем внутрисоветском понимании.

В начале 30-х годов этот перекоп в пользу большевиков был так велик, что голоса, подобные голосу Бруцкуса, тонули в реве апологетов, перекрывались благожелательным хором «объективистов», более всего боявшихся погрешить против великих идеалов социализма. Бруцкус поразительно рано, как, впрочем, и многие другие интеллигенты России тех лет, прошедшие сквозь марксистский соблазн конца XIX — начала XX веков, оценил и понял истинное соотношение конструктивных и утопи-

⁴ Из письма Б. Бруцкуса Э. Карлебаху.

ческих элементов российской общественной мысли этого судьбоносного времени, бездарно проигранного «правым» и «левым» краями общества в их агрессивном взаимном противоборстве. В. Каган в частности упоминает о положительной оценке Б. Бруцкусом аграрных реформ П. А. Столыпина.

Вернемся, однако, к событию, лишь бегло обозначенному в письме Бруцкуса Немецкой Лиге прав человека от 3 октября 1930 года, — к сообщению в «Известиях» от 22 сентября 1930 года об аресте, а в номере от 25 сентября — о казни сорока восьми крупных советских специалистов, прямо или косвенно связанных с сельским хозяйством СССР. Среди них были друзья и коллеги Бруцкуса, еще дореволюционные. Для Бруцкуса это событие стало глубочайшим личным потрясением. Как человек и ученый, как друг и коллега расстрелянных, насильственно вырванный арестом и высылкой из их среды, он не мог молчать, хотя спасать их было уже поздно. Но это лишь повышало активность Бруцкуса: возмущение и протесты западной общественности могли бы, по его мнению предупредить подобные преступления коммунистической власти в будущем по отношению к другим вероятным жертвам. Лига же оставалась полуглухой к отчаянным монологам ученого, отделяясь отписками о недостатке достоверных сведений о необходимости глубокого изучения происходящего взвешенного подхода к нему и т. д. и т. п. Третьего октября 1930 года, изменяя отчасти своей обычной сдержанности Бруцкус пишет более резко (и все-таки с предельной корректностью): «Я благодарю Лигу за любезный и скорый ответ на мой запрос. К сожалению, содержание Вашего письма меня никоим образом не удовлетворило.

Прошлой зимой советские власти частью экспроприировали в пользу колхозов частью просто ограбили все имущество, включая одежду, у зажиточных крестьян, несправедливо зачисленных в «кулаки» (эксплуататоры), и у тех, кто возражал против принудительной коллективизации. Ночью, в суровую русскую зиму их, одетых в тряпки, с женщинами и детьми вооруженной силой вышвырнули из их домов и выгнали из деревень. Тысячи «кулаков» по приказу местных властей были расстреляны без всякого судебного решения. Сотни тысяч были сосланы в северные леса на принудительные работы. Те, кто мог оставаться с членами семьи, были полностью лишены возможности заработка. Миллионы людей, мужчины, женщины и прежде всего дети при этом погибли от холода и голода. Дороги в степные области и в Западную Сибирь покрыты телами умерших от голода и замерзших людей.

Катастрофа, равную которой едва ли можно найти в истории Европы! И Лига прав человека... она в конце концов назначила комиссию, которая за 4 месяца еще не закончила работу.

Новые страшные сообщения приходят из России: выдающиеся представители русской науки, годами лояльно работавшие при правлении коммунистов, хозяйственники, агрономы, историки, даже бактериологи — арестованы и по нелепым обвинениям заключены в тюрьмы. Несколько дней назад ОГПУ в своих подземельях на Лубянке расстреляло без суда 48 специалистов во главе с двумя выдающимися профессорами. Лига в конце концов, по-видимому, заняла позицию по отношению к этому мерзкому делу, неслыханному в культурном мире однако. Вам еще не хватает данных. Каких, собственно, данных не хватает Лиге — совершенно непонятно. Потому что в этот раз советское правительство не делает тайны из своих дел. В официальном органе «Известия» от 22 сентября появилось сообщение ОГПУ об аресте, а в номере от 25 сентября о казни 48 специалистов. Так что какие еще убедительные данные нужны Лиге, чтобы заявить протест?

В Советской России пролиты потоки крови лучшей части русского населения духовная элита великого народа систематически уничтожается. Я верю, что придет время, когда Лига осознает свой долг бороться против такой бесчеловечности и начнет энергичную кампанию против варварских злодейств. Если она это упустит — она предаст свои собственные принципы и возьмет на себя ответственность за пролитую кровь»

Заметьте: человек, проживший сорок три года в царской России и успевший стать видным ученым до 1917 года, пытавшийся затем пять лет работать и быть полезным в Советской России, говорит о «лучшей части русского населения» (миллионы крестьян) и «духовной элите великой страны», а уж он-то знал, о ком и о чем говорит

12 октября 1930 года Бруцкусу удалось опубликовать протест восьмидесяти шести немецких интеллектуалов против людоедской расправы Кремля с учеными. Просоветисты, прокоммунисты и их издания в Европе немедленно ринулись в атаку на подписавших. Эти действия, вполне естественные для коммунистической «агентуры влияния» не требуют дополнительных комментариев. Но по меньшей мере трое из подписавших сочли необходимым откликнуться на беззастенчиво-низкопробные нападки «большевизанов» Дстойнее всех ответил защитникам палачей друг и коллега Бруцкуса профессор Зеринг, который традиционно числился «правым». В. Каган пишет: «В архиве хранятся два письма проф. Зеринга по этому поводу. В одном из них, адресованном Мюнценбергу говорится: „Те факты, против которых протестовало воззвание, подписанное также и мною, взяты из официальной советской прессы. Кроме того, и недавно здесь бывший

господин Луначарский, с которым я говорил по телефону, не мог их отрицать, хотя он и покусался эти действия защитить. Содержащиеся в «Известиях» и в «Правде» признания людей, осужденных политическими органами, работающими втайне, не могут претендовать поэтому на достоверность. Что же касается оценки совершенно бесспорных фактов, то это зависит от мирозерцания, а здесь какая бы то ни было дискуссия между сторонниками духовной свободы и сторонниками советской власти сулит мало успеха. Поэтому я не воспользуюсь Вашим приглашением».

Под «приглашением» имеется в виду предложение публичной дискуссии с просоветистами.

Гораздо сложнее и в некотором роде двусмысленной была реакция (на те же обвинения в необъективности) известного немецкого писателя Арнольда Цвейга. В своем письме «гению пропаганды компартии Германии» Вилли Мюнценбергу, в 1940 году убитому в Швейцарии то ли нацистскими, то ли советскими агентами, А. Цвейг, подчеркивая свои социалистические убеждения, отказался снять свою подпись под протестом восьмидесяти шести. Вот как он аргументирует отказ (в книге В. Кагана это и еще одно письмо А. Цвейга приведены полностью):

«Я принимаю как данное, что расстрелянные 48 специалистов были саботажниками против системы принудительного коммунизма. Я считаю также весьма вероятным, что они для поддержки и осуществления своих планов брали деньги у английских мясных трестов, хотя хотел бы, чтобы для разъяснения этого пункта английские рабочие запросили справку у м-ра Фазерхилла. Как и все приверженцы не только Советского Союза, но всякого социалистического предприятия, я отвергаю такие средства, как истощение, саботаж и расстройство работы саботажниками. И тем острее я утверждаю, что через 10 лет после окончания гражданской войны, в течение которых никакая враждебная сила не вмешивалась в усилия русского государства, отвратительная фразеология военных обозревателей господствует во всех прочитанных мной документах и во всех мероприятиях, которые государство применяло для борьбы с саботажниками. Такое государство, как русское, по-видимому, не имеет средств, чтобы за десятилетие достижений, которые изображаются как созидательные, завоевать души своих работников, не принадлежащих господствующему направлению коммунистической партии. Оно, кажется, во-вторых, не может решиться устроить против обвиняемых публичный процесс в присутствии защитников и корреспондентов. Оно, кажется, в-третьих, решилось трудности, которые мировой кризис противопоставляет его смелым планам, устранить тем, что по древнерусскому методу, применяя давно разоблаченную глупую теорию устрашения, расстреливает своих врагов, вместо того чтобы оставить их жить в ссылке, бессильных вредить, и пристыдить их, когда дело класса, господствующего в России, действительно удастся.

Я не принимаю смешные сказки о методах ГПУ, распространяемые 12 лет. Но я тем острее осуждаю искажение социалистической идеи, которое происходит, когда позволяют себе верить, будто ради освобождения одного класса можно убивать индивидуумов толпами. ...В сегодняшней России достаточно 10-летнего заключения или ссылки чтобы наказать столь тяжкие преступления против строительства общества».

Настойчиво повторяемые в письмах А. Цвейга ссылки на «древнерусские методы» говорят лишь о том, что прошлое Руси и России он знал так же плохо, как советскую современность (не редкость для тех же кругов и в наши дни).

Бруцкус отозвался на публикацию письма Цвейга письмом, из которого я приведу опять же только отрывки:

«Я позволю себе противопоставить Вашему мнению свое. Я считаю данным, что обвинения против 48 жертв ГПУ совершенно беспочвенны и что их мнимые признания не имеют ценности.

Я провел жизнь в России, я жил и работал 5 лет при советском режиме, деятельность ЧК и ГПУ для меня не «смешная сказка», а трезвая действительность, которая мне хорошо знакома по собственному опыту. Только что вышедшие из ГПУ открытые материалы я очень внимательно изучил в оригинале. Среди расстрелянных находятся также мои коллеги, и притом я хорошо знал в России так называемого вождя саботажников проф. Каратыгина. Я убежден, что в этом вопросе не имеют права голоса такие малые авторитеты, как немецкий писатель, который лишь из вторых рук знает обо всем, что касается Советской России и источников. И я не хочу спорить с Вами о соответствующих фактах.

Я позволю себе только как человек человеку поставить Вам, глубокоуважаемый г-н Цвейг, один вопрос: какое у вас моральное право открыто подтверждать обвинения ОГПУ против своих жертв и тем самым порочить честные имена расстрелянных? Вы ведь определенно знаете о Советской России, что и там мертвые молчат и что там никто не посмеет поднять голоса в защиту чести убитых. Напротив, советская власть имеет средства принудить даже ближайших друзей убитых к выражениям одобрения дел ГПУ.

* * *

Тем тяжелее моральная ответственность иностранца, который, наслаждаясь всеми свободами столь часто поносимого Вами «буржуазного» общества, злоупотребляет этой свободой, чтобы в трагический момент, когда обессиленные остатки русской интеллигенции стоят перед приближающимся истреблением, опорочить призыв жертв и тем оправдать деятельность палачей если не по форме, то по содержанию.

Я лично чувствую глубокую боль оттого, что мои западноевропейские соплеменники не проявляют той чуткости и такта, какого можно бы ждать от потомков народа мучеников. Мы, евреи, должны, в частности, думать о том, что, например, в истории тайных судов есть признания наших предков в грехе употребления христианской крови. Цену этим признаниям мы знаем лучше, чем все другие. Достоин сожаления, что в этот раз многие ведущие умы среди евреев так легко были соблазнены красивыми словами. Это своеобразная установка «прогрессивных» еврейских интеллигентов по отношению к преступлениям советской власти обесценивает большую историческую борьбу наших предков за их религиозное самоопределение.

В надежде, что Вы не истолкуете дурно эти мои продиктованные трагизмом происходящего резкие но искренние строки подписываюсь

с глубоким уважением»

Я не буду вдаваться в дальнейшие самооправдания Цвейга тем более что он отвечал ими не Бруцкусу. Приведу лишь вывод В. Кагана.

«Письма А. Цвейга дают некоторое понятие о психологии западного левого интеллектуала. Он знает условия жизни в России много лучше, чем Ксавье де Местр, чьи герои пили чай под развесистой клюквой и закусывали разрезанным на кусочки самоваром. Но безусловно отрицая западный «империализм», недостатки которого ему очевидны, он видит в русском социализме единственную возможную альтернативу. И веря этой альтернативе, он принимает пороки социализма за «отдельные недостатки», связанные с несовершенством отдельных людей, которые «упиваются властью больше, чем свободой».

Позволю себе возразить, что представления «западного левого интеллигента» начала 30-х годов (и только ли тех лет?) как о России, так и о СССР не столь уж, на мой взгляд, далеки от фантазий Ксавье де Местра. Но последние более безобидны.

Характером поистине потрясающим отличается (впервые полностью поднятая В. Каганом из материалов архива Бруцкуса) история подписи Альберта Эйнштейна под протестом восьмидесяти шести и последующего снятия им этой подписи.

В 1962 году, уже после двукратного (XX и XXII съезды КПСС) полуразоблачения сталинщины, советский физик академик А. Ф. Иоффе без намека на пересмотр своей позиции писал:

«Однажды в конце 20-х годов группа германских ученых, воспользовавшись одной из судебных ошибок, составила антисоветское воззвание, под которым я обнаружил подпись Эйнштейна. Когда я показал ему, что случай, о котором шла речь, — только повод для выступления против Советского Союза, он ответил, что не подумал об этом, но подписал по телефонному звонку Планка. Я спросил, считает ли он правильным, что в разгар борьбы нового социального строя с предрассудками старого Эйнштейн оказывается по ту сторону баррикады, в лагере прусского капитализма. Он ответил: „Конечно нет, я бы не подписал, если бы подумал о последствиях. В будущем не буду участвовать в политических действиях, не посоветовавшись с вами”» (Иоффе А. Ф. Встречи с физиками. Физматгиз. М. 1962)

Еще интересней другое: смертоносная коммунистическая фразеология академика Иоффе. «...Воспользовавшись судебной ошибкой», — говорит он о благородном порыве интеллектуалов Германии уже не защитить жертвы (сорок восемь были к тому моменту убиты) но хоть бы осудить палачей, чем, быть может, предупредить другие расправы. Потрясает (в который раз?) и волшебное действие магических стереотипов. «лагерь прусского империализма» (это о подписях Бруно Франка, Генриха Манна, Макса Планка, того же Арнольда Цвейга и других подобных «империалистов»). Но ярлык, жупел действует безотказно, так же, как и затертый штамп «в разгар борьбы нового социального строя с предрассудками старого». Под таким эвфемизмом скрывается на этот раз бессудное убийство сорока восьми человек, и Эйнштейн тотчас же теряется и сдается: западный либеральный интеллигент ни в каких обстоятельствах не может мешать утверждению «нового социального строя!» Не менее симптоматична и его общая с марксистами убежденность в «нежизнеспособности существующих хозяйственных систем» и в единственности и плодотворности социалистической альтернативы.

Страшней же всего то, что покаяние Эйнштейна не осталось акцией чисто эпистолярной. Оно появилось в газетах: сначала в советской; по-видимому, в «Известиях» (цит. по копии в архиве Бруцкуса), а затем — в немецкой. На вырезке из газеты, сделанной Бруцкусом, не сохранились ее выходные данные, кроме даты.

Итак, 17 сентября 1931 года в советской газете было напечатано, что корреспондент РОСТА (Российского телеграфного агентства.— В. К.) беседовал с германским профессором Германом Мюнинцем, близким научным сотрудником знаменитого ученого Альберта Эйнштейна. В настоящее время проф. Мюнинц занимает кафедру по высшей математике в Ленинградском гос. университете. Во время последней поездки в Германию проф. Мюнинц виделся с А. Эйнштейном, который уполномочил его передать общественности СССР заявление, касающееся известного выступления группы европейской интеллигенции против процесса 48 ученых-«вредителей», организаторов голода в Советском Союзе. А. Эйнштейн тогда поставил свою подпись под этим протестом.

Вот текст заявления А. Эйнштейна:

«Эту подпись я дал тогда после длительного колебания, доверяя компетентности и честности лиц, просивших ее у меня, и кроме того, я считаю психологически невозможным, чтобы люди, несущие полную ответственность за работу по исполнению важнейших технических задач, намеренно вредили цели, которой они должны были служить. Сегодня я глубоко сожалею, что дал эту подпись потому, что потерял убеждение в верности моих тогдашних взглядов. Я тогда не сознавал достаточно, что в особых условиях СССР возможны вещи, в условиях для меня обычных совершенно немислимые».

По словам проф. Мюнинца, А. Эйнштейн внимательно следит за ходом социалистического строительства в СССР и считает, что Советский Союз добился величайших достижений. «Западная Европа,— говорит Эйнштейн,— скоро будет вам завидовать».

Вероятно, не все западные газеты поверили одиозному сообщению РОСТА, и потому 14 сентября в немецкой газете было опубликовано письмо Эйнштейна — ответ на запрос редакции, действительно ли он снял свою подпись под протестом.

«10 сентября 1931 г.

Слух основан на истине. Если я, естественно, не мог убедиться в вине осужденных лиц, то мне кажется теперь, что при господствующих в России отношениях отсюда нельзя считать возможность вины полностью исключенной. Поэтому я счел вмешательство излишним и необоснованным, тем более что за протестом могут стоять политические замыслы».

Значит, если невинность «осужденных» на «процессе», КОТОРОГО НЕ БЫЛО (СОРОК ВОСЕМЬ БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ БЕЗ СУДА), для Эйнштейна не полностью очевидна или неочевидна, то их расстрел становится, с его точки зрения, акцией, против которой протестовать не следовало. Вот она, страшная и на диво живучая логика левоориентированного, сугубо идеологизированного сознания в пору общезападного прокоммунизма! Даже у Альберта Эйнштейна... Это не могло не потрясти Бруцкуса, который немедленно реагировал на одиозную публикацию коротким письмом к Эйнштейну:

«17 сентября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

С глубокой болью я узнал из «N. Mont. Ztg.» от 14 этого месяца, что для ведущего ученого нашего поколения проф. Альберта Эйнштейна вопрос, можно ли уничтожить человеческую жизнь тайным способом, еще не решен окончательно и бесповоротно».

Эйнштейн Бруцкусу не ответил. Секретарша Эйнштейна по поручению последнего переслала Бруцкусу копию письма своего шефа в русскую эмигрантскую газету «Руль». В архиве Бруцкуса хранится немецкий перевод статьи из «Руля» «Проблема совести» и копия ответа Эйнштейна Иосифу Бушанскому:

«30 сентября 1931 г.

Я получил и внимательно прочел Ваше письмо и статью. Не может быть речи о том, что я одобряю, когда людей убивают на основании неконтролируемых процессов. Я вообще противник всякой системы террора и мне никогда не приходило в голову одобрять любые методы, применяемые в России.

С другой стороны, я испытываю глубокое уважение к высоким целям, преследуемым в России, и к высокому идеализму, который дает силу этим начинаниям. Сегодня все больше людей убеждаются не в несправедливости, а в нежизнеспособности существующих хозяйственных систем. В таком случае удивительно ли, что единственную серьезную попытку приблизить лучшее положение встречают с большим интересом и симпатией, а также, что происходят единичные случаи, которые вовсе нельзя одобрить? Где сказано, что при таких обстоятельствах нет другого способа выразить свое отношение иначе, чем протестом, если происшедшее вызывает неодобрение? Не должно ли это отравить жизнь тем, кто честно отдает свои силы на службу хорошей цели? Не должно ли привести такое высказывание к отравлению международной атмосферой?

Я предоставляю Вам самому ответить на эти вопросы».

Несмотря на то, что Бруцкус уже не рассчитывал получить ответ от Эйнштейна и тем более на него повлиять, он просто не мог в силу нравственной своей природы не отозваться на этот поразительный документ. Прежде чем процитировать выдержки из его отклика, замечу: бессудное убийство сорока восьми советских ученых и специалистов-практиков для Эйнштейна — один из «единичных случаев», которые, разумеется, нельзя одобрить, но и шума по этому поводу поднимать не стоит, дабы не травмировать поглощенных «хорошей целью» убийц! Не в этом ли подходе коренится весь роковой исторический парадокс потворства интеллектуальной элиты XIX—XX веков любому бандитизму, индивидуальному и массовому, лишь бы лексически ориентированному на «хорошую цель»? Собственно говоря, о том же пишет Эйнштейну и Бруцкус. В частности в его письме говорится:

«1 октября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

...Вы говорите, что в момент, когда Вы подписали протест, Вы были убеждены в невинности расстрелянных; теперь же у Вас появились определенные сомнения. Протест вообще не затрагивает вопроса о невинности или виновности расстрелянных. Протест возражает против того, что люди расстреляны без суда лишь по постановлению ПТУ. Если Вы снимете свою подпись, то этот Ваш образ действий не может значить ничего другого, как то, что Вы считаете неуместным протестовать против таких фактов.

Вы высказываете в письме в «N. Mont. Zig.» подозрение, что за протестом могут стоять политические мотивы. Я позволю себе высказать убеждение, что большие представители немецкой духовной жизни, подписавшие протест, руководились только своей совестью и моралью и были далеки от всяких политических мотивов. Их отношение к большевизму тоже совершенно различно.

Я позволю себе, однако, высказать мнение, что Ваши политические симпатии к большевизму в этом чисто гуманном вопросе не должны играть роли. Если Вы даже при таких обстоятельствах не можете освободиться от их влияния, то Ваш прямой долг был предупредить партию, которой Вы симпатизируете, от таких морально недостойных действий.

Почему высказывания о событиях в Греции, Польше, США, Италии не означают «отравления международной атмосферы», а одно высказывание об ужасном событии в советской России означает такое отравление. остается непонятным...»

Ответа, конечно, не последовало.

* * *

Не могу удержаться от того, чтобы не сопоставить реакций и действий, связанных с происходившим в СССР в начале 30-х годов, изгнанника Бруцкуса и советского классика Максима Горького. В. Каган пишет:

«11 декабря 1930 г. в «Известиях» была опубликована статья Горького «Гуманистам», где он заклеймил... профессора Альберта Эйнштейна и господина Генриха Манна:

„Эти двое, вместе со многими другими гуманистами, недавно подписали протест немецкой «Лиги защиты прав человека» против казни сорока восьми преступников, организаторов пищевого голода в Союзе Советов... Неопишущая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна, я знаю, что они делали нечто гораздо более преступное и грязное, чем то, что делалось хозяевами боен в Чикаго и описано Э. Синклером в его книге «Джунгли». Организаторы пищевого голода, возбудив справедливый гнев трудового народа, против которого они составили свой подлый заговор, были казнены по единодушному требованию рабочих. Я считаю эту казнь вполне законной”».

Далее В. Каган замечает:

«Слова «неопишущая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна» не нуждаются в комментариях — особенно теперь, когда все эти сорок восемь полностью реабилитированы, причем реабилитированы судом.

Горький позднее включил статью в Собрание сочинений. Этим полностью опровергается легенда, пушенная А. Орловым (А. Орлов. «Тайная история сталинских преступлений»), будто разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод».

Как далеко ни отстояли бы друг от друга Альберт Эйнштейн и Максим Горький, они представляют собой в данной ситуации звенья одной цепи, в которую включены и коммунистический пропагандист-провокатор Вилли Мюнценберг, и советский академик А. Ф. Иоффе, и, как ни больно об этом говорить, сегодняшние лидеры свободного Запада, слишком на многое предпочитающие закрывать глаза, когда речь идет все о той же «хорошей цели». Иллюзия ли высокой цели, страх, самообман, корысть, властолюбие ли ставят человека на службу порочной идее или хотя бы только велят ему уклоняться от противостояния ей — это не имеет значения. При

любых побуждениях человек оказывается втянутым в действия, по меньшей мере сомнительные, а чаще — преступные. Можно лишь удивляться тому, как развернулась эта закономерность в материалах, представленных на суд читателя и прокомментированных автором книги.

Завершить же свои размышления, возникшие по ходу чтения книги В. Кагана «Борис Бруцкус», мне хотелось бы кратким экскурсом в еще одну поучительную коллизию 30-х годов. В журнале «Вопросы литературы» (1989, № 3—5) опубликован «Московский дневник» Романа Роллана. Публикатор Т. Мотылева свою вступительную статью о записках Роллана озаглавила так: «Искренность непосредственных впечатлений». И основной текст (законсервированный по желанию Р. Роллана на полвека его московский дневник 1935 года) и вступительная статья дают материал для специального исследования. Я же тут остановлюсь лишь на встрече Роллана со Сталиным («Вопросы литературы», № 3, стр. 216—224). Встреча состоялась 28 июня 1935 года в Кремле. Предоставим слово французскому гостю:

«После первых приветствий (для меня весьма лестных) Сталин предоставил мне право заговорить первым, что я и сделал. Он слушал, не прерывая, минут двадцать.

Вот моя речь:

«Дорогой товарищ Сталин, позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы приняли меня. Наверное, Вы догадываетесь, что означает для нас Ваше имя и Ваша личность, какую силу и уверенность придает нам на Западе сознание того, что именно Вы находитесь на командном посту великой страны нового мира, которой мы гордимся и на которую возлагаем надежды. Я счастлив позать Вашу руку и хочу сказать, что тронут теми знаками внимания, которые высказываются мне в Вашей стране, особенно же Вашим приглашением отдохнуть на Вашей вилле.

(На что Сталин заметил, как я уже писал выше, что вилла не его, что у него нет никаких вилл и что приглашение исходит от Совнаркома, то есть от Молотова, Ворошилова, Кагановича и него, предоставляющих в мое распоряжение одну из государственных дач в окрестностях Москвы, где отдыхают приезжающие в Москву гости.)

Я продолжал:

«Теперь, если позволите, я хотел бы говорить с Вами как в качестве старого друга и попутчика СССР. так и в качестве представителя Запада, наблюдающего за вашей страной, доверенного лица молодежи и сочувствующих вам французев.

Вы знаете, чем является СССР в глазах тысяч людей на Западе. Они смутно представляют себе вашу страну, но она воплощает собой их надежды и идеалы, самые разные, а иногда и противоречивые. В ситуации глубокого экономического и морального кризиса, поразившего Запад, они ждут, что СССР укажет им направление пути, сформулирует основную цель, прояснит их сомнения.

Далее Роллан весьма осторожно и деликатно сожалеет о том, что «специфика темперамента и идеологии французев» иногда мешает им правильно понимать действия руководства СССР и порою вызывает «серьезные недоразумения». Писатель крайне обеспокоен тем, что информация, поступающая из Советского Союза (от себя заметим: к 1935 году страшных свидетельств накопилось много; кроме того, факты советской политики говорили сами за себя достаточно красноречиво), может ослабить прокоммунистические настроения Запада. Заботясь исключительно об интересах Кремля, Роллан почтительно объясняет Сталину, как следует действовать советским пропагандистам во Франции, дабы этого неблагоприятного для Кремля обстоятельства избежать:

«Не нужно ждать от французской общественности, даже сочувствующей вашей стране, диалектики мышления, столь свойственной гражданам СССР. По своему темпераменту француз — прямолинейный резонер и теоретик, а не практик. Нельзя забывать об этом, если хочешь его убедить. Французский народ в своем большинстве привык рассуждать. Ему необходимо терпеливо разъяснять причины совершаемых деяний.

Если мне позволят, то я хотел бы заметить, что в СССР мало заботятся о том, чтобы разъяснять иностранным друзьям причины тех или иных поступков. Разумеется, в них есть своя логика, справедливая и неумолимая. Но, кажется, политики не интересуются тем, чтобы выявить ее. На мой взгляд, это серьезное заблуждение, в результате возможна — и возникает — неверная или заведомо ложная интерпретация тех или иных действий, повергающая в сомнение тысячи сочувствующих на Западе. И именно потому, что я сам в последнее время был свидетелем этого во Франции, я должен Вам об этом сообщить».

Итак, все несчастье в том, что «французский народ в своем большинстве привык рассуждать», хотя и не дорос до «диалектики мышления, столь свойственной гражданам СССР» и позволяющей им оправдывать коммунистическую «логику, справедливую и неумолимую»(!).

Тем, кто все происшедшее и происходящее в СССР привык объяснять неполноценностью русского народа, не мешает задуматься: Франция еще и не приблизилась к социализму и Роллан — только прокоммунист, а не коммунист,

но и он объясняет критическое отношение французов к сталинскому террору неполноценностью их мышления. Отсюда рукой подать до самозабвенной социалистической готовности любой ценой лепить из своих сограждан новых людей для нового общества.

Что это со стороны Роллана — злое фарисейство или чудовищная слепота? Т. Мотылева этим вопросом не задается. Далее Роллан робко перечисляет некоторые недостаточно разъясненные Западу акции коммунистического руководства СССР и, наконец, замечает:

«Еще один случай, непохожий на предыдущий: недавно у вас в стране был обнародован закон о наказании детей, начиная с двенадцати лет. Текст закона известен плохо. Но даже то, что известно, оставляет тягостное впечатление. Если я правильно понял, над детьми нависла угроза смертной казни. Я могу понять мотивы, которыми вы руководствовались, желая внушить страх тем, кого раньше нельзя было привлечь к ответственности, и особенно тем, кто делал из детей пособников преступлений. Но не все понимают это. Люди боятся, что закон уже вошел в силу и дети могут стать жертвой злоупотреблений городских властей, распоряжающихся их жизнями по своему усмотрению. Это может породить широкую волну протестов. Необходимо ее предотвратить, пока она не поднялась. Не забывайте о воздействии идеологии на чувства людей на Западе! Эмоциональная оценка событий для нас имеет большое значение. И если для решительно настроенного правительства она не играет определяющей роли, то на слабые и нерешительные — оказывает сильное влияние, а таких большинство».

Итак, Ромен Роллан («очарованная душа») «может понять мотивы», которыми руководствуется Сталин, узаконивая смертную казнь для двенадцатилетних детей, но эмоциональные недоумки-французы могут этого и не понять, а потому — сокройте им, Иосиф Виссарионович, чего-нибудь поубедительней и поизвинительней для себя. Не все читают «Вопросы литературы» — как в СССР, так и вне его, поэтому я не могу не процитировать удовлетворенно воспринятого Роменом Ролланом ответа Сталина (до чего хорошо понимал, бестия, с кем говорит! Как тут не вспомнить ленинского о Западе же: «Слепоглухие поверят».):

«Сталин ответил, что слушал меня с большим удовольствием. Потом в свою очередь взял слово.

Он сказал: «Вы позволите мне ответить на все Ваши вопросы?»

И глядя на свои красно-синие каракули и линии, он начал отъсчитывать, но не в том порядке, в каком были заданы вопросы, а следуя логике собственных забот. Может быть, я не совсем точно передаю очередность ответов Сталина, я пишу по памяти. Что же касается четкой последовательности рассуждений Сталина, то она соблюдена в прилагаемом официальном протоколе.

Совершенная абсолютная простота, прямотушие, правдивость. Он не навязывает своего мнения. Говорит: «Может быть мы ошиблись». Кажется, всегда готов пересмотреть свое мнение: оставляет вопрос открытым для уточнения, проверки опытом, если есть необходимость.

Не пытается обелить свои действия. О поспешной казни ста человек после убийства Кирова говорит, что это вышло за рамки законности и морали, возможно, даже было политической ошибкой, но «мы поддались власти чувств». Сто человек, «не принявшие непосредственного участия в убийстве Кирова», все-таки были террористами, секретными агентами Германии, Польши, Литвы (или Латвии?). Нужно было наказание как пример для устрашения. И «мы решили не давать этим убийцам (многие из которых надменно кичились своим желанием убивать) возможности предстать перед общественностью на процессе, который они могли использовать как трибуну...».

Потом добавил: «Нам очень неприятно осуждать, казнить. Это грязное дело. Лучше было бы находиться вне политики и сохранить свои руки чистыми. Но мы не имеем права оставаться вне политики, если хотим освободить порабожденных людей. А когда соглашаешься заниматься политикой, то уже все делаешь не для себя, а только для государства; государство требует, чтобы мы были безжалостны».

Сталин сказал: «нам приходится учитывать мнение не только зарубежных друзей СССР, которые упрекают нас в том, что мы безжалостны, но и наших товарищей внутри нашей страны, которые упрекают нас в том, что мы слишком снисходительны. Мы сводим случаи смертной казни до минимума. Даже соучастников убийства Кирова, которые знали о заговоре, допустили его, хотели этого убийства, но не приняли в нем активного участия, таких, как Зиновьев и Каменев, мы сочли возможным не осудить на смерть.

И наши товарищи в СССР возмущены этим».

По поводу закона о наказании несовершеннолетних преступников он сказал: «Да! Это невозможно объяснить на Западе».

Вот так! Наши враги из капиталистического окружения не знают усталости. «Они проникают повсюду, засылая своих агентов в лоно семьи и церкви, заражают ненавистью женщин и детей. Факты говорят сами за себя: не так давно нам стало известно, что несколько молодых женщин из дворянских семей смогли благополучно

проникнуть в окружение руководителей партии с тем, чтобы их отравить». (Сталин не уточняет, о ком идет речь, но я недавно узнал, что эта история касалась его самого. Библиотекарь, женщина, которая не вызвала подозрений, была задержана при попытке его отравить — это произошло из-за беспечности наркома Енукидзе.) «Враги толкают этих женщин на преступление, и те воображают себя Шарлоттами Корде. С детьми дела обстоят еще хуже. Повсюду возникают подпольные банды подростков человек по пятнадцать; объединяясь, они вооружаются ножами, для того чтобы убивать «ударников» — лучших мальчиков и девочек (и не по политическим причинам, а просто за то, что те «ударники», хорошие ученики). Их подстрекают взрослые, которым платят наши враги. И они убивают, насилуют девушек, заставляют их становиться проститутками, и все в таком роде. Об этом стало известно совсем недавно; когда убили какую-то девочку, вдруг выплыли факты двухлетней и трехлетней давности. Нас слишком поглотили политические заботы,— продолжает Сталин,— мы занялись колхозами, мы не знали, у нас не хватало времени... Когда узнали, это сразило нас. Как быть? Нам понадобится два или три года, чтобы искоренить всех этих разбойников. И мы добьемся своего. Но для этого необходимо внушить страх. Мы должны были принять этот репрессивный закон, грозящий смертной казнью детям-преступникам, начиная с двенадцати лет, и особенно их подстрекателям. На самом деле этот закон мы не применяем. Надеюсь, он и не будет применен. Естественно, публично мы этого признать не можем: потеряется нужный эффект, эффект устрашения. Впрочем, отдан негласный приказ спрашивать сурово только со взрослых, толкающих детей на преступление. К ним мы будем безжалостны...»

Неправда ли, диалог этот вполне готов для воспроизведения на театральной сцене или на экране?

Что же профессор Мотылева? Она только умиляется «искренности непосредственных впечатлений» Р. Роллана, который откровенно дает рекомендации массовому убийце — как ему обвести вокруг пальца еще не переваренный коммунизмом мир. Она и сама упорно старается оставаться обманутой. Масштабный советский литературовед, всю свою научную и педагогическую жизнь она подчинялась и подчиняла другим несостоятельной оценочной схеме — схеме смертоносно опасной. Теперь она рефлекторно стремится реабилитировать «великого гуманиста» в глазах читателя (он был «мучительно раздвоен» и вскоре кое-что понял), ибо реабилитирует тем себя, свое научное прошлое. Исследование аргументации Т. Мотылевой завело бы нас чересчур далеко. К факту же и размышлениям самого дневника мы едва прикоснулись. Но и этого прикосновения достаточно, чтобы увидеть в нечистой игре Роллана и в снисходительности его публикатора звенья все той же порочной цепи, которую так хотел разорвать Борис Бруцкус.

И последний пример того же рода. «Московские новости» (1990, № 23) опубликовали репортаж о недавнем выступлении в Ленинграде Георгия Владимова, упомянувшего о своих встречах с Генрихом Бёллем.

«Он многих защищал, даже террористов. Потому что всегда был на стороне гонимого, а не преследователя... На Западе тогда очень боялись советских танков, и Бёлль считал, что Европа настолько богата, обладает такими сокровищами культуры, что воевать на этих священных камнях нельзя и потому не следует сопротивляться русским автоматчикам. А что вы будете делать? — спросил я. Ничего, гулять, сидеть в кафе, пить пиво. А вы не забыли, напомнил я Бёллю, надпись на русских ларьках: „Пива нет!“» (сохраняется пунктуация «МН»).

Разумеется, Г. Владимову за его мягким, но ироничным напоминанием видится мир, от Бёлля сокрытый. Мне же вспомнилось, что и российские интеллигенты 1880-х — 1900-х годов считали террористов гонимыми. И это привело их (интеллигентов) к прогулочным маршрутам, весьма отличным от бёллевской грезы.

Недавно один глубоководоуважаемый мною русский литературный критик со вполне понятной иронией отозвался об одиозном вопросе «С кем вы, мастера культуры?». Мне уже приходилось задавать этот вопрос. Я даже озаглавила так одну из своих работ, пренебрегая позицией и ролью того, кто сформулировал это вопрос впервые. Продолжаю предполагать, что, как правило, претензии следует предъявлять не вопросам, а ответам на них. Бывают обстоятельства, когда не поставить перед собой и своими коллегами этот вопрос невозможно.

ДОРА ШТУРМАН.

КОРОТКО О КНИГАХ



1. З. Н. ГИППИУС. Стихотворения. Живые лица. Вступительная статья, составление, подготовка текста, комментариев Н. А. Богомолова. М. «Художественная литература». 1991. 471 стр.

Атмосфера полупризнания сопутствовала Зинаиде Гиппиус с первых лет писательства. При несомненном влиянии на поэтическую традицию и литературную жизнь России, а позже эмиграции, Гиппиус воспринималась как писатель «для немногих», и ее популярность вне узкого художественного круга была несравнима с известностью Блока, Брюсова, Ахматовой или Сологуба, не говоря уж об Игоре Северяnine. В этом была парадоксальная трагичность ее положения: ведь с начала столетия Гиппиус стремилась оказывать влияние на широкую читательскую массу, видела в своем творчестве своеобразное «хождение в народ», как определил кредо издававшегося ими журнала «Новый путь» в одном из частных писем ее муж и единомышленник Дмитрий Мережковский.

Вот уже два года как стихи и воспоминания Гиппиус, вначале непритязательными газетными и журнальными подборками, а затем и наспех сработанными книжками, начали вливаться в мощный и беспорядочный поток «возвращаемой» литературы. Рецензируемая книга — первое профессионально подготовленное издание поэта, и, видимо, именно с него начинается настоящее осмысление и понимание Гиппиус как самобытной творческой фигуры, свидетельницы и деятельной участницы русского поэтического, религиозного и философского ренессанса конца прошлого — начала нынешнего века.

Ретроспективно рассматривая творчество и деятельность Мережковских, нетрудно увидеть, что эволюция их литературных и общественных взглядов, стремительность которой вызывала неприятие даже у их литературных союзников, совпадая с магистральным движением русского символизма, опережала его на несколько лет. Так, отход от декадентства и религиозное обновление, инициатором которого выступила Гиппиус в первые годы века, после выхода на литературную сцену младших символистов (Блока, Белого, Вяч. Иванова), становится общим достоянием художественной культуры. Это заведомо порождает дефект современного восприятия поэтического и мемуарного наследия писательницы — ведь многие идеи и мотивы ее стихов, проникнув в кровь и плоть литературы, оказываются уже известными читателю из опыта ее младших современников. Гиппиус, мало писавшая и мало публиковавшая свои стихи (за пределами книги

остались лишь два откровенно неудачных сборника псевдонародных стилизаций и несколько десятков неопубликованных и разметанных по русской дореволюционной и эмигрантской периодике стихотворений), обозначила и воплотила в своей лирике важнейшие темы начала века. То же можно сказать и про мемуарное наследие Гиппиус, представленное здесь лишь воспоминаниями «Живые лица». Эта книга, изданная в 1925 году в Праге, ознаменовала новый этап самопознания эпохи; в ближайшее десятилетие после нее были написаны и изданы воспоминания Г. Чулкова, П. Перцова, А. Белого (в России), Г. Иванова и А. Ремизова (в эмиграции). Гиппиус оказалась практически единственным летописцем истории зарождения и расцвета символизма в России. Большинство действующих лиц книги воспоминаний дебютировали в 90-е годы или раньше, и их творчество этого времени заслонено от современников последующими эволюциями. С мемуарами получилось почти так же, как со стихами, — портрет, набросанный Гиппиус, вольно или невольно воздействовал на тех, кому позже приходилось писать о том или ином ее герое.

Отечественного опыта комментирования текстов Гиппиус практически не существует — до сих пор научный аппарат сопровождал лишь некоторые западные публикации ее эпистолярного наследия¹. Комментаратор настоящего сборника, хотя и стесненный рамками популярного издания, вводит в научный оборот ряд неизвестных источников биографии Гиппиус, в числе которых — впервые публикуемое (в комментариях! — случай почти анекдотический) письмо Блока поэту А. И. Тинякову — давно известное, но невозможное к обнародованию в прежние годы. Среди несомненных открытий — использование обнаруженного составителем экземпляра «Собрания стихов» Гиппиус с пояснительными пометами автора (по нашему предположению, эта книга принадлежала Наталье Михайловне Доброхотовой, близкой знакомой Мережковских). Издание удачно дополнено рецензией на «Живые лица» В. Ходасевича, исправляющей ряд неточностей мемуаристики (обычно весьма шепетильной в передаче фактов, которым она не

¹ Когда настоящая рецензия была дана в печать, появилось в высшей степени профессионально подготовленное издание стихотворений и прозы З. Н. Гиппиус (см.: Гиппиус З. Н. Сочинения. Подготовка текста, предисловие и комментарии К. М. Азадовского и А. В. Лаврова. Л. 1991).

была свидетелем), красиво иллюстрирующей особенности восприятия воспоминаний Гиппиус ее современниками.

II. ЮРИЙ АННЕНКОВ. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Вступительная статья П. Николаева.* Тт. 1—2. М. «Художественная литература». 1991; т. 1 — 346 стр., т. 2 — 337 стр.

«Навстречу нам вышел хорошо знакомый нам сомовский рисунок...» — в этой фразе из посвященной Блоку главы — квинтэссенция художественного метода Анненкова-мемуариста. Он ни на минуту не дает читателю забыть о том, что автор книги — прежде всего художник. Это подчеркивается композиционно: почти каждому разделу соответствует графический портрет его героя, приглашающий к сравнению со словесными характеристиками; это оказывается очевидным и для читателя, пристально рассматрившего архитектуру мемуарных новелл: человек, на котором сфокусирован взгляд художника, предстает в обрамлении оттеняющих те или иные стороны его натуры деталей, мимоходом сообщаемых лукавым портретистом (как муха и заплатка на знаменитом портрете Ремизова). На ту же особенность указывает и чисто профессиональное желание мемуариста поместить в рамки картины таинственно связанные с ней фигуры и события не имеющие, на сторонний взгляд, отношения к центральному предмету изображения.

Мемуары Анненкова написаны позже, чем основной массив воспоминаний писателей «серебряного века», почти одновременно с опытами в этом жанре других художников — Бенуа, Добужинского, Коровина. При этом чужие свидетельства становятся для него в один ряд с непосредственными впечатлениями, что образует особую, мозаичную структуру текста, в котором одновременно с чисто мемуарными записями помещены цитаты из книг современников (как правило, с педантическими ссылками на них), выписки из передовиц советских газет (в главе о Пастернаке), фрагменты опубликованных и неопубликованных писем и других документов литературного быта. Без преувеличения можно сказать, что особая синтетическая конструкция воспоминаний Анненкова не имеет аналога в русской мемуаристике, парадоксально приближаясь к традиции литературоведческого или искусствоведческого исследования. Среди неперменных составляющих этого уникального жанра — возможность, если не предсмотренность, мистификации ощущавшаяся многими современниками (не случайно злые языки уверяли, что истории о знакомстве с Лениным и Троцким целиком выдуманы Анненковым, а портреты их он рисовал, якобы пользуясь фотографиями). Во всяком случае, нерасторжимый сплав из наблюдений, слухов, мгновенных набросков и литературной игры, образовавший эту книгу, представляет собой вполне законченный и не поддающийся точному определению жанр.

Перед глазами Анненкова, одного из самых молодых художников начала века, про-

шел долгий период заката и упадка эпохи: он пережил большинство героев своей книги, насчитывающей несколько сот действующих лиц. Подзаголовок мемуаров — «цикл трагедий» — оказывается камертоном, по которому настраивается общий тон повествования; центральный персонаж каждого очерка, будь то писатель, режиссер или политик, предстает противостоящим легкой и губительной силе, которая может быть персонифицирована в пьяной «революционной» толпе или в глумливо-единодушном союзе писателей.

Несколько слов об оформлении и аппарате книги. Хороша, хотя немного аляповата обложка работы Е. Поликашина. Общие рассуждения, предпосланные репринтному воспроизведению текста, малоинформативны и в качестве вступительной статьи не вполне уместны. Жаль, что издательство вынуждено было печатать эту яркую и красивую книгу на желтоватой бумаге и вписывать ее в прокустово ложе стандартного формата, тем более что из-за этого пострадал ряд портретов, приложенных к изданию.

III. К. ЧУКОВСКИЙ. *Дневник 1901—1929. Подготовка текста и комментарии Е. П. Чуковской. Вступительная статья В. А. Каверина.* М. «Советский писатель». 1991. 543 стр.

Корней Чуковский — писатель, обликом и жизнью своей решительно опровергающий расхожие представления о деятеле русской культуры начала XX века. В самом деле: на фоне эпохи, дышавшей надрывом и истерикой, принципиально отвергающей позитивные ценности во имя мистических прозрений и туманных идеалов, странно смотрится его одинокая фигура. Культ работы и знания, неутомимая энергия, сочетающаяся с искрометным талантом и интуитивным чувствованием литературы, — таким мы привыкаем видеть Чуковского, и образ этот оказывается на редкость устойчивым: ведь для большинства из нас творчество Чуковского находится среди самых ранних литературных впечатлений.

Впервые опубликованный полностью дневник Чуковского (фрагменты его в части, относящейся к более знаменитым современникам, а также выдержки за отдельные годы публиковались и раньше) рисует человеческую личность, во многом не похожую на хрестоматийные представления. Нет, все бесспорные достоинства остаются при нем и даже более — приумножаются новыми. Чуковский как человек, образованный филологически и наделенный вследствие обширной работы в области истории литературы особым комплексом хранителя культуры, знал цену свидетельствам современника. При этом специфика дневникового жанра позволяла не стесняться в суждениях и не делать скидку на политические условия. В его тщательных записях о встречах с писателями и художниками сквозит не только безграничное преклонение перед талантом в любом его воплощении, но и трогательная забота о будущем исследователе, для которого беглые заметки «по го-

рячим следам» порой оказываются ценнее обширных воспоминаний. Но есть и другая сторона. предельно откровенные дневники обнаруживают за внешностью беспощадного критика, чьих язвительных разборов отчаянно боялись современники, скромного и застенчивого человека, мучительно переживающего свое «незаконное» происхождение, неловкость жестов и неудачу первых литературных опытов. Поразительны страницы дневника, рассказывающие о работе Чуковского в первые послереволюционные годы: так много сделал он для потерявших средства к существованию, больных и голодающих литераторов, в том числе и для тех, которые, как Лидия Чарская, были в прежние годы объектами его насмешливых фельетонов. Поистине ценность этого дневника как человеческого документа равнозначна его историко-литературной значимости.

Издана книга очень хорошо, хотя и в текстологическом отношении и в комментариях есть некоторые просчеты. Так, неразобранной осталась фамилия ближайшего друга Розанова, философа Шперка (стр. 39; прочитано как «Шперн» с пометой «нрзб»). Огорчительны также и часто встречающиеся на страницах знаки сокращений, жаль, что составители не сочли возможным опубликовать дневник целиком. Хочется надеяться, что за этим изданием последуют другие публикации, в частности записи 30-х и 40-х годов. Очевидно, было бы полезно шире привлекать для комментариев материалы архива Чуковского в ГБЛ, сохранившиеся практически полностью. Однако все это дело будущего; сейчас же можно сказать с определенностью, что публикация дневника Чуковского — огромное событие нашей филологии, литературы и духовной жизни.

А. Л. Соболев.

Н. Г. ЛЕВИТСКАЯ. Александр Солженицын: библиографический указатель. Август 1988—1990. М. Советский фонд культуры. Дом Марины Цветаевой. 1991. 127 стр.

Это первое издание такого рода в нашей стране на текущем материале. За рубежом библиография изданий Солженицына существует и разработана детально. Мы опять отстаем в освоении собственного наследия (еще нет библиографии произведений писателя и литературы о нем за 60—80-е годы).

Указатель состоит из трех основных частей: «Произведения А. Солженицына», «Литература о жизни и творчестве А. Солженицына» и «Вспомогательные указатели». Издание открывают предисловие Е. Ц. Чуковской и автобиография Солженицына, написанная для Нобелевского комитета. Жизнеописание дополнено составителем указателя и доведено до настоящего времени.

В разделе «Биографические материалы» отдельные рубрики воспринимаются как ве-

сти жизни: «Исключение из Союза писателей СССР и высылка из страны», «Снятие запрета с имени и требование возвратить гражданство», «Указ Президента СССР о восстановлении в советском гражданстве» и т. д. Представляют специфический интерес разделы «Вечера, выставки, встречи, конференции, телевизионные передачи» и «Фотографии, рисунки, шаржи, иллюстрации к произведениям». Указатель отражает все стороны бытования произведений Солженицына в России, в том числе сведения о «пиратских» изданиях. Этому отведен специальный раздел «Авторское право и случаи его нарушения».

У указателя широкий географический охват — он включает сведения о различных изданиях, выпущенных в 49 городах, больших и малых, от Дальнего Востока до Белоруссии и Прибалтики.

Внутри тематических рубрик материал расположен в хронологическом порядке иногда по дням одного месяца. Смысл такого летописного подхода особенно ощутим, например, в рубрике об известной статье «Как нам обустроить Россию». Только за октябрь 1990 года статья была опубликована более чем в 30 журналах и газетах.

Названия газет, журналов и сборников, просмотренных составителем, читатель найдет в специальном вспомогательном списке. Многие в указатель еще не вошли. Это объясняется естественной ограниченностью технических возможностей составителя. В основном не была учтена неформальная пресса.

Особый интерес представляют аннотации, благодаря которым указатель читается чуть ли не как монография. В этом проявились искусство и литературный вкус составителя. В аннотациях сообщаются самые разные данные: о содержании материала, обстоятельствах его появления, первой публикации и первоначальном названии, о цензурных сокращениях; приводятся характерные выдержки из статей о Солженицыне, указано наличие высказываний, порочащих писателя; даны сведения о жанре (подборка читательских писем, письмо-протест и т. д.)

Итак, выход в свет указателя Н. Г. Левитской кладет начало отечественной «библиографии Солженицына». Участие в продолжении этой работы могут принять все желающие. Пусть каждый, кто будет пользоваться указателем и кого увлекут его задачи, постарается его дополнить, особенно за счет недоступной составителю местной и неформальной печати. Этим могут заняться не только отдельные читатели, но также библиотеки. Присылайте дополнения составителю, вносите свой вклад в собирание отечественной культуры

Борис Семеновкер,
ведущий научный сотрудник ИПО
«Книжная палата»

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



И. П. СМИРНОВ. *Бытие и творчество.* Marburg-Lahn, Blaue hörner Verlag. 1990. 110 стр.

Автор этой книги — профессор Констанцкого университета (ФРГ), известный своими исследованиями теории литературной эволюции (преимущественно на материале XX столетия). Новая книга знаменует поворот в творчестве ученого от углубленно-эзотерических штудий постмодернистской культуры к философскому осмыслению постмодернизма. «„Бытие и творчество“ — это попытка мышления, альтернативного западноевропейской (прежде всего французской) постмодернистской философии», — сообщается в издательской аннотации к книге. Кому-то смелость Смирнова покажется оскорбительной — вместо того чтобы наблюдать за ушедшими в небытие культурными явлениями с исторически безопасной дистанции, он нецеремонно вторгается в современность. С другой стороны, трезвый самоанализ культуры — показатель ее жизненной силы, и в этом смысле «Бытие и творчество» не может не обнадеживать.

М. ВОЛКОВА, С. ВОЛКОВ. *Иосиф Бродский в Нью-Йорке. Фотопортреты и беседы с поэтом.* N-Y «Слово» 1990. 124 стр.

После пятнадцати лет вынужденного замалчивания творчество лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского стало подвергаться в России безотчетной канонизации. Альбом «Иосиф Бродский в Нью-Йорке», напротив, лишен нарочитой приподнятости, тема «поэт и город» предстает перед читателем во всех ее ракурсах — от углубленно-поэтического до жестко-прозаического. «На этих фотографиях Бродский разный: ушедший в себя, мрачный, улыбающийся, доброжелательный, гневающийся, озабоченный. Иногда он даже забывает о моем фотообъективе. И такие снимки я ценю больше всего», — пишет в предисловии к книге Марianne Волкова, фотографировавшая Бродского на протяжении двенадцати лет. Изобразительный ряд сопровождается обширным интервью, в котором собеседником поэта является известный журналист Соломон Волков. Он не стремится навязать Бродскому ту или иную линию разговора, предоставляя ему возможность беспрепятственно перескакивать с темы на тему. В результате воспоминания о М. Барышникове и Ч. Милоше прихотливо перемежаются эссеистическими размышлениями о русском акмеизме или современной американской культуре.

ТАБЛИЦЫ ФОРМ ОБМУНДИРОВАНИЯ РУССКОЙ АРМИИ. 24 наглядных таблицы новых форм. (Сост. В. К. Шенк.) СПб. 1910 — London (Канада). «Заря». (Б.г.) 62 стр.

ТАБЛИЦЫ ФОРМ ОБМУНДИРОВАНИЯ РУССКОЙ АРМИИ. 8 наглядных таблиц новых форм. (Сост. В. К. Шенк.) СПб. 1910. — London (Канада). «Заря». (Б.г.) 28 стр.

Репринтные издания, во множестве появившиеся на российском книжном рынке за последние пятилетие, стали для новоявленных издателей золотой жилой. Репринтное воспроизведение (по их понятиям) не требовало ни трудоемкой редакторской подготовки, ни сколь-нибудь умелой полиграфии. В тех случаях, когда быстроте дела мешала дороговизна бумаги или чрезмерная изысканность оригинала, «лишние» страницы (главы, тома) хладнокровно удалялись. В результате, за редким исключением, слово «репринт» в советском книгоиздании стало синонимом непрофессионализма и халтуры.

Иную концепцию возвращения к читателю старых книг предложило канадское издательство «Заря». В одном из предыдущих обзоров нам уже приходилось писать о великолепном переиздании «Зарей» «Собрания писем Макария» На этот раз издатели взялись решить намного более трудную задачу — предложить читателю републикацию цветного иллюстрированного альбома, все изящество которого — в миниатюрных узорах и цветовых оттенках. «Таблицы» представляют полный каталог форм военного обмундирования, введенных в русской армии по результатам реформ 1906—1910 гг. Коллекционерам, историкам и просто любителям красивой книги преподнесен замечательный подарок. Заденет ли он честолюбие тех, от кого зависит будущее русской книги в России?

ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. № 161. Париж — Нью-Йорк — Москва. Русское Студенческое Христианское Движение при участии YMCA-PRESS. 1991. 296 стр.

Скромное название журнала ни в коей мере не отражает многообразия тем, находящихся место на его страницах. Не замыкаясь в корпоративно-тематических рамках, журнал в грудные для русской культуры годы представлял свои страницы исследователям О. Э. Мандельштама, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского.

Но и этим достоинства «Вестника...» не исчерпываются: журнал регулярно публикует архивные материалы.

Очередной том «Вестника РХД» открывается двумя первопубликациями из наследия С. Н. Булгакова: это запись его лекционного курса «Христианская социология», читанного в Богословском институте в Париже в 1927/28 учебном году, а также письма философа Н. Г. Петухову, извлеченные Б. Тележинским из чудом сохранившегося частного архива. В разделе «Богословие, философия» помещены статьи Г. Беневича «Экономика в православном понимании согласно св. Симеону Новому Богослову» и М. Назарова «О религиозном оправдании частной собственности».

Значительный по объему раздел посвящен 100-летию со дня рождения Матери Марии (Е. Ю. Скобцовой.). В нем представлены сообщения Ю. Линника и Б. Плюханова; последний также публикует в журнале ряд стихотворений Матери Марии из собственного со-

брания. Рубрика «Литература и жизнь» включает в себя статью о соотношении «иконного и иконнического» в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (В. Лепахин) и подборку материалов о М. И. Цветаевой (Д. Лерин, Е. Н. Рейтлингер-Кист).

Документы по трагической истории Русской Православной Церкви (воспоминания протоиерея М. Чельцова, памятная записка митрополита Сергия о нуждах Православной Патриаршей Церкви, составленная в 1930 г.) опубликованы в разделе «Судьбы России».

Помимо историографических материалов, немало места уделяется в журнале и современной жизни. Информация о пребывании издательства YMCA-PRESS в Ленинграде, злободневная богословская полемика («Письма в редакцию») показывают читателю, что настоящее для журнала ничуть не менее актуально, нежели прошлое.

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

Читайте в следующем номере:

Д. ГАЛКОВСКИЙ

Поэзия советская

Статья из «Энциклопедии Высоцкого»

«Разгул поэзии в Советской России (а иначе не скажешь) — это прежде всего следствие поражения интеллектуального и духовного центра нации...»
(Д. Галковский)

ПОПРАВКА

В № 1 журнала за 1992 год на стр. 248 с пятой строки правого столбца следует читать: «Как писал Достоевский, есть такие преступления, которые везде в мире считаются бесспорными преступлениями и будут считаться таковыми, „покамест человек останется человеком“». Далее по тексту.

SUMMARY

The issue opens with a poem by the well-known Petersburg poet Alexander Kushner, «In the Clouds With a Star», and a cycle of poems by the Russian poet Yury Kublanovsky, who lives abroad. Also included is a generous excerpt from Sergei Nikolaevich Tolstoy's (1908—1977) autobiographical prose, written from the point of view of a young boy. Tolstoy was one of the last, brilliant representatives of the Russian nobility. The excerpt is the second part of the book titled «Father» (1946—47) which is about Nikolai Alekseevich Tolstoy, an enlightened noble, true gentleman farmer, and good family man, and about the effect of the pre- and post-Revolutionary years on the family.

Another boy, Fedya, is the hero of Yury Krasavin's «Felt Boots». The novella takes place in a war-torn Russian village in the 1940s, and explores the cruel economic policies of the Communists. The young hero, who ends up all alone, is forced to farm by himself in order to survive, which under existing conditions was difficult even for adults.

Sergei Zalygin's story «Somehow», takes places in the present: the members of an educated family have difficulty adapting to the conditions and mores of the new way of life, which remains incomprehensible to them.

In the «New Translations» section, we offer an essay by the famous French writer Nathalie Sarraute, entitled «Gift of Speech» (translated into Russian by Irina Kuznetsova), which explores the role of the word in human life.

An essay on the themes of games and childhood in the poetry of Boris Pasternak by the well-known Russian-English translator Grigory Kruzhkov is a free-form experiment in close reading.

«Publications and Communications» begins the publication (the last part will appear in No. 5) of

the Russian thinker and sociologist Pitirim Sorokin's book «The Contemporary State of Russia» (1922). This is a detailed, scientific analysis of the great damage done to Russia and the Russian nation by the First World War, the October coup, the Civil War and Communist experiments with the economy. Exiled from Russia, P. Sorokin became one of the leaders of international sociology. The publication is introduced by sociologist V. Shubkin, who discusses the topical aspects of Sorokin's work; the text was edited and annotated by V. V. Sapov.

In his critical article «A Passion for Rupture. Notes on a Comparatively New Mythology», Andrei Nemzer responds polemically to his colleagues: he argues with Alla Latynina's view of the significance of Russian emigre literature, Lev Anninsky's understanding of the problem of literary generations, and Alexander Ageev's views on the place of the Russian classics in contemporary spiritual life.

In No. 8, 1990, «Novy Mir» published the work of the well-known economist Boris Brutskus titled «Socialist Management. Theoretical Thoughts on the Russian Experiment» (1921—22). The editors subsequently received a letter from Dora Shturman of Jerusalem, and we offer her review of V. Kagan's book on Brutskus in the «Editorial Mail» section.

In «A Little about Books», A. Sobolev reviews new editions of Zinaida Gippius's memoirs, «Living Faces», Yury Annenkov's «Diary of My Encounters», and Kornei Chukovsky's diaries from 1901—1929. Boris Semenovker writes about N. Levitsky's bibliographical index «Alexander Solzhenitsyn. August 1988—1990».

The «Russian Books Abroad» section offers short notes on new publications of overseas Russian literature.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.09.91 г. Подписано к печати 27.11.91 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.), 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 800 экз. Зак. 1063. Цена 4 р. 70 к. (по подписке).

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.



Акционерное общество

— **«МАРСИ»** —

(Москва)

Издательство

«ЭЛИТА»

(Москва)

Издательство

«VESTA PUBLISHING HOUSE OF AMERICA»

— **(Нью-Йорк, США)** —

приглашают к сотрудничеству

**молодых российских писателей,
желающих выйти**

**со своими произведениями
на американский книжный рынок**



Контактный телефон в Москве



248-28-51